

Arizona Territory

Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Том 7. //Наука, Москва, 1974  
FB2: "Ewgeny ", 10 February 2010, version 1.0  
UUID: 65DAA109-157B-4A5B-BB0C-CB2B63883C4A  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Антон Павлович Чехов

# **Рассказы. Повести. 1888-1891**

(Полное собрание сочинений и писем #7)

# Содержание

Спать хочется . . . . .	0009
Степь . . . . .	0020
I . . . . .	0020
II . . . . .	0035
III . . . . .	0055
IV . . . . .	0083
V . . . . .	0109
VI . . . . .	0128
VII . . . . .	0161
VIII . . . . .	0184
Огни . . . . .	0207
Неприятность . . . . .	0281
Красавицы . . . . .	0318
I . . . . .	0318
II . . . . .	0328
Именины . . . . .	0334
I . . . . .	0334
II . . . . .	0352
III . . . . .	0367
IV . . . . .	0378
V . . . . .	0396
Припадок . . . . .	0399
I . . . . .	0399
II . . . . .	0405
III . . . . .	0411

IV	0416
V	0423
VI	0430
VII	0439
Сапожник и Нечистая сила	0445
Пари	0458
I	0458
II	0465
Княгиня	0472
Вынужденное заявление	0496
Скучная история	0501
I	0501
II	0526
III	0560
IV	0582
V	0600
VI	0608
Воры	0620
Гусев	0651
I	0651
II	0655
III	0662
IV	0667
V	0674
Бабы	0678
Дуэль	0703
I	0703
II	0719

III	0728
IV	0741
V	0750
VI	0762
VII	0776
VIII	0781
IX	0785
X	0797
XI	0810
XII	0822
XIII	0831
XIV	0836
XV	0843
XVI	0858
XVII	0869
XVIII	0878
XIX	0886
XX	0897
XXI	0902
Жена	0911
I	0911
II	0920
III	0934
IV	0945
V	0958
VI	0971
VII	0991
В Москве	0999

Неопубликованное, неоконченное . . . . .	1014
Красавицы . . . . .	1014
I. У Зелениных . . . . .	1018
III. Письмо . . . . .	1021
Примечания . . . . .	1031
Условные сокращения . . . . .	1031
1 . . . . .	1033
2 . . . . .	1040
3 . . . . .	1044
4 . . . . .	1054
Спать хочется . . . . .	1063
Степь . . . . .	1069
Огни . . . . .	1122
Неприятность . . . . .	1136
Красавицы . . . . .	1140
Именины . . . . .	1143
Припадок . . . . .	1161
Сапожник и Нечистая сила . . . . .	1178
Пари . . . . .	1181
Княгиня . . . . .	1185
Вынужденное заявление . . . . .	1190
Скучная история . . . . .	1192
Воры . . . . .	1222
Гусев . . . . .	1226
Бабы . . . . .	1233
Дуэль . . . . .	1246
Жена . . . . .	1298
В Москве . . . . .	1325

Неопубликованное. Неоконченное . . . . .1331

**Антон Павлович Чехов**  
**Рассказы. Повести.**  
**1888-1891**

# Спать хочется

**Н**очь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет:

*Баю-баюшки-баю,  
А я песенку спою...*

Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку... Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром.

Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но всё еще кричит и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой,

как булавочная головка.

– Баю-баюшки-баю, – мурлычет она, – тебе каши наварю...

В печке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью, похрапывают хозяин и подмастерье Афанасий... Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлычет – и всё это сливается в ночную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее.

Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени; по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса.

Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. – «Зачем это?» – спрашивает Варька. – «Спать, спать!» – отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сойки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их.

– Баю-баюшки-баю, а я песенку спою... – мурлычет Варька и уже видит себя в темной, душной избе.

На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, «разыгралась грыжа». Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь:

– Бу-бу-бу-бу...

Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому «бу-бу-бу». Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из горо-

да в гости. Доктор входит в избу; его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью.

– Засветите огонь, – говорит он.

– Бу-бу-бу... – отвечает Ефим.

Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку.

– Сейчас, батюшка, сейчас, – говорит Пелагея, бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком.

Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как-то особенно остр, точно Ефим видит насквозь и избу и доктора.

– Ну, что? Что ты это вздумал? – говорит доктор, нагибаясь к нему. – Эге! Давно ли это у тебя?

– Чего-с? Помирать, ваше благородие, пришло время... Не быть мне в живых...

– Полно вздор говорить... Вылечим!

– Это как вам угодно, ваше благородие, благодарим покорно, а только мы понимаем... Коли смерть пришла, что уж тут.

Доктор с четверть часа возится с Ефимом;

потом поднимается и говорит:

– Я ничего не могу поделывать... Тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай... Непременно поезжай! Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слышишь?

– Батюшка, да на чем же он поедет? – говорит Пелагея. – У нас нет лошади.

– Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь.

Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится «бу-бу-бу»... Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет...

Но вот наступает хорошее, ясное утро. Пелагеи нет дома: она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет:

– Баю-баюшки-баю, а я песенку спою...

Возвращается Пелагея; она крестится и шепчет:

– Ночью вправили ему, а к утру богу душу

отдал... Царство небесное, вечный покой... Сказывают, поздно захватили... Надо бы раньше...

Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стучается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина-сапожника.

– Ты что же это, паршивая? – говорит он. – Дитё плачет, а ты спишь?

Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталон и пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать; она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься.

– Подайте милостынки Христа ради! – просит мать у встречных. – Явите божескую милость, господа милосердные!

– Подай сюда ребенка! – отвечает ей чей-то

знакомый голос. – Поддай сюда ребенка! – повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. – Спишь, подлая?

Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело: нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, смотрит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синее небо, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро.

– Возьми! – говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. – Плачет. Должно, сглазили.

Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется! Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются и голова тяжела.

– Варька, затопи печку! – раздается за дверью голос хозяина.

Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топтит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли.

– Варька, поставь самовар! – кричит хозяйка.

Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ:

– Варька, почисти хозяину калоши!

Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней немножко... И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собою всю комнату, Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах.

– Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно!

Варька моет лестницу, убирает комнаты,

потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной.

Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать.

День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости.

– Варька, ставь самовар! – кричит хозяйка.

Самовар у хозяев маленький, и прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогреть его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний.

– Варька, сбегай купи три бутылки пива!

Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон.

– Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку!

Но вот наконец гости ушли; огни тушатся, хозяйева ложатся спать.

– Варька, покачай ребенка! – раздаётся последний приказ.

В печке кричит сверчок; зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову.

– Баю-баюшки-баю, – мурлычет она, – а я песенку спою...

А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она всё понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, смотрит вверх на мига-

ющее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить.

Этот враг – ребенок.

Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются.

Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам... Убить ребенка, а потом спать, спать, спать...

Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...

# Степь

(История одной поездки)

## I

**И**з N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении; ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, – и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом.

В бричке сидело двое N-ских обывателей: N-ский купец Иван Иванович Кузьмичов, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой – отец Христофор Сирийский, настоятель N-ской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок в сером парусино-

вом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом, цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал голову, чтобы прогнать дремоту; на лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего; второй же влажными глазками удивленно глядел на мир божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичов, так и о. Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили... Настроение духа у обоих было прекрасное.

Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир – мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичова. С разрешения дяди и с благословения о. Христофора, он ехал куда-то поступать в гимназию.

Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию; и теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтоб не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузыряем вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать.

Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестящий на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской божией матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник; а еще ранее, на Пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пи-

роги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия.

Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла всё позади. За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними уютное, зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит,

СПИТ...

А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью...

За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал...

– Ну, не отрevelся еще, рёва! – сказал Кузьмичов. – Опять, баловник, слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой не тянет!

– Ничего, ничего, брат Егор, ничего... – забормотал скороговоркой о. Христофор. – Ничего, брат... Призывай бога... Не за худом едешь, а за добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье – тьма... Истинно так.

– Хочешь вернуться? – спросил Кузьмичов.  
– Хо... хочу... – ответил Егорушка, всхлипы-

вая.

– И вернулся бы. Всё равно попусту едешь, за семь верст киселя хлебать.

– Ничего, ничего, брат... – продолжал о. Христофор. – Бога призывай... Ломоносов так же вот с рыбаками ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу... Так-то.

– Польза разная бывает... – сказал Кузьмичов, закуривая дешевую сигару. – Иной двадцать лет обучается, а никакого толку.

– Это бывает.

– Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра – женщина непонимающая, норовит всё по благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку на век осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

– А ежели все будут торговать и хлеб сеять,

тогда некому будет учения постигать.

И думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичов и о. Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание.

Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается... Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охвати-

ла холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутьму, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – всё, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росой и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропадок, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «трррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затаили в траве свою скрипучую, монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, бурозеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в

степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски...

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит всё одно и то же – небо, равнину, холмы... Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелой несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница...

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и – опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи...

Но вот, слава богу, навстречу едет воз со

снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора.

– На людей едешь, пухлая! – кричит Дениска. – Ишь, рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится... А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь – бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастливы ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное – всю жизнь один, один... За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят... Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а ко-

сы весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: «Вжжи, вжжи!» По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно смотрит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед...

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница и всё еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички.

О. Христофор и Кузьмичов молчали. Де-

ниска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и десяти верст, а он уже думал: «Пора бы отдохнуть!» С лица дяди мало-помалу сошло благодущие и осталась одна только деловая сухость, а бритому, тощему лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое, инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир божий и улыбаться. Молча, он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодущная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары...

– А что, Дениска, догоним нынче обозы? – спросил Кузьмичов.

Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил:

– К ночи, бог даст, догоним...

Послышался собачий лай. Штук шесть громадных степных овчарок вдруг, выскочив

точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они, необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей... Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли; и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что, свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута.

Бричка поравнялась с отарой овец.

– Стой! – закричал Кузьмичов. – Держи!

Тпрр...

Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.

– Поди сюда! – крикнул Кузьмичов чебану. – Уйми собак, будь они прокляты!

Старик-чебан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке – совсем ветхозаветная фигура – унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.

– Чья это отара? – спросил Кузьмичов.

– Варламовская! – громко ответил старик.

– Варламовская! – повторил чебан, стоявший на другом краю отары.

– Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?

– Никак нет... Приказчик ихний проезжали, это точно...

– Трогай!

Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась всё больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое,

заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце.

Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она всё уходила влево и не исчезала из глаз.

– Славный ветряк поставил сыну Болтва! – заметил Дениска.

– А что-то хутора его не видать.

– Он туда, за балочкой.

Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк всё ещё не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!

Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползлась в лужицу; горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу; но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такою же речонкой, потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать

и кормить лошадей. Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкой и распряженными лошадьми, на разостланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу о. Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал:

– Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста бог вложил в меня смысл и понятие, так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски всё равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного, он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Puer bone, quam appellaris?»[1] А я отвечаю: «Christophorus sum».[2] А он: «Ergo connominati sumus», то есть, мы, значит, тезки... Потом спрашивает

по-латынски: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, говорил отец, весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с че-

стью. Послушание паче поста и молитвы!

– Должно быть, вы уж все науки забыли! – заметил Кузьмичов.

– Как не забыть? Слава богу, уж восьмой десяток пошел! Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл.

О. Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса:

– Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению.

Он покрутил головой и засмеялся от удивления.

– Духовная пища! – сказал он. – Истинно, материя питает плоть, а духовная пища душу!

– Науки науками, – вздохнул Кузьмичов, – а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука.

– Человек – не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится.

Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно же-

вали и пофыркивали; Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он аппетитно, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти.

– Дениска, где ты там! Поди ешь! – сказал Кузьмичов, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся.

Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков» (выбрать поменьше и посвежее он посоветился), взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.

– Бери, бери! – поторопил его Кузьмичов. Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле, спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое же-

ванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску.

Закусивши, Кузьмичов достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке:

– Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили.

О. Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на о. Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он, со своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофор и Кузьмичов легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.

– Поглядывай, чтоб кто коней не увел! – сказал он Егорушке и тотчас же заснул.

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапыва-

ли спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.

Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назад. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире; на нем лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заме-

тил, как очутился опять возле брички. Дядя и о. Христофор крепко спали; сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади... Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя! Задача мудреная... Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки; во рту его стало холодно и запахло болиголовом; пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов... Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столь-

ко само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так, в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя... И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и всё такое, что не могло сниться Кузьмичову.

В то время, как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну;

она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...

Егорушка послушал немного и ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее... Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала; из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачовую рубаху Егорушки.

Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять, от нечего делать, занялся стружкой воды.

И опять послышалась тягучая песня. Пела всё та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачовую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство; быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил:

– Тебя как звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом:

– Тит.

Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра.

Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову... Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет... Не хотел ли бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на

одном месте?

Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше... Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убежавшею далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза...

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил:

– Анафема идолова, нет на тебя погибели!

Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фыркание и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил:

– Скоро поедем?

Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил:

– Должно, скоро.

Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге.

– А ну-ка, кто скорей доскачет до осоки! – сказал он.

Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около 20-ти лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасыванья камешков. Всякому взрослому, при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет, лишь бы не дрался! Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой, искренний

пес и начинает играть с ними.

Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке, не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке? Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел.

Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичов распекал его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве.

– Есть! – прохрипел он торжествующе и, вставши, поднес к глазам Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по ши-

рокой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насо- савшуюся крови, и предложил ее кузнечику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху; она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичов. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варлаамове.

– Отец Христофор, вставайте, пора! – заговорил он встревоженно. – Будет спать, и так уж дело проспали! Дениска, запрягай!

О. Христофор проснулся с такою же улыбкою, с какою уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша выта-

щил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шёпотом читать и креститься.

– Отец Христофор! – сказал укоризненно Кузьмичов. – Пора ехать, уж лошади готовы, а вы ей-богу...

– Сейчас, сейчас... – забормотал о. Христофор. – Кафизмы почитать надо... Не читал еще нынче.

– Можно и после с кафизмами.

– Иван Иванович, на каждый день у меня положение... Нельзя.

– Бог не взыскал бы.

Целую четверть часа о. Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичов почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда о. Христофор после каждой «славы» втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтоб другие крестились, говорил трижды:

– Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава тебе, боже!

Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал:

– Fini![3]

Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы всё еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и всё те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух всё больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью – я, мол, готово – и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и

перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекасти-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекасти-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке.

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков... Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно испуганный облаком пыли, понесся в сторону и долго еще было видно его мелькание...

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за ветром, а не против, как все пти-

цы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. О. Христофор и Кузьмичов, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы... Хорошо, если бы брызнул дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу...

Затем скоро наступил вечер.

### III

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоянным двором, хотя возле него никакого двора не было и стоял он посреди степи, ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи.

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса – один мужской, другой женский, – завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоянного двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный чер-

ный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навыпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов.

Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

– Ах, боже мой, боже мой! – заговорил он тонким певучим голосом, задыхаясь, суется и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички. – И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я таперишка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше

прошу... милости просим! Давайте мне все ваши вещи... Ах, боже мой!

Мойсей Мойсеич, шаря в бричке и помогая приедем вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь:

– Соломон! Соломон!

– Соломон! Соломон! – повторил в доме женский голос.

Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких кудрявых волос; одет он был в короткий, очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Мойсея Мойсеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.

– Иван Иваныч и отец Христофор приехали! – сказал ему Мойсей Мойсеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. – Ай, вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соло-

мон, вещи! Пожалуйте, дорогие гости!

Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой да трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения (думалось, что их пробил каблуком всё тот же силач), и казалось, если бы в комнате повеси-

ли десятков ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: «Равнодушные человеков». К чему человеки были равнодушны – понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.

Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать – всё это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.

– Когда проехали тут наши подводы? – спросил его Кузьмичов.

– Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала.

– А... Проезжал тут Варламов или нет?

– Нет, Иван Иваныч. Вчера утречком про-

езжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он, надо быть, таперичка на хуторе у молокана.

– Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.

– Да бог с вами, Иван Иваныч! – ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. – Куда вы на ночь поедете? Вы поужиайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!

– Некогда, некогда... Извините, Мойсей Мойсеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.

– Четверть часика! – взвизгнул Мойсей Мойсеич. – Да побойтесь вы бога, Иван Иваныч! Вы меня заставите, чтоб я ваши шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

– Некогда нам с чаями да с сахарáми, – сказал Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:

– Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч!

– Что ж, чайку можно попить, – сочувственно вздохнул отец Христофор. – Это не задержит.

– Ну, ладно! – согласился Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона:

– Роза! Роза! Давай самовар!

Через минуту отворилась дверь и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно – явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходя-

щей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:

– Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?

Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.

Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче высту-

пали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, оципанная фигурка.

Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.

– Приятного аппетита! Чай да сахар! – начал он занимать гостей. – Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? – спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.

– Это сынок сестры Ольги Ивановны, – ответил Кузьмичов.

– А куда же он едет?

– Учиться. В гимназию его везем.

Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.

– О, это хорошо! – сказал он, грозя самовару пальцем. – Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это

хорошо!

Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:

– Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.

– Да, вздумал вот на старости лет... – сказал о. Христофор и засмеялся. – Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице... Суета!

– Зато грошей будет много!

– Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы!

– Отчего же он сам не поехал?

– А оттого... Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать – ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом

приходит ко мне и – «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!» То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними!

– Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! – вздохнул Мойсей Мойсеич. – У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!

– М-да... – согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан. – Мне-то, собственно, нечего бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай бог всякому... Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да богу молюсь, а больше мне ничего

и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было и теперь ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Всё у меня есть и всё слава богу. Счастливей меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один бог без греха. Ведь верно?

– Стало быть, верно.

– Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се... одышка и всякое там... Болею, плоть немощна, ну да ведь, сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.

О. Христофор вдруг что-то вспомнил, приснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.

– Потеха! – сказал о. Христофор и махнул рукой. – Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах... Хорошо-с... Я ему и говорю: «Вот, говорю, одышка, то да се... Ты доктор, лечи от-

ца!» Он сейчас меня раздел, постучал, послушал, разные там штуки... живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом».

О. Христофор захохотал судорожно, до слез и поднялся.

– А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» – выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. – Бог с ним, с этим сжатым воздухом!

Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.

– Бог с ним, с этим сжатым воздухом! – повторил о. Христофор, хохоча.

Мойсей Мойсеич взял двумя ногами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.

– О, боже мой... – стонал он среди смеха. – Дайте вздохнуть... Так насмешили, что... ох!.. – смерть моя.

Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и

ненавидел серьезно, но это так не шло к его оципанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей.

Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичов расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.

– Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем, – сказал Кузьмичов.

Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.

– В рублевых пачках по сколько? – начал о. Христофор.

– По пятьдесят... В трехрублевых по девяносто... Четвертные и сторублевые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да смотрите, не просчитайте...

Егорушка отродясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую о. Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников; теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.

– Ах, деньги, деньги! – вздыхал о. Христо-

фор, улыбаясь. Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу.

– Ваш Михайло Тимофеич человек непонимающий, – говорил вполголоса Кузьмичов, – не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения...

– Нет, Иван Иванович, – вздыхал о. Христофор. – Благодарим вас за внимание... Конечно, ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой...

Вошел на цыпочках Мойсей Мойсеич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.

– А пойдем-ка, паничок, – сказал он вполголоса, – какого я тебе медведика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Мойсеем Мойсеичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде

чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространился по всему дому. Одна половина комнаты была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комодѣ горела сальная свечка.

Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками; она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.

– Кушай, детка, кушай! – сказала она. – Ты здесь без маменьке, и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Мойсей Мойсеич и еврейка глядели и вздыхали.

– Ты куда едешь, детка? – спросила еврейка.

– Учиться, – ответил Егорушка.

– А сколько вас у маменьке?

– Я один. Больше нету никого.

– А-ох! – вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. – Бедная маменьке, бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума! Ох!

– Ах, Наум, Наум! – вздохнул Мойсей Мойсеич, и на его бледном лице нервно задрожала кожа. – А он такой больной.

Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали гово-

рить о чем-то по-еврейски. Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и в общем его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту...». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая... Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра.

– Гал-гал-гал-гал... – говорил Мойсей Мойсеич.

– Ту-ту-ту-ту... – отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник, в виде сердца.

– Возьми, детка, – сказала она, подавая Егорушке пряник. – У тебя теперь нету маменьке, некому тебе гостинца дать.

Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором

жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уж не мешал себе думать.

Кузьмичов только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валял их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам.

О. Христофор беседовал с Соломоном.

– Ну, что, Соломон премудрый? – спрашивал он, зевая и крестя рот. – Как дела?

– Это вы про какие дела говорите? – спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

– Вообще... Что поделываешь?

– Что я поделываю? – переспросил Соломон и пожал плечами. – То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

– То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

– Почему? А потому, что нет такого барина

или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Мойсей перед вами.

О. Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

– Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

– Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, – ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. – Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!

Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сильным от душившей его ненависти, картавя и

спеша, заговорил об евреях; сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.

– Постой... – перебил его о. Христофор. – Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех; тот последний человек, кто над своей верой глумится.

– Вы ничего не понимаете! – грубо оборвал его Соломон. – Я вам говорю одно, а вы другое...

– Вот и видно сейчас, что ты глупый человек, – вздохнул о. Христофор. – Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: бла-бла-бла! Чудак, право...

Вошел Мойсей Мойсеич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя; мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти и когда тень от его длинного носа пересекала всю левую ще-

ку; презрительная улыбка, смешанная с этой тенью, блестящие, насмешливые глаза, надменное выражение и вся его оципанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, – вероятно, на нечистого духа.

– Какой-то он у вас бесноватый, Мойсей Мойсеич, бог с ним! – сказал с улыбкой о. Христофор. – Вы бы его пристроили куда-нибудь, или женили, что ли... На человека не похож...

Кузьмичов сердито нахмурился. Мойсей Мойсеич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.

– Соломон, выйди отсюда! – строго сказал он. – Выйди!

И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.

– А что такое? – испуганно спросил Мойсей Мойсеич о. Христофора.

– Забывается, – ответил Кузьмичов. – Грубиян и много о себе понимает.

– Так и знал! – ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. – Ах, боже мой! Боже мой! – забормотал он вполголоса. – Уж вы

будьте добрые, извините и не сердчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, но кроме горя от него ничего не видел. Ведь он, знаете...

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба и продолжал:

– Не в своем уме... пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится... Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене... А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это божья воля, а я разве виноват?

Прошло минут десять, а Мойсей Мойсеич всё еще бормотал вполголоса и вздыхал:

– Ночью он не спит и всё думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит... И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоянный двор, женился и таперичка деточек

имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза... Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. О. Христов, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Мойсей Мойсеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как ни в чем не бывало, стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.

– Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто! – стонал Мойсей Мойсеич с мучительно-сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. – Мы люди простые, ваше сиятельство!

Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло, действительно, сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

– Проезжал здесь сегодня Варламов? – спросил женский голос.

– Нет, ваше сиятельство! – ответил Мойсей Мойсеич.

– Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку.

Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные, бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.

– Какой хорошенький мальчик! – сказала дама. – Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый...

И дама крепко поцеловала Егорушку в обе

щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто-то входил и выходил.

– Егорушка! Егорушка! – раздался густой шёпот двух голосов. – Вставай, ехать!

Кто-то, кажется, Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.

– Тпрр! – донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться; он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над

ними.

– Графиня Драницкая, – прошептал о. Христофор, полезая в бричку.

– Да, графиня Драницкая, – повторил Кузьмичов тоже шёпотом.

Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шёпотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назад вместо постоянного двора виден уж был один только тусклый огонек.

## IV

Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих местах» и что его всегда ищут.

Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не «кружилась», а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех

польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса, на утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных самоваров, ели всё необыкновенное (например, зимою, на Рождество, подавались малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь...

«А какая она красивая!» – думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку.

Кузьмичов, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал:

– Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.

– От ляха иного и ждать нельзя, – сказал о. Христофор.

– А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит!

Егорушке почему-то хотелось думать только о Варлаамове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами – стоит только хорошенько встряхнуть головой – исчезают бесследно; да и всё, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное, налево всё небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсеича под одеялом.

В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных ба-

лочках соловьи, не пахнет цветами, но степь всё еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты – всё мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы, или раздастся неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-а!», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается истерическим плачем – это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и

жалобы... Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен.

Сквозь мглу видно всё, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Всё представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в руках... Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрение.

А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят

угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы... Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утратить хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.

Едешь час-другой... Попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки нянь-

ки-степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!

– Тпрр! Здорово, Пантелей! Всё благополучно?

– Слава богу, Иван Иваныч!

– Не видали, ребята, Варламова?

– Нет, не видали.

Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали ка-

кие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади – маленькими и коротконогими.

– Так мы, значит, теперь к молокану поедем! – громко говорил Кузьмичов. – Жид сказывал, что Варламов у молокана ночует. В таком случае прощайте, братцы! С богом!

– Прощайте, Иван Иваныч! – ответило несколько голосов.

– Вот что, ребята, – живо сказал Кузьмичов, – вы бы взяли с собой моего парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..

Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.

– Эй, возьми свою пальтишку! – крикнул где-то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелок, сброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая

ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.

«Спать, спать, спать...» – думал он.

– Вы же, черти, его не забижайте! – слышался снизу голос Дениски.

– Прощайте, братцы! С богом! – крикнул Кузьмичов. – Я на вас надеюсь!

– Будьте покойны, Иван Иванович!

Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:

– Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий... Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка крепче взялся рукой за веревку, которою был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать

так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели...

Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно паялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее... Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы, и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили – это видно было по дыму, который шел из всех труб и сизой прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса,

хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!

По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь всё меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лило-

вой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.

Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около двадцати и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как о. Христофор, но с лицом, бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похло-

пывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза:

– А, проснулся, молодчик! Сыном Ивану Ивановичу-то доводишься?

– Нет, племянник...

– Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее... Слободнее, молодчик... То есть без сапогов-то... Значит, племянник? А он хороший человек, ничего... Дай бог здоровья... Ничего... Я про Ивана Иваныча-то... К молокану поехал... О, господи, помилуй!

Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.

Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он огля-

нулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой, очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросающаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос.

Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную, прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг возможно пошире; когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстают. Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он

был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары навывпуск, а обут в лапти.

Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавши разговор, он уж не прекращал его.

– Ты куда же едешь? – спросил он, притопывая ногами.

– Учиться, – ответил Егорушка.

– Учиться? Ага... Ну, помогай царица небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три... Иному три, это верно... Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то... А помрем все как есть.

Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:

– Максим Николаич, барин из-под Славя-

носербска, в прошлом году тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший... Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье... В Славяносербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету... А город ничего, хороший... Школа обыкновенная, для простого звания есть, а чтоб насчет большого ученья, таких нету... Нету, это верно. Тебя как звать?

– Егорушка.

– Стало быть, Егорий... Святого великомученика Егоргия Победоносца числа двадцать третьего апреля. А мое святое имя Пантелей... Пантелей Захаров Холодов... Мы Холодовы будем... Сам я уроженный, может, слышал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик... Мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда... домой то есть. И в деревне был, и в городе... В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю... Может, кто и помер... А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть

ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуше лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоги божии запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно... Потому ей бог в небесех такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.

Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Всё рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносербска:

– Да, повез парнишку... Повез, это верно...

Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русский, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху навыпуск. Этот разразился басистым кашляющим смехом и закричал:

– Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!

Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливым: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русский Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.

– Это не змея, а уж, – крикнул кто-то.

Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.

– Каторжный! – закричал он глухим, плачущим голосом. – За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, ужика убил! А ежели бы тебя так?

– Ужа нельзя убивать, это верно... – покойно забормотал Пантелей. – Нельзя... Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная... Человека любит... Уж-то...

Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:

– Дед, ну за что он убил ужика?

Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, болезненное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.

– Дед, ну за что убил? – повторил он, шагая рядом с Пантелеем.

– Глупый человек, руки чешутся, оттого и

убил, – ответил старик. – А ужа бить нельзя... Это верно... Дымов, известно, озорник, всё убьет, что под руку попадет, а Кирюха не вступился. Вступить бы надо, а он – ха-ха-ха, да хо-хо-хо... А ты, Вася, не серчай... Зачем серчать? Убили, ну и бог с ними... Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума... Ничего... Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно... Потому человек образованный, а они глупые... Емельян-то... Он не тронет.

Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поровнялись с ним, пошел рядом.

– О чем разговор? – спросил он сиплым, придушенным голосом.

– Да вот Вася серчает, – сказал Пантелей. – Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит... Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка господня!

– Это от ходьбы, – заметил Вася.

– Не, паря, не... Не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь – смерть моя. Ходить мне вольготней.

Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крикнул.

– Нету у меня голосу! – сказал он. – Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в голове и в глотке... так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету голосу!

Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал:

– Пятнадцать лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу всё равно, что работнику без руки.

– Это верно, – согласился Пантелей.

– Об себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего.

В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.

– И паничек с нами едет! – сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. – Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить.

Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.

За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодезь свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что

Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном, потом поперхнулся и громко, на всю степь, произнес штук пять нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно, Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу; он громко засмеялся и крикнул:

– Братцы, старик ночью мальчишку родил!

Кирюха закашлялся от басового смеха. Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек.

Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки... А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку.

Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул

из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.

– Дед, зачем ты пьешь из лампадки? – удивился Егорушка.

– Кто пьет из ведра, а кто из лампадки, – ответил уклончиво старик. – Каждый по-своему... Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье...

– Голубушка моя, матушка-красавица, – заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. – Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.

– Кому это ты? – спросил Кирюха.

– Лисичка-матушка... легла на спину и играет, словно собачка...

Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как по-

том убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только взглянуть в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Немудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву – это видел всякий, проезжавший степью, – но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои «точки». Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.

Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила, к себе.

Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний мальчик-хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах навыпуск, болтавшихся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому берегу и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно.

В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя

на Степку, быстро разделись и, один за другим, с громким смехом и предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.

– Ге-ге-ге! – кричал он. – Лови, держи его!

Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше: глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная наощупь, подхватила его и понесла обратно вверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеле-

ное, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх, он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды всё, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь: лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и встоячую – как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск – то Степка и Кирюха «драли» раков.

– Рак! Гляди, братцы: рак! – закричал торжествующе Кирюха и показал действительно рака.

Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебыва-

ьясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:

– Дурак! Я тебе в морду дам!

Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил:

– Мерзавец! Сукин сын!

А Дымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал:

– Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!

– А что ж? – согласился Кирюха. – Должно, тут много рыбы...

– Степка, побегии на деревню, попроси у мужиков бредня!

– Не дадут!

– Дадут! Ты попроси! Скажи, чтоб они заместо Христа ради, потому мы всё равно – стран-

ники.

– Это верно!

Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колена в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другою гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбрать ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос.

– А ты отчего не купаешься? – спросил Егорушка у Васи.

– А так... Не люблю... – ответил Вася.

– Отчего это у тебя подбородок распух?

– Болит... Я, паничек, на спичечной фабрике работал... Доктор сказывал, что от этого са-

мого у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих ребят черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.

Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша; тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой; последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредне, оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость.

– Глыбоко, – хрипел Кирюха. – Ничего не поймаешь!

– Не дергай, чёрт! – кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. – Держи руками!

– Тут вы не поймаете! – кричал им с берега Пантелей. – Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево! Там мельче!

Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка; все ахнули, а Дымов ударил кулаком по

тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.

– Эх! – крикнул Пантелей и притопнул ногами. – Прозевали чикамаса! Ушел!

Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста; видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колена, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем – не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал:

– Поглядите, какой чикамас! Таких уж

штук пять есть!

Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали; изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали...

– Что там? – кричали им с берега.

Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.

– Уже полное! – кричал он, тяжело дыша. – Давайте другое!

Егорушка заглянул в ведро: оно было полно; из воды высывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду; щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье.

– Братцы, – удивился Степка, – Васька пискаря живьем ест! Тьфу!

– Это не пискарь, а бобырик, – покойно ответил Вася, продолжая жевать.

Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какою он жевал пискаря, делали его похожим на животное.

Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около возов, подумал и от скуки поплелся к деревне.

Немного погодя он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от недавнего купанья, он узнал Емельяна. Затылок был вы-

стрижен под скобку и выше, чем принято; виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сильный голос, робкий вид во время купанья и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое.

– А я здесь! – сказал он, дернув его за рукав.

Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него исподлобья и сказал:

– Не балуйся в церкви!

Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Поза-

ди них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчовую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий, бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить! Я этого не люблю...» Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы.

Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами,

чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.

– Раздавали уж просфору? – спросил он.

– Нету, нету... – угрюмо забормотал сторож. – Нечего тут...

Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков, и всё, что теперь попало ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин: в одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты; из той, другой, шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и кабанчестическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому великоросс. Он пил

чай вприкуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Ужо погоди, задам я тебе!»

– Дай мне на копейку подсолнухов! – обратился к нему Егорушка.

Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящички с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина:

– Почему эти пряники?

– Копейка пара.

Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:

– А такие пряники у тебя почему?

Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.

– Такие? – спросил он.

Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:

– Три копейки пара...

Наступило молчание.

– Вы чьи? – спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.

– Племянник Ивана Иваныча.

– Иваны Иванычи разные бывают, – вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: – Чайку не желаете ли?

– Пожалуй... – согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннем чае.

Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, всё время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.

– Хиба це овес? – сказал печально покупатель. – Це не овес, а полова, курам на смих... Ни, пиду к Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки.

Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поем...» Дымов бродил около лошадей.

Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили всё в кипевшую воду.

– Класть сала? – спросил Степка, снимая ложкой пену.

– Зачем? Рыба свой сок пустит, – ответил Кирюха.

Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду три пригоршни пшена и

ложку соли; в заключение он попробовал, по-чмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул – это значило, что каша уже готова.

Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.

– Вы! Дайте парнишке ложку! – строго заметил Пантелей. – Чай, небось, тоже есть хочет!

– Наша еда мужицкая!.. – вздохнул Кирюха.

– И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота.

Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.

– Дед, а ты чего не ешь? – спросил его Емельян.

– Не ем я раков... Ну их! – сказал старик и брезгливо отвернулся.

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и, прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как всё было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, всё измельчало и

сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадьми и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз как бобыля-работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь.

Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.

– Ты, нехристь, сними шапку! – сказал он грубо. – Нешто можно в шапке есть? А еще тоже барин!

Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова,

но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло.

После обеда все поплелись к возам и повалялись в тень.

– Дед, скоро мы поедем? – спросил Егорушка у Пантелея.

– Когда бог даст, тогда и поедем... Сейчас не поедешь, жарко... Ох, господи твоя воля, владычица... Ложись, парнишка!

Скоро из-под возов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком.

## VI

Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал; в воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе... Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды.

Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и всё то, что считал раньше близким и

родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...

Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями; он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу; припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку... Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и, в конце концов, изнемогши от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он ни старался вообразить

себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему; лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет...

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел вниз и делал переключку своим мыслям.

– Ничего... хорошие господа... – бормотал он. – Повезли парнишку в ученье, а как он там, не слышать про то... В Славяносербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума доводить... Нету, это верно... А парнишка хороший, ничего... Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Так от бога положено... Чти отца твоего и мать твою... У меня у самого были детки, да погорели... И жена сгорела, и детки... Это верно, под Крещенье ночью загорелась изба... Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В Орел... Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками... Да... На другой день одни только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку; они исчезли в потемках, но всё время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали; значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном; хотя и светила луна, но за красным пятном всё казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги; в темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначались возы с тюками и лошади. В двадцати шагах от костра, на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый, покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги.

Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока пока-

жется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь; тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало... Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву.

Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое... Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней и кажется, что кузнецы кричат сдержанней... И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроет-

ся мглою...

– Дед, зачем это крест стоит? – спросил Егорушка.

Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил:

– Микола, это, бывает, не то место, где косари купцов убили?

Дымов нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил:

– Оно самое...

Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул; Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около возов пробежала тень от креста.

– Да, убили... – сказал нехотя Дымов. – Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы, известно, народ хвастливый, не дай бог... Не утерпит, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услышали это они, как купец

хвастает, и взяли себе во внимание.

– О, господи... владычица! – вздохнул Пантелей.

– На другой день чуть свет, – продолжал Дымов, – купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. «Пойдем, ваше степенство, вместе. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое...» Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку...

Дымов стал на колени и потянулся.

– Да, – продолжал он, зевая. – Всё ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын, молодец был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить... Ну, конечно, те одолели, потому их человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось; кончили свое дело и стащили с дороги обоих, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть... Цел ли – не знаю... Отсюда не видать.

– Цел, – сказал Кирюха.

– Сказывают, денег потом нашли мало.

– Мало, – подтвердил Пантелей. – Рублей

сто нашли.

– Да, а трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косой порезал... Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты четыре без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели – в нем души нет, помер...

– По кровяному следу его нашли... – сказал Пантелей.

Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно из балочки, донесся грустный крик птицы: «Сплю! сплю! сплю!..»

– Злых людей много на свете, – сказал Емельян.

– Много, много! – подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. – Много, – продолжал он вполголоса. – Перевидал я их на своем веку видимо-невидимо... Злых-то людей... Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть... Спаси и помилуй, царица небесная... Помню раз, го-

дов тридцать назад, а может и больше, вез я купца из Моршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах... купец-то... Хороший человек, ничего... Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов, или, скажем, как клуни[4] в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и всё как следует быть. Так вот, братцы, помолился я богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этак немножко, вот как до возов примерно, и вижу – огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и акромья меня с купцом других постояльцев не было... Откуда огню быть? Взяло меня сумнение... Подошел я поближе... к огню-то... Господи, помилуй и спаси, царица небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой... в доме-то... Лег я на землю и поглядел; как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз...

Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал.

– Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный... На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек десять народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат... Эге! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам... Что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо... Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали». Он сменился с лица и спрашивает: «Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много... Насчет души, говорит, моей волен господь бог, не боюсь помереть, а, говорит, страшно сиротские деньги загубить...» Что тут прикажешь делать? Ворота запертые, некуда ни выехать, ни выйти... Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый!.. – «Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись богу. Может, господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не пода-

вай, а я тем временем, может, и придумаю что...» Ладно... Помолился я богу, и наставил меня бог на ум... Взлез я на свой тарантас и тихонько... тихонько, чтоб никто не слышал, стал обдирать солому в стрехе, проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то... Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти... Может, верст пять пробежал одним духом, а то и больше... Благодарить бога, вижу – стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. «Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить...» Побудил всех... Собрались мужики и пошли со мной... Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами... Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал... А разбойники ножик-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть, перевязали и повели к начальству. Купец им на радость три сотенных пожертвовал, а мне пять лобанчиков[5] дал и имя мое в поминанье к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человеческих нашли видимо-невидимо. Костей-то... Они, значит, грабили народ, а потом

зарывали, чтоб следов не было... Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.

Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.

– Сало-то готово? – спросил его шёпотом Кирюха.

– Погоди маленько... Сейчас.

Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к возам; скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.

– Ехал я в другой раз тоже с купцом... – продолжал Пантелей по-прежнему вполголоса и не мигая глазами. – Звали его, как теперь помню, Петр Григорьич. Хороший был человек... купец-то... Остановились мы таким же манером на постоялом дворе... Он в комнатке, я при лошадях... Хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чует мое сердце! Чует, да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много, а всё как будто страшно, не по себе. Все давно

позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо, а я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю, словно сыч какой. Только, братцы, это самое, слышу: туп! туп! туп! Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову, гляжу – стоит баба в одной рубахе, босая... – «Что тебе, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это самое, лица на ей нет... – «Вставай, говорит, добрый человек! Беда... Хозяева лихо задумали... Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались...» Ну, недаром сердце болело! – «Кто же ты сама?» – спрашиваю. – «А я, говорит, ихняя стряпуха...» Ладно... Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю: «Так и так, говорю, Петр Григорьич, дело не совсем чисто... Успеешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, говорю, да подобру-здорову подальше от греха...» Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте... гляжу – мать царица! – входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника... Значит, и работников подговорили... Денег у купца много, так вот, мол, поделим... У всех у пятерых в ру-

ках по ножичку длинному... По ножичку-то... Запер хозяин на замок двери и говорит: «Молитесь, проезжие, богу... А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью...» Где уж тут кричать? У нас от страху и глотку завалило, не до крику тут... Купец заплакал и говорит: «Православные! Вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, не я первый, не я последний; много уж нашего брата-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что же, говорит, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И так это жалостно говорит! А хозяин ему: «Ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Всё равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ... Молитесь богу, вот и всё тут, а разговаривать нечего!» Стали мы с купцом рядышком на колени, заплакали и давай бога молить. Он деток своих вспоминает, я в ту пору еще молодой был, жить хотел... Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет... А хозяйка, баба-то, глядит на нас и го-

ворит: «Вы же, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молитесь богу на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а бог-то нас и услышал. Сжалился, значит... В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтоб, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то ка-ак стукнет со двора по окошку! Все мы так и присели, а у хозяйна руки опустились... Постучал кто-то по окошку да как закричит: «Петр Григорьич, кричит, ты здесь? Собирайся, поедем!» Видят хозяйева, что за купцом приехали, испужались и давай бог ноги... А мы скорей на двор, запрягли и – только нас и видели...

– Кто же это в окошко стучал? – спросил Дымов.

– В окошко-то? Должно, угодник божий или ангел. Потому акромя некому... Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было... Божье дело!

Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль «длинные ножики» и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от ко-

го-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Всё может быть, но странно одно, что теперь и всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка всё принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сторели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было.

За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то

смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, – всё это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью.

Все ели из котла, Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки:

– Зачем это дед особо сидит?

– Он старой веры, – ответили шёпотом Стёпка и Вася, и при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке.

Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, наострил уши.

– Что такое? – спросил его Дымов.

– Человек какой-то идет, – ответил Вася.

– Где ты его видишь?

– Во-он он! Чуть-чуть белеется...

Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок; все прислушались, но шагов не было слышно.

– По шляху он идет? – спросил Дымов.

– Не, полем... Сюда идет. Прошла минута в молчании.

– А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен, – сказал Дымов.

Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись; стало стыдно за свой страх.

– Зачем ему гулять? – сказал Пантелей. – Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего... Купцы мученический венец приняли...

Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.

– Что-то несет, – сказал Вася.

Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул; мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса и подводчики вдруг увидели перед собой человека.

Огонь ли так мелькнул, или оттого, что

всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет тридцати, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий; вообще всё у него казалось длинным и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубашку с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попав из потемок в световой круг, он остановился, как вкопанный, и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» По-

том он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал:

– Хлеб да соль, братцы!

– Милости просим! – отвечал за всех Пантелей. Незнакомец положил около костра то, что держал в руках – это была убитая дрохва, – и еще раз поздоровался.

Все подошли к дрохве и стали осматривать ее.

– Важная птица! Чем это ты ее? – спросил Дымов.

– Картечью... Дробью не достанешь, не подпустит... Купите, братцы! Я б вам за двугривенный отдал.

– А на что она нам? Она жареная годится, а вареная, небось, жесткая – не укусишь...

– Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снести, те бы полтинник дали, да далече – пятнадцать верст!

Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть.

– Ты кто сам? – спросил его Дымов.

Незнакомец не слышал вопроса; он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.

– Я тебя спрашиваю: ты кто? – повторил Дымов.

– Я-то? – встрепенулся неизвестный. – Константин Звоник, из Ровного. Отсюда версты четыре.

И, желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить:

– Мы пасеку держим и свиней кормим.

– При отце живешь, али сам?

– Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь!.. Нынче восемнадцатый день, как обзаконился.

– Хорошее дело! – сказал Пантелей. – Жена ничего... Это бог благословил...

– Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, – засмеялся Кирюха. – Чудак!

Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул...

– Да господи, нету ее дома! – сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. – Нету! Поехала к матери на два дня! Ей-богу, она поехала, а я как неженатый...

Константин махнул рукой и покрутил голову; он хотел продолжать думать, но радость, которою светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью.

– Поехала в Демидово к матери! – сказал он, краснея и перекладывая на другое место ружье. – Завтра вернется... Сказала, что к обеду назад будет.

– А тебе скучно? – спросил Дымов.

– Да господи, а то как же? Без году неделя, как оженился, а она уехала... А? У, да бедовая, накажи меня бог! Там такая хорошая да слав-

ная, такая хохотунья да певунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи.

Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.

– Любишь, значит... – сказал Пантелей.

– Там такая хорошая да славная, – повторил Константин, не слушая, – такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. Уехала... А ведь скучает, я зна-аю! Знаю, сорочку! Сказала, что завтра к обеду вернется... А ведь какая история! – почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу, – теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить!

– Да ты ешь! – сказал Кирюха.

– Не хотела за меня выходить! – продолжал Константин, не слушая. – Три года с ней бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике, полюбил до смерти, хоть на шибеницу[6] полезай... Я в Ровном, она в Демидовом, друг от дружки за двадцать пять верст, и нет никакой моей

возможности. Засылаю к ней сватов, а она: не хóчу! Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и се-режки, и пряников, и меду полпуда – не хóчу! Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то ка-кая я ей пара? Она молодая, красивая, с поро-хом, а я старый, скоро тридцать годов будет, да и красив очень: борода окладистая – гвоз-дем, лицо чистое – всё в шишках. Где ж мне с ней равняться! Разве вот только что богато живем, да ведь и они, Вахраменки, хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел... Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи господи! Хочется ее повидать, а она в Демидове... И что ж вы думаете? Нака-жи меня бог, не брешу, раза три на неделе ту-да пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил! Такое затмение нашло, что даже в ра-ботники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился! Мать зна-харку звала, отец раз десять бить принимал-ся. Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в извозчики... Значит, не судьба! На Святой по-шел я в Демидово в последний разочек на нее

поглядеть...

Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.

– Гляжу, она с парубками около речки, – продолжал он. – Взяло меня зло... Отозвал я ее в сторонку и, может, с целый час ей разные слова... Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!

– А какие слова? – спросил Дымов.

– Слова? И не помню... Нешто вспомнишь? Тогда, как вода из жолоба, без передышки: та-та-та! А теперь ни одного такого слова не выговорю... Ну, и пошла за меня... Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без нее по ступу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!

Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от

изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра и, по походке, по движению его лопаток, видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.

А костер уже потухал. Свет уже не мелькал и красное пятно сузилось, потускнело... И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на той стороне неясно вырисовывался другой крест...

Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли... Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.

– Братцы, – сказал он умоляюще. – Давайте споем что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазах.

– Братцы! – повторил он, прижимая руку к сердцу. – Давайте споем что-нибудь божественное!

– Я не умею, – сказал Константин.

Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание...

Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так со-

вестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником... Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать...

От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся всё меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек – тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.

«Наша матушка Расия всему свету галава!» – запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость.

– Время ехать! – сказал Пантелей. – Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой.

– Прощайте, братцы! – крикнул он, когда

обоз тронулся. – Спасибо вам за хлеб за соль!  
А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!

И он скоро исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро; солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике, у самого переднего воза, разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные, невысокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.

– Дед, какая это деревня? – спросил Егорушка.

– Это, молодчик, армянские хутора, – отвечал Пантелей. – Тут армяшки живут. Народ ничего... армяшки-то.

Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.

– Экие дела, подумаешь! – вздохнул Панте-

лей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. – Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет... Степку послать бы!

– Дед, а кто это? – спросил Егорушка.

– Варламов.

Боже мой! Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда «кружится» и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.

– Ничего, хороший человек... – говорил Пантелей, глядя на хутора. – Дай бог здоровья, славный господин... Варламов-то, Семен Александрыч... На таких людях, брат, земля держится. Это верно... Петухи еще не поют, а он уж на ногах... Другой бы спал или дома с гостями тары-бары-растабары, а он целый день по степу... Кружится... Этот уж не упустит дела... Не-ет! Это молодчина...

Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил; жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

– Семен Александрыч, – крикнул Пантелей, снимая шляпу, – дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!

Но вот, наконец, от хутора отделился верховой. Сильно накренившись набок и помахая выше головы нагайкой, точно джигитуюя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротою птицы полетел к обозу.

– Это, должно, его объездчик, – сказал Пантелей. – У него их, объездчиков-то, человек, может, сто, а то и больше.

Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул:

– А где же записка Иванчука?

Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами; он стал говорить о чем-то, вероятно, оправдывался и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов

стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.

– Пошел вон! – крикнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой.

Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы лучше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Иванычем! У дяди Кузьмичова рядом с деловую сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось со-

знание силы и привычной власти над степью.

Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него; один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими, глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал картавя:

– Здагствуй, стагик!

Беседа Варламова с верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.

– Крутой старик... – бормотал Пантелей. – Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек... Не обидит задаром... Ничего...

Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман; жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.

## VII

**И** в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно; все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась.

У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти.

Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку; выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное... Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду; Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова.

Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.

– Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой! – сказал он, глядя со злобой на Емельяна. – Жадность! Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает – барин! Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит!

– Да ты что пристал? – спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.

– А то, что не суйся первый к котлу. Не понимай о себе много!

– Дурак, вот и всё, – просипел Емельян.

Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту.

– Певчий... – не унимался озорник, презрительно усмехаясь. – Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти да и пой: «Подайте милостыньки Христа ради!» Эх, вы!

Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:

– Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать!

– Да что ты ко мне пристал, мазепа? – вспыхнул Емельян. – Я тебя трогаю?

– Как ты меня обозвал? – спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. – Как? Я мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай ищи!

Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок.

Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо; ему захотелось скорее бежать к обозу в потемки, но злые, сучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:

– Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!

После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:

– На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Иванычу пожелаю! Ты не смеешь обижать Емельяна!

– Тоже, скажи пожалуйста! – усмехнулся Дымов. – Свиненок всякий, еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем; он – никогда с ним этого не было раньше – вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:

– Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него из глаз; ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами, и шептал:

– Мама! Мама!

И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, – всё теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужа-

сался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков? Где теперь дядя, о. Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге, но воспоминание о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его... И только когда он шептал: «мама! мама!» ему становилось как будто легче...

Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него... Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье.

Перед тем, как трогаться в путь, Дымов по-

дошел к Пантелею и спросил тихо:

– Как его звать?

– Егорий... – ответил Пантелей.

Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

– Ёра! – сказал он тихо. – На, бей!

Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

– Ничего, бей! – повторил Дымов.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал:

– Скушно мне!

Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:

– Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля, – сказал он, проходя мимо Емельяна. – Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молния и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула

вдали.

– Егорий, возьми! – крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

– Что это? – спросил Егорушка.

– Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо.

– Дед, гроза будет? – спросил Егорушка.

– Ах, ножки мои больные, стуженые! – говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.

Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.

– А он обложной! – крикнул Кирюха.

Между далью и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с

чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие, черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.

– Скушно мне! – донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. – Скушно!

Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травой такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше

нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекапти-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.

Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

– Пантелле-ей! – крикнул кто-то впереди. – А... а... ва!

– Не слыха-ать! – ответил громко и нараспев Пантелей.

– А... а... ва! Аря... а!

Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.

– Свят, свят, свят, господь Саваоф, – прошептал Егорушка, крестясь, – исполнь небо и земля славы твоя...

Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как молния блеснула так ши-

роко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда всё кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка, в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на возу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.

– Пантелей! – позвал Егорушка.

Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел

было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа, как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки.

Егорушка стоял на коленях или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры; колени удалось прикрыть, но зато меньше чем через минуту резкая, неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда всё кончится.

– Свят, свят, свят... – шептал он.

Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся облом-

ки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки.

«Тррах! тах, тах! тах!» – явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым – «трра!..»

Раньше молнии были только страшны, при таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что сделать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.

«Трах! тах! тах!» – понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось – «Ррра!»

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность: за возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал:

– Пантелей! Дед!

«Трах! тах! тах!» – ответило ему небо.

Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.

– Дед, великаны! – крикнул ему Егорушка, плача.

Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога...

Егорушка еще позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда всё кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

Но вдруг послышались голоса.

– Егоргий, да ты спишь, что ли? – крикнул внизу Пантелей. – Слезай! Оглох, дурачок!..

– Вот так гроза! – сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки.

Егорушка открыл глаза. Внизу около воза

стояли Пантелей, треугольник-Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом и, когда взгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светило окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светило окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния поло-совала всё небо.

– Гроза хорошая, ничего... – бормотал Пантелей. – Слава богу... Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего... Слез, Егоргий? Ну, иди в избу... Ничего...

– Свят, свят, свят... – просипел Емельян. – Беспременно где-нибудь ударило... Вы тутошние? – спросил он великанов.

– Не, из Глинова... Мы глиновские. У господ Платеров работаем.

– Молотите, что ли?

– Разное. Покеда еще пшеницу убираем. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не

было...

Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая, горбатая старуха, с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала.

– Грозу-то какую бог послал! – говорила она. – А наши в степу ночуют, то-то натерпятся сердешные! Раздевайся, батюшка, раздевайся...

Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызвало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, с головы текло...

– Что ж, хлопчик, раскорякой-то стоять? – сказала старуха. – Иди, садись!

Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.

– Кушай, батюшка! Больше угощать нечем... – сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный, острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоянных дворах разбойники режут купцов. – Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.

– Наши в степу ночуют... – вздыхала старуха, пока он ел. – Страсти господни... Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Кушай, батюшка, кушай...

Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо.

– Должно, часа два теперь, – сказала она. – Скоро и вставать пора. Наши-то в степу ночуют... Небось, вымокли все...

– Бабушка, – сказал Егорушка, – я спать хочу.

– Ложись, батюшка, ложись... – вздохнула старуха, зевая. – Господи Иисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит.

Проснулась, гляжу, а это грозу бог послал... Свечечку бы засветить, да не нашла.

Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

– Гроза-то не унимается, – бормотала она. – Как бы, неровен час, чего не спалило. Наши-то в степу ночуют... Ложись, батюшка, спи... Христос с тобой, внучек... Дыню-то я убирать не стану, может, вставши, покушаешь.

Вздохи и зеванье старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.

– Парнишка лег? – послышался через минуту шёпот Пантелея.

– Лег! – ответила шёпотом старуха. – Страсти-то, страсти господни! Гремит, гремит, и конца не слышать...

– Сейчас пройдет... – прошипел Пантелей, садясь. – Потихе стало... Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались... Ребя-

та-то... Нельзя... Уведут лошадей... Вот посижу маленько и пойду на смену... Нельзя, уведут...

Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шёпотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но всё тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали... Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился всё сильнее и сильнее.

Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка всё еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это: шёпот ли стариков, или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный, металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.

– Дед, мне холодно! – сказал он и не узнал своего голоса.

– Спи, внучек, спи... – вздохнула старуха.

Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. О. Христофор, не та-

кой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и с кропилом в руке, прошелся вокруг мельницы, покропил ее святой водой и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза.

– Дед! – позвал он. – Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине; на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой, наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк.

В его тяжелой голове путались мысли, во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой, липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал: пахнет медом. Ага, это еврейский пряник! Как он, бедный,

размок!

Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальней, рядом с мамашинными платьями; надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него, Егорушка почувствовал к нему жалость, вспомнил, что он и пальто – оба брошены на произвол судьбы, что им уж больше не вернуться домой, и зарыдал так, что едва не свалился с кизяка.

Большая белая собака, смоченная дождем, с ключьями шерсти на морде, похожими на папильотки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала: лаять или нет? Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.

– Это варламовские! – крикнул кто-то на улице.

Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мок-

рые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал: «Как скучно и неудобно быть мужиком!» Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю.

– Дед, мне холодно! – сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава.

– Ничего, скоро до места доедем, – зевнул Пантелей. – Оно ничего, согреешься.

Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками или же слышалось, как он тосковал: «Скушно мне!» Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!

Раз – это было уже перед вечером – он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквями; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив...

Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился; на лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, увидевший это, крякнул и покрутил головой.

– Захворал наш парнишка! – сказал он. – Должно, живот застудил... парнишка-то... На чужой стороне... Плохо дело!

## VIII

Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил:

– А мы еще вчера вечером приехали... Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!

Егорушка взгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.

– Дяденька и о. Христофор теперь в номере, – продолжал Дениска, – чай пьют. Пойдем!

И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором, действительно, за чайным столом сидели Иван Иваныч и о. Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.

– А-а, Егор Никола-аич! – пропел о. Христо-

фор. – Господин Ломоносов!

– А, господа дворяне! – сказал Кузьмичов. – Милости просим.

Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и о. Христофору и сел за стол.

– Ну, как доехал, рует bone?[7] – засыпал его о. Христофор вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновению, лучезарно улыбаясь. – Небось надоело? И не дай бог на обозе или на волах ехать! Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь всё такая ж протяженно-сложенная, как и была: конца краю не видать! Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава богу! Продали шерсть Черепихину и так, как дай бог всякому... Хорошо пользовались.

При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал о. Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что особенно пожаловаться. Но голос о. Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев

и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.

– Вот-те на! – удивился о. Христофор. – А как же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.

– Вот-те на! – повторил о. Христофор, поднимаясь и идя к дивану. – Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?

– Я... я болен! – проговорил Егорушка.

– Болен? – смутился о. Христофор. – Вот это уж и нехорошо, брат... Разве можно в дороге болеть? Ай, ай, какой ты, брат... а?

Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал:

– Да, голова горячая... Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал... Ты бога призывай.

– Хинины ему дать... – сказал смущенно Иван Иваныч.

– Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать... Георгий, хочешь супчику? А?

– Не... не хочу... – ответил Егорушка.

– Тебя знобит, что ли?

– Прежде знобило, а теперь... теперь жар. У меня всё тело болит...

Иван Иваныч подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крикнул и вернулся к столу.

– Вот что, ты раздевайся и ложись спать, – сказал о. Христофор, – тебе выспаться надо.

Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Иваныча, затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра; Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.

– Бейте его! Бейте его! – крикнул Егорушка.

– Бредит... – проговорил вполголоса о. Христофор.

– Хлопоты! – вздохнул Иван Иваныч.

– Надо будет его маслом с уксусом смазать.

Бог даст, к завтраму выздоровеет.

Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. О. Христофор и Иван Иваныч уже напились

чаю и о чем-то говорили шёпотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется; сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михайле толстый бумажник и скажет: «На, получай! Вот как надо дела делать!» Кузьмичов же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.

– Эх, кабы знатье, что Черепахин даст такую цену, – говорил он вполголоса, – то я б дома не продавал Макарову тех трехсот пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?

Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. О. Христофор шепнул ему что-то на ухо; тот сделал таинственное лицо, как заговорщик – понимаю, мол, – вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иванович постлал себе на полу, несколько раз зев-

нул, лениво помолился и лег.

– А завтра я в собор думаю... – сказал о. Христофор. – Там у меня ключарь знакомый. К преосвященному бы надо после обедни, да говорят, болен.

Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка.

– Говорят, не принимает, – продолжал о. Христофор, разоблачаясь. – Так и уеду, не по-видавшись.

Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузе. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал:

– Ломоносов, ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сел. О. Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.

– Во имя отца и сына и святого духа... – шептал он. – Ложись спиной кверху!.. Вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай... Как огонь, горячий! Небось в грозу в

дороге были?

– В дороге.

– Еще бы не захворать! Во имя отца и сына и святого духа... Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Ивановича, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили десять. Егорушка вспомнил, что еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал.

Ему казалось, что он недолго лежал, припавши лбом к спинке дивана, но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. О. Христофора и Ивана Ивановича не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло о. Христофором, который всегда издавал запах ки-

париса и сухих васильков (дома он делал из васильков кропила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь). Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом всё сухо и на потолке нет молний и грома.

Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное; от вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачовую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок и на пороге показался о. Христофор в своем цилиндре, с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя (старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние), он положил на стол просфору и какой-то сверток, по-

молился и сказал:

– Бог милости прислал! Ну, как здоровье?

– Теперь хорошо, – ответил Егорушка, целуя ему руку.

– Слава богу... А я из обедни... Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить спозаранку. Бог с ними!

Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.

– Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил, – сказал о. Христофор. – В будень не из чего бы роскошествовать, да, подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая...

Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой.

– Кушай, – сказал о. Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. – Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно

рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу[8] не слышал, а иной про Петра Могилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы всё понимать! Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки... географию, конечно, историю, богословие, философию, математику... А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда всё будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись да благодати набирайся, а уж бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли...

О. Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал:

– Апостол Павел говорит: на учения странна и различна не прилагайтесь. Конечно, если чернокнижие, буюсловие, или духов с того света вызывать, как Саул,[9] или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать

только то, что бог благословил. Ты соображайся... Святые апостолы говорили на всех языках – и ты учи языки; Василий Великий [10] учил математику и философию – и ты учи; святой Нестор [11] писал историю – и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся...

О. Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и pokrutil головой.

– Хорошо! – сказал он. – Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно... Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге; все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами запа nibрата: по-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю... И им приятно. Так-то вот, брат... Ученье свет, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно, тяжело: в теперешнее время ученье дорого обхо-

дится... Маменька твоя вдовица, пенсией живет, ну да ведь...

О. Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шёпотом:

– Иван Иваныч будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся.

Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише:

– Только ты смотри, Георгий, боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Иваныча. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иваныч тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!

О. Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском:

– Горе! Горе!

О. Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус; он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь и вошел Иван Иваныч. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай.

– Ну, со всеми делами справился, – сказал он. – Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна, так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет.

Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел:

– «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме». Надо будет сейчас пойти поискать ее.хлопоты!

Вскоре после чаю Иван Иваныч и Егорушка уж выходили из подворья.

– хлопоты! – бормотал дядя. – Привязался ты ко мне, как репейник, и ну тебя совсем к богу! Вам ученье да благородство, а мне одна мука с вами...

Когда они проходили двором, то возов и подводчиков уже не было, все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка; возле нее стояли гнедые и ели овес.

«Прощай, бричка!» – подумал Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую

базарную площадь; тут Иван Иваныч справился у городского, где Малая Нижняя улица.

– Эва! – усмехнулся городской. – Она далеко, туда к выгону!

На пути попадались навстречу извозчицьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот.

– Скажите, пожалуйста, – обратился Иван Иваныч к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, – где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

– Никакой тут Тоскуновой нет, – ответил старик, подумав. – Может, Тимошенко?

– Нет, Тоскунова...

– Извините, Тоскуновой нету...

Иван Иваныч пожал плечами и поплелся

дальше.

– Да не ищите! – крикнул ему сзади старик. – Говорю – нету, значит нету!

– Послушай, тетенька, – обратился Иван Иваныч к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши, – где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.

– Да нешто Настасья Петровна теперь в своем доме живет? – спросила она. – Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала! Там теперь зять живет.

А глаза ее говорили: «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?»

– А где она теперь живет? – спросил Иван Иваныч.

– Господи! – удивилась старуха, всплескивая руками. – Она уж давно на квартире живет! Уж годов восемь, как свой дом зятю отказала. Что вы!

Она, вероятно, ожидала, что Иван Иваныч тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!!», но тот очень покойно спросил:

– Где ж ее квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая головой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом:

– Идите всё прямо, прямо, прямо... Вот как пройдете красненький домичек, там на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и смотрите третьи ворота справа...

Иван Иваныч и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иваныч отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и с поднятым фартуком, стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно-тонко, как и

торговка:

– Цып!.. цып! цып!

Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором (все рыжие собаки лают тенором).

– Кого вам? – крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца.

– Здравствуйте! – тоже крикнул ей Иван Иваныч, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. – Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?

– Здесь! А на что вам?

Иван Иваныч и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила:

– На что она вам?

– Да, может, вы сами Настасья Петровна?

– Ну, я!

– Очень приятно... Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат, Иван Иваныч... Вы ведь наша N-ская... Вы у нас и родились, и замуж выходили...

Наступило молчание. Полная женщина

установилась бессмысленно на Ивана Иваныча, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками; из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.

– Ольга Ивановна! – взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. – Голубушка моя родная! Ах, батюшки, так что же я, как дура, стою? Ангельчик ты мой хорошенький...

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.

– Господи! – сказала она, ломая руки. – Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйста в комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому; гости поплелись за ней.

– У меня не прибрано! – говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. – Ах, мать божия! Василиса, поди хоть ставни отвори! Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!

Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иваныч пригласил ее поговорить

наедине. Егорушка вышел в другую комнату; тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил:

– Как тебя звать?

Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо ответила:

– Атька...

Это значило: Катька.

– Он у вас будет жить, – шептал в зале Иван Иваныч, – ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем по десяти рублей в месяц платить. Он у нас мальчик не балованный, тихий...

– Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иваныч! – плаксиво вздыхала Настасья Петровна. – Десять рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно! Вдруг заболит, или что...

Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иванович уже стоял со шляпой в руках и прощался.

– Что ж? Значит, пускай теперь и остается у вас, – говорил он. – Прощайте! Оставайся, Егор! – сказал он, обращаясь к племяннику. – Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну... Прощай! Я приду еще завтра.

И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи.

А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей... В печке кричал сверчок и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса и то и дело от волнения роняла наперсток, а Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал,

дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез... И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой.

На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и о. Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иванович, очень спешивший, махнул рукой и сказал:

– Некогда нам с чаями да с сахарами! Мы сейчас уйдем.

Перед прощаньем все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа.

– Ну, – начал Иван Иванович, поднимаясь, – значит, ты остаешься...

С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал:

– Смотри же, учись... Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну... Если будешь,

Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. О. Христофор вздохнул и, не спеша, благословил Егорушку.

– Во имя отца и сына и святого духа... Учись, – сказал он. – Трудись, брат... Ежели помру, поминай. Вот прими и от меня гривенничек...

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.

– Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение, – сказал Иван Иваныч таким голосом, как будто в зале был покойник. – Седьмого августа вы его на экзамен сведете... Ну, прощайте! Оставайтесь с богом. Прощай, Егор!

– Да вы бы хоть чайку покушали! – простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о. Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного

долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иваныч и о. Христофор, помахивая – первый палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, всё то, что до сих пор было пережито; он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него...

Какова-то будет эта жизнь?

# Огни

За дверью тревожно залаяла собака. Инженер Ананьев, его помощник студент фон Штенберг и я вышли из барака посмотреть, на кого она лает. Я был гостем в бараке и мог бы не выходить, но, признаться, от выпитого вина у меня немножко кружилась голова, и я рад был подышать свежим воздухом.

– Никого нет... – сказал Ананьев, когда мы вышли. – Что ж ты врешь, Азорка? Дурак!

Кругом не было видно ни души. Дурак Азорка, черный дворový пес, желая, вероятно, извиниться перед нами за свой напрасный лай, несмело подошел к нам и завилял хвостом. Инженер нагнулся и потрогал его между ушей.

– Что ж ты, тварь, понапрасну лаешь? – сказал он тоном, каким добродушные люди разговаривают с детьми и с собаками. – Нехороший сон увидел, что ли? Вот, доктор, рекомендую вашему вниманию, – сказал он, обращаясь ко мне, – удивительно нервный субъект! Можете себе представить, не выносит одиночества, видит всегда страшные сны и

страдает кошмарами, а когда прикрикнешь на него, то с ним делается что-то вроде истерики.

– Да, деликатный пес... – подтвердил студент.

Азорка, должно быть, понял, что разговор идет о нем; он поднял морду и жалобно заскулил, как будто хотел сказать: «Да, временами я невыносимо страдаю, но вы, пожалуйста, извините!»

Ночь была августовская, звездная, но темная. Оттого, что раньше я никогда в жизни не находился при такой исключительной обстановке, в какую попал случайно теперь, эта звездная ночь казалась мне глухой, неприветливой и темнее, чем она была на самом деле. Я был на линии железной дороги, которая еще только строилась. Высокая, наполовину готовая насыпь, кучи песку, глины и щебня, бараки, ямы, разбросанные кое-где тачки, плоские возвышения над землянками, в которых жили рабочие, – весь этот ералаш, выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную, дикую физиономию, напоминавшую о временах хаоса. Во

всем, что лежало передо мной, было до того мало порядка, что среди безобразно изрытой, ни на что не похожей земли как-то странно было видеть силуэты людей и стройные телеграфные столбы; те и другие портили ансамбль картины и казались не от мира сего. Было тихо, и только слышалось, как над нашими головами, где-то очень высоко, телеграф гудел свою скучную песню.

Мы взобрались на насыпь и с ее высоты взглянули на землю. В саженях пятидесяти от нас, там, где ухабы, ямы и кучи сливались сплошную с ночною мглой, мигал тусклый огонек. За ним светился другой огонь, за этим третий, потом, отступя шагов сто, светились рядом два красных глаза – вероятно, окна какого-нибудь барака – и длинный ряд таких огней, становясь всё гуще и тусклее, тянулся по линии до самого горизонта, потом полукругом поворачивал влево и исчезал в далекой мгле. Огни были неподвижны. В них, в ночной тишине и в унылой песне телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволоки...

– Экая благодать, господи! – вздохнул Аняньев. – Столько простора и красоты, что хоть отбавляй! А какова насыпь-то! Это, батенька, не насыпь, а целый Монблан! Миллионы стоит...

Восхищаясь огнями и насыпью, которая стоит миллионы, охмелевший от вина и сантиментально настроенный инженер похлопал по плечу студента фон Штенберга и продолжал в шутливом тоне:

– Что, Михайло Михайлыч, призадумались? Небось, приятно поглядеть на дела рук своих? В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человеческим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! И как всё это хорошо, ей-богу! Мы с вами железную дорогу строим, а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и – закипит машина! А?

Студент стоял неподвижно, засунув руки в карманы, и не отрывал глаз от огней. Он не слушал инженера, о чем-то думал и, по-видимому, переживал то настроение, когда не хочется ни говорить, ни слушать. После долгого

молчания он обернулся ко мне и сказал тихо:

– Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом. [12] Для полноты иллюзии не хватает только трубных звуков, да чтобы на каком-нибудь эфиопском языке перекликивались часовые.

– Пожалуй... – согласился инженер.

И, как нарочно, по линии пробежал ветер и донес звук, похожий на бряцание оружия. Наступило молчание. Не знаю, о чем думали теперь инженер и студент, но мне уж казалось, что я вижу перед собой действительно что-то давно умершее и даже слышу часовых, говорящих на непонятном языке. Воображение мое спешило нарисовать палатки, странных людей, их одежду, доспехи...

– Да, – пробормотал студент в раздумье. – Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет.

Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдут тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые теперь спят после тяжелого труда, не останется и пыли. В сущности, это ужасно!

– А вы эти мысли бросьте... – сказал инженер серьезно и наставительно.

– Почему?

– А потому... Такими мыслями следует оканчивать жизнь, а не начинать. Вы еще слишком молоды для них.

– Почему же? – повторил студент.

– Все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потемках и проч., все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней работы, выстраданы и в самом деле составляют умственное богатство; для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастье! Несчастье! – повторил Ананьев и махнул рукой. – По-моему, в ваши годы лучше совсем не иметь головы на плечах, чем мыслить в таком направле-

нии. Я вам, барон, серьезно говорю. И давно уж я собирался поговорить с вами об этом, так как еще с первого дня нашего знакомства заметил в вас пристрастие к этим анафемским мыслям!

– Господи, да почему же они анафемские? – спросил, улыбаясь, студент, и по его голосу и по лицу было заметно, что он отвечает только из простой вежливости и что спор, затеваемый инженером, нисколько не интересуется его.

Глаза мои слипались. Я мечтал, что тотчас же после прогулки мы пожелаем друг другу покойной ночи и ляжем спать, но мечта моя сбылась не скоро. Когда мы вернулись в барак, инженер убрал пустые бутылки под кровать, достал из большого плетеного ящика две полные и, раскупорив их, сел за свой рабочий стол с очевидным намерением продолжать пить, говорить и работать. Отхлебывая понемножку из стакана, он делал карандашом пометки на каких-то чертежах и продолжал доказывать студенту, что тот мыслит неподобающим образом. Студент сидел рядом с ним, проверял какие-то счета и молчал.

Ему, как и мне, не хотелось ни говорить, ни слушать. Я, чтобы не мешать людям работать и ожидая каждую минуту, что мне предложат лечь в постель, сидел в стороне от стола на походной кривоногой кровати инженера и скучал. Был первый час ночи.

От нечего делать я наблюдал своих новых знакомых. Ни Ананьева, ни студента я никогда не видел раньше и познакомился с ними только в описываемую ночь. Поздно вечером я возвращался верхом с ярмарки к помещику, у которого гостил, попал в потемках не на ту дорогу и заблудился. Кружась около линии и видя, как густеет темная ночь, я вспомнил о «босоногой чугунке», подстерегающей пешего и конного, струсил и постучался в первый попавшийся барак. Тут меня радушно встретили Ананьев и студент. Как это бывает с людьми чужими друг другу, сошедшимися случайно, мы быстро познакомились, подружились и сначала за чаем, потом за вином уже чувствовали себя так, как будто были знакомы целые годы. Через какой-нибудь час я уже знал, кто они и как судьба занесла их из столицы в далекую степь, а они знали, кто я,

чем занимаюсь и как мыслю.

Инженер Ананьев, Николай Анастасьевич, был плотен, широк в плечах и, судя по наружности, уже начинал, как Отелло, «опускаться в долину преклонных лет»[13] и излишне полнеть. Он находился в той самой поре, которую свахи называют «мужчина в самом соку», то есть не был ни молод, ни стар, любил хорошо поесть, выпить и похвалить прошлое, слегка задыхался при ходьбе, во сне громко храпел, а в обращении с окружающими проявлял уже то покойное, невозмутимое добродушие, какое приобретается порядочными людьми, когда они переваливают в штаб-офицерские чины и начинают полнеть. Его голове и бороде далеко еще было до седых волос, но он уж как-то невольной, сам того не замечая, снисходительно величал молодых людей «душа моя» и чувствовал себя как бы вправе добродушно журить их за образ мыслей. Движения его и голос были покойны, плавны, уверенны, как у человека, который отлично знает, что он уже выбился на настоящую дорогу, что у него есть определенное дело, определенный кусок хлеба, определенный взгляд

на вещи... Его загорелое толстоносое лицо и мускулистая шея как бы говорили: «Я сыт, здоров, доволен собой, а придет время, и вы, молодые люди, будете тоже сыты, здоровы и довольны собой...» Одет он был в ситцевую рубаху с косым воротом и в широкие полотняные панталоны, засунутые в большие сапоги. По некоторым мелочам, как, например, по цветному гарусному пояску, вышитому вороту и латочке на локте, я мог догадаться, что он был женат и, по всей вероятности, нежно любим своей женой.

Барон фон Штенберг, Михаил Михайлович, студент института путей сообщения, был молод, лет 23–24. Только одни русые волосы и жидкая бородка, да, пожалуй, еще некоторая грубость и сухость черт лица напоминали о его происхождении от остзейских баронов, всё же остальное – имя, вера, мысли, манеры и выражение лица были у него чисто русские. Одетый так же, как и Ананьев, в ситцевую рубаху навывпуск и в большие сапоги, сутуловатый, давно не стриженный, загорелый, он походил не на студента, не на барона, а на обыкновенного российского подмастерья. Говорил

и двигался он мало, вино пил нехотя, без аппетита, счета проверял машинально и всё время, казалось, о чем-то думал. Движения и голос его также были покойны и плавны, но его покой был совсем иного рода, чем у инженера. Загорелое, слегка насмешливое, задумчивое лицо, его глядевшие немножко исподлобья глаза и вся фигура выражали душевное затишье, мозговую лень... Он глядел так, как будто бы для него было решительно всё равно, горит ли перед ним огонь, или нет, вкусно ли вино, или противно, верны ли счета, которые он проверял, или нет... И на его умном, покойном лице я читал: «Ничего я пока не вижу хорошего ни в определенном деле, ни в определенном куске хлеба, ни в определенном взгляде на вещи. Всё это вздор. Был я в Петербурге, теперь сижу здесь в бараке, отсюда осенью уеду опять в Петербург, потом весной опять сюда... Какой из всего этого выйдет толк, я не знаю, да и никто не знает... Стало быть, и толковать нечего...»

Инженера слушал он без интереса, с тем снисходительным равнодушием, с каким кадеты старших классов слушают расхвалившие-

гося добряка-дядьку. Казалось, что всё сказанное инженером было для него не ново и что если бы ему самому было не лень говорить, то он сказал бы нечто более новое и умное. Ананьев же между тем не унимался. Он уж оставил добродушно-шутливый тон и говорил серьезно, даже с увлечением, которое совсем не шло к его выражению покоя. По-видимому, он был равнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но трактовать их не умел и не привык. И эта непривычка так сильно сказывалась в его речи, что я не сразу понял, чего он хочет.

– Всею душой ненавижу эти мысли! – говорил он. – Я сам был болен ими в юности, теперь еще не совсем избавился от них и скажу вам, – может быть, оттого, что я глуп и что эти мысли были для меня не по коню корм, – они не принесли мне ничего, кроме зла. Это так понятно! Мысли о бессмысленности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, со- ломоновская «суета сует»[14] составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления. Дошел мыслитель до этой ступени и – стоп ма-

шина! Дальше идти некуда. Этим завершается деятельность нормального мозга, что естественно и в порядке вещей. Наше же несчастье в том, что мы начинаем мыслить именно с этого конца. Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем. Мы с первого же абцуга, едва только мозг начинает самостоятельную работу, взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать не хотим тех ступеней, которые пониже.

– Чем же это худо? – спросил студент.

– Да поймите же, что это ненормально! – крикнул Ананьев, поглядев на него почти со злобой. – Если мы нашли способ взбираться на верхнюю ступень без помощи нижних, то уж вся длинная лестница, то есть вся жизнь с ее красками, звуками и мыслями, теряет для нас всякий смысл. Что в ваши годы такое мышление составляет зло и абсурд, вы можете понять из каждого шага вашей разумной, самостоятельной жизни. Положим, что сию вот минуту вы садитесь читать какого-нибудь Дарвина или Шекспира. Едва прочли вы одну страницу, как отравка начинает уж сказываться: и ваша длинная жизнь, и Шекспир,

и Дарвин представляются вам вздором, нелепостью, потому что вы знаете, что вы умрете, что Шекспир и Дарвин тоже умерли, что их мысли не спасли ни их самих, ни земли, ни вас, и что если, таким образом, жизнь лишена смысла, то все эти знания, поэзия и высокие мысли являются только ненужной забавой, праздной игрушкой взрослых детей. И вы прекращаете чтение на второй же странице. Теперь, положим, к вам, как к умному человеку, приходят люди и спрашивают вашего мнения, например, хоть о войне: желательна, нравственна она или нет? В ответ на этот страшный вопрос вы только пожмете плечами и ограничитесь каким-нибудь общим местом, потому что для вас, при вашей манере мыслить, решительно всё равно, умрут ли сотни тысяч людей насильственной или же своей смертью: в том и в другом случае результаты одни и те же – прах и забвение. Строим мы с вами железную дорогу. К чему, спрашивается, нам ломать головы, изобретать, возвышаться над шаблоном, жалеть рабочих, красть или не красть, если мы знаем, что эта дорога через две тысячи лет обратится

в пыль? И так далее, и так далее... Согласитесь, что при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс, ни науки, ни искусства, ни само мышление. Нам кажется, что мы умнее толпы и Шекспира, в сущности же наша мыслительская работа сводится на ничто, так как спускаться на нижние ступени у нас нет охоты, а выше идти некуда, так и стоит наш мозг на точке замерзания – ни тпру, ни ну... Я находился под гнетом этих мыслей около шести лет и, клянусь вам богом, за всё это время я не прочел ни одной путевой книги, не стал умнее ни на грош и ни на одну букву не обогатил своего нравственного кодекса. Разве это не несчастье? Засим, мало того, что мы сами отравлены, но мы еще вносим отраву в жизнь окружающих нас. Добро бы, мы со своим пессимизмом отказывались от жизни, уходили бы в пещеры или спешили умереть, а то ведь мы, покорные общему закону, живем, чувствуем, любим женщин, воспитываем детей, строим дороги!

– От наших мыслей никому ни тепло, ни холодно... – сказал студент нехотя.

– Нет, уж это вы – ах, оставьте! Вы еще не нюхали, как следует, жизни, а вот как поживете с мое, батенька, так и узнаете кузькину мать! Наше мышление не так невинно, как вы думаете. В практической жизни, в столкновениях с людьми оно ведет только к ужасам и глупостям. Мне приходилось переживать такие положения, каких я злему татарину не пожелаю.

– Например? – спросил я.

– Например? – переспросил инженер; он подумал, улыбнулся и сказал: – Например, взять хоть такой случай. Вернее, это не случай, а целый роман с завязкой и развязкой. Прекраснейший урок! Ах, какой урок!

Он налил вина нам и себе, выпил, погладил ладонями свою широкую грудь и продолжал, обращаясь больше ко мне, чем к студенту:

«Это было летом 187... года, вскоре после войны и по окончании мною курса. Я поехал на Кавказ и остановился проездом дней на пять в приморском городе N. Надо вам сказать, что в этом городе я родился и вырос, а потому нет ничего мудреного, что N. казался

мне необыкновенно уютным, теплым и красивым, хотя столичному человеку живется в нем так же скучно и неуютно, как в любой Чухломе или Кашире. С грустью прошелся я мимо гимназии, в которой учился, с грустью погулял по очень знакомому городскому саду, сделал грустную попытку посмотреть поближе людей, которых давно не видел, но помнил... Всё с грустью...

Между прочим, в один из вечеров поехал я в так называемый Карантин. Это небольшая, плешивая рощица, в которой когда-то в забытое чумное время в самом деле был карантин, теперь же живут дачники. Ехать к ней приходится от города четыре версты по хорошей мягкой дороге. Едешь и видишь: налево голубое море, направо бесконечную хмурую степь; дышится легко и глазам не тесно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустив своего извозчика, я вошел в знакомые ворота и первым делом направился по аллее к небольшой каменной беседке, которую любил в детстве. По моему мнению, эта круглая, тяжелая беседка на неуклюжих колоннах, соединявшая в себе лиризм старого могильного

памятника с топорностью Собакевича, была самым поэтическим уголком во всем городе. Она стояла на краю берега, над самой кручей, и с нее отлично было видно море.

Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз. От беседки по крутому, почти отвесному берегу, мимо глиняных глыб и репейника бежала тропинка; там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Море было такое же величавое, бесконечное и неприветливое, как семь лет до этого, когда я, кончив курс в гимназии, уезжал из родного города в столицу; вдали темнела полоска дыма – это шел пароход, и, кроме этой едва видимой и неподвижной полоски да мартышек, которые мелькали над водой, ничто не оживляло монотонной картины моря и неба. Направо и налево от беседки тянулись неровные глинистые берега...

Вы знаете, когда грустно настроенный человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным, то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он про-

живет и погибнет в неизвестности, и он рефлексивно хватается за карандаш и спешит записать на чем попало свое имя. Потому-то, вероятно, все одинокие, укромные уголки, вроде моей беседки, всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел: „О. П. (то есть оставил память) Иван Корольков 16 мая 1876 года“. Тут же рядом с Корольковым расписался какой-то местный мечтатель и еще добавил: „На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн“.[15] И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шелк. Какой-то Кросс, вероятно, очень маленький и незначительный человечек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, всё это дела не касается... Простите, я не умею рассказывать коротко.

Я грустил и немножко скучал. Скука, тишина и мурлыканье волн мало-помалу наве-

ли меня на то самое мышление, о котором мы только что говорили. Тогда, в конце семидесятых годов, оно начинало входить в моду у публики и потом в начале восьмидесятых стало понемногу переходить из публики в литературу, в науку и политику. Мне было тогда не больше 26 лет, но я уж отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что всё обман и иллюзия, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что всё вздор и чепуха и что ну его всё к чёрту! Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставляющей меня жить: на, мол, смотри, сила, ставлю жизнь ни в грош, а живу! Мыслил я в одном определенном направлении, но на всевозможные лады, и в этом отношении походил на того тонкого гастронома, который из одного картофеля умел готовить сотню вкусных блюд. Несомненно, что я был односторонен и до некоторой степени даже узок, но мне тогда казалось, что мой мыс-

лительный горизонт не имеет ни начала, ни конца и что мысль моя широка, как море. Ну, с, насколько я могу судить по себе, мышление, о котором идет речь, содержит в своей сути что-то втягивающее, наркотическое, как табак или морфий. Оно становится привычкой, потребностью. Каждой минутой одиночества и каждым удобным случаем вы пользуетесь для того, чтобы посладострастничать мыслями о бесцельной жизни и загробных потемках. Когда я сидел в беседке, то по аллее чинно прогуливались греческие дети с длинными носами. Я воспользовался сим удобным случаем и, оглянувшись на них, стал думать в таком роде: „К чему, спрашивается, рождаются и живут вот эти самые дети? Есть ли хоть какой-нибудь смысл в их существовании? Вырастают, сами не зная для чего, проживут в этой глуши без всякой надобности и помрут...“

И мне даже стало досадно на этих детей за то, что они чинно ходят и о чем-то солидно разговаривают, как будто в самом деле не дешево ценят свои маленькие, бесцветные жизни и знают, для чего живут... Помню, далеко в

конце аллеи показались три женские фигуры. Какие-то барышни – одна в розовом платье, две в белом – шли рядом, взявшись под руки, о чем-то говорили и смеялись. Провожая их глазами, я думал: „Хорошо бы теперь от скуки дня на два сойтись тут с какой-нибудь женщиной!“

Я кстати вспомнил, что у своей петербургской барыни в последний раз я был три недели тому назад, и подумал, что мимолетный роман был бы для меня теперь очень кстати. Средняя барышня в белом казалась моложе и красивее своих подруг и, судя по манерам и смеху, была гимназисткой старшего класса. Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней: „Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека-пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего, кучу детей и умрет. Нелепая жизнь!“

Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань бю-

стам и ножкам. Нашему милому барону его высокопробные мысли тоже нисколько не мешают ездить по субботам в Вуколовку и совершать там донжуанские набеги. Говоря по совести, насколько я себя помню, отношения мои к женщинам были самые оскорбительные. Теперь вот, вспомнив о гимназистке, я покраснел за свои тогдашние мысли, тогда же совесть моя была совершенно покойна. Я, сын благородных родителей, христианин, получивший высшее образование, по природе не злой и не глупый, не чувствовал ни малейшего беспокойства, когда платил женщинам, как говорят немцы, Blutgeld или когда провожал гимназисток оскорбительными взглядами... Беда в том, что молодость имеет свои права, а наше мышление в принципе ничего не имеет против этих прав, хороши ли они или отвратительны. Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе: борись или не борись – все равно умрешь и сгниешь... Во-вторых, судари мои, наше мышление поселяет даже в очень молодых людях так называемую рассудочность. Преоб-

ладание рассудка над сердцем у нас подавляющее. Непосредственное чувство, вдохновение – все заглушено мелочным анализом. Где же рассудочность, там холодность, а холодные люди – нечего греха таить – не знают целомудрия. Эта добродетель знакома только тем, кто тепел, сердечен и способен любить. В-третьих, наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи Степановны, то для меня решительно всё равно, оскорблена она или нет. Сегодня оскорбил ее человеческое достоинство, заплатил ей Blutgeld, а завтра уж и не помнишь о ней.

Итак, я сидел в беседке и наблюдал барышень. На аллее показалась еще одна женская фигура с непокрытой белокурой головой и с белым вязаным платком на плечах. Она погуляла по аллее, потом вошла в беседку и, взявшись за перила, равнодушно поглядела вниз и вдаль на море. Войдя, она не обратила на меня никакого внимания, точно не заметила. Я оглядел ее с ног до головы (но не с головы до ног, как оглядывают мужчин) и нашел, что

она молода, не старше 25 лет, миловидна, хорошо сложена, по всей вероятности, уже не барышня и принадлежит к разряду порядочных. Одета она была по-домашнему, но модно и со вкусом, как вообще одеваются в N. все интеллигентные барыни.

„Вот с этой бы сойтись... – подумал я, оглядывая ее красивую талию и руки. – Ничего себе... Должно быть, супруга какого-нибудь эскулапа или учителя гимназии...“

Но сойтись с ней, то есть сделать ее героиней одного из тех экспромтных романов, до которых так падки туристы, было не легко и едва ли возможно. Это почувствовал я, всмотревшись в ее лицо. Она так глядела и имела такое выражение, как будто море, дымок вдали и небо давно уже надоели ей и утомили ее зрение; она, по-видимому, устала, скучала, думала о чем-то невеселом, и на ее лице не было даже того суетного, натянуто-равнодушного выражения, какое бывает почти у всякой женщины, когда она чувствует вблизи себя присутствие незнакомого мужчины.

Блондинка мельком и скучающе взглянула на меня, села на скамью и о чем-то задумала.

лась, и я по ее взгляду понял, что ей не до меня и что я со своею столичной физиономией не возбудил в ней даже простого любопытства. Но я все-таки решил заговорить с ней и спросил:

– Сударыня, позвольте вас спросить, в каком часу уходят отсюда в город линейки?

– Кажется, в десять, или в одиннадцать...

Я поблагодарил. Она взглянула на меня раз-другой, и на ее бесстрастном лице мелькнуло вдруг любопытство, потом что-то похожее на удивление... Я поспешил придать себе равнодушное выражение и принять подобающую позу: клюет! Она, точно ее что-то больно укусило, вдруг поднялась со скамьи, кротко улыбнулась и, торопливо оглядывая меня, спросила робко:

– Послушайте, вы, бывает, не Ананьев?

– Да, я Ананьев... – ответил я.

– А меня вы не узнаете? Нет?

Я немножко смутился, пристально поглядел на нее и, можете себе представить, узнал ее не по лицу, не по фигуре, а по кроткой, усталой улыбке. Это была Наталья Степановна, или, как ее называли, Кисочка, та самая, в

которую я был по уши влюблен 7–8 лет назад, когда еще носил гимназический мундир. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...[16] Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой гимназисточкой 15–16 лет, когда она изображала из себя нечто в гимназическом вкусе, созданное природой специально для платонической любви. Что за прелесть девочка! Бледненькая, хрупкая, легкая, – кажется, дуньте на нее, и она улетит, как пух, под самые небеса – лицо кроткое, недоумевающее, ручки маленькие, волосы длинные до пояса, мягкие, талия тонкая, как у осы, – в общем нечто эфирное, прозрачное, похожее на лунный свет, одним словом, с точки зрения гимназиста, красота неописанная... Я влюблен был в нее – во как! Ночей не спал, стихи писал... Бывало, по вечерам она сидела в городском саду на скамье, а мы, гимназисты, толпились около нее и благоговейно созерцали... В ответ на все наши комплименты, позы и вздохи она нервно пожималась от вечерней сырости, жмурилась да кротко улыбалась, и в это время ужасно походила на маленького хорошенького котеночка; когда мы созерцали

ее, всякому из нас приходило желание приласкать ее и погладить, как кошку, – отсюда прозвище Кисочка.

За семь-восемь лет, пока мы не виделись, Кисочка сильно изменилась. Она стала мужественнее, полнее и совсем утратила сходство с мягким, пушистым котенком. Черты ее не то чтобы постарели или поблекли, а как будто потускнели и стали строже, волосы казались короче, рост выше, плечи почти вдвое шире, а главное, на лице было уже выражение материнства и покорности, какое бывает у порядочных женщин в ее годы и какого я раньше, конечно, не видел у нее... Одним словом, от прежнего гимназического и платонического уцелела одна только кроткая улыбка и больше ничего...

Мы разговорились. Узнавши, что я уже инженер, Кисочка ужасно обрадовалась.

– Как это хорошо! – сказала она, радостно заглядывая мне в глаза. – Ах, как хорошо! И какие вы все молодцы! Из всего вашего выпуска нет ни одного неудачника, из всех люди вышли. Один инженер, другой доктор, третий учитель, четвертый, говорят, теперь зна-

менитый певец в Петербурге... Все, все вы молодцы! Ах, как это хорошо!

В глазах Кисочки светились искренняя радость и доброжелательство. Она любовалась мной, как старшая сестра или бывшая учительница. А я глядел на ее милое лицо и думал: „Хорошо бы сегодня сойтись с ней!“

– Помните, Наталья Степановна, – спросил я, – как я однажды в саду поднес вам букет с записочкой? Вы прочли мою записочку и по вашему лицу разлилось такое недоумение...

– Нет, этого не помню, – сказала она, засмеявшись. – А вот помню, как вы из-за меня хотели вызвать Флоренса на дуэль...

– Ну, а я этого, представьте, не помню...

– Да, что было, то прошло... – вздохнула Кисочка. – Когда-то я у вас была божком, а теперь наступила моя очередь глядеть на всех вас снизу вверх...

Из дальнейшего разговора я узнал, что Кисочка года через два после окончания курса в гимназии вышла замуж за одного местного обывателя, полугрека-полурусского, служащего не то в банке, не то в страховом обществе и в то же время занимающегося пшеничной

торговлей. Фамилия у него была какая-то мудреная, что-то вроде Популаки или Скарандопуло... Чёрт его знает, забыл... Вообще о себе Кисочка говорила мало и неохотно. Разговор шел только обо мне. Она расспрашивала меня об институте, о моих товарищах, о Петербурге, о моих планах, и всё, что я говорил, возбуждало в ней живую радость и восклицание: „Ах, как это хорошо!“

Мы спустились вниз к морю, погуляли по песку, потом, когда с моря повеяло вечерней сыростью, вернулись наверх. Всё время разговор шел обо мне и о прошлом. Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения вечерней зари.

– Пойдемте ко мне чай пить, – предложила мне Кисочка. – Должно быть, самовар давно уже на столе... Я дома одна, – сказала она, когда сквозь зелень акаций показалась ее дача. – Муж всегда в городе и возвращается только ночью, да и то не каждый день, и у меня, признаться, такая скука, что просто смерть.

Я шел за ней, любовался ее спиной и плечами. Мне было приятно, что она замужем.

Для мимолетных романов замужние представляют более подходящий материал, чем барышни. Приятно также было мне, что ее мужа нет дома... Но в то же время я чувствовал, что роману не быть...

Мы вошли в дом. Комнаты у Кисочки были невелики, с низкими потолками, мебель дачная (а на дачах русский человек любит мебель неудобную, тяжелую, тусклую, которую и выбросить жалко и девать некуда), но по некоторым мелочам все-таки можно было заметить, что Кисочка с супругом жила не бедно и проживала тысяч пять-шесть в год. Помню, посреди комнаты, которую Кисочка назвала столовой, стоял круглый стол почему-то на шести ножках, на нем самовар и чашки, а на краю стола лежали раскрытая книга, карандаш и тетрадка. Я заглянул в книжку и узнал в ней арифметический задачник Малинина и Буренина. Раскрыта она была, как теперь помню, на „правилах товарищества“.[17]

– Это вы с кем занимаетесь? – спросил я Кисочку.

– Ни с кем... – ответила она. – Это я так... От скуки и от нечего делать, старину вспоми-

наю, задачи решаю.

– У вас есть дети?

– Был один мальчик, но прожил неделю и умер.

Стали пить чай. Любуясь мной, Кисочка опять заговорила о том, как хорошо, что я инженер, и как она рада моим успехам. И чем больше она говорила и чем искреннее улыбалась, тем сильнее становилась во мне уверенность, что я уеду от нее не солоно хлебавши. Я тогда уже был специалистом по части романов и умел верно взвешивать свои шансы на успех или неуспех. Вы смело можете рассчитывать на успех, если охотитесь на дуру или на такую же искательницу приключений и ощущений, как вы сами, или женщину-пройдоху, для которой вы чужды. Если же вы встречаете женщину неглупую и серьезную, лицо которой выражает усталую покорность и доброжелательство, которая искренно радуется вашему присутствию, а главное – уважает вас, то можете поворачивать назад оглобли. Тут, чтобы иметь успех, нужен более продолжительный срок, чем один день.

А Кисочка при вечернем освещении каза-

лась еще интереснее, чем днем. Она мне нравилась всё больше и больше, я тоже, по-видимому, был симпатичен ей. Да и обстановка была самая подходящая для романа: мужа нет дома, прислуги не видно, кругом тишина... Как ни мало я верил в успех, но все-таки порешил на всякий случай начать атаку. Прежде всего нужно было перейти на фамильярный тон и лирически-серьезное настроение Кисочки сменить на более легкое...

– Давайте, Наталья Степановна, переменим разговор, – начал я. – Поговоримте о чем-нибудь веселом... Прежде всего позвольте мне по старой памяти величать вас Кисочкой.

Она позволила.

– Скажите, пожалуйста, Кисочка, – продолжал я, – какая это муха укусила весь здешний прекрасный пол? Что с ним поделалось? Прежде все были такие нравственные, добродетельные, а теперь, помилуйте, про кого ни спросишь, про всех говорят такое, что просто за человека страшно... Одна барышня с офицером бежала, другая бежала и увлекла с собой гимназиста, третья, барыня, уехала от му-

жа с актером, четвертая от мужа ушла к офицеру, и так далее, и так далее... Целая эпидемия! Этак, пожалуй, в вашем городе скоро не останется ни одной барышни и ни одной молодой жены!

Я говорил пошлым, заигрывающим тоном. Если бы в ответ мне Кисочка засмеялась, то я продолжал бы в таком роде: „О, смотрите, Кисочка, как бы вас здесь не похитил какой-нибудь офицер или актер!“ Она опустила бы глазки и сказала: „Кому придет охота похищать меня такую? Есть помоложе и красивее...“ А я бы ей: „Полноте, Кисочка, да я бы первый с наслаждением похитил вас!“ И так далее в таком роде, и в конце концов дело мое было бы в шляпе. Но в ответ мне Кисочка не засмеялась, а, напротив, сделала серьезное лицо и вздохнула.

– Всё это, что рассказывают, правда... – сказала она. – С актером уехала от мужа моя двоюродная сестра Соня. Конечно, это нехорошо... Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено, но я не осуждаю их и не виню... Обстоятельства бывают иногда сильнее человека!

– Это так, Кисочка, но какие же обстоятельства могли породить целую эпидемию?

– Очень просто и понятно... – сказала Кисочка, поднимая брови. – У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться. Уезжать на курсы или поступать в учительницы, вообще жить идеями и целями, как мужчины живут, не всякая может. Надо выходить замуж... А за кого прикажете? Вы, мальчики, кончаете курс в гимназии и уезжаете в университет, чтобы больше никогда не возвращаться в родной город, и женитесь в столицах, а девочки остаются!.. За кого же им прикажете выходить? Ну, за неимением порядочных, развитых людей, и выходят бог знает за кого, за разных маклеров да пиндóсов, которые только и умеют, что пить да в клубе скандальничать... Выходят девушки так, зря... Какая ж после этого жизнь? Сами понимаете, женщина образованная и воспитанная живет с глупым, тяжелым человеком; встретится ей какой-нибудь интеллигентный человек, офицер, актер или доктор, ну полюбит, станет ей невыносима жизнь, она и бежит от мужа. И осуждать

нельзя!

– Если так, Кисочка, то зачем же замуж идти? – спросил я.

– Конечно, – вздохнула Кисочка, – но ведь каждой девушке кажется, что лучше хоть какой-нибудь муж, чем ничего... Вообще, Николай Анастасьевич, нехорошо здесь живется, очень нехорошо! И в девушках душно, и замужем душно... Вот смеются над Соней за то, что она бежала, да еще с актером, а если бы заглянули ей в душу, то не смеялись бы...»

За дверью опять залаял Азорка. Он злобно огрызнулся на кого-то, потом завыл с тоской и всем телом шарахнулся о стену барака... Лицо Ананьева поморщилось от жалости; он прервал свой рассказ и вышел. Минуты две слышно было, как он утешал за дверью собаку: «Хороший пес! Бедный пес!»

– Наш Николай Анастасьич любит поговорить, – сказал фон Штенберг, усмехаясь. – Хороший человек! – добавил он после некоторого молчания.

Вернувшись в барак, инженер подлил вина в наши стаканы и, улыбаясь, поглаживая себя по груди, продолжал:

«Итак, моя атака не удалась. Нечего было делать, я оставил нечистые мысли до более благоприятного случая, помирился со своей неудачей и, что называется, махнул рукой. Мало того, под влиянием Кисочкиного голоса, вечернего воздуха и тишины, я сам мало-помалу впал в тихое, лирическое настроение. Помню, сидел я в кресле у настёжь открытого окна и глядел на деревья и темневшее небо. Силуэты акаций и лип были всё те же, что и восемь лет тому назад; так же, как и тогда, во времена детства, где-то далеко брэнчало плохое фортепьяно, всё та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперед, но не те были люди. Уж по аллеям ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какие-то чужие гимназисты, чужие барышни. И стало мне грустно. А когда на свои расспросы о знакомых я раз пять получил от Кисочки в ответ: „умер“, моя грусть обратилась в чувство, какое испытываешь на панихиде по хорошем человеке. И я, сидя тут у окна, глядя на гуляющую публику и слушая брэнчанье фортепьяно, первый раз в жизни собственными глазами увидел, с какою жадностью одно по-

коление спешит сменить другое и какое роковое значение в жизни человека имеют даже какие-нибудь семь-восемь лет!

Кисочка поставила на стол бутылку сантуринаского. Я выпил, раскис и стал длинно рассказывать о чем-то. Кисочка слушала и по-прежнему любовалась мной и моим умом. А время шло. Небо уже потемнело так, что силуэты акаций и лип слились вместе, публика уже не гуляла по аллеям, фортепьяно затихло и только слышался ровный шум моря.

Молодые люди все одинаковы. Приласкайте, приголубьте вы молодого человека, угостите его вином, дайте ему понять, что он интересен, и он рассядет, забудет о том, что ему пора уходить, и будет говорить, говорить, говорить... У хозяев слипаются глаза, им пора уже спать, а он всё сидит и говорит. Так и я. Раз нечаянно взглянул я на часы: было половина одиннадцатого. Я стал прощаться.

– Выпейте на дорожку, – сказала Кисочка.

Я выпил на дорожку, опять заговорил длинно, забыл, что пора уходить, и сел. Но вот послышались мужские голоса, шаги и звяканье шпор. Какие-то люди прошли под

окнами и остановились около двери.

– Кажется, муж вернулся... – сказала Кисочка, прислушиваясь.

Дверь щелкнула, голоса раздались уже в передней, и я видел, как мимо двери, ведущей в столовую, прошли два человека: один – полный, солидный брюнет с горбатым носом и в соломенной шляпе и другой – молодой офицер в белом кителе. Проходя мимо двери, оба они равнодушно и мельком взглянули на меня и Кисочку, и мне показалось, что оба они были пьяны.

– Она, значит, тебе наврала, а ты поверил! – раздался через минуту громкий голос с сильным носовым прононсом. – Во-первых, это было не в большом клубе, а в малом.

– Ты, Юпитер, сердисься, стало быть, ты неправ... – сказал другой, смеющийся и кашляющий, очевидно, офицерский голос. – Послушай, мне можно остаться у тебя ночевать? Ты по совести: я тебя не стесню?

– Что за вопрос?! Не только можно, но даже должно. Ты чего хочешь, пива или вина?

Оба сидели через две комнаты от нас, громко говорили и, видимо, не интересова-

лись ни Кисочкой, ни ее гостем. С Кисочкой же, когда вернулся муж, произошла заметная перемена. Она сначала покраснела, потом лицо ее приняло робкое, виноватое выражение; ею овладело какое-то беспокойство, и мне стало казаться, что ей совестно показывать мне своего мужа и хочется, чтобы я ушел.

Я начал прощаться. Кисочка проводила меня до крыльца. Я отлично помню ее кроткую, грустную улыбку и ласковые, покорные глаза, когда она мне пожала руку и сказала:

– Вероятно, мы уж больше никогда не увидимся... Ну, дай бог вам всего хорошего. Спасибо вам!

Ни одного вздоха, ни одной фразы. Прощаясь, она держала в руках свечу; светлые пятна прыгали по ее лицу и шее, точно гоняясь за ее грустной улыбкой; я вообразил себе прежнюю Кисочку, которую, бывало, хотелось погладить, как кошку, пристально поглядел на теперешнюю, припомнились мне почему-то ее слова: „Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено“ – и у меня на душе стало нехорошо. Мое чутье угадало и моя совесть шепнула мне, счастливому и рав-

нодушному, что передо мной стоит хороший, доброжелательный, любящий, но замученный человек...

Я раскланялся и пошел к воротам. Было уже темно. В июле на юге вечера наступают рано и воздух темнеет быстро. К десяти часам бывает уж так темно, что хоть глаз выколи. Пока я почти оцупью добрался до ворот, то сжег десятка два спичек.

– Извозчик! – крикнул я, выйдя за ворота; в ответ мне ни гласа, ни воздыхания... – Извозчик! – повторил я. – Эй! линейки!

Но нет ни извозчиков, ни линейек. Гробовая тишина. Я только слышу, как шумит сонное море и как бьется от сантуринского мое сердце. Поднимаю глаза к небу – там ни одной звезды. Темно и пасмурно. Очевидно, небо покрыто облаками. Я для чего-то пожимаю плечами, глупо улыбаюсь и еще раз, уж не так решительно, зову извозчика.

– Ощ! – отвечает мне эхо.

Пройти пешком четыре версты полем, да еще в потемках – перспектива неприятная. Прежде чем решиться идти пешком, я долго размышляю и зову извозчика, потом пожи-

маю плечами и без всякой определенной цели лениво возвращаюсь назад в рощу. В роще темно ужасно. Кое-где между деревьями тускло краснеют окна дачников. Ворона, разбуженная моими шагами и испугавшись спичек, которыми я освещаю свой путь к беседке, перелетает с дерева на дерево и шуршит в листве. Мне и досадно и стыдно, а ворона как будто понимает это и дразнит – кррра! Досадно мне, что придется идти пешком, и стыдно, что у Кисочки я разболтался, как мальчик.

Добрался я до беседки, нащупал скамью и сел. Далеко внизу, за густыми потемками тихо и сердито ворчало море. Помню, я, как слепой, не видел ни моря, ни неба, ни даже беседки, в которой сидел, и мне представлялось уже, что весь этот свет состоит только из мыслей, которые бродят в моей охмелевшей от вина голове, и из невидимой силы, монотонно шумящей где-то внизу. А потом, когда я задремал, мне стало казаться, что шумит не море, а мои мысли, и что весь мир состоит из одного только меня. И, сосредоточив таким образом в себе самом весь мир, я забыл и про извозчиков, и про город, и про Кисочку, и от-

дался ощущению, которое я так любил. Это – ощущение страшного одиночества, когда вам кажется, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете только вы один. Ощущение гордое, демоническое, доступное только русским людям, у которых мысли и ощущения так же широки, безграничны и суровы, как их равнины, леса, снега. Если бы я был художником, то непременно изобразил бы выражение лица у русского человека, когда он сидит неподвижно и, подобрав под себя ноги, обняв голову руками, предается этому ощущению... А рядом с этим ощущением мысли о бесцельной жизни, о смерти, загробных потемках... мысли не стоят гроша медного, но выражение лица, должно быть, прекрасно...

Пока я сидел и дремал, не решаясь подняться – мне было тепло и покойно – вдруг среди ровного, однообразного шума моря, как на канве, стали обозначаться звуки, отвлекшие мое внимание от самого себя... Кто-то торопливо шел по аллее. Подойдя к беседке, этот кто-то остановился, всхлипнул, как девочка, и спросил голосом плачущей девочки:

– Боже мой, когда же, наконец, всё это кончится? Господи!

Судя по голосу и по плачу, эта была девочка лет 10–12. Она нерешительно вошла в беседку, села и стала вслух не то молиться, не то жаловаться...

– Господи! – говорила она протяжно и плача. – Ведь это же невыносимо! Этого не выдержит никакое терпение! Я терплю, молчу, но ведь, пойми же, и мне жить хочется... Ах, боже мой, боже мой!

И всё в таком роде... Мне захотелось взглянуть на девочку и поговорить с ней. Чтобы не испугать ее, я сначала громко вздохнул и кашлянул, потом осторожно чиркнул спичкой... Яркий свет блеснул в потемках и осветил того, кто плакал. Это была Кисочка».

– Чудеса в решете! – вздохнул фон Штенберг. – Черная ночь, шум моря, страдающая она, он с ощущением вселенского одиночества... чёрт знает что! Недостает только черкесов с кинжалами.

– Я рассказываю вам не сказку, а быль.

– Ну, хоть бы и быль... Это всё ни к чему и давно уже известно...

– Погодите презирать, дайте кончить! – сказал Ананьев, досадливо махнув рукой. – Не мешайте, пожалуйста! Я не вам рассказываю, а доктору... «Ну-с, – продолжал он, обращаясь ко мне и искоса поглядывая на студента, который нагнулся к своим счетам и, казалось, был очень доволен тем, что поддразнил инженера. – Ну-с, увидев меня, Кисочка не удивилась и не испугалась, как будто раньше знала, что увидит меня в беседке. Она прерывисто дышала и дрожала всем телом, как в лихорадке, а лицо ее, мокрое от слез, насколько я мог разглядеть, зажигая спичку за спичкой, было уж не прежнее умное, покорное и усталое лицо, а какое-то другое, которое я до сих пор никак не могу понять. Оно не выражало ни боли, ни беспокойства, ни тоски, ничего такого, что выражали ее слова и слезы... Признаюсь, оттого, вероятно, что я не понимал его, оно казалось мне бессмысленным и пьяным.

– Я не могу больше... – забормотала Кисочка голосом плачущей девочки. – Нет моих сил, Николай Анастасьич! Простите, Николай Анастасьич... Я не в состоянии жить так... Уй-

ду в город к матери... Проводите меня... Ради бога, проводите!

В присутствии плачущих я не умел ни говорить, ни молчать. Я растерялся и в утешение забормотал какой-то вздор.

– Нет, нет, я поеду к матери! – сказала решительно Кисочка, поднимаясь и судорожно хватая меня за руку (руки и рукава у нее были мокры от слез). – Простите, Николай Анастасьич, поеду... Больше не могу...

– Кисочка, но ведь ни одного извозчика нет! – сказал я. – На чем вы поедете?

– Ничего, я пешком пойду... Тут недалеко. А я больше не в состоянии...

Я был смущен, но не растроган. Для меня в слезах Кисочки, в ее дрожи и в тупом выражении лица чувствовалась несерьезная французская или малороссийская мелодрама, где каждый золотник пустого, дешевого горя заливается пудом слез. Я не понимал ее и знал, что не понимаю, мне бы следовало молчать, но почему-то, вероятно, чтобы молчание мое не было понято как глупость, я считал нужным уговаривать ее не ехать к матери и сидеть дома. Плачущие не любят, когда кто ви-

дит их слёзы. А я зажигал спичку за спичкой и чиркал до тех пор, пока не опустела коробка. К чему мне понадобилась эта невеликодушная иллюминация, до сих пор никак не могу понять. Вообще холодные люди часто бывают неловки и даже глупы.

В конце концов Кисочка взяла меня под руку и мы пошли. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спеша по мягкой, пыльной дороге. Было темно; когда же глаза мои мало-помалу привыкли к темноте, я стал различать силуэты старых, но тощих дубов и лип, которые росли по сторонам дороги. Скоро направо неясно обозначилась черная полоса неровного, обрывистого берега, пересеченная кое-где небольшими глубокими оврагами и промоинами. Около оврагов ютились невысокие кусты, похожие на сидящих людей. Становилось жутко. Я подозрительно косился на берег и уж шум моря и тишина поля неприятно пугали мое воображение. Кисочка молчала. Она не переставала дрожать и, не пройдя полуверсты, уж ослабела от ходьбы и задыхалась. Я тоже молчал.

В версте от Карантина стоит заброшенное

четырёхэтажное здание с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня. Оно стоит одиноко на берегу, и днем его бывает далеко видно с моря и с поля. Оттого, что оно заброшено и что в нем никто не живет, и оттого, что в нем сидит эхо и отчетливо повторяет шаги и голоса прохожих, оно кажется таинственным. И вот представьте меня в темную ночь под руку с женщиной, которая бежит от мужа, около длинной и высокой громадины, повторяющей каждый мой шаг и неподвижно глядящей на меня сотнею своих черных окон. Нормальный молодой человек при такой обстановке ударился бы в романтизм, я же глядел на темные окна и думал: „Всё это внушительно, но придет время, когда и от этого здания, и от Кисочки с ее горем, и от меня с моими мыслями не останется и пыли... Всё вздор и суета...“

Когда мы поравнялись с мукомольней, Кисочка вдруг остановилась, освободила свою руку и заговорила, но уж голосом не девочки, а своим собственным:

– Николай Анастасьич, я знаю, вам всё это кажется странным. Но я страшно несчастна!

И представить даже вы себе не можете, как я несчастна! Невозможно представить! Я вам не рассказываю, потому что и рассказывать нельзя... Такая жизнь, такая жизнь...

Кисочка не договорила, стиснула зубы и простонала так, как будто старалась изо всех сил не крикнуть от боли.

– Такая жизнь! – повторила она с ужасом и нараспев, с тем южным, немножко хохлацким акцентом, который, особенно у женщин, придает возбужденной речи характер песни. – Такая жизнь! А, боже мой, боже мой, что же это такое? А, боже мой, боже мой!

Точно желая разгадать тайну своей жизни, она в недоумении пожимала плечами, качала головой и всплескивала руками. Говорила она, словно пела, двигалась грациозно и красиво и напоминала мне одну знаменитую хохлацкую актрису.

– Господи, да я же как в яме! – продолжала она, ломая руки. – Хоть бы одну минуточку пожить в радости, как люди живут! А, боже мой, боже мой! Дожила до такого срама, что при чужом человеке ухожу ночью от мужа, как какая-нибудь беспутная. Чего же еще хо-

рошего можно ждать после этого?

Любуясь ее движениями и голосом, я вдруг стал чувствовать удовольствие от того, что она не в ладах живет с мужем. „Хорошо бы сойтись с ней!“ – мелькнуло у меня в мыслях, и эта безжалостная мысль остановилась в моем мозгу, не покидала меня во всю дорогу и улыбалась мне всё шире и шире...

Пройдя версты полторы от мукомольни, нужно поворачивать к городу влево мимо кладбища. У поворота на углу кладбища стоит каменная ветряная мельница, а возле нее небольшая хатка, в которой живет мельник. Миновали мы мельницу и хатку, повернули влево и дошли до ворот кладбища. Тут Кисочка остановилась и сказала:

– Я вернусь, Николай Анастасьич! Вы идите себе с богом, а я сама вернусь. Мне не страшно.

– Ну вот еще! – испугался я. – Коли идти – так идти...

– Я напрасно погорячилась... Всё ведь из-за пустяка вышло. Вы своими разговорами напомнили мне прошлое, навели меня на разные мысли... Я была грустна и хотела пла-

кать, а муж при офицере сказал мне дерзость, ну я и не выдержала... И зачем мне идти в город к матери? Разве от этого я стану счастливее? Надо вернуться... А впрочем... пойдёмте! – сказала Кисочка и засмеялась. – Всё равно!

Я помнил, что на кладбищенских воротах есть надпись: „Грядет час, в онъ же вси сущие во гробех услышат глас Сына Божия“, [18] отлично знал, что рано или поздно настанет время, когда и я, и Кисочка, и ее муж, и офицер в белом кителе будем лежать за оградой под темными деревьями, знал, что рядом со мной идет несчастный, оскорбленный человек, – всё это я сознавал ясно, но в то же время меня волновал тяжелый, неприятный страх, что Кисочка вернется и что я не сумею сказать ей то, что нужно. Никогда в другое время в моей голове мысли высшего порядка не переплетались так тесно с самой низкой, животной прозой, как в эту ночь... Ужасно!

Недалеко от кладбища мы нашли извозчика. Доехав до Большой улицы, где жила Кисочкина мать, мы отпустили извозчика и пошли по тротуару. Кисочка всё время молчала,

а я глядел на нее и злился на себя: „Что же ты не начинаешь? Пора!“ В двадцати шагах от гостиницы, где я жил, Кисочка остановилась около фонаря и заплакала.

– Николай Анастасьич! – сказала она, плача, смеясь и глядя мне в лицо мокрыми, блестящими глазами. – Я вашего участия никогда не забуду... Какой вы хороший! И все вы такие молодцы! Честные, великодушные, сердечные, умные... Ах, как это хорошо!

Она видела во мне интеллигентного и передового во всех отношениях человека, и на ее мокром, смеющемся лице, рядом с умилением и восторгом, которые возбуждала в ней моя особа, была написана скорбь, что она редко видит таких людей и что бог не дал ей счастья быть женою одного из них. Она бормотала: „Ах, как это хорошо!“ Детская радость на лице, слезы, кроткая улыбка, мягкие волосы, выбившиеся из-под платка, и самый платок, небрежно накинутый на голову, при свете фонаря напомнили мне прежнюю Кисочку, которую хотелось погладить, как кошку...

Я не выдержал и стал гладить ее волосы, плечи, руки...

– Кисочка, ну что ты хочешь? – забормотал я. – Хочешь, чтобы я с тобой на край света? Я увезу тебя из этой ямы и дам тебе счастье. Я тебя люблю... Поедем, моя прелесть? Да? Хорошо?

По лицу Кисочки разлилось недоумение. Она отступила от фонаря и, ошеломленная, поглядела на меня большими глазами. Я крепко схватил ее за руку, стал осыпать поцелуями ее лицо, шею, плечи и продолжал клясться и давать обещания. В любовных делах клятвы и обещания составляют почти физиологическую необходимость. Без них не обойдешься. Иной раз знаешь, что лжешь и что обещания не нужны, а все-таки клянешься и обещаешь. Ошеломленная Кисочка всё пятилась назад и глядела на меня большими глазами...

– Не нужно! Не нужно! – забормотала она, отстраняя меня руками.

Я крепко обнял ее. Она вдруг истерично заплакала, и лицо ее приняло такое же бессмысленное, тупое выражение, какое я видел у нее в беседке, когда зажигал спички... Не спрашивая ее согласия, мешая ей говорить, я

насильно потащил ее к себе в гостиницу... Она была как в столбняке и не шла, но я взял ее под руку и почти понес... Помню, когда мы поднимались вверх по лестнице, какая-то фигура с красным околышем удивленно поглядела на меня и поклонилась Кисочке...»

Ананьев покраснел и умолк. Он молча прошелся около стола, досадливо почесал себе затылок и несколько раз судорожно пожал плечами и лопатками от холода, который пробежал по его большой спине. Ему уж было стыдно и тяжело вспоминать, и он боролся с собой...

– Нехорошо! – сказал он, выпивая стакан вина и встряхивая головой. – Говорят, что всякий раз во вступительной лекции по женским болезням советуют студентам-медикам, прежде чем раздевать и ощупывать больную женщину, вспоминать, что у каждого из них есть мать, сестра, невеста... Этот совет годился бы не для одних только медиков, но для всех, кому приходится так или иначе сталкиваться в жизни с женщинами. Теперь, когда у меня есть жена и дочка, ах, как я понимаю этот совет! Как понимаю, боже мой! Однако,

слушайте, что дальше... «Ставши моей любовницей, Кисочка взглянула на дело иначе, чем я. Прежде всего она полюбила страстно и глубоко. То, что для меня составляло обыкновенный любовный экспромт, для нее было целым переворотом в жизни. Помню, мне казалось, что она сошла с ума. Счастливая первый раз в жизни, помолодевшая лет на пять, с вдохновенным, восторженным лицом, не зная, куда деваться от счастья, она то смеялась, то плакала и не переставала мечтать вслух о том, как завтра мы поедем на Кавказ, оттуда осенью в Петербург, как будем потом жить...

– А насчет мужа ты не беспокойся! – успокоивала она меня. – Он обязан дать мне развод. Всему городу известно, что он живет со старшей Костович. Мы получим развод и повенчаемся.

Женщины, когда любят, климатизируются и привыкают к людям быстро, как кошки. Побывала Кисочка у меня в номере часа полтора, а уж чувствовала себя в нем, как дома, и распоряжалась моим добром, как своим собственным. Она укладывала в чемодан мои вещи,

журила меня за то, что я не вешаю на гвоздь свое новое, дорогое пальто, а бросаю его на стул, как тряпку, и проч.

Я глядел на нее, слушал и чувствовал усталость и досаду. Меня немножко коробило от мысли, что порядочная, честная и страдающая женщина так легко, в какие-нибудь три-четыре часа сделалась любовницей первого встречного. Это уж мне, как порядочному человеку, видите ли, не нравилось. Потом, на меня еще неприятно действовало то, что женщины вроде Кисочки неглубоки и несерьезны, слишком любят жизнь и даже такой в сущности пустяк, как любовь к мужчине, возводят на степень счастья, страдания, жизненного переворота... К тому же теперь, когда я был сыт, мне было досадно на себя, что я сглупил и связался с женщиной, которую поневоле придется обмануть... А я, надо заметить, несмотря на свою беспорядочность, терпеть не мог лгать.

Помню, Кисочка села у моих ног, положила голову мне на колени и, глядя на меня блестящими, любящими глазами, спросила:

– Коля, ты меня любишь? Очень? Очень?

И засмеялась от счастья... Это показалось мне сантиментально, приторно и неумно, а между тем я находился уже в таком настроении, когда во всем искал прежде всего „глубины мысли“.

– Кисочка, ты бы ушла домой, – сказал я, – а то твои родные, чего доброго, хватятся тебя и будут искать по городу. Да и неловко, что ты к матери придешь под утро...

Кисочка согласилась со мной. На прощанье мы условились, что завтра в полдень я увижусь с нею в городском саду, а послезавтра мы вместе поедем в Пятигорск. Я вышел провожать ее на улицу и, помню, нежно и искренно ласкал ее дорогой. Была минута, когда мне вдруг стало невыносимо жаль, что она так беззаветно верит мне, и я порешил было взять ее с собой в Пятигорск, но, вспомнив, что у меня в чемодане только шестьсот рублей и что осенью развязаться с нею будет гораздо трудней, чем теперь, я поспешил заглушить свою жалость.

Мы пришли к дому, где жила Кисочкина мать. Я дернул за звонок. Когда послышались за дверью шаги, Кисочка вдруг сделала се-

рьезное лицо, взглянула на небо и несколько раз торопливо перекрестила меня, как ребенка, потом схватила мою руку и прижала к своим губам.

– Да завтра! – проговорила она и исчезла за дверью.

Я перешел на противоположный тротуар и отсюда поглядел на дом. Сначала за окнами было темно, потом в одном из окон мелькнул слабый синеватый огонек только что зажженной свечки; огонек вырос, пустил от себя лучи, и я увидел, как вместе с ним по комнатам задвигались какие-то тени.

„Не ждали!“ – подумал я.

Вернувшись к себе в номер, я разделся, выпил сантуринского, закусил свежей зернистой икрой, которую купил днем на базаре, не спеша лег в постель и уснул крепким, безмятежным сном туриста.

Утром проснулся я с головною болью и в дурном расположении духа. Что-то беспокоило меня.

„В чем дело? – спрашивал я себя, желая объяснить свое беспокойство. – Что тревожит меня?“

И свое беспокойство я объяснил боязнью, что сейчас, пожалуй, придет ко мне Кисочка, помешает мне уехать и я должен буду лгать и ломаться перед ней. Я быстро оделся, уложил свои вещи и вышел из гостиницы, приказав швейцару доставить мой багаж на вокзал к семи часам вечера. Весь день пробыл я у одного приятеля-доктора, а вечером уж выехал из города. Как видите, мое мышление не помешало мне удариться в подлое, изменническое бегство...

Всё время, пока я сидел у приятеля и ехал потом на вокзал, меня мучило беспокойство. Мне казалось, что я боюсь встречи с Кисочкой и скандала. На вокзале я нарочно просидел в уборной до второго звонка, а когда пробирался к своему вагону, меня давило такое чувство, как будто весь я от головы до ног был обложен краденными вещами. С каким нетерпением и страхом я ждал третьего звонка!

Но вот раздался спасительный третий звонок, поезд тронулся; миновали мы тюрьму, казармы, выехали в поле, а беспокойство, к великому моему удивлению, всё еще не оставляло меня, и всё еще я чувствовал себя

вором, которому страстно хочется бежать. Что за странность? Чтобы рассеяться и успокоить себя, я стал смотреть в окно. Поезд шел по берегу. Море было гладко, и в него весело и спокойно гляделось бирюзовое небо, почти наполовину выкрашенное в нежный, золотисто-багряный цвет заката. Кое-где на нем чернели рыбацкие лодочки и плоты. Город чистенький и красивый, как игрушка, стоял на высоком берегу и уж подергивался вечерним туманом. Золотые главы его церквей, окна и зелень отражали в себе заходившее солнце, горели и таяли, как золото, которое плавится... Запах поля мешался с нежною сыростью, веявшей с моря.

Поезд летел быстро. Слышался смех пассажиров и кондукторов. Всем было весело и легко, а мое непонятное беспокойство всё росло и росло... Я глядел на легкий туман, покрывавший город, и мне представлялось, как в этом тумане около церквей и домов, с бессмысленным, тупым лицом мечется женщина, ищет меня и голосом девочки или нарцисса, как хохлацкая актриса, стонет: „А, боже мой, боже мой!“ Я вспоминал ее серьезное ли-

цо и большие, озабоченные глаза, когда она вчера крестила меня, как родного, и машинально оглядывал свою руку, которую она вчера целовала.

„Влюблен я, что ли?“ – спрашивал я себя, почесывая руку.

Только с наступлением ночи, когда пассажиры спали и я один на один остался со своей совестью, мне стало понятно то, чего я никак не мог понять раньше. В вагонных сумерках стоял передо мной образ Кисочки, не отходил от меня, и я уже ясно сознавал, что мною совершено зло, равносильное убийству. Меня мучила совесть. Чтобы заглушить это невыносимое чувство, я уверял себя, что всё вздор и суета, что я и Кисочка умрем и сгнием, что ее горе ничто в сравнении со смертью, и так далее и так далее... Что, в конце концов, свободной воли нет и что я, стало быть, не виноват, но все эти доводы только раздражали меня и как-то особенно быстро стусывались среди других мыслей. В руке, которую поцеловала Кисочка, было ощущение тоски... Я то ложился, то вставал, пил на станциях водку, насильно ел бутерброды, опять прини-

мался уверять себя, что жизнь не имеет смысла, но ничто не помогало. В моей голове кипела странная и, если хотите, смешная работа. Самые разнообразные мысли в беспорядке громоздились одна на другую, путались, мешали друг другу, а я, мыслитель, уставясь в землю лбом, ничего не понимал и никак не мог ориентироваться в этой куче нужных и ненужных мыслей. Оказалось, что я, мыслитель, не усвоил себе еще даже техники мышления и что распоряжаться своей собственной головой я так же не умел, как починять часы. Первый раз в жизни я мыслил усердно и напряженно, и это казалось мне такой диковиной, что я думал: „Я схожу с ума!“ Чей мозг работает не всегда, а только в тяжелые минуты, тому часто приходит мысль о сумасшествии.

Промаялся я таким образом ночь, день, потом еще ночь, и, убедившись, как мало помогает мне мое мышление, я прозрел и понял наконец, что я за птица. Я понял, что мысли мои не стоят гроша медного и что до встречи с Кисочкой я еще не начинал мыслить и даже понятия не имел о том, что значит серьезная

мысль; теперь, настрадавшись, я понял, что у меня не было ни убеждений, ни определенно-го нравственного кодекса, ни сердца, ни рас-судка; всё умственное и нравственное богат-ство мое состояло из специальных знаний, об-рывков, ненужных воспоминаний, чужих мыслей – и только, а психические движения мои были несложны, просты и азбучны, как у якута... Если я не любил говорить ложь, не крал, не убивал и вообще не делал очевидно грубых ошибок, то это не в силу своих убе-ждений, – их у меня не было, – а просто только потому, что я по рукам и ногам был связан ня-нюшкиными сказками и прописной мора-лью, которые вошли мне в плоть и кровь и которые незаметно для меня руководили мною в жизни, хотя я и считал их нелепо-стью...

Я понял, что я не мыслитель, не философ, а просто виртуоз. Бог дал мне здоровый, силь-ный русский мозг с задатками таланта. И вот представьте себе этот мозг на 26 году жизни, не дрессированный, совершенно свободный от постоа, не обремененный никакою кладью, а только слегка запылившийся кое-какими

знаниями по инженерной части; он молод и физиологически алчет работы, ищет ее, и вдруг совершенно случайным путем западает в него извне красивая, сочная мысль о бесцельной жизни и загробных потемках. Он жадно втягивает ее в себя, дает в ее распоряжение весь свой простор и начинает играть с нею на всякие лады, как кошка с мышкой. У мозга ни эрудиции, ни системы, но это не беда. Он собственными, природными силами на манер самоучки справляется с широкой мыслью, и не проходит месяца, как уж обладатель мозга из одного картофеля готовит сотню вкусных блюд и мнит себя мыслителем...

Эту виртуозность, игру в серьезную мысль наше поколение внесло в науку, в литературу, в политику и всюду, куда только оно не ленилось идти, а с виртуозностью вносило оно свой холод, скуку, односторонность и, как мне кажется, уже успело воспитать в массе новое, до сих пор небывалое отношение к серьезной мысли.

Свою ненормальность и круглое невежество я понял и оценил, благодаря несчастью. Нормальное же мое мышление, как мне те-

перь кажется, началось только с того времени, когда я принялся за азбуку, то есть когда совесть погнала меня назад в N., и я, не мудрствуя лукаво, покаялся перед Кисочкой, вымолил у нее, как мальчишка, прощение и поплакал вместе с ней...»

Ананьев вкратце описал свое последнее свидание с Кисочкой и умолк.

– Тэк-с... – процедил сквозь зубы студент, когда инженер кончил. – Такие-то дела на этом свете!

Лицо его по-прежнему выражало мозговую лень, и, по видимому, рассказ Ананьева не тронул его нисколько. Только когда инженер, отдохнувши минутку, опять принялся развивать свою мысль и повторять то, что уже было сказано им вначале, студент раздраженно поморщился, встал из-за стола и отошел к своей кровати. Он постлал постель и стал раздеваться.

– У вас теперь такой вид, как будто вы в самом деле кого-нибудь убедили! – сказал он раздраженно.

– Я, кого-нибудь убедил? – спросил инженер. – Душа моя, да разве я претендую на это?

Бог с вами! Убедить вас невозможно! Дойти до убеждения вы можете только путем личного опыта и страданий!..

– И потом, удивительная логика! – проворчал студент, надевая ночную сорочку. – Мысли, которых вы так не любите, для молодых губельны, для стариков же, как вы говорите, составляют норму. Точно речь идет о седицах... Откуда эта старческая привилегия? На чем она основана? Уж коли эти мысли – яд, так яд для всех одинаково.

– Э, нет, душа моя, не говорите! – сказал инженер и хитро подмигнул глазом. – Не говорите! Старики, во-первых, не виртуозы. Их пессимизм является к ним не извне, не случайно, а из глубины собственного мозга и уж после того, как они проштудируют всяких Гегелей и Кантов, страдают, наделают тьму ошибок, одним словом, когда пройдут всю лестницу от низу до верху. Их пессимизм имеет за собой и личный опыт, и прочное философское развитие. Во-вторых, у стариков-мыслителей пессимизм составляет не шалтай-болтай, как у нас с вами, а мировую боль, страдание; он у них имеет христиан-

скую подкладку, потому что вытекает из любви к человеку и из мыслей о человеке и совсем лишен того эгоизма, какой замечается у виртуозов. Вы презираете жизнь за то, что ее смысл и цель скрыты именно от вас, и боитесь вы только своей собственной смерти, настоящий же мыслитель страдает, что истина скрыта от всех, и боится за всех людей. Например, тут недалеко живет казенный лесничий Иван Александрыч. Хороший такой старичок. Когда-то он где-то был учителем, пописывал что-то, чёрт его знает, кем он был, но только умница замечательная и по части философии собаку съел. Читал он много и теперь постоянно читает. Ну-с, как-то недавно встретились мы с ним на Грузовском участке... А там как раз в это время клали шпалы и рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александрычу, как не специалисту, она показалась чем-то вроде фокуса. Для того, чтобы уложить шпалу и фиксировать к ней рельс, опытному мастеру нужно меньше минуты. Рабочие были в духе и работали, действительно, ловко и быстро; особенно один подлец необыкновенно ловко попадал молотком в го-

ловку гвоздя и вбивал его с одного размаха, а в рукоятке-то молотка чуть ли не сажень и каждый гвоздь в фут длиною. Иван Александрович долго глядел на рабочих, умилился и сказал мне со слезами на глазах: «Как жаль, что эти замечательные люди умрут!» Такой пессимизм я понимаю...

– Всё это ничего не доказывает и не объясняет, – сказал студент, укрываясь простыней, – и всё это одно только толчение воды в ступе! Никто ничего не знает и ничего нельзя доказать словами.

Он выглянул из-под простыни, приподнял голову и, раздраженно морщась, проговорил быстро:

– Надо быть очень наивным, чтобы верить и придавать решающее значение человеческой речи и логике. Словами можно доказать и опровергнуть всё, что угодно, и скоро люди усовершенствуют технику языка до такой степени, что будут доказывать математически верно, что дважды два – семь. Я люблю слушать и читать, но верить, покорнейше благодарю, я не умею и не хочу. Я поверю одному только богу, а вам, хоть бы вы говорили мне

до второго пришествия и обольстили еще пятьсот Кисочек, я поверю разве только, когда сойду с ума... Спокойной ночи!

Студент спрятал голову под простыню и отвернулся лицом к стенке, желая этим движением дать понять, что он уж не желает ни слушать, ни говорить. На этом и кончился спор.

Прежде чем лечь спать, я и инженер вышли из барака, и я еще раз видел огни.

– Мы утомили вас своей болтовней! – сказал Ананьев, зевая и глядя на небо. – Ну, да что ж, батенька! Только и удовольствия в этой скучище, что вот вина выпьешь да пофилософствуешь... Экая насыпь, господи! – умилился он, когда мы подошли к насыпи. – Это не насыпь, а Арарат-гора.

Он помолчал немного и сказал:

– Барону эти огни напоминают амалеки-тян, а мне кажется, что они похожи на человеческие мысли... Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке, тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок, и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают

где-то – далеко за старостью... Однако, довольно философствовать! Пора бай-бай...

Когда мы вернулись в барак, инженер стал упрашивать меня, чтобы я лег непременно на его кровать.

– Ну, пожалуйста! – говорил он умоляюще, прижимая обе руки к сердцу. – Прошу вас! А насчет меня не беспокойтесь. Я могу спать где угодно, да и еще не скоро лягу... Сделайте такое одолжение!

Я согласился, разделся и лег, а он сел за стол и принялся за чертежи.

– Нашему брату, батенька, некогда спать, – говорил он вполголоса, когда я лег и закрыл глаза. – У кого жена да пара ребят, тому не до спанья. Теперь корми и одевай да на будущее припасай. А у меня их двое: сынишка и дочка... У мальчишки-подлеца хорошая рожа... Шести лет еще нет, а способности, доложу я вам, необыкновенные... Тут у меня где-то их карточки были... Эх, деточки мои, деточки!

Он пошарил в бумагах, нашел карточки и стал глядеть на них. Я уснул.

Разбудили меня лай Азорки и громкие голоса. Фон Штенберг, в одном нижнем белье,

босой и с включенными волосами, стоял на пороге двери и с кем-то громко разговаривал. Светало... Хмурый, синий рассвет гляделся в дверь, в окна и в щели барака и слабо освещал мою кровать, стол с бумагами и Ананьева. Растянувшись на полу на бурке, выпятив свою мясистую, волосатую грудь и с кожаной подушкой под головой, инженер спал и храпел так громко, что я от души пожалел студента, которому приходится спать с ним каждую ночь.

– С какой же стати мы будем принимать? – кричал фон Штенберг. – Это нас не касается! Поезжай к инженеру Чалисову! От кого это котлы?

– От Никитина... – отвечал угрюмо чей-то бас.

– Ну, так вот и поезжай к Чалисову... Это не по нашей части. Какого ж чёрта стоишь? Поезжай!

– Ваше благородие, мы уж были у господина Чалисова! – сказал бас еще угрюмее. – Вчера цельный день их искали по линии, и в ихнем бараке нам так сказали, что они на Дымковский участок уехали. Примите, сделайте

милость! До каких же пор нам возить их? Возим-возим по линии, и конца не видать...

– Что там? – прохрипел Ананьев, просыпаясь и быстро поднимая голову.

– От Никитина котлы привезли, – сказал студент, – и просят, чтобы мы их приняли. А какое нам дело принимать?

– Гоните их в шею!

– Сделайте милость, ваше благородие, доведите до порядка! Лошади два дня не евши и хозяин, чай, серчает. Назад нам везть, что ли? Железная дорога котлы заказывала, стало быть, она и принять должна...

– Да пойми же, дубина, что это не наше дело! Поезжай к Чалисову!

– Что такое? Кто там? – прохрипел опять Ананьев. – А чёрт их возьми совсем, – выбранился он, поднимаясь и идя к двери. – Что такое?

Я оделся и минуты через две вышел из барака. Ананьев и студент, оба в нижнем белье и босые, что-то горячо и нетерпеливо объясняли мужику, который стоял перед ними без шапки и с кнутом в руке и, по-видимому, не понимал их. На лицах обоих была написана

самая будничная забота.

– На что мне сдались твои котлы? – кричал Ананьев. – На голову я себе их надену, что ли? Если ты не застал Чалисова, то поищи его помощника, а нас оставь в покое!

Увидев меня, студент, вероятно, вспомнил разговор, который был ночью, и на сонном лице его исчезла забота и показалось выражение мозговой лени. Он махнул рукой на мужика и, о чем-то думая, отошел в сторону.

Утро было пасмурное. По линии, где ночью светились огни, копошились только что проснувшиеся рабочие. Слышались голоса и скрип тачек. Начинался рабочий день. Одна лошаденка в веревочной сбруе уже плелась на насыпь и, изо всех сил вытягивая шею, тащила за собою телегу с песком...

Я стал прощаться... Много было сказано ночью, но я не увозил с собою ни одного решенного вопроса и от всего разговора теперь утром у меня в памяти, как на фильтре, оставались только огни и образ Кисочки. Севши на лошадь, я в последний раз взглянул на студента и Ананьева, на истеричную собаку с мутными, точно пьяными глазами, на рабо-

чих, мелькавших в утреннем тумане, на насыпь, на лошаденку, вытягивающую шею, и подумал:

«Ничего не разберешь на этом свете!»

А когда я ударил по лошади и поскакал вдоль линии и когда, немного погодя, я видел перед собою только бесконечную, угрюмую равнину и пасмурное, холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: «Да, ничего не поймешь на этом свете!»

Стало восходить солнце...

# Неприятность

Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет 35, худосочный и нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике и горячею привязанностью к так называемым «бытовым вопросам», как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним, по обыкновению, следовал его фельдшер Михаил Захарович, пожилой человек, с жирным лицом, плоскими сальными волосами и с серьгой в ухе.

Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась в складки и упрямо задиралась вверх, несмотря на то, что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черном длинном сюртуке, на панталонах и даже на галстуке кое-где белел пух... Очевидно, фельдшер спал всю ночь не раздеваясь и, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежда

стесняла его.

Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробежавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное – напряженные усилия над самим собой и желание замаскировать свое состояние, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян, пьян тяжело, со вчерашнего... Он переживал мучительное состояние «перегара», страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой.

Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, вы пьяны!» Ему вдруг стали противны жилетка, длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда:

– Давали Герасиму молока?

– Давали-с... – ответил Михаил Захарыч тоже мягко.

Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась

температура, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить, но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь:

– Отчего температура не записана?

– Нет, записана-с! – сказал мягко Михаил Захарыч, но, поглядев в листок и убедившись, что температура в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал: – Не знаю-с, это, должно быть, Надежда Осиповна...

– И вчерашняя вечерняя не записана! – продолжал доктор. – Только пьянствуете, чёрт вас возьми! И сейчас вы пьяны, как сапожник! Где Надежда Осиповна?

Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что всё разбросано, ничего, что нужно, не сделано и что всё так же топорщится, мнетя и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера, и ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить всё, плюнуть и уйти. Но он сделал над

собою усилие и продолжал обход.

За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся рукой.

«Это вчера они гуляли на именинах... – думал он, медленно снимая повязку. – Погодите, я покажу вам именины! Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу».

Он нащупал на вспухшей, багровой руке гнойник и сказал:

– Скальпель!

Михаил Захарыч, старавшийся показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель.

– Не этот! Дайте из новых, – сказал доктор.

Фельдшер засеменял к стулу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом, и стал торопливо рыться в нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по стулу, шуршал, что-то раза два уронил, а доктор сидел, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шёпота и шороха.

– Скоро же? – спросил он. – Вы, должно быть, их внизу забыли...

Фельдшер подбежал к нему и подал два скальпеля, причем не уберется и дыхнул в его сторону.

– Это не те! – сказал раздраженно доктор. – Я говорю вам русским языком, дайте из новых. Впрочем, ступайте и проспите, от вас несет, как из кабака! Вы невменяемы!

– Каких же вам еще ножей нужно? – спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами.

Ему было досадно на себя и стыдно, что на него в упор глядят больные и сиделки, и чтобы показать, что ему не стыдно, он принужденно усмехнулся и повторил:

– Каких же вам еще ножей нужно?

Доктор почувствовал на глазах слезы и дрожь в пальцах. Он сделал над собой усилие и проговорил дрожащим голосом:

– Ступайте проспите! Я не желаю говорить с пьяным...

– Вы можете только за дело с меня взыскивать, – продолжал фельдшер, – а ежели я, положим, выпивши, то никто не имеет права

мне указывать. Ведь я служу? Что ж вам еще! Ведь служу?

Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие оттого, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену, покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз, но, увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты.

Во дворе встретилась ему шедшая в больницу Надежда Осиповна, девица лет 27, с бледно-желтым лицом и с распущенными волосами. Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле и от этого шаги ее были очень мелкие и часты. Она шуршала платьем, подергивала плечами в такт каждому своему шагу и покачивала головой так, как будто напевала мысленно что-то весе-

ленькое.

«Ага, русалка!» – подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнят русалкой, и ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелкошагающую, влюбленную в себя франтиху.

– Где это вы пропадаете? – крикнул он, поравнявшись с ней. – Отчего вы не в больнице? Температура не записана, везде беспорядок, фельдшер пьян, вы спите до двенадцати часов!.. Извольте искать себе другое место! Здесь вы больше не служите!

Придя на квартиру, доктор сорвал с себя белый фартук и полотенце, которым был подпоясан, со злобой швырнул то и другое в угол и заходил по кабинету.

– Боже, что за люди, что за люди! – проговорил он. – Это не помощники, а враги дела! Нет сил служить больше! Не могу! Я уйду!

Сердце его сильно билось, он весь дрожал и хотел плакать и, чтобы избавиться от этих ощущений, он начал успокаивать себя мыслями о том, как он прав и как хорошо сделал, что ударил фельдшера. Прежде всего гадко то, думал доктор, что фельдшер поступил в боль-

ницу не просто, а по протекции своей тетки, служащей в нянюшках у председателя земской управы (противно бывает глядеть на эту влиятельную тетушку, когда она, приезжая лечиться, держит себя в больнице, как дома, и претендует на то, чтобы ее принимали не в очередь). Дисциплинирован фельдшер плохо, знает мало и совсем не понимает того, что знает. Он нетрезв, дерзок, нечистоплотен, берет с больных взятки и тайком продает земские лекарства. Всем также известно, что он занимается практикой и лечит у молодых меццан секретные болезни, причем употребляет какие-то собственные средства. Добро бы это был просто шарлатан, каких много, но это шарлатан убежденный и втайне протестующий. Тайком от доктора он ставит приходящим больным банки и пускает им кровь, на операциях присутствует с неумытыми руками, ковыряет в ранах всегда грязным зондом – этого достаточно, чтобы понять, как глубоко и храбро презирает он докторскую медицину с ее ученостью и педантизмом.

Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, доктор сел за стол и написал письмо к

председателю управы: «Уважаемый Лев Трофимович! Если, по получении этого письма, ваша управа не уволит фельдшера Смирновского и не предоставит мне права самому выбирать себе помощников, то я сочту себя вынужденным (не без сожаления, конечно) просить вас не считать уже меня более врачом N-ской больницы и озаботиться приисканием мне преемника. Почтение Любовь Федоровне и Юсу. Уважающий Г. Овчинников».

Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно коротко и недостаточно холодно. К тому же почтение Любовь Федоровне и Юсу (так дразнили младшего сына председателя) в деловом, официальном письме было более чем неуместно.

«Какой тут к чёрту Юс?» – подумал доктор, изорвал письмо и стал придумывать другое. – «Милостивый государь...» – думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами, которые, покачиваясь и спотыкаясь, спешили по дороге, должно быть, к пруду; один утенок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк; другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и

тоже подавился... Далеко около забора в кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей... Слышались голоса... Кучер Зот с уздечкой в руке и больничный мужик Мануйло в грязном фартуке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись.

«Это они о том, что я фельдшера ударил... – думал доктор. – Сегодня уже весь уезд будет знать об этом скандале... Итак: „Милостивый государь! Если ваша управа не уволит...“»

Доктор отлично знал, что управа ни в каком случае не променяет его на фельдшера и скорее согласится не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишиться такого превосходного человека, как доктор Овчинников. Наверное, тотчас же по получении письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет: «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое, Христос с вами? Зачем? С какой стати? Где он? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать! Чтоб завтра же его, подлеца, здесь не было!» Потом он пообедает с доктором, а по-

сле обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вверх, закроет лицо газетой и захрапит; выспавшись, напьется чаю и увезет к себе доктора ночевать. И вся история кончится тем, что и фельдшер останется в больнице, и доктор не подаст в отставку.

Доктору же в глубине души хотелось не такой развязки. Ему хотелось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала и чтобы управа, невзирая на его восьмилетнюю добросовестную службу, без разговоров и даже с удовольствием приняла бы его отставку. Он мечтал о том, как он будет уезжать из больницы, к которой привык, как напишет письмо в газету «Врач», [19] как товарищи поднесут ему сочувственный адрес...

На дороге показалась русалка. Мелко шагая и шурша платьем, она подошла к окну и спросила:

– Григорий Иваныч, сами будете принимать больных или без вас прикажете?

А глаза ее говорили: «Ты погорячился, но теперь успокоился и тебе стыдно, но я великодушна и не замечаю этого».

– Хорошо, я сейчас, – сказал доктор.

Он опять надел фартук, подпоясался полотенцем и пошел в больницу.

«Нехорошо, что я убежал, когда ударил его... – думал он дорогой. – Вышло, как будто я сконфузился или испугался... Гимназиста разыграл... Очень нехорошо!»

Ему казалось, что когда он войдет в палату, то больным будет неловко глядеть на него и ему самому станет совестно, но когда он вошел, больные покойно лежали на кроватях и едва обратили на него внимание. Лицо чахоточного Герасима выражало совершенное равнодушие и как бы говорило: «Он тебе не потрафил, ты его маненько поучил... Без этого, батюшка, нельзя».

Доктор вскрыл на багровой руке два гнояника и наложил повязку, потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операцию в глазу, и всё время за ним ходила русалка и помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось и всё обстояло благополучно. После обхода палат началась приемка приходящих больных. В маленькой приемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сесть на подоконник и

немножко нагнуться, чтобы увидеть на аршин от себя молодую траву. Вчера вечером был сильный ливень с грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые елки, одетые в пышные зеленые платья, за ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез видно голубое бездонное небо. Когда выглянешь в окно, то скворцы, прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна свои глупые носы и решают: испугаться или нет? И, решив испугаться, они один за другим с веселым криком, точно потешаясь над доктором, не умеющим летать, несутся к верхушкам берез...

Сквозь тяжелый запах иодоформа чувствуется свежесть и аромат весеннего дня... Хорошо дышать!

– Анна Спиридонова! – вызвал доктор.

В приемную вошла молодая баба в крас-

ном платье и помолилась на образ.

– Что болит? – спросил доктор.

Баба недоверчиво покосилась на дверь, в которую вошла, и на дверцу, ведущую в аптеку, подошла поближе к доктору и шепнула:

– Детей нету!

– Кто еще не записывался? – крикнула в аптеке русалка. – Подходите записываться!

«Он уже тем скотина, – думал доктор, исследуя бабу, – что заставил меня драться первый раз в жизни. Я отродясь не дрался».

Анна Спиридонова ушла. После нее пришел старик с дурной болезнью, потом баба с тремя ребятишками в чесотке, и работа закипела. Фельдшер не показывался. За дверцей в аптеке, шурша платьем и звеня посудой, весело щебетала русалка; то и дело она входила в приемную, чтобы помочь на операции или взять рецепты, и всё с таким видом, как будто всё было благополучно.

«Она рада, что я ударил фельдшера, – думал доктор, прислушиваясь к голосу акушерки. – Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят. И сиделки, кажется, рады... Как это про-

тивно!»

В самый разгар приемки ему стало казаться, что и акушерка, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушное и веселое выражение. Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали вид, что не понимают. И он, желая показать им, что ему вовсе не стыдно, кричал сердито:

– Эй, вы, там! Затворяйте дверь, а то сквозит!

А ему уж было стыдно и тяжело. Принявши сорок пять больных, он не спеша вышел из больницы. Акушерка, уже успевшая побывать у себя на квартире и надеть на плечи ярко-пунцовый платок, с папироской в зубах и цветком в распущенных волосах, спешила куда-то со двора, вероятно, на практику или в гости. На пороге больницы сидели больные и молча грелись на солнышке. Скворцы по-прежнему шумели и гонялись за жуками. Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша в фортепиано, резко выделялись и никуда не годились только

две жизни: фельдшера и его. Фельдшер теперь, наверное, лег, чтобы проспаться, но никак не может уснуть от мысли, что он виноват, оскорблен и потерял место. Положение его мучительно. Доктор же, ранее никогда никого не бивший, чувствовал себя так, как будто навсегда потерял невинность. Он уже не обвинял фельдшера и не оправдывал себя, а только недоумевал: как это могло случиться, что он, порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить? Придя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диван, лицом к спинке, и стал думать таким образом:

«Он человек нехороший, вредный для дела; за три года, пока он служит, у меня накипело в душе, но тем не менее мой поступок ничем не может быть оправдан. Я воспользовался правом сильного. Он мой подчиненный, виноват и к тому же пьян, а я его начальник, прав и трезв... Значит, я сильнее. Во вторых, я ударил его при людях, которые считают меня авторитетом, и таким образом я подал им отвратительный пример...»

Доктора позвали обедать... Он съел несколько ложек щей и, вставши из-за стола,

опять лег на диван.

«Что же теперь делать? – продолжал он думать. – Надо возможно скорее дать ему удовлетворение... Но каким образом? Дуэли он, как практический человек, считает глупостью или не понимает их. Если в той самой палате, при сиделках и больных, попросить у него извинения, то это извинение удовлетворит только меня, а не его; он, человек дурной, поймет мое извинение как трусость и боязнь, что он пожалуется на меня начальству. К тому же, это мое извинение вконец расшатает больничную дисциплину. Предложить ему денег? Нет, это безнравственно и похоже на подкуп. Если теперь, положим, обратиться за разрешением вопроса к нашему прямому начальству, то есть к управе... Она могла бы объявить мне выговор или уволить меня... Но этого она не сделает. Да и не совсем удобно вмешивать в интимные дела больницы управу, которая кстати же не имеет на это никакого права...»

Часа через три после обеда доктор шел к пруду купаться и думал:

«А не поступить ли мне так, как поступают

все при подобных обстоятельствах? То есть, пусть он подаст на меня в суд. Я безусловно виноват, оправдываться не стану, и мировой присудит меня к аресту. Таким образом оскорбленный будет удовлетворен, и те, которые считают меня авторитетом, увидят, что я был неправ».

Эта идея улыбнулась ему. Он обрадовался и стал думать, что вопрос решен благополучно и что более справедливого решения не может быть.

«Что ж, превосходно! – думал он, полезая в воду и глядя, как от него убегали стаи мелких, золотистых карасиков. – Пусть подает... Это для него тем более удобно, что наши служебные отношения уже порваны и одному из нас после этого скандала всё равно уж нельзя оставаться в больнице...»

Вечером доктор приказал заложить шарбан, чтобы ехать к воинскому начальнику играть в винт. Когда он, в шляпе и в пальто, совсем уже готовый в путь, стоял у себя посреди кабинета и надевал перчатки, наружная дверь со скрипом отворилась и кто-то бесшумно вошел в переднюю.

– Кто там? – спросил доктор.

– Это я-с... – глухо ответил вошедший.

У доктора вдруг застучало сердце и весь он похолодел от стыда и какого-то непонятного страха. Фельдшер Михаил Захарыч (это был он) тихо кашлянул и несмело вошел в кабинет. Помолчав немного, он сказал глухим, виноватым голосом:

– Простите меня, Григорий Иванович!

Доктор растерялся и не знал, что сказать. Он понял, что фельдшер пришел к нему унижаться и просить прощения не из христианского смирения и не ради того, чтобы своим смирением уничтожить оскорбителя, а просто из расчета: «сделаю над собой усилие, попрошу прощения, и, авось, меня не прогонят и не лишат куска хлеба...» Что может быть оскорбительней для человеческого достоинства?

– Простите... – повторил фельдшер.

– Послушайте... – заговорил доктор, стараясь не глядеть на него и всё еще не зная, что сказать. – Послушайте... Я вас оскорбил и... и должен понести наказание, то есть удовлетворить вас... Дуэлей вы не признаете... Впро-

чем, я сам не признаю дуэлей. Я вас оскорбил и вы... вы можете подать на меня жалобу мировому судье, и я понесу наказание... А оставаться нам тут вдвоем нельзя... Кто-нибудь из нас, я или вы, должен выйти! («Боже мой! Я не то ему говорю! – ужаснулся доктор. – Как глупо, как глупо!») Одним словом, подавайте прошение! А служить вместе мы уже не можем!.. Я или вы... Завтра же подавайте!

Фельдшер поглядел исподлобья на доктора и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное презрение. Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой, а теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах...

– И подам, – сказал он угрюмо и злобно.

– Да, и подавайте!

– А что ж вы думаете? Не подам? И подам...

Вы не имеете права драться. Да и стыдились бы! Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный...

В груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и он закричал не своим голосом:

– Убирайтесь вон!

Фельдшер нехотя тронулся с места (ему как будто хотелось еще что-то сказать), пошел в переднюю и остановился там в раздумье. И, что-то надумав, он решительно вышел...

– Как глупо, как глупо! – бормотал доктор по уходе его. – Как всё это глупо и пошло!

Он чувствовал, что вел себя сейчас с фельдшером, как мальчишка, и уж понимал, что все его мысли насчет суда не умны, не решают вопроса, а только осложняют его.

«Как глупо! – думал он, сидя в шарабане и потом играя у воинского начальника в винт. – Неужели я так мало образован и так мало знаю жизнь, что не в состоянии решить этого простого вопроса? Ну, что делать?»

На другой день утром доктор видел, как жена фельдшера садилась в повозку, чтобы куда-то ехать, и подумал: «Это она к тетушке. Пусть!»

Больница обходилась без фельдшера. Нужно было написать заявление в управу, но доктор всё еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков: «Прошу уволить фельдшера, хотя

виноват не он, а я». Изложить же эту мысль так, чтобы вышло не глупо и не стыдно – для порядочного человека почти невозможно.

Дня через два или три доктору донесли, что фельдшер был с жалобой у Льва Трофимовича. Председатель не дал ему сказать ни одного слова, зато пал ногами и проводил его криком: «Знаю я тебя! Вон! Не желаю слушать!» От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу и подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине и ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участки неисправно и проч. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал: «Этакий дурак!» и ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости; чем больше глупостей делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее.

Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судьи.

«Это уж совсем глупо... – думал он, расписываясь в получении. – Глупее и придумать

ничего нельзя».

И когда он в пасмурное, тихое утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно, а досадно и противно. Он злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства...

– Возьму и скажу на суде: убирайтесь вы все к чёрту! – злился он. – Вы все ослы и ничего вы не понимаете!

Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц, и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась с ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидела главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить: «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!», но он сдержал себя и, стараясь казаться покойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письмоводителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломенковом пиджаке с оттопы-

ренными карманами – это был письмоводитель, и фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся; фельдшер сконфузился и тоже поднялся.

– Александр Архипович еще не приходил? – спросил доктор, конфузясь.

– Нет еще. Они дома... – ответил письмоводитель.

Камера помещалась в усадьбе мирового судьи, в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша направился к дому. Александра Архиповича застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чаю; увидев гостя, он быстро придвинул к себе другой стакан, налил его и, не здороваясь, спросил:

– Вам с сахаром или без сахару?

Когда-то, очень давно, мировой служил в кавалерии; теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине дей-

ствительного статского, но всё еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных привычек. У него были длинные, полицмейстерские усы, брюки с кантами, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув назад голову и уснащая речь сочным, генеральским «мнээ-э...», поводил плечами и играл глазами; здороваясь или давая закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнул и сказал:

– Н-да-с... Может быть, желаете мнээ... водки выпить и закусить? Мнээ-э?

– Нет, спасибо, я сыт.

Оба чувствовали, что им не миновать разговора о больничном скандале, и обоим было неловко. Доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил, потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с рас-

становкой:

– Послушайте, отчего вы его не прогоните?

Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку; ему вдруг стало жаль себя, и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его наконец лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал:

– Прогнать! Как вы все рассуждаете, ей-богу... Удивительно, как вы все рассуждаете! Да разве я могу его прогнать? Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин и делаю всё, что хочу! Удивительно, как вы все рассуждаете! Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такие шептуны и лакеи, как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство ставит нас, врачей, ни в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья? Чёрт их подери, я не желаю служить, вот и всё! Не желаю!

– Ну, ну, ну... Вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать...

– Предводитель изо всех сил старается до-

казать, что все мы нигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый Семен Алексеич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба! Да чёрт его возьми! Я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочие клоуны! Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба! Покорнейше вас благодарю! И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать! Этот ваш член управы Камчатский в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много иодистого калия, и рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина! Что он понимает, я вас спрашиваю? Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить?

– Но... но ведь он хам, душа моя, холуй... На

него нельзя обращать внимание...

– Хам, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос! Вы вот улыбаетесь! По-вашему, всё это мелочи, пустяки, но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчинок гора! Я больше не могу! Сил нет, Александр Архипыч! Еще немного и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы...

Глаза доктора налились слезами и голос дрогнул; он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание.

– Н-да-с, почтеннейший... – пробормотал мировой в раздумье. – С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то... (мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку)... то, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы сто человек, а хорошего не найдете... Все мерзавцы (мировой по-

гладил себя под мышками и медленно закурил папиросу). С этим злом надо мириться. Я должен вам сказать, что-о в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, то есть среди двух этих крайностей – и только. Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не дошедшие до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-с в юстиции со времен царя Гороха и во всё время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на своем веку видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж о-о-о-о принципах, так сказать...

«Зачем он это говорит? – подумал доктор. – Не то мы с ним говорим, что нужно».

– Вот не дальше, как в прошлую пятницу, –

продолжал мировой, – мой Дюжинский учинил такую, можете себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, чёрт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними в камере. Как вам это понравится? Я ничего не имею против питья. Чёрт с тобой, пей, но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь, судите сами, выкрасть из дел какой-нибудь документ, вексель и прочее – минутное дело! И что ж вы думаете? После той оргии я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что... Ну, что ж вы подделаете со стервецом? Прогнать? Хорошо-с... А чем вы поручитесь, что другой не будет хуже?

– Да и как его прогонишь? – сказал доктор. – Прогнать человека легко только на словах... Как я прогоню и лишу его куска хлеба, если знаю, что он семейный, голодный? Куда он денется со своей семьей?

«Чёрт знает что, не то я говорю!» – подумал он, и ему показалось странным, что он никак не может укрепить свое сознание на какой-нибудь одной, определенной мысли или на каком-нибудь одном чувстве. – «Это отто-

го, что я неглубок и не умею мыслить», – подумал он.

– Средний человек, как вы назвали, ненадежен, – продолжал он. – Мы его гоним, браним, бьем по физиономии, но ведь надо же войти и в его положение. Он ни мужик, ни барин, ни рыба, ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только 25 рублей в месяц, голодная семья и подчиненность, в будущем те же 25 рублей и зависимое положение, прослужи он хоть сто лет. У него ни образования, ни собственности; читать и ходить в церковь ему некогда, нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет изо дня в день до самой смерти без надежд на лучшее, обедая впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своих детей. Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципам!

«Мы, кажется, уж социальные вопросы решаем, – подумал он. – И как нескладно, господи! Да и к чему всё это?»

Послышались звонки. Кто-то въехал во двор и подкатил сначала к камере, потом к

крыльцу большого дома.

– Сам приехал, – сказал мировой, поглядев в окно. – Ну, будет вам на орехи!

– А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорее... – попросил доктор. – Если можно, то рассмотрите мое дело не в очередь. Ей-богу, некогда.

– Хорошо, хорошо... Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мне это дело. Отношения ведь у вас с фельдшером, так сказать, служебные, и к тому же вы смазали его при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, не знаю хорошенько. Спросим сейчас у Льва Трофимовича.

Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками.

– Мое почтение... – сказал он, задыхаясь. – Уф, батюшки! Вели-ка, судья, подать мне квасу! Смерть моя...

Он опустил в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором:

– Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иванович! Одолжили, благодарю вас! Во веки веков аминь не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, а это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал? А?

Тараща глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал:

– Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески: «Голубушка, Лев Трофимыч, так и так, мол... Такого сорта история и прочее...» Я бы вам в один миг всё устроил и не понадобилось бы этого скандала... Тот дурак, словно белены объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы, срам сказать, извините за выражение, затеяли чёрт знает что, заставили того дурака подать в суд! Срам, чистый срам! Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я, председатель, и ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надоб-

ности нет! Очень, очень вам благодарен, Григорий Иваныч!

Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь, потом подошел к окну и крикнул:

– Жигалов, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтоб сию минуту сюда шел! Нехорошо-с! – сказал он, отходя от окна. – Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам. Уж очень вы, господа, умствуете! Всё норовите, как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами, а выходит у вас только одно: тень наводите...

– Вы норовите всё не по-умному, а у вас-то что выходит? – спросил доктор.

– Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя осрамили, и нас... Счастье ваше, что я приехал!

Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал:

– Проси сейчас у доктора прощения!

Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.

– Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений! – продолжал председатель. – Он желает, чтоб ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?

– Даю... – угрюмо пробасил фельдшер.

– Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня в один миг потеряешь место! Если что случится, не проси милости... Ну, ступай домой...

Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а ту-по улыбнулся и вышел.

– Вот и всё! – сказал председатель. – И суда никакого не нужно.

Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал:

– Блажени миротворцы...[20] Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить... Ну, и водоч-

ки...

– Господа, это невозможно! – сказал доктор, входя в столовую, всё еще красный и ломая руки. – Это... это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!

– Что же вам нужно? – огрызнулся на него председатель. – Прогнать? Извольте, я прогнанию...

– Нет, не прогнать... Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни... ах, боже мой! Это мучительно!

Доктор нервно засуетился и стал искать своей шляпы и, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.

– Гадко! – повторил он.

– Душа моя, – зашептал мировой, – отчасти вас не понимаю, так сказать... Ведь вы виноваты в этом инциденте! Хлобыстать по физиономии в конце девятнадцатого века – это, некоторым образом, как хотите, не того... Он мерзавец, но-о-о, согласитесь, и вы поступили неосторожно...

– Конечно! – согласился председатель.

Подали водку и закуску. На прощанье док-

тор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро.

«Неужели, – думал он, – в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы всё кончилось так нелепо и пошло! Как глупо! Как глупо!»

Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей, стыдно за слова, которые он говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря, стыдно за свой не понимающий, не глубокий ум... Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы... И фельдшер, и рурсалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось и что всё было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось:

«Глупо, глупо, глупо...»

# Красавицы

## I

Помню, будучи еще гимназистом V или VI класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой, Донской области, в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, томительно скучный. От жара и сухого, горячего ветра, гнавшего нам навстречу облака пыли, слипались глаза, сохло во рту; не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать, и когда дремавший возница, хохол Карпо, замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я не протестовал, не издавал ни звука и только, очнувшись от полусна, уныло и кротко поглядывал вдаль: не видать ли сквозь пыль деревни? Кормить лошадей остановились мы в большом армянском селе Бахчи-Салах у знакомого дедушке богатого армянина. Никогда в жизни я не видел ничего карикатурнее этого армянина. Представьте себе маленькую, стриженую головку с густыми низко нависшими бровями, с птичьим носом, с длинными

ми седыми усами и с широким ртом, из которого торчит длинный черешневый чубук; головка эта неумело приклеена к тощему горбтому туловищу, одетому в фантастический костюм: в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары; ходила эта фигура, расставя ноги и шаркая туфлями, говорила, не вынимая изо рта чубука, а держала себя с чисто армянским достоинством: не улыбалась, пучила глаза и старалась обращать на своих гостей как можно меньше внимания.

В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи и по дороге. Помню, запыленный и изморенный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. Некрашенные деревянные стены, мебель и наохренные полы издавали запах сухого дерева, прижжённого солнцем. Куда ни взглянешь, всюду мухи, мухи, мухи... Дедушка и армянин вполголоса говорили о попасе, о толоке, об овцах... Я знал, что самовар будут ставить целый час, что дедушка будет пить чай не менее часа и потом заляжет спать часа на два, на три, что у меня четверть дня уйдет на ожидание, после которого опять

жара, пыль, тряские дороги. Я слушал бормотанье двух голосов, и мне начинало казаться, что армянина, шкаф с посудой, мух, окна, в которые бьет горячее солнце, я вижу давно-давно и перестану их видеть в очень далеком будущем, и мною овладевала ненависть к степи, к солнцу, к мухам...

Хохлушка в платке внесла поднос с посудой, потом самовар. Армянин не спеша вышел в сени и крикнул:

– Машя! Ступай наливай чай! Где ты? Машя!

Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка лет шестнадцати, в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя посуда и наливая чай, она стояла ко мне спиной, и я заметил только, что она была тонка в талии, боса и что маленькие голые пятки прикрывались низко опущенными панталонами.

Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пы-

лью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию.

Я готов клясться, что Маша, или, как звал отец, Машя, была настоящая красавица, но доказать этого не умею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета: в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый; одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток... И подпасок, гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа – все глядят на закат и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота.

Не я один находил, что армяночка красива. Мой дедушка, восьмидесятилетний ста-

рик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил:

– Это ваша дочка, Авет Назарыч?

– Дочка. Это дочка... – ответил хозяин.

– Хорошая барышня, – похвалил дедушка.

Красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой, бог весть откуда, вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный, гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту; вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови так же идут к нежному белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке; белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обла-

дать громадным творческим талантом. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама.

Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания и смотрит всё время вниз; какой-то особый воздух, казалось мне, счастливый и гордый, отделял ее от меня и ревниво заслонял от моих взглядов.

«Это оттого, – думал я, – что я весь в пыли, загорел, и оттого, что я еще мальчик».

Но потом я мало-помалу забыл о себе самом и весь отдался ощущению красоты. Я уж не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжанья мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка.

Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армя-

ночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже сгрустнул. Он уж не говорил о толоке и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу.

После чаю дедушка лег спать, а я вышел из дому и сел на крылечке. Дом, как и все дома в Бахчи-Салах, стоял на припеке; не было ни деревьев, ни навесов, ни теней. Большой двор армянина, поросший лебедой и калачиком, несмотря на сильный зной, был оживлен и полон веселья. За одним из невысоких плетней, там и сям пересекавших большой двор, происходила молотьба. Вокруг столба, вбитого в самую середку гумна, запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали двенадцать лошадей. Возле ходил хохол в длинной жилетке и в широких шароварах, хлопал бичом и кричал таким тоном, как будто хотел подразнить лошадей и похвастать своею властью над ними:

– А-а-а, окаянные! А-а-а... нету на вас холеры! Боитесь?

Лошади, гнедые, белые и пегие, не пони-

мая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу, и обиженно помахивая хвостами. Из-под их копыт ветер поднимал целые облака золотистой пыли и уносил ее далеко через плетень. Около высоких свежих скирд копошились бабы с граблями и двигались арбы, а за скирдами, в другом дворе, бегала вокруг столба другая дюжина таких же лошадей и такой же хохол хлопал бичом и насмехался над лошадьми.

Ступени, на которых я сидел, были горячи; на жидких перильцах и на оконных рамах кое-где выступил от жары древесный клей; под ступеньками и под ставнями в полосках тени жались друг к другу красные козявки. Солнце пекло мне и в голову, и в грудь, и в спину, но я не замечал этого и только чувствовал, как сзади меня в сенях и в комнатах стучали по дощатому полу босые ноги. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и, как птица, полетела к небольшой закопченной пристройке, должно быть кухне, откуда шел запах жареной баранины и слышался сердитый ар-

мянский говор. Она исчезла в темной двери и вместо ее на пороге показалась старая, сторбленнная армянка с красным лицом и в зеленых шароварах. Старуха сердилась и кого-то бранила. Скоро на пороге показалась Машя, покрасневшая от кухонного жара и с большим черным хлебом на плече; красиво изгибаясь под тяжестью хлеба, она побежала через двор к гумну, шмыгнула через плетень и, окунувшись в облако золотистой половы, скрылась за арбами. Хохол, подгонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту молча глядел в сторону арб, потом, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила через плетень, он проводил ее глазами и крикнул на лошадей таким тоном, как будто был очень огорчен:

– А, чтоб вам пропасть, нечистая сила!

И всё время потом слышал я не переставая шаги ее босых ног и видел, как она с серьезным, озабоченным лицом носилась по двору. Пробегала она то по ступеням, обдавая меня ветром, то в кухню, то на гумно, то за ворота, и я едва успевал поворачивать голову, чтобы следить за нею.

И чем чаще она со своей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Мне было жаль и себя, и ее, и хохла, грустно провожавшего ее взглядом всякий раз, когда она сквозь облако пыли бегала к арбам. Была ли это у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет моею и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайна, не нужна и, как всё на земле, не долговечна, или, быть может, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты, бог знает!

Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее «на-за-ад!» Проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дроги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга.

Когда часа через два или три вдали показа-

лись Ростов и Нахичевань, Карпо, всё время молчавший, быстро оглянулся и сказал:

– А славная у армяшки девка!

И хлестнул по лошади.

## II

**В** другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется, между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе.

На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень; вокзал заслонял собою закат, но по самым верхним клубам дыма, выходявшего из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, видно было, что солнце еще не совсем спряталось.

Прохаживаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона второго класса, и с таким выражением, как будто в этом вагоне сидел какой-нибудь знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим, находился и мой спутник, артиллерийский офи-

цер, малый умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге случайно и не надолго.

– Что вы тут смотрите? – спросил я.

Он ничего не ответил и только указал мне глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая девушка, лет 17–18, одетая в русский костюм, с непокрытой головой и с мантилькой, небрежно наброшенной на одно плечо, не пассажирка, а, должно быть, дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. Прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мною вдруг овладело чувство, какое я испытал когда-то в армянской деревне.

Девушка была замечательная красавица, и в этом не сомневались ни я и ни те, кто вместе со мной смотрел на нее.

Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного у нее были одни только белокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой, всё же остальное было или неправильно, или же

очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но тем не менее девушка производила впечатление настоящей красавицы, и, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт, мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть.

Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас, и я не помню того мгновения, когда бы ее тело и лицо находились в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в соче-

тании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучащею в смехе и в голосе, и с тою слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях.

Это была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, порханье по саду, смех, веселье и которая не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем; и, кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль.

– Тэк-с... – пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону.

А что значило это «тэк-с», не берусь судить.

Быть может, ему было грустно и не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон, или, быть может, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вяло и нехотя брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный рыжеволосый те-

леграфист с высокими кудрями и полинявшим скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал:

– Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую. Жить среди поля под одной крышей с этим воздушным созданием и не влюбиться – выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастье, какая насмешка, быть сутулым, лохматым, сереньким, порядочным и неглупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания! Или еще хуже: представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же время женат и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам... Пытка!

Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица, и его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей, как будто он каялся и чувствовал

всем своим существом, что девушка эта не его и что до обыкновенного человеческого, пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба.

Пробил третий звонок, раздались свистки и поезд лениво тронулся. В наших окнах мелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной, детски-лукавой улыбкой...

Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошла по платформе мимо окна, где сидел телеграфист, поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уж не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами стлался по зеленой бархатной озими. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне.

Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи.

# Именины

## I

После именинного обеда, с его восемью блюдами и бесконечными разговорами, жена именинника Ольга Михайловна пошла в сад. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звон посуды, бестолковость прислуги, длинные обеденные антракты и корсет, который она надела, чтобы скрыть от гостей свою беременность, утомили ее до изнеможения. Ей хотелось уйти подальше от дома, посидеть в тени и отдохнуть на мыслях о ребенке, который должен был родиться у нее месяца через два. Она привыкла к тому, что эти мысли приходили к ней, когда она с большой аллеи сворачивала влево на узкую тропинку; тут в густой тени слив и вишен сухие ветки царапали ей плечи и шею, паутина садилась на лицо, а в мыслях вырастал образ маленького человечка неопределенного пола, с неясными чертами, и начинало казаться, что не паутина ласково щекочет лицо и шею, а этот

человечек; когда же в конце тропинки показывался жидкий плетень, а за ним пузатые ульи с черепяными крышками, когда в неподвижном, застоявшемся воздухе начинало пахнуть и сеном и медом и слышалось кроткое жужжанье пчел, маленький человечек совсем овладевал Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечке около шалаша, сплетенного из лозы, и принималась думать.

И на этот раз она дошла до скамеечки, села и стала думать; но в ее воображении вместо маленького человечка вставляли большие люди, от которых она только что ушла. Ее сильно беспокоило, что она, хозяйка, оставила гостей; и вспоминала она, как за обедом ее муж Петр Дмитрич и ее дядя Николай Николаич спорили о суде присяжных, о печати и о женском образовании; муж по обыкновению спорил для того, чтобы щегольнуть перед гостями своим консерватизмом, а главное – чтобы не соглашаться с дядей, которого он не любил; дядя же противоречил ему и придирался к каждому его слову для того, чтобы показать обедающим, что он, дядя, несмотря на свои 59 лет, сохранил еще в себе юношескую све-

жесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы – не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который, по ее мнению, был несправедлив. Гостей утомил этот спор, но все они нашли нужным вмешаться и говорили много, хотя всем им не было никакого дела ни до суда присяжных, ни до женского образования...

Ольга Михайловна сидела по сю сторону плетня, около шалаша. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздух хмурились, как перед дождем, но, несмотря на это, было жарко и душно. Сено, скошенное под деревьями накануне Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрея своими поблекшими цветами и испуская тяжелый приторный запах. Было тихо. За плетнем монотонно жужжали пчелы...

Неожиданно послышались шаги и голоса. Кто-то шел по тропинке к пасеке.

– Душно! – сказал женский голос. – Как, по-вашему, будет дождь или нет?

– Будет, моя прелесть, но не раньше ночи, –

ответил томно очень знакомый мужской голос. – Хороший дождь будет.

Ольга Михайловна рассудила, что если она поспешит спрятаться в шалаш, то ее не заметят и пройдут мимо, и ей не нужно будет говорить и напряженно улыбаться. Она подобрала платье, нагнулась и вошла в шалаш. Тотчас же лицо, шею и руки ее обдало горячим и душным, как пар, воздухом. Если бы не духота и не спертый запах ржаного хлеба, укропа и лозы, от которого захватывало дыхание, то тут, под соломенной крышей и в сумерках, отлично можно было бы прятаться от гостей и думать о маленьком человечке. Уютно и тихо.

– Какое здесь хорошенькое местечко! – сказал женский голос – Посидимте здесь, Петр Дмитрич.

Ольга Михайловна стала глядеть в щель между двумя хворостинами. Она увидела своего мужа Петра Дмитрича и гостью Любочку Шеллер, семнадцатилетнюю девочку, недавно кончившую в институте. Петр Дмитрич, со шляпой на затылке, томный и ленивый оттого, что много пил за обедом, вразвалку ходил

около плетня и ногой сгребал в кучу сено; Любочка, розовая от жары и, как всегда, хорошенькая, стояла, заложив руки назад, и следила за ленивыми движениями его большого красивого тела.

Ольга Михайловна знала, что ее муж нравится женщинам, и – не любила видеть его с ними. Ничего особенного не было в том, что Петр Дмитрич лениво сгребал сено, чтобы посидеть на нем с Любочкой и поболтать о пустяках; ничего не было особенного и в том, что хорошенькая Любочка кротко глядела на него, но всё же Ольга Михайловна почувствовала досаду на мужа, страх и удовольствие от того, что ей можно сейчас подслушать.

– Садитесь, очаровательница, – сказал Петр Дмитрич, опускаясь на сено и потягиваясь. – Вот так. Ну, расскажите мне что-нибудь.

– Вот еще! Я стану рассказывать, а вы уснете.

– Я усну? Аллах керим! Могу ли я уснуть, когда на меня глядят такие глазки?

В словах мужа и в том, что он в присутствии гостя сидел развалясь и со шляпой на затылке, не было тоже ничего особенного. Он

был избалован женщинами, знал, что нравятся им, и в обращении с ними усвоил себе особый тон, который, как все говорили, был ему к лицу. С Любочкой он держал себя так же, как со всеми женщинами. Но Ольга Михайловна все-таки ревновала.

– Скажите, пожалуйста, – начала Любочка после некоторого молчания, – правду ли говорят, что вы попали под суд?

– Я? Да, попал... К злодеям сопричтен, моя прелесть.

– Но за что?

– Ни за что, а так... всё больше из-за политики, – зевнул Петр Дмитрич. – Борьба левой и правой. Я, обскурант и рутинер, осмелился употребить в официальной бумаге выражения, оскорбительные для таких непогрешимых Гладстонов, как наш участковый мировой судья Кузьма Григорьевич Востряков и Владимир Павлович Владимиров.

Петр Дмитрич еще раз зевнул и продолжал:

– А у нас такой порядок, что вы можете неодобрительно отзываться о солнце, о луне, о чем угодно, но храни вас бог трогать либе-

ралов! Боже вас сохрани! Либерал – это тот самый поганый сухой гриб, который, если вы нечаянно дотронетесь до него пальцем, обдаст вас облаком пыли.

– Что у вас произошло?

– Ничего особенного. Весь сыр-бор загорелся из-за чистейшего пустяка. Какой-то учитель, плюгавенькая личность колокольного происхождения, подает Вострякову прошение на трактирщика, обвиняя его в оскорблении словами и действием в публичном месте. Из всего видно, что и учитель и трактирщик оба были пьяны, как сапожники, и оба вели себя одинаково скверно. Если и было оскорбление, то во всяком случае взаимное. Вострякову следовало бы оштрафовать обоих за нарушение тишины и прогнать их из камеры – вот и всё. Но у нас как? У нас на первом плане стоит всегда не лицо, не факт, а фирма и ярлык. Учитель, какой бы он негодяй ни был, всегда прав, потому что он учитель; трактирщик же всегда виноват, потому что он трактирщик и кулак. Востряков приговорил трактирщика к аресту, тот перенес дело в съезд. Съезд торжественно утвердил приговор Вострякова. Ну, я

остался при особом мнении... Немножко погорячился... Вот и всё.

Петр Дмитрич говорил покойно, с небрежной иронией. На самом же деле предстоящий суд сильно беспокоил его. Ольга Михайловна помнила, как он, вернувшись с злополучного съезда, всеми силами старался скрыть от домашних, что ему тяжело и что он недоволен собой. Как умный человек, он не мог не чувствовать, что в своем особом мнении он зашел слишком далеко, и сколько лжи понадобилось ему, чтобы скрывать от себя и от людей это чувство! Сколько было ненужных разговоров, сколько брюзжания и неискреннего смеха над тем, что не смешно! Узнав же, что его привлекают к суду, он вдруг утомился и пал духом, стал плохо спать, чаще, чем обыкновенно, стоял у окна и барабанил пальцами по стеклам. И он стыдился сознаться перед женою, что ему тяжело, а ей было досадно...

– Говорят, вы были в Полтавской губернии? – спросила Любочка.

– Да, был, – ответил Петр Дмитрич. – Третьего дня вернулся оттуда.

– Небось, хорошо там?

– Хорошо. Даже очень хорошо. Я, надо вам сказать, попал туда как раз на сенокос, а на Украине сенокос самое поэтическое время. Тут у нас большой дом, большой сад, много людей и суеты, так что вы не видите, как косят; тут всё проходит незаметно. Там же у меня на хуторе пятнадцать десятин луга как на ладони: у какого окна ни станьте, отовсюду увидите косарей. На лугу косят, в саду косят, гостей нет, суеты тоже, так что вы поневоле видите, слышите и чувствуете один только сенокос. На дворе и в комнатах пахнет сеном, от зари до зари звенят косы. Вообще Хохландия милая страна. Верите ли, когда я пил у колодцев с журавлями воду, а в жидовских корчмах – поганую водку, когда в тихие вечера доносились до меня звуки хохлацкой скрипки и бубна, то меня манила обворожительная мысль – засесть у себя на хуторе и жить в нем, пока живется, подальше от этих съездов, умных разговоров, философствующих женщин, длинных обедов...

Петр Дмитрич не лгал. Ему было тяжело и в самом деле хотелось отдохнуть. И в Полтавскую губернию ездил он только затем, чтобы

не видеть своего кабинета, прислуги, знакомых и всего, что могло бы напоминать ему об его раненом самолюбии и ошибках.

Любочка вдруг вскочила и в ужасе замахала руками.

– Ах, пчела, пчела! – взвизгнула она. – Укусит!

– Полноте, не укусит! – сказал Петр Дмитрич. – Какая вы трусиха!

– Нет, нет, нет! – крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назад.

Петр Дмитрич уходил за нею и смотрел ей вслед с умилением и грустью. Должно быть, глядя на нее, он думал о своем хуторе, об одиночестве и – кто знает? – быть может, даже думал о том, как бы тепло и уютно жилось ему на хуторе, если бы женой его была эта девочка – молодая, чистая, свежая, не испорченная курсами, не беременная...

Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла из шалаша и направилась к дому. Ей хотелось плакать. Она уже сильно ревновала мужа. Ей было понятно, что Петр Дмитрич утомился, был недоволен собой и стыдился, а когда стыдятся, то прячутся

прежде всего от близких и откровенничают с чужими; ей было также понятно, что Любочка не опасна, как и все те женщины, которые пили теперь в доме кофе. Но в общем всё было непонятно, страшно, и Ольге Михайловне уже казалось, что Петр Дмитрич не принадлежит ей наполовину...

– Он не имеет права! – бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою досаду на мужа. – Он не имеет никакого права. Я ему сейчас всё выскажу!

Она решила сейчас же найти мужа и высказать ему всё: гадко, без конца гадко, что он нравится чужим женщинам и добивается этого, как манны небесной; несправедливо и нечестно, что он отдает чужим то, что по праву принадлежит его жене, прячет от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику. Что худого сделала ему жена? В чем она провинилась? Наконец, давно уже надоело его лганье: он постоянно рисуется, кокетничает, говорит не то, что думает, и старается казаться не тем, что он есть и кем ему быть должно. К чему эта ложь? Пристала ли она порядочно-

му человеку? Если он лжет, то оскорбляет и себя и тех, кому лжет, и не уважает того, о чем лжет. Неужели ему не понятно, что если он кокетничает и ломается за судейским столом или, сидя за обедом, трактует о прерогативах власти только для того, чтобы насолить дяде, неужели ему непонятно, что этим самым он ставит ни в грош и суд, и себя, и всех, кто его слушает и видит?

Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себе такое выражение, как будто уходила сейчас по хозяйственным надобностям. На террасе мужчины пили ликер и закусывали ягодами; один из них, судебный следователь, толстый пожилой человек, балагур и остряк, должно быть, рассказывал какой-нибудь нецензурный анекдот, потому что, увидев хозяйку, он вдруг схватил себя за жирные губы, выпучил глаза и присел. Ольга Михайловна не любила уездных чиновников. Ей не нравились их неуклюжие церемонные жены, сплетни, частые поездки в гости, лесть перед ее мужем, которого все они ненавидели. Теперь же, когда они пили, были сыты и не собирались уезжать, она чувствовала, что

их присутствие утомительно до тоски, но, чтобы не показаться нелюбезной, она приветливо улыбнулась судебному следователю и погрозила ему пальцем. Через залу и гостиную она прошла улыбаясь и с таким видом, как будто шла приказать что-то и распорядиться. «Не дай бог, если кто остановит!» – думала она, но сама заставила себя остановиться в гостиной, чтобы из приличия послушать молодого человека, который сидел за пианино и играл; постояв минутку, она крикнула: «Браво, браво, m-r Жорж!» и, хлопнув два раза в ладоши, пошла дальше.

Мужа нашла она в кабинете. Он сидел у стола и о чем-то думал. Лицо его было строго, задумчиво и виновато. Это уж был не тот Петр Дмитрич, который спорил за обедом и которого знают гости, а другой – утомленный, виноватый и недовольный собой, которого знает одна только жена. В кабинет пришел он, должно быть, для того, чтобы взять папирос. Перед ним лежал открытый портсигар, набитый папиросами, и одна рука была опущена в ящик стола. Как брал папиросы, так и застыл.

Ольге Михайловне стало жаль его. Было ясно, как день, что человек томился и не находил места, быть может, боролся с собой. Ольга Михайловна молча подошла к столу; желая показать, что она не помнит обеденного спора и уже не сердится, она закрыла портсигар и положила его мужу в боковой карман.

«Что сказать ему? – думала она. – Я скажу, что ложь тот же лес: чем дальше в лес, тем труднее выбраться из него. Я скажу: ты увлекся своею фальшивою ролью и зашел слишком далеко; ты оскорбил людей, которые были к тебе привязаны и не сделали тебе никакого зла. Поди же, извинись перед ними, посмейся над самим собой, и тебе станет легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уедем отсюда вместе».

Встретясь глазами с женой, Петр Дмитрич вдруг придал своему лицу выражение, какое у него было за обедом и в саду, – равнодушное и слегка-насмешливое, зевнул и поднялся с места.

– Теперь шестой час, – сказал он, взглянув на часы. – Если гости смилостивятся и уедут в

одиннадцать, то и тогда нам остается ждать еще шесть часов. Весело, нечего сказать!

И, что-то насвистывая, он медленно, свою обычную солидную походкой, вышел из кабинета. Слышно было, как он, солидно ступая, прошел через залу, потом через гостиную, чему-то солидно засмеялся и сказал игравшему молодому человеку: «Бра-о! бра-о!» Скоро шаги его затихли: должно быть, вышел в сад. И уж не ревность и не досада, а настоящая ненависть к его шагам, неискреннему смеху и голосу овладела Ольгой Михайловной. Она подошла к окну и поглядела в сад. Петр Дмитрич шел уже по аллее. Заложив одну руку в карман и щелкая пальцами другой, слегка откинув назад голову, он шел солидно, вразвалку и с таким видом, как будто был очень доволен и собой, и обедом, и пиццеварением, и природой...

На аллее показались два маленьких гимназиста, дети помещицы Чижевской, только что приехавшие, а с ними студент-гувернер в белом кителе и в очень узких брюках. Поравнявшись с Петром Дмитричем, дети и студент остановились и, вероятно, поздравили его с

ангелом. Красиво поводя плечами, он потрепал детей за щеки и подал студенту руку небрежно, не глядя на него. Должно быть, студент похвалил погоду и сравнил ее с петербургской, потому что Петр Дмитрич сказал громко и таким тоном, как будто говорил не с гостем, а с судебным приставом или со свидетелем:

– Что-с? У вас в Петербурге холодно? А у нас тут, батенька мой, благорастворение воздушных и изобилие плодов земных. А? Что?

И, заложив в карман одну руку и щелкнув пальцами другой, он зашагал дальше. Пока он не скрылся за кустами орешника, Ольга Михайловна всё время смотрела ему в затылок и недоумевала. Откуда у тридцатичетырехлетнего человека эта солидная, генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрация в голосе, откуда все эти «что-с», «н-да-с» и «батенька»?

Ольга Михайловна вспомнила, как она, чтобы не скучать одной дома, в первые месяцы замужества ездила в город на съезд, где иногда вместо ее крестного отца, графа Алек-

сея Петровича, председательствовал Петр Дмитрич. На председательском кресле, в мундире и с цепью на груди, он совершенно менялся. Величественные жесты, громовый голос, «что-с», «н-да-с», небрежный тон... Всё обыкновенное человеческое, свое собственное, что привыкла видеть в нем Ольга Михайловна дома, исчезало в величии, и на кресле сидел не Петр Дмитрич, а какой-то другой человек, которого все звали господином председателем. Сознание, что он – власть, мешало ему покойно сидеть на месте, и он искал случая, чтобы позвонить, строго взглянуть на публику, крикнуть... Откуда брались близорукость и глухота, когда он вдруг начинал плохо видеть и слышать и, величественно морщась, требовал, чтобы говорили громче и поближе подходили к столу. С высоты величия он плохо различал лица и звуки, так что если бы, кажется, в эти минуты подошла к нему сама Ольга Михайловна, то он и ей бы крикнул: «Как ваша фамилия?» Свидетелям-крестьянам он говорил «ты», на публику кричал так, что его голос был слышен даже на улице, а с адвокатами держал себя невозможно. Если

приходилось говорить присяжному поверенному, то Петр Дмитрич сидел к нему несколько боком и щурил глаза в потолок, желая этим показать, что присяжный поверенный тут вовсе не нужен и что он его не признает и не слушает; если же говорил серо одетый частный поверенный, то Петр Дмитрич весь превращался в слух и измерял поверенного насмешливым, уничтожающим взглядом: вот, мол, какие теперь адвокаты! – «Что же вы хотите этим сказать?» – перебивал он. Если витиеватый поверенный употреблял какое-нибудь иностранное слово и, например, вместо «фиктивный» произносил «фактивный», то Петр Дмитрич вдруг оживлялся и спрашивал: «Что-с? Как? Фактивный? А что это значит?» и потом наставительно замечал: «Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете». И поверенный, кончив свою речь, уходил от стола красный и весь в поту, а Петр Дмитрич, самодовольно улыбаясь, торжествуя победу, откидывался на спинку кресла. В своем обращении с адвокатами он несколько подражал графу Алексею Петровичу, но у графа, когда тот, например, говорил:

«Защита, помолчите немножко!» – это вышло старчески-добродушно и естественно, у Петра же Дмитрича грубовато и натянуто.

## II

Послышались аплодисменты. Это молодой человек кончил играть. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась в гостиную.

– Я вас заслушалась, – сказала она, подходя к пианино. – Я вас заслушалась. У вас удивительные способности! Но не находите ли вы, что наш пианино расстроен?

В это время в гостиную входили два гимназиста и с ними студент.

– Боже мой, Митя и Коля! – сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя к ним навстречу. – Какие большие стали! Даже не узнаешь вас! А где же ваша мама?

– Поздравляю вас с именинником, – начал развязно студент, – и желаю всего лучшего. Екатерина Андреевна поздравляет и просит извинения. Она не совсем здорова.

– Какая же она недобрая! Я ее весь день ждала. А вы давно из Петербурга? – спросила

Ольга Михайловна студента. – Какая теперь там погода? – и, не дожидаясь ответа, она ласково взглянула на гимназистов и повторила: – Какие большие выросли! Давно ли они приезжали сюда с няней, а теперь уже гимназисты! Старое старится, а молодое растет... Вы обедали?

– Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! – сказал студент.

– Ведь вы не обедали?

– Ради бога, не беспокойтесь!

– Но ведь вы хотите есть? – спросила Ольга Михайловна грубым и жестким голосом, нетерпеливо и с досадой – это вышло у нее нечаянно, но тотчас же она закашлялась, улыбнулась, покраснела. – Какие большие выросли! – сказала она мягко.

– Не беспокойтесь, пожалуйста! – сказал еще раз студент.

Студент просил не беспокоиться, дети молчали; очевидно, все трое хотели есть. Ольга Михайловна повела их в столовую и приказала Василию накрыть на стол.

– Недобрая ваша мама! – говорила она, усаживая их. – Совсем меня забыла. Недобрая,

недобрая, недобрая... Так и скажите ей. А вы на каком факультете? – спросила она у студента.

– На медицинском.

– Ну, а у меня слабость к докторам, представьте. Я очень жалею, что мой муж не доктор. Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать операции или резать трупы! Ужасно! Вы не боитесь? Я бы, кажется, умерла от страха. Вы, конечно, выпьете водки?

– Не беспокойтесь, пожалуйста.

– С дороги нужно, нужно выпить. Я женщина, да и то пью иногда. А Митя и Коля выпьют малаги. Вино слабенькое, не бойтесь. Какие они, право, молодцы! Женить даже можно.

Ольга Михайловна говорила без умолку. Она по опыту знала, что, занимая гостей, гораздо легче и удобнее говорить, чем слушать. Когда говоришь, нет надобности напрягать внимание, придумывать ответы на вопросы и менять выражение лица. Но она нечаянно задала какой-то серьезный вопрос, студент стал говорить длинно, и ей поневоле пришлось слушать. Студент знал, что она когда-то была

на курсах, а потому, обращаясь к ней, старался казаться серьезным.

– Вы на каком факультете? – спросила она, забыв, что однажды уже задавала этот вопрос.

– На медицинском.

Ольга Михайловна вспомнила, что давно уже не была с дамами.

– Да? Значит, вы доктором будете? – сказала она, поднимаясь. – Это хорошо. Я жалею, что сама не пошла на медицинские курсы. Так вы тут пообедайте, господа, и выходите в сад. Я вас познакомлю с барышнями.

Она вышла и взглянула на часы: было без пяти минут шесть. И она удивилась, что время идет так медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъедутся гости, осталось еще шесть часов. Куда убить эти шесть часов? Какие фразы говорить? Как держать себя с мужем?

В гостиной и на террасе не было ни души. Все гости разбрелись по саду.

«Нужно будет предложить им до чая прогулку в березняк или катанье на лодках, – думала Ольга Михайловна, торопясь к крокету,

откуда слышались голоса и смех. – А стариков усадить играть в винт...»

От крокета навстречу ей шел лакей Григорий с пустыми бутылками.

– Где же барыни? – спросила она.

– В малиннике. Там и барин.

– А, господи боже мой! – с ожесточением крикнул кто-то на крокете. – Да я же тысячу раз же говорил вам то же самое! Чтобы знать болгар, надо их видеть! Нельзя судить по газетам!

От этого ли крика или от чего другого, Ольга Михайловна вдруг почувствовала сильную слабость во всем теле, особенно в ногах и в плечах. Ей вдруг захотелось не говорить, не слышать, не двигаться.

– Григорий, – сказала она томно и с усилием, – когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, не спрашивайте, не говорите ни о чем... Делайте всё сами и... и не стучите ногами. Умоляю... Я не могу, потому что...

Она не договорила и пошла дальше к крокету, но по дороге вспомнила о барынях и повернула к малиннику. Небо, воздух и деревья

по-прежнему хмурились и обещали дождь; было жарко и душно; громадные стаи ворон, предчувствуя непогоду, с криком носились над садом. Чем ближе к огороду, тем аллеи становились запущеннее, темнее и уже; на одной из них, прятая в густой заросли диких груш, кислиц, молодых дубков, хмеля, целые облака мелких черных мошек окружили Ольгу Михайловну; она закрыла руками лицо и стала насильно воображать маленького человечка... В воображении пронесли Григорий, Митя, Коля, лица мужиков, приходивших утром поздравлять...

Послышались чьи-то шаги, и она открыла глаза. К ней навстречу быстро шел дядя Николай Николаич.

– Это ты, милая? Очень рад... – начал он, задыхаясь. – На два слова... – Он вытер платком свой бритый красный подбородок, потом вдруг отступил шаг назад, всплеснул руками и выпучил глаза. – Матушка, до каких же пор это будет продолжаться? – заговорил он быстро, захлебываясь. – Я тебя спрашиваю: где границы? Не говорю уже о том, что его держимордовские взгляды[21] деморализуют среду,

что он оскорбляет во мне и в каждом честном, мыслящем человеке всё святое и лучшее – не говорю, но пусть он будет хоть приличен! Что такое? Кричит, рычит, ломается, корчит из себя какого-то Бонапарта, не дает слова сказать... чёрт его знает! Какие-то величественные жесты, генеральский смех, снисходительный тон! Да позвольте вас спросить: кто он такой? Я тебя спрашиваю: кто он такой? Муж своей жены, мелкопоместный титуляр, которому посчастливилось жениться на богатой! Выскочка и юнкер, каких много! Щедринский тип! Клянусь богом, что-нибудь из двух: или он страдает манией величия, или в самом деле права эта старая, выжившая из ума крыса, граф Алексей Петрович, когда говорит, что теперешние дети и молодые люди поздно становятся взрослыми и до сорока лет играют в извозчики и в генералы!

– Это верно, верно... – согласилась Ольга Михайловна. – Позволь мне пройти.

– Теперь ты рассуди, к чему это поведет? – продолжал дядя, загораживая ей дорогу. – Чем кончится эта игра в консерватизм и в генералы? Уже под суд попал! Попал! Я очень

рад! Докричался и достукался до того, что угодил на скамью подсудимых. И не то чтобы окружный суд или что, а судебная палата! Хуже этого, кажется, и придумать нельзя! Во вторых, со всеми рассорился! Сегодня именины, а, погляди, не приехали ни Востряков, ни Яхонтов, ни Владимиров, ни Шевуд, ни граф... На что, кажется, консервативнее графа Алексея Петровича, да и тот не приехал. И никогда больше не приедет! Увидишь, что не приедет!

– Ах, боже мой, да я-то тут при чем? – спросила Ольга Михайловна.

– Как при чем? Ты его жена! Ты умна, была на курсах, и в твоей власти сделать из него честного работника!

– На курсах не учат, как влиять на тяжелых людей. Я должна буду, кажется, просить у всех вас извинения, что была на курсах! – сказала Ольга Михайловна резко. – Послушай, дядя, если у тебя целый день над ухом будут играть одни и те же гаммы, то ты не усидишь на месте и сбежишь. Я уж круглый год по целым дням слышу одно и то же, одно и то же. Господа, надо же, наконец, иметь сожаление!

Дядя сделал очень серьезное лицо, потом

пытливо поглядел на нее и покривил рот на смешливую улыбку.

– Вот оно что! – пропел он старушечьим голосом. – Виноват-с! – сказал он и церемонно раскланялся. – Если ты сама подпала под его влияние и изменила убеждения, то так бы и сказала раньше. Виноват-с!

– Да, я изменила убеждения! – крикнула она. – Радуйся!

– Виноват-с!

Дядя в последний раз церемонно поклонился, как-то вбок, и, весь съезжившись, шаркнул ногой и пошел назад.

«Дурак, – подумала Ольга Михайловна. – И ехал бы себе домой».

Дам и молодежь нашла она на огороде в малиннике. Одни ели малину, другие, кому уже надоела малина, бродили по грядкам клубники или рылись в сахарном горошке. Несколько в стороне от малинника, около ветвистой яблони, кругом подпертой палками, повыдерганными из старого палисадника, Петр Дмитрич косил траву. Волосы его падали на лоб, галстук развязался, часовая цепочка выпала из петли. В каждом его шаге и

взмахе косой чувствовались уменьше и присутствие громадной физической силы. Возле него стояли Любочка и дочери соседа, полковника Букреева, Наталья и Валентина, или, как их все звали, Ната и Вата, анемичные и болезненно-полные блондинки лет 16–17, в белых платьях, поразительно похожие друг на друга. Петр Дмитрич учил их косить.

– Это очень просто... – говорил он. – Нужно только уметь держать косу и не горячиться, то есть не употреблять силы больше, чем нужно. Вот так... Не угодно ли теперь вам? – предложил он косу Любочке. – Ну-ка!

Любочка неумело взяла в руки косу, вдруг покраснела и засмеялась.

– Не робейте, Любовь Александровна! – крикнула Ольга Михайловна так громко, чтобы ее могли слышать все дамы и знать, что она с ними. – Не робейте! Надо учиться! Выйдете за толстовца, косить заставит.

Любочка подняла косу, но опять засмеялась и, обессилев от смеха, тотчас же опустила ее. Ей было стыдно и приятно, что с нею говорят, как с большой. Ната, не улыбаясь и не робея, с серьезным, холодным лицом, взяла

косу, взмахнула и запутала ее в траве; Вата, тоже не улыбаясь, серьезная и холодная, как сестра, молча взяла косу и вонзила ее в землю. Проделав это, обе сестры взялись под руки и молча пошли к малине.

Петр Дмитрич смеялся и шалил, как мальчик, и это детски-шаловливое настроение, когда он становился чрезмерно добродушен, шло к нему гораздо более, чем что-либо другое. Ольга Михайловна любила его таким. Но мальчишество его продолжалось обыкновенно недолго. Так и на этот раз, пошалив с косой, он почему-то нашел нужным придать своей шалости серьезный оттенок.

– Когда я кошу, то чувствую себя, знаете ли, здоровее и нормальнее, – сказал он. – Если бы меня заставили довольствоваться одной только умственной жизнью, то я бы, кажется, с ума сошел. Чувствую, что я не родился культурным человеком! Мне бы косить, пахать, сеять, лошадей выезжать...

И у Петра Дмитрича с дамами начался разговор о преимуществах физического труда, о культуре, потом о вреде денег, о собственности. Слушая мужа, Ольга Михайловна поче-

му-то вспомнила о своем приданом.

«А ведь будет время, – подумала она, – когда он не простит мне, что я богаче его. Он горд и самолюбив. Пожалуй, возненавидит меня за то, что многим обязан мне».

Она остановилась около полковника Букреева, который ел малину и тоже принимал участие в разговоре.

– Пожалуйста, – сказал он, давая дорогу Ольге Михайловне и Петру Дмитричу. – Тут самая спелая... Итак-с, по мнению Прудона, – продолжал он, возвысив голос, – собственность есть воровство. Но я, признаться, Прудона не признаю и философом его не считаю. Для меня французы не авторитет, бог с ними!

– Ну, что касается Прудонов и всяких там Боклей,[22] то я тут швах, – сказал Петр Дмитрич. – Насчет философии обращайтесь вот к ней, к моей супруге. Она была на курсах и всех этих Шопенгауэров[23] и Прудонов насквозь...

Ольге Михайловне опять стало скучно. Она опять пошла по саду, по узкой тропиночке, мимо яблонь и груш, и опять у нее был такой вид, как будто шла она по очень важному

делу. А вот изба садовника... На пороге сидела жена садовника Варвара и ее четверо маленьких ребятишек с большими стриженными головами. Варвара тоже была беременна и собиралась родить, по ее вычислениям, к Илье-пророку.[24] Поздоровавшись, Ольга Михайловна молча оглядела ее и детей и спросила:

– Ну, как ты себя чувствуешь?

– А ничего...

Наступило молчание. Обе женщины молча как будто понимали друг друга.

– Страшно родить в первый раз, – сказала Ольга Михайловна, подумав, – мне всё кажется, что я не перенесу, умру.

– И мне представлялось, да вот жива же... Мало ли чего!

Варвара, беременная уже в пятый раз и опытная, глядела на свою барыню несколько свысока и говорила с нею наставительным тоном, а Ольга Михайловна невольно чувствовала ее авторитет; ей хотелось говорить о своем страхе, о ребенке, об ощущениях, но она боялась, чтобы это не показалось Варваре мелочным и наивным. И она молчала и ждала, когда сама Варвара скажет что-нибудь.

– Оля, домой идем! – крикнул из малинника Петр Дмитрич.

Ольге Михайловне нравилось молчать, ждать и глядеть на Варвару. Она согласилась бы простоять так, молча и без всякой надобности, до самой ночи. Но нужно было идти. Едва она отошла от избы, как уж к ней навстречу бежали Любочка, Вата и Ната. Две последние не добежали до нее на целую сажень и обе разом остановились, как вкопанные; Любочка же добежала и повисла к ней на шею.

– Милая! Хорошая! Бесценная! – заговорила она, целуя ее в лицо и в шею. – Поедемте чай пить на остров!

– На остров! На остров! – сказали обе разом одинаковые Вата и Ната, не улыбаясь.

– Но ведь дождь будет, мои милые.

– Не будет, не будет! – крикнула Любочка, делая плачущее лицо. – Все согласны ехать! Милая, хорошая!

– Там все собираются ехать чай пить на остров, – сказал Петр Дмитрич, подходя. – Распорядись... Мы все поедем на лодках, а самовары и всё прочее надо отправить с прислу-

гой в экипаже.

Он пошел рядом с женой и взял ее под руку. Ольге Михайловне захотелось сказать мужу что-нибудь неприятное, колкое, хотя бы даже упомянуть о приданом, чем жестче, тем, казалось, лучше. Она подумала и сказала:

– Отчего это гарф Алексей Петрович не приехал? Как жаль!

– Я очень рад, что он не приехал, – солгал Петр Дмитрич. – Мне этот юродивый надоел пуще горькой редьки.

– Но ведь ты до обеда ждал его с таким нетерпением!

Через полчаса все гости уже толпились на берегу около свай, где были привязаны лодки. Все много говорили, смеялись и от излишней суеты никак не могли усесться в лодки. Три лодки были уже битком набиты пассажирами, а две стояли пустые. От этих двух пропали куда-то ключи, и от реки то и дело бегали во двор посланные поискать ключей. Одни говорили, что ключи у Григория, другие – что они у приказчика, третьи советовали призвать кузнеца и отбить замки. И все говорили разом, перебивая и заглушая друг друга. Петр Дмитрич нетерпеливо шагал по берегу и кричал:

– Это чёрт знает что такое! Ключи должны всегда лежать в передней на окне! Кто смел взять их оттуда? Приказчик может, если ему угодно, завести себе свою лодку!

Наконец, ключи нашлись. Тогда оказалось, что не хватает двух весел. Снова поднялась суматоха. Петр Дмитрич, которому наскучило шагать, прыгнул в узкий и длинный челн, выдолбленный из тополя, и, покачнувшись,

едва не упав в воду, отчалил от берега. За ним одна за другою, при громком смехе и визге бабышень, поплыли и другие лодки.

Белое облачное небо, прибрежные деревья, камыши, лодки с людьми и с веслами отражались в воде, как в зеркале; под лодками, далеко в глубине, в бездонной пропасти тоже было небо и летали птицы. Один берег, на котором стояла усадьба, был высок, крут и весь покрыт деревьями; на другом, отлогом, зеленели широкие заливные луга и блестели заливы. Проплыли лодки саженой пятьдесят, и из-за печально склонившихся верб на отлогом берегу показались избы, стадо коров; стали слышаться песни, пьяные крики и звуки гармоники.

Там и сям по реке шныряли челны рыболовов, плывших ставить на ночь свои переметы. В одном челноке сидели подгулявшие музыканты-любители и играли на самоделковых скрипках и виолончели.

Ольга Михайловна сидела у руля. Она приветливо улыбалась и много говорила, чтобы занять гостей, а сама искоса поглядывала на мужа. Он плыл на своем челне впереди всех,

стоя и работая одним веслом. Легкий остроносый челнок, который все гости звали душегубкой, а сам Петр Дмитрич почему-то Пендераклией, бежал быстро; он имел живое, хитрое выражение и, казалось, ненавидел тяжелого Петра Дмитрича и ждал удобной минуты, чтобы выскользнуть из-под его ног. Ольга Михайловна посматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нравилась всем, затылок, его поза, фамильярное обращение с женщинами; она ненавидела всех женщин, сидевших в лодке, ревновала и в то же время каждую минуту вздрагивала и боялась, чтобы валкий челнок не опрокинулся и не наделал бед.

– Тише, Петр! – кричала она, и сердце ее замирало от страха. – Садись в лодку! Мы и так верим, что ты смел!

Беспокоили ее и те люди, которые сидели с нею в лодке. Всё это были обыкновенные, недурные люди, каких много, но теперь каждый из них представлялся ей необыкновенным и дурным. В каждом она видела одну только неправду. «Вот, – думала она, – работает веслом молодой шатен в золотых очках и с

красивую бородкой, это богатый, сытый и всегда счастливый маменькин сынок, которого все считают честным, свободомыслящим, передовым человеком. Еще года нет, как он кончил в университете и приехал на житье в уезд, но уж говорит про себя: „Мы земские деятели“. Но пройдет год, и он, как многие другие, соскучится, уедет в Петербург и, чтобы оправдать свое бегство, будет всюду говорить, что земство никуда не годится и что он обманут. А с другой лодки, не отрывая глаз, глядит на него молодая жена и верит, что он „земский деятель“, как через год поверит тому, что земство никуда не годится. А вот полный, тщательно выбритый господин в соломенной шляпе с широкою лентой и с дорогою сигарой в зубах. Этот любит говорить: „Пора нам бросить фантазии и приняться за дело!“ У него иоркширские свиньи, бутлеровские ульи, рапс, ананасы, маслобойня, сыроварня, итальянская двойная бухгалтерия. Но каждое лето, чтобы осенью жить с любовницей в Крыму, он продает на сруб свой лес и закладывает по частям землю. А вот дядюшка Николай Николаич, который сердит на Петра Дмитрича и

все-таки почему-то не уезжает домой!»

Ольга Михайловна поглядывала на другие лодки и там она видела одних только неинтересных чудаков, актеров или недалеких людей. Вспомнила она всех, кого только знала в уезде, и никак не могла вспомнить ни одного такого человека, о котором могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Все, казалось ей, бездарны, бледны, недалеки, узки, фальшивы, бессердечны, все говорили не то, что думали, и делали не то, что хотели. Скука и отчаяние душили ее; ей хотелось вдруг перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: «Вы мне надоели!» и потом прыгнуть из лодки и поплыть к берегу.

– Господа, возьмем Петра Дмитрича на буксир! – крикнул кто-то.

– На буксир! На буксир! – подхватили остальные. – Ольга Михайловна, берите на буксир вашего мужа!

Чтобы взять на буксир, Ольга Михайловна, сидевшая у руля, должна была не пропустить момента и ловко схватить Пендераклию у носа за цепь. Когда она нагибалась за цепью, Петр Дмитрич поморщился и испуганно по-

смотрел на нее.

– Как бы ты не простудилась тут! – сказал он.

«Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачем же ты меня мучишь?» – подумала Ольга Михайловна.

Петр Дмитрич признал себя побежденным и, не желая плыть на буксире, прыгнул с Пендераклии в лодку, и без того уж набитую пассажирами, прыгнул так неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и все вскрикнули от ужаса.

«Это он прыгнул, чтобы нравиться женщинам, – подумала Ольга Михайловна. – Он знает, что это красиво...»

У нее, как думала она, от скуки, досады, от напряженной улыбки и от неудобства, какое чувствовалось во всем теле, началась дрожь в руках и ногах. И чтобы скрыть от гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смеяться, двигаться...

«В случае, если я вдруг заплачу, – думала она, – то скажу, что у меня болят зубы...»

Но вот, наконец, лодки пристали к острову «Доброй Надежды». Так назывался полуост-

ров, образовавшийся вследствие загиба реки под острым углом, покрытый старою рощей из березы, дуба, вербы и тополя. Под деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около посуды уже хлопотали Василий и Григорий, в своих фраках и в белых вязаных перчатках. На другом берегу, против «Доброй Надежды», стояли экипажи, приехавшие с провизией. С экипажей корзины и узлы с провизией переправлялись на остров в челноке, очень похожем на Пендераклию. У лакеев, кучеров и даже у мужика, который сидел в челноке, выражение лиц было торжественное, именинное, какое бывает только у детей и прислуги.

Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потом же началась суматоха, обычная на пикниках во время чаепития, очень скучная и утомительная для хозяек. Едва Григорий и Василий успели разнести, как к Ольге Михайловне уже потянулись руки с пустыми стаканами. Один просил без сахара, другой – покрепче, третий – пожиже, четвертый благодарил. И всё это Ольга Ми-

хайловна должна была помнить и потом кричать: «Иван Петрович, это вам без сахару?» или: «Господа, кто просил пожиже?» Но тот, кто просил пожиже или без сахару, уж не помнил этого и, увлекшись приятными разговорами, брал первый попавшийся стакан. В стороне от стола бродили, как тени, унылые фигуры и делали вид, что ищут в траве грибов или читают этикетки на коробках, – это те, которым не хватило стаканов. «Вы пили чай?» – спрашивала Ольга Михайловна, и тот, к кому относился этот вопрос, просил не беспокоиться и говорил: «Я подожду», хотя для хозяйки было удобнее, чтобы гости не ждали, а торопились.

Одни, занятые разговорами, пили чай медленно, задерживая у себя стаканы по получасу, другие же, в особенности кто много пил за обедом, не отходили от стола и выпивали стакан за стаканом, так что Ольга Михайловна едва успевала наливать. Один молодой шутник пил чай вприкуску и всё приговаривал: «Люблю, грешный человек, побаловать себя китайскою травкой». То и дело просил он с глубоким вздохом: «Позвольте еще одну чере-

пушечку!» Пил он много, сахар кусал громко и думал, что всё это смешно и оригинально и что он отлично подражает купцам. Никто не понимал, что все эти мелочи были мучительны для хозяйки, да и трудно было понять, так как Ольга Михайловна всё время приветливо улыбалась и болтала вздор.

А она чувствовала себя нехорошо... Ее раздражали многолюдство, смех, вопросы, шутник, ошеломленные и сбившиеся с ног лакеи, дети, вертевшиеся около стола; ее раздражало, что Вата похожа на Нату, Коля на Митю и что не разберешь, кто из них пил уже чай, а кто еще нет. Она чувствовала, что ее напряженная приветливая улыбка переходит в злое выражение, и ей каждую минуту казалось, что она сейчас заплачет.

– Господа, дождь! – крикнул кто-то. Все посмотрели на небо.

– Да, в самом деле дождь... – подтвердил Петр Дмитрич и вытер щеку.

Небо уронило только несколько капель, настоящего дождя еще не было, но гости побросали чай и заторопились. Сначала все хотели ехать в экипажах, но раздумали и на-

правились к лодкам. Ольга Михайловна, под предлогом, что ей нужно поскорее распорядиться насчет ужина, попросила позволения отстать от общества и ехать домой в экипаже.

Сидя в коляске, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу от улыбки. С злым лицом она ехала через деревню и с злым лицом отвечала на поклоны встречных мужиков. Приехав домой, она прошла черным ходом к себе в спальню и прилегла на постель мужа.

– Господи, боже мой, – шептала она, – к чему эта каторжная работа? К чему эти люди толкуются здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!

Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости.

«Пусть, – подумала Ольга Михайловна. – Я еще полежу».

Но в спальню вошла горничная и сказала:

– Барыня, Марья Григорьевна уезжает!

Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспешила из спальни.

– Марья Григорьевна, что же это такое? – начала она обиженным голосом, идя на-

встречу Марье Григорьевне. – Куда вы это торопитесь?

– Нельзя, голубчик, нельзя! Я и так уже за-  
сиделась. Меня дома дети ждут.

– Недобрая вы! Отчего же вы детей с собой  
не взяли?

– Милая, если позволите, я привезу их к  
вам как-нибудь в будень, но сегодня...

– Ах, пожалуйста, – перебила Ольга Михай-  
ловна, – я буду очень рада! Дети у вас такие  
милые! Поцелуйте их всех... Но, право, вы ме-  
ня обижаете! Зачем торопиться, не понимаю!

– Нельзя, нельзя... Прощайте, милая. Бере-  
гите себя. Вы ведь в таком теперь положе-  
нии...

И обе поцеловались. Проводив гостью до  
экипажа, Ольга Михайловна пошла в гости-  
ную к дамам. Там уж огни были зажжены, и  
мужчины усаживались играть в карты.

## IV

Гости стали разъезжаться после ужина, в четверть первого. Провожая гостей, Ольга Михайловна стояла на крыльце и говорила:

– Право, вы бы взяли шаль! Становится немножко свежо. Не дай бог, простудитесь!

– Не беспокойтесь, Ольга Михайловна! – отвечали гости, усаживаясь. – Ну, прощайте! Смотрите же, мы ждем вас! Не обманите!

– Тпрррр! – сдерживал кучер лошадей.

– Трогай, Денис! Прощайте, Ольга Михайловна!

– Детей поцелуйте!

Коляска трогалась с места и тотчас же исчезала в потемках. В красном круге, бросаемом лампою на дорогу, показывалась новая пара или тройка нетерпеливых лошадей и силуэт кучера с протянутыми вперед руками. Опять начинались поцелуи, упреки и просьбы приехать еще раз или взять шаль. Петр Дмитрич выбежал из передней и помогал дамам сесть в коляску.

– Ты поезжай теперь на Ефремовщину, – учил он кучера. – Через Манькино ближе, да

там дорога хуже. Чего доброго, опрокинешь...  
Прощайте, моя прелесть! Mille compliments  
[25] вашему художнику!

– Прощайте, душечка, Ольга Михайловна!  
Уходите в комнаты, а то простудитесь! Сыро!

– Тпрррр! Балуетесь!

– Это какие же у вас лошади? – спрашивал  
Петр Дмитрич.

– В Великом посту у Хайдарова купили, –  
отвечал кучер.

– Славные конячки...

И Петр Дмитрич хлопал пристяжную по  
крупу.

– Ну, трогай! Дай бог час добрый!

Наконец уехал последний гость. Красный  
круг на дороге закачался, поплыл в сторону,  
сузился и погас – это Василий унес с крыльца  
лампу. В прошлые разы обыкновенно, прово-  
див гостей, Петр Дмитрич и Ольга Михайлов-  
на начинали прыгать в зале друг перед дру-  
гом, хлопать в ладоши и петь: «Уехали! уеха-  
ли! уехали!» Теперь же Ольге Михайловне бы-  
ло не до того. Она пошла в спальню, разде-  
лась и легла в постель.

Ей казалось, что она уснет тотчас же и бу-

дет спать крепко. Ноги и плечи ее болезненно ныли, голова отяжелела от разговоров, и во всем теле по-прежнему чувствовалось какое-то неудобство. Укрывшись с головой, она полежала минуты три, потом взглянула из-под одеяла на лампадку, прислушалась к тишине и улыбнулась.

– Хорошо, хорошо... – зашептала она, подгибая ноги, которые, казалось ей, оттого, что она много ходила, стали длиннее. – Спать, спать...

Ноги не укладывались, всему телу было неудобно, и она повернулась на другой бок. По спальне с жужжаньем летала большая муха и беспокойно билась о потолок. Слышно было также, как в зале Григорий и Василий, осторожно ступая, убирали столы; Ольге Михайловне стало казаться, что она уснет и ей будет удобно только тогда, когда утихнут эти звуки. И она опять нетерпеливо повернулась на другой бок.

Послышался из гостиной голос мужа. Должно быть, кто-нибудь остался ночевать, потому что Петр Дмитрич к кому-то обращался и громко говорил:

– Я не скажу, чтобы граф Алексей Петрович был фальшивый человек. Но он поневоле кажется таким, потому что все вы, господа, стараетесь видеть в нем не то, что он есть на самом деле. В его юродивости видят оригинальный ум, в фамильярном обращении – добродушие, в полном отсутствии взглядов видят консерватизм. Допустим даже, что он в самом деле консерватор восемьдесят четвертой пробы. Но что такое в сущности консерватизм?

Петр Дмитрич, сердитый и на графа Алексея Петровича, и на гостей, и на самого себя, отводил теперь душу. Он бранил и графа, и гостей, и с досады на самого себя готов был высказывать и проповедовать, что угодно. Проводив гостя, он походил из угла в угол по гостиной, прошелся по столовой, по коридору, по кабинету, потом опять по гостиной, и вошел в спальню. Ольга Михайловна лежала на спине, укрытая одеялом только по пояс (ей уже казалось жарко), и со злым лицом следила за мухой, которая стучала по потолку.

– Разве кто остался ночевать? – спросила она.

– Егоров.

Петр Дмитрич разделся и лег на свою постель. Он молча закурил папиросу и тоже стал следить за мухой. Взгляд его был суров и беспокоен. Молча минут пять Ольга Михайловна глядела на его красивый профиль. Ей казалось почему-то, что если бы муж вдруг повернулся к ней лицом и сказал: «Оля, мне тяжело!», то она заплакала бы или засмеялась, и ей стало бы легко. Она думала, что ноги ноют и всему ее телу неудобно оттого, что у нее напряжена душа.

– Петр, о чем ты думаешь? – спросила она.

– Так, ни о чем... – ответил муж.

– У тебя в последнее время завелись от меня какие-то тайны. Это нехорошо.

– Почему же нехорошо? – ответил Петр Дмитрич сухо и не сразу. – У каждого из нас есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому.

– Личная жизнь, свои тайны... всё это слова! Пойми, что ты меня оскорбляешь! – сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постели. – Если у тебя тяжело на душе, то почему ты скрываешь это от меня? И почему ты находишь более удобным откровенничать

с чужими женщинами, а не с женой? Я ведь слышала, как ты сегодня на пасеке изливался перед Любочкой.

– Ну, и поздравляю. Очень рад, что слышала.

Это значило: оставь меня в покое, не мешай мне думать! Ольга Михайловна возмутилась. Досада, ненависть и гнев, которые накопились у нее в течение дня, вдруг точно запенились; ей хотелось сейчас же, не откладывая до завтра, высказать мужу всё, оскорбить его, отомстить... Делая над собой усилия, чтобы не кричать, она сказала:

– Так знай же, что все это гадко, гадко и гадко! Сегодня я ненавидела тебя весь день – вот что ты наделал!

Петр Дмитрич тоже поднялся и сел.

– Гадко, гадко, гадко! – продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всем телом. – Меня нечего поздравлять! Поздравь ты лучше самого себя! Стыд, срам! Долгался до такой степени, что стыдишься оставаться с женой в одной комнате! Фальшивый ты человек! Я вижу тебя насквозь и понимаю каждый твой шаг!

– Оля, когда ты бываешь не в духе, то, пожалуйста, предупреждай меня. Тогда я буду спать в кабинете.

Сказавши это, Петр Дмитрич взял подушку и вышел из спальни. Ольга Михайловна не предвидела этого. Несколько минут она молча, с открытым ртом и дрожа всем телом, глядела на дверь, за которою скрылся муж, и старалась понять, что значит это. Есть ли это один из тех приемов, которые употребляют в спорах фальшивые люди, когда бывают неправы, или же это оскорбление, обдуманно нанесенное ее самолюбию? Как понять? Ольге Михайловне припомнился ее двоюродный брат, офицер, веселый малый, который часто со смехом рассказывал ей, что когда ночью «супружница начинает пилить» его, то он обыкновенно берет подушку и, посвистывая, уходит к себе в кабинет, а жена остается в глупом и смешном положении. Этот офицер женат на богатой, капризной и глупой женщине, которую он не уважает и только терпит.

Ольга Михайловна вскочила с постели. По ее мнению, теперь ей оставалось только одно:

поскорее одеться и навсегда уехать из этого дома. Дом был ее собственный, но тем хуже для Петра Дмитрича. Не рассуждая, нужно это или нет, она быстро пошла в кабинет, чтобы сообщить мужу о своем решении («Бабья логика!» – мелькнуло у нее в мыслях) и сказать ему на прощанье еще что-нибудь оскорбительное, едкое...

Петр Дмитрич лежал на диване и делал вид, что читает газету. Возле него на стуле горела свеча. Из-за газеты не было видно его лица.

– Потрудитесь мне объяснить, что это значит? Я вас спрашиваю!

– Вас... – передразнил Петр Дмитрич, не показывая лица. – Надоело, Ольга! Честное слово, я утомлен, и мне теперь не до этого... Завтра будем браниться.

– Нет, я тебя отлично понимаю! – продолжала Ольга Михайловна. – Ты меня ненавидишь! Да, да! Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя! Ты никогда не простишь мне этого и всегда будешь лгать мне! («Бабья логика!» – опять мелькнуло в ее мыслях.) Сейчас, я знаю, ты смеешься надо мной... Я даже увере-

на, что ты и женился на мне только затем, чтобы иметь ценз и этих подлых лошадей... О, я несчастная!

Петр Дмитрич уронил газету и приподнялся. Неожиданное оскорбление ошеломило его. Он детски-беспомощно улыбнулся, растерянно поглядел на жену и, точно защищая себя от ударов, протянул к ней руки и сказал умоляюще:

– Оля!

И ожидая, что она скажет еще что-нибудь ужасное, он прижался к спинке дивана, и вся его большая фигура стала казаться такою же беспомощно-детскою, как и улыбка.

– Оля, как ты могла это сказать? – прошептал он.

Ольга Михайловна опомнилась. Она вдруг почувствовала свою безумную любовь к этому человеку, вспомнила, что он ее муж, Петр Дмитрич, без которого она не может прожить ни одного дня и который ее любит тоже безумно. Она зарыдала громко, не своим голосом, схватила себя за голову и побежала назад в спальню.

Она упала в постель, и мелкие, истериче-

ские рыдания, мешающие дышать, от которых сводит руки и ноги, огласили спальню. Вспомнив, что через три-четыре комнаты но-чует гость, она спрятала голову под подушку, чтобы заглушить рыдания, но подушка сва-лилась на пол, и сама она едва не упала, когда нагнулась за ней; потянула она к лицу одея-ло, но руки не слушались и судорожно рвали всё, за что она хваталась.

Ей казалось, что всё уже пропало, что неправда, которую она сказала для того, что-бы оскорбить мужа, разбила вдребезги всю ее жизнь. Муж не простит ее. Оскорбление, ко-торое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладишь никакими ласками, ни клятва-ми... Как она убедит мужа, что сама не верила тому, что говорила?

– Кончено, кончено! – кричала она, не за-мечая, что подушка опять свалилась на пол. – Ради бога, ради бога!

Должно быть, разбуженные ее криками, уже проснулись гость и прислуга; завтра весь уезд будет знать, что с нею была истерика, и все обвинят в этом Петра Дмитрича. Она де-лала усилия, чтобы сдержатъ себя, но рыда-

ния с каждой минутой становились всё громче и громче.

– Ради бога! – кричала она не своим голосом и не понимала, для чего кричит это. – Ради бога!

Ей показалось, что под нею провалилась кровать и ноги завязли в одеяле. Вошел в спальню Петр Дмитрич в халате и со свечой в руках.

– Оля, полно! – сказал он.

Она поднялась и, стоя в постели на коленях, жмурясь от свечи, выговорила сквозь рыдания:

– Пойми... пойми...

Ей хотелось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ее ложь, что у нее накипело, но она могла только выговорить:

– Пойми... пойми!

– На, выпей! – сказал он, подавая ей воды.

Она послушно взяла стакан и стала пить, но вода расплескалась и полилась ей на руки, грудь, колени... «Должно быть, я теперь ужасно безобразна!» – подумала она. Петр Дмитрич, молча, уложил ее в постель и укрыл одеялом, потом взял свечу и вышел.

– Ради бога! – крикнула опять Ольга Михайловна. – Петр, пойми, пойми!

Вдруг что-то сдавило ее внизу живота и спины с такой силой, что плач ее оборвался и она от боли укусила подушку. Но боль тотчас же отпустила ее, и она опять зарыдала.

Вошла горничная и, поправляя на ней одеяло, спросила встревоженно:

– Барыня, голубушка, что с вами?

– Убирайтесь отсюда! – строго сказал Петр Дмитрич, подходя к постели.

– Пойми, пойми... – начала Ольга Михайловна.

– Оля, прошу тебя, успокойся! – сказал он. – Я не хотел тебя обидеть. Я не ушел бы из спальни, если бы знал, что это на тебя так подействует. Мне просто было тяжело. Говорю тебе как честный человек...

– Пойми... Ты лгал, я лгала...

– Я понимаю... Ну, ну, будет! Я понимаю... – говорил Петр Дмитрич нежно, садясь на ее постель. – То сказала ты сторяча, понятно... Клянусь богом, я люблю тебя больше всего на свете и, когда женился на тебе, ни разу не вспомнил, что ты богата. Я бесконечно любил

и только... Уверяю тебя. Никогда я не нуждался и не знал цены деньгам, а потому не умею чувствовать разницу между твоим состоянием и моим. Мне всегда казалось, что мы одинаково богаты. А что я в мелочах фальшивил, то это... конечно, правда. Жизнь у меня до сих пор была устроена так несерьезно, что как-то нельзя было обойтись без мелкой лжи. Мне теперь самому тяжело. Оставим этот разговор, бога ради!..

Ольга Михайловна опять почувствовала сильную боль и схватила мужа за рукав.

– Больно, больно, больно... – сказала она быстро. – Ах, больно!

– Чёрт бы взял этих гостей! – пробормотал Петр Дмитрич, поднимаясь. – Ты не должна была ездить сегодня на остров! – крикнул он. – И как это я, дурак, не остановил тебя? Господи, боже мой!

Он досадливо почесал себе голову, махнул рукой и вышел из спальни.

Потом он несколько раз входил, садился к ней на кровать и говорил много, то очень нежно, то сердито, но она плохо слышала его. Рыдания чередовались у нее с страшною бо-

лью, и каждая новая боль была сильнее и продолжительнее. Сначала во время боли она задерживала дыхание и кусала подушку, но потом стала кричать неприличным, раздирающим голосом. Раз, увидев около себя мужа, она вспомнила, что оскорбила его, и, не рассуждая, бред ли это или настоящий Петр Дмитрич, схватила обеими руками его руку и стала целовать ее.

– Ты лгал, я лгала... – начала она оправдываться. – Пойми, пойми... Меня замучили, вывели из терпенья...

– Оля, мы тут не одни! – сказал Петр Дмитрич.

Ольга Михайловна приподняла голову и увидела Варвару, которая стояла на коленях около комода и выдвигала нижний ящик. Верхние ящики были уже выдвинуты. Кончив с комодом, Варвара поднялась и, красная от напряжения, с холодным, торжественным лицом принялась отпирать шкатулку.

– Марья, не отопру! – сказала она шёпотом. – Отопри, что ли.

Горничная Марья ковыряла ножницами в подсвечнике, чтобы вставить новую свечу;

она подошла к Варваре и помогла ей отпереть шкатулку.

– Чтоб ничего запертого не было... – шептала Варвара. – Отопри, мать моя, и этот коробок. Барин, – обратилась она к Петру Дмитричу, – вы бы послали к отцу Михаилу, чтоб царские ворота отпер! Надо!

– Делайте, что хотите, – сказал Петр Дмитрич, прерывисто дыша, – только ради бога скорей доктора или акушерку! Поехал Василий? Пошли еще кого-нибудь. Пошли своего мужа!

«Я рожу», – сообразила Ольга Михайловна. – Варвара, – простонала она, – но ведь он родится не живой!

– Ничего, ничего, барыня... – зашептала Варвара. – Бог даст, живой бундить (так она выговаривала слово «будет»)! Бундить живой.

Когда Ольга Михайловна в другой раз очнулась от боли, то уж не рыдала и не металась, а только стонала. От стонов она не могла удержаться даже в те промежутки, когда не было боли. Свечи еще горели, но уже сквозь шторы пробивался утренний свет. Было, вероятно, около пяти часов утра. В спаль-

не за круглым столиком сидела какая-то незнакомая женщина в белом фартуке и с очень скромною физиономией. По выражению ее фигуры видно было, что она давно уже сидит. Ольга Михайловна догадалась, что это акушерка.

– Скоро кончится? – спросила она и в своем голосе услышала какую-то особую, незнакомую ноту, какой раньше у нее никогда не было. «Должно быть, я умираю от родов», – подумала она.

В спальню осторожно вошел Петр Дмитрич, одетый, как днем, и стал у окна, спиной к жене. Он приподнял штору и поглядел в окно.

– Какой дождь! – сказал он.

– А который час? – спросила Ольга Михайловна, чтобы еще раз услышать в своем голосе незнакомую нотку.

– Без четверти шесть, – отвечала акушерка.

«А что, если я в самом деле умираю? – подумала Ольга Михайловна, глядя на голову мужа и на оконные стекла, по которым стучал дождь. – Как он без меня будет жить? С кем он будет чай пить, обедать, разговори-

вать по вечерам, спать?»

И он показался ей маленьким, осиротевшим; ей стало жаль его и захотелось сказать ему что-нибудь приятное, ласковое, утешительное. Она вспомнила, как он весною собирался купить себе гончих и как она, находя охоту забавой жестокой и опасной, помешала ему сделать это.

– Петр, купи себе гончих! – простонала она.

Он опустил штору и подошел к постели, хотел что-то сказать, но в это время Ольга Михайловна почувствовала боль и вскрикнула неприличным, раздирающим голосом.

От боли, частых криков и стонов она отупела. Она слышала, видела, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчас будет больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а как будто год назад, и что ее новая болевая жизнь продолжается дольше, чем ее детство, ученье в институте, курсы, замужество, и будет продолжаться еще долго-долго, без конца. Она видела, как акушерке принесли чай, как позвали ее в полдень завтракать, а потом обедать; видела, как Петр Дмитрич

привык входить, стоять подолгу у окна и выходить, как привыкли входить какие-то чужие мужчины, горничная, Варвара... Варвара говорила только «бундить, бундить» и сердилась, когда кто-нибудь задвигал ящики в комод. Ольга Михайловна видела, как в комнате и в окнах менялся свет: то он был сумеречный, то мутный, как туман, то ясный, дневной, какой был вчера за обедом, то опять сумеречный... И каждая из этих перемен продолжалась так же долго, как детство, ученье в институте, курсы...

Вечером два доктора – один костлявый, лысый, с широкою рыжею бородою, другой с еврейским лицом, черномазый и в дешевых очках – делали Ольге Михайловне какую-то операцию. К тому, что чужие мужчины касались ее тела, она относилась совершенно равнодушно. У нее уже не было ни стыда, ни воли, и каждый мог делать с нею, что хотел. Если бы в это время кто-нибудь бросился на нее с ножом или оскорбил Петра Дмитрича, или отнял бы у нее права на маленького человечка, то она не сказала бы ни одного слова.

Во время операции ей дали хлороформу.

Когда она потом проснулась, боли всё еще продолжались и были невыносимы. Была ночь. И Ольга Михайловна вспомнила, что точно такая же ночь с тишиною, с лампадкой, с акушеркой, неподвижно сидящей у постели, с выдвинутыми ящиками комода, с Петром Дмитричем, стоящим у окна, была уже, но когда-то очень, очень давно...

## V

«Я не умерла»... – подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее и когда болей уже не было.

В два настежь открытые окна спальни глядел ясный летний день; в саду за окнами, не умолкая ни на одну секунду, кричали воробьи и сороки.

Ящики в комоде были уже заперты, постель мужа прибрана. Не было в спальне ни акушерки, ни Варвары, ни горничной; один только Петр Дмитрич по-прежнему стоял неподвижно у окна и глядел в сад. Не слышно было детского плача, никто не поздравлял и не радовался, очевидно, маленький человек родился не живой.

– Петр! – окликнула Ольга Михайловна мужа.

Петр Дмитрич оглянулся. Должно быть, с того времени, как уехал последний гость и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень много времени, так как Петр Дмитрич заметно осунулся и похудел.

– Что тебе? – спросил он, подойдя к постели.

Он глядел в сторону, шевелил губами и улыбался детски-беспомощно.

– Всё уже кончилось? – спросила Ольга Михайловна.

Петр Дмитрич хотел что-то ответить, но губы его задрожали, и рот покривился старчески, как у беззубого дяди Николая Николаича.

– Оля! – сказал он, ломая руки, и из глаз его вдруг брызнули крупные слезы. – Оля! Не нужно мне ни твоего ценза, ни съездов (он всхлипнул)... ни особых мнений, ни этих гостей, ни твоего приданого... ничего мне не нужно! Зачем мы не берегли нашего ребенка? Ах, да что говорить!

Он махнул рукой и вышел из спальни.

А для Ольги Михайловны было уже решено

тельно всё равно. В голове у нее стоял туман от хлороформа, на душе было пусто... То тупое равнодушие к жизни, какое было у нее, когда два доктора делали ей операцию, всё еще не покидало ее.

# Припадок

## I

Студент-медик Майер и ученик московского Сучилища живописи, ваяния и зодчества Рыбников пришли как-то вечером к своему приятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить с ними в С – в переулок. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними.

Падших женщин он знал только понаслышке и из книг, и в тех домах, где они живут, не был ни разу в жизни. Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств – среды, дурного воспитания, нужды и т. п. вынуждены бывают продавать за деньги свою честь. Они не знают чистой любви, не имеют детей, не правоспособны; матери и сестры оплакивают их, как мертвых, наука третирует их, как зло, мужчины говорят им ты. Но, несмотря на всё это, они не теряют образа и подобия божия. Все они сознают свой грех и надеются

на спасение. Средствами, которые ведут к спасению, они могут пользоваться в самых широких размерах. Правда, общество не прощает людям прошлого, но у бога святая Мария Египетская считается не ниже других святых.

[26] Когда Васильеву приходилось по костюму или по манерам узнавать на улице падшую женщину или видеть ее изображение в юмористическом журнале, то всякий раз он вспоминал одну историю, где-то и когда-то им вычитанную: какой-то молодой человек, чистый и самоотверженный, полюбил падшую женщину и предложил ей стать его женою, она же, считая себя недостойною такого счастья, отравилась.

Васильев жил в одном из переулков, выходящих на Тверской бульвар. Когда он вышел с приятелями из дому, было около 11 часов. Недавно шел первый снег, и всё в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах – всё было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядывали иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней,

экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег.

– «Невольню к этим грустным берегам,[27] – запел медик приятным тенором, – меня влечет неведомая сила...»

– «Вот мельница... – подтянул ему художник. – Она уж развалилась...»

– «Вот мельница... Она уж развалилась...», – повторил медик, поднимая брови и грустно покачивая головою.

Он помолчал, потер лоб, припоминая слова, и запел громко и так хорошо, что на него оглянулись прохожие:

– «Здесь некогда меня встречала свободной свободная любовь...»

Все трое зашли в ресторан и, не снимая пальто, выпили у буфета по две рюмки водки. Перед тем, как выпить по второй, Васильев заметил у себя в водке кусочек пробки, поднес рюмку к глазам, долго глядел в нее и близоруко хмурился. Медик не понял его выражения и сказал:

– Ну, что глядишь? Пожалуйста, без фило-

софии! Водка дана, чтобы пить ее, осетрина – чтобы есть, женщины – чтобы бывать у них, снег – чтобы ходить по нем. Хоть один вечер поживи по-человечески!

– Да я ничего... – сказал Васильев, смеясь. – Разве я отказываюсь?

От водки у него потеплело в груди. Он с умилением глядел на своих приятелей, любовался ими и завидовал. Как у этих здоровых, сильных, веселых людей всё уравновешено, как в их умах и душах всё законченно и гладко! Они и поют, и страстно любят театр, и рисуют, и много говорят, и пьют, и голова у них не болит на другой день после этого; они и поэтичны, и распутны, и нежны, и дерзки; они умеют и работать, и возмущаться, и хохотать без причины, и говорить глупости; они горячи, честны, самоотверженны и как люди ничем не хуже его, Васильева, который сторожит каждый свой шаг и каждое свое слово, мнителен, осторожен и малейший пустяк готов возводить на степень вопроса. И ему захотелось хоть один вечер пожить так, как живут приятели, развернуться, освободить себя от собственного контроля. Понадобится водку

пить? Он будет пить, хотя бы завтра у него лопнула голова от боли. Его ведут к женщинам? Он идет. Он будет хохотать, дурачиться, весело отвечать на затрогивания прохожих...

Вышел он из ресторана со смехом. Ему нравились его приятели – один в помятой широкополой шляпе с претензией на художественный беспорядок, другой в котиковой шапочке, человек не бедный, но с претензией на принадлежность к ученой богеме; нравился ему снег, бледные фонарные огни, резкие, черные следы, какие оставляли по первому снегу подошвы прохожих; нравился ему воздух и особенно этот прозрачный, нежный, наивный, точно девственный тон, какой в природе можно наблюдать только два раза в году: когда всё покрыто снегом и весной в ясные дни или в лунные вечера, когда на реке ломает лед.

– «Невольно к этим грустным берегам, – запел он вполголоса, – меня влечет неведомая сила...»

И всю дорогу почему-то у него и у его приятелей не сходил с языка этот мотив, и все трое напевали его машинально, не в такт

друг другу.

Воображение Васильева рисовало, как минут через десять он и его приятели постучатся в дверь, как они по темным коридорчикам и по темным комнатам будут красться к женщинам, как он, воспользовавшись потемками, чиркнет спичкой и вдруг осветит и увидит страдальческое лицо и виноватую улыбку. Неведомая блондинка или брюнетка наверное будет с распущенными волосами и в белой ночной кофточке; она испугается света, страшно сконфузится и скажет: «Ради бога, что вы делаете! Потушите!» Всё это страшно, но любопытно и ново.

Приятели с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и с настезь открытыми дверями, услышав веселые звуки роялей и скрипок – звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в потемках, над крышами, настраивался невидимый оркестр, Васильев удивился и сказал:

– Как много домов!

– Это что! – сказал медик. – В Лондоне в десять раз больше. Там около ста тысяч таких женщин.

Извозчики сидели на козлах так же покойно и равнодушно, как и во всех переулках; по тротуарам шли такие же прохожие, как и на других улицах. Никто не торопился, никто не прятал в воротник своего лица, никто не покачивал укоризненно головой... И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скрипок, в ярких окнах, в настезь открытых

дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размахистое. Должно быть, во время оно на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно и лица и походка людей выражали такое же равнодушие.

– Начнем с самого начала, – сказал художник.

Приятели вошли в узкий коридорчик, освещенный лампою с рефлектором. Когда они отворили дверь, то в передней с желтого дивана лениво поднялся человек в черном сюртуке, с небритым лакейским лицом и с заспанными глазами. Тут пахло, как в прачечной, и кроме того еще уксусом. Из передней вела дверь в ярко освещенную комнату. Медик и художник остановились в этой двери и, вытянув шеи, оба разом заглянули в комнату.

– Бона-сэра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травиата! – начал художник, театрально раскланиваясь.

– Гаванна-таракано-пистолето! – сказал медик, прижимая к груди свою шапочку и низко кланяясь.

Васильев стоял позади них. Ему тоже хоте-

лось театрално раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но он только улыбался, чувствовал неловкость, похожую на стыд, и с нетерпением ждал, что будет дальше. В дверях показалась маленькая блондинка лет 17–18, стриженная, в коротком голубом платье и с белым аксельбантом на груди.

– Что ж вы в дверях стоите? – сказала она. – Снимите ваши пальты и входите в залу.

Медик и художник, продолжая говорить по-итальянски, вошли в залу. Васильев нерешительно пошел за ними.

– Господа, снимайте ваши пальты! – сказал строго лакей. – Так нельзя.

Кроме блондинки, в зале была еще одна женщина, очень полная и высокая, с нерусским лицом и с обнаженными руками. Она сидела около рояля и раскладывала у себя на коленях пасьянс. На гостей она не обратила никакого внимания.

– Где же остальные барышни? – спросил медик.

– Они чай пьют, – сказала блондинка. – Степан, – крикнула она, – пойди скажи барышням, что студенты пришли!

Немного погодя в залу вошла третья барышня. Эта была в ярко-красном платье с синими полосами. Лицо ее было густо и неумело накрашено, лоб прятался за волосами, глаза глядели не мигая и испуганно. Войдя, она тотчас же запела сильным, грубым контральто какую-то песню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая...

Во всем этом Васильев не видел ничего ни нового, ни любопытного. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало в дешевой золотой раме, аксельбант, платье с синими полосами и тупые, равнодушные лица он видел уже где-то и не один раз. Потемок же, тишины, тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидал он здесь встретить и что пугало его, он не видел даже тени.

Всё было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство – это страшная, словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была в карнизах, в нелепых картинах, в платьях, в аксельбанте. В этой безвкусице было что-то характерное, особенное.

«Как всё бедно и глупо! – думал Васильев. –

Что во всей этой чепухе, которую я теперь вижу, может искусить нормального человека, побудить его совершить страшный грех – купить за рубль живого человека? Я понимаю любой грех ради блеска, красоты, грации, страсти, вкуса, но тут-то что? Ради чего тут грешат? Впрочем... не надо думать!»

– Борода, угостите портером! – обратилась к нему блондинка.

Васильев вдруг сконфузился.

– С удовольствием... – сказал он, вежливо кланяясь. – Только извините, сударыня, я... я с вами пить не буду. Я не пью.

Минут через пять приятели шли уже в другой дом.

– Ну, зачем ты потребовал портеру? – сердился медик. – Миллионщик какой! Бросил шесть рублей, так, здорово-живешь, на ветер!

– Если она хочет, то отчего же не сделать ей этого удовольствия? – оправдывался Васильев.

– Ты доставил удовольствие не ей, а хозяйке. Требовать от гостей угощения приказывают им хозяйки, которым это выгодно.

– «Вот мельница... – запел художник. – Она

уж развалилась...»

Придя в другой дом, приятели постояли только в передней, но в залу не входили. Так же, как и в первом доме, в передней с дивана поднялась фигура в сюртуке и с заспанным лакейским лицом. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртук, Васильев подумал: «Сколько должен пережить обыкновенный, простой русский человек, прежде чем судьба забрасывает его сюда в лакеи? Где он был раньше и что делал? Что ждет его? Женат ли он? Где его мать и знает ли она, что он служит тут в лакеях?» И уж Васильев невольно в каждом доме обращал свое внимание прежде всего на лакея. В одном из домов, кажется, в четвертом по счету, был лакей маленький, тщедушный, сухой, с цепочкой на жилетке. Он читал «Листок»[28] и не обратил никакого внимания на вошедших. Поглядев на его лицо, Васильев почему-то подумал, что человек с таким лицом может и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо в самом деле было интересное: большой лоб, серые глаза, приплюснутый носик, мелкие, стиснутые губы, а выражение тупое и в

то же время наглое, как у молодой гончей собаки, когда она догоняет зайца. Васильев подумал, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткие они или мягкие? Должно быть, жесткие, как у собаки.

### III

Художник оттого, что выпил два стакана порттеру, как-то вдруг опьянел и неестественно оживился.

– Пойдемте в другой! – командовал он, размахивая руками. – Я вас поведу в самый лучший!

Приведя приятелей в тот дом, который, по его мнению, был самым лучшим, он изъявил настойчивое желание танцевать кадрили. Медик стал ворчать на то, что музыкантам придется платить рубль, но согласился быть *vis-à-vis*. Начали танцевать.

В самом лучшем было так же нехорошо, как и в самом худшем. Тут были точно такие же зеркала и картины, такие же прически и платья. Осматривая обстановку и костюмы, Васильев уже понимал, что это не безвкусица, а нечто такое, что можно назвать вкусом

и даже стилем С – ва переулка и чего нельзя найти нигде в другом месте, нечто цельное в своем безобразии, не случайное, выработанное временем. После того, как он побывал в восьми домах, его уж не удивляли ни цвета платьев, ни длинные шлейфы, ни яркие банты, ни матросские костюмы, ни густая фиолетовая окраска щек; он понимал, что всё это здесь так и нужно, что если бы хоть одна из женщин оделась по-человечески или если бы на стене повесили порядочную гравюру, то от этого пострадал бы общий тон всего переулка.

«Как неумело они продают себя! – думал он. – Неужели они не могут понять, что порок только тогда обаятелен, когда он красив и прячется, когда он носит оболочку добродетели? Скромные черные платья, бледные лица, печальные улыбки и потемки сильнее действуют, чем эта аляповатая мишура. Глупые! Если они сами не понимают этого, то гости бы их поучили, что ли...»

Барышня в польском костюме с белой меховой опушкой подошла к нему и села рядом с ним.

– Симпатичный брюнет, что ж вы не танцуете? – спросила она. – Отчего вы такой скучный?

– Потому что скучно.

– А вы угостите лафитом. Тогда не будет скучно.

Васильев ничего не ответил. Он помолчал и спросил:

– Вы в котором часу ложитесь спать?

– В шестом.

– А встаете когда?

– Когда в два, а когда и в три.

– А вставши, что делаете?

– Кофий пьем, в седьмом часу обедаем.

– А что вы обедаете?

– Обыкновенно... Суп или щи, биштекс, десерт. Наша мадам хорошо содержит девушек. Да для чего вы всё это спрашиваете?

– Так, чтоб поговорить...

Васильеву хотелось поговорить с барышней о многом. Он чувствовал сильное желание узнать, откуда она родом, живы ли ее родители и знают ли они, что она здесь, как она попала в этот дом, весела ли и довольна или же печальна и угнетена мрачными мыслями,

надеется ли выйти когда-нибудь из своего настоящего положения... Но никак он не мог придумать, с чего начать и какую форму придать вопросу, чтоб не показаться нескромным. Он долго думал и спросил:

– Вам сколько лет?

– Восемьдесят, – сострила барышня, глядя со смехом на фокусы, какие выделывал руками и ногами плясавший художник.

Вдруг она чему-то захохотала и сказала громко, так, что все слышали, длинную циническую фразу. Васильев оторопел и, не зная, какое выражение придать своему лицу, напряженно улыбнулся. Улыбнулся только один он, все же остальные – его приятели, музыканты и женщины даже и не взглянули на его соседку, точно не слышали.

– Угостите лафитом! – опять сказала соседка.

Васильев почувствовал отвращение к ее белой опушке и к голосу и отошел от нее. Ему уж казалось душно и жарко, и сердце начинало биться медленно, но сильно, как молот: раз!-два!-три!

– Пойдем отсюда! – сказал он, дернув ху-

дожника за рукав.

– Погоди, дай кончить.

Пока художник и медик кончали кадрили, Васильев, чтобы не глядеть на женщин, осматривал музыкантов. На рояли играл благообразный старик в очках, похожий лицом на маршала Базена;[29] на скрипке – молодой человек с русой бородкой, одетый по последней моде. У молодого человека было лицо не глупое, не испитое, а наоборот, умное, молодое, свежее. Одет он был прихотливо и со вкусом, играл с чувством. Задача: как он и этот приличный, благообразный старик попали сюда? отчего им не стыдно сидеть здесь? о чем они думают, когда глядят на женщин?

Если бы на рояли и на скрипке играли люди оборванные, голодные, мрачные, пьяные, с испитыми или тупыми лицами, тогда присутствие их, быть может, было бы понятно. Теперь же Васильев ничего не понимал. Ему вспоминалась история падшей женщины, прочитанная им когда-то, и он находил теперь, что этот человеческий образ с виноватой улыбкой не имеет ничего общего с тем, что он теперь видит. Ему казалось, что он ви-

дит не падших женщин, а какой-то другой, совершенно особый мир, ему чуждый и непонятный; если бы раньше он увидел этот мир в театре на сцене или прочел бы о нем в книге, то не поверил бы...

Женщина с белой опушкой опять захохотала и громко произнесла отвратительную фразу. Гадливое чувство овладело им, он покраснел и вышел.

– Пстой, и мы идем! – крикнул ему художник.

## IV

— Сейчас у меня с моей дамой, пока мы плясали, был разговор, – рассказывал медик, когда все трое вышли на улицу. – Речь шла об ее первом романе. Он, герой – какой-то бухгалтер в Смоленске, имеющий жену и пятерых ребят. Ей было 17 лет и жила она у папаши и мамыши, торгующих мылом и свечами.

– Чем же он победил ее сердце? – спросил Васильев.

– Тем, что купил ей белья на пятьдесят рублей. Чёрт знает что!

«Однако же, вот он сумел выпытать у своей дамы ее роман, – подумал Васильев про медика. – А я не умею...» – Господа, я ухожу домой! – сказал он.

– Почему?

– Потому, что я не умею держать себя здесь. К тому же мне скучно и противно. Что тут веселого? Хоть бы люди были, а то дикари и животные. Я ухожу, как угодно.

– Ну, Гриша, Григорий, голубчик... – сказал плачущим голосом художник, прижимаясь к Васильеву. – Пойдем! Сходим еще в один, и будь они прокляты... Пожалуйста! Григорианц!

Васильева уговорили и повели вверх по лестнице. В ковре и в золоченых перилах, в швейцаре, отворившем дверь, и в панно, украшавших переднюю, чувствовался всё тот же стиль С – ва переулка, но усовершенствованный, импонирующий.

– Право, я пойду домой! – сказал Васильев, снимая пальто.

– Ну, ну, голубчик... – сказал художник и поцеловал его в шею. – Не капризничай... Гри-Гри, будь товарищем! Вместе пришли,

вместе и уйдем. Какой ты скот, право.

– Я могу подождать вас на улице. Ей-богу, мне здесь противно!

– Ну, ну, Гриша... Противно, а ты наблюдай! Понимаешь? Наблюдай!

– Надо смотреть объективно на вещи, – сказал серьезно медик.

Васильев вошел в залу и сел. Кроме него и приятелей, в зале было еще много гостей: два пехотных офицера, какой-то седой и лысый господин в золотых очках, два безусых студента из межевого института и очень пьяный человек с актерским лицом. Все барышни были заняты этими гостями и не обратили на Васильева никакого внимания. Только одна из них, одетая Аидой,[30] искоса взглянула на него, чему-то улыбнулась и проговорила, зевая:

– Брюнет пришел...

У Васильева стучало сердце и горело лицо. Ему было и стыдно перед гостями за свое присутствие здесь, и гадко, и мучительно. Его мучила мысль, что он, порядочный и любящий человек (таким он до сих пор считал себя), ненавидит этих женщин и ничего не чувству-

ет к ним, кроме отвращения. Ему не было жаль ни этих женщин, ни музыкантов, ни лакеев.

«Это оттого, что я не стараюсь понять их, – думал он. – Все они похожи на животных больше, чем на людей, но ведь они все-таки люди, у них есть души. Надо их понять и тогда уж судить...»

– Гриша, ты же не уходи, нас подожди! – крикнул ему художник и исчез куда-то.

Скоро исчез и медик.

«Да, надо постараться понять, а так нельзя...» – Продолжал думать Васильев.

И он стал напряженно вглядываться в лицо каждой женщины и искать виноватой улыбки. Но – или он не умел читать на лицах, или же ни одна из этих женщин не чувствовала себя виноватой – на каждом лице он читал только тупое выражение обыденной, пошлой скуки и довольства. Глупые глаза, глупые улыбки, резкие, глупые голоса, наглые движения – и ничего больше. По-видимому, у каждой в прошлом был роман с бухгалтером и с бельем на пятьдесят рублей, а в настоящем нет другой прелести в жизни, кроме

кофе, обеда из трех блюд, вина, кадрили, спанья до двух часов...

Не найдя ни одной виноватой улыбки, Васильев стал искать: нет ли умного лица. И внимание его остановилось на одном бледном, немножко сонном, утомленном лице... Это была немолодая брюнетка, одетая в костюм, усыпанный блестками; она сидела в кресле, глядела в пол и о чем-то думала. Васильев прошелся из угла в угол и точно нечаянно сел рядом с нею.

«Нужно начать с чего-нибудь пошлого, – думал он, – а потом постепенно перейти к серьезному...» – А какой у вас хорошенький костюмчик! – сказал он и коснулся пальцем золотой бахромы на косынке.

– Какой есть... – сказала вяло брюнетка.

– Вы из какой губернии?

– Я? Дальняя... Из Черниговской.

– Хорошая губерния. Там хорошо.

– Там хорошо, где нас нет.

«Жаль, что я не умею природу описывать, – подумал Васильев. – Можно было бы тронуть ее описаниями черниговской природы. Небось, ведь любит, коли родилась там».

– Вам здесь скучно? – спросил он.

– Известно, скучно.

– Отчего же вы не уходите отсюда, если вам скучно?

– Куда ж я уйду? Милостыню просить, что ли?

– Милостыню просить легче, чем жить здесь.

– А вы откуда знаете? Нешто вы просили?

– Просил, когда нечем было платить за ученье. Хотя бы даже не просил, это так понятно. Нищий, как бы ни было, свободный человек, а вы раба.

Брюнетка потянулась и проводила сонными глазами лакея, который нес на подносе стаканы и сельтерскую воду.

– Угостите портером, – сказала она и опять зевнула.

«Портером... – подумал Васильев. – А что, если бы сейчас вошел сюда твой брат или твоя мать? Что бы ты сказала? А что сказали бы они? Был бы тогда портер, воображаю...»

Вдруг послышался плач. Из соседней комнаты, куда лакей понес сельтерскую, быстро вышел какой-то блондин с красным лицом и

сердитыми глазами. За ним шла высокая, полная хозяйка и кричала визгливым голосом:

– Никто вам не позволял бить девушек по щекам! У нас бывают гости лучше вас, да не дерутся! Шарлатан!

Поднялся шум. Васильев испугался и побледнел. В соседней комнате плакали навзрыд, искренно, как плачут оскорбленные. И он понял, что в самом деле тут живут люди, настоящие люди, которые, как везде, оскорбляются, страдают, плачут, просят помощи... Тяжелая ненависть и гадливое чувство уступили свое место острому чувству жалости и злобы на обидчика. Он бросился в ту комнату, где плакали; сквозь ряды бутылок, стоявших на мраморной доске стола, он разглядел страдальческое, мокрое от слез лицо, протянул к этому лицу руки, сделал шаг к столу, но тотчас же в ужасе отскочил назад. Плачущая была пьяна.

Пробираясь сквозь шумную толпу, собравшуюся вокруг блондина, он пал духом, струсил, как мальчик, и ему казалось, что в этом чужом, непонятном для него мире хотят

гнаться за ним, бить его, осыпать грязными словами... Он сорвал с вешалки свое пальто и бросился опрометью вниз по лестнице.

## V

Прижавшись к забору, он стоял около дома и ждал, когда выйдут его товарищи. Звуки роялей и скрипок, веселые, удалые, наглые и грустные, путались в воздухе в какой-то хаос, и эта путаница по-прежнему походила на то, как будто в потемках над крышами настраивался невидимый оркестр. Если взглянуть вверх на эти потемки, то весь черный фон был усыпан белыми движущимися точками: это шел снег. Хлопья его, попав в свет, лениво кружились в воздухе, как пух, и еще ленивее падали на землю. Снежинки кружились толпой около Васильева и висли на его бороде, ресницах, бровях... Извозчики, лошади и прохожие были белы.

«И как может снег падать в этот переулочек! – думал Васильев. – Будь прокляты эти дома!»

Оттого, что он сбежал вниз по лестнице, ноги подгибались от усталости; он задыхался,

точно взбирался на гору, сердце стучало так, что было слышно. Его томило желание скорее выбраться из переулка и идти домой, но еще сильнее хотелось дождаться товарищей и сорвать на них свое тяжелое чувство.

Он многого не понял в домах, души погибающих женщин остались для него по-прежнему тайной, но для него ясно было, что дело гораздо хуже, чем можно было думать. Если та виноватая женщина, которая отравилась, называлась падшею, то для всех этих, которые плясали теперь под звуковую путаницу и говорили длинные отвратительные фразы, трудно было подобрать подходящее название. Это были не погибающие, а уже погибшие.

«Порок есть, – думал он, – но нет ни сознания вины, ни надежды на спасение. Их продают, покупают, топят в вине и в мерзостях, а они, как овцы, тупы, равнодушны и не понимают. Боже мой, боже мой!»

Для него также ясно было, что всё то, что называется человеческим достоинством, личностью, образом и подобием Божиим, осквернено тут до основания, «вдрызг», как говорят пьяницы, и что виноваты в этом не один

только переулочек да тупые женщины.

Толпа студентов, белых от снега, весело разговаривая и со смехом, прошла мимо него. Один из них, высокий и тонкий, остановился, заглянул Васильеву в лицо и сказал пьяным голосом:

– Наш! Налимонился, брат? Ага-га, брат! Ничего, гуляй! Валяй! Не унывай, дядя!

Он взял Васильева за плечи и прижался к его щеке мокрыми холодными усами, потом поскользнулся, покачнулся и, взмахнув обеими руками, крикнул:

– Держись! Не падай!

И засмеявшись, побежал догонять своих товарищей. Сквозь шум слышался голос художника:

– Вы не смеете бить женщин! Я вам не позволю, чёрт вас подери! Негодяи вы такие!

В дверях дома показался медик. Он поглядел по сторонам и, увидев Васильева, сказал встревоженно:

– Ты здесь? Послушай, ей-богу, с Егором положительно невозможно никуда ходить! Что это за человек, не понимаю! Скандал затеял! Слышишь? Егор! – крикнул он в дверь. – Егор!

– Я вам не позволю бить женщин! – раздался наверху пронзительный голос художника.

Что-то тяжелое и громоздкое покатилося вниз по лестнице. Это художник летел кубарем вниз. Его, очевидно, вытолкали.

Он поднялся с земли, отряхнул шляпу и со злым, негодующим лицом погрозил вверх кулаком и крикнул:

– Подлецы! Живодеры! Кровопийцы! Я не позволю вам бить! Бить слабую, пьяную, женщину! Ах, вы...

– Егор... Ну, Егор... – начал умолять медик. – Даю тебе честное слово, уж больше никогда не пойду с тобой в другой раз. Честное слово!

Художник мало-помалу успокоился, и приятели пошли домой.

– «Невольню к этим грустным берегам, – запел медик, – меня влечет неведомая сила...»

– «Вот мельница... – подтянул, немного погодя, художник. – Она уж развалилась...» Экий снег валит, мать пресвятая! Гришка, отчего ты ушел? Трус ты, баба и больше ничего.

Васильев шел позади приятелей, глядел им в спины и думал:

«Что-нибудь из двух: или нам только ка-

жется, что проституция – зло, и мы преувеличиваем, или же, если проституция в самом деле такое зло, как принято думать, то эти мои милые приятели такие же рабовладельцы, насильники и убийцы, как те жители Сирии и Каира, которых рисуют в „Ниве“. Они теперь поют, хохочут, здраво рассуждают, но разве не они сейчас эксплуатировали голод, невежество и тупость? Они – я был свидетелем. При чем же тут их гуманность, медицина, живопись? Науки, искусства и возвышенные чувства этих душегубов напоминают мне сало в одном анекдоте. Два разбойника зарезали в лесу нищего; стали делить между собою его одежду и нашли в сумке кусок свиного сала. „Очень кстати, – сказал один из них, – давай закусим“. – „Что ты, как можно? – ужаснулся другой. – Разве ты забыл, что сегодня среда?“ И не стали есть. Они, зарезавши человека, вышли из лесу с уверенностью, что они постники. Так и эти, купивши женщин, идут и думают теперь, что они художники и ученые...»

– Послушайте, вы! – сказал он сердито и резко. – Зачем вы сюда ходите? Неужели,

неужели вы не понимаете, как это ужасно? Ваша медицина говорит, что каждая из этих женщин умирает преждевременно от чахотки или чего-нибудь другого; искусства говорят, что морально она умирает еще раньше. Каждая из них умирает оттого, что на своем веку принимает средним числом, допустим, пятьсот человек. Каждую убивает пятьсот человек. В числе этих пятисот – вы! Теперь, если вы оба за всю жизнь побываете здесь и в других подобных местах по двести пятьдесят раз, то значит на обоих вас придется одна убитая женщина! Разве это не понятно? Разве не ужасно? Убить вдвоем, втроем, впятером одну глупую, голодную женщину! Ах, да разве это не ужасно, боже мой?

– Так и знал, что этим кончится, – сказал художник, морщась. – Не следовало бы связываться с этим дураком и болваном! Ты думаешь, что теперь у тебя в голове великие мысли, идеи? Нет, чёрт знает что, а не идеи! Ты сейчас смотришь на меня с ненавистью и с отвращением, а по-моему, лучше бы ты построил еще двадцать таких домов, чем глядеть так. В этом твоём взгляде больше порока,

чем во всем переулке! Пойдем, Володя, чёрт с ним! Дурак, болван и больше ничего...

– Мы, люди, убиваем взаимно друг друга, – сказал медик. – Это, конечно, безнравственно, но философией тут не поможешь. Прощай!

На Трубной площади приятели простились и разошлись. Оставшись один, Васильев быстро зашагал по бульвару. Ему было страшно потемок, страшно снега, который хлопьями валил на землю и, казалось, хотел засыпать весь мир; страшно было фонарных огней, бледно мерцавших сквозь снеговые облака. Душою его овладел безотчетный, малодушный страх. Попадались изредка навстречу прохожие, но он пугливо сторонился от них. Ему казалось, что отовсюду идут и отовсюду глядят на него женщины, только женщины...

«Начинается у меня, – думал он. – Припадок начинается...»

## VI

Дома лежал он на кровати и говорил, содрогаясь всем телом:

– Живые! Живые! Боже мой, они живые!

Он всячески изощрял свою фантазию, воображал себя самого то братом падшей женщины, то отцом ее, то самую падшую женщиною с намазанными щеками, и всё это приводило его в ужас.

Ему почему-то казалось, что он должен решить вопрос немедленно, во что бы то ни стало, и что вопрос этот не чужой, а его собственный. Он напряг силы, поборол в себе отчаяние и, севши на кровать, обняв руками голову, стал решать: как спасти всех тех женщин, которых он сегодня видел? Порядок решения всяких вопросов ему, как человеку ученому, был хорошо известен. И он, как ни был возбужден, строго держался этого порядка. Он припомнил историю вопроса, его литературу, а в четвертом часу шагал из угла в угол и старался вспомнить все те опыты, какие в настоящее время практикуются для спасения женщин. У него было очень много хороших при-

ятелей и друзей, живших в номерах Фальцфейн, Галяшкина, Нечаева, Ечкина... Между ними немало людей честных и самоотверженных. Некоторые из них пытались спасти женщин...

«Все эти немногочисленные попытки, – думал Васильев, – можно разделить на три группы. Одни, выкупив из притона женщину, нанимали для нее номер, покупали ей швейную машинку, и она делалась швеей. И выкупивший, вольно или невольно, делал ее своей содержанкой, потом, кончив курс, уезжал и сдавал ее на руки другому порядочному человеку, как какую-нибудь вещь. И падшая оставалась падшею. Другие, выкупив, тоже нанимали для нее отдельный номер, покупали неизбежную швейную машинку, пускали в ход грамоту, проповеди, чтение книжек. Женщина жила и шила, пока это для нее было интересно и ново, потом же, соскучившись, начинала тайком от проповедников принимать мужчин или же убегала назад туда, где можно спать до трех часов, пить кофе и сытно обедать. Третьи, самые горячие и самоотверженные, делали смелый, решитель-

ный шаг. Они женились. И когда наглое, избалованное или тупое, забитое животное становилось женою, хозяйкой и потом матерью, то это переворачивало вверх дном ее жизнь и мировоззрение, так что потом в жене и в матери трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женитьба лучшее и, пожалуй, единственное средство».

– Но невозможное! – сказал вслух Васильев и повалился в постель. – Я первый не мог бы жениться! Для этого надо быть святым, не уметь ненавидеть и не знать отвращения. Но допустим, что я, медик и художник пересилили себя и женились, что все они выйдут замуж. Но какой же вывод? Вывод какой? А тот вывод, что пока здесь, в Москве, они будут выходить замуж, смоленский бухгалтер возвратит новую партию, и эта партия хлынет сюда на вакантные места с саратовскими, нижегородскими, варшавскими... А куда девать сто тысяч лондонских? Куда девать гамбургских?

Лампа, в которой выгорел керосин, стала чадить. Васильев не заметил этого. Он опять зашагал, продолжая думать. Теперь уж он по-

ставил вопрос иначе: что нужно сделать, чтобы падшие женщины перестали быть нужны? Для этого необходимо, чтобы мужчины, которые их покупают и убивают, почувствовали всю безнравственность своей рабовладельческой роли и ужаснулись. Надо спасать мужчин.

«Наукой и искусствами, очевидно, ничего не поделаешь... – думал Васильев. – Тут единственный выход – это апостольство».

И он стал мечтать о том, как завтра же вечером он будет стоять на углу переулка и говорить каждому прохожему:

– Куда и зачем вы идете? Побойтесь вы бога!

Он обратится к равнодушным извозчикам и им скажет:

– Зачем вы тут стоите? Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Ведь вы веруете в бога и знаете, что это грешно, что за это люди пойдут в ад, отчего же вы молчите? Правда, они вам чужие, но ведь и у них есть отцы, братья, точно такие же, как вы...

Кто-то из приятелей сказал однажды про Васильева, что он талантливый человек. Есть

таланты писательские, сценические, художественные, у него же особый талант – *человеческий*. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль. Увидев слезы, он плачет; около больного он сам становится больным и стонет; если видит насилие, то ему кажется, что насилие совершается над ним, он трусит, как мальчик, и, струсив, бежит на помощь. Чужая боль раздражает его, возбуждает, приводит в состояние экстаза и т. п.

Прав ли приятель – не знаю, но то, что переживал Васильев, когда ему казалось, что вопрос решен, было очень похоже на вдохновение. Он плакал, смеялся, говорил вслух те слова, какие он скажет завтра, чувствовал горячую любовь к тем людям, которые послушаются его и станут рядом с ним на углу переулка, чтобы проповедовать; он садился писать письма, давал себе клятвы...

Всё это было похоже на вдохновение уж и потому, что продолжалось недолго. Васильев скоро устал. Лондонские, гамбургские, вар-

шавские своею массою давили его, как горы давят землю; он робел перед этой массой, терялся; вспоминал он, что у него нет дара слова, что он труслив и малодушен, что равнодушные люди едва ли захотят слушать и понимать его, студента-юриста третьего курса, человека робкого и ничтожного, что истинное апостольство заключается не в одной только проповеди, но и в делах...

Когда было светло и на улице уже стучали экипажи, Васильев лежал неподвижно на диване и смотрел в одну точку. Он уже не думал ни о женщинах, ни о мужчинах, ни об апостольстве. Всё внимание его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль тупая, беспредметная, неопределенная, похожая и на тоску, и на страх в высочайшей степени, и на отчаяние. Указать, где она, он мог: в груди, под сердцем; но сравнить ее нельзя было ни с чем. Раньше у него бывала сильная зубная боль, бывали плеврит и невралгии, но всё это в сравнении с душевной болью было ничтожно. При этой боли жизнь представлялась отвратительной. Диссертация, отличное сочинение, уже написан-

ное им, любимые люди, спасение погибающих женщин – всё то, что вчера еще он любил или к чему был равнодушен, теперь при воспоминании раздражало его наравне с шумом экипажей, беготней коридорных, дневным светом... Если бы теперь кто-нибудь на его глазах совершил подвиг милосердия или возмутительное насилие, то на него то и другое произвело бы одинаково отвратительное впечатление. Из всех мыслей, лениво бродивших в его голове, только две не раздражали его: одна – что он каждую минуту имеет власть убить себя, другая – что боль не будет продолжаться дольше трех дней. Второе он знал по опыту.

Полежав, он встал и, ломая руки, прошелся не из угла в угол, как обыкновенно, а по квадрату, вдоль стен. Мельком он поглядел на себя в зеркало. Лицо его было бледно и осунулось, виски впали, глаза были больше, темнее, неподвижнее, точно чужие, и выражали невыносимое душевное страдание.

В полдень в дверь постучался художник.

– Григорий, ты дома? – спросил он.

Не получив ответа, он постоял минуту, по-

думал и ответил себе по-хохлацки:

– Нема. В нивырситет пийшов, треклятый хлопец.

И ушел. Васильев лег на кровать и, спрятав голову под подушку, стал плакать от боли, и чем обильней лились слезы, тем ужаснее становилась душевная боль. Когда потемнело, он вспомнил о той мучительной ночи, которая ожидает его, и страшное отчаяние овладело им. Он быстро оделся, выбежал из номера и, оставив свою дверь настежь, без всякой надобности и цели вышел на улицу. Не спрашивая себя, куда идти, он быстро пошел по Садовой улице.

Снег валил, как вчера; была оттепель. Засунув руки в рукава, дрожа и пугаясь стуков, звонков конки и прохожих, Васильев прошел по Садовой до Сухаревой башни, потом до Красных ворот, отсюда свернул на Басманную. Он зашел в кабак и выпил большой стакан водки, но от этого не стало легче. Дойдя до Разгуляя, он повернул вправо и зашагал по переулкам, в каких не был раньше ни разу в жизни. Он дошел до того старого моста, где шумит Яуза и откуда видны длинные ряды ог-

ней в окнах Красных казарм. Чтобы отвлечь свою душевную боль каким-нибудь новым ощущением или другою болью, не зная, что делать, плача и дрожа, Васильев расстегнул пальто и сюртук и подставил свою голую грудь сырому снегу и ветру. Но и это не уменьшило боли. Тогда он нагнулся через перила моста и поглядел вниз, на черную, бурливую Яuzu, и ему захотелось броситься вниз головой, не из отвращения к жизни, не ради самоубийства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую. Но черная вода, потемки, пустынные берега, покрытые снегом, были страшны. Он содрогнулся и пошел дальше. Прошелся он вдоль Красных казарм, потом назад и спустился в какую-то рощу, из рощи опять на мост...

«Нет, домой, домой! – думал он. – Дома, кажется, легче...»

И он пошел назад. Вернувшись домой, он сорвал с себя мокрое пальто и шапку, зашагал вдоль стен и неумоимо шагал до самого утра.

## VII

Когда на другой день утром пришли к нему художник и медик, он в разодранной рубахе и с искусанными руками метался по комнате и стонал от боли.

– Ради бога! – зарыдал он, увидев приятелей. – Ведите меня, куда хотите, делайте, что знаете, но, бога ради, скорее спасайте меня! Я убью себя!

Художник побледнел и растерялся. Медик тоже едва не заплакал, но, полагая, что медики во всех случаях жизни обязаны быть хладнокровны и серьезны, сказал холодно:

– Это у тебя припадок. Но это ничего. Пойдем сейчас к доктору.

– Куда хотите, только, ради бога, скорей!

– Ты не волнуйся. Нужно бороться с собой.

Художник и медик дрожащими руками одели Васильева и вывели его на улицу.

– Михаил Сергеич давно уже хочет с тобой познакомиться, – говорил дорогою медик. – Он очень милый человек и отлично знает свое дело. Кончил он в 82 году, а практика уже громадная. Со студентами держит себя

по-товарищески.

– Скорее, скорее... – торопил Васильев.

Михаил Сергеич, полный белокурый доктор, встретил приятелей учтиво, солидно, холодно и улыбнулся одной только щекой.

– Мне художник и Майер говорили уже о вашей болезни, – сказал он. – Очень рад слушать. Ну-с? Садитесь, покорнейше прошу...

Он усадил Васильева в большое кресло около стола и придвинул к нему ящик с папиросами.

– Ну-с? – начал он, поглаживая колени. – Приступим к делу... Сколько вам лет?

Он задавал вопросы, а медик отвечал. Он спросил, не был ли отец Васильева болен какими-нибудь особенными болезнями, не пил ли запоем, не отличался ли жестокостью или какими-либо странностями. То же самое спросил о его деде, матери, сестрах и братьях. Узнав, что его мать имела отличный голос и играла иногда в театре, он вдруг оживился и спросил:

– Виноват-с, а не припомните ли, не был ли театр у вашей матушки страстью?

Прошло минут двадцать. Васильеву наску-

чило, что доктор поглаживает колени и говорит все об одном и том же.

– Насколько я понимаю ваши вопросы, доктор, – сказал он, – вы хотите знать, наследственна моя болезнь или нет. Она не наследственна.

Далее доктор спросил, не было ли у Васильева в молодости каких-либо тайных пороков, ушибов головы, увлечений, странностей, исключительных пристрастий. На половину вопросов, какие обыкновенно задаются старательными докторами, можно не отвечать без всякого ущерба для здоровья, но у Михаила Сергеича, у медика и художника были такие лица, как будто если бы Васильев не ответил хотя бы на один вопрос, то всё бы погибло. Получая ответы, доктор для чего-то записывал их на бумажке. Узнав, что Васильев кончил уже на естественном факультете и теперь на юридическом, доктор задумался...

– В прошлом году он написал отличное сочинение... – сказал медик.

– Виноват, не перебивайте меня, вы мешаете мне сосредоточиться, – сказал доктор и улыбнулся одной щекой. – Да, конечно, и это

играет роль в анамнезе. Форсированная умственная работа, переутомление... Да, да... А водку вы пьете? – обратился он к Васильеву.

– Очень редко.

Прошло еще двадцать минут. Медик стал вполголоса высказывать свое мнение о ближайших причинах припадка и рассказал, как третьего дня он, художник и Васильев ходили в С – в переулок.

Равнодушный, сдержанный, холодный тон, каким его приятели и доктор говорили о женщинах и о несчастном переулке, показался ему в высшей степени странным...

– Доктор, скажите мне только одно, – сдерживая себя, чтобы не быть грубым, сказал он, – проституция зло или нет?

– Голубчик, кто ж спорит? – сказал доктор с таким выражением, как будто давно уже решил для себя все эти вопросы. – Кто спорит?

– Вы психиатр? – спросил грубо Васильев.

– Да-с, психиатр.

– Может быть, все вы и правы! – сказал Васильев, поднимаясь и начиная ходить из угла в угол. – Может быть! Но мне всё это кажется удивительным! Что я был на двух факульте-

тах – в этом видят подвиг; за то, что я написал сочинение, которое через три года будет брошено и забудется, меня превозносят до небес, а за то, что о падших женщинах я не могу говорить так же хладнокровно, как об этих стульях, меня лечат, называют сумасшедшим, сожалеют!

Васильеву почему-то вдруг стало невыносимо жаль и себя, и товарищей, и всех тех, которых он видел третьего дня, и этого доктора, он заплакал и упал в кресло.

Приятельно-вопросительно глядели на доктора. Тот с таким выражением, как будто отлично понимал и слезы, и отчаяние, как будто чувствовал себя специалистом по этой части, подошел к Васильеву и молча дал ему выпить каких-то капель, а потом, когда он успокоился, раздел его и стал исследовать чувствительность его кожи, коленные рефлексы и проч.

И Васильеву полегчало. Когда он выходил от доктора, ему уже было совестно, шум экипажей не казался раздражительным и тяжесть под сердцем становилась всё легче и легче, точно таяла. В руках у него было два ре-

цепта: на одном был бромистый калий, на другом морфий... Всё это принимал он и раньше!

На улице он постоял немного, подумал и, простившись с приятелями, лениво поплелся к университету.

# Сапожник и Нечистая сила

Был канун Рождества. Марья давно уже хранила пела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов всё сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из Колокольного переулка, заказавший ему головки две недели назад, был вчера, бранился и приказал кончить сапоги непременно теперь, до утра.

– Жизнь каторжная! – ворчал Федор, работая. – Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как Каин какой, сиди и шей чёрт знает на кого...

Чтоб не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил из горлышка и после каждого глотка крутил головой и говорил громко:

– С какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них? Оттого, что у них деньги есть, а я нищий?

Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переулке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках

и с сильным голосом. Фамилия у него была немецкая, такая, что не выговоришь. Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Федор пришел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толк что-то в ступке. Не успел Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким, красным пламенем, завоняло серой и жжеными перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом, так что Федор раз пять чихнул; и возвращаясь после этого домой, он думал: «Кто бога боится, тот не станет заниматься такими делами».

Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках... Как бы хорошо, если бы у этих, чёрт их подери, богачей потрескались дома, подошли лошади, полиняли их шубы и собольи шапки! Как бы хорошо, если бы богачи мало-помалу превратились в нищих, которым есть нечего, а бед-

ный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедняком-сапожником накануне Рождества.

Мечтая так, Федор вдруг вспомнил о своей работе и открыл глаза.

«Вот так история! – подумал он, оглядывая сапоги. – Головки у меня давно уж готовы, а я всё сижу. Надо нести к заказчику!»

Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий, жесткий снег, коловший лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из карет и саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом:

– Нищий! Нищий!

Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его:

– Пьяница! Пьяница! Сапожник-безбожник, душа голенища! Нищий!

Всё это было обидно, но Федор молчал и

только отплеывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедин из Варшавы и сказал: «Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего», – Федор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в Колокольном переулке. Его заказчик жил в четвертом доме от угла, в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, две недели назад, сидел на полу и толк что-то в ступке.

– Ваше высокоблагородие, сапожки принес! – сказал угрюмо Федор.

Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Федор опустился на одно колено и стащил с него старый сапог, но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.

«Эге! – подумал Федор. – Вот она какая история!»

Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить всё и бежать вниз; но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встрети­лась ему в первый и, вероятно, в последний раз в жизни и не воспользоваться ее услугами было бы глупо. Он пересилил себя и решил попытать счастья. Заложив назад руки, чтоб не креститься, он почтительно каш­лянул и начал:

– Говорят, что нет поганей и хуже на свете, как нечистая сила, а я так понимаю, ваше вы­сокоблагородие, что нечистая сила самая об­разованная. У чёрта, извините, копыта и хвост сзади, да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента.

– Люблю за такие слова, – сказал польщен­ный заказчик. – Спасибо, сапожник! Что же ты хочешь?

И сапожник, не теряя времени, стал жало­ваться на свою судьбу. Он начал с того, что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди одинако­во живут в больших домах и ездят на хоро­ших лошадях. Почему, спрашивается, он беден? Чем он хуже Кузьмы Лебедкина из Вар-

шавы, у которого собственный дом и жена ходит в шляпке? У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей, так почему же он обязан работать, когда другие гуляют? Почему он женат на Марье, а не на даме, от которой пахнет духами? В домах богатых заказчиков ему часто приходится видеть красивых барышень, но они не обращают на него никакого внимания и только иногда смеются и шепчут друг другу: «Какой у этого сапожника красный нос!» Правда, Марья хорошая, добрая, работающая баба, но ведь она необразованная, рука у нее тяжелая и бьется больно, а когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она вмешивается и несет ужасную чепуху.

– Что же ты хочешь? – перебил его заказчик.

– А я прошу, ваше высокоблагородие, Чёрт Иваныч, коли ваша милость, сделайте меня богатым человеком!

– Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу! Пока петухи еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу.

– Ваше высокоблагородие! – сказал Федор вежливо. – Когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать.

– Ну, ладно! – согласился заказчик.

В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым и завоняло жжеными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Федор протер глаза и увидел, что он уже не Федор и не сапожник, а какой-то другой человек, в жилетке и с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушанья, низко кланялись и говорили:

– Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!

Какое богатство! Подали лакеи большой кусок жареной баранины и миску с огурцами, потом принесли на сковороде жареного гуся, немного поговяды – вареной свинины с хреном. И как всё это благородно, политично! Федор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки, точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему каши с гусиным салом, потом яични-

цу со свиным салом и жареную печёнку, и он всё ел и восхищался. Но что еще? Еще подали пирог с луком и пареную репу с квасом. «И как это господа не полопаются от такой еды!» – думал он. В заключение подали большой горшок с медом. После обеда явился чёрт в синих очках и спросил, низко кланяясь:

– Довольны ли вы обедом, Федор Пантелеич?

Но Федор не мог выговорить ни одного слова, так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и, чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге.

– За такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной. Какой это сапожник шил? – спросил он.

– Кузьма Лебедкин, – ответил лакей.

– Позвать его, дурака!

Скоро явился Кузьма Лебедкин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил:

– Что прикажете, ваше высокоблагородие?

– Молчать! – крикнул Федор и топнул ногой. – Не смей рассуждать и помни свое са-

пожницкое звание, какой ты человек есть! Болван! Ты не умеешь сапогов шить! Я тебе всю харю побью! Ты зачем пришел?

– За деньгами-с.

– Какие тебе деньги? Вон! В субботу приходи! Человек, дай ему в шею!

Но тотчас же он вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душе, и чтобы развлечь себя, он вынул из кармана толстый бумажник и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось еще больше. Бес в синих очках принес ему другой бумажник, потолще, но ему захотелось еще больше, и чем дольше он считал, тем недовольнее становился.

Вечером нечистый привел к нему высокую, грудастую барыню в красном платье и сказал, что это его новая жена. До самой ночи он всё целовался с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой, пуховой перине, ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко.

– Денег много, – говорил он жене, – того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свечкой поглядела!

Всю ночь не спал он и то и дело вставал, чтобы взглянуть, цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утрени. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным. Когда Федор был беден, то молился в церкви так: «Господи, прости меня грешного!» То же самое говорил он и теперь, ставши богатым. Какая же разница? А после смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники. Обидно всё это казалось Федору, а тут еще во всем теле тяжесть от обеда и вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, загубленной душе.

Вышел он из церкви сердитый. Чтоб прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во всё горло песню. Но только что он начал, как к нему подбежал городской и сказал, делая под козырек:

– Барин, нельзя господам петь на улице! Вы не сапожник!

Федор прислонился спиной к забору и стал думать: чем бы развлечься?

– Барин! – крикнул ему дворник. – Не очень-то на забор напирай, шубу запачкаешь!

Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию, потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись.

– А еще тоже барин! – дразнили его извозчики. – Словно сапожник какой...

– Нешто господам можно безобразить? – сказал ему городской. – Вы бы еще в кабак пошли!

– Барин, подайте милостыньки Христа ради! – вопили нищие, обступая Федора со всех сторон. – Подайте!

Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания, теперь же они не давали ему проходу.

А дома встретила его новая жена, барыня, одетая в зеленую кофту и красную юбку. Он хотел приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей разá в спину, но она сказала сердито:

– Мужик! Невежа! Не умеешь обращаться с барынями! Коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю.

«Ну, жизнь анафемская! – подумал Федор. – Живут люди! Ни тебе песню запеть, ни тебе на гармонии, ни тебе с бабой поиграть... Тьфу!»

Только что он сел с барыней пить чай, как явился нечистый в синих очках и сказал:

– Ну, Федор Пантелеич, я свое соблюл в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйста за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить, будет с вас!

И потащил Федора в ад, прямо в пекло, и черти слетались со всех сторон и кричали:

– Дурак! Болван! Осел!

В аду страшно воняло керосином, так что можно было задохнуться.

И вдруг всё исчезло. Федор открыл глаза и увидел свой стол, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы. Около стоял заказчик в синих очках и кричал сердито:

– Дурак! Болван! Осел! Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ две недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами

по пяти раз на день? Мерзавец! Скотина!

Федор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик еще долго бранился и грозил. Когда он, наконец, успокоился, Федор спросил угрюмо:

– А чем вы, барин, занимаетесь?

– Я готовлю бенгальские огни и ракеты. Я пиротехник.

Зазвонили к утрени. Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь.

По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры... Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие – петь во всё горло песни и играть на гармонике, а в общем всех ждет одно и то же, одна могила, и в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.

# Пари

## I

Была темная, осенняя ночь. Старый банкир ходил у себя в кабинете из угла в угол и вспоминал, как пятнадцать лет тому назад, осенью, он давал вечер. На этом вечере было много умных людей и велись интересные разговоры. Между прочим говорили о смертной казни. Гости, среди которых было немало ученых и журналистов, в большинстве относились к смертной казни отрицательно. Они находили этот способ наказания устаревшим, непригодным для христианских государств и безнравственным. По мнению некоторых из них, смертную казнь повсеместно следовало бы заменить пожизненным заключением.

– Я с вами не согласен, – сказал хозяин-банкир. – Я не пробовал ни смертной казни, ни пожизненного заключения, но если можно судить а priori, то, по-моему, смертная казнь нравственнее и гуманнее заключения. Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение

медленно. Какой же палач человечнее? Тот ли, который убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжение многих лет?

– То и другое одинаково безнравственно, – заметил кто-то из гостей, – потому что имеет одну и ту же цель – отнятие жизни. Государство – не бог. Оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет.

Среди гостей находился один юрист, молодой человек лет двадцати пяти. Когда спросили его мнения, он сказал:

– И смертная казнь и пожизненное заключение одинаково безнравственны, но если бы мне предложили выбирать между казнью и пожизненным заключением, то, конечно, я выбрал бы второе. Жить как-нибудь лучше, чем никак.

Поднялся оживленный спор. Банкир, бывший тогда помоложе и нервнее, вдруг вышел из себя, ударил кулаком по столу и крикнул, обращаясь к молодому юристу:

– Неправда! Держу пари на два миллиона, что вы не высидите в каземате и пяти лет.

– Если это серьезно, – ответил ему юрист, –

то держу пари, что высижу не пять, а пятнадцать.

– Пятнадцать? Идет! – крикнул банкир. – Господа, я ставлю два миллиона!

– Согласен! Вы ставите миллионы, а я свою свободу! – сказал юрист.

И это дикое, бессмысленное пари состоялось! Банкир, не знавший тогда счета своим миллионам, избалованный и легкомысленный, был в восторге от пари. За ужином он шутил над юристом и говорил:

– Образумьтесь, молодой человек, пока еще не поздно. Для меня два миллиона составляют пустяки, а вы рискуете потерять три-четыре лучших года вашей жизни. Говорю – три-четыре, потому что вы не высидите дольше. Не забывайте также, несчастный, что добровольное заточение гораздо тяжелее обязательного. Мысль, что каждую минуту вы имеете право выйти на свободу, отравит вам в каземате всё ваше существование. Мне жаль вас!

И теперь банкир, шагая из угла в угол, вспоминал всё это и спрашивал себя:

– К чему это пари? Какая польза от того,

что юрист потерял пятнадцать лет жизни, а я брошу два миллиона? Может ли это доказать людям, что смертная казнь хуже или лучше пожизненного заключения? Нет и нет. Вздор и бессмыслица. С моей стороны то была прихоть сытого человека, а со стороны юриста – простая алчность к деньгам...

Далее вспоминал он о том, что произошло после описанного вечера. Решено было, что юрист будет отбывать свое заключение под строжайшим надзором в одном из флигелей, построенных в саду банкира. Условились, что в продолжение пятнадцати лет он будет лишен права переступить порог флигеля, видеть живых людей, слышать человеческие голоса и получать письма и газеты. Ему разрешалось иметь музыкальный инструмент, читать книги, писать письма, пить вино и курить табак. С внешним миром, по условию, он мог сношаться не иначе, как молча, через маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Всё, что нужно, книги, ноты, вино и прочее, он мог получать по записке в каком угодно количестве, но только через окно. Договор предусматривал все подробности и мелочи, делав-

шие заключение строго одиночным, и обязывал юриста высидеть *ровно* пятнадцать лет, с 12-ти часов 14 ноября 1870 г. и кончая 12-ю часами 14 ноября 1885 г. Малейшая попытка со стороны юриста нарушить условия, хотя бы за две минуты до срока, освобождала банкира от обязанности платить ему два миллиона.

В первый год заключения юрист, насколько можно было судить по его коротким запискам, сильно страдал от одиночества и скуки. Из его флигеля постоянно днем и ночью слышались звуки рояля. Он отказался от вина и табаку. Вино, писал он, возбуждает желания, а желания – первые враги узника; к тому же нет ничего скучнее, как пить хорошее вино и никого не видеть. А табак портит в его комнате воздух. В первый год юристу посылались книги преимущественно легкого содержания: романы с сложной любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы, комедии и т. п.

Во второй год музыка уже смолкла во флигеле и юрист требовал в своих записках только классиков. В пятый год снова слышалась музыка и узник попросил вина. Те, которые

наблюдали за ним в окошко, говорили, что весь этот год он только ел, пил и лежал на постели, часто зевал, сердито разговаривал сам с собою. Книг он не читал. Иногда по ночам он садился писать, писал долго и под утро разрывал на клочки всё написанное. Слышали не раз, как он плакал.

Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением языков, философией и историей. Он жадно принялся за эти науки, так что банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжение четырех лет по его требованию было выписано около шестисот томов. В период этого увлечения банкир между прочим получил от своего узника такое письмо: «Дорогой мой тюремщик! Пишу вам эти строки на шести языках. Покажите их сведущим людям. Пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то умоляю вас, прикажите выстрелить в саду из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на различных языках, но горит во всех их одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытывает

теперь моя душа оттого, что я умею понимать их!» Желание узника было исполнено. Банкир приказал выстрелить в саду два раза.

Затем после десятого года юрист неподвижно сидел за столом и читал одно только Евангелие. Банкиру казалось странным, что человек, одолевший в четыре года шестьсот мудреных томов, потратил около года на чтение одной удобопонятной и не толстой книги. На смену Евангелию пошли история религий и богословие.

В последние два года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Бывали от него такие записки, где он просил прислать ему в одно и то же время и химию, и медицинский учебник, и роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат. Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля и, желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой!

Старик-банкир вспоминал всё это и думал: «Завтра в 12 часов он получает свободу. По условию, я должен буду уплатить ему два миллиона. Если я уплачу, то всё погибло: я окончательно разорен...»

Пятнадцать лет тому назад он не знал счета своим миллионам, теперь же он боялся спросить себя, чего у него больше – денег или долгов? Азартная биржевая игра, рискованные спекуляции и горячность, от которой он не мог отрешиться даже в старости, мало-помалу, привели в упадок его дела, и бесстрашный, самонадеянный, гордый богач превратился в банкира средней руки, трепещущего при всяком повышении и понижении бумаг.

– Проклятое пари! – бормотал старик, в отчаянии хватая себя за голову. – Зачем этот человек не умер? Ему еще сорок лет. Он возьмет с меня последнее, женится, будет наслаждаться жизнью, играть на бирже, а я, как нищий, буду глядеть с завистью и каждый день слышать от него одну и ту же фразу: «Я обязан вам счастьем моей жизни, позвольте мне по-

мочь вам!» Нет, это слишком! Единственное спасение от банкротства и позора – смерть этого человека!

Пробило три часа. Банкир прислушался: в доме все спали и только слышно было, как за окнами шумели озябшие деревья. Стараясь не издавать ни звука, он достал из несгораемого шкапа ключ от двери, которая не отворялась в продолжение пятнадцати лет, надел пальто и вышел из дому.

В саду было темно и холодно. Шел дождь. Резкий сырой ветер с воем носился по всему саду и не давал покоя деревьям. Банкир напрягал зрение, но не видел ни земли, ни белых статуй, ни флигеля, ни деревьев. Подойдя к тому месту, где находился флигель, он два раза окликнул сторожа. Ответа не последовало. Очевидно, сторож укрылся от непогоды и теперь спал где-нибудь на кухне или в оранжерее.

«Если у меня хватит духа исполнить свое намерение, – подумал старик, – то подозрение прежде всего падет на сторожа».

Он нащупал в потемках ступени и дверь и вошел в переднюю флигеля, затем ощупью

пробрался в небольшой коридор и зажег спичку. Тут не было ни души. Стояла чья-то кровать без постели да темнела в углу чугунная печка. Печати на двери, ведущей в комнату узника, были целы.

Когда потухла спичка, старик, дрожа от волнения, заглянул в маленькое окно.

В комнате узника тускло горела свеча. Сам он сидел у стола. Видны были только его спина, волосы на голове да руки. На столе, на двух креслах и на ковре, возле стола, лежали раскрытые книги.

Прошло пять минут, и узник ни разу не шевельнулся. Пятнадцатилетнее заточение научило его сидеть неподвижно. Банкир постучал пальцем в окно, и узник не ответил на этот стук ни одним движением. Тогда банкир осторожно сорвал с двери печати и вложил ключ в замочную скважину. Заржавленный замок издал хриплый звук, и дверь скрипнула. Банкир ожидал, что тотчас же послышится крик удивления и шаги, но прошло минуты три, и за дверью было тихо по-прежнему. Он решился войти в комнату.

За столом неподвижно сидел человек, не

похожий на обыкновенных людей. Это был скелет, обтянутый кожей, с длинными женскими кудрями и с косматой бородой. Цвет лица у него был желтый, с землистым оттенком, щеки впалые, спина длинная и узкая, а рука, которою он поддерживал свою волосатую голову, была так тонка и худа, что на нее было жутко смотреть. В волосах его уже серебрилась седина, и, глядя на старчески изможденное лицо, никто не поверил бы, что ему только сорок лет. Он спал... Перед его склоненною головой на столе лежал лист бумаги, на котором было что-то написано мелким почерком.

«Жалкий человек! – подумал банкир. – Спит и, вероятно, видит во сне миллионы! А стоит мне только взять этого полумертвеца, бросить его на постель, слегка придушить подушкой, и самая добросовестная экспертиза не найдет знаков насильственной смерти. Однако прочтем сначала, что он тут написал».

Банкир взял со стола лист и прочел следующее:

«Завтра в 12 часов дня я получаю свободу и право общения с людьми. Но прежде, чем

оставить эту комнату и увидеть солнце, я считаю нужным сказать вам несколько слов. По чистой совести и перед богом, который видит меня, заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и всё то, что в ваших книгах называется благами мира.

Пятнадцать лет я внимательно изучал земную жизнь. Правда, я не видел земли и людей, но в ваших книгах я пил ароматное вино, пел песни, гонялся в лесах за оленями и дикими кабанами, любил женщин... Красавицы, воздушные, как облако, созданные волшебством ваших гениальных поэтов, посещали меня ночью и шептали мне чудные сказки, от которых пьянела моя голова. В ваших книгах я взбирался на вершины Эльборуса и Монблана и видел оттуда, как по утрам восходило солнце и как по вечерам заливало оно небо, океан и горные вершины багряным золотом; я видел оттуда, как надо мной, рассекая тучи, сверкали молнии; я видел зеленые леса, поля, реки, озера, города, слышал пение сирен и игру пастушеских свирелей, осязал крылья прекрасных дьяволов, прилетавших ко мне беседовать о боге... В ваших книгах я бросался в

бездонные пропасти, творил чудеса, убивал, сжигал города, проповедовал новые религии, завоевывал целые царства....

Ваши книги дали мне мудрость. Всё то, что веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдавлено в моем черепе в небольшой ком. Я знаю, что я умнее всех вас.

И я презираю ваши книги, презираю все блага мира и мудрость. Всё ничтожно, брэнно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотрет вас с лица земли наравне с подпольными мышами, а потомство ваше, история, бессмертие ваших гениев замерзнут или сгорят вместе с земным шаром.

Вы обезумели и идете не по той дороге. Ложь принимаете вы за правду и безобразие за красоту. Вы удивились бы, если бы вследствие каких-нибудь обстоятельств на яблонях и апельсиновых деревьях вместо плодов вдруг выросли лягушки и ящерицы или розы стали издавать запах вспотевшей лошади; так я удивляюсь вам, променявшим небо на землю. Я не хочу понимать вас.

Чтоб показать вам на деле презрение к то-

му, чем живете вы, я отказываюсь от двух миллионов, о которых я когда-то мечтал, как о рае, и которые теперь презираю. Чтобы лишить себя права на них, я выйду отсюда за пять часов до условленного срока и таким образом нарушу договор...»

Прочитав это, банкир положил лист на стол, поцеловал странного человека в голову, заплакал и вышел из флигеля. Никогда в другое время, даже после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лег в постель, но волнение и слезы долго не давали ему уснуть...

На другой день утром прибежали бледные сторожа и сообщили ему, что они видели, как человек, живущий во флигеле, пролез через окно в сад, пошел к воротам, затем куда-то скрылся. Вместе со слугами банкир тотчас же отправился во флигель и удостоверил бегство своего узника. Чтобы не возбуждать лишних толков, он взял со стола лист с отречением и, вернувшись к себе, запер его в несгораемый шкаф.

# Княгиня

**В** большие, так называемые Красные ворота N-ского мужского монастыря въехала коляска, заложённая в четверку сытых, красивых лошадей; иеромонахи и послушники, стоявшие толпой около дворянской половины гостиного корпуса, ещё издали по кучеру и по лошадям узнали в даме, которая сидела в коляске, свою хорошую знакомую, княгиню Веру Гавриловну.

Старик в ливрее прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную вуаль и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение, потом ласково кивнула послушникам и направилась в покой.

– Что, соскучились без своей княгини? – говорила она монахам, вносящим ее вещи. – Я у вас целый месяц не была. Ну вот приехала, глядите на свою княгиню. А где отец архимандрит? Боже мой, я стораю от нетерпения! Чудный, чудный старик! Вы должны гордиться, что у вас такой архимандрит.

Когда вошел архимандрит, княгиня вос-

торженно вскрикнула, скрестила на груди руки и подошла к нему под благословение.

– Нет, нет! Дайте мне поцеловать! – сказала она, хватая его за руку и жадно целуя ее три раза. – Как я рада, святой отец, что наконец вижу вас! Вы, небось, забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила в вашем милом монастыре. Как у вас здесь хорошо! В этой жизни для бога, вдали от суетного мира, есть какая-то особая прелесть, святой отец, которую я чувствую всей душой, но передать на словах не могу!

У княгини покраснели щеки и навернулись слезы. Говорила она без умолку, горячо, а архимандрит, старик лет 70, серьезный, некрасивый и застенчивый, молчал, лишь изредка говорил отрывисто и по-военному:

– Так точно, ваше сиятельство... слушаю-с... понимаю-с...

– Надолго изволили пожаловать к нам? – спросил он.

– Сегодня я переночую у вас, а завтра поеду к Клавдии Николаевне – давно уж мы с ней не видались, а послезавтра опять к вам и проживу дня три-четыре. Хочу у вас здесь отдох-

нуть душой, святой отец...

Княгиня любила бывать в N-ском монастыре. В последние два года она облюбовала это место и приезжала сюда почти каждый летний месяц и жила дня по два, по три, а иногда и по неделе. Робкие послушники, тишина, низкие потолки, запах кипариса, скромная закуска, дешевые занавески на окнах – всё это трогало ее, умиляло и располагало к созерцанию и хорошим мыслям. Достаточно ей было побыть в покоях полчаса, как ей начинало казаться, что она тоже робка и скромна, что и от нее пахнет кипарисом; прошлое уходило куда-то в даль, теряло свою цену, и княгиня начинала думать, что, несмотря на свои 29 лет, она очень похожа на старого архимандрита и так же, как он, рождена не для богатства, не для земного величия и любви, а для жизни тихой, скрытой от мира, сумеречной, как покои...

Бывает так, что в темную келию постника, погруженного в молитву, вдруг нечаянно заглянет луч или сядет у окна келий птичка и запоеет свою песню; суровый постник невольно улыбнется, и в его груди из-под тяжелой

скорби о грехах, как из-под камня, вдруг польется ручьем тихая, безгрешная радость. Княгине казалось, что она приносила с собою извне точно такое же утешение, как луч или птичка. Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, голос, шутки, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое черное платье, своим появлением должна была возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и радости. Каждый, глядя на нее, должен был думать: «Бог послал нам ангела»... И чувствуя, что каждый невольно думает это, она улыбалась еще приветливее и старалась походить на птичку.

Напившись чаю и отдохнув, она вышла погулять. Солнце уже село. От монастырского цветника повеяло на княгиню душистой влагой только что политой резеды, из церкви доносилось тихое пение мужских голосов, которое издали казалось очень приятным и грустным. Шла всеобщая тишина. В темных окнах, где кротко мерцали лампадные огоньки, в тенях, в фигуре старика монаха, сидевшего на паперти около образа с кружкой, было написано столько безмятежного покоя, что княгине

почему-то захотелось плакать...

А за воротами, на аллее между стеной и скамьями, где стоят скамьи, был уже совсем вечер. Воздух темнел быстро-быстро... Княгиня прошла по аллее, села на скамью и задумалась.

Она думала о том, что хорошо бы поселиться на всю жизнь в этом монастыре, где жизнь тиха и безмятежна, как летний вечер; хорошо бы позабыть совсем о неблагоприятном, распутном князе, о своем громадном состоянии, о кредиторах, которые беспокоят ее каждый день, о своих несчастьях, о горничной Даше, у которой сегодня утром было дерзкое выражение лица. Хорошо бы всю жизнь сидеть здесь на скамье и сквозь стволы берез смотреть, как внизу под горой ключьями бродит вечерний туман, как далеко-далеко над лесом черным облаком, похожим на вуаль, летят на ночлег грачи, как два послушника – один верхом на пегой лошади, другой пешком – гонят лошадей на ночное и, обрадовавшись свободе, шалют, как малые дети; их молодые голоса звонко раздаются в неподвижном воздухе, и можно разобрать каждое сло-

во. Хорошо сидеть и прислушиваться к тишине: то ветер подует и тронет верхушки берез, то лягушка зашелестит в прошлогодней листве, то за стеною колокольные часы пробьют четверть... Сидеть бы неподвижно, слушать и думать, думать, думать...

Мимо прошла старуха с котомкой. Княгиня подумала, что хорошо бы остановить эту старуху и сказать ей что-нибудь ласковое, задушевное, помочь ей... Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за угол.

Немного погодя, на аллее показался высокий мужчина с седой бородой и в соломенной шляпе. Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился, и по его большой лысине и острому, горбатому носу княгиня узнала в нем доктора Михаила Ивановича, который лет пять тому назад служил у нее в Дубовках. Она вспомнила, что кто-то ей говорил, что в прошлом году у этого доктора умерла жена, и ей захотелось посочувствовать ему, утешить.

– Доктор, вы, вероятно, меня не узнаете? – спросила она, приветливо улыбаясь.

– Нет, княгиня, узнал, – сказал доктор, снимая еще раз шляпу.

– Ну, спасибо, а то я думала, что и вы забыли свою княгиню. Люди помнят только своих врагов, а друзей забывают. И вы приехали помолиться?

– Я здесь каждую субботу ночью, по обязанности. Я тут лечу.

– Ну, как поживаете? – спросила княгиня, вздыхая. – Я слышала, у вас скончалась супруга! Какое несчастье!

– Да, княгиня, для меня это большое несчастье.

– Что делать! Мы должны с покорностью переносить несчастья. Без воли провидения ни один волос не падает с головы человека.

– Да, княгиня.

На приветливую, кроткую улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно и сухо: «Да, княгиня». И выражение лица у него было холодное, сухое.

«Что бы еще такое сказать ему?» – подумала княгиня.

– Сколько времени мы с вами не виделись, однако! – сказала она. – Пять лет! За это время сколько воды в море утекло, сколько произошло перемен, даже подумать страшно! Вы

знаете, я замуж вышла... из графини стала княгиней. И уже успела разойтись с мужем.

– Да, я слышал.

– Много бог послал мне испытаний! Вы, вероятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастного мужа продали у меня Дубовки, и Кирьяково, и Софьино. Остались у меня только Бараново да Михальцево. Страшно оглянуться назад: сколько перемен, несчастий разных, сколько ошибок!

– Да, княгиня, много ошибок.

Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки; все они были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о них. Она не удержалась и спросила:

– Вы про какие ошибки думаете?

– Вы упомянули о них, стало быть, знаете... – ответил доктор и усмехнулся. – Что ж о них говорить!

– Нет, скажите, доктор. Я буду вам очень благодарна! И, пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Я люблю слушать правду.

– Я вам не судья, княгиня.

– Не судья? Каким вы тоном говорите, зна-

чит, знаете что-то. Скажите!

– Если желаете, то извольте. Только, к сожалению, я не умею говорить и меня не всегда можно понять.

Доктор подумал и начал:

– Ошибок много, но собственно главная из них, по моему мнению, это общий дух, которым... который царил во всех ваших имениях. Видите, я не умею выражаться. То есть главное – это нелюбовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам... одним словом, ко всему, что составляет человека. У всех дверей и на лестницах стоят сытые, грубые и ленивые гайдуки в ливреях, чтоб не пускать в дом неприлично одетых людей; в передней стоят стулья с высокими спинками, чтоб во время балов и приемов лакеи не пачкали затылками обоев на стенах; во всех комнатах шаршавые ковры, чтоб не было слышно человеческих шагов; каждого входящего обязательно предупреждают, чтобы он говорил потише и поменьше и чтоб не говорил

того, что может дурно повлиять на воображение и нервы. А в вашем кабинете не подадут человеку руки и не просят его садиться, точно так, как сейчас вы не подали мне руки и не пригласили сесть...

– Извольте, если хотите! – сказала княгиня, протягивая руку и улыбаясь. – Право, сердиться из-за такого пустяка...

– Да разве я сержусь? – засмеялся доктор, но тотчас же вспыхнул, снял шляпу и, размахивая ею, заговорил горячо: – Откровенно говоря, я давно уже ждал случая, чтоб сказать вам всё, всё... То есть я хочу сказать, что вы смотрите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего!

– У меня отвращение к людям! – улыбнулась княгиня, пожимая в изумлении плечами. – У меня!

– Да, у вас! Вам нужно фактов? Извольте! В Михальцеве у вас живут милостыней три бывших ваших повара, которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Всё, что есть на десятках тысяч ваших десятин здорового,

сильного и красивого, всё взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера. Всё это двуногое живье воспиталось в лакействе, объелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом... Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников, боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку! Иной молодой человек не прослужит и трех лет, как становится лицемером, подлипалой, ябедником... Хорошо это? Ваши управляющие-поляки, эти подлые шпионы, все эти Казимиры да Каэтаны рыщут от утра до ночи по десяткам тысяч десятин и в угоду вам стараются содрать с одного вола три шкуры. Позвольте, я выражаюсь без системы, но это ничего! Простой народ у вас не считают людьми. Да и тех князей, графов и архиереев, которые приезжали к вам, вы признавали только как декорацию, а не как живых людей. Но главное... главное, что меня больше всего возмущает, – иметь больше миллиона состояния и ничего не сделать для

людей, ничего!

Княгиня сидела удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и как держать себя. Никогда раньше с нею не говорили таким тоном. Неприятный, сердитый голос доктора и его неуклюжая, заикающаяся речь производили в ее ушах и голове резкий, стучащий шум, потом же ей стало казаться, что жестикулирующий доктор бьет ее своею шляпой по голове.

– Неправда! – выговорила она тихо и умоляющим голосом. – Для людей я много хорошего сделала, это вы сами знаете!

– Да полноте! – крикнул доктор. – Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную деятельность чем-то серьезным и полезным, а не кукольной комедией? Ведь то была комедия от начала до конца, то была игра в любовь к ближнему, самая откровенная игра, которую понимали даже дети и глупые бабы! Взять хоть этот ваш – как его? – странноприимный дом для безродных старух, в котором меня вы заставили быть чем-то вроде главного доктора, а сами были почетной опекушкой. О, господи боже наш, что за учрежде-

ние милое! Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше, собрали в деревнях с десятков старух и заставили их спать под байковыми одеялами, на простынях из голландского полотна и кушать леденцы.

Доктор злорадно прыснул в шляпу и продолжал быстро и заикаясь:

– Была игра! Низшие приютские чины прячут одеяла и простыни под замок, чтобы старухи не пачкали – пусть спят, чёртовы перечницы, на полу! Старуха не смеет ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету пройти. Всё сохранялось для парада и пряталось от старух, как от воров, а старухи потихоньку кормились и одевались Христа ради и денно и нощно молили бога, чтоб поскорее уйти из-под ареста и от душеспасительных назиданий сытых подлецов, которым вы поручили надзор за старухами. А высшие чины что делали? Это просто восхитительно! Этак, раза два в неделю, вечером, скачут тридцать пять тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгиня, то есть вы, будете в приюте. Это значит, что завтра нужно бросать больных, одеваться и ехать на парад. Хо-

рошо, приезжаю. Старухи во всем чистом и новом уже выстроены в ряд и ждут. Около них ходит отставная гарнизонная крыса – смотритель со своей сладенькой, ябеднической улыбочкой. Стурухи зевают и переглядываются, но роптать боятся. Ждем. Скачет младший управляющий. Через полчаса после него старший управляющий, потом главноуправляющий конторой экономии, потом еще кто-нибудь и еще кто-нибудь... скачут без конца! У всех таинственные, торжественные лица. Ждем, ждем, переминаемся с ноги на ногу, посматриваем на часы – всё это в гробовом молчании, потому что все мы ненавидим друг друга и на ножах. Проходит час, другой, и вот, наконец, показывается вдали коляска и... и...

Доктор залился тонким смехом и выговорил тоненьким голоском:

– Вы выходите из коляски, и старые ведьмы по команде гарнизонной крысы начинают петь: «Коль славен наш господь в Сионе, не может изъяснить язык...»[31] Недурно?

Доктор захохотал басом и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не мо-

жет выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди, и по его голосу, лицу и блестящим, немножко наглым глазам можно было понять, что он глубоко презирал и княгиню, и приют, и старух. Во всем, что он так неумело и грубо рассказал, не было ничего смешного и веселого, но хохотал он с удовольствием и даже с радостью.

– А школа? – продолжал он, тяжело дыша от смеха. – Помните, как вы пожелали сами учить мужицких детей? Должно быть, очень хорошо учили, потому что скоро все мальчишки разбежались, так что потом пришлось пороть их и нанимать за деньги, чтоб они ходили к вам. А помните, как вы пожелали собственноручно кормить соской грудных младенцев, матери которых работают в поле? Вы ходили по деревне и плакали, что младенцев этих нет к вашим услугам – все матери брали их с собой в поле. Потом староста приказал матерям по очереди оставлять своих младенцев вам на потеху. Удивительное дело! Все бежали от ваших благодеяний, как мыши от кота! А почему это? Очень просто! Не оттого, что

народ у нас невежественный и неблагодарный, как вы объясняли всегда, а оттого, что во всех ваших затеях, извините меня за выражение, не было ни на один грош любви и милосердия! Было одно только желание забавляться живыми куклами и ничего другого... Кто не умеет отличать людей от болонок, тот не должен заниматься благотворением. Уверяю вас, между людьми и болонками – большая разница!

У княгини страшно билось сердце; в ушах у нее стучало, и всё еще ей казалось, что доктор долбит ее своей шляпой по голове. Доктор говорил быстро, горячо и некрасиво, с заиканьем и с излишней жестикуляцией; для нее было только понятно, что с нею говорит грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человек, но чего он хочет от нее и о чем говорит – она не понимала.

– Уйдите! – сказала она плачущим голосом, поднимая вверх руки, чтобы заслонить свою голову от докторской шляпы. – Уйдите!

– А как вы обращаетесь со своими служащими! – продолжал возмущаться доктор. – Вы их за людей не считаете и третируете, как по-

следних мошенников. Например, позвольте вас спросить, за что вы меня уволили? Служил десять лет вашему отцу, потом вам, честно, не зная ни праздников, ни отпусков, заслужил любовь всех на сто верст кругом, и вдруг в один прекрасный день мне объявляют, что я уже не служу! За что? До сих пор не понимаю! Я, доктор медицины, дворянин, студент московского университета, отец семейства, такая мелкая и ничтожная сошка, что меня можно выгнать в шею без объяснения причин! Зачем со мной церемониться? Я слышал потом, что жена, без моего ведома, тайком ходила к вам раза три просить за меня и вы ее не приняли ни разу. Говорят, плакала в передней. И я этого никогда не прощу ей, покойнице! Никогда!

Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, что бы еще такое сказать очень неприятное, мстительное. Он что-то вспомнил, и нахмуренное, холодное лицо его вдруг просияло.

– Взять хоть бы ваши отношения к этому монастырю! – заговорил он с жадностью. – Вы никогда никого не щадили, и чем святее ме-

сто, тем больше шансов, что ему достанется на орехи от вашего милосердия и ангельской кротости. Зачем вы ездите сюда? Что вам здесь у монахов нужно, позвольте вас спросить? Что вам Гекуба, и что вы Гекубе?[32] Опять-таки забава, игра, кощунство над человеческой личностью и больше ничего. Ведь в монашеского бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах; на обряды церковные вы смотрите снисходительно, к обедне и ко всенощной не ходите, спите до полудня... зачем же вы сюда ездите?.. В чужой монастырь вы ходите со своим богом и воображаете, что монастырь считает это за превеликую честь для себя! Как бы не так! Вы спросите-ка, между прочим, во что обходятся монахам ваши визиты? Вы изволили приехать сюда сегодня вечером, а третьего дня уж тут был верховой, посланный из экономии предупредить, что вы сюда собираетесь. Целый день вчера приготавливали для вас покои и ждали. Сегодня прибыл авангард – наглая горничная, которая то и дело бегают через двор, шуршит, пристает с вопросами, распо-

ряжается... терпеть не могу! Сегодня монахи весь день были настороже: ведь если вас не встретит с церемонией – беда! Архиерею пожалуйста! «Меня, ваше преосвященство, монахи не любят. Не знаю, чем я их прогневала. Правда, я великая грешница, но ведь я так несчастна!» Уж одному монастырю была из-за вас нахлобучка. Архимандрит занятой, ученый человек, у него и минуты нет свободной, а вы то и дело требуете его к себе в покои. Никакого уважения ни к старости, ни к сану. Добро бы жертвовали много, не так бы уж обидно было, а то ведь за всё время монахи от вас и ста рублей не получили!

Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали и когда она не знала, что ей говорить и делать, то обыкновенно она начинала плакать. И теперь в конце концов она закрыла лицо и заплакала тонким, детским голоском. Доктор вдруг замолчал и посмотрел на нее. Лицо его потемнело и стало суровым.

– Простите меня, княгиня, – сказал он глухо. – Я поддался злему чувству и забылся. Это нехорошо.

И, конфузливо кашлянув, забывая надеть

шляпу, он быстро отошел от княгини.

На небе уже мерцали звезды. Должно быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нежно. Вдоль белой монастырской стены бесшумно носились летучие мыши.

Часы медленно пробили три четверти какого-то часа, должно быть, девятого. Княгиня поднялась и тихо пошла к воротам. Она чувствовала себя обиженной и плакала, и ей казалось, что и деревья, и звезды, и летучие мыши жалеют ее; и часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о том, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти в монастырь: в тихие летние вечера она гуляла бы одиноко по аллеям, обиженная, оскорбленная, непонятая людьми, и только бы один бог да звездное небо видели слезы страдальицы. В церкви еще продолжалась всенощная. Княгиня остановилась и прислушалась к пению; как хорошо это пение звучало в неподвижном, темном воздухе! Как сладко под это пение плакать и страдать!

Придя к себе в покои, она поглядела в зер-

кало на свое заплаканное лицо и попудрилась, потом села ужинать. Монахи знали, что она любит маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, от которых во рту пахнет кипарисом, и каждый раз, когда она приезжала, подавали ей всё это. Кушая грибки и запивая их малагой, княгиня мечтала о том, как ее окончательно разорят и покинут, как все ее управляющие, приказчики, конторщики и горничные, для которых она так много сделала, изменят ей и начнут говорить грубости, как все люди, сколько их есть на земле, будут нападать на нее, злословить, смеяться; она откажется от своего княжеского титула, от роскоши и общества, уйдет в монастырь, и никому ни одного слова упрека; она будет молиться за врагов своих, и тогда все вдруг поймут ее, придут к ней просить прощения, но уж будет поздно...

А после ужина она опустилась в углу перед образом на колени и прочла две главы из Евангелия. Потом горничная постлала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко вздох-

нула, как вздыхают после плача, закрыла глаза и стала засыпать...

Утром она проснулась и взглянула на свои часики: было половина десятого. На ковре около кровати тянулась узкая яркая полоса света от луча, который шел из окна и чуть-чуть освещал комнату. За черной занавеской на окне шумели мухи.

«Рано!» – подумала княгиня и закрыла глаза.

Потягиваясь и нежась в постели, она вспомнила вчерашнюю встречу с доктором и все те мысли, с какими вчера она уснула; вспомнила, что она несчастна. Потом пришли ей на память ее муж, живущий в Петербурге, управляющие, доктора, соседи, знакомые чиновники... Длинный ряд знакомых мужских лиц пронесся в ее воображении. Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди сумели проникнуть в ее душу и понять ее, то все они были бы у ее ног...

В четверть двенадцатого она позвала горничную.

– Давайте, Даша, одеваться, – сказала она томно. – Впрочем, сначала подите скажите,

чтобы запрягали лошадей. Надо к Клавдии Николаевне ехать.

Выйдя из покоев, чтобы садиться в экипаж, она зажмурилась от яркого дневного света и засмеялась от удовольствия: день был удивительно хорош! Оглядывая прищуренными глазами монахов, которые собрались у крыльца проводить ее, она приветливо закивала головой и сказала:

– Прощайте, мои друзья! До послезавтра.

Ее приятно удивило, что вместе с монахами у крыльца находился и доктор. Лицо его было бледно и сурово.

– Княгиня, – сказал он, снимая шляпу и виновато улыбаясь, – я уже давно жду вас тут. Простите бога ради... Нехорошее мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорил вам... глупостей. Одним словом, я прошу прощения.

Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел.

Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и закивала головой во все стороны. На душе у нее было весело, ясно и

тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипаж покатил к воротам, потом по пыльной дороге мимо изб и садов, мимо длинных чумацких обозов и богомольцев, шедших вереницами в монастырь, она всё еще щурилась и мягко улыбалась. Она думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду вносить с собою теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо улыбаться врагам. Встречные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, из-под колес валили облака пыли, уносимые ветром на золотистую рожь, и княгине казалось, что ее тело качается не на подушках коляски, а на облаках, и что сама она похожа на легкое, прозрачное облачко...

– Как я счастлива! – шептала она, закрывая глаза. – Как я счастлива!

# Вынужденное заявление

**В** 1876 году, 7 июля, в 8 ½ часов вечера, мною была написана пьеса. Если моим противникам угодно знать ее содержание, то вот оно. Отдаю его на суд общества и печати.

## **Скоропостижная конская смерть, или великодушие русского народа!**

*Драматический этюд в 1 действии*

### **Действующие лица:**

*Любвин, молодой человек.*

*Графиня Финикова, его любовница.*

*Граф Фиников, ее муж.*

*Нил Егоров, извозчик № 13326.*

*Действие происходит среди бела дня на Невском проспекте.*

### **Явление I**

*(Графиня и Любвин едут на извозчике Ниле Егорове)*

**Любвин** *(обнимая)*. О, как я люблю тебя! Но все-таки я не буду в спокойе, покуда мы не доедем до вокзала и не сядем в вагон. Чувствует мое сердце, что твой подлец-муж бросится сейчас за нами в погоню. У меня поджилки трясутся. *(Нилу)*. Поезжай скорее, чёрт!

**Графиня.** Скорее, извозчик! хлобысни-ка ее кнутом! Ездить не умеешь, курицын сын!

**Нил** *(хлещет по лошади)*. Но! но, холера! Господа на чай прибавят.

**Графиня** *(кричит)*. Так ее! Так ее! Нажаривай, дрянь этакую, а то к поезду опоздаем!

**Любвин** *(обнимая и восторгаясь ее неземной красотой)*. О, моя дорогая! Скоро, скоро уже тот час, когда ты будешь принадлежать всецело мне, но отнюдь не мужу! *(Оглядываясь, с ужасом.)* Твой муж догоняет нас! Я его вижу! Извозчик, погоняй! Скорей, мерзавец, сто чертей тебе за воротник! *(Лупит Нила в спину.)*

**Графиня.** По затылку его! Пстой, я сама его зонтиком... *(Лупит.)*

**Нил** *(хлещет изо всех сил)*. Но! но! шевелись, анафема! *(Изморенная лошадь падает и издыхает.)*

**Любвин.** Лошадь издохла! О, ужас! Он нас догонит!

**Нил.** Головушка моя бедная, чем же я теперь кормиться буду? *(Припадает к трупку любимой лошади и рыдает.)*

## Явление II

*Те же и граф.*

**Граф.** Вы бежать от меня?! Стой! *(Хватает жену за руку.)* Изменница! Я ли тебя не любил? Я ли тебя не кормил?

**Любвин** *(малодушно)*. Задам-ка я стрекача! *(Убегает под шум собравшейся толпы.)*

**Граф** *(Нилу)*. Извозчик! Смерть твоей лошади спасла мой семейный очаг от поругания. Если бы она не издохла внезапно, то я не догнал бы беглецов. Вот тебе сто рублей!

**Нил** *(великодушно)*. благородный граф! Не нужно мне ваших денег! Для меня послужит достаточной наградой сознание, что смерть моей любимой лошади послужила к ограждению семейных основ! *(Восхищенная толпа качает его.)*

**Занавес.**

В 1886 году, 30 февраля, эта моя пьеса была сыграна на берегу озера Байкала любителями сценического искусства. Тогда же я записался в члены Общества драматических писателей и получил от казначея А. А. Майкова надлежащий гонорар. Больше я никаких пьес не писал и никакого гонорара не получал.

Итак, состоя членом названного Общества и имея права, сим званием обусловленные, я от имени нашей партии настоятельно требую, чтобы, во 1-х, председатель, казначей, секретарь и комитет публично попросили у меня извинения; во 2-х, чтобы все перечисленные должностные лица были забаллотированы и заменены членами из нашей партии; в 3-х, чтобы 25 тыс. из годового бюджета Общества были ежегодно ассигнуемы на покупку билетов гамбургской лотереи и чтобы каждый выигрыш делился между всеми членами поровну; в 4-х, чтобы на общих и экстренных собраниях Общества играла военная музыка и подавалась приличная закуска; в 5-х, так как весь доход Общества поступает в пользу только тех 30 членов, пьесы которых идут в провинции, и так как остальные 390 членов не получают ни гроша, ибо их пьесы нигде не идут, то в видах справедливости и равноправия ходатайствовать перед высшим правительством, чтобы этим 30 членам было запрещено ставить свои пьесы и тем нарушать равновесие, столь необходимое для нормального хода дел.

В заключение считаю нужным предупредить, что если хотя на один из означенных пунктов последует отрицательный ответ, то я вынужден буду сложить с себя звание члена Общества.

Член Общества драматических писателей и оперных композиторов

*Акакий Тарантулов.*

### **От редакции.**

Помещая это заявление почтенного члена Общества драматических писателей и оперных композиторов, мы льстим себя надеждою, что оно вызовет полное сочувствие по крайней мере в половине достопочтенных членов этого Общества, заслуги которых столь же велики, как и заслуги г. Акакия Тарантулова. Русская драматургия – есть именно тот важный род поэзии, в котором Акакии Тарантуловы могут приобрести неувядаемую славу от финских хладных скал до пламенных кулис, от потрясенного Кремля до трескотни общих собраний Общества драматических писателей и оперных композиторов...

# Скучная история

(Из записок старого человека)

## I

Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мере за последние 25–30 лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов,[33] Кавелин[34] и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее, и прочее. Всё это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем.

Это мое имя популярно. В России оно из-

вестно каждому грамотному человеку, а за границею оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всуе, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и несомненно полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей... Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо.

Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым tic'ом. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и ру-

ки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса,[35] грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь – всё лицо покрывается старчески мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве когда бываю я болен tic'ом, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого, при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: «По-видимому, этот человек скоро умрет».

Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я потерял чутье к

их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу: когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений – то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.

Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. При-

ходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «О чем пела ласточка».[36] Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу? Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф или неожиданно загудит горелка в лампе – и все эти звуки почему-то волнуют меня.

Не спать ночью – значит, каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с

нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительно-го времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса...

День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнувшая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:

– Извини, я на минутку... Ты опять не спал?

Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно, после тревожных расспросов о моем здоровье, она вдруг вспоминает о нашем сыне офицере, служащем в Варшаве. После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по 50 рублей – это главным образом и служит темой для нашего раз-

говора.

– Конечно, это нам тяжело, – вздыхает жена, – но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое... Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?

Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говорим о них, но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, славу богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки – и всё это таким тоном, как будто сообщает мне новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нуж-

де, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне – неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варю, которую я страстно любил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «состраданье» к моей науке?[37] Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына?

Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье, да еще манера мое жалованье называть нашим жалованьем, мою шапку – нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно, и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников.

Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается.

– Что ж это я сажу? – говорит она, поднимаясь. – Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, господи!

Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:

– Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалованья прислуге, сколько раз я говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев – пятьдесят!

Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:

– Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник!

И, попрекнув меня моим именем и чином, она наконец уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.

Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей 22 года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и го-

ворит:

– Здравствуй, папочка. Ты здоров?

В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилom всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:

– Сливочный... фисташковый... лимонный...

И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор, как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно

краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья... Заложи всё это, тебе нужны деньги...»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня бог, – мне не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или

озлобленный человек. Но довольно об этом.

В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже 30 лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой; тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная; в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варре. Писал карандашом, на листе с заголовком «*Historia morbi*».[38] Вот бакалейная лавочка; когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг папиросы, потом толстая баба, любившая студентов за то, что «у каждого из них мать есть»; теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не отремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега... На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток све-

та, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих... Вот и наш сад. С тех пор, как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой, стриженной сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное... Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой.

Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит:

– Мороз, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

– Дождик, ваше превосходительство!

Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успева-

ет сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает? Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но

и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.

Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших всё, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого... Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.

В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых про-

фессоров и двумя-тремя островами, которые приписываются то Груберу,[39] то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь.

Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как 20 лет назад.

За столом в кабинете, низко нагнувшись

над книгой или препаратом, сидит мой про-  
ректор Петр Игнатьевич, трудолюбивый,  
скромный, но бесталанный человек, лет 35,  
уже плешивый и с большим животом. Работа-  
ет он от утра до ночи, читает массу, отлично  
помнит всё прочитанное – и в этом отноше-  
нии он не человек, а золото; в остальном же  
прочем – это ломовой конь, или, как иначе го-  
ворят, ученый тупица. Характерные черты  
ломового коня, отличающие его от таланта,  
таковы: кругозор его тесен и резко ограничен  
специальностью; вне своей специальности он  
наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром  
я вошел в кабинет и сказал:

– Представьте, какое несчастье! Говорят,  
Скобелев[40] умер.

Николай перекрестился, а Петр Игнатье-  
вич обернулся ко мне и спросил:

– Какой это Скобелев?

В другой раз – это было несколько рань-  
ше – я объявил, что умер профессор Перов.[41]  
Милейший Петр Игнатьевич спросил:

– А что он читал?

Кажется, запой у него под самым ухом Пат-  
ти,[42] напади на Россию полчища китайцев,

случись землетрясение, он не пошевеливается ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой.

Другая черта: фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука – медицина, самые лучшие люди – врачи, самые лучшие традиции – медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция – белый галстук, который носят теперь доктора; для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеполитические, без всякого деления их на

медицинские, юридические и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до страшного суда.

Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десятков добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник.

Я, Петр Игнатьевич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За 30 лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь... Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

– Что ж? Надо идти.

И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.

Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное «в прошлой лекции мы остановились на...», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и – пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей

речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтора ста лиц, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разума, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это – бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались

не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого, или наоборот.

Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям... Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтора лица широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря... Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.

Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций.

Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится... Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк, говорю невпопад каламбуры и в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно.

Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, — это прочесть мальчикам прощальную лекцию,

сказать им последнее слово, благословить их и уступить свое место человеку, который мо- ложе и сильнее меня. Но пусть судит меня бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.

К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, кото- рые посетят мой могильный сон. Но поче- му-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как 20–30 лет назад, так и теперь, перед смертью, меня интересуется одна только наука. Испуская по- следний вздох, я все-таки буду верить, что на- ука – самое важное, самое прекрасное и нуж- ное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и неспра- ведлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.

Но не в этом дело. Я только прошу снизой-

ти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет.

От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающею слабостью, со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу.

Не легко переживать такие минуты.

## II

После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.

Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит:

– Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположе-

ны друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной, вроде: «вы изволили справедливо заметить», или «как я уже имел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожая до передней; тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое всё еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции.

Немного погодя, другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: проси. Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает мне

на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году.

– Садитесь, – говорю я гостю. – Что скажете?

– Извините, профессор, за беспокойство... – начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. – Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас экзамен уже пять раз и... и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что...

Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занима-

лись всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.

– Извините, мой друг, – говорю я гостю, – поставить вам удовлетворительно я не могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.

Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом:

– По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это – совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удастся выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом.

Лицо сангвиника вытягивается.

– Простите, профессор, – усмехается он, – но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться пять лет и вдруг... уйти!

– Ну, да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь.

Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать:

– Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.

– Когда? – глухо спрашивает лентяй.

– Когда хотите. Хоть завтра.

И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

– Конечно, – говорю я, – вы не станете учнее оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.

Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теревит свою бородку и думает. Становится скучно.

Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежания на диване; по-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не приня-

то. А я бы охотно послушал.

– Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я...

Как только дело дошло до «честного слова», я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:

– В таком случае прощайте... Извините.

– Прощайте, мой друг. Доброго здоровья.

Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого чёрта» по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик!

Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуются. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руко-

водством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации.

– Очень рад быть полезным, коллега, – говорю я, – но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе...

Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.

– Что вы все ко мне ходите, не понимаю? – кричу я сердито. – Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое! Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело!

Докторант молчит, и только около его скула выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудачком.

– У меня не лавочка! – сержусь я. – И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?

Говорю я много, а он всё молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит не нужную ему ученую степень.

Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос...

18 лет тому назад умер мой товарищ окулист и оставил после себя семилетнюю дочь Катю и тысяч шестьдесят денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До десяти лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и жила у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками, и потому о детстве ее могу сказать очень немного.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это – необыкновенную доверчивость, с какою она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светила на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием; видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопчет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Всё, что делается на этом свете, всё прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалованье.

– Студенты дерутся в университете? – спрашивает она.

– Дерутся, милая.

– А вы ставите их на колени?

– Ставлю.

И ей было смешно, что студенты дерутся и

что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытства; в это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть – и только. Я не умел заступаться за нее, а только, когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка моя милая!»

Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи.

Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катей, когда ей было 14–15 лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У

одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:

– Николай Степаныч, позвольте мне поговорить с вами о театре!

Я показывал ей на часы и говорил:

– Даю тебе полчаса. Начинай.

Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров: можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошою.

В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит

меня «проветрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был 30–40 лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на двугривенный, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрошенное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле, или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек

и что «Горе от ума» не скучная пьеса, то на меня от сцены веет тою же самой рутиной, которая скучна мне была еще 40 лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда.

Сантиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймает. Не знаю, что будет через 50–100 лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы – лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда ви-

дит на сцене неправильно трактуемые убийство, прелюбодеяние или клевету.

Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр – это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры – миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большею популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая.

И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело.

Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чи-

стоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала; каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, – и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было.

Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр не иначе, как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев; де-

нег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества... Может быть, всё это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы.

Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, всё обстояло благополучно: Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей – это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей; в постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике; в интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогами мужьями и над беременностью

неверных жен и т. д. В общем надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.

В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением; из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества; лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерам, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего

общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей; горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и вместо того, чтоб вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль...» и так далее, всё в таком роде.

Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите».

Оказалось, что и ее *он* принадлежал тоже к «табуну диких людей». Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она

потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около четырех лет, и во все эти четыре года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и всё мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее, как дочь!

Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присутствием ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела – мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног – ковры, для ленивого зрения – линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души – изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей... Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня

на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мне, или оттого, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ; или же, чтоб отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одежда она по-прежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическе немало достаётся от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто всё уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового.

В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консервато-

рии вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояли, пробуют голоса и хохочут; в столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой.

– Прощайте, – говорит Катя. – Сегодня я не зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой:

– А вы всё худеете! Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит.

– Не нужно, Катя.

– Не понимаю, что ваша семья смотрит! Хороши, нечего сказать.

Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол две-три шпильки. Поправлять прическу лень и некогда; она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит.

Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня:

– У тебя была сейчас Катя? Отчего же она

не зашла к нам? Это даже странно...

– Мама! – говорит ей укоризненно Лиза. – Если не хочет, то и бог с ней. Не на колени же нам становиться.

– Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете три часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно.

Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полутораста молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку; и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что женщина добродетельнее и чище мужчины: ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свобод-

ны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастье, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века. И по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться как мужчина.

Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой.

Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще две-три подруги дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше 30 лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабранными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень корот-

кий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие книзу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке и к пению, продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах; судит он о музыке с большим авторитетом и, я заметил, с ним охотно все соглашаются.

Богатые люди имеют всегда около себя приживалов; науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия «инородных тел» вроде этого г. Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого, к тому же, мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с

каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет.

Будь вы сто раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживания, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер, не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он вочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обещает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно непохожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что «это жених», но я все-таки не

понимаю его присутствия; оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки...

Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор, как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леца с кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный мальчик, с белой перчаткой на правой руке. Антракты короткие, но кажутся чрезмерно длинными, потому

что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласок и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой; для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда, коротким, но светлыми радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уже больше умения пьянеть от одной рюмки, нет Агаши, нет леща с кашей, нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы вроде драки под столом кошки с собакой или падения повязки с Катинной щеки в тарелку с супом.

Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится... Скажите: ведь не нравится?» И я должен отвечать: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно».

А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степаныч, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» и всё в таком роде в продолжение всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у не настоящей жены и вижу не настоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим; на слабых же, незакаленных жёну

и Лизу всё это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их.

Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно... Неужели? Скажите...» Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня *votre excellence*. [43]

А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты, скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых

люблю, я никогда не думаю о своих заслугах, а если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера; в присутствии же таких людей, как Гнеккер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза Гнеккеры.

После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей, скверной привычки дымить от утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор.

– Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степаныч, – начинает она. – Я насчет Лизы... Отчего ты не обратишь внимания?

– То есть?

– Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным... Гнеккер имеет насчет Лизы намерения... Что ты скажешь?

– Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его, но что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже тысячу раз.

– Но так нельзя... нельзя...

Она встает и ходит в волнении.

– Так нельзя относиться к серьезному шагу... – говорит она. – Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить всё личное. Я знаю, он тебе не нравится... Хорошо... Если мы откажем ему теперь, расстроим всё, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог вестей сколько, и может случиться, что не представится другой партии... Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей... Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать? Бог даст, со временем определится куда-нибудь. Он из хорошего семейства и богатый.

– Откуда тебе это известно?

– Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степаныч, тебе непременно нужно съездить в Харьков.

– Зачем?

– Ты разузнаешь там... У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина. Не могу...

– Не поеду я в Харьков, – говорю я утрумо.

Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли.

– Ради бога, Николай Степаныч! – умоляет она меня, всхлипывая. – Ради бога, сними с меня эту тяжесть! Я страдаю!

Мне становится больно глядеть на нее.

– Хорошо, Варя, – говорю я ласково. – Если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю всё, что тебе угодно.

Она прижимает к глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я остаюсь один.

Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые, давно надоевшие тени, и когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь... Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и

прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слез, и в общем получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтоб не заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти?

Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу: к Кате.

### III

По обыкновению, она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку.

– А ты всё лежишь, – говорю я, помолчав немного и отдохнув. – Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь!

– А?

– Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь.

– Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой.

– Ну что ж? Если нельзя в работницы, иди в актрисы.

Молчит.

– Замуж бы выходила, – говорю я полушутя.

– Не за кого. Да и незачем.

– Так жить нельзя.

– Без мужа? Велика важность! Мужчин сколько угодно, была бы охота.

– Это, Катя, некрасиво.

– Что некрасиво?

– Да вот то, что ты сейчас сказала.

Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит:

– Пойдемте. Идите сюда. Вот.

Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол:

– Вот... Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мне станет легче.

– Плохо дело, моя милая! – начинаю я со вздохом. – Очень плохо...

– Что такое?

– Видишь ли, в чем дело, мой друг. Самое

лучшее и самое святое право королей – это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика: прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к день-

гам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил – я ведь болен и каждый день теряю в весе, – то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными...

– Болезнь тут ни при чем, – перебивает меня Катя. – Просто у вас открылись глаза; вот и всё. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.

– Ты говоришь нелепости.

– Вы уж не любите их, что ж тут кривить душой? И разве это семья? Ничтожества!

Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствия.

Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть.

– Ничтожества! – повторяет она. – Вы обещали сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?

– Катя, – говорю я строго, – прошу тебя замолчать.

– А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайте же меня, мой дорогой: бросьте всё и уезжайте. Поезжайте за границу. Чем скорее, тем лучше.

– Что за вздор! А университет?

– И университет тоже. Что он вам? Всё равно никакого толку. Читаете вы уже 30 лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Считите-ка! А чтобы размножить

этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.

– Боже мой, как ты резка! – ужасаюсь я. – Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умею отвечать на твои резкости!

Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того, как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости – воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет.

– Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду... – рассказываю я. – Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники и песню, или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами, и

этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки... Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины – одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетною известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно.

Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим:

– Это, должно быть, Михаил Федорович.

И в самом деле, через минуту входит мой товарищ, филолог, Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет 50, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств.

Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом:

– Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шуточный тон, какая-то помесь философии с

балагурством, как у шекспировских гробокопателей.[44] Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут уха и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собою штук пять-шесть анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол.

– Ох, господи, – вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. – Бывают же на свете такие комики!

– А что? – спрашивает Катя.

– Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего NN... Идет и, по обыкновению, выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекций. Ну, думаю, увидел меня – теперь погиб, пропало дело...

И так далее в таком роде. Или же он начинает так:

– Был вчера на публичной лекции нашего

ZZ. Удивляюсь, как эта наша alma mater,[45] не к ночи будь помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ. Ведь это европейский дурак! Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь! Читает, можете себе представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю... Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде, а главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с тою, какая бывает у нас в актовом зале на годовичном акте, когда читается традиционная речь, чтоб ее чёрт взял.

И тотчас же резкий переход:

– Года три тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками – просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа... «Ну, думаю, слава богу, осталось еще только десять страниц». А в конце у меня были такие четыре страницы, что можно было совсем не читать, и я расчи-

тывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, и все-таки тем не менее стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так на-те же вам! На зло! Взял и прочел все четыре страницы.

Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан, или выслушивает ее замечание, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое...

Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя любила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки две колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но тем не менее все-таки, раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рюмок, я выпиваю четверть стакана; оставшая часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет.

За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.

– Наука, слава богу, отжила свой век, – говорит Михаил Федорович с расстановкой. – Ее песня уже спета. Да-с. Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее

чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинт-эссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли?

– И мухи не знают науки, – говорю я, – но что же из этого?

– Вы напрасно сердитесь, Николай Степаныч. Я ведь это говорю здесь, между нами... Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси бог! В массе живет предрассудок, что науки и искусства выше земледелия, торговли, выше ремесл. Наша секта кормится этим предрассудком и не мне с вами разрушать его. Спаси бог!

За пасьянсом достается на орехи и молодежи.

– Измельчала нынче наша публика, – вздыхает Михаил Федорович. – Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и

мыслить умели толком! Вот уж именно: «Печально я гляжу на наше поколение».[46]

– Да, ужасно измельчали, – соглашается Катя. – Скажите, в последние пять-десять лет был ли у вас хоть один выдающийся?

– Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню.

– Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров... Что ж? Ни разу не сподобилась встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Всё серо, бездарно, надуту претензиями...

Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможной определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное по-

рядочных людей.

Я старик, служу уже 30 лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар, Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних.

Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и не много, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество вспомоществования студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски; не дальше как вчера мой товарищ, гигиенист, жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно незнакомы с метеорологией. Они охот-

но поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Эпиктет или Паскаль,[47] и в этом неуменье отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер (например, переселенческий), они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до сорока лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д., и т. д. ...

Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или

бранчивое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный, преходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий; достаточно каких-нибудь десяти лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые в свою очередь будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с той радостью, какую я испытываю уже 30 лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.

Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.

– Уморительные попадаютсся субъекты, – говорит Михаил Федорович. – Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там сту-

диоза, из ваших же медиков, III курса, кажется. Лицо этакое... в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. «Такие-то дела, говорю, молодой человек. Читал я, говорю, что какой-то немец – забыл его фамилию – добыл из человеческого мозга новый алкалоид – идиотин». Что ж вы думаете? Поверил и даже на лице своем уважение изобразил: знай, мол, наших! А то намеренно прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня, в следующем ряду, сидят каких-то два: один «из насих» и, по-видимому, юрист, другой, лохматый – медик. Медик пьян, как сапожник. На сцену – ноль внимания. Знай себе дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает: «Что он говорит? Бла-а-родно?» – «Благородно, – отвечает „из насих“». – «Бррраво! – орет медик. – Бла-а-родно! Браво!» Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно.

А Катя слушает и смеется. Хохот у нее ка-

кой-то странный: вдыхания быстро и ритмически правильно чередуются с выдыханиями – похоже на то, как будто она играет на гармонике – и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу:

– Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!

И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора: одиннадцатый час.

– А я еще посижу немножко, – говорит Михаил Федорович. – Позволяете, Екатерина Владимировна?

– Позволяю, – отвечает Катя.

– Вепе.[48] В таком случае прикажите подать еще бутылочку.

Оба провожают меня со свечами в переднюю, и пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит:

– В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?

– Да, болен немножко.

– И не лечится... – угрюмо вставляет Катя.

– Отчего же не лечитесь? Как можно так?

Береженого, милый человек, бог бережет. Кланяйтесь вашим и извинитесь, что не бываю. На днях, перед отъездом за границу, приду проститься. Непременно! На будущей неделе уезжаю.

Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь из товарищей? И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия»... И это лишит меня последней надежды.

У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временно я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые нахожу у себя, и насчет сердца,

и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам; когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне всё кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко всё это.

Покрыто ли небо тучами или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, яркие, поразительны... Но нет! Я думаю о себе самом, о жене, Лизе, Гнеккере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое мирозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Всё хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». То есть всё гадко, не для чего жить, а те 62 года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не глубоко, но тотчас же я думаю:

«Если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам?»

И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней.

Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые, аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, унылый, ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилась тысяча пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю.

А потом – бессонница...

## IV

Наступает лето, и жизнь меняется.

В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном:

– Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.

Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «риткарт». Это годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем; потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями.

Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я

встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уж не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренно похвалить его без *но*; то же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние 10–15 лет: ни одной замечательной, и не обойдешься без *но*. Умно, благородно, но не талантливо; талантливо, благородно, но не умно, или, наконец – талантливо, умно, но не благородно.

Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость най-

ти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности... Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества.

Всё это относится к так называемой изящной словесности.

Что же касается русских серьезных статей, например, по социологии, по искусству и проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам,

и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, умение с достоинством переливать из пустого в порожнее – всё это для меня непонятно, страшно и всё это не похоже на скромность и джентльменски покойный тон, к которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и sic в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.

Как-то раз я был приглашен экспертом в окружный суд; в антракте один из моих товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я нисколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же, наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статейках молодые врачи, *ultima ratio!*[49] Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приоб-

рела в последние 10–15 лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны.

Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мне видны зубцы моего палисадника, два-три тощих деревца, а там дальше за палисадником дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я люблюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «гряди, плешивый!»[50] Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина.

Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше затем, чтоб повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним никогда не бывает зимою.

– Что скажешь? – спрашиваю я, выходя к нему в сени.

– Ваше превосходительство! – говорит он,

прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного. – Ваше превосходительство! Накажи меня бог! Убей гром на этом месте! Гаудеамус игитур ювенестус![51]

И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы.

– Всё у нас там благополучно? – спрашиваю я его.

– Ваше превосходительство! Как перед истинным...

Он не перестает божиться без всякой необходимости, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам специально затем, чтобы провести и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол; и всё время он тихим, ровным голоском, гладко и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу: один француз сде-

лал открытие, другой – немец – уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем, а третий – тоже немец – перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволосились, приняв под микроскопом шарики воздуха за темный пигмент. Петр Игнатьевич, даже когда хочет расшевелить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию, с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем говорит не просто Пти, а непременно Жан Жак Пти.[52] Случается, что он остается у нас обедать, и тогда в продолжение всего обеда он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнеккер и Лиза заводят при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится; ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях.

При теперешнем моем настроении достаточно пяти минут, чтобы он надоел мне так,

как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого, ровного голоса и книжного языка я чахну, от рассказов тупею... Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мною только для того, чтобы доставить мне удовольствие, а я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать, и думаю: «Уйди, уйди, уйди»... Но он не поддается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит...

Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли: «очень возможно, что, когда я умру, его назначат на мое место», и моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром Игнатьевичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает, по обычаю, перевозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу:

– Ослы ваши немцы...

Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов,[53] купаясь однажды с Пировым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Под-

лецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно, и только когда он уходит и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик!»

Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнеккер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлечшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды, я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил:

*Орлам случается и ниже кур  
спускаться,[54]  
Но курам никогда до облак не  
подняться...*

И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики: отвечает на мои колкости снисходительным молчанием (спятил, мол, старик – что с ним разговаривать?) или

же добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек! Я в состоянии в продолжение всего обеда мечтать о том, как Гнеккер окажется авантюристом, как Лиза и жена поймут свою ошибку и как я буду дразнить их – и подобные нелепые мечты в то время, когда одною ногой я стою уже в могиле!

Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне ни совестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда.

Я сижу у себя в комнате и курю трубочку. Входит, по обыкновению, жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Гнеккер.

– Хорошо, съезжу... – соглашаюсь я.

Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит:

– Кстати еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя... Извини, Николай Степаныч, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать

о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои годы и с твоим общественным положением как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе... К тому же, у нее такая репутация, что...

Вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом:

– Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!

Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим, отчаянным голосом. На наш крик вбегают Лиза, Гнеккер, потом Егор...

– Оставьте меня! – кричу я. – Вон! Оставьте!

Ноги мои немеют, точно их нет совсем, я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обморок, который длится часа два-три.

Теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером, и этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она

приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький ша-рабан, купленный этим летом. Вообще живет она на широкую ногу: наняла дорогую да-чу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера... Часто я спрашиваю ее:

– Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?

– Там увидим, – отвечает она,

– Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хо-рошим человеком, честным трудом.

– Об этом вы уже говорили мне. Знаю.

Сначала мы едем по полю, потом по хвой-ному лесу, который виден из моего окна. При-рода по-прежнему кажется мне прекрасною, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через три или четыре месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править ло-шадью и приятно, что погода хороша и что я сию рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей.

– Вы очень хороший человек, Николай Степаныч, – говорит она. – Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федорыча сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую! Ведь что я изображаю из себя? Что?

Она минуту думает и спрашивает меня:

– Николай Степаныч, ведь я отрицательное явление? Да?

– Да, – отвечаю я.

– Гм... Что же мне делать?

Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить.

Мои товарищи, терапевты, когда учат лечить, советуют «индивидуализировать каждый отдельный случай». Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах.

Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю:

– У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?

– Не могу.

– Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки, но ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же всё может пойти иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству...

– Не лукавьте, Николай Степаныч, – перебивает меня Катя. – Давайте раз навсегда условимся: будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были

заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще... я не люблю этих разговоров об искусстве! – продолжает она нервно. – Не люблю! И так уж опошлили его, благодарю покорно!

– Кто опошил?

– Те опошили его пьянством, газеты – фамильярным отношением, умные люди – философией.

– Философия тут ни при чем.

– При чем. Если кто философствует, то это значит, что он не понимает.

Чтобы дело не дошло до резкостей, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю:

– Ты все-таки не ответила мне: отчего ты не хочешь идти в актрисы?

– Николай Степаныч, это, наконец, жестоко! – вскрикивает она и вдруг вся краснеет. – Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это... это вам нравится! Таланта у меня нет! Таланта нет и... и много самолюбия! Вот!

Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи.

Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет около ворот и нетерпеливо поджидает нас.

– Опять этот Михаил Федорыч! – говорит Катя с досадой. – Уберите его от меня, пожалуйста! Надоел, выдохся... Ну его!

Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли кое-какие перемены: он как-то осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови начинают седеть. Когда наш шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня, торопится задавать вопросы, смеется, потирает руки, и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычки бывать у Кати каждый вечер, и он находит

нужным мотивировать свой приезд какою-нибудь очевидною нелепостью, вроде: «Ехал мимо по делу и дай, думаю, заеду на минуту».

Все трое мы идем в комнаты; сначала пьем чай, потом на столе появляются давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыру, фрукты и бутылка крымского шампанского. Темы для разговоров у нас не новы, все те же, что были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру; воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляют его своими дыханиями уже не две жабы, как зимою, а целых три. Кроме бархатного, баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничная, которая служит нам, слышит еще неприятный, дребезжащий смех, каким в водевилях смеются генералы: хе-хе-хе...

Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни...

Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное злое зарево.

Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса; на небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что всё смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать...

Жутко. Закрываю окно и бегу к постели.

Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке, и всё это у меня холодно, склизко от пота. Дыхание становится всё чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина.

Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне.

Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду... Спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь, и такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку...

– Киви-киви! – раздаётся вдруг писк в ночной тишине, и я не знаю, где это: в моей груди или на улице?

– Киви-киви!

Боже мой, как страшно! Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще неизве-

данная боль?

Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеется... Прислушиваюсь. Немного погодя на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу; кто-то останавливается около моей двери и прислушивается.

– Кто там? – кричу я.

Дверь отворяется, я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно и глаза заплаканы.

– Ты не спишь, Николай Степаныч? – спрашивает она.

– Что тебе?

– Ради бога сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается...

– Хорошо... с удовольствием... – бормочу я, очень довольный тем, что я не один. – Хорошо... Сию минуту.

Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи, дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата, я зады-

хаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. «Сейчас умру здесь, на этой лестнице, – думаю я. – Сейчас...» Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет.

– Ах, боже мой... ах, боже мой! – бормочет она, жмурясь от нашей свечи. – Не могу, не могу...

– Лиза, дитя мое, – говорю я. – Что с тобой?

Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею.

– Папа мой добрый... – рыдает она, – папа мой хороший... Крошечка мой, миленький... Я не знаю, что со мною... Тяжело!

Она обнимает меня, целует и лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком.

– Успокойся, дитя мое, бог с тобой, – говорю я. – Не нужно плакать. Мне самому тяжело.

Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели; своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то

вместе купали наших детей.

– Да помоги же ей, помоги! – умоляет жена. – Сделай что-нибудь!

Что же я могу сделать? Ничего не могу. На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать.

– Ничего, ничего... Это пройдет... Спи, спи..

Как нарочно, в нашем дворе раздаётся вдруг собачий вой, сначала тихий и нерешительный, потом громкий, в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается и я спешу объяснить себе этот вой.

«Пустяки... – думаю я. – Влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке, вот и всё... Этой передачей объясняются предчувствия, предвидения...»

Когда я, немного погодя, возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжело, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно. Долго я стою

среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолком умолкают, и я решаю ничего не прописывать, и все-таки стою...

Тишина мертвая, такая тишина, что, как выразился какой-то писатель, даже в ушах звенит. Время идет медленно, полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли... Рассвет еще не скоро.

Но вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из толстых деревьев ветку, осторожно стучит ею по окну.

– Николай Степаныч! – слышу я шёпот. – Николай Степаныч!

Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон: под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и смотрит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное, подбородок дрожит.

– Это я... – говорит она. – Я... Катя!

При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными, люди выше и

бледнее, и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту.

– Что тебе?

– Простите, – говорит она. – Мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело... Я не выдержала и поехала сюда... У вас в окне свет и... и я решила постучать... Извините... Ах, если б вы знали, как мне было тяжело! Что вы сейчас делаете?

– Ничего... Бессонница.

– У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки.

Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и всё лицо озаряется, как светом, знакомым, давно невиданным выражением доверчивости.

– Николай Степаныч! – говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки. – Дорогой мой, прошу вас... умоляю... Если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу!

– Что такое?

– Возьмите от меня мои деньги!

– Ну, вот еще что выдумала! На что мне твои деньги?

– Вы поедете куда-нибудь лечиться... Вам нужно лечиться. Возьмете? Да? Голубчик, да?

Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет:

– Да? Возьмете?

– Нет, мой друг, не возьму... – говорю я. – Спасибо.

Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах.

– Поезжай домой спать, – говорю я. – Завтра увидимся.

– Значит, вы не считаете меня своим другом? – спрашивает она уныло.

– Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня бесполезны.

– Извините... – говорит она, понизив голос на целую октаву. – Я понимаю вас... Одолжаться у такого человека, как я... у отставной актрисы... Впрочем, прощайте...

И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей прощай.

Я в Харькове.

Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние дни моей жизни будут безупречны хотя с формальной стороны; если я неправ по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. В Харьков ехать, так в Харьков. К тому же в последнее время я так оравнодушел ко всему, что мне положительно всё равно, куда ни ехать, в Харьков, в Париж ли, или в Бердичев.

Приехал я сюда часов в 12 дня и остановился в гостинице, недалеко от собора. В вагоне меня укачало, продуло сквозняками, и теперь я сижу на кровати, держусь за голову и жду тiс'а. Надо бы сегодня же поехать к знакомым профессорам, да нет охоты и силы.

Входит коридорный лакей-старик и спрашивает, есть ли у меня постельное белье. Я задерживаю его минут на пять и задаю ему несколько вопросов насчет Гнеккера, ради которого я приехал сюда. Лакей оказывается

уроженцем Харькова, знает этот город, как свои пять пальцев, но не помнит ни одного такого дома, который носил бы фамилию Гнеккера. Расспрашиваю насчет имений – то же самое.

В коридоре часы бьют час, потом два, потом три... Последние месяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медленностью времени, как теперь. Прежде, бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамене, четверть часа кажутся вечностью, теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная, бесцветная ночь, и послезавтра...

В коридоре бьет пять часов, шесть, семь... Становится темно.

В щеке тупая боль – это начинается tic. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю: зачем я, знаменитый человек, тайный советник, сижу в этом маленьком номере, на этой кровати с чужим,

серым одеялом? Зачем я гляжу на этот дешёвый жестяной рукомоёйник и слушаю, как в коридоре дребезжат дрянные часы? Разве всё это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей? И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в «Ниве», и во «Всемирной иллюстрации», свою биографию я читал даже в одном немецком журнале – и что же из этого? Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свою большую щеку... Семейные дразги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях – всё это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. В чем же выражается исключительность

моего положения? Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя родина; во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но всё это не мешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве... В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло.

Часов в десять я засыпаю и, несмотря на тис, сплю крепко и спал бы долго, если бы меня не разбудили. В начале второго часа вдруг раздаётся стук в дверь.

– Кто там?

– Телеграмма!

– Могли бы и завтра, – сержусь я, получая от коридорного телеграмму. – Теперь уж я не усну в другой раз.

– Виноват-с. У вас огонь горит, я думал, что вы не спите.

Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись: от жены. Что ей нужно?

«Вчера Гнеккер тайно обвенчался с Лизой.

Возвратись».

Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть.

Опять ложусь я в постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чем думать? Кажется, всё уж передумано и ничего нет такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль.

Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колена, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» – прекрасный и полезный совет, жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом.

Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых всё условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять... Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы всё это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека.

А коли нет этого, то, значит, нет и ничего.

При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы всё то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой. И весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеют значение только симптома и больше ничего.

Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет.

Утром коридорный приносит мне чай и номер местной газеты. Машинально я прочи-

тываю объявление на первой странице, передовую, выдержки из газет и журналов, хронику... Между прочим в хронике я нахожу такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыл в Харьков наш известный ученый, заслуженный профессор Николай Степанович такой-то и остановился в такой-то гостинице».

Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову; месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце, – и это в то время, когда я буду уж покрыт мохом...

Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен.

– Кто там? Войдите!

Дверь отворяется, и я, удивленный, делаю шаг назад и спешу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоит Катя.

– Здравствуйте, – говорит она, тяжело дыша от ходьбы по лестнице. – Не ожидали? Я тоже... тоже сюда приехала.

Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня:

– Что же вы не здорваетеесь? Я тоже приехала... сегодня... Узнала, что вы в этой гостинице, и пришла к вам.

– Очень рад видеть тебя, – говорю я, пожимая плечами, – но я удивлен... Ты точно с неба свалилась. Зачем ты здесь?

– Я? Так... просто взяла и приехала.

Молчание. Вдруг она порывисто встает и идет ко мне.

– Николай Степаныч! – говорит она, бледнея и сжимая на груди руки. – Николай Степаныч! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?

– Что же я могу сказать? – недоумеваю я. – Ничего я не могу.

– Говорите же, умоляю вас! – продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. – Клянусь вам, что я не могу дольше так жить! Сил моих нет!

Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топчет ногами; шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась.

– Помогите мне! Помогите! – умоляет она. – Не могу я дольше!

Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу и на одном из них узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова «страстн...».

– Ничего я не могу сказать тебе, Катя, – говорю я.

– Помогите! – рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. – Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?

– По совести, Катя: не знаю...

Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах.

– Давай, Катя, завтракать, – говорю я, натянуто улыбаясь. – Будет плакать!

И тотчас же я прибавляю упавшим голосом:

– Меня скоро не станет, Катя...

– Хоть одно слово, хоть одно слово! – плачет она, протягивая ко мне руки. – Что мне де-

лать?

– Чудачка, право... – бормочу я. – Не понимаю! Такая умница и вдруг – на тебе! расплакалась...

Наступает молчание. Катя поправляет прическу, надевает шляпу, потом комкает письма и сует их в сумочку – и всё это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокры от слез, но выражение лица уже сухо, сурово... Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!

– Давай, Катя, завтракать, – говорю я.

– Нет, благодарю, – отвечает она холодно.

Еще одна минута проходит в молчании.

– Не нравится мне Харьков, – говорю я. – Серо уж очень. Какой-то серый город.

– Да, пожалуй... Некрасивый... Я ненадолго сюда... Мимоездом. Сегодня же уеду.

– Куда?

– В Крым... то есть на Кавказ.

– Так. Надолго?

– Не знаю.

Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку.

Мне хочется спросить: «Значит, на похоронах у меня не будешь?» Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей... Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется.

Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!

# Воры

Фельдшер Ергунов, человек пустой, известный в уезде за большого хвастуна и пьяницу, как-то в один из святых вечеров возвращался из местечка Репина, куда ездил за покупками для больницы. Чтобы он не опоздал и пораньше вернулся домой, доктор дал ему самую лучшую свою лошадь.

Сначала погода стояла ничего себе, тихая, но часам к восьми поднялась сильная метель, и когда до дому оставалось всего верст семь, фельдшер совершенно сбился с пути...

Править лошадью он не умел, дороги не знал и ехал на авось, куда глаза глядят, надеясь, что сама лошадь вывезет. Прошло так часа два, лошадь замучилась, сам он озяб, и уж ему казалось, что он едет не домой, а назад в Репино; но вот сквозь шум метели послышался глухой собачий лай, и впереди показалось красное, мутное пятно, мало-помалу обозначились высокие ворота и длинный забор, на котором остриями вверх торчали гвозди, потом из-за забора вытянулся кривой колодезный журавль. Ветер прогнал перед глазами

снеговую мглу, и там, где было красное пятно, вырос небольшой, приземистый домик с высокой камышовой крышей. Из трех окошек одно, завешенное изнутри чем-то красным, было освещено.

Что это был за двор? Фельдшер вспомнил, что вправо от дороги, на седьмой или шестой версте от больницы, должен был находиться постоялый двор Андрея Чирикова. Вспомнил он также, что после этого Чирикова, убитого недавно ямщиками, осталась старуха и дочка Любка, которая года два назад приезжала в больницу лечиться. Двор пользовался дурной славой, и заехать в него поздно вечером, да еще с чужою лошадью, было небезопасно. Но делать было нечего. Фельдшер нащупал у себя в сумке револьвер и, строго кашлянув, постучал кнутовищем по оконной раме.

– Эй, кто здесь есть? – крикнул он. – Старушка божья, пусти-ка погреться!

Черная собака с хриплым лаем кубарем покатила под ноги лошади, потом другая, белая, потом еще черная – этак штук десять! Фельдшер высмотрел самую крупную, размахнулся и изо всей силы хлестнул по ней

кнутом. Небольшой песик на высоких ногах поднял вверх острую морду и завыл тонким пронзительным голоском.

Долго стоял фельдшер у окна и стучал. Но вот за забором, около дома, на деревьях зарделся иней, ворота заскрипели, и показалась закутанная женская фигура с фонарем в руках.

– Пусти, бабушка, погреться, – сказал фельдшер. – Ехал в больницу и с дороги сбился. Погода, не приведи бог. Ты не бойся, мы люди свои, бабушка.

– Свои все дома, а чужих мы не звали, – сурово проговорила фигура. – И что стучать зря? Ворота не заперты.

Фельдшер въехал во двор и остановился у крыльца.

– Вели-ка, бабка, работнику, чтоб лошадь мою убрал, – сказал он.

– Я не бабка.

И в самом деле, это была не бабка. Когда она тушила фонарь, лицо ее осветилось и фельдшер увидел черные брови и узнал Любку.

– Какие теперь работники? – проговорила

она, идя в дом. – Которые пьяные спят, а которые еще с утра в Репино поуходили. Дело праздничное...

Привязывая под навесом свою лошадь, Ергунов услышал ржанье и разглядел в потемках еще чью-то лошадь и нащупал на ней казачье седло. Значит, в доме, кроме хозяек, был и еще кто-то. На всякий случай фельдшер расседлал свою лошадь и, идя в дом, захватил с собой и покупки и седло.

В первой комнате, куда он вошел, было просторно, жарко натоплено и пахло недавно вымытыми полами. За столом под образами сидел невысокий худощавый мужик лет сорока, с небольшой русой бородкой и в синей рубахе. Это был Калашников, отъявленный мошенник и конокрад, отец и дядя которого держали в Богалёвке трактир и торговали, где придется, крадеными лошадьми. В больнице и он бывал не раз, но приезжал не лечиться, а потолковать с доктором насчет лошадей: нет ли продажной и не пожелает ли его высокоблагородие господин доктор променять гнедую кобылку на буланого меринка. Теперь голова у него была напوماжена и в ухе блесте-

ла серебряная серьга, и вообще вид был праздничный. Нахмурясь и опустив нижнюю губу, он внимательно глядел в большую истрепанную книгу с картинками. Растянувшись на полу около печки, лежал другой мужик; лицо его, плечи и грудь были покрыты полушубком – должно быть, спал; около его новых сапогов с блестящими подковами темнели две лужи от растаявшего снега.

Увидев фельдшера, Калашников поздоровался.

– Да, погода... – сказал Ергунов, потирая ладонями озябшие колена. – За шею снегу понабилося, весь я промок, это самое, как хлющ. И револьвер мой, кажется, того...

Он вынул револьвер, оглядел его со всех сторон и положил опять в сумку. Но револьвер не произвел никакого впечатления: мужик продолжал глядеть в книгу.

– Да, погода... С дороги сбился и, если б не здешние собаки, то, кажется, смерть. Была бы история. А где же хозяйка?

– Старуха в Репино поехала, а девка вечерять готовит... – ответил Калашников.

Наступило молчание. Фельдшер, дрожа и

всхлипывая, дул на ладони и весь ёжился, и делал вид, что он очень озяб и замучился. Слышно было, как завывали на дворе не уни-мавшиеся собаки. Стало скучно.

– Ты сам из Богалёвки, что ли? – спросил фельдшер строго у мужика.

– Да, из Богалёвки.

И от нечего делать фельдшер стал думать об этой Богалёвке. Деревня большая, и лежит она в глубоком овраге, так что, когда едешь в лунную ночь по большой дороге и взглянешь вниз, в темный овраг, а потом вверх на небо, то кажется, что луна висит над бездонной пропастью и что тут конец света. Дорога ведет вниз крутая, извилистая и такая узкая, что когда едешь в Богалёвку на эпидемию или прививать оспу, то всё время нужно кричать во всё горло или свистать, а то иначе, если встретишься с телегой, то потом уж не разъедешься. Мужики богалёвские слынут за хороших садоводов и конокрадов; сады у них богатые: весной вся деревня тонет в белых вишневых цветах, а летом вишни продаются по три копейки за ведро. Заплати три копейки и рви. Бабы у мужиков красивые и сытые

и любят наряжаться, и даже в будни ничего не делают, а всё сидят на завалинках и ищут в головах друг у друга.

Но вот слышались шаги. В комнату вошла Любка, девушка лет двадцати, в красном платье и босая... Она искоса поглядела на фельдшера и раза два прошлась из угла в угол. Ходила она не просто, а мелкими шажками, выпятив вперед грудь; видимо, ей нравилось шлепать босыми ногами по недавно вымытому полу и разулась она нарочно для этого.

Калашников чему-то усмехнулся и пома-нил ее к себе пальцем. Она подошла к столу, и он показал ей в книге на пророка Илию, ко-торый правил тройкою лошадей, несущихся к небу. Любка облокотилась на стол; коса ее пе-рекинулась через плечо – длинная коса, ры-жая, перевязанная на конце красной ленточ-кой, – и едва не коснулась пола. И она тоже усмехнулась.

– Отличная, замечательная картина! – ска-зал Калашников. – Замечательная! – повто-рил он и сделал руками так, как будто хотел вместо Илии забрать в руки вожжи.

В печке гудел ветер; что-то зарычало и пискнуло, точно большая собака задушила крысу.

– Ишь, нечистые расходились! – проговорила Любка.

– Это ветер, – сказал Калашников; он помолчал, поднял глаза на фельдшера и спросил: – Как по-вашему, по-ученому, Осип Васильич, есть на этом свете черти или нет?

– Как тебе, братец, сказать? – ответил фельдшер и пожал одним плечом. – Если рассуждать по науке, то, конечно, чертей нету, потому что это предрассудок; а ежели рассуждать попросту, как вот мы сейчас с тобой, то черти есть, короче говоря... Я в своей жизни много испытал... После учения я определился в военные фельдшера в драгунский полк и был, конечно, на войне, имею медаль и знак отличия Красного Креста, а после Сан-стефанского договора вернулся в Россию и поступил в земство. И по причине такой громадной циркуляции моей жизни, я, могу сказать, видел столько, что другому и во сне не снилось. Случалось и чертей видеть, то есть не то чтобы чертей с рогами или хвостом – это одне

глупости, а так, собственно говоря, как будто вроде.

– Где? – спросил Калашников.

– В разных местах. Нечего далеко ходить, летошний год, не к ночи он будь помянут, встретил я его вот тут, почитай, у самого двора. Ехал я, это самое, помню, в Голышино, ехал оспу прививать. Известно, как всегда, беговые дрожки, ну, лошадь и необходимые причиндалы, да, кроме того, часы при мне и всё прочее, так что еду и остерегаюсь, как бы, неровен час, не того... Мало ли всяких бродяг. Подъезжаю я к Змеиной балочке, будь она проклята, начинаю спускаться и вдруг, это самое, идет кто-то такой. Волосы черные, глаза черные, и всё лицо словно от дыму закоптело... Подходит к лошади и прямо берет за левую вожжу: стой! Оглядел лошадь, потом, значит, меня, потом бросил вожжу и, не говоря худого слова: «Ты куда едешь?» А у самого зубы оскалены, глаза злобные... Ах ты, думаю, шут этакий! «Еду, говорю, оспу прививать. А тебе какое дело?» Он и говорит: «Коли так, говорит, то привей и мне оспу». Оголил руку и сует мне ее под нос. Конечно, не стал я с ним

разговаривать, взял и привил оспу, чтоб отвя-  
заться. После того, гляжу на свой ланцет, а он  
весь заржавел.

Мужик, спавший около печки, вдруг заво-  
рочался и сбросил с себя полушубок, и фельд-  
шер, к великому своему удивлению, увидел  
того самого незнакомца, которого встретил  
когда-то на Змеиной балочке. Волосы, борода  
и глаза у этого мужика были черные, как са-  
жа, лицо смуглое, и вдобавок еще на правой  
щеке сидело черное пятнышко величиной с  
чечевицу. Он насмешливо поглядел на фельд-  
шера и сказал:

– За левую вожжу брал – это было, а насчет  
оспы сбрежал, сударь. И разговору даже на-  
счет оспы у нас с тобой не было.

Фельдшер смутился.

– Я не про тебя говорю, – сказал он. – Лежи,  
когда лежишь.

Смуглый мужик ни разу не был в больни-  
це, и фельдшер не знал, кто он и откуда, и те-  
перь, глядя на него, решил, что это, должно  
быть, цыган. Мужик встал и, потягиваясь,  
громко зевая, подошел к Любке и Калашнико-  
ву, сел рядом и тоже стал глядеть в книгу. На

его заспанном лице показались умиление и зависть.

– Вот, Мерик, – сказала ему Любка, – приведи мне таких коней, я на небо поеду.

– На небо грешным нельзя... – сказал Калашников. – Это за святость.

Потом Любка собрала на стол и принесла большой кусок свиного сала, соленых огурцов, деревянную тарелку с вареным мясом, порезанным на мелкие кусочки, потом сковороду, на которой шипела колбаса с капустой. Появился на столе и граненый графин с водой, от которой, когда налили по рюмке, по всей комнате пошел дух апельсинной корки.

Фельдшеру было досадно, что Калашников и смуглый Мерик говорили между собой и не обращали на него никакого внимания, точно его и в комнате не было. А ему хотелось поговорить с ними, похвастать, выпить, наесться и, если можно, то и пошалить с Любкой, которая, пока ужинали, раз пять садилась около него и, словно нечаянно, трогала его своими красивыми плечами и поглаживала руками свои широкие бедра. Это была девка здоровая, смешливая, вертлявая, непоседа: то сядет, то

встанет, а сидя поворачивается к соседу то грудью, то спиной, как егоза, и непременно зацепит локтем или коленом.

И не нравилось также фельдшеру, что мужики выпили только по одной рюмке и больше уж не пили, а одному ему пить было как-то неловко. Но он не выдержал и выпил другую рюмку, потом третью и съел всю колбасу. Чтобы мужики не сторонились его, а приняли его в свою компанию, он решил польстить им.

– Молодцы у вас в Богалёвке! – сказал он и покрутил головой.

– Насчет чего молодцы? – спросил Калашников.

– Да вот, это самое, хоть насчет лошадей. Молодцы красть!

– Ну, нашел молодцов! Пьяницы только да воры.

– Было время, да прошло, – сказал Мерик после некоторого молчания. – Только вот разве один старый Филя у них остался, да и тот слепой.

– Да, один только Филя, – вздохнул Калашников. – Ему, почитай, теперь годов семьде-

сят; один глаз немцы-колонисты выкололи, а другим плохо видит. Бельмо. Прежде, бывало, завидит его становой и кричит: «Эй, ты, Шамиль!» и все мужики так – Шамиль да Шамиль, а теперь другого и звания ему нет, как кривой Филя. А молодчина был человек! С покойным Андреем Григорьичем, с Любашинным отцом, забрались раз ночью под Рожново, – а там конные полки в ту пору стояли, – и угнали девять солдатских лошадей, самых каких получше, и часовых не испугались, и утром же цыгану Афоньке всех лошадей за двадцать целковых продали. Да! А нынешний норовит угнать коня у пьяного или сонного, да бога не побоится и с пьяного, еще сапоги стащит, а потом жметесь, едет с той лошадью верст за двести и потом торгуется на базаре, торгуется, как жид, пока его урядник не забрет, дурака. Не гулянье, а одна срамота! Плевый народишко, что говорить.

– А Мерик? – спросила Любка.

– Мерик не наш, – сказал Калашников. – Он харьковский, из Мижирича. А что молодчина, это верно, грех пожалиться, хороший человек.

Любка лукаво и радостно поглядела на Мерика и сказала:

– Да, недаром его добрые люди в проруби купали.

– Как так? – спросил фельдшер.

– А так... – сказал Мерик и усмехнулся. – Угнал Филя у самойловских арендателей трех лошадей, а они на меня подумали. Их всех арендателей в Самойловке человек десять, а с работниками и тридцать наберется, и всё молококаны... Вот один и говорит мне на базаре: «Приходи, Мерик, поглядеть, мы с ярмарки новых лошадей пригнали». Мне, известно, любопытно, прихожу до них, а они, сколько их было, человек тридцать, скрутили мне назад руки и повели на реку. Мы, говорят, тебе покажем лошадей. Прорубь одна была уже готовая, они рядом, этак на сажень, другую прорубили. Потом, значит, взяли веревку и надели мне под мышки петлю, а к другому концу привязали кривую палку, чтоб, значит, сквозь обе проруби доставала. Ну, просунули палку и потянули. Я, как был, в шубе и в сапогах – бултых в прорубь! а они стоят и меня попикивают, кто ногой, а кто колуном, потом

потащили под лед и вытащили в другую про-  
рубь.

Любка вздрогнула и вся сжалась.

– Сначала меня от холода в жар бросило, – продолжал Мерик, – а когда вытащили нару-  
жу, не было никакой возможности, лег я на  
снег, а молоканы стоят около и бьют палками  
по коленкам и локтям. Больно, страсть! Побили  
и ушли... А на мне всё мерзнет, одежда об-  
леденела, встал я, и нет мочи. Спасибо, ехала  
баба, подвезла.

Между тем фельдшер выпил рюмок пять  
или шесть; на душе у него посветлело и захо-  
телось тоже рассказать что-нибудь необычно-  
венное, чудесное, и показать, что он тоже мо-  
лодец и ничего не боится.

– А вот как у нас в Пензенской губернии... –  
начал было он.

Оттого, что он много пил и посоловел, и,  
быть может, оттого, что он раза два был ули-  
чен во лжи, мужики не обращали на него ни-  
какого внимания и даже перестали отвечать  
на его вопросы. Мало того, в его присутствии  
они пустились в такие откровенности, что  
ему становилось жутко и холодно, а это зна-

чило, что они его не замечали.

Манеры у Калашникова были солидные, как у человека степенного и рассудительного, говорил он обстоятельно, а зевая, всякий раз крестил себе рот, и никто бы не мог подумать, что это вор, бессердечный вор, обиравший бедняков, который уже раза два сидел в остроге, и общество уже составило приговор о том, чтобы сослать его в Сибирь, да откупились отец и дядя, такие же воры и негодяи, как он сам. Мерик же держал себя хватом. Он видел, что Любка и Калашников любят себя, и сам считал себя молодцом, и то подбоченивался, то выпячивал вперед грудь, то вытягивался так, что трещала скамья...

После ужина Калашников, не вставая, помолился на образ и пожал руку Мерику; тот тоже помолился и пожал руку Калашникову. Любка убрала ужин и насыпала на стол мятных пряников, каленых орехов, тыквенных семечек и поставила две бутылки со сладким вином.

– Царство небесное, вечный покой Андрею Григорьичу, – говорил Калашников, чокаясь с Мериком. – Когда он был жив, соберемся мы

здесь, бывало, или у брата Мартына и – боже мой, боже мой! – какие люди, какие разговоры! Замечательные разговоры! Тут и Мартын, и Филя, и Стукотей Федор... Всё благородно, сообразно... А как гуляли! Так гуляли, так гуляли!

Любка вышла и немного погодя вернулась в зеленом платочке и в бусах.

– Мерик, погляди, что мне сегодня Калашников привез! – сказала она.

Она погляделась в зеркало и несколько раз мотнула головой, чтобы зазвучали бусы. А потом открыла сундук и стала вынимать оттуда то ситцевое платье с красными и голубыми глазочками, то другое – красное, с оборками, которое шуршало и шелестело, как бумага, то новый платок, синий, с радужным отливом – и всё это она показывала и, смеясь, всплескивала руками, как будто изумлялась, что у нее такие сокровища.

Калашников настроил балалайку и заиграл, и фельдшер никак не мог понять, какую он песню играет, веселую или грустную, потому что было то очень грустно, даже плакать хотелось, то становилось весело. Мерик вдруг

вскочил и затопал на одном месте каблуками, а затем, растопырив руки, прошелся на одних каблуках от стола к печке, от печки к сундуку, потом привскочил, как ужаленный, щелкнул в воздухе подковками и пошел валять вприсядку. Любка взмахнула обеими руками, отчаянно взвизгнула и пошла за ним; сначала она прошлась боком-бокком, ехидно, точно желая подкрасться к кому-то и ударить сзади, застучала дробно пятками, как Мерик каблуками, потом закружилась волчком и присела, и ее красное платье раздулось в колокол; злобно глядя на нее и оскалив зубы, понесся к ней вприсядку Мерик, желая уничтожить ее своими страшными ногами, а она вскочила, закинула назад голову и, взмахивая руками, как большая птица крыльями, едва касаясь пола, поплыла по комнате...

«Ах, что за огонь-девка! – думал фельдшер, садясь на сундук и отсюда глядя на танцы. – Что за жар! Отдай всё да и мало...»

И он жалел: зачем он фельдшер, а не простой мужик? Зачем на нем пиджак и цепочка с позолоченным ключиком, а не синяя рубаха с веревочным пояском? Тогда бы он мог сме-

ло петь, плясать, пить, обхватывать обеими руками Любку, как это делал Мерик...

От резкого стука, крика и гиканья в шкапу звенела посуда, на свечке прыгал огонь.

Порвалась нитка, и бусы рассыпались по всему полу, свалился с головы зеленый платок, и вместо Любки мелькало только одно красное облако, да сверкали темные глаза, а у Мерика, того и гляди, сейчас оторвутся руки и ноги.

Но вот Мерик стукнул в последний раз ногами и стал, как вкопанный... Замучившись, еле дыша, Любка склонилась к нему на грудь и прижалась, как к столбу, а он обнял ее и, глядя ей в глаза, сказал нежно и ласково, как бы шутя:

– Ужо узнаю, где у твоей старухи деньги спрятаны, убью ее, а тебе горлышко ножичком перережу, а после того зажгу постоялый двор... Люди будут думать, что вы от пожара пропали, а я с вашими деньгами пойду в Кубань, буду там табуны гонять, овец заведу...

Любка ничего не ответила, а только виновато поглядела на него и спросила:

– Мерик, а хорошо в Кубани?

Он ничего не сказал, а пошел к сундуку, сел и задумался; вероятно, стал мечтать о Кубани.

– Время мне ехать, иначе, – сказал Калашников, поднимаясь. – Должно, Филя уж дожидается. Прощай, Люба!

Фельдшер вышел на двор поглядеть: как бы не уехал Калашников на его лошади. Метель всё еще продолжалась. Белые облака, цепляясь своими длинными хвостами за бурьян и кусты, носились по двору, а по ту сторону забора, в поле, великаны в белых саванах с широкими рукавами кружились и падали, и опять поднимались, чтобы махать руками и драться. А ветер-то, ветер! Голые березки и вишни, не вынося его грубых ласок, низкогнулись к земле и плакали: «Боже, за какой грех ты прикрепил нас к земле и не пускаешь на волю?»

– Тпррр! – строго сказал Калашников и сел на свою лошадь; одна половинка ворот была отворена, и около нее навалило высокий сугроб. – Ну, поехала, что ли! – прикрикнул Калашников. Малорослая, коротконогая лошаденка его пошла, завязла по самый живот в

сугробе. Калашников побелел от снега и скоро вместе со своею лошадыю исчез за воротами.

Когда фельдшер вернулся в комнату, Любка ползала по полу и собирала бусы. Мерика не было.

«Славная девка! – думал фельдшер, ложась на скамью и кладя под голову полушубок. – Ах, если б Мерика тут не было!»

Любка раздражала его, ползая по полу около скамьи, и он подумал, что если бы здесь не было Мерика, то он непременно вот встал бы и обнял ее, а что дальше, там было бы видно. Правда, она еще девушка, но едва ли честная; да хотя бы и честная – стоит ли церемониться в разбойничьем вертепе? Любка собрала бусы и вышла. Свечка догорала, и огонь уж захватил бумажку в подсвечнике. Фельдшер положил возле себя револьвер и спички и потушил свечу. Лампадка сильно мигала, так что было больно глазам, и пятна прыгали по потолку, по полу, по шкапу, и среди них мерещилась Любка, крепкая, полногрудая: то вертится волчком, то замучилась пляской и тяжело дышит...

«Ах, если б Мерика унесли нечистые!» – думал он.

Лампадка в последний раз мигнула, затрещала и потухла. Кто-то, должно быть Мерик, вошел в комнату и сел на скамью. Он потянул из трубки, и на мгновение осветилась смуглая щека с черным пятнышком. От противного табачного дыма у фельдшера зачесалось в горле.

– Да и поганый же у тебя табак, – будь он проклят! – сказал фельдшер. – Даже тошно.

– Я табак с овсяным цветом мешаю, – ответил Мерик, помолчав. – Грудям легче.

Он покурил, поплевал и опять ушел. Прошло с полчаса, и в сенях вдруг блеснул свет; показался Мерик в полушубке и в шапке, потом Любка со свечой в руках.

– Остайся, Мерик! – сказала Любка умоляющим голосом.

– Нет, Люба. Не держи.

– Послушай меня, Мерик, – сказала Любка, и голос ее стал нежен и мягок. – Я знаю, ты разыщешь у мамки деньги, загубишь и ее, и меня, и пойдешь на Кубань любить других девушек, но бог с тобой. Я тебя об одном прошу,

сердце: останься!

– Нет, гулять желаю... – сказал Мерик, под-  
поясываясь.

– И гулять тебе не на чем... Ведь ты пеш-  
ком пришел, на чем ты поедешь?

Мерик нагнулся к Любке и шепнул ей что-  
то на ухо; она поглядела на дверь и засмея-  
лась сквозь слезы.

– А он спит, сатана надутая... – сказала она.

Мерик обнял ее, крепко поцеловал и вы-  
шел наружу. Фельдшер сунул револьвер в  
карман, быстро вскочил и побежал за ним.

– Пусти с дороги! – сказал он Любке, кото-  
рая в сенях быстро заперла дверь на засов и  
остановилась на пороге. – Пусти! Что стала?

– Зачем тебе туда?

– На лошадь поглядеть.

Любка посмотрела на него снизу вверх лу-  
каво и ласково.

– Что на нее глядеть? Ты на меня погля-  
ди... – сказала она, потом нагнулась и дотро-  
нулась пальцем до золоченого ключика, ви-  
севшего на его цепочке.

– Пусти, а то он уедет на моей лошади! –  
сказал фельдшер. – Пусти, чёрт! – крикнул он

и, ударив ее со злобой по плечу, изо всей силы навалился грудью, чтобы оттолкнуть ее от двери, но она крепко уцепилась за засов и была точно железная. – Пусти! – крикнул он, замучившись. – Уедет, говорю!

– Где ему? Не уедет.

Она, тяжело дыша и поглаживая плечо, которое болело, опять поглядела на него снизу вверх, покраснела и засмеялась.

– Не уходи, сердце... – сказала она. – Мне одной скучно.

Фельдшер поглядел ей в глаза, подумал и обнял ее, она не противилась.

– Ну, не балуй, пусти! – попросил он.

Она молчала.

– А я слышал, – сказал он, – как ты сейчас говорила Мерику, что его любишь.

– Мало ли... Кого я люблю, про то моя думка знает.

Она опять дотронулась пальцем до ключика и сказала тихо:

– Дай мне это...

Фельдшер отцепил ключик и отдал ей. Она вдруг вытянула шею, прислушалась и сделала серьезное лицо, и взгляд ее показался

фельдшеру холодным и лукавым; он вспомнил про коня и уже легко отстранил ее и выбежал на двор. Под навесом мерно и лениво хрюкала засыпавшая свинья и стучала рогом корова... Фельдшер зажег спичку и увидел и свинью, и корову, и собак, которые со всех сторон бросились к нему на огонь, но лошади и след простыл. Крича и махая руками на собак, спотыкаясь о сугробы и увязая в снегу, он выбежал за ворота и стал вглядываться в потемки. Он напрягал зрение и видел только, как летал снег и как снежинки явственно складывались в разные фигуры: то выглянет из потемок белая смеющаяся рожа мертвеца, то проскачет белый конь, а на нем амазонка в кисейном платье, то пролетит над головою вереница белых лебедей... Дрожа от гнева и холода, не зная, что делать, фельдшер выстрелил из револьвера в собак и не попал ни в одну, потом бросился назад в дом.

Когда он входил в сени, то ему ясно послышалось, как кто-то шмыгнул из комнаты и стукнул дверь. В комнате было темно; фельдшер толкнулся в дверь – заперта; тогда, зажигая спичку за спичкой, он бросился на-

зад в сени, оттуда в кухню, из кухни в маленькую комнату, где все стены были увешаны юбками и платьями и пахло васильками и укропом, и в углу около печи стояла чья-то кровать с целою горою подушек; тут, должно быть, жила старуха, Любкина мать; отсюда прошел он в другую комнату, тоже маленькую, и здесь увидел Любку. Она лежала на сундуке, укрытая пестрым стеганым одеялом, сшитым из ситцевых лоскутиков, и представлялась спящею. Над ее изголовьем горела лампадка.

– Где моя лошадь? – строго спросил фельдшер.

Любка не шевелилась.

– Где моя лошадь, я тебя спрашиваю? – повторил фельдшер еще строже и сорвал с нее одеяло. – Я тебя спрашиваю, чертовка! – крикнул он.

Она вскочила, стала на колени и, одной рукой придерживая сорочку, а другой стараясь ухватить одеяло, прижалась к стене... Глядела она на фельдшера с отвращением, со страхом, и глаза у нее, как у пойманного зверя, лукаво следили за малейшим его движением.

– Говори, где лошадь, а то я из тебя душу вышибу! – крикнул фельдшер.

– Отойди, поганый! – сказала она хриплым голосом.

Фельдшер схватил ее за сорочку около шеи и рванул; и тут же не выдержал и изо всех сил обнял девку. А она, шипя от злости, заскользила в его объятиях и, высвободив одну руку – другая запуталась в порванной сорочке – ударила его кулаком по темени.

В голове у него помутилось от боли, в ушах зазвенело и застучало, он попятился назад и в это время получил другой удар, но уже по виску. Пошатываясь и хватаясь за косяки, чтобы не упасть, он пробрался в комнату, где лежали его вещи, и лег на скамью, потом, полежав немного, вынул из кармана коробку со спичками и стал жечь спичку за спичкой, без всякой надобности: зажжет, дунет и бросит под стол – и так, пока не вышли все спички.

Между тем за окном стал синеть воздух, заголосили петухи, а голова всё болела и в ушах был такой шум, как будто Ергунов сидел под железнодорожным мостом и слушал, как над головой его проходит поезд. Кое-как он

надел полушубок и шапку; седла и узла с покупками он не нашел, сумка была пуста: недаром кто-то шмыгнул из комнаты, когда он давеча входил со двора.

Он взял в кухне кочергу, чтобы оборониться от собак, и вышел на двор, оставив дверь настежь. Метель уж улеглась, и на дворе было тихо... Когда он вышел за ворота, белое поле представлялось мертвым и ни одной птицы не было на утреннем небе. По обе стороны дороги и далеко вдали синел мелкий лес.

Фельдшер стал было думать о том, как встретят его в больнице и что скажет ему доктор; нужно было непременно думать об этом и приготовить заранее ответы на вопросы, но мысли эти расплывались и уходили прочь. Он шел и думал только о Любке, о мужиках, с которыми провел ночь; вспоминал он о том, как Любка, ударив его во второй раз, нагнулась к полу за одеялом и как упала ее распустившаяся коса на пол. У него путалось в голове, и он думал: к чему на этом свете доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? Есть же ведь вольные птицы, вольные звери, вольный Мерик, и ни-

кого они не боятся, и никто им не нужен! И кто это выдумал, кто сказал, что вставать нужно утром, обедать в полдень, ложиться вечером, что доктор старше фельдшера, что надо жить в комнате и можно любить только жену свою? А почему бы не наоборот: обедать бы ночью, а спать днем? Ах, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чёртом вперегонку с ветром, по полям, лесам и оврагам, любить бы девушек, смеяться бы над всеми людьми...

Фельдшер бросил кочергу в снег, припал лбом к белому холодному стволу березы и задумался, и его серая, однообразная жизнь, его жалованье, подчиненность, аптека, вечная возня с банками и мушками казались ему презренными, тошными.

– Кто говорит, что гулять грех? – спрашивал он себя с досадой. – А вот которые говорят это, те никогда не жили на воле, как Мерик или Калашников, и не любили Любки; они всю свою жизнь побирались, жили без всякого удовольствия и любили только своих жен, похожих на лягушек.

И про себя он теперь думал так, что если

сам он до сих пор не стал вором, мошенником или даже разбойником, то потому только, что не умеет или не встречал еще подходящего случая.

Прошло года полтора. Как-то весной, после Святой, фельдшер, давно уже уволенный из больницы и ходивший без места, поздно вечером вышел в Репине из трактира и побрел по улице без всякой цели.

Вышел он в поле. Там пахло весной и дул теплый, ласковый ветерок. Тихая, звездная ночь глядела с неба на землю. Боже мой, как глубоко небо и как неизмеримо широко раскинулось оно над миром! Хорошо создан мир, только зачем и с какой стати, думал фельдшер, люди делят друг друга на трезвых и пьяных, служащих и уволенных и пр. ? Почему трезвый и сытый покойно спит у себя дома, а пьяный и голодный должен бродить по полю, не зная приюта? Почему кто не служит и не получает жалованья, тот непременно должен быть голоден, раздет, не обут? Кто это выдумал? Почему же птицы и лесные звери не служат и не получают жалованья, а живут в свое удовольствие?

Вдали на небе, распахнувшись над горизонтом, дрожало красивое багровое зарево. Фельдшер стоял и долго глядел на него и всё думал: почему если он вчера унес чужой самовар и прогулял его в кабаке, то это грех? Почему?

Мимо по дороге проехали две телеги: в одной спала баба, в другой сидел старик без шапки...

– Дед, где это горит? – спросил фельдшер.

– Двор Андрея Чирикова... – ответил старик.

И вспомнил фельдшер, что случилось с ним года полтора назад, зимою, в этом самом дворе, и как хвастал Мерик; и вообразил он, как горят зарезанные старуха и Любка, и позавидовал Мерику. И когда шел опять в трактир, то, глядя на дома богатых кабатчиков, прасолов и кузнецов, соображал: хорошо бы ночью забраться к кому побогаче!

# Гусев

## I

Уже потемнело, скоро ночь.

Гусев, бессрочноотпускной рядовой, приподнимается на койке и говорит вполголоса:

– Слышишь, Павел Иваныч? Мне один солдат в Сучане сказывал: ихнее судно, когда они шли, на рыбину наехало и днище себе проломило.

Человек неизвестного звания, к которому он обращается и которого все в судовом лазарете зовут Павлом Иванычем, молчит, как будто не слышит.

И опять наступает тишина... Ветер гуляет по снастям, стучит винт, хлещут волны, скрипят койки, но ко всему этому давно уже привыкло ухо, и кажется, что всё кругом спит и безмолвствует. Скучно. Те трое больных – два солдата и один матрос – которые весь день играли в карты, уже спят и бредят.

Кажется, начинает покачивать. Койка под

Гусевым медленно поднимается и опускается, точно вздыхает – и этак раз, другой, третий... Что-то ударилось о пол и зазвенело: должно быть, кружка упала.

– Ветер с цепи сорвался... – говорит Гусев, прислушиваясь.

На этот раз Павел Иваныч кашляет и отвечает раздраженно:

– То у тебя судно на рыбу наехало, то ветер с цепи сорвался... Ветер зверь, что ли, что с цепи срывается?

– Так крещеные говорят.

– И крещеные такие же невежды, как ты... Мало ли чего они не говорят? Надо свою голову иметь на плечах и рассуждать. Бессмысленный человек.

Павел Иваныч подвержен морской болезни. Когда качает, он обыкновенно сердится и приходит в раздражение от малейшего пустяка. А сердиться, по мнению Гусева, положительно не на что. Что странного или мудреного, например, хоть в рыбе или в ветре, который срывается с цепи? Положим, что рыба величиной с гору и что спина у нее твердая, как у осетра; также положим, что там, где конец

света, стоят толстые каменные стены, а к стенам прикованы злые ветры... Если они не сорвались с цепи, то почему же они мечутся по всему морю, как угорелые, и рвутся, словно собаки? Если их не приковывают, то куда же они деваются, когда бывает тихо?

Гусев долго думает о рыбах, величиною с гору, и о толстых, заржавленных цепях, потом ему становится скучно, и он начинает думать о родной стороне, куда теперь возвращается он после пятилетней службы на Дальнем Востоке. Рисуется ему громадный пруд, занесенный снегом... На одной стороне пруда фарфоровый завод кирпичного цвета, с высокой трубой и с облаками черного дыма; на другой стороне – деревня... Из двора, пятого с краю, едет в санях брат Алексей; позади него сидят сынишка Ванька, в больших валенках, и девочка Акулька, тоже в валенках. Алексей выпивши, Ванька смеется, а Акулькина лица не видать – закуталась.

«Не ровен час, детей поморозит...» – думает Гусев. – Пошли им, господи, – шепчет он, – ума-разума, чтоб родителей почитали и умней отца-матери не были...

– Тут нужны новые подметки, – бредит басом больной матрос – Да, да!

Мысли у Гусева обрываются, и вместо пруда вдруг ни к селу, ни к городу показывается большая бычья голова без глаз, а лошадь и сани уж не едут, а кружатся в черном дыму. Но он всё-таки рад, что повидал родных. Радость захватывает у него дыхание, бегают мурашками по телу, дрожит в пальцах.

– Привел господь повидаться! – бредит он, но тотчас же открывает глаза и ищет в потемках воду.

Он пьет и ложится, и опять едут сани, потом опять бычья голова без глаз, дым, облака... И так до рассвета.

Сначала в потемках обозначается синий кружок – это круглое окошечко; потом Гусев мало-помалу начинает различать своего соседа по койке, Павла Иваныча. Этот человек спит сидя, так как в лежащем положении он задыхается. Лицо у него серое, нос длинный, острый, глаза, оттого, что он страшно исхудал, громадные; виски впали, борода жиденькая, волосы на голове длинные... Глядя на лицо, никак не поймешь, какого он звания: барин ли, купец, или мужицкого звания? Судя по выражению и длинным волосам, он как будто бы постник, монастырский послушник, а прислушаешься к его словам – выходит, как будто бы и не монах. От качки, духоты и от своей болезни он изнемог, тяжело дышит и шевелит высохшими губами. Заметив, что Гусев глядит на него, он поворачивается к нему лицом и говорит:

– Я начинаю догадываться... Да... Я теперь отлично всё понимаю.

– Что вы понимаете, Павел Иваныч?

– А вот что... Мне всё казалось странным,

как это вы, тяжело больные, вместо того, чтобы находиться в покое, очутились на пароходе, где и духота, и жар, и качка, всё, одним словом, угрожает вам смертью, теперь же для меня всё ясно... Да... Ваши доктора сдали вас на пароход, чтобы отвязаться от вас. Надоело с вами возиться, со скотами... Денег вы им не платите, возня с вами, да и отчетность своими смертями портите – стало быть, скоты! А отделаться от вас не трудно... Для этого нужно только, во-первых, не иметь совести и человеколюбия и, во-вторых, обмануть пароходное начальство. Первое условие можно хоть и не считать, в этом отношении мы артисты, а второе всегда удается при некотором навыке. В толпе четырехсот здоровых солдат и матросов пять больных не бросаются в глаза; ну, сгнали вас на пароход, смешали со здоровыми, наскоро сосчитали и в суматохе ничего дурного не заметили, а когда пароход отошел, то и увидели: на палубе валяются параличные да чахоточные в последнем градусе...

Гусев не понимает Павла Иваныча; думая, что ему делают выговор, он говорит в свое оправдание:

– Я лежал на палубе потому, что сил не было; когда нас из баржи на пароход выгружали, я шибко озяб.

– Возмутительно! – продолжает Павел Иванович. – Главное, отлично ведь знают, что вы не перенесете этого далекого перехода, а все-таки сажают вас сюда! Ну, положим, до Индейского океана вы дойдете, а потом что? Страшно подумать... И это благодарность за верную, беспорочную службу!

Павел Иванович делает злые глаза, брезгливо морщится и говорит, задыхаясь:

– Вот бы кого в газетах расщелкать так, чтобы перья посыпались!

Больные два солдата и матрос проснулись и уже играют в карты. Матрос полулежит на койке, солдаты сидят возле на полу и в самых неудобных позах. У одного солдата правая рука в повязке и на кисти наворочена целая шапка, так что карты держит он в правой подмышке или в локтевом сгибе, а ходит левой рукой. Сильно качает. Нельзя ни встать, ни чаю напиться, ни лекарства принять.

– Ты в денщиках служил? – спрашивает Павел Иванович у Гусева.

– Точно так, в денщиках.

– Боже мой, боже мой! – говорит Павел Иваныч и печально покачивает головой. – Вырвать человека из родного гнезда, тащить пятнадцать тысяч верст, потом вогнать в чухотку и... и для чего всё это, спрашивается? Для того, чтоб сделать из него денщика для какого-нибудь капитана Копейкина или мичмана Дырки. Как много логики!

– Дело не трудное, Павел Иваныч. Встанешь утром, сапоги почистишь, самовар поставишь, комнаты убереешь, а потом и делать нечего. Поручик целый день планты чертит, а ты хочешь – богу молись, хочешь – книжки читай, хочешь – на улицу ступай. Дай бог всякому такой жизни.

– Да, очень хорошо! Поручик планты чертит, а ты весь день на кухне сидишь и по родине тоскуешь... Планты... Не в плантах дело, а в жизни человеческой! Жизнь не повторяется, щадить ее нужно.

– Оно конечно, Павел Иваныч, дурному человеку нигде пощады нет, ни дома, ни на службе, но ежели ты живешь правильно, слушаешься, то какая кому надобность тебя оби-

жать? Господа образованные, понимают... За пять лет я ни разу в карцере не сидел, а бит был, дай бог память, не больше одного раза...

– За что?

– За драку. У меня рука тяжелая, Павел Иваныч. Вошли к нам во двор четыре манзы; дрова носили, что ли – не помню. Ну, мне скучно стало, я им того, бока помял, у одного проклятого из носа кровь пошла... Поручик увидел в окошко, осерчал и дал мне по уху.

– Глупый, жалкий ты человек... – шепчет Павел Иваныч. – Ничего ты не понимаешь.

Он совсем изнемог от качки и закрыл глаза; голова у него то откидывается назад, то опускается на грудь. Несколько раз пробует он лечь, но ничего у него не выходит: мешает удушье.

– А за что ты четырех манз побил? – спрашивает он, немного погодя.

– Так. Во двор вошли, я и побил.

И наступает тишина... Картежники играют часа два, с азартом и с руганью, но качка утомляет и их; они бросают карты и ложатся. Опять рисуется Гусеву большой пруд, завод, деревня... Опять едут сани, опять Ванька сме-

ется, а Акулька-дура распахнула шубу и выставила ноги: глядите мол, люди добрые, у меня не такие валенки, как у Ваньки, а новые.

– Шестой годочек пошел, а всё еще разума нет! – бредит Гусев. – Вместо того, чтобы ноги задирать, поди-кась дядьке служивому напиться принеси. Гостинца дам.

Вот Андрон с кремневым ружьем на плече несет убитого зайца, а за ним идет дряхлый жид Исайчик и предлагает ему променять зайца на кусок мыла; вот черная телочка в сенях, вот Домна рубаху шьет и о чем-то плачет, а вот опять бычья голова без глаз, черный дым...

Наверху кто-то громко крикнул, пробежало несколько матросов; кажется, протащили по палубе что-то громоздкое или что-то треснуло. Опять пробежали... Уж не случилось ли несчастье? Гусев поднимает голову, прислушивается и видит: два солдата и матрос опять играют в карты; Павел Иванович сидит и шевелит губами. Душно, нет сил дышать, пить хочется, а вода теплая, противная... Качка не унимается.

Вдруг с солдатом-картежником делается

что-то странное... Он называет черви бубнами, путается в счете и роняет карты, потом испуганно и глупо улыбается и обводит всех глазами.

– Я сейчас, братцы... – говорит он и ложится на пол.

Все в недоумении. Его окликают, он не отзывается.

– Степан, может, тебе нехорошо? а? – спрашивает другой солдат с повязкой на руке. – Может, попа призвать? а?

– Ты, Степан, воды выпей... – говорит матрос – На, братишка, пей.

– Ну, что ты его по зубам кружкой колотишь? – сердится Гусев. – Нешто не видишь, голова садовая?

– Что?

– Что! – передразнивает Гусев. – В нем дыхания нет, помер! Вот тебе – и что! Экий народ неразумный, господи ты боже мой!..

### III

Качки нет, и Павел Иванович повеселел. Он уже не сердится. Выражение лица у него хвастливое, задорное и насмешливое. Он как будто хочет сказать: «Да, сейчас я скажу вам такую штуку, что вы все от смеха животы себе порвете». Круглое окошечко открыто, и на Павла Ивановича дует мягкий ветерок. Слышны голоса, шлепанье весел о воду... Под самым окошечком кто-то завывает тоненьким, противным голоском: должно быть, китаец поет.

– Да, вот мы и на рейде, – говорит Павел Иванович, насмешливо улыбаясь. – Еще какой-нибудь один месяц, и мы в России. Нда-с, многоуважаемые господа солдафоны. Приеду в Одессу, а оттуда прямо в Харьков. В Харькове у меня литератор приятель. Приду к нему и скажу: ну, брат, оставь на время свои гнусные сюжеты насчет бабьих амуров и красот природы и обличай двуногую мразь... Вот тебе темы...

Минуту он думает о чем-то, потом говорит:

– Гусев, а ты знаешь, как я надул их?

– Кого, Павел Иванович?

– Да этих самых... Понимаешь ли, тут на пароходе существуют только первый и третий классы, причем в третьем классе допускается ехать одним только мужикам, то есть хамам. Если же ты в пиджаке и хоть издали похож на барина или на буржуа, то изволь ехать в первом классе. Хоть тресни, а выкладывай пятьсот рублей. К чему, спрашиваю, завели вы такой порядок? Уж не хотите ли поднять этим престиж российской интеллигенции? «Нисколько. Не пускаем вас просто потому, что в третьем классе нельзя ехать порядочному человеку: уж очень там скверно и безобразно». Да-с? Благодарю, что так заботитесь о порядочных людях. Но во всяком случае, скверно там или хорошо, а пятисот рублей у меня нет. Казны я не грабил, инородцев не эксплуатировал, контрабандой не занимался, никого не заporол до смерти, а потому судите: имею ли я право восседать в первом классе, а тем паче причислять себя к российской интеллигенции? Но их логикой не проймешь... Пришлось прибегнуть к надувательству. Надел я чуйку и большие сапоги, состро-

ил пьяную хамскую рожу и иду к агенту: «Давай, говорю, ваше высокоблагородие, билетик...»

– А вы сами какого звания? – спрашивает матрос.

– Духовного. Мой отец был честный поп. Всегда говорил великим мира сего правду в глаза и за это много страдал.

Павел Иваныч утомился говорить и задыхается, но все-таки продолжает:

– Да, я всегда говорю в лицо правду... Я никого и ничего не боюсь. В этом отношении между мной и вами – разница громадная. Вы люди темные, слепые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете... Вам говорят, что ветер с цепи срывается, что вы скоты, печенег, вы и верите; по шее вас бьют, вы ручку целуете; ограбит вас какое-нибудь животное в енотовой шубе и потом швырнет вам пятиалтынный на чай, а вы: «Пожалуйста, барин, ручку». Парии вы, жалкие люди... Я же другое дело. Я живу сознательно, я всё вижу, как видит орел или ястреб, когда летает над землей, и всё понимаю. Я воплощенный протест. Вижу произвол –

протестую, вижу ханжу и лицемера – протестую, вижу торжествующую свинью – протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать. Да... Отрежь мне язык – буду протестовать мимикой, замуравь меня в погреб – буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было больше, убей меня – буду являться тенью. Все знакомые говорят мне: «Невыносимейший вы человек, Павел Иванович!» Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался. Приятели пишут из России: «Не приезжай». А я вот возьму, да на зло и приеду... Да... Вот это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью.

Гусев не слушает и смотрит в окошечко. На прозрачной, нежно-бирюзовой воде, вся залитая ослепительным, горячим солнцем, качается лодка. В ней стоят голые китайцы, протягивают вверх клетки с канарейками и кричат:

– Поет! Поет!

О лодку стукнулась другая лодка, пробежал паровой катер. А вот еще лодка: сидит в ней толстый китаец и ест палочками рис. Лениво колышется вода, лениво носятся над нею белые чайки.

«Вот этого жирного по шее бы смазать...» – думает Гусев, глядя на толстого китайца и зевавая.

Он дремлет, и кажется ему, что вся природа находится в дремоте. Время бежит быстро. Незаметно проходит день, незаметно наступают потемки... Пароход не стоит уж на месте, а идет куда-то дальше.

## IV

Проходит два дня. Павел Иванович уж не сидит, а лежит; глаза у него закрыты, нос стал как будто острее.

– Павел Иванович! – окликает его Гусев. – А, Павел Иванович!

Павел Иванович открывает глаза и шевелит губами.

– Вам нездорово?

– Ничего... – отвечает Павел Иванович, задыхаясь. – Ничего, даже, напротив... лучше... Видишь, я уже и лежать могу... Полегчало...

– Ну, и слава богу, Павел Иванович.

– Как сравнишь себя с вами, жалко мне вас... бедняг. Легкие у меня здоровые, а кашель это желудочный... Я могу перенести ад, не то что Красное море! К тому же, я отношусь критически и к болезни своей, и к лекарствам. А вы... вы темные... Тяжело вам, очень, очень тяжело!

Качки нет, тихо, но зато душно и жарко, как в бане; не только говорить, но даже слушать трудно. Гусев обнял колени, положил на них голову и думает о родной стороне. Боже

мой, в такую духоту какое наслаждение думать о снеге и холоде! Едешь на санях; вдруг лошади испугались чего-то и понесли... Не разбирая ни дорог, ни канав, ни оврагов, несутся они, как бешеные, по всей деревне, через пруд, мимо завода, потом по полю... «Держи! – кричат во все горло заводские и встречные. – Держи!» Но зачем держать! Пусть резкий, холодный ветер бьет в лицо и кусает руки, пусть комья снега, подброшенные копытами, падают на шапку, за воротник, на шею, на грудь, пусть визжат полозья и обрываются постромки и вальки, чёрт с ними совсем! А какое наслаждение, когда опрокидываются сани и летишь со всего размаху в сугроб, прямо лицом в снег, а потом встанешь весь белый, с сосульками на усах; ни шапки, ни рукавиц, пояс развязался... Люди хохочут, собаки лают...

Павел Иваныч открывает наполовину один глаз, глядит им на Гусева и спрашивает тихо:

– Гусев, твой командир крал?

– А кто ж его знает, Павел Иваныч! Мы не знаем, до нас не доходит.

И затем много времени проходит в молчании. Гусев думает, бредит и то и дело пьет воду; ему трудно говорить, трудно слушать, и боится он, чтоб с ним не заговорили. Проходит час, другой, третий; наступает вечер, потом ночь, но он не замечает этого, а всё сидит и думает о морозе.

Слышно, как будто кто вошел в лазарет, раздаются голоса, но проходит минут пять, и всё смолкает.

– Царство небесное, вечный покой, – говорит солдат с повязкой на руке. – Непokoйный был человек!

– Что? – спрашивает Гусев. – Кого?

– Помер. Сейчас наверх унесли.

– Ну, что ж, – бормочет Гусев, зевая. – Царство небесное.

– Как, по-твоему, Гусев? – спрашивает после некоторого молчания солдат с повязкой. – Будет он в царстве небесном или нет?

– Про кого ты?

– Про Павла Иваныча.

– Будет... мучился долго. И то взять, из духовного звания, а у попов родни много. Замолят.

Солдат с повязкой садится на койку к Гусеву и говорит вполголоса:

– И ты, Гусев, не жилец на этом свете. Не доедешь ты до России.

– Нешто доктор или фельдшер сказывал? – спрашивает Гусев.

– Не то, чтобы кто сказывал, а видать... Человека, который скоро помрет, сразу видно. Не ешь ты, не пьешь, исхудал – глядеть страшно. Чахотка, одним словом. Я говорю не для того, чтобы тебя тревожить, а к тому, может, ты захочешь причаститься и собороваться. А ежели у тебя деньги есть, то сдал бы ты их старшему офицеру.

– Я домой не написал... – вздыхает Гусев. – Помру, и не узнают.

– Узнают, – говорит басом больной матрос. – Когда помрешь, здесь запишут в вахтенный журнал, в Одессе дадут воинскому начальнику выписку, а тот пошлет в волость или куда там...

Гусеву становится жутко от такого разговора, и начинает его томить какое-то желание. Пьет он воду – не то; тянется к круглому окосечку и вдыхает горячий, влажный воздух –

не то; старается думать о родной стороне, о морозе – не то... Наконец, ему кажется, что если он еще хоть одну минуту пробудет в лазарете, то непременно задохнется.

– Тяжко, братцы... – говорит он. – Я пойду наверх. Сведите меня, ради Христа, наверх!

– Ладно, – соглашается солдат с повязкой. – Ты не дойдешь, я тебя снесу. Держись за шею.

Гусев обнимает солдата за шею, тот обхватывает его здоровую рукою и несет наверх. На палубе вповалку спят бессрочноотпускные солдаты и матросы; их так много, что трудно пройти.

– Становись наземь, – говорит тихо солдат с повязкой. – Иди за мной потихоньку, держись за рубаху...

Темно. Нет огней ни на палубе, ни на мачтах, ни кругом на море. На самом носу стоит неподвижно, как статуя, часовой, но похоже на то, как будто и он спит. Кажется, что пароход предоставлен собственной воле и идет, куда хочет.

– В море теперь Павла Иваныча бросят... – говорит солдат с повязкой. – В мешок да в воду.

– Да. Порядок такой.

– А дома в земле лучше лежать. Всё хоть мать придет на могилку, да поплачет.

– Известно.

Запахло навозом и сеном. Понутив головы, стоят у борта быки. Раз, два, три... восемь штук! А вот и маленькая лошадка. Гусев протягивает руку, чтобы приласкать ее, но она мотнула головой, оскалила зубы и хочет укусить его за рукав.

– Проклятая... – сердится Гусев.

Оба, он и солдат, тихо пробираются к носу, потом становятся у борта и молча глядят то вверх, то вниз. Наверху глубокое небо, ясные звезды, покой и тишина – точь-в-точь как дома в деревне, внизу же – темнота и беспорядок. Неизвестно для чего, шумят высокие волны. На какую волну ни посмотришь, всякая старается подняться выше всех, и давит, и гонит другую; на нее с шумом, отсвечивая своей белой гривой, налетает третья, такая же свирепая и безобразная.

У моря нет ни смысла, ни жалости. Будь пароход поменьше и сделан не из толстого железа, волны разбили бы его без всякого со-

жаления и сожрали бы всех людей, не разбирая святых и грешных. У парохода тоже бессмысленное и жестокое выражение. Это носатое чудовище прет вперед и режет на своем пути миллионы волн; оно не боится ни потемок, ни ветра, ни пространства, ни одиночества, ему всё нипочем, и если бы у океана были свои люди, то оно, чудовище, давило бы их, не разбирая тоже святых и грешных.

– Где мы теперь? – спрашивает Гусев.

– Не знаю. Должно, в океане.

– Не видать земли...

– Где ж! Говорят, только через семь дней увидим. Оба солдата смотрят на белую пену, отсвечивающую фосфором, молчат и думают. Первый нарушает молчание Гусев.

– А ничего нету страшного, – говорит он. – Только жутко, словно в темном лесу сидишь, а ежели б, положим, спустили сейчас на воду шлюпку и офицер приказал ехать за сто верст в море рыбу ловить – поехал бы. Или, скажем, крещеный упал бы сейчас в воду – упал бы и я за им. Немца или манзу не стал бы спасать, а за крещеным полез бы.

– А помирать страшно?

– Страшно. Мне хозяйства жалко. Брат у меня дома, знаешь, не степенный: пьяница, бабу зря бьет, родителей не почитает. Без меня всё пропадет и отец со старухой, гляди, по миру пойдут. Одначе, брат, ноги у меня не стоят, да и душно тут... Пойдем спать.

## V

Гусев возвращается в лазарет и ложится на койку. По-прежнему томит его неопределенное желание и он никак не может понять, что ему нужно. В груди давит, в голове стучит, во рту так сухо, что трудно пошевелить языком. Он дремлет и бредит и, замученный кошмарами, кашлем и духотой, к утру крепко засыпает. Снится ему, что в казарме только что вынули хлеб из печи, а он залез в печь и парится в ней березовым веником. Спит он два дня, а на третий в полдень приходят сверху два матроса и выносят его из лазарета.

Его зашивают в парусину и, чтобы он стал тяжелее, кладут вместе с ним два железных колосника. Защитый в парусину, он становится похожим на морковь или редьку: у го-

ловы широко, к ногам узко... Перед заходом солнца выносят его на палубу и кладут на доску; один конец доски лежит на борте, другой на ящике, поставленном на табурете. Вокруг стоят бессрочноотпускные и команда без шапок.

– Благословен бог наш, – начинает священник, – всегда, ныне и присно и во веки веков!

– Аминь! – поют три матроса.

Бессрочноотпускные и команда крестятся и поглядывают в сторону на волны. Странно, что человек зашит в парусину и что он полетит сейчас в волны. Неужели это может случиться со всяким?

Священник посыпает Гусева землей и кланяется. Поют «вечную память».

Вахтенный приподнимает конец доски, Гусев сползает с нее, летит вниз головой, потом переворачивается в воздухе и – бултых! Пена покрывает его, и мгновение кажется он окутанным в кружева, но прошло это мгновение – и он исчезает в волнах.

Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажен восемь-десять, он начинает идти тише и тише,

мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уж несется в сторону быстрее, чем вниз.

Но вот встречает он на пути стаю рыбок, которых называют лоцманами. Увидев темное тело, рыбки останавливаются, как вкопанные, и вдруг все разом поворачивают назад и исчезают. Меньше чем через минуту они быстро, как стрелы, опять налетают на Гусева и начинают зигзагами пронизывать вокруг него воду...

После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лоцмана в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравши телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лоцманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну.

А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с ним золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно.

# Бабы

В селе Райбуже, как раз против церкви, стоит двухэтажный дом на каменном фундаменте и с железной крышей. В нижнем этаже живет со своей семьей сам хозяин, Филипп Иванов Кашин, по прозвищу Дюдя, а в верхнем, где летом бывает очень жарко, а зимою очень холодно, останавливаются проезжие чиновники, купцы и помещики. Дюдя арендует участки, держит на большой дороге кабак, торгует и дегтем, и мёдом, и скотом, и сороками, и у него уж набралось тысяч восемь, которые лежат в городе в банке.

Старший сын его Фёдор служит на заводе в старших механиках и, как говорят про него мужики, далеко в гору пошел, так что до него теперь рукой не достанешь; жена Фёдора Софья, некрасивая и болезненная баба, живет дома при свёкре, всё плачет и каждое воскресенье ездит в больницу лечиться. Второй сын Дюди, горбатенький Алёшка, живет дома при отце. Его недавно женили на Варваре, которую взяли из бедной семьи; это баба молодая, красивая, здоровая и щеголиха. Когда оста-

навливаются чиновники и купцы, то всегда требуют, чтобы самовар им подавала и постели постилала непременно Варвара.

В один июньский вечер, когда заходило солнце и в воздухе пахло сеном, теплым навозом и парным молоком, во двор к Дюде въехала простая повозка, на которой сидело трое: мужчина лет тридцати в парусинковом костюме, рядом с ним мальчик, лет семи-восьми, в длинном черном сюртуке с большими костяными пуговицами, и молодой парень в красной рубахе за кучера.

Парень распряг лошадей и повел их на улицу прохаживать, а проезжий умылся, помолился на церковь, потом разостлал около повозки полость и сел с мальчиком ужинать; ел он не спеша, степенно, и Дюдя, выдавший на своем веку много проезжих, узнал в нем по манерам человека делового, серьезного и знающего себе цену.

Дюдя сидел на крылечке в одной жилетке, без шапки и ждал, когда заговорит проезжий. Он привык к тому, что проезжие по вечерам на сон грядущий рассказывали всякие истории, и любил это. Его старуха Афанасьевна и

невестка Софья доили под навесом коров; другая невестка, Варвара, сидела у открытого окна в верхнем этаже и ела подсолнухи.

– Мальчишка этот твой сынок будет, стало? – спросил Дюдя у проезжего.

– Нет, приемышек, сиротка. Взял его к себе за спасение души.

Разговорились. Проезжий оказался человеком словоохотливым и красноречивым, и Дюдя из разговора узнал, что это мещанин из города, домовладелец, что зовут его Матвеем Саввичем, что едет он теперь смотреть сады, которые арендует у немцев-колонистов, и что мальчика зовут Кузькой. Вечер был жаркий и душный, спать никому не хотелось. Когда стемнело и на небе кое-где замигали бледные звезды, Матвей Саввич стал рассказывать, откуда у него взялся Кузька. Афанасьевна и Софья стояли поодаль и слушали, а Кузька пошел к воротам.

– Это, дедушка, история подробная до чрезвычайности, – начал Матвей Саввич, – и если тебе рассказать всё, как было, то и ночи не хватит. Лет десять назад, на нашей улице, как раз рядом со мной в домике, где теперь свеч-

ной завод и маслобойня, жила Марфа Симоновна Каплунцева, вдова-старушка, и у нее было два сына: один служил в кондукторах на чугунке, а другой, Вася, мой сверстник, жил дома при маменьке. Покойный старик Каплунцев держал лошадей, пар пять, и посылал по городу ломовых извозчиков; вдова этого дела не бросала и командовала извозчиками не хуже покойника, так что в иные дни чистого рублей пять выезжали. И у парня тоже доходишки были. Голубей породистых разводил и продавал охотникам; всё, бывало, стоит на крыше, веник вверх швыряет и свистит, а турманы под самыми небесами, а ему всё мало и еще выше хочется. Чижей и скворцов ловил, клетки мастерил... Пустое дело, а гляди по пустякам в месяц рублей десять набегит. Ну-с, по прошествии времени, у старушки отнялись ноги, и слегла она в постель. По причине такого факта дом остался без хозяйки, а это всё равно, что человек без глаза. Захлопотала старушка и надумала оженить своего Васю. Позвали сейчас сваху, пятое-десятое, бабьи разговоры, и пошел наш Вася невест глядеть. Засватал он у вдовы Самохва-

лихи Машеньку. Недолго думая, благословили и в одну неделю всё дело оборудовали. Девочка молодая, лет семнадцати, маленькая, кургузенькая, но лицом белая и приятная, со всеми качествами, как барышня; и приданое ничего себе: деньгами рублей пятьсот, коровенка, постель... А старуха, чуяло ее сердце, на третий же день после свадьбы отправилась в горний Иерусалим, идеже несть ни болезней, ни воздыханий. Молодые помянули и зажили. Прожили они с полгодика великолепным образом, и вдруг новое горе. Пришла беда, отворяй ворота: потребовали Васю в присутствие жребий вынимать. Взяли его, сердягу, в солдаты и даже льготы не дали. Забрили лоб и погнали в Царство Польское. Божья воля, ничего не поделаешь. Когда с женой во дворе прощался – ничего, а как взглянул последний раз на сенник с голубями, залился ручьем. Глядеть было жалко. В первое время Машенька, чтоб скучно не было, взяла к себе мать; та пожила до родов, когда вот этот самый Кузька родился, и поехала в Обоянь к другой дочке, тоже замужней, и осталась Машенька одна с ребеночком. Пять ло-

мовых мужиков, народ всё пьяный, озорной; лошади, дроги, там, гляди, забор обвалился или в трубе сажа загорелась – не женского ума дело, и стала она по соседству ко мне за каждым пустяком обращаться. Ну, придешь распорядишь, посоветуешь... Известное дело, не без того, зайдешь в дом, чаю выпьешь, поговоришь. Человек я был молодой, умственный, любил поговорить о всяких предметах, она тоже была образованная и вежливая. Одевалась чистенько и летом с зонтиком ходила. Бывало, начну ей про божественное или насчет политики, а ей лестно, она меня чаем и вареньем... Одним словом, чтоб долго не расписывать, скажу тебе, дедушка, не прошло и года, как смутил меня нечистый дух, враг рода человеческого. Стал я замечать, что в который день не пойду к ней, мне словно не по себе, скучно. И всё придумываю, за чем бы к ней сходить. «Вам, говорю, пора зимние рамы вставлять», и целый день у ней прохлаждаюсь, рамы вставляю и норовлю еще на завтра рамы две оставить. «Надо бы голубей Васиных сосчитать, не пропали бы которые», – и всё так. Всё, бывало, с ней через за-

бор разговариваю и под конец, чтобы недалеко было ходить, сделал я в заборе калиточку. На этом свете от женского пола много зла и всякой пакости. Не только мы, грешные, но и святые мужи совращались. Машенька меня от себя не отвадила. Вместо того, чтоб мужа помнить и себя соблюдать, она меня полюбила. Стал я замечать, что ей тоже скучно и что всё она около забора похаживает и в щелки в мой двор смотрит. Завертелись в моей голове мозги от фантазии. В четверг на Святой неделе иду рано утром, чуть свет, на базар, прохожу мимо ее ворот, а нечистый тут как тут; взглядел я – у нее калитка с этакой решёточкой наверху, – а она стоит среди двора, уже проснувшись, и уток кормит. Я не удержался и окликнул. Она подошла и глядит на меня сквозь решётку. Личико белое, глазки ласковые, заспанные... Очень она мне понравилась, и стал я ей комплименты говорить, словно мы не у ворот, а на именинах, а она покраснела, смеется и всё смотрит мне в самые глаза и не мигает. Потерял я разум и начал объяснять ей свои любовные чувства... Она отперла калитку,пустила, и с того утра

стали мы жить, как муж и жена.

С улицы во двор вошел горбатенький Алёшка и, запыхавшись, ни на кого не глядя, побежал в дом; через минуту он выбежал из дома с гармоникой и, звеня в кармане медными деньгами, щелкая на бегу подсолнухи, скрылся за воротами.

– А это кто у вас? – спросил Матвей Саввич.

– Сын Алексей, – ответил Дюдя. – Гулять пошел, подлец. Бог его горбом обидел, так мы уж не очень взыскиваем.

– И всё он гуляет с ребятами, и всё гуляет, – вздохнула Афанасьевна. – Перед масляной женили его, думали – как лучше, а он, поди, еще хуже стал.

– Без пользы. Только чужую девку осчастливили задаром, – сказал Дюдя.

Где-то за церковью запели великолепную печальную песню. Нельзя было разобрать слов и слышались одни только голоса: два тенора и бас. Оттого, что все прислушались, во дворе стало тихо-тихо... Два голоса вдруг оборвали песню раскатистым смехом, а третий, тенор, продолжал петь и взял такую высокую ноту, что все невольно посмотрели вверх, как

будто голос в высоте своей достигал самого неба. Варвара вышла из дому и, заслонив глаза рукою, как от солнца, поглядела на церковь.

– Это поповичи с учителем, – сказала она.

Опять все три голоса запели вместе. Матвей Саввич вздохнул и продолжал:

– Такие-то дела, дедушка. Года через два получили мы письмо от Васи из Варшавы. Пишет, что начальство отправляет его домой на поправку. Нездоров. К тому времени я дурь из головы выбросил, и за меня уж хорошую невесту сватали, и не знал я только, как с любвишкой развязаться. Каждый день собирался поговорить с Машенькой да не знал, с какой стороны к ней подступить, чтоб бабьего визгу не было. Письмо мне руки развязало. Прочитали мы его с Машенькой, она побелела, как снег, а я и говорю: «Слава богу, теперь, говорю, значит, ты опять будешь мужняя жена». А она мне: «Не стану я с ним жить.» – «Да ведь он тебе муж?» – говорю. – «Легко ли... Я его никогда не любила и неволей за него пошла. Мать велела». – «Да ты, говорю, не отвивай, дура, ты скажи: венчалась ты с ним в

церкви или нет?» – «Венчалась, говорит, но я тебя люблю и буду жить с тобой до самой смерти. Пускай люди смеются... Я без внимания...» – «Ты, говорю, богомольная и читала писание, что там написано?»

– За мужа выдана, с мужем и жить должна, – сказал Дюдя.

– Жена и муж едина плоть. Погрешили, говорю, мы с тобой и будет, надо совесть иметь и бога бояться. Повинимся, говорю, перед Васей, он человек смирный, робкий – не убьет. Да и лучше, говорю, на этом свете муки от законного мужа претерпеть, чем на страшном судилище зубами скрежетать. Не слушает баба, уперлась на своем и хоть ты что! «Тебя люблю» – и больше ничего. Приехал Вася в субботу под самую Троицу, рано утром. Мне в забор всё было видно: вбежал он в дом, через минуту вышел с Кузькой на руках, и смеется и плачет, Кузьку целует, а сам на сенник смотрит – и Кузьку бросать жалко и к голубям хочется. Нежный был человек, чувствительный. День прошел благополучно, тихо и скромно. Зазвонили ко всеобщей, я и думаю: завтра Троица, что же они ворот и забо-

ра зелеными не убирают? Дело, думаю, неладно. Пошел я к ним. Гляжу, сидит он среди комнаты на полу, поводит глазами, как пьяный, слезы по щекам текут и руки трясутся; вынимает он из узла баранки, монисты, пряники и всякие гостинцы и расшвыривает по полу. Кузька – тогда ему три годочка было – ползает около и пряники жует, а Машенька стоит около печки, бледная, вся дрожит и бормочет: «Я тебе не жена, не хочу с тобой жить» – и всякие глупости. Поклонился я Васе в ноги и говорю: «Виноваты мы перед тобой, Василий Максимыч, прости Христа ради!» Потом встал и говорю Машеньке такие слова: «Вы, Марья Семеновна, говорю, должны теперь Василию Максимычу ноги мыть и юшку пить. И будьте вы ему покорная жена, а за меня молитесь богу, чтоб он, говорю, милосердный, простил мне мое согрешение». Как будто мне было внушение от ангела небесного, прочитал я ей наставление и говорил так чувствительно, что меня даже слеза прошибла. Этак дня через два приходит ко мне Вася. «Я, говорит, прощаю, Матюша, и тебя, и жену, бог с вами. Она солдатка, дело женское, молодое,

трудно себя соблюсти. Не она первая, не она последняя. А только, говорит, я прошу тебя жить так, как будто между вами ничего не было, и виду не показывай, а я, говорит, буду стараться ей угождать во всем, чтобы она меня опять полюбила». Руку мне подал, чайку попил и ушел веселый. Ну, думаю, слава богу, и весело мне стало, что всё так хорошо вышло. Но только что Вася из двора, как пришла Машенька. Чистое наказание! Вешается на шею, плачет и молит: «Ради бога не бросай, жить без тебя не могу».

– Эка подлая! – вздохнул Дюдя.

– Я на нее закричал, ногами затопал, выволок ее в сени и дверь на крючок запер. Иди, кричу, к мужу! Не срами меня перед людьми, бога побойся! И каждый день такая история. Раз утром стою я у себя на дворе около конюшни и починая уздечку. Вдруг, смотрю, бежит она через калитку ко мне во двор, босая, в одной юбке, и прямо ко мне; ухватилась руками за уздечку, вся опачкалась в смоле, трясется, плачет... «Не могу жить с постылым; сил моих нет! Если не любишь, то лучше убей». Я осерчал и ударил ее раза два уздеч-

кой, а в это время вбегают в калитку Вася и кричит отчаянным голосом: «Не бей! не бей!» А сам подбежал и, словно очумел, размахнулся и давай бить ее кулаками изо всей силы, потом повалил на землю и ну топтать ногами; я стал оборонять, а он схватил вожжи и давай вожжами. Бьет и всё, как жеребенок, повизгивает: ги-ги-ги!

– Взять вожжи, да тебя бы так... – проворчала Варвара, отходя. – Извели нашу сестру, проклятые...

– Замолчи, ты! – крикнул на нее Дюдя. – Кобыла!

– Ги-ги-ги! – продолжал Матвей Саввич. – Из его двора прибежал извозчик, кликнул у своего работника, и все втроем отняли у него Машеньку и повели под ручки домой. Срамота! Того же дня вечером пошел я проведать. Она лежит в постели, вся закутанная, в примочках, только одни глаза и нос видать, и глядит в потолок. Я говорю: «Здравствуйте, Марья Семеновна!» Молчит. А Вася сидит в другой комнате, держится за голову и плачет: «Злодей я! Погубил я свою жизнь! Пошли мне, господи, смерть!» Я посидел с полчаса око-

ло Машеньки и прочитал ей наставление. По-стращал. Праведные, говорю, на том свете пойдут в рай, а ты в геенну огненную, заодно со всеми блудницами... Не противься мужу, иди ему в ноги поклонись. А она ни словечка, даже глазом не моргнула, словно я столбу говорю. На другой день Вася заболел, вроде как бы холерой, и к вечеру, слышу, помер. Похоронили. Машенька на кладбище не была, не хотела людям свое бесстыжее лицо и синяки показывать. И вскорости пошли по мещанству разговоры, что Вася помер не своей смертью, что извела его Машенька. Дошло до начальства. Васю вырыли, распотрошили и нашли у него в животе мышьяк. Дело было ясное, как пить дать; пришла полиция и забрала Машеньку, а с ней и Кузьму-бессребреника. Посадили в острог. Допрыгалась баба, наказал бог... Месяцев через восемь судили. Сидит, помню, на скамеечке в белом платочке и в сером халатике, а сама худенькая, бледная, остроглазая, смотреть жалко. Позади солдат с ружьем. Не признавалась. Одни на суде говорили, что она мужа отравила, а другие доказывали, что муж сам с горя отравился. Я в

свидетелях был. Когда меня спрашивали, я объяснял всё по совести. Ее, говорю, грех. Скрывать нечего, не любила мужа, с характером была... Судить начали с утра, а к ночи вынесли такое решение: сослать ее в каторгу в Сибирь на 13 лет. После такого решения Машенька потом в нашем остроге месяца три сидела. Я ходил к ней и по человечности носил ей чайку, сахарку. А она, бывало, увидит меня и начнет трястись всем телом, машет руками и бормочет: «Уйди! Уйди!» И Кузьку к себе прижимает, словно боится, чтоб я не отнял. Вот, говорю, до чего ты дожила! Эх, Маша, Маша, погибшая душа! Не слушалась меня, когда я учил тебя уму, вот и плачься теперь. Сама, говорю, виновата, себя и вини. Я ей читаю наставление, а она: «Уйди! Уйди!» – и жметя с Кузькой к стене и дрожит. Когда ее от нас в губернию отправляли, я провожать ходил до вокзала и сунул ей в узел рублишку за спасение души. Но не дошла она до Сибири... В губернии заболела горячкой и померла в остроге.

- Собаке собачья и смерть, – сказал Дюдя.
- Кузьку вернули назад домой... Я подумал,

подумал и взял его к себе. Что ж? Хоть и арестантское отродье, а все-таки живая душа, крещеная... Жалко. Сделаю его приказчиком, а ежели своих детей не будет, то и в купцы выведу. Теперь, как еду куда, беру его с собой: пускай приучается.

Пока Матвей Саввич рассказывал, Кузька всё время сидел около ворот на камешке и, подперев обеими руками голову, смотрел на небо; издали в потемках походил он на пенек.

– Кузька, иди спать! – крикнул ему Матвей Саввич.

– Да, уж время, – сказал Дюдя, поднимаясь; он громко зевнул и добавил: – Норовят всё своим умом жить, не слушаются, вот и выходит по-ихнему.

Над двором на небе плыла уже луна; она быстро бежала в одну сторону, а облака под нею в другую; облака уходили дальше, а она всё была видна над двором. Матвей Саввич помолился на церковь и, пожелав доброй ночи, лег на земле около повозки. Кузька тоже помолился, лег в повозку и укрылся сюртучком; чтобы удобнее было, он намял себе в сене ямочку и согнулся так, что локти его каса-

лись коленей. Со двора видно было, как Дюдя у себя внизу зажег свечку, надел очки и стал в углу с книжкой. Он долго читал и кланялся.

Приезжие уснули. Афанасьевна и Софья подошли к повозке и стали смотреть на Кузьку.

– Спит сиротка, – сказала старуха. – Худенький, тощенький, одни кости. Родной матери нет, и покормить его путем некому.

– Мой Гришутка, должно, годочка на два старше, – сказала Софья. – На заводе в неволе живет, без матери. Хозяин бьет, небось. Как поглядела я давеча на этого мальчонка, вспомнила про своего Гришутку – сердце мое кровью запеклось.

Прошла минута в молчании.

– Чай, не помнит матери, – сказала старуха.

– Где помнить!

И у Софьи из глаз потекли крупные слезы.

– Калачиком свернулся... – сказала она, всхлипывая и смеясь от умиления и жалости. – Сиротка моя бедная.

Кузька вздрогнул и открыл глаза. Он увидел перед собой некрасивое, сморщенное, за-

плаканное лицо, рядом с ним – другое, старушечье, беззубое, с острым подбородком и горбатым носом, а выше них бездонное небо с бегущими облаками и луной, и вскрикнул от ужаса. Софья тоже вскрикнула; им обоим ответило эхо, и в душном воздухе пронеслось беспокойство; застучал по соседству сторож, залаяла собака. Матвей Саввич пробормотал что-то во сне и повернулся на другой бок.

Поздно вечером, когда уже спали и Дюдя, и старуха, и соседний сторож, Софья вышла за ворота и села на лавочку. Ей было душно, и от слез разболелась голова. Улица была широкая и длинная; направо версты две, налево столько же, и конца ей не видно. Луна уже ушла от двора и стояла за церковью. Одна сторона улицы была залита лунным светом, а другая чернела от теней; длинные тени тополей и скворешен тянулись через всю улицу, а тень от церкви, черная и страшная, легла широко и захватила ворота Дюди и половину дома. Было безлюдно и тихо. С конца улицы изредка доносилась едва слышная музыка; должно быть, это Алёшка играл на своей гармонике.

В тени около церковной ограды кто-то хо-

дил, и нельзя было разобрать, человек это или корова, или, быть может, никого не было, и только большая птица шуршала в деревьях. Но вот из тени вышла одна фигура, остановилась и сказала что-то мужским голосом, потом скрылась в переулке около церкви. Немного погодя, саженьях в двух от ворот, показалась еще фигура; она шла от церкви прямо к воротам и, увидев на лавочке Софью, остановилась.

– Варвара, ты, что ли? – спросила Софья.

– А хоть бы и я.

Это была Варвара. Она минуту постояла, потом подошла к лавочке и села.

– Ты где ходила? – спросила Софья. Варвара ничего не ответила.

– Не нагуляла бы ты себе, молодайка, какого горя, – сказала Софья. – Слыхала, как Машеньку и ногами, и вожжами? Тебе бы, гляди, того не было.

– А пускай.

Варвара засмеялась в платок и сказала шёпотом:

– С поповичем сейчас гуляла.

– Болтаешь.

– Ей-богу.

– Грех! – шепнула Софья.

– А пускай... Чего жалеть? Грех, так грех, а лучше пускай гром убьет, чем такая жизнь. Я молодая, здоровая, а муж у меня горбатый, постылый, крутой, хуже Дюди проклятого. В девках жила, куска не доедала, босая ходила и ушла от тех злыдней, польстилась на Алёшкино богатство и попала в неволю, как рыба в вершу, и легче мне было бы с гадюкой спать, чем с этим Алёшкой паршивым. А твоя жизнь? Не глядели б мои глаза. Твой Федор прогнал тебя с завода к отцу, а сам себе другую завел; мальчишку у тебя отняли и в неволю отдали. Работаешь ты, словно лошадь, и доброго слова не слышишь. Лучше весь свой век в девках маяться, лучше с поповичей полтинники брать, милостыню собирать, лучше в колодезь головой...

– Грех! – опять шепнула Софья.

– А пускай.

Где-то за церковью опять запели печальную песню те же самые три голоса: два тенора и бас. И опять нельзя было разобрать слов.

– Полунощники.... – засмеялась Варвара.

И она стала рассказывать шёпотом, как она по ночам гуляет с поповичем, и что он ей говорит, и какие у него товарищи, и как она с проезжими чиновниками и купцами гуляла. От печальной песни потянуло свободной жизнью, Софья стала смеяться, ей было и грешно, и страшно, и сладко слушать, и завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грешила, когда была молода и красива...

На погосте в старой церкви ударили полночь.

– Пора спать, – сказала Софья, вставая, – а то как бы Дюдя не хватился.

Обе тихо пошли во двор.

– Я ушла и не слыхала, что он после про Машеньку рассказывал, – сказала Варвара, постилая под окном.

– Померла, говорит, в остроге. Мужа отравила.

Варвара легла рядом с Софьей, подумала и сказала тихо:

– Я бы своего Алёшку извела и не пожалела.

– Болтаешь, бог с тобой.

Когда Софья засыпала, Варвара прижалась

к ней и шепнула на ухо:

– Давай Дюдю и Алёшку изведем!

Софья вздрогнула и ничего не сказала, потом открыла глаза и долго, не мигая, глядела на небо.

– Люди узнают, – сказала она.

– Не узнают. Дюдя уже старый, ему помирать пора, а Алёшка, скажут, от пьянства издох.

– Страшно... Бог убьет.

– А пускай...

Обе не спали и молча думали.

– Холодно, – сказала Софья, начиная дрожать всем телом. – Должно, утро скоро... Ты спишь?

– Нет... Ты меня не слушай, голубка, – зашептала Варвара. – Злоблюсь на них, проклятых, и сама не знаю, что говорю. Спи, а то уж заря занимается... Спи...

Обе замолчали, успокоились и скоро уснули.

Раньше всех проснулась старуха. Она разбудила Софью, и обе пошли под навес доить коров. Пришел горбатенький Алёшка, совершенно пьяный, без гармоника; грудь и коле-

ни у него были в пыли и соломе – должно быть, падал дорогой. Покачиваясь, он пошел под навес и, не раздеваясь, повалился в сани и тотчас же захрапел. Когда от восходившего солнца ярким пламенем загорелись кресты на церкви, потом окна, и через двор по росистой траве потянулись тени от деревьев и колодезного журавля, Матвей Саввич вскочил и засуетился.

– Кузька, вставай! – закричал он. – Запрягать пора! Живо!

Началась утренняя суматоха. Молодая жидовка, в коричневом платье с оборками, привела во двор лошадь на водопой. Заскрипел жалобно колодезный журавль, застучало ведро... Кузька сонный, вялый, покрытый росой, сидел на повозке, лениво надевал сюртучок и слушал, как в колодезе из ведра плескалась вода, и пожимался от холода.

– Тётка, – крикнул Матвей Саввич Софье, – тюкни моему парню, чтобы запрягать шел!

И Дюдя в это время кричал из окошка:

– Софья, возьми с жидовки за водопой копейку! Повадились, пархатые.

На улице взад и вперед бегали овцы и бле-

яли; бабы кричали на пастуха, а он играл на свирели, хлопал бичом или отвечал им тяжелым, сильным басом. Во двор забежали три овцы и, не находя ворот, тыкались у забора. От шума проснулась Варвара, забрала в охапку постель и пошла к дому.

– Ты бы хоть овец выгнала! – крикнула ей старуха. – Барыня!

– Вот еще! Стану я на вас, иродов, работать, – проворчала Варвара, уходя в дом.

Подмазали повозку и запрягли лошадей. Из дома вышел Дюдя со счетами в руках, сел на крылечке и стал считать, сколько придется с проезжего за ночлег, за овёс и водопой.

– Дорого, дедушка, за овёс кладешь, – сказал Матвей Саввич.

– Коли дорого, не бери. Мы, купец, не неволим.

Когда проезжие пошли к повозке, чтобы садиться и ехать, их на минутку задержало одно обстоятельство. У Кузьки пропала шапка.

– Куда же ты, свиненок, ее девал? – крикнул сердито Матвей Саввич. – Где она?

У Кузьки от ужаса перекосило лицо, он заметался около повозки и, не найдя тут, побежал к воротам, потом под навес. Ему помогали искать старуха и Софья.

– Я тебе уши оборву! – крикнул Матвей Саввич. – Поганец этакий!

Шапка нашлась на дне повозки. Кузька рукавом стряхнул с нее сено, надел и робко, всё еще с выражением ужаса на лице, точно боясь, чтобы его не ударили сзади, полез в повозку. Матвей Саввич перекрестился, парень дернул за вожжи, и повозка, тронувшись с места, покатила со двора.

# Дуэль

## I

Было восемь часов утра – время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой, душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреич Лаевский, молодой человек лет 28, худощавый блондин, в фуражке министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего приятеля, военного доктора Самойленко.

С большой стриженной головой, без шеи, красный, носастый, с мохнатыми черными бровями и с седыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятное впечатление бурбона и хрипуна, но проходило два-три дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Несмотря

на свою неуклюжесть и грубоватый тон, это был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на ты, всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей; всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен, и водились за ним только две слабости: во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускною грубостью, и во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником.

– Ответь мне, Александр Давидыч, на один вопрос, – начал Лаевский, когда оба они, он и Самойленко, вошли в воду по самые плечи. – Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней; прожил ты с нею, положим, больше двух лет и потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?

– Очень просто. Иди, матушка, на все четы-

ре стороны – и разговор весь.

– Легко сказать! Но если ей деваться некуда? Женщина она одинокая, безродная, денег ни гроша, работать не умеет...

– Что ж? Единовременно пятьсот в зубы или двадцать пять помесечно – и никаких. Очень просто.

– Допустим, что у тебя есть и пятьсот, и двадцать пять помесечно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги? И в какой форме?

Самойленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег и с шумом покати-лась назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться.

– Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь, – сказал Самойленко, вытрясая из сапога песок. – Но надо, Ваня, рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти.

Ему вдруг стало стыдно своих слов; он спохватился и сказал:

– А по мне хоть бы и вовсе баб не было. Ну их к лешему!

Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Самойленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водою и со льдом и рюмку коньяку; он сначала выливал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и это, должно быть, было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились масляными, он обеими руками разглаживал бакены и говорил, глядя на море:

– Удивительно великолепный вид!

После долгой ночи, потраченной на невеселые, бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купанья и кофе ему не стало лучше.

– Будем, Александр Давидыч, продолжать наш разговор, – сказал он. – Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу: дела мои с Надеждой Федоровной плохи... очень плохи! Извини, что я посвящаю тебя в свои

тайны, но мне необходимо высказаться.

Самойленко, предчувствовавший, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами по столу.

– Я прожил с нею два года и разлюбил... – продолжал Лаевский, – то есть, вернее, я понял, что никакой любви не было... Эти два года были – обман.

У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое.

– Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь, – сказал он, – но говорю тебе, потому что для нашего брата-неудачника и лишнего человека всё спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся, и прочее... В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что всё время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав! И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель! Что ни говори.

Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал:

– Да, все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры...

– Боже мой, – вздохнул Лаевский, – до какой степени мы искалечены цивилизацией! Полюбил я замужнюю женщину; она меня тоже... Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсер, и идеалы, и общие интересы... Какая ложь! Мы бежали, в сущности, от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так: вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и людьми, я надену виц-мундир и буду служить, потом же на просторе возьмем себе клочок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог фон Корен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной тридцать лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и тысячу десятин кукурузы, я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе

невыносимая жара, скука, безлюдье, а выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура – всё это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе, под ручку с Надеждой Федоровной и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть, а какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка... С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни и виноградарнике – ни к чёрту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же не интересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой и лекарствами, те же папильотки каждое утро и тот же самообман...

– Без утюга нельзя в хозяйстве, – сказал Самойленко, краснея от того, что Лаевский говорит с ним так откровенно о знакомой даме. – Ты, Ваня, сегодня не в духе, я замечаю. Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная, ты – величайшего ума человек... Конечно, вы не венчаны, – продолжал Самой-

ленко, оглядываясь на соседние столы, – но ведь это не ваша вина и к тому же... надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да... Но, по-моему, если раз сошлись, то надо жить до самой смерти.

– Без любви?

– Я тебе сейчас объясню, – сказал Самойленко. – Лет восемь назад у нас тут был агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говаривал: в семейной жизни главное – терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход всё свое терпение...

– Ты веришь своему старичку-агенту, для меня же его совет – бессмыслица. Твой старичок мог лицемерить, он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на нелюбимого человека, как на предмет, необходимый для его упражнений, но я еще не пал так низко; если мне захочется упражняться в терпе-

нии, то я куплю себе гимнастические гири или норовистую лошадь, но человека оставлю в покое.

Самойленко потребовал белого вина со льдом. Когда выпили по стакану, Лаевский вдруг спросил:

– Скажи, пожалуйста, что значит размягчение мозга?

– Это, как бы тебе объяснить... такая болезнь, когда мозги становятся мягче... как бы разжижаются.

– Излечимо?

– Да, если болезнь не запущена. Холодные души, мушка... Ну, внутрь чего-нибудь.

– Так... Так вот видишь ли, какое мое положение. Жить с нею я не могу: это выше сил моих. Пока я с тобой, я вот и философствую, и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духом. Мне до такой степени жутко, что если бы мне сказали, положим, что я обязан прожить с нею еще хоть один месяц, то я, кажется, пустил бы себе пулю в лоб. И в то же время разойтись с ней нельзя. Она одинока, работать не умеет, денег нет ни у меня, ни у нее... Куда она денется? К кому пойдет? Ничего не

придумаешь... Ну, вот, скажи: что делать?

– М-да... – промычал Самойленко, не зная, что ответить. – Она тебя любит?

– Да, любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как с пудрой или папильотками. Я для нее необходимая составная часть ее будуара.

Самойленко сконфузился.

– Ты сегодня, Ваня, не в духе, – сказал он. – Не спал, должно быть.

– Да, плохо спал... Вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирания сердца, слабость какая-то... Бежать надо!

– Куда?

– Туда, на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям... Я бы отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии, или в Тульской, выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить часа три хоть с самым плохеньким студентом и болтать, болтать... А сеном-то как пахнет! Помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дому доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд...

Лаевский засмеялся от удовольствия, на

глазах у него выступили слезы, и, чтобы скрыть их, он, не вставая с места, потянулся к соседнему столу за спичками.

– А я уже восемнадцать лет не был в России, – сказал Самойленко. – Забыл уж, как там. По-моему, великолепнее Кавказа и края нет.

– У Верещагина есть картина: на дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне предложили что-нибудь из двух: быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста.

Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное, вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью и, вероятно, потому, что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка, спросил:

– Твоя мать жива?

– Да, но мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой связи.

Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого, студента, человека-рубаху, с которым можно было и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе. То, что он понимал в нем, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил не по средствам, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной – и это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом факультете, выписывал теперь два толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной – всего этого не понимал Самойленко, и это ему нравилось, и он считал Лаевского выше себя и уважал его.

– Еще одна подробность, – сказал Лаевский, встряхивая головой. – Только это между нами. Я пока скрываю от Надежды Федоровны, не проболтайся при ней... Третьего дня я получил письмо, что ее муж умер от размягчения мозга.

– Царство небесное... – вздохнул Самойлен-

ко. – Почему же ты от нее скрываешь?

– Показать ей это письмо значило бы: пожалуйста в церковь венчаться. А надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу ей письмо. Тогда это будет безопасно.

– Знаешь что, Ваня? – сказал Самойленко, и лицо его вдруг приняло грустное и умоляющее выражение, как будто он собирался просить о чем-то очень сладком и боялся, что ему откажут. – Женись, голубчик!

– Зачем?

– Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной! Муж у нее умер, и таким образом само провидение указывает тебе, что делать!

– Но пойми, чудак, что это невозможно. Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедню, не веруя.

– Но ты обязан!

– Почему же я обязан? – спросил с раздражением Лаевский.

– Потому что ты увез ее от мужа и взял на свою ответственность.

– Но тебе говорят русским языком: я не люблю!

– Ну, любви нет, так почитай, ублажай...

– Почитай, ублажай... – передразнил Лаевский. – Точно она игуменья... Плохой ты психолог и физиолог, если думаешь, что, живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении да уважении. Женщине прежде всего нужна спальня.

– Ваня, Ваня... – сконфузился Самойленко.

– Ты – старый ребенок, теоретик, а я – молодой старик и практик, и мы никогда не пойдем друг друга. Прекратим лучше этот разговор. Мустафа, – крикнул Лаевский человеку, – сколько с нас следует?

– Нет, нет... – испугался доктор, хватая Лаевского за руку. – Это я заплачу. Я требовал. Запиши за мной! – крикнул он Мустафе.

Приятели встали и молча пошли по набережной. У входа на бульвар они остановились и на прощанье пожали друг другу руки.

– Избалованы вы очень, господа! – вздохнул Самойленко. – Послала тебе судьба женщину молодую, красивую, образованную – и ты отказываешься, а мне бы дал бог хоть кри-

вобокую старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен! Жил бы я с ней на своем винограднике и...

Самойленко спохватился и сказал:

– И пускай бы она там, старая ведьма, самовар ставила.

Простившись с Лаевским, он пошел по бульвару. Когда он, грузный, величественный, со строгим выражением на лице, в своем белоснежном кителе и превосходно вычищенных сапогах, выпятив вперед грудь, на которой красовался Владимир с бантом, шел по бульвару, то в это время он очень нравился себе самому, и ему казалось, что весь мир смотрит на него с удовольствием. Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар вполне благоустроен, что молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивые, худосочные пальмы очень красивы и будут со временем давать широкую тень, что черкесы честный и гостеприимный народ. «Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится, – думал он, – очень странно». Встретились пять солдат с ружьями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла

жена одного чиновника с сыном-гимназистом.

– Марья Константиновна, доброе утро! – крикнул ей Самойленко, приятно улыбаясь. – Купаться ходили? Ха-ха-ха... Почтение Никодиму Александрычу!

И он пошел дальше, продолжая приятно улыбаться, но, увидев идущего навстречу военного фельдшера, вдруг нахмурился, остановил его и спросил:

- Есть кто-нибудь в лазарете?
- Никого, ваше превосходительство.
- А?
- Никого, ваше превосходительство.
- Хорошо, ступай...

Величественно покачиваясь, он направился к лимонадной будке, где за прилавком сидела старая, полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказал ей так громко, как будто командовал полком:

– Будьте так любезны, дайте мне содовой воды!

Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что всё, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь, и всё, что он читал против женщин и любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу. Когда он вернулся домой, она, уже одетая и причесанная, сидела у окна и с озабоченным лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого журнала, и он подумал, что питье кофе – не такое уж замечательное событие, чтобы из-за него стоило делать озабоченное лицо, и что напрасно она потратила время на модную прическу, так как нравиться тут некому и не для чего. И в книжке журнала он увидел ложь. Он подумал, что одевается она и причесывается, чтобы казаться красивой, а читает для того, чтобы казаться умной.

– Ничего, если я сегодня пойду купаться? – спросила она.

– Что ж? Пойдешь или не пойдешь, от этого землетрясения не будет, полагаю...

– Нет, я потому спрашиваю, что как бы доктор не рассердился.

– Ну, и спроси у доктора. Я не доктор.

На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завитушки волос на затылке, и он вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал: «Как это верно! как верно!» Чувствуя слабость и пустоту в голове, он пошел к себе в кабинет, лег на диван и накрыл лицо платком, чтобы не надоедали мухи. Вялые, тягучие мысли всё об одном и том же потянулись в его мозгу, как длинный обоз в осенний ненастный вечер, и он впал в сонливое, угнетенное состояние. Ему казалось, что он виноват перед Надеждой Федоровной и перед ее мужем и что муж умер по его вине. Ему казалось, что он виноват перед своею жизнью, которую испортил, перед миром высоких идей, знаний и труда, и этот чудесный мир представлялся ему возможным и существующим не здесь, на берегу, где бродят голодные турки и ленивые абхазцы, а там, на севере, где опера, театры, газеты и все виды

умственного труда. Честным, умным, возвышенным и чистым можно быть только там, а не здесь. Он обвинял себя в том, что у него нет идеалов и руководящей идеи в жизни, хотя смутно понимал теперь, что это значит. Два года тому назад, когда он полюбил Надежду Федоровну, ему казалось, что стоит ему только сойтись с Надеждой Федоровной и уехать с нею на Кавказ, как он будет спасен от пошлости и пустоты жизни; так и теперь он был уверен, что стоит ему только бросить Надежду Федоровну и уехать в Петербург, как он получит всё, что ему нужно.

– Бежать! – пробормотал он, садясь и грызя ногти. – Бежать!

Воображение его рисовало, как он садится на пароход и потом завтракает, пьет холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами, потом в Севастополе садится на поезд и едет. Здравствуй, свобода! Станции мелькают одна за другой, воздух становится всё холоднее и жестче, вот березы и ели, вот Курск, Москва... В буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним словом, не азиатчина, а Россия, настоящая Россия. Пассажиры в поезде гово-

рят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь... Скорей, скорей! Вот, наконец, Невский, Большая Морская, а вот Ковенский переулок, где он жил когда-то со студентами, вот милое, серое небо, морозящий дождик, мокрые извозчики...

– Иван Андреич! – позвал кто-то из соседней комнаты. – Вы дома?

– Я здесь! – отозвался Лаевский. – Что вам?

– Бумаги!

Лаевский поднялся лениво, с головокружением и, зевая, шлепая туфлями, пошел в соседнюю комнату. Там у открытого окна на улице стоял один из его молодых сослуживцев и раскладывал на подоконнике, казенные бумаги.

– Сейчас, голубчик, – мягко сказал Лаевский и пошел отыскивать чернильницу; вернувшись к окну, он, не читая, подписал бумаги и сказал: – Жарко!

– Да-с. Вы придете сегодня?

– Едва ли... Нездоровится что-то... Скажите, голубчик, Шешковскому, что после обеда я

зайду к нему.

Чиновник ушел. Лаевский опять лег у себя на диване и начал думать:

«Итак, надо взвесить все обстоятельства и сообразить. Прежде чем уехать отсюда, я должен расплатиться с долгами. Должен я около двух тысяч рублей. Денег у меня нет... Это, конечно, не важно; часть теперь заплачу как-нибудь, а часть вышлю потом из Петербурга. Главное, Надежда Федоровна... Прежде всего, надо выяснить наши отношения... Да».

Немного погодя, он соображал: не пойти ли лучше к Самойленко посоветоваться?

«Пойти можно, – думал он, – но какая польза от этого? Опять буду говорить ему нехоти о будуаре, о женщинах, о том, что честно или нечестно. Какие тут, чёрт подери, могут быть разговоры о честном или нечестном, если поскорее надо спасти жизнь мою, если я задыхаюсь в этой проклятой неволе и убиваю себя?.. Надо же, наконец, понять, что продолжать такую жизнь, как моя, – это подлость и жестокость, пред которой все остальное мелко и ничтожно. Бежать! – бормотал он, садясь. – Бежать!»

Пустынный берег моря, неутолимый зной и однообразие дымчатых, лиловатых гор, вечно одинаковых и молчаливых, вечно одиноких, нагоняли на него тоску и, как казалось, усыпляли и обкрадывали его. Быть может, он очень умен, талантлив, замечательно честен; быть может, если бы со всех сторон его не замыкали море и горы, из него вышел бы превосходный земский деятель, государственный человек, оратор, публицист, подвижник. Кто знает! Если так, то не глупо ли толковать, честно это или нечестно, если даровитый и полезный человек, например музыкант или художник, чтобы бежать из плена, ломает стену и обманывает своих тюремщиков? В положении такого человека всё честно.

В два часа Лаевский и Надежда Федоровна сели обедать. Когда кухарка подала им рисовый суп с томатами, Лаевский сказал:

– Каждый день одно и то же. Отчего бы не сварить щей?

– Капусты нет.

– Странно. И у Самойленка варят щи с капустой, и у Марьи Константиновны щи, один только я почему-то обязан есть эту сладкова-

тую бурду. Нельзя же так, голубка.

Как это бывает у громадного большинства супругов, раньше у Лаевского и у Надежды Федоровны ни один обед не обходился без капризов и сцен, но с тех пор, как Лаевский решил, что он уже не любит, он старался во всем уступать Надежде Федоровне, говорил с нею мягко и вежливо, улыбался, называл голубкой.

– Этот суп похож вкусом на лакрицу, – сказал он улыбаясь; он делал над собою усилия, чтобы казаться приветливым, но не удержался и сказал: – Никто у нас не смотрит за хозяйством... Если уж ты так больна или занята чтением, то, изволь, я займусь нашей кухней.

Раньше она ответила бы ему: «займись» или: «ты, я вижу, хочешь из меня кухарку сделать», но теперь только робко взглянула на него и покраснела.

– Ну, как ты чувствуешь себя сегодня? – спросил он ласково.

– Сегодня ничего. Так, только маленькая слабость.

– Надо беречься, голубка. Я ужасно боюсь за тебя.

Надежда Федоровна была чем-то больна. Самойленко говорил, что у нее перемежающаяся лихорадка, и кормил ее хиной; другой же доктор, Устимович, высокий, сухощавый, нелюдимый человек, который днем сидел дома, а по вечерам, заложив назад руки и вытянув вдоль спины трость, тихо разгуливал по набережной и кашлял, находил, что у нее женская болезнь, и прописывал согревающие компрессы. Прежде, когда Лаевский любил, болезнь Надежды Федоровны возбуждала в нем жалость и страх, теперь же и в болезни, он видел ложь. Желтое, сонное лицо, вялый взгляд и зевота, которые бывали у Надежды Федоровны после лихорадочных припадков, и то, что она во время припадка лежала под пледом и была похожа больше на мальчика, чем на женщину, и что в ее комнате было душно и нехорошо пахло, — все это, по его мнению, разрушало иллюзию и было протестом против любви и брака.

На второе блюдо ему подали шпинат с крутыми яйцами, а Надежде Федоровне, как больной, кисель с молоком. Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала ложкой ки-

сель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал ее глотки, им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно не на себя, а на Надежду Федоровну за то, что она возбуждала в нем это чувство, и он понимал, почему иногда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийцу.

– Мерсі, голубка, – сказал он после обеда и поцеловал Надежду Федоровну в лоб.

Придя к себе в кабинет, он минут пять ходил из угла в угол, искоса поглядывая на сапоги, потом сел на диван и пробормотал:

– Бежать, бежать! Выяснить отношения и бежать! Он лег на диван и опять вспомнил, что муж Надежды Федоровны, быть может, умер по его вине.

«Обвинять человека в том, что он полюбил или разлюбил, это глупо, – убеждал он себя, лежа и задирая ноги, чтобы надеть сапоги. – Любовь и ненависть не в нашей власти. Что

же касается мужа, то я, быть может, косвенным образом был одною из причин его смерти, но опять-таки виноват ли я в том, что полюбил его жену, а жена – меня?»

Затем он встал и, отыскав свою фуражку, отправился к своему сослуживцу Шешковскому, у которого каждый день собирались чиновники играть в винт и пить холодное пиво.

«Своею нерешительностью я напоминаю Гамлета, – думал Лаевский дорогой. – Как верно Шекспир подметил! Ах, как верно!»

### III

Чтобы скучно не было и снисходя к крайней нужде вновь приезжавших и несемейных, которым, за неимением гостиницы в городе, негде было обедать, доктор Самойленко держал у себя нечто вроде табльдота. В описываемое время у него столовались только двое: молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз, и дьякон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок для исполнения обязанностей дьякона-старика, уехавшего лечиться.

Оба они платили за обед и за ужин по 12 рублей в месяц, и Самойленко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно к двум часам.

Первым обыкновенно приходил фон Корен. Он молча садился в гостиной и, взявши со стола альбом, начинал внимательно рассматривать потускневшие фотографии каких-то неизвестных мужчин в широких панталонах и цилиндрах и дам в кринолинах и в чепцах; Самойленко только немногих помнил по фамилии, а про тех, кого забыл, говорил со вздохом: «Прекраснейший, величайшего ума человек!» Покончив с альбомом, фон Корен брал с этажерки пистолет и, прищутив левый глаз, долго прицеливался в портрет князя Воронцова или же становился перед зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные, курчавые, как у негра, волосы, и свою рубаху из тусклого ситца с крупными цветами, похожего на персидский ковер, и широкий кожаный пояс вместо жилетки. Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в дорогой оправе.

Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. Он был доволен и своим франтовским костюмом, начиная с галстука, подобранного под цвет рубахи, и кончая желтыми башмаками.

Пока он рассматривал альбом и стоял перед зеркалом, в это время в кухне и около нее в сенях Самойленко, без сюртука и без жилетки, с голой грудью, волнуясь и обливаясь потом, суетился около столов, приготавливая салат, или какой-нибудь соус, или мясо, огурцы и лук для окрошки, и при этом злобно тарачил глаза на помогавшего ему денщика и замахивался на него то ножом, то ложкой.

– Подай уксус! – приказывал он. – То, бишь, не уксус, а прованское масло! – кричал он, топая ногами. – Куда же ты пошел, скотина?

– За маслом, ваше превосходительство, – говорил оторопевший денщик надтреснутым тенором.

– Скорее! Оно в шкапу! Да скажи Дарье, чтоб она в банку с огурцами укропу прибави-

ла! Укропу! Накрой сметану, раззява, а то мухи налезут!

И от его крика, казалось, гудел весь дом. Когда до двух часов оставалось 10 или 15 минут, приходил дьякон, молодой человек, лет 22, худощавый, длинноволосый, без бороды и с едва заметными усами. Войдя в гостиную, он крестился на образ, улыбался и протягивал фон Корену руку.

– Здравствуйте, – холодно говорил зоолог. – Где вы были?

– На пристани бычков ловил.

– Ну, конечно... По-видимому, дьякон, вы никогда не будете заниматься делом.

– Отчего же? Дело не медведь, в лес не уйдет, – говорил дьякон, улыбаясь и засовывая руки в глубочайшие карманы своего белого подрясника.

– Бить вас некому! – вздыхал зоолог.

Проходило еще 15–20 минут, а обедать не звали и все еще слышно было, как денщик, бегая из сеней в кухню и обратно, стучал сапогами и как Самойленко кричал:

– Поставь на стол! Куда суешь? Помой сначала!

Проголодавшиеся дьякон и фон Корен начинали стучать о пол каблуками, выражая этим свое нетерпение, как зрители в театральном райке. Наконец, дверь отворилась и замученный денщик объявлял: кушать готово! В столовой встречал их багровый, распаренный в кухонной духоте и сердитый Самойленко; он злобно глядел на них и с выражением ужаса на лице поднимал крышку с супника и наливал обоим по тарелке, и только когда убеждался, что они едят с аппетитом и что кушанье им нравится, легко вздыхал и садился в свое глубокое кресло. Лицо его становилось томным, масляным... Он не спеша наливал себе рюмку водки и говорил:

– За здоровье молодого поколения!

После разговора с Лаевским Самойленко всё время от утра до обеда, несмотря на прекраснейшее настроение, чувствовал в глубине души некоторую тяжесть; ему было жаль Лаевского и хотелось помочь ему. Выпив перед супом рюмку водки, он вздохнул и сказал:

– Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живется человечку. Материальная сторона жизни неутешительна, а главное – психоло-

гия одолела. Жаль парня.

– Вот уж кого мне не жаль! – сказал фон Корен. – Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул: тони, братец, тони...

– Неправда. Ты бы этого не сделал.

– Почему ты думаешь? – пожал плечами зоолог. – Я так же способен на доброе дело, как и ты.

– Разве утопить человека – доброе дело? – спросил дьякон и засмеялся.

– Лаевского? Да.

– В окрошке, кажется, чего-то недостает... – сказал Самойленко, желая переменить разговор.

– Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба, – продолжал фон Корен. – Утопить его – заслуга.

– Не делает тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем. Скажи: за что ты его ненавидишь?

– Не говори, доктор, пустяков. Ненавидеть и презирать микробу – глупо, а считать своим ближним, во что бы то ни стало, всякого встречного без различия – это, покорно благо-

дарю, это значит не рассуждать, отказаться от справедливого отношения к людям, умыть руки, одним словом. Я считаю твоего Лаевского мерзавцем, не скрываю этого и отношусь к нему как к мерзавцу, с полной моею добросовестностью. Ну, а ты считаешь его своим ближним – и поцелуйся с ним; ближним считаешь, а это значит, что к нему ты относишься так же, как ко мне и дьякону, то есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем.

– Называть человека мерзавцем! – пробормотал Самойленко, брезгливо морщась. – Это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу!

– О людях судят по их поступкам, – продолжал фон Корен. – Теперь судите же, дьякон... Я, дьякон, буду с вами говорить. Деятельность господина Лаевского откровенно развернута перед вами, как длинная китайская грамота, и вы можете читать ее от начала до конца. Что он сделал за эти два года, пока живет здесь? Будем считать по пальцам. Во-первых, он научил жителей городка играть в винт; два года тому назад эта игра была здесь неизвестна, теперь же в винт играют от утра до

поздней ночи все, даже женщины и подростки; во-вторых, он научил обывателей пить пиво, которое тоже здесь не было известно; ему же обыватели обязаны сведениями по части разных сортов водок, так что с завязанными глазами они могут теперь отличить водку Кошелева от Смирнова № 21. В-третьих, прежде здесь жили с чужими женами тайно, по тем же побуждениям, по каким воры воруют тайно, а не явно; прелюбодеяние считалось чем-то таким, что стыдились выставлять на общий показ; Лаевский же явился в этом отношении пионером: он живет с чужой женой открыто. В-четвертых...

Фон Корен быстро съел свою окрошку и отдал денщику тарелку.

– Я понял Лаевского в первый же месяц нашего знакомства, – продолжал он, обращаясь к дьякону. – Мы в одно время приехали сюда. Такие люди, как он, очень любят дружбу, сближение, солидарность и тому подобное, потому что им всегда нужна компания для винта, выпивки и закуски; к тому же, они болтливы, и им нужны слушатели. Мы подружились, то есть он шляется ко мне каждый

день, мешал мне работать и откровенничал насчет своей содержанки. На первых же порах он поразил меня своею необыкновенною лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьет, зачем живет не по средствам и делает долги, зачем ничего не делает и не читает, зачем он так мало культурен и мало знает – и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек», или: «Что вы хотите, батенька, от нас, осколков крепостничества?», или: «Мы вырождаемся...» Или начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, байроновском Каине, Базарове, про которых говорил: «Это наши отцы по плоти и духу». Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат не распечатанными и что сам он пьет и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека. Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве. И притом – ловкая штука! – распутен, лжив и гадок не он один, а

МЫ... «МЫ ЛЮДИ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ», «МЫ вялое, нервное отродье крепостного права», «нас искалечила цивилизация»... Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как Лаевский, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тут мировые, стихийные и что перед Лаевским надо лампаду повесить, так как он – роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее. Все чиновники и дамы, слушая его, охали и ахали, а я долго не мог понять, с кем я имею дело: с циником или с ловким мазуриком? Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами.

– Замолчи! – вспыхнул Самойленко. – Я не позволю, чтобы в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке!

– Не перебивай, Александр Давидыч, – холодно сказал фон Корен. – Я сейчас кончу. Лаевский – довольно несложный организм. Вот

его нравственный остов: утром туфли, купанье и кофе, потом до обеда туфли, моцион и разговоры, в два часа туфли, обед и вино, в пять часов купанье, чай и вино, затем винт и лганье, в десять часов ужин и вино, а после полуночи сон и *la femme*. [55] Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идет ли он, сидит ли, сердится, пишет, радуется – все сводится к вину, картам, туфлям и женщине. Женщина играет в его жизни роковую, подавляющую роль. Он сам повествует, что 13 лет он уже был влюблен, будучи студентом первого курса, он жил с дамой, которая имела на него благотворное влияние и которой он обязан своим музыкальным образованием. Во втором курсе он выкупил из публичного дома проститутку и возвысил ее до себя, то есть взял в содержанки, а она пожила с ним полгода и убежала назад к хозяйке, и это бегство причинило ему не мало душевных страданий. Увы, он так страдал, что должен был оставить университет и два года жить дома без дела. Но это к лучшему. Дома он сошелся с одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юридический фа-

культет и поступить на филологический. Он так и сделал. Кончив курс, он страстно полюбил теперешнюю свою... как ее?.. замужнюю, и должен был бежать с нею сюда на Кавказ, за идеалами якобы... Не сегодня-завтра он разлюбит ее и убежит назад в Петербург, и тоже за идеалами.

– А ты почему знаешь? – проворчал Самойленко, со злобой глядя на зоолога. – Ешь-ка лучше.

Подали отварных кефалей с польским соусом. Самойленко положил обоим на хлебникам по целой кефали и собственноручно полил соусом. Минуты две прошли в молчании.

– Женщина играет существенную роль в жизни каждого человека, – сказал дьякон. – Ничего не поделаешь.

– Да, но в какой степени? У каждого из нас женщина есть мать, сестра, жена, друг, у Лавевского же она – всё, и притом только любовница. Она, то есть сожительство с ней – счастье и цель его жизни; он весел, грустен, скучен, разочарован – от женщины; жизнь опостылела – женщина виновата; загорелась заря новой жизни, нашлись идеалы – и тут ищи

женщину... Удовлетворяют его только те сочинения или картины, где есть женщина. Наш век, по его мнению, плох и хуже сороковых и шестидесятых годов только потому, что мы не умеем до самозабвения отдаваться любовному экстазу и страсти. У этих сладострастников, должно быть, в мозгу есть особый нарост вроде саркомы, который сдавил мозг и управляет всею психикой. Понаблюдайте-ка Лаевского, когда он сидит где-нибудь в обществе. Вы заметьте: когда при нем поднимаешь какой-нибудь общий вопрос, например, о клеточке или инстинкте, он сидит в стороне, молчит и не слушает; вид у него томный, разочарованный, ничто для него не интересно, всё пошло и ничтожно, но как только вы заговорили о самках и самцах, о том, например, что у пауков самка после оплодотворения съедает самца, – глаза у него загораются любопытством, лицо проясняется и человек оживает, одним словом. Все его мысли, как бы благородны, возвышенны или безразличны они ни были, имеют всегда одну и ту же точку общего схода. Идешь с ним по улице и встречаешь, например осла... – «Скажите,

пожалуйста, – спрашивает, – что произойдет, если случить ослицу с верблюдом?» А сны! Он рассказывал вам свои сны? Это великолепно! То ему снится, что его женят на луне, то будто зовут его в полицию и приказывают ему там, чтобы он жил с гитарой...

Дьякон звонко захохотал; Самойленко нахмурился и сердито сморщил лицо, чтобы не засмеяться, но не удержался и захохотал.

– И всё врет! – сказал он, вытирая слезы. – Ей-богу, врет!

## IV

Дьякон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка до колотья в боку, до упада. Казалось, что он любил бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны и что им можно давать смешные прозвища. Самойленка он прозвал тарантулом, его денщика селезнем и был в восторге, когда однажды фон Корен обозвал Лаевского и Надежду Федоровну макаками. Он жадно всматривался в лица, слушал не мигая, и видно было, как глаза его наполнялись смехом и как напрягалось лицо в ожидании, когда

можно будет дать себе волю и покатиться со смеху.

– Это развращенный и извращенный субъект, – продолжал зоолог, а дьякон, в ожидании смешных слов, впился ему в лицо. – Редко где можно встретить такое ничтожество. Телом он вял, хил и стар, а интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи, которая только жрет, пьет, спит на перине и держит в любовниках своего кучера.

Дьякон опять захохотал.

– Не смейтесь, дьякон, – сказал фон Корен, – это глупо, наконец. Я бы не обратил внимания на его ничтожество, – продолжал он, выждав, когда дьякон перестал хохотать, – я бы прошел мимо него, если бы он не был так вреден и опасен. Вредоносность его заключается прежде всего в том, что он имеет успех у женщин и таким образом угрожает иметь потомство, то есть подарить миру дюжину Лаевских, таких же хилых и извращенных, как он сам. Во-вторых, он заразителен в высшей степени. Я уже говорил вам о винте и пиве. Еще год-два – и он завоюет все кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени

масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, в университетскую образованность, в благородство манер и литературность языка. Какую бы он ни сделал мерзость, все верят, что это хорошо, что это так и быть должно, так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек. К тому же, он неудачник, лишний человек, неврастеник, жертва времени, а это значит, что ему всё можно. Он милый малый, душа-человек, он так сердечно снисходит к человеческим слабостям; он стоворчив, податлив, покладист, не горд, с ним и выпить можно, и посквернословить, и посудачить... Масса, всегда склонная к антропоморфизму в религии и морали, больше всего любит тех божков, которые имеют такие же слабости, как она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы! К тому же, он недурной актер и ловкий лицемер, и отлично знает, где раки зимуют. Возьмите-ка его увертки и фокусы, например, хотя бы его отношение к цивилизации. Он и не нюхал цивилизации, а между тем: «Ах, как мы искалечены цивилизацией! Ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы,

которые не знают цивилизации!» Надо понимать, видите ли, что он когда-то, во времена оны, всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его; он, видите ли, Фауст, второй Толстой... А Шопенгауэра и Спенсера он третирует, как мальчишек, и отечески хлопает их по плечу: ну, что, брат Спенсер? Он Спенсера, конечно, не читал, но как бывает мил, когда с легкой, небрежной иронией говорит про свою барыню: «Она читала Спенсера!» И его слушают, и никто не хочет понять, что этот шарлатан не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера! Рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость, может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное.

– Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него, – сказал Самойленко, глядя на зоолога уже не со злобой, а виновато. – Он такой же человек, как и все. Конечно, не без слабостей,

но он стоит на уровне современных идей, служит, приносит пользу отечеству. Десять лет назад здесь служил агентом старичок, величайшего ума человек... Так вот он говаривал...

– Полно, полно! – перебил зоолог. – Ты говоришь: он служит. Но как служит? Разве оттого, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнее, честнее и вежливее? Напротив, своим авторитетом интеллигентного университетского человека он только санкционировал их распущенность. Бывает он исправен только двадцатого числа, когда получает жалованье, в остальные же числа он только шаркает у себя дома туфлями и старается придать себе такое выражение, как будто делает русскому правительству большое одолжение тем, что живет на Кавказе. Нет, Александр Давидыч, не вступайся за него. Ты не искренен от начала до конца. Если бы ты в самом деле любил его и считал своим ближним, то прежде всего ты не был бы равнодушен к его слабостям, не снисходил бы к ним, а для его же пользы постарался бы обезвредить его.

– То есть?

– Обезвредить. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом...

Фон Корен провел пальцем около своей шеи.

– Или утопить, что ли... – добавил он. – В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно.

– Что ты говоришь?! – пробормотал Самойленко, поднимаясь и с удивлением глядя на спокойное, холодное лицо зоолога. – Дьякон, что он говорит? Да ты в своем уме?

– Я не настаиваю на смертной казни, – сказал фон Корен. – Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы...

– Что ты говоришь? – ужаснулся Самойленко. – С перцем, с перцем! – закричал он отчаянным голосом, заметив, что дьякон ест фаршированные кабачки без перца. – Ты, величайшего ума человек, что ты говоришь?! На-

шего друга, гордого, интеллигентного человека, отдавать в общественные работы!!

– А если горд, станет противиться – в кандалы!

Самойленко не мог уж выговорить ни одного слова и только шевелил пальцами: дьякон взглянул на его ошеломленное, в самом деле смешное лицо и захохотал.

– Перестанем говорить об этом, – сказал зоолог. – Помни только одно, Александр Давидыч, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет, и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты.

– Если людей топить и вешать, – сказал Самойленко, – то к чёрту твою цивилизацию, к чёрту человечество! К чёрту! Вот что я тебе скажу: ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!

Самойленко с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги, но, по его мнению, всё зло в политике и науке происходило от немцев. Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но держался его крепко.

– Да, немцы! – повторил он еще раз. – Пойдемте чай пить.

Все трое встали и, надевши шляпы, пошли в палисадник и сели там под тенью бледных кленов, груш и каштана. Зоолог и дьякон сели на скамью около столика, а Самойленко опустился в плетеное кресло с широкой, покатой спинкой. Денщик подал чай, варенье и бутылку с сиропом.

Было очень жарко, градусов тридцать в тени. Знойный воздух застыл, был неподвижен, и длинная паутина, свесившаяся с каштана до земли, слабо повисла и не шевелилась.

Дьякон взял гитару, которая постоянно лежала на земле около стола, настроил ее и запел тихо, тонким голоском: «Отроцы семинарстии у кабака стояху»... но тотчас же замолк от жары, вытер со лба пот и взглянул

вверх на синее горячее небо. Самойленко задремал; от зноя, тишины и сладкой, послеобеденной дремоты, которая быстро овладела всеми его членами, он ослабел и опьянел; руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянуло на грудь. Он со слезливым умилением поглядел на фон Корена и дьякона и забормотал:

– Молодое поколение... Звезда науки и светильник церкви... Гляди, длиннополая аллилуйя в митрополиты выскочит, чего доброго, придется ручку целовать... Что ж... дай бог...

Скоро послышалось храпенье. Фон Корен и дьякон допили чай и вышли на улицу.

– Вы опять на пристань бычков ловить? – спросил зоолог.

– Нет, жарковато.

– Пойдемте ко мне. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишете. Кстати потолкуем, чем бы вам заняться. Надо работать, дьякон. Так нельзя.

– Ваши слова справедливы и логичны, – сказал дьякон, – но лень моя находит себе извинение в обстоятельствах моей настоящей жизни. Сами знаете, неопределенность

положения значительно способствует апатичному состоянию людей. На время ли меня сюда прислали или навсегда, богу одному известно; я здесь живу в неизвестности, а дьяконица моя прозябает у отца и скучает. И, признаться, от жары мозга раскисли.

– Всё вздор, – сказал зоолог. – И к жаре можно привыкнуть, и без дьяконицы можно привыкнуть. Не следует баловаться. Надо себя в руках держать.

## V

Надежда Федоровна шла утром купаться, а за нею с кувшином, медным тазом, с простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода с грязными белыми трубами, очевидно, иностранные грузовые. Какие-то мужчины в белом, в белых башмаках ходили по пристани и громко кричали по-французски, и им откликались с этих пароходов. В маленькой городской церкви бойко звонили в колокола.

«Сегодня воскресенье!» – с удовольствием вспомнила Надежда Федоровна.

Она чувствовала себя совершенно здоро-

вой и была в веселом, праздничном настроении. В новом просторном платье из грубой мужской чечунчи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина – это она, и что только она одна умеет одеться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит только 22 рубля, а между тем как мило! Во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому.

Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с нею холоден, сдержанно-вежлив и временами даже дерзок и груб; на все его выходки и презрительные, холодные или странные, непонятные взгляды она прежде отвечала бы слезами, попреками и угрозами уехать от него или уморить себя голодом, теперь же в ответ она только краснела, виновато поглядывала на него и радовалась, что он не ласкается к ней. Если бы он бранил ее или

угрожал, то было бы еще лучше и приятнее, так как она чувствовала себя кругом виноватою перед ним. Ей казалось, что она виновата в том, во-первых, что не сочувствовала его мечтам о трудовой жизни, ради которой он бросил Петербург и приехал сюда на Кавказ, и была она уверена, что сердился он на нее в последнее время именно за это. Когда она ехала на Кавказ, ей казалось, что она в первый же день найдет здесь укромный уголок на берегу, уютный садик с тенью, птицами и ручьями, где можно будет садить цветы и овощи, разводить уток и кур, принимать соседей, лечить бедных мужиков и раздавать им книжки; оказалось же, что Кавказ – это лысые горы, леса и громадные долины, где надо долго выбирать, хлопотать, строиться, и что никаких тут соседей нет, и очень жарко, и могут ограбить. Лаевский не торопился приобрести участок; она была рада этому, и оба они точно условились мысленно никогда не упоминать о трудовой жизни. Он молчал, думала она, значит, сердился на нее за то, что она молчит.

Во-вторых, она без его ведома за эти два го-

да набрала в магазине Ачмианова разных пу-  
стяков рублей на триста. Брала она поне-  
множку то материи, то шелку, то зонтик, и  
незаметно скопился такой долг.

– Сегодня же скажу ему об этом... – решила  
она, но тотчас же сообразила, что при тепе-  
решнем настроении Лаевского едва ли удоб-  
но говорить ему о долгах.

В-третьих, она уже два раза, в отсутствие  
Лаевского, принимала у себя Кирилина, поли-  
цейского пристава: раз утром, когда Лаевский  
уходил купаться, и в другой раз в полночь, ко-  
гда он играл в карты! Вспомнив об этом, На-  
дежда Федоровна вся вспыхнула и оглянулась  
на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслу-  
шала ее мыслей. Длинные, нестерпимо жар-  
кие, скучные дни, прекрасные томительные  
вечера, душные ночи, и вся эта жизнь, когда  
от утра до вечера не знаешь, на что употре-  
бить ненужное время, и навязчивые мысли о  
том, что она самая красивая и молодая жен-  
щина в городе и что молодость ее проходит  
даром, и сам Лаевский, честный, идейный, но  
однообразный, вечно шаркающий туфлями,  
грызущий ногти и наскучающий своими ка-

призами, – сделали то, что ею мало-помалу овладели желания, и она, как сумасшедшая, день и ночь думала об одном и том же. В своем дыхании, во взглядах, в тоне голоса и в походке она чувствовала только желание; шум моря говорил ей, что надо любить, вечерняя темнота – то же, горы – то же... И когда Кирилин стал ухаживать за нею, она была не в силах и не хотела, не могла противиться, и отдалась ему...

Теперь иностранные пароходы и люди в белом напомнили ей почему-то огромную залу; вместе с французским говором зазвенели у нее в ушах звуки вальса, и грудь ее задрожала от беспричинной радости. Ей захотелось танцевать и говорить по-французски.

Она с радостью соображала, что в ее измене нет ничего страшного. В ее измене душа не участвовала; она продолжает любить Лаевского, и это видно из того, что она ревнует его, жалеет и скучает, когда он не бывает дома. Кирилин же оказался так себе, грубоватым, хотя и красивым, с ним всё уже порвано и больше ничего не будет. Что было, то прошло, никому до этого нет дела, а если Лаев-

ский узнает, то не поверит.

На берегу была только одна купальня для дам, мужчины же купались под открытым небом. Войдя в купальню, Надежда Федоровна застала там пожилую даму Марью Константиновну Битюгову, жену чиновника, и ее 15-летнюю дочь Катю, гимназистку; обе они сидели на лавочке и раздевались. Марья Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и с пафосом. До 32 лет она жила в гувернантках, потом вышла за чиновника Битюгова, маленького, лысого человека, зачесывавшего волосы на виски и очень смирного. До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове «любовь» и уверяла всех, что она очень счастлива.

– Дорогая моя! – сказала она восторженно, увидев Надежду Федоровну и придавая своему лицу выражение, которое все ее знакомые называли миндальным. – Милая, как приятно, что вы пришли! Мы будем купаться вместе – это очаровательно!

Ольга быстро сбросила с себя платье и сорочку и стала раздевать свою барыню.

– Сегодня погода не такая жаркая, как вчера, – не правда ли? – сказала Надежда Федоровна, пожимаясь от грубых прикосновений голой кухарки. – Вчера я едва не умерла от духоты.

– О, да, моя милая! Я сама едва не задохнулась. Верите ли, я вчера купалась три раза... представьте, милая, три раза! Даже Никодим Александрыч беспокоился.

«Ну можно ли быть такими некрасивыми?» – подумала Надежда Федоровна, поглядев на Ольгу и на чиновницу; она взглянула на Катю и подумала: «Девочка недурно сложена». – Ваш Никодим Александрыч очень, очень мил! – сказала она. – Я в него просто влюблена.

– Ха-ха-ха! – принужденно засмеялась Марья Константиновна. – Это очаровательно!

Освободившись от одёжи, Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. И ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непременно бы улетела вверх. Раздевшись, она заметила, что Ольга брезгливо смотрит на ее белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и потому считала себя

лучше и выше ее. Надежда Федоровна чувствовала также, что Марья Константиновна и Катя не уважают и боятся ее. Это было неприятно и, чтобы поднять себя в их мнении, она сказала:

– У нас в Петербурге дачная жизнь теперь в разгаре. У меня и у мужа столько знакомых! Надо бы съездить повидаться.

– Ваш муж, кажется, инженер? – робко спросила Марья Константиновна.

– Я говорю о Лаевском. У него очень много знакомых. Но, к сожалению, его мать, гордая аристократка, недалекая...

Надежда Федоровна не договорила и бросилась в воду; за нею полезли Марья Константиновна и Катя.

– У нас в свете очень много предрассудков, – продолжала Надежда Федоровна, – и живется не так легко, как кажется.

Марья Константиновна, служившая гувернанткой в аристократических семействах и знавшая толк в свете, сказала:

– О да! Верите ли, милая, у Гаратынских и к завтраку и к обеду требовался непременно туалет, так что я, точно актриса, кроме жало-

ванья, получала еще и на гардероб.

Она стала между Надеждой Федоровной и Катей, как бы загораживая свою дочь от той воды, которая омывала Надежду Федоровну. В открытую дверь, выходящую наружу в море, было видно, как кто-то плыл в ста шагах от купальни.

– Мама, это наш Костя! – сказала Катя.

– Ах, ах! – закудаhtала Марья Константиновна в испуге. – Ах! Костя, – закричала она, – вернись! Костя, вернись!

Костя, мальчик лет 14, чтобы похвастать своею храбростью перед матерью и сестрой, нырнул и поплыл дальше, но утомился и поспешил назад, и по его серьезному, напряженному лицу видно было, что он не верил в свои силы.

– Беда с этими мальчиками, милая! – сказала Марья Константиновна, успокаиваясь. – Того и гляди, свернет себе шею. Ах, милая, как приятно и в то же время как тяжело быть матерью! Всего боишься.

Надежда Федоровна надела свою соломенную шляпу и бросилась наружу в море. Она отплыла сажени на четыре и легла на спину.

Ей были видны море до горизонта, пароходы, люди на берегу, город, и всё это вместе со зном и прозрачными нежными волнами раздражало ее и шептало ей, что надо жить, жить... Мимо нее быстро, энергически разрезывая волны и воздух, пронеслась парусная лодка; мужчина, сидевший у руля, глядел на нее, и ей приятно было, что на нее глядят...

Выкупавшись, дамы оделись и пошли вместе.

– У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не худею, – говорила Надежда Федоровна, облизывая свои соленые от купанья губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых. – Я всегда была полной и теперь, кажется, еще больше пополнела.

– Это, милая, от расположения. Если кто не расположен к полноте, как я, например, то никакая пицца не поможет. Однако, милая, вы измочили свою шляпу.

– Ничего, высохнет.

Надежда Федоровна опять увидела людей в белом, которые ходили по набережной и разговаривали по-французски; и почему-то опять в груди у нее заволновалась радость и

смутно припомнилась ей какая-то большая зала, в которой она когда-то танцевала или которая, быть может, когда-то снилась ей. И что-то в самой глубине души смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина...

Марья Константиновна остановилась около своих ворот и пригласила ее зайти посидеть.

– Зайдите, моя дорогая! – сказала она умоляющим голосом и в то же время поглядела на Надежду Федоровну с тоской и с надеждой: авось откажется и не зайдет!

– С удовольствием, – согласилась Надежда Федоровна. – Вы знаете, как я люблю бывать у вас!

И она вошла в дом. Марья Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками, потом показала ей фотографии своих бывших воспитанниц – барышень Гаратынских, которые уже повыходили замуж, показала также экзаменационные отметки Кати и Кости; отметки были очень хорошие, но чтобы они показались еще лучше, она со вздохом пожаловалась на то, как трудно те-

перь учиться в гимназии... Она ухаживала за гостьей и, в то же время, жалела ее и страдала от мысли, что Надежда Федоровна своим присутствием может дурно повлиять на нравственность Кости и Кати, и радовалась, что ее Никодима Александрыча не было дома. Так как, по ее мнению, все мужчины любят «таких», то Надежда Федоровна могла дурно повлиять и на Никодима Александрыча.

Разговаривая с гостьей, Марья Константиновна всё время помнила, что сегодня вечером будет пикник и что фон Корен убедительно просил не говорить об этом макакам, то есть Лаевскому и Надежде Федоровне, но она нечаянно проговорила, вся вспыхнула и сказала в смущении:

– Надеюсь, и вы будете!

## VI

Условились ехать за семь верст от города по дороге к югу, остановиться около духана, при слиянии двух речек – Черной и Желтой, и варить там уху. Выехали в начале шестого часа. Впереди всех, в шарабане, ехали Самойленко и Лаевский, за ними в коляске, заложенной в тройку, Марья Константиновна, Надежда Федоровна, Катя и Костя; при них была корзина с провизией и посуда. В следующем экипаже ехали пристав Кирилин и молодой Ачмианов, сын того самого купца Ачмианова, которому Надежда Федоровна была должна триста рублей, и против них на скамеечке, скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Александрыч, маленький, аккуратенький, с зачесанными височками. Позади всех ехали фон Корен и дьякон; у дьякона в ногах стояла корзина с рыбой.

– Пррава! – кричал во все горло Самойленко, когда попадалась навстречу арба или абхазец верхом на осле.

– Через два года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспеди-

цию, – рассказывал фон Корен дьякону. – Я пройду берегом от Владивостока до Берингова пролива и потом от пролива до устья Енисея. Мы начертим карту, изучим фауну и флору и обстоятельно займемся геологией, антропологическими и этнографическими исследованиями. От вас зависит поехать со мною или нет.

– Это невозможно, – сказал дьякон.

– Почему?

– Я человек зависимый, семейный.

– Дьяконица вас отпустит. Мы ее обеспечим. Еще лучше, если бы вы убедили ее, для общей пользы, постричься в монахини; это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию иеромонахом. Я могу вам устроить это.

Дьякон молчал.

– Вы свою богословскую часть хорошо знаете? – спросил зоолог.

– Плоховато.

– Гм... Я вам не могу сделать никаких указаний на этот счет, потому что я сам мало знаком с богословием. Вы дайте мне списочек книг, какие вам нужны, и я вышлю вам зи-

мою из Петербурга. Вам также нужно будет прочесть записки духовных путешественников; между, ними попадаются хорошие этнологи и знатоки восточных языков. Когда вы ознакомитесь с их манерой, вам легче будет приступить к делу. Ну, а пока книг нет, не теряйте времени попусту, ходите ко мне, и мы займемся компасом, пройдем метеорологию. Всё это необходимо.

– Так-то так... – пробормотал дьякон и засмеялся. – Я просил себе места в средней России, и мой дядя-протоиерей обещал мне поспособствовать. Если я поеду с вами, то выйдет, что я их даром беспокоил.

– Не понимаю я ваших колебаний. Продолжая быть обыкновенным дьяконом, который обязан служить только по праздникам, а в остальные дни – почивать от дел, вы и через десять лет останетесь всё таким же, какой вы теперь, и прибавятся у вас разве только усы и бородка, тогда как, вернувшись из экспедиции, через эти же десять лет вы будете другим человеком, вы обогатитесь сознанием, что вами кое-что сделано.

Из дамского экипажа послышались крики

ужаса и восторга. Экипажи ехали по дороге, прорытой в совершенно отвесном скалистом берегу, и всем казалось, что они скачут по полке, приделанной к высокой стене, и что сейчас экипажи свалятся в пропасть. Направо расстилалось море, налево – была неровная коричневая стена с черными пятнами, красными жилами и ползучими корневищами, а сверху, нагнувшись, точно со страхом и любопытством, смотрели вниз кудрявые хвои. Через минуту опять визг и смех: пришлось ехать под громадным нависшим камнем.

– Не понимаю, за каким таким чертом я еду с вами, – сказал Лаевский. – Как глупо и пошло! Мне надо ехать на север, бежать, спастись, а я почему-то еду на этот дурацкий пикник.

– А ты посмотри, какая панорама! – сказал ему Самойленко, когда лошади повернули влево и открылась долина Желтой речки, и блеснула сама речка – желтая, мутная, сумасшедшая...

– Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего, – ответил Лаевский. – Восторгаться постоянно природой – это значит показывать ску-

дость своего воображения. В сравнении с тем, что мне может дать мое воображение, все эти ручейки и скалы – дрянь и больше ничего.

Коляски ехали уже по берегу речки. Высокие гористые берега мало-помалу сходились, долина суживалась и представлялась впереди ущельем; каменная гора, около которой ехали, была сколочена природою из громадных камней, давивших друг друга с такой страшной силой, что при взгляде на них Самойленко всякий раз невольно кряхтел. Мрачная и красивая гора местами прорезывалась узкими трещинами и ущельями, из которых веяло на ехавших влагой и таинственностью; сквозь ущелья видны были другие горы, бурые, розовые, лиловые, дымчатые или залитые ярким светом. Слышалось изредка, когда проезжали мимо ущелий, как где-то с высоты падала вода и шлепала по камням.

– Ах, проклятые горы, – вздыхал Лаевский, – как они мне надоели!

В том месте, где Черная речка впадала в Желтую и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась с ней, в стороне от дороги стоял духан татарина Кербалая с

русским флагом на крыше и с вывеской, написанной мелом: «Приятный духан»; около него был небольшой садик, обнесенный плетнем, где стояли столы и скамьи, и среди жалкого колючего кустарника возвышался один единственный кипарис, красивый и темный.

Кербалай, маленький, юркий татарин, в синей рубахе и белом фартуке, стоял на дороге и, взявшись за живот, низко кланялся навстречу экипажам и, улыбаясь, показывал свои белые блестящие зубы.

– Здорово, Кербалайка! – крикнул ему Самойленко. – Мы отъедем немножко дальше, а ты тащи туда самовар и стулья! Живо!

Кербалай кивал своей стриженной головой и что-то бормотал, и только сидевшие в заднем экипаже могли расслышать: «есть форели, ваше превосходительство».

– Тащи, тащи! – сказал ему фон Корен.

Отъехав шагов пятьсот от духана, экипажи остановились. Самойленко выбрал небольшой лужок, на котором были разбросаны камни, удобные для сиденья, и лежало дерево, поваленное бурей, с вывороченным мохнатым корнем и с высохшими желтыми игла-

ми. Тут через речку был перекинут жидкий бревенчатый мост, и на другом берегу, как раз напротив, на четырех невысоких сваях стоял сарайчик, сушильня для кукурузы, напминавшая сказочную избушку на курьих ножках; от ее двери вниз спускалась лесенка.

Первое впечатление у всех было такое, как будто они никогда не выберутся отсюда. Со всех сторон, куда ни посмотришь, громоздились и надвигались горы, и быстро, быстро со стороны духана и темного кипариса набегала вечерняя тень, и от этого узкая, кривая долина Черной речки становилась уже, а горы выше. Слышно было, как ворчала река и без умолку кричали цикады.

– Очаровательно! – сказала Марья Константиновна, делая глубокие вдохи от восторга. – Дети, посмотрите, как хорошо! Какая тишина!

– Да, в самом деле хорошо, – согласился Лавский, которому понравился вид и почему-то, когда он посмотрел на небо и потом на синий дымок, выходивший из трубы духана, вдруг стало грустно. – Да, хорошо! – повторил он.

– Иван Андреич, опишите этот вид! – сказала слезливо Марья Константиновна.

– Зачем? – спросил Лаевский. – Впечатление лучше всякого описания. Это богатство красок и звуков, какое всякий получает от природы путем впечатлений, писатели выбалтывают в безобразном, неузнаваемом виде.

– Будто бы? – холодно спросил фон Корен, выбрав себе самый большой камень около воды и стараясь взобраться на него и сесть. – Будто бы? – повторил он, глядя в упор на Лаевского. – А Ромео и Джульета? А, например, Украинская ночь Пушкина?[56] Природа должна прийти и в ножки поклониться.

– Пожалуй... – согласился Лаевский, которому было лень соображать и противоречить. – Впрочем, – сказал он немного погодя, – что такое Ромео и Джульета, в сущности? Красивая, поэтическая святая любовь – это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео – такое же животное, как и все.

– О чем с вами ни заговоришь, вы всё сводите к...

Фон Корен оглянулся на Катю и не догово-

рил.

– К чему я свожу? – спросил Лаевский.

– Вам говоришь, например: «как красива кисть винограда!», а вы: «да, но как она безобразна, когда ее жуют и переваривают в желудках». К чему это говорить? Не ново и... вообще странная манера.

Лаевский знал, что его не любит фон Корен, и потому боялся его и в его присутствии чувствовал себя так, как будто всем было тесно и за спиной стоял кто-то. Он ничего не ответил, отошел в сторону и пожалел, что поехал.

– Господа, марш за хворостом для костра! – скомандовал Самойленко.

Все разбрелись, куда попало, и на месте остались только Кирилин, Ачмианов и Никодим Александрыч. Кербалай принес стулья, разостлал на земле ковер и поставил несколько бутылок вина. Пристав Кирилин, высокий, видный мужчина, во всякую погоду носивший сверх кителя шинель, своею горделивою осанкою, важной походкой и густым, несколько хриплым голосом, напоминал провинциальных полицеймейстеров из моло-

дых. Выражение у него было грустное и сонное, как будто его только что разбудили против его желания.

– Ты что же это, скотина, принес? – спросил он у Кербалая, медленно выговаривая каждое слово. – Я приказывал тебе подать кварели, а ты что принес, татарская морда? А? Кого?

– У нас много своего вина, Егор Алексеич, [57] – робко и вежливо заметил Никодим Александрыч.

– Что-с? Но я желаю, чтобы и мое вино было. Я участвую в пикнике и, полагаю, имею полное право внести свою долю. По-ла-гаю! Принеси десять бутылок кварели!

– Для чего так много? – удивился Никодим Александрыч, знавший, что у Кирилина не было денег.

– Двадцать бутылок! Тридцать! – крикнул Кирилин.

– Ничего, пусть, – шепнул Ачмианов Никодиму Александрычу, – я заплачу.

Надежда Федоровна была в веселом, шаловливом настроении. Ей хотелось прыгать, хохотать, кричать, дразнить, кокетничать. В

своём дешёвом платье из ситчика с голубыми глазками, в красных туфельках и в той же самой соломенной шляпе она казалась себе маленькой, простенькой, легкой и воздушной, как бабочка. Она пробежала по жидкому мостику и минуту глядела в воду, чтобы закружилась голова, потом вскрикнула и со смехом побежала на ту сторону к сушильне, и ей казалось, что все мужчины и даже Кербалай любовались ею. Когда в быстро наступавших потемках деревья сливались с горами, лошади с экипажами и в окнах духана блеснул огонек, она по тропинке, которая вилась между камнями и колючими кустами, взобралась на гору и села на камень. Внизу уже горел костер. Около огня с засученными рукавами двигался дьякон, и его длинная черная тень радиусом ходила вокруг костра; он подкладывал хворост и ложкой, привязанной к длинной палке, мешал в котле. Самойленко, с медно-красным лицом, хлопотал около огня, как у себя в кухне, и кричал свирепо:

– Где же соль, господа? Небось, забыли? Что же это все расселись, как помещики, а я один хлопочи?

На поваленном дереве рядышком сидели Лаевский и Никодим Александрыч и задумчиво смотрели на огонь. Марья Константиновна, Катя и Костя вынимали из корзин чайную посуду и тарелки. Фон Корен, скрестив руки и поставив одну ногу на камень, стоял на берегу около самой воды и о чем-то думал. Красные пятна от костра, вместе с тенями, ходили по земле около темных человеческих фигур, дрожали на горе, на деревьях, на мосту, на сушильне; на другой стороне обрывистый, изрытый бережок весь был освещен, мигал и отражался в речке, и быстро бегущая бурливая вода рвала на части его отражение.

Дьякон пошел за рыбой, которую на берегу чистил и мыл Кербалай, но на полдороге остановился и посмотрел вокруг.

«Боже мой, как хорошо! – подумал он. – Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево – ничего больше, но как хорошо!»

На том берегу около сушильни появились какие-то незнакомые люди. Оттого, что свет мелькал и дым от костра несло на ту сторону, нельзя было рассмотреть всех этих людей сразу, а видны были по частям то мохнатая

шапка и седая борода, то синяя рубаша, то лохмотья от плеч до колен и кинжал поперек живота, то молодое смуглое лицо с черными бровями, такими густыми и резкими, как будто они были написаны углем. Человек пять из них сели в кружок на земле, а остальные пять пошли в сушильню. Один стал в дверях спиною к костру и, заложив руки назад, стал рассказывать что-то, должно быть, очень интересное, потому что, когда Самойленко подложил хворосту и костер вспыхнул, брызнул искрами и ярко осветил сушильню, было видно, как из дверей глядели две физиономии, спокойные, выражавшие глубокое внимание, и как те, которые сидели в кружок, обернулись и стали прислушиваться к рассказу. Немного погодя сидевшие в кружок тихо запели что-то протяжное, мелодичное, похожее на великопостную церковную песню... Слушая их, дьякон вообразил, что будет с ним через десять лет, когда он вернется из экспедиции: он – молодой иеромонах-миссионер, автор с именем и великолепно прошлым; его посвящают в архимандриты, потом в архиереи; он служит в кафедральном соборе обед-

ню; в золотой митре, с панагией выходит на амвон и, осеняя массу народа трикирием и дикирием, возглашает: «Призри с небесе, боже, и виждь и посети виноград сей, его же насади десница твоя!» А дети ангельскими головами поют в ответ: «Святой боже»...

– Дьякон, где же рыба? – послышался голос Самойленка.

Вернувшись к костру, дьякон вообразил, как в жаркий июльский день по пыльной дороге идет крестный ход; впереди мужики несут хоругви, а бабы и девки иконы, за ними мальчишки-певчие и дьячок с подвязанной щекой и с соломой в волосах, потом по порядку он, дьякон, за ним поп в скуфейке и с крестом, а сзади пылит толпа мужиков, баб, мальчишек; тут же в толпе попадья и дьяконница в платочках. Поют певчие, режут дети, кричат перепела, заливаются жаворонок... Вот остановились и покропили святой водой стадо... Пошли дальше и с коленопреклонением попросили дождя. Потом закуска, разговоры...

«И это тоже хорошо...» – подумал дьякон.

## VII

Кирилин и Ачмианов взбирались на гору по тропинке. Ачмианов отстал и остановился, а Кирилин подошел к Надежде Федоровне.

– Добрый вечер! – сказал он, делая под козырек.

– Добрый вечер.

– Да-с! – сказал Кирилин, глядя на небо и думая.

– Что – да-с? – спросила Надежда Федоровна, помолчав немного и замечая, что Ачмианов наблюдает за ними обоими.

– Итак, значит, – медленно выговорил офицер, – наша любовь увяла, не успев расцвести, так сказать. Как прикажете это понять? Кокетство это с вашей стороны, в своем роде, или же вы считаете меня шалопаем, с которым можно поступать как угодно?

– Это была ошибка! Оставьте меня! – сказала резко Надежда Федоровна, в этот прекрасный, чудесный вечер глядя на него со страхом и спрашивая себя в недоумении: неужели в самом деле была минута, когда этот человек

правился ей и был близок?

– Так-с! – сказал Кирилин; он молча постоял немного, подумал и сказал: – Что ж? Подождем, когда вы будете в лучшем настроении, а пока смею вас уверить, я человек порядочный и сомневаться в этом никому не позволю. Мной играть нельзя! Adieu![58]

Он сделал под козырек и пошел в сторону, пробираясь меж кустами. Немного погодя нерешительно подошел Ачмианов.

– Хороший вечер сегодня! – сказал он с легким армянским акцентом.

Он был недурен собой, одевался по моде, держался просто, как благовоспитанный юноша, но Надежда Федоровна не любила его за то, что была должна его отцу триста рублей; ей неприятно было также, что на пикник пригласили лавочника, и было неприятно, что он подошел к ней именно в этот вечер, когда на душе у нее было так чисто.

– Вообще пикник удался, – сказал он, помолчав.

– Да, – согласилась она и, как будто только что вспомнив про свой долг, сказала небрежно: – Да, скажите в своем магазине,

что на днях зайдет Иван Андреич и заплатит там триста... или не помню сколько.

– Я готов дать еще триста, только чтобы вы каждый день не напоминали об этом долге. К чему проза?

Надежда Федоровна засмеялась; ей пришла в голову смешная мысль, что если бы она была недостаточно нравственной и пожелала, то в одну минуту могла бы отделаться от долга. Если бы, например, этому красивому, молодому дурачку вскружить голову! Как бы это в сущности было смешно, нелепо, дико! И ей вдруг захотелось влюбить, обобрать, бросить, потом посмотреть, что из этого выйдет.

– Позвольте дать вам один совет, – робко сказал Ачмианов. – Прошу вас, остерегайтесь Кирилина. Он всюду рассказывает про вас ужасные вещи.

– Мне неинтересно знать, что рассказывает про меня всякий дурак, – сказала холодно Надежда Федоровна, и ею овладело беспокойство, и смешная мысль поиграть молодым, хорошеньким Ачмиановым вдруг потеряла свою прелесть.

– Надо вниз идти, – сказала она. – Зовут.

Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкам и ели с тем священнодействием, с каким это делается только на пикниках; и все находили, что уха очень вкусна и что дома они никогда не ели ничего такого вкусно-го. Как это водится на всех пикниках, теряясь в массе салфеток, свертков, ненужных, ползающих от ветра сальных бумаг, не знали, где чей стакан и где чей хлеб, проливали вино на ковер и себе на колени, рассыпали соль, а кругом было темно и костер горел уже не так ярко и каждому было лень встать и подложить хворосту. Все пили вино, и Косте, и Кате дали по полустакану. Надежда Федоровна выпила стакан, потом другой, опьянела и забыла про Кирилина.

– Роскошный пикник, очаровательный вечер, – сказал Лаевский, веселя от вина, – но я предпочел бы всему этому хорошую зиму. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник».[59]

– У всякого свой вкус, – заметил фон Корен. Лаевский почувствовал неловкость: в спину ему бил жар от костра, а в грудь и в лицо – ненависть фон Корена; эта ненависть поря-

дочного, умного человека, в которой таилась, вероятно, основательная причина, унижала его, ослабляла, и он, не будучи в силах противостать ей, сказал заискивающим тоном:

– Я страстно люблю природу и жалею, что я не естественник. Я завидую вам.

– Ну, а я не жалею и не завидую, – сказала Надежда Федоровна. – Я не понимаю, как это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ.

Лаевский разделял ее мнение. Он был совершенно незнаком с естественными науками и потому никогда не мог помириться с авторитетным тоном и ученым, глубокомысленным видом людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками, и ему всегда было досадно, что эти люди, на основании усиков, лапок и какой-то протоплазмы (он почему-то воображал ее в виде устрицы), берутся решать вопросы, охватывающие собою происхождение и жизнь человека. Но в словах Надежды Федоровны ему слышалась ложь, и он сказал только для того, чтобы противоречить ей:

– Дело не в козявках, а в выводах!

## VIII

Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой, поздно, часу в одиннадцатом. Все сели и не доставало только Надежды Федоровны и Ачмианова, которые по ту сторону реки бежали вперегонки и хохотали.

– Господа, поскорей! – крикнул им Самойленко.

– Не следовало бы дамам давать вино, – тихо сказал фон Корен.

Лаевский, утомленный пикником, ненавистью фон Корена и своими мыслями, пошел к Надежде Федоровне навстречу и, когда она, веселая, радостная, чувствуя себя легкой, как перышко, запыхавшись и хохоча, схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь, он сделал шаг назад и сказал сурово:

– Ты ведешь себя, как... кокотка.

Это вышло уж очень грубо, так что ему даже стало жаль ее. На его сердитом, утомленном лице она прочла ненависть, жалость, досаду на себя, и вдруг пала духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно, и, опечаленная, чувствуя себя тяжелой, тол-

стой, грубой и пьяною, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Ачмиановым. Лаевский сел с Кирилиным, зоолог с Самойленко, дьякон с дамами, и поезд тронулся.

– Вот они каковы макаки... – начал фон Корен, кутаясь в плащ и закрывая глаза. – Ты слышал, она не хотела бы заниматься букашками и козявками, потому что страдает народ. Так судят нашего брата все макаки. Племя рабское, лукавое, в десяти поколениях запуганное кнутом и кулаком; оно трепещет, умиляется и курит фимиамы только перед нами, но впусти макаку в свободную область, где ее некому брать за шиворот, там она развертывается и дает себя знать. Посмотри, как она смела на картинных выставках, в музеях, в театрах или когда судит о науке: она топорщится, становится на дыбы, ругается, критикует... И непременно критикует – рабская черта! Ты прислушайся: людей свободных профессий ругают чаще, чем мошенников – это оттого, что общество на три четверти состоит из рабов, из таких же вот макаков. Не случается, чтобы раб протянул тебе руку и сказал искренно спасибо за то, что ты работа-

ешь.

– Не знаю, что ты хочешь! – сказал Самойленко, зевая. – Бедненькой по простоте захотелось поговорить с тобой об умном, а ты уж заключение выводишь. Ты сердит на него за что-то, ну и на нее за компанию. А она прекрасная женщина!

– Э, полно! Обыкновенная содержанка, развратная и пошлая. Послушай, Александр Давидыч, когда ты встречаешь простую бабу, которая не живет с мужем, ничего не делает и только хи-хи да ха-ха, ты говоришь ей: ступай работать. Почему же ты тут робеешь и боишься говорить правду? Потому только, что Надежда Федоровна живет на содержании не у матроса, а у чиновника?

– Что же мне с ней делать? – рассердился Самойленко. – Бить ее, что ли?

– Не льстить пороку. Мы проклинаяем порок только за глаза, а это похоже на кукиш в кармане. Я зоолог, или социолог, что одно и то же, ты – врач; общество нам верит; мы обязаны указывать ему на тот страшный вред, каким угрожает ему и будущим поколениям существование господж вроде этой Надежды

Ивановны.

– Федоровны, – поправил Самойленко. – А что должно делать общество?

– Оно? Это его дело. По-моему, самый прямой и верный путь – это насилие. Manu militari[60] ее следует отправить к мужу, а если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение.

– Уф! – вздохнул Самойленко; он помолчал и спросил тихо: – Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо... Скажи мне, если бы того... положим, государство или общество поручило тебе уничтожить его, то ты бы... решился?

– Рука бы не дрогнула.

## IX

Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажег свечу, а Надежда Федоровна села и, не снимая мантию и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза.

Он понял, что она ждет от него объяснения; но объясняться было бы скучно, бесполезно и утомительно, и на душе было тяжело оттого, что он не удержался и сказал ей грубость. Случайно он нащупал у себя в кармане письмо, которое каждый день собирался прочесть ей, и подумал, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечет ее внимание в другую сторону.

«Пора уж выяснить отношения, – подумал он. – Дам ей; что будет, то будет».

Он вынул письмо и подал ей.

– Прочти. Это тебя касается.

Сказавши это, он пошел к себе в кабинет и лег на диван в потемках, без подушки. Надежда Федоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолок опустился и стены подошли

близко к ней. Стало вдруг тесно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась три раза и проговорила:

– Упокой господи... упокой господи...

И заплакала.

– Ваня! – позвала она. – Иван Андреич!

Ответа не было. Думая, что Лаевский вошел и стоит у нее за стулом, она всхлипывала, как ребенок, и говорила:

– Зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, не хохотала бы так страшно... Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех, какой грех! Спаси меня, Ваня, спаси меня... Я обезумела... Я пропала...

Лаевский слышал ее всхлипыванья. Ему было нестерпимо душно, и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, постоял посреди комнаты, нащупал в потемках кресло около стола и сел.

«Это тюрьма... – подумал он. – Надо уйти... Я не могу...»

Идти играть в карты было уже поздно, ресторанов в городе не было. Он опять лег и заткнул уши, чтобы не слышать всхлипываний,

и вдруг вспомнил, что можно пойти к Самойленку. Чтобы не проходить мимо Надежды Федоровны, он через окно пробрался в садик, перелез через палисадник и пошел по улице. Было темно. Только что пришел какой-то пароход, судя по огням, большой пассажирский... Загремела якорная цепь. От берега по направлению к пароходу быстро двигался красный огонек: это плыла таможенная лодка.

«Спят себе пассажиры в каютах»... – подумал Лаевский и позавидовал чужому покою.

Окна в доме Самойленка были открыты. Лаевский поглядел в одно из них, потом в другое: в комнатах было темно и тихо.

– Александр Давидыч, ты спишь? – позвал он. – Александр Давидыч!

Послышался кашель и тревожный окрик:

– Кто там? Какого чёрта?

– Это я, Александр Давидыч. Извини.

Немного погодя отворилась дверь; блеснул мягкий свет от лампадки, и показался громадный Самойленко весь в белом и в белом колпаке.

– Что тебе? – спросил он, тяжело дыша

спросонок и почесываясь. – Погоди, я сейчас отопру.

– Не трудись, я в окно...

Лаевский влез в окошко и, подойдя к Самойленку, схватил его за руку.

– Александр Давидыч, – сказал он дрожащим голосом, – спаси меня! Умоляю тебя, заклиная, пойми меня! Положение мое мучительно. Если оно продолжится еще хотя день-два, то я задушу себя, как... как собаку!

– Постой... Ты насчет чего, собственно?

– Зажги свечу.

– Ох, ох... – вздохнул Самойленко, зажигая свечу. – Боже мой, боже мой... А уже второй час, брат.

– Извини, но я не могу дома сидеть, – сказал Лаевский, чувствуя большое облегчение от света и присутствия Самойленка. – Ты, Александр Давидыч, мой единственный, мой лучший друг... Вся надежда на тебя. Хочешь, не хочешь, бога ради выручай. Во что бы то ни стало, я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы!

– Ох, боже мой, боже мой!.. – вздохнул Самойленко, почесываясь. – Засыпаю и слышу:

свисток, пароход пришел, а потом ты... Много тебе нужно?

– По крайней мере рублей триста. Ей нужно оставить сто и мне на дорогу двести... Я тебе должен уже около четырехсот, но я всё вышлю... всё...

Самойленко забрал в одну руку оба бакена, расставил ноги и задумался.

– Так... – пробормотал он в раздумье. – Триста... Да... Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь.

– Займи, бога ради! – сказал Лаевский, видя по лицу Самойленка, что он хочет дать ему денег и непременно даст. – Займи, а я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. Это уж будь покоен. Вот что, Саша, – сказал он, оживляясь, – давай выпьем вина!

– Так... Можно и вина.

Оба пошли в столовую.

– А как же Надежда Федоровна? – спросил Самойленко, ставя на стол три бутылки и тарелку с персиками. – Она останется разве?

– Всё устрою, всё устрою... – сказал Лаевский, чувствуя неожиданный прилив радо-

сти. – Я потом вышлю ей денег, она и придет ко мне... Там уж мы и выясним наши отношения. За твое здоровье, друже.

– погоди! – сказал Самойленко. – Сначала ты этого выпей... Это из моего виноградника. Это вот бутылка из виноградника Наваридзе, а это Ахатулова... Попробуй все три сорта и скажи откровенно... Мое как будто с кислотцой. А? Не находишь?

– Да. Утешил ты меня, Александр Давидыч. Спасибо... Я ожил.

– С кислотцой?

– А чёрт его знает, не знаю. Но ты великолепный, чудный человек!

Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнил мнение фон Корена, что таких уничтожать нужно, и Лаевский показался ему слабым, беззащитным ребенком, которого всякий может обидеть и уничтожить.

– А ты, когда поедешь, с матерью помирись, – сказал он. – Нехорошо.

– Да, да, непременно.

Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самойленко сказал:

– Помирился бы ты и с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди, а глядите друг на дружку, как волки.

– Да, он прекраснейший, умнейший человек, – согласился Лаевский, готовый теперь всех хвалить и прощать. – Он замечательный человек, но сойтись с ним для меня невозможно. Нет! Наши натуры слишком различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная; быть может, в хорошую минуту и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня... с презрением.

Лаевский хлебнул вина, прошелся из угла в угол и продолжал, стоя посреди комнаты:

– Я отлично понимаю фон Корена. Это натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышал, он постоянно говорит об экспедиции, и это не пустые слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь: кругом в палатках и под открытым небом спят его голодные и больные, замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, доктор, священник, и не спит только один он и, как Стэнли,[61] сидит на складном стуле и чувствует себя царем пустыни и хозяином этих людей. Он идет, идет,

идет куда-то, люди его стонут и мрут один за другим, а он идет и идет, в конце концов погибает сам и все-таки остается деспотом и царем пустыни, так как крест у его могилы виден караванам за тридцать-сорок миль и царит над пустыней. Я жалею, что этот человек не на военной службе. Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке свою конницу и делать из трупов мосты, а такая смелость на войне нужнее всяких фортификаций и тактик. О, я его отлично понимаю! Скажи: зачем он проедается здесь? Что ему тут нужно?

– Он морскую фауну изучает.

– Нет. Нет, брат, нет! – вздохнул Лаевский. – Мне на пароходе один проезжий ученый рассказывал, что Черное море бедно фауной и что на глубине его, благодаря изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь. Все серьезные зоологи работают на биологических станциях в Неаполе или Villefranche. Но фон Корен самостоятелен и упрям: он работает на Черном море, потому что никто здесь не работает; он порвал с университетом, не хочет знать ученых и товари-

цей, потому что он прежде всего деспот, а потом уж зоолог. И из него, увидишь, выйдет большой толк. Он уж и теперь мечтает, что когда вернется из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и посредственность и скрутит ученых в бараний рог. Деспотия и в науке так же сильна, как на войне. А живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орел; он держит всех жителей в ежах и гнет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам всех, вмешивается в чужие дела, всё ему нужно и все боятся его. Я ускользаю из-под его лапы, он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?

– Да, – засмеялся Самойленко.

Лаевский тоже засмеялся и выпил вина.

– И идеалы у него деспотические, – сказал он, смеясь и закусывая персиком. – Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего: меня, тебя, одним словом человека. Для фон Корена же люди – щенки и ничтожества, слыш-

ком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей. Он хлопочет об улучшении человеческой породы, и в этом отношении мы для него только рабы, мясо для пушек, вьючные животные; одних бы он уничтожил или законопатил на каторгу, других скрутил бы дисциплиной, заставил бы, как Аракчеев, вставать и ложиться по барабану, поставил бы евнухов, чтобы стеречь наше целомудрие и нравственность, велел бы стрелять во всякого, кто выходит за круг нашей узкой, консервативной морали, и всё это во имя улучшения человеческой породы... А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж... Деспоты всегда были иллюзионистами. Я, брат, отлично понимаю его. Я ценю его и не отрицаю его значения; на таких, как он, этот мир держится, и если бы мир был предоставлен только одним нам, то мы, при всей своей доброте и благих намерениях, сделали бы из него то же самое, что вот мухи из этой картины. Да.

Лаевский сел рядом с Самойленком и сказал с искренним увлечением:

– Я пустой, ничтожный, падший человек! Воздух, которым дышу, это вино, любовь, одним словом, жизнь я до сих пор покупал ценою лжи, праздности и малодушия. До сих пор я обманывал людей и себя, я страдал от этого, и страдания мои были дешевы и пошлы. Перед ненавистью фон Корена я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя.

Лаевский опять в волнении прошелся из угла в угол и сказал:

– Я рад, что ясно вижу свои недостатки и сознаю их. Это поможет мне воскреснуть и стать другим человеком. Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с какою тоской я жажду своего обновления. И, клянусь тебе, я буду человеком! Буду! Не знаю, вино ли во мне заговорило, или оно так и есть на самом деле, но мне кажется, что я давно уже не переживал таких светлых, чистых минут, как сейчас у тебя.

– Пора, братец, спать... – сказал Самойленко.

– Да, да... Извини. Я сейчас.

Лаевский засуетился около мебели и окон, ища своей фуражки.

– Спасибо... – бормотал он, вздыхая. – Спасибо... Ласка и доброе слово выше милостыни. Ты оживил меня.

Он нашел свою фуражку, остановился и виновато посмотрел на Самойленка.

– Александр Давидыч! – сказал он умоляющим голосом.

– Что?

– Позволь, голубчик, остаться у тебя ночевать!

– Сделай милость... отчего же?

Лаевский лег спать на диване и еще долго разговаривал с доктором.

## Х

Дня через три после пикника к Надежде Федоровне неожиданно пришла Марья Константиновна и, не здороваясь, не снимая шляпы, схватила ее за обе руки, прижала их к своей груди и сказала в сильном волнении:

– Дорогая моя, я взволнована, поражена. Наш милый, симпатичный доктор вчера передавал моему Никодиму Александрычу, что будто скончался ваш муж. Скажите, дорогая... Скажите, это правда?

– Да, правда, он умер, – ответила Надежда Федоровна.

– Это ужасно, ужасно, дорогая! Но нет худа без добра. Ваш муж, был, вероятно, дивный, чудный, святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле.

На лице у Марьи Константиновны задрожали все черточки и точки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголки, она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь:

– Итак, вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смело гля-

деть людям в глаза. Отныне бог и люди благословят ваш союз с Иваном Андреичем. Это очаровательно. Я дрожу от радости, не нахожу слов. Милая, я буду вашей свахой... Мы с Никодимом Александрычем так любили вас, вы позволите нам благословить ваш законный, чистый союз. Когда, когда вы думаете венчаться?

– Я и не думала об этом, – сказала Надежда Федоровна, освобождая свои руки.

– Это невозможно, милая. Вы думали, думали!

– Ей-богу, не думала, – засмеялась Надежда Федоровна. – К чему нам венчаться? Я не вижу в этом никакой надобности. Будем жить, как жили.

– Что вы говорите! – ужаснулась Марья Константиновна. – Ради бога, что вы говорите!

– Оттого, что мы повенчаемся, не станет лучше. Напротив, даже хуже. Мы потеряем свою свободу.

– Милая! Милая, что вы говорите! – вскрикнула Марья Константиновна, отступая назад и всплескивая руками. – Вы экстравагантны!

Опомнитесь! Угомонитесь!

– То есть, как угомониться? Я еще не жила, а вы– угомонитесь!

Надежда Федоровна вспомнила, что она в самом деле еще не жила. Кончила курс в институте и вышла за нелюбимого человека, потом сошлась с Лаевским и всё время жила с ним на этом скучном, пустынном берегу в ожидании чего-то лучшего. Разве это жизнь?

«А повенчаться бы следовало...» – подумала она, но вспомнила про Кирилина и Ачмианова, покраснела и сказала:

– Нет, это невозможно. Если бы даже Иван Андреич стал просить меня об этом на коленях, то и тогда бы я отказалась.

Марья Константиновна минуту сидела молча на диване печальная, серьезная и глядела в одну точку, потом встала и проговорила холодно:

– Прощайте, милая! Извините, что побеспокоила. Хотя это для меня и не легко, но я должна сказать вам, что с этого дня между нами всё кончено и, несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреичу, дверь моего дома для вас закрыта.

Она проговорила это с торжественностью, и сама же была подавлена своим торжественным тоном; лицо ее опять задрожало, приняло мягкое, миндальное выражение, она протянула испуганной, сконфуженной Надежде Федоровне обе руки и сказала умоляюще:

– Милая моя, позвольте мне хотя одну минуту побыть вашею матерью или старшей сестрой! Я буду откровенна с вами, как мать.

Надежда Федоровна почувствовала в своей груди такую теплоту, радость и сострадание к себе, как будто в самом деле воскресла ее мать и стояла перед ней. Она порывисто обняла Марью Константиновну и прижалась лицом к ее плечу. Обе заплакали. Они сели на диван и несколько минут всхлипывали, не глядя друг на друга и будучи не в силах выговорить ни одного слова.

– Милая, дитя мое, – начала Марья Константиновна, – я буду говорить вам суровые истины, не щадя вас.

– Ради бога, ради бога!

– Доверьтесь мне, милая. Вы вспомните, из всех здешних дам только я одна принимала вас. Вы ужаснули меня с первого же дня, но я

была не в силах отнестись к вам с пренебрежением, как все. Я страдала за милого, доброго Ивана Андреича, как за сына. Молодой человек на чужой стороне, неопытен, слаб, без матери, и я мучилась, мучилась... Муж был против знакомства с ним, но я уговорила... убедила... Мы стали принимать Ивана Андреича, а с ним, конечно, и вас, иначе бы он оскорбился. У меня дочь, сын... Вы понимаете, нежный детский ум, чистое сердце.. аще кто соблазнит единого из малых сих...[62] Я принимала вас и дрожала за детей. О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страх. И все удивлялись, что я принимаю вас, извините, как порядочную, намекали мне... ну, конечно, сплетни, гипотезы... В глубине моей души я осудила вас, но вы были несчастны, жалки, экстравагантны, и я страдала от жалости.

– Но почему? Почему? – спросила Надежда Федоровна, дрожа всем телом. – Что я кому сделала?

– Вы страшная грешница. Вы нарушили обет, который дали мужу перед алтарем. Вы соблазнили прекрасного молодого человека, который, быть может, если бы не встретился

с вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи своего круга и был бы теперь, как все. Вы погубили его молодость. Не говорите, не говорите, милая! Я не поверю, чтобы в наших грехах был виноват мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины в домашнем быту легкомысленны, живут умом, а не сердцем, не понимают многого, но женщина всё понимает. От нее всё зависит. Ей много дано, с нее много и взыщется. О, милая, если бы она была в этом отношении глупее или слабее мужчины, то бог не вверил бы ей воспитания мальчиков и девочек. И затем, дорогая, вы вступили на стезю порока, забыв всякую стыдливость; другая в вашем положении укрылась бы от людей, сидела бы дома запершись, и люди видели бы ее только в храме божием, бледную, одетую во все черное, плачущую, и каждый бы в искреннем сокрушении сказал: «Боже, это согрешивший ангел опять возвращается к тебе...» Но вы, милая, забыли всякую скромность, жили открыто, экстравагантно, точно гордились грехом, вы резвились, хохотали, и я, глядя на вас, дрожала от ужаса и боялась, чтобы гром небесный не по-

разил нашего дома в то время, когда вы сидите у нас. Милая, не говорите, не говорите! – вскрикнула Марья Константиновна, заметив, что Надежда Федоровна хочет говорить. – Доверьтесь мне, я не обману вас и не скрою от взоров вашей души ни одной истины. Слушайте же меня, дорогая... Бог отмечает великих грешников, и вы были отмечены. Помните, костюмы ваши всегда были ужасны!

Надежда Федоровна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах, перестала плакать и посмотрела на нее с удивлением.

– Да, ужасны! – продолжала Марья Константиновна. – По изысканности и пестроте ваших нарядов всякий может судить о вашем поведении. Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами, а я страдала, страдала... И простите меня, милая, вы нечистоплотны! Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня трепетать. Верхнее платье еще туда-сюда, но юбка, сорочка... милая, я краснею! Бедному Ивану Андреичу тоже никто не завяжет галстука, как следует, и по белью, и по сапогам бедняжки видно, что дома за ним ни-

кто не смотрит. И всегда он у вас, мой голубчик, голоден, и в самом деле, если дома некому позаботиться насчет самовара и кофе, то поневоле будешь проживать в павильоне половину своего жалованья. А дома у вас просто ужас, ужас! Во всем городе ни у кого нет мух, а у вас от них отбою нет, все тарелки и блюдечки черны. На окнах и на столах, посмотрите, пыль, дохлые мухи, стаканы... К чему тут стаканы? И, милая, до сих пор у вас со стола не убрано. А в спальню к вам войти стыдно: разбросано везде белье, висят на стенах эти ваши разные каучуки, стоит какая-то посуда... Милая! Муж ничего не должен знать, и жена должна быть перед ним чистой, как ангельчик! Я каждое утро просыпаюсь чуть свет и мою холодной водой лицо, чтобы мой Никодим Александрыч не заметил, что я заспанная.

– Это все пустяки, – зарыдала Надежда Федоровна. – Если бы я была счастлива, но я так несчастна!

– Да, да, вы очень несчастны! – вздохнула Марья Константиновна, едва удерживаясь, чтобы не заплакать. – И вас ожидает в буду-

цем страшное горе! Одинокая старость, болезни, а потом ответ на страшном судилище... Ужасно, ужасно! Теперь сама судьба протягивает вам руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее. Венчайтесь, скорее венчайтесь!

– Да, надо, надо, – сказала Надежда Федоровна, – но это невозможно!

– Почему же?

– Невозможно! О, если б вы знали!

Надежда Федоровна хотела рассказать про Кирилина и про то, как она вчера вечером встретила на пристани с молодым, красивым Ачмиановым и как ей пришла в голову сумасшедшая, смешная мысль отделаться от долга в триста рублей, ей было очень смешно, и она вернулась домой поздно вечером, чувствуя себя бесповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, как это случилось. И ей хотелось теперь поклясться перед Марьей Константиновной, что она непременно отдаст долг, но рыдания и стыд мешали ей говорить.

– Я уеду, – сказала она. – Иван Андреич пусть остается, а я уеду.

– Куда?

– В Россию.

– Но чем вы будете там жить? Ведь у вас ничего нет.

– Я буду переводами заниматься или... или открою библиотечку...

– Не фантазируйте, моя милая. На библиотечку деньги нужны. Ну, я вас теперь оставлю, а вы успокойтесь и подумайте, а завтра приходите ко мне веселенькая. Это будет очаровательно! Ну, прощайте, мой ангелочек. Дайте я вас поцелую.

Марья Константиновна поцеловала Надежду Федоровну в лоб, перекрестила ее и тихо вышла. Становилось уже темно, и Ольга в кухне зажгла огонь. Продолжая плакать, Надежда Федоровна пошла в спальню и легла на постель. Ее стала бить сильная лихорадка. Лежа, она разделась, смяла платье к ногам и свернулась под одеялом клубочком. Ей хотелось пить, и некому было подать.

– Я отдам! – говорила она себе, и ей в бреду казалось, что она сидит возле какой-то больной и узнает в ней самое себя. – Я отдам. Было бы глупо думать, что я из-за денег... Я уеду и

вышлю ему деньги из Петербурга. Сначала сто... потом сто... и потом – сто...

Поздно ночью пришел Лаевский.

– Сначала сто... – сказала ему Надежда Федоровна, – потом сто...

– Ты бы приняла хины, – сказал он, и подумал: «Завтра среда, отходит пароход, и я не еду. Значит, придется жить здесь до субботы».

Надежда Федоровна поднялась в постели на колени.

– Я ничего сейчас не говорила? – спросила она, улыбаясь и щурясь от свечи.

– Ничего. Надо будет завтра утром за доктором послать. Спи.

Он взял подушку и пошел к двери. После того, как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федоровну, она стала возбуждать в нем жалость и чувство вины; ему было в ее присутствии немножко совестно, как в присутствии больной или старой лошади, которую решили убить. Он остановился в дверях и оглянулся на нее.

– На пикнике я был раздражен и сказал тебе грубость. Ты извини меня, бога ради.

Сказавши это, он пошел к себе в кабинет,

лег и долго не мог уснуть.

Когда на другой день утром Самойленко, одетый, по случаю табельного дня, в полную парадную форму с эполетами и орденами, пощупав у Надежды Федоровны пульс и поглядев ей на язык, выходил из спальни, Лаевский, стоявший у порога, спросил его с тревогой:

– Ну, что? Что?

Лицо его выражало страх, крайнее беспокойство и надежду.

– Успокойся, ничего опасного, – сказал Самойленко. – Обыкновенная лихорадка.

– Я не о том, – нетерпеливо поморщился Лаевский. – Достал денег?

– Душа моя, извини, – зашептал Самойленко, оглядываясь на дверь и конфузясь. – Бога ради извини! Ни у кого нет свободных денег, и я собрал пока по пяти да по десяти рублей – всего-навсего сто десять. Сегодня еще кое с кем поговорю. Потерпи.

– Но крайний срок суббота! – прошептал Лаевский, дрожа от нетерпения. – Ради всех святых, до субботы! Если я в субботу не уеду, то ничего мне не нужно... ничего! Не пони-

маю, как это у доктора могут не быть деньги!

– Да, господи, твоя воля, – быстро и с напряжением зашептал Самойленко, и что-то даже пискнуло у него в горле, – у меня всё разобрали, должны мне семь тысяч, и я кругом должен. Разве я виноват?

– Значит: к субботе достанешь? Да?

– Постараюсь.

– Умоляю, голубчик! Так, чтобы в пятницу утром деньги у меня в руках были.

Самойленко сел и прописал хину в растворе, *kalii bromati*, ревенной настойки, *tincturae gentianaе*, *aquae foeniculi* – все это в одной микстуре, прибавил розового сиропу, чтобы горько не было, и ушел.

— У тебя такой вид, как будто ты идешь арестовать меня, — сказал фон Корен, увидев входившего к нему Самойленка в парадной форме.

— А я иду мимо и думаю: дай-ка зайду, зоологию проведу, — сказал Самойленко, садясь у большого стола, сколоченного самим зоологом из простых досок. — Здравствуй, святой отец! — кивнул он дьякону, который сидел у окна и что-то переписывал. — Посижу минуту и побегу домой распорядиться насчет обеда. Уже пора... Я вам не помешал?

— Нисколько, — ответил зоолог, раскладывая по столу мелко исписанные бумажки. — Мы перепиской занимаемся.

— Так... Ох, боже мой, боже мой... — вздохнул Самойленко; он осторожно потянул со стола запыленную книгу, на которой лежала мертвая сухая фаланга, и сказал: — Однако! Представь, идет по своим делам какой-нибудь зелененький жучок и вдруг по дороге встречает такую анафему. Воображаю, какой ужас!

— Да, полагаю.

– Ей яд дан, чтобы защищаться от врагов?

– Да, защищаться и самой нападать.

– Так, так, так... И всё в природе, голубчики мои, целесообразно и объяснимо, – вздохнул Самойленко. – Только вот чего я не понимаю. Ты, величайшего ума человек, объясни-ка мне, пожалуйста. Бывают, знаешь, зверьки, не больше крысы, на вид красивенькие, но в высочайшей степени, скажу я тебе, подлые и безнравственные. Идет такой зверек, положим, по лесу, увидел птичку, поймал и съел. Идет дальше и видит в траве гнездышко с яйцами; жрать ему уже не хочется, сыт, но все-таки раскусывает яйцо, а другие вышвыривает из гнезда лапкой. Потом встречает лягушку и давай с ней играть. Замучил лягушку, идет и облизывается, а навстречу ему жук. Он жука лапкой... И всё он портит и разрушает на своем пути... Залезает и в чужие норы, разрывает зря муравейники, раскусывает улиток... Встретится крыса – он с ней в драку; увидит змейку или мышонка – задушить надо. И так целый день. Ну, скажи, для чего такой зверь нужен? Зачем он создан?

– Я не знаю, про какого зверька ты гово-

ришь, – сказал фон Корен, – вероятно, про какого-нибудь из насекомоядных. Ну, что ж? Птица попалась ему, потому что неосторожна; он разрушил гнездо с яйцами, потому что птица не искусна, дурно сделала гнездо и не сумела замаскировать его. У лягушки, вероятно, какой-нибудь изъян в цветовой окраске, иначе бы он не увидел ее, и так далее. Твой зверь сокрушает только слабых, неискусных, неосторожных, одним словом, имеющих недостатки, которые природа не находит нужным передавать в потомство. Остаются в живых только более ловкие, осторожные, сильные и развитые. Таким образом, твой зверек, сам того не подозревая, служит великим целям усовершенствования.

– Да, да, да... Кстати, брат, – сказал Самойленко развязно, – дай-ка мне займы рублей сто.

– Хорошо. Между насекомоядными попадают очень интересные субъекты. Например, крот. Про него говорят, что он полезен, так как истребляет вредных насекомых. Рассказывают, что будто какой-то немец прислал императору Вильгельму I шубу из кротовых

шкурок и будто император приказал сделать ему выговор за то, что он истребил такое множество полезных животных. А между тем крот в жестокости нисколько не уступит твоему зверьку и к тому же очень вреден, так как страшно портит луга.

Фон Корен отпер шкатулку и достал оттуда сторублевую бумажку.

– У крота сильная грудная клетка, как у летучей мыши, – продолжал он, запирая шкатулку, – страшно развитые кости и мышцы, необыкновенное вооружение рта. Если бы он имел размеры слона, то был бы всесокрушающим, непобедимым животным. Интересно, когда два крота встречаются под землей, то они оба, точно сговорившись, начинают рыть площадку; эта площадка нужна им для того, чтобы удобнее было сражаться. Сделав ее, они вступают в жестокий бой и дерутся до тех пор, пока не падает слабейший. Возьми же сто рублей, – сказал фон Корен, понизив тон, – но с условием, что ты берешь не для Лаевского.

– А хоть бы и для Лаевского! – вспыхнул Самойленко. – Тебе какое дело?

– Для Лаевского я не могу дать. Я знаю, ты любишь давать займы. Ты дал бы и разбойнику Кериму, если бы он попросил у тебя, но, извини, помогать тебе в этом направлении я не могу.

– Да, я прошу для Лаевского! – сказал Самойленко, вставая и размахивая правой рукой. – Да! Для Лаевского! И никакой ни чёрт, ни дьявол не имеет права учить меня, как я должен распоряжаться своими деньгами. Вам не угодно дать? Нет?

Дьякон захохотал.

– Ты не кипятись, а рассуждай, – сказал зоолог. – Благодетельствовать г. Лаевскому так же неумно, по-моему, как поливать сорную траву или прикармливать саранчу.

– А по-моему, мы обязаны помогать нашим ближним! – крикнул Самойленко.

– В таком случае помоги вот этому голодному турку, что лежит под забором! Он работник и нужнее, полезнее твоего Лаевского. Отдай ему эти сто рублей! Или пожертвуй мне сто рублей на экспедицию!

– Ты дашь или нет, я тебя спрашиваю?

– Ты скажи откровенно: на что ему нужны

деньги?

– Это не секрет. Ему нужно в субботу в Петербург ехать.

– Вот как! – сказал протяжно фон Корен. – Ага... Понимаем. А она с ним поедет или как?

– Она пока здесь остается. Он устроит в Петербурге свои дела и пришлет ей денег, тогда и она поедет.

– Ловко!.. – сказал зоолог и засмеялся коротким теноровым смехом. – Ловко! Умно придумано.

Он быстро подошел к Самойленку и, став лицом к лицу, глядя ему в глаза, спросил:

– Ты говори откровенно: он разлюбил? Да? Говори: разлюбил? Да?

– Да, – выговорил Самойленко и вспотел.

– Как это отвратительно! – сказал фон Корен, и по лицу его видно было, что он чувствовал отвращение. – Что-нибудь из двух, Александр Давидыч: или ты с ним в заговоре или же, извини, ты простофиля. Неужели ты не понимаешь, что он проводит тебя, как мальчишку, самым бессовестным образом? Ведь ясно, как день, что он хочет отделаться от нее и бросить ее здесь. Она останется на

твоей шее, и ясно, как день, что тебе придется отправлять ее в Петербург на свой счет. Неужели твой прекрасный друг до такой степени ослепил тебя своими достоинствами, что ты не видишь даже самых простых вещей?

– Это одни только предположения, – сказал Самойленко, садясь.

– Предположения? Но почему он едет один, а не вместе с ней? И почему, спроси его, не поехать бы ей вперед, а ему после? Продувная бестия!

Подавленный внезапными сомнениями и подозрениями насчет своего приятеля, Самойленко вдруг ослабел и понизил тон.

– Но это невозможно! – сказал он, вспоминая ту ночь, когда Лаевский ночевал у него. – Он так страдает!

– Что ж из этого? Воры и поджигатели тоже страдают!

– Положим даже, что ты прав... – сказал в раздумье Самойленко. – Допустим... Но он молодой человек, на чужой стороне... студент, мы тоже студенты, и кроме нас тут некому оказать ему поддержку.

– Помогать ему делать мерзости только потому, что ты и он в разное время были в университете и оба там ничего не делали! Что за вздор!

– Постой, давай хладнокровно рассудим. Можно будет, полагаю, устроить вот как... – соображал Самойленко, шевеля пальцами. – Я, понимаешь, дам ему деньги, но возьму с него честное, благородное слово, что через неделю же он пришлет Надежде Федоровне на дорогу.

– И он даст тебе честное слово, даже пролезится и сам себе поверит, но цена-то этому слову? Он его не сдержит, и когда через год-два ты встретишь его на Невском под ручку с новой любовью, то он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он сколок с Рудина. Брось ты его, бога ради! Уйди от грязи и не копайся в ней обеими руками!

Самойленко подумал минуту и сказал решительно:

– Но я всё-таки дам ему денег. Как хочешь. Я не в состоянии отказать человеку на основании одних только предположений.

– И превосходно. Поцелуйся с ним.

– Так дай же мне сто рублей, – робко попросил Самойленко.

– Не дам.

Наступило молчание. Самойленко совсем ослабел: лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее выражение, и как-то странно было видеть это жалкое, детски-сконфуженное лицо у громадного человека с эполетами и орденами.

– Здешний преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на лошади, – сказал дьякон, кладя перо. – Вид его, сидящего на лошадке, до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия.

– Он хороший человек? – спросил фон Корен, который рад был переменить разговор.

– А то как же? Если б не был хорошим, то разве его посвятили бы в архиереи?

– Между архиереями встречаются очень хорошие и даровитые люди, – сказал фон Корен. – Жаль только, что у многих из них есть слабость – воображать себя государственными мужами. Один занимается обрусением,

другой критикует науки. Это не их дело. Они бы лучше почаще в консисторию заглядывали.

– Светский человек не может судить архиереев.

– Почему же, дьякон? Архиерей такой же человек, как и я.

– Такой да не такой, – обиделся дьякон, принимаясь за перо. – Ежели бы вы были такой, то на вас почила бы благодать и вы сами были бы архиереем, а ежели вы не архиерей, то, значит, не такой.

– Не мели, дьякон! – сказал Самойленко с тоской. – Послушай, вот что я придумал, – обратился он к фон Корену. – Ты мне этих ста рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три месяца, так вот дай мне вперед за три месяца.

– Не дам.

Самойленко замигал глазами и побагровел; он машинально потянул к себе книгу с фалангой и посмотрел на нее, потом встал и взялся за шапку. Фон Корену стало жаль его.

– Вот извольте жить и дело делать с такими господами! – сказал зоолог и в негодова-

нии швырнул ногой в угол какую-то бумагу. – Пойми же, что это не доброта, не любовь, а малодушие, распущенность, яд! Что делает разум, то разрушают ваши дряблые, никуда не годные сердца! Когда я гимназистом был болен брюшным тифом, моя тетушка из сострадания обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умер. Пойми ты вместе с тетушкой, что любовь к человеку должна находиться не в сердце, не под ложечкой и не в пояснице, а вот здесь!

Фон Корен хлопнул себя по лбу.

– Возьми! – сказал он и швырнул сторублевую бумажку.

– Напрасно ты сердисься, Коля, – кротко сказал Самойленко, складывая бумажку. – Я тебя отлично понимаю, но... войди в мое положение.

– Баба ты старая, вот что!

Дьякон захохотал.

– Послушай, Александр Давидыч, последняя просьба! – горячо сказал фон Корен. – Когда ты будешь давать тому прохвосту деньги, то предложи ему условие: пусть уезжает вместе со своей барыней или же отошлет ее впе-

ред, а иначе не давай. Церемониться с ним нечего. Так ему и скажи, а если не скажешь, то, даю тебе честное слово, я пойду к нему в присутствие и спущу его там с лестницы, а с тобою знаться не буду. Так и знай!

– Что ж? Если он уедет вместе с ней или вперед ее отправит, то для него же удобнее, – сказал Самойленко. – Он даже рад будет. Ну, прощай.

Он нежно простился и вышел, но, прежде чем затворить за собою дверь, оглянулся на фон Корена, сделал страшное лицо и сказал:

– Это тебя, брат, немцы испортили! Да! Немцы!

## XII

На другой день, в четверг, Марья Константиновна праздновала день рождения своего Кости. В полдень все были приглашены кушать пирог, а вечером пить шоколад. Когда вечером пришли Лаевский и Надежда Федоровна, зоолог, уже сидевший в гостинной и пивший шоколад, спросил у Самойленка:

– Ты говорил с ним?

– Нет еще.

– Смотри же не церемонься. Не понимаю я наглости этих господ! Ведь отлично знают взгляд здешней семьи на их сожитительство, а между тем лезут сюда.

– Если обращать внимание на каждый предрассудок, – сказал Самойленко, – то придется никуда не ходить.

– Разве отвращение массы к внебрачной любви и распущенности предрассудок?

– Конечно. Предрассудок и ненавистничество. Солдаты как увидят девицу легкого поведения, то хохочут и свищут, а спроси-ка их: кто они сами?

– Недаром они свищут. То, что девки душат

своих незаконноприжитых детей и идут на каторгу, и что Анна Каренина бросилась под поезд, и что в деревнях мажут ворота дегтем, и что нам с тобой, неизвестно почему, нравится в Кате ее чистота, и то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет, – разве всё это предрассудок? Это, братец, единственное, что уцелело от естественного подбора, и, не будь этой темной силы, регулирующей отношения полов, господа Лаевские показали бы тебе, где раки зимуют, и человечество выродилось бы в два года.

Лаевский вошел в гостиную, со всеми поздоровался и, пожимая руку фон Корену, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку:

– Извини, Александр Давидыч, мне нужно сказать тебе два слова.

Самойленко встал, обнял его за талию, и оба пошли в кабинет Никодима Александровича.

– Завтра пятница... – сказал Лаевский, грызя ногти. – Ты достал, что обещал?

– Достал только двести десять. Остальные

сегодня достану или завтра. Будь покоен.

– Слава богу!.. – вздохнул Лаевский, и руки задрожали у него от радости. – Ты меня спасешь, Александр Давидыч, и, клянусь тебе богом, своим счастьем и чем хочешь, эти деньги я вышлю тебе тотчас же по приезде. И старый долг вышлю.

– Вот что, Ваня... – сказал Самойленко, беря его за пуговицу и краснея. – Ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела, но... почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой Федоровной?

– Чудак, но разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завопиют. Ведь я должен по лавкам рублей семьсот, если не больше. Погоди, вышлю им деньги, заткну зубы, тогда и она выедет отсюда.

– Так... Но почему бы тебе не отправить ее вперед?

– Ах, боже мой, разве это возможно? – ужаснулся Лаевский. – Ведь она женщина, что она там одна сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег.

«Резонно»... – подумал Самойленко, но вспомнил разговор свой с фон Кореном, потушился и сказал угрюмо:

– С тобою я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней или же отправь ее вперед, иначе... иначе я не дам тебе денег. Это мое последнее слово...

Он попятился назад, навалился спиною на дверь и вышел в гостиную красный, в страшном смущении.

«Пятница... пятница, – думал Лаевский, возвращаясь в гостиную. – Пятница...»

Ему подали чашку шоколаду. Он ожег губы и язык горячим шоколадом и думал:

«Пятница... пятница...»

Слово «пятница» почему-то не выходило у него из головы; он ни о чем, кроме пятницы, не думал, и для него ясно было только, но не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Перед ним стоял Никодим Александрович, аккуратненький, с зачесанными височками и просил:

– Кушайте, покорнейше прошу-с...

Марья Константиновна показывала гостям отметки Кати и говорила протяжно:

– Теперь ужасно, ужасно трудно учиться! Так много требуют...

– Мама! – стонала Катя, не зная куда спрятаться от стыда и похвал.

Лаевский тоже посмотрел в отметки и похвалил. Закон божий, русский язык, поведение, пятерки и четверки запрыгали в его глазах, и всё это вместе с привязавшейся к нему пятницей, с зачесанными височками Никодима Александрыча и с красными щеками Кати представилось ему такой необъятной, непобедимой скукой, что он едва не вскрикнул с отчаяния и спросил себя: «Неужели, неужели я не уеду?»

Поставили рядом два ломберных стола и сели играть в почту. Лаевский тоже сел.

«Пятница... пятница... – думал он, улыбаясь и вынимая из кармана карандаш. – Пятница...»

Он хотел обдумать свое положение и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что доктор поймал его на обмане, который он так долго и тщательно скрывал от самого себя. Всякий раз, думая о своем будущем, он не давал своим мыслям полной свободы. Он сядет

в вагон и поедет – этим решался вопрос его жизни, и дальше он не пускал своих мыслей. Как далекий тусклый огонек в поле, так изредка в голове его мелькала мысль, что где-то в одном из переулков Петербурга, в отдаленном будущем, для того, чтобы разойтись с Надеждой Федоровной и уплатить долги, ему придется прибегнуть к маленькой лжи; он солжет только один раз, и затем наступит полное обновление. И это хорошо: ценою маленькой лжи он купит большую правду.

Теперь же, когда доктор своим отказом грубо намекнул ему на обман, ему стало понятно, что ложь понадобится ему не только в отдаленном будущем, но и сегодня, и завтра, и через месяц, и, быть может, даже до конца жизни. В самом деле, чтобы уехать, ему нужно будет солгать Надежде Федоровне, кредиторам и начальству; затем, чтобы добыть в Петербурге денег, придется солгать матери, сказать ей, что он уже разошелся с Надеждой Федоровной; и мать не даст ему больше пяти-сот рублей, значит, он уже обманул доктора, так как будет не в состоянии в скором времени прислать ему денег. Затем, когда в Петер-

бург приедет Надежда Федоровна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней; и опять слезы, скука, постылая жизнь, раскаяние и, значит, никакого обновления не будет. Обман и больше ничего. В воображении Лаевского выросла целая гора лжи. Чтобы перескочить ее в один раз, а не лгать по частям, нужно было решиться на крутую меру, например, ни слова не говоря, встать с места, надеть шапку и тотчас же уехать без денег, не говоря ни слова, но Лаевский чувствовал, что для него это невозможно.

«Пятница, пятница... – думал он. – Пятница...»

Писали записки, складывали их вдвое и клали в старый цилиндр Никодима Александрыча и, когда скоплялось достаточно записок, Костя, изображавший почтальона, ходил вокруг стола и раздавал их. Дьякон, Катя и Костя, получавшие смешные записки и старавшиеся писать посмешнее, были в восторге.

«Нам надо поговорить», – прочла Надежда Федоровна на записочке. Она переглянулась с Марьей Константиновной, и та миндально

улыбнулась и закивала ей головой.

«О чем же говорить? – подумала Надежда Федоровна. – Если нельзя рассказать всего, то и говорить незачем».

Перед тем, как идти в гости, она завязала Лаевскому галстук, и это пустое дело наполнило ее душу нежностью и печалью. Тревога на его лице, рассеянные взгляды, бледность и непонятная перемена, происшедшая с ним в последнее время, и то, что она имела от него страшную, отвратительную тайну, и то, что у нее дрожали руки, когда она завязывала галстук, – всё это почему-то говорило ей, что им обоим уже недолго осталось жить вместе. Она глядела на него, как на икону, со страхом и раскаянием, и думала: «Прости, прости...» Против нее за столом сидел Ачмианов и не отрывал от нее своих черных влюбленных глаз; ее волновали желания, она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помешают ей уступить нечистой страсти, не сегодня, так завтра, – и что она, как запойный пьяница, уже не в силах остановиться.

Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для нее и оскорбительной для Лаевского,

она решила уехать. Она будет с плачем умолять его, чтобы он отпустил ее, и если он будет противиться, то она уйдет от него тайно. Она не расскажет ему о том, что произошло. Пусть он сохранит о ней чистое воспоминание.

«Люблю, люблю, люблю», – прочла она. – Это от Ачмианова.

Она будет жить где-нибудь в глуши, работать и высылать Лаевскому «от неизвестного» деньги, вышитые сорочки, табак, и вернется к нему только в старости и в случае, если он опасно заболит и понадобится ему сиделка. Когда в старости он узнает, по каким причинам она отказалась быть его женой и оставила его, он оценит ее жертву и простит.

«У вас длинный нос». – Это, должно быть, от дьякона или от Кости.

Надежда Федоровна вообразила, как, прощаясь с Лаевским, она крепко обнимет его, поцелует ему руку и поклянется, что будет любить его всю, всю жизнь, а потом, живя в глуши, среди чужих людей, она будет каждый день думать о том, что где-то у нее есть друг, любимый человек, чистый, благородный и

возвышенный, который хранит о ней чистое воспоминание.

«Если вы сегодня не назначите мне свидания, то я приму меры, уверяю честным словом. Так с порядочными людьми не поступают, надо это понять». – Это от Кирилина.

### XIII

Лаевский получил две записки; он развернул одну и прочел: «Не уезжай, голубчик мой».[63]

«Кто бы это мог написать? – подумал он. – Конечно, не Самойленко... И не дьякон, так как он не знает, что я хочу уехать. Фон Корен разве?»

Зоолог нагнулся к столу и рисовал пирамиду. Лаевскому показалось, что глаза его улыбаются.

«Вероятно, Самойленко проболтался...» – подумал Лаевский.

На другой записке тем же самым изломанным почерком с длинными хвостами и заколючками было написано: «А кто-то в субботу не уедет».

«Глупое издевательство, – подумал Лаев-

ский. – Пятница, пятница...»

Что-то подступило у него к горлу. Он потрогал воротничок и кашлянул, но вместо кашля из горла вырвался смех.

– Ха-ха-ха! – захохотал он. – Ха-ха-ха! «Чему это я?» – подумал он. – Ха-ха-ха!

Он попытался удержать себя, закрыл рукою рот, но смех давил ему грудь и шею, и рука не могла закрыть рта.

«Как это, однако, глупо! – думал он, покачиваясь со смеху. – Я с ума сошел, что ли?»

Хохот становился всё выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки. Лавевский хотел встать из-за стола, но ноги его не слушались и правая рука как-то странно, помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала их. Он увидел удивленные взгляды, серьезное испуганное лицо Самойленка и взгляд зоолога, полный холодной насмешки и гадливости, и понял, что с ним истерика.

«Какое безобразие, какой стыд, – думал он, чувствуя на лице теплоту от слез... – Ах, ах, какой срам! Никогда со мною этого не было...»

Вот взяли его под руки и, поддерживая сзади голову, повели куда-то; вот стакан блеснул перед глазами и стукнул по зубам, и вода пролилась на грудь; вот маленькая комната, посреди две постели рядом, покрытые чистыми, белыми, как снег, покрывалами. Он повалился на одну постель и зарыдал.

– Ничего, ничего... – говорил Самойленко. – Это бывает... Это бывает...

Похолодевшая от страха, дрожа всем телом и предчувствуя что-то ужасное, Надежда Федоровна стояла у постели и спрашивала:

– Что с тобой? Что? Ради бога говори...

«Не написал ли ему чего-нибудь Кириллин?» – думала она.

– Ничего... – сказал Лаевский, смеясь и плача. – Уйди отсюда... голубка.

Лицо его не выражало ни ненависти, ни отвращения: значит, он ничего не знает; Надежда Федоровна немного успокоилась и пошла в гостиную.

– Не волнуйтесь, милая! – сказала ей Марья Константиновна, садясь рядом и беря ее за руку. – Это пройдет. Мужчины так же слабы, как и мы, грешные. Вы оба теперь пере-

живаєте кризис... это так понятно! Ну, милая, я жду ответа. Давайте поговорим.

– Нет, не будем говорить... – сказала Надежда Федоровна, прислушиваясь к рыданиям Лаевского. – У меня тоска... Позвольте мне уйти.

– Что вы, что вы, милая! – испугалась Марья Константиновна. – Неужели вы думаете, что я отпущу вас без ужина? Закусим, тогда и с богом.

– У меня тоска... – прошептала Надежда Федоровна и, чтобы не упасть, взялась обеими руками за ручку кресла.

– У него родимчик! – сказал весело фон Корен, входя в гостиную, но, увидев Надежду Федоровну, смутился и вышел.

Когда кончилась истерика, Лаевский сидел на чужой постели и думал:

«Срам, разревелся, как девчонка! Должно быть, я смешон и гадок. Уйду черным ходом... Впрочем, это значило бы, что я придаю своей истерике серьезное значение. Следовало бы ее разыграть в шутку...»

Он посмотрелся в зеркало, посидел немного и вышел в гостиную.

– А вот и я! – сказал он, улыбаясь; ему было мучительно стыдно, и он чувствовал, что и другим стыдно в его присутствии. – Бывают же такие истории, – сказал он, садясь. – Сидел я и вдруг, знаете ли, почувствовал страшную колющую боль в боку... невыносимую, нервы не выдержали и... и вышла такая глупая штука. Наш нервный век, ничего не поделаешь!

За ужином он пил вино, разговаривал и изредка, судорожно вздыхая, поглаживал себе бок, как бы показывая, что боль еще чувствуется. И никто, кроме Надежды Федоровны, не верил ему, и он видел это.

В десятом часу пошли гулять на бульвар. Надежда Федоровна, боясь, чтобы с нею не заговорил Кирилин, всё время старалась держаться около Марии Константиновны и детей. Она ослабела от страха и тоски и, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги, но не шла домой, так как была уверена, что за нею пойдет Кирилин или Ачмианов, или оба вместе. Кирилин шел сзади, рядом с Никодимом Александрычем, и напевал вполголоса:

– Я игра-ать мной не позво-олю! Не поз-

во-олю!

С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу и долго смотрели, как фосфорится море. Фон Корен стал рассказывать, отчего оно фосфорится.

## XIV

— Однако, мне пора винтить... Меня ждут, — сказал Лаевский. — Прощайте, господа.

— И я с тобой, погоди, — сказала Надежда Федоровна и взяла его под руку.

Они простились с обществом и пошли. Кирилин тоже простился, сказал, что ему по дороге, и пошел рядом с ними.

«Что будет, то будет... — думала Надежда Федоровна. — Пусть...»

Ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из ее головы и идут в потемках рядом с ней и тяжело дышат, а она сама, как муха, попавшая в чернила, ползет через силу по мостовой и пачкает в черное бок и руку Лаевского. Если Кирилин, думала она, сделает что-нибудь дурное, то в этом будет виноват не он, а она одна. Ведь было время, когда ни

один мужчина не разговаривал с нею так, как Кирилин, и сама она порвала это время, как нитку, и погубила его безвозвратно – кто же виноват в этом? Одурманенная своими желаниями, она стала улыбаться совершенно незнакомому человеку только потому, вероятно, что он статен и высок ростом, в два свидания он наскучил ей, и она бросила его, и разве поэтому, – думала она теперь, – он не имеет права поступить с нею, как ему угодно?

– Тут, голубка, я с тобой прощусь, – сказал Лаевский, останавливаясь. – Тебя проводит Илья Михайлыч.

Он поклонился Кирилину и быстро пошел поперек бульвара, прошел через улицу к дому Шешковского, где светились окна, и слышно было затем, как он стукнул калиткой.

– Позвольте мне объясниться с вами, – начал Кирилин. – Я не мальчишка, не какой-нибудь Ачкасов или Лачкасов, Зачкасов... Я требую серьезного внимания!

У Надежды Федоровны сильно забилося сердце. Она ничего не ответила.

– Вашу резкую перемену в обращении со мной я объяснял сначала кокетством, – про-

должал Кирилин, – теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть мной, как с этим мальчишкой армянином, но я порядочный человек и требую, чтобы со мной поступали, как с порядочным человеком. Итак, я к вашим услугам...

– У меня тоска... – сказала Надежда Федоровна и заплакала и, чтобы скрыть слезы, отвернулась.

– У меня тоже тоска, но что же из этого следует?

Кирилин помолчал немного и сказал отчетливо, с расстановкой:

– Я повторяю, сударыня, что если вы не дадите мне сегодня свидания, то сегодня же я сделаю скандал.

– Отпустите меня сегодня, – сказала Надежда Федоровна и не узнала своего голоса, до такой степени он был жалобен и тонок.

– Я должен проучить вас... Извините за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Да-с, к сожалению, я должен проучить вас. Я требую два свидания: сегодня и завтра. После завтра вы совершенно свободны и можете ид-

ти на все четыре стороны с кем вам угодно.  
Сегодня и завтра.

Надежда Федоровна подошла к своей калитке и остановилась.

– Отпустите меня! – шептала она, дрожа всем телом и не видя перед собою в потемках ничего, кроме белого кителя. – Вы правы, я ужасная женщина... я виновата, но отпустите... Я вас прошу... – она дотронулась до его холодной руки и вздрогнула, – я вас умоляю...

– Увы! – вздохнул Кирилин. – Увы! Не в моих планах отпускать вас, я только хочу проучить вас, дать понять, и к тому же, мадам, я слишком мало верю женщинам.

– У меня тоска...

Надежда Федоровна прислушалась к ровному шуму моря, поглядела на небо, усыпанное звездами, и ей захотелось скорее покончить всё и отделаться от проклятого ощущения жизни с ее морем, звездами, мужчинами, лихорадкой...

– Только не у меня дома... – сказала она холодно. – Уведите меня куда-нибудь.

– Пойдемте к Мюридову. Самое лучшее.

– Где это?

– Около старого вала.

Она быстро пошла по улице и потом повернула в переулок, который вел к горам. Было темно. Кое-где на мостовой лежали бледные световые полосы от освещенных окон, и ей казалось, что она, как муха, то попадает в чернила, то опять выползает из них на свет. Кирилин шел за нею. На одном месте он споткнулся, едва не упал и засмеялся.

«Он пьян... – подумала Надежда Федоровна. – Всё равно... всё равно... Пусть».

Ачмианов тоже скоро простился с компанией и пошел вслед за Надеждой Федоровной, чтобы пригласить ее покататься на лодке. Он подошел к ее дому и посмотрел через палисадник: окна были открыты настежь, огня не было.

– Надежда Федоровна! – позвал он.

Прошла минута. Он опять позвал.

– Кто там? – послышался голос Ольги.

– Надежда Федоровна дома?

– Нету. Еще не приходила.

«Странно... Очень странно, – подумал Ачмианов, начиная чувствовать сильное беспокойство. – Она пошла домой...»

Он прошелся по бульвару, потом по улице и заглянул в окна к Шешковскому. Лаевский без сюртука сидел у стола и внимательно смотрел в карты.

– Странно, странно... – пробормотал Ачмианов, и при воспоминании об истерике, которая была с Лаевским, ему стало стыдно. – Если она не дома, то где же?

Он опять пошел к квартире Надежды Федоровны и посмотрел на темные окна.

«Это обман, обман...» – думал он, вспоминая, что она же сама, встретясь с ним сегодня в полдень у Битюговых, обещала вместе кататься вечером на лодке.

Окна в том доме, где жил Кирилин, были темны, и у ворот на лавочке сидел городской и спал. Ачмианову, когда он посмотрел на окна и на городского, стало всё ясно. Он решил идти домой и пошел, но очутился опять около квартиры Надежды Федоровны. Тут он сел на лавочку и снял шляпу, чувствуя, что его голова горит от ревности и обиды.

В городской церкви били часы только два раза в сутки: в полдень и в полночь. Вскоре после того, как они пробили полночь, слы-

шались торопливые шаги.

– Значит, завтра вечером опять у Мюридова! – услышал Ачмианов и узнал голос Кирилина. – В восемь часов. До свиданья-с!

Около палисадника показалась Надежда Федоровна. Не замечая, что на лавочке сидит Ачмианов, она прошла тенью мимо него, отворила калитку и, оставив ее отпертою, вошла в дом. У себя в комнате она зажгла свечу, быстро разделась, но не легла в постель, а опустилась перед стулом на колени, обняла его и припала к нему лбом.

Лаевский вернулся домой в третьем часу.

## XV

Решив лгать не сразу, а по частям, Лаевский на другой день, во втором часу, пошел к Самойленку попросить денег, чтобы уехать непременно в субботу. После вчерашней истерики, которая к тяжелому состоянию его души прибавила еще острое чувство стыда, оставаться в городе было немислимо. Если Самойленко будет настаивать на своих условиях, думал он, то можно будет согласиться на них и взять деньги, а завтра, в самый час отъезда, сказать, что Надежда Федоровна отказалась ехать; с вечера ее можно будет уговорить, что всё это делается для ее же пользы. Если же Самойленко, находящийся под очевидным влиянием фон Корена, совершенно откажет в деньгах или предложит какие-нибудь новые условия, то он, Лаевский, сегодня же уедет на грузовом пароходе, или даже на паруснике, в Новый Афон или Новороссийск, пошлет оттуда матери унижительную телеграмму и будет жить там до тех пор, пока мать не вышлет ему на дорогу.

Придя к Самойленку, он застал в гостиной

фон Корена. Зоолог только что пришел обедать и, по обыкновению, раскрыв альбом, рассматривал мужчин в цилиндрах и дам в чепцах.

«Как некстати, – подумал Лаевский, увидев его. – Он может помешать». – Здравствуйте!

– Здравствуйте, – ответил фон Корен, не глядя на него.

– Александр Давидыч дома?

– Да. В кухне.

Лаевский пошел в кухню, но, увидев в дверь, что Самойленко занят салатом, вернулся в гостиную и сел. В присутствии зоолога он всегда чувствовал неловкость, а теперь боялся, что придется говорить об истерике. Прошло больше минуты в молчании. Фон Корен вдруг поднял глаза на Лаевского и спросил:

– Как вы себя чувствуете после вчерашнего?

– Превосходно, – ответил Лаевский, краснея. – В сущности, ведь ничего не было особенного...

– До вчерашнего дня я полагал, что истерика бывает только у дам, и потому думал сначала, что у вас пляска святого Витта.

Лаевский заискивающе улыбнулся и подумал:

«Как это неделикатно с его стороны. Ведь он отлично знает, что мне тяжело...» – Да, смешная была история, – сказал он, продолжая улыбаться. – Я сегодня всё утро смеялся. Курьезно в истерическом припадке то, что знаешь, что он нелеп, и смеешься над ним в душе и в то же время рыдаешь. В наш нервный век мы рабы своих нервов; они наши хозяева и делают с нами что хотят. Цивилизация в этом отношении оказала нам медвежьей услугу...

Лаевский говорил, и ему было неприятно, что фон Корен серьезно и внимательно слушает его и глядит на него внимательно, не мигая, точно изучает; и досадно ему было на себя за то, что, несмотря на свою нелюбовь к фон Корену, он никак не мог согнать со своего лица заискивающей улыбки.

– Хотя, надо сознаться, – продолжал он, – были ближайшие причины для припадка и довольно-таки основательные. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, постоянное бездене-

жье... отсутствие людей и общих интересов...  
Положение хуже губернаторского.

– Да, ваше положение безвыходно, – сказал фон Корен.

Эти покойные, холодные слова, содержавшие в себе не то насмешку, не то непрошеное пророчество, оскорбили Лаевского. Он вспомнил вчерашний взгляд зоолога, полный насмешки и гадливости, помолчал немного и спросил, уже не улыбаясь:

– А вам откуда известно мое положение?

– Вы только что говорили о нем сами, да и ваши друзья принимают в вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь, что о вас.

– Какие друзья? Самойленко, что ли?

– Да, и он.

– Я попросил бы Александра Давидыча и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться.

– Вот идет Самойленко, попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился.

– Я не понимаю вашего тона... – пробормотал Лаевский; его охватило такое чувство, как будто он сейчас только понял, что зоолог

ненавидит его, презирает и издевается над ним и что зоолог самый злейший и непримиримый враг его. – Приберегите этот тон для кого-нибудь другого, – сказал он тихо, не имея сил говорить громко от ненависти, которая уже теснила ему грудь и шею, как вчера желание смеяться.

Вошел Самойленко без сюртука, потный и багровый от кухонной духоты.

– А, ты здесь? – сказал он. – Здравствуй, голубчик. Ты обедал? Не церемонься, говори: обедал?

– Александр Давидыч, – сказал Лаевский, вставая, – если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны.

– Что такое? – удивился Самойленко.

– Если у тебя нет денег, – продолжал Лаевский, возвышая голос и от волнения переминаясь с ноги на ногу, – то не давай, откажи, но зачем благовестить в каждом переулке о том, что мое положение безвыходно и прочее? Этих благодеяний и дружеских услуг, когда делают на копейку, а говорят на рубль, я тер-

петь не могу! Можешь хвастать своими благодеяниями, сколько тебе угодно, но никто не давал тебе права разоблачать мои тайны!

– Какие тайны? – спросил Самойленко, недоумевая и начиная сердиться. – Если ты пришел ругаться, то уходи. После придешь!

Он вспомнил правило, что когда гневаешься на ближнего, то начни мысленно считать до ста и успокоишься; и он начал быстро считать.

– Прошу вас обо мне не заботиться! – продолжал Лаевский. – Не обращайтесь на меня внимания. И кому какое дело до меня и до того, как я живу? Да, я хочу уехать! Да, я делаю долги, пью, живу с чужой женой, у меня истерика, я пошл, не так глубокомыслен, как некоторые, но кому какое дело до этого? Уважайте личность!

– Ты, братец, извини, – сказал Самойленко, сосчитав до тридцати пяти, – но...

– Уважайте личность! – перебил его Лаевский. – Эти постоянные разговоры на чужой счет, охи да ахи, постоянные выслеживания, подслушивания, эти сочувствия дружеские... к чёрту! Мне дают деньги займы и предлага-

ют условия, как мальчишке! Меня третируют, как чёрт знает что! Ничего я не желаю! – крикнул Лаевский, шатаясь от волнения и боясь, как бы с ним опять не приключилась истерика. – «Значит, в субботу я не уеду», – мелькнуло у него в мыслях. – Ничего я не желаю! Только прошу, пожалуйста, избавить меня от опеки. Я не мальчишка и не сумасшедший и прошу снять с меня этот надзор!

Вошел дьякон и, увидев Лаевского, бледного, размахивающего руками и обращающегося со своею странною речью к портрету князя Воронцова, остановился около двери как вкопанный.

– Постоянные заглядывания в мою душу, – продолжал Лаевский, – оскорбляют во мне человеческое достоинство, и я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство! Довольно!

– Что ты... что вы сказали? – спросил Самойленко, сосчитав до ста, багровея и подходя к Лаевскому.

– Довольно! – повторил Лаевский, задыхаясь и беря фуражку.

– Я русский врач, дворянин и статский со-

ветник! – сказал с расстановкой Самойленко. – Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять! – крикнул он дребезжащим голосом, делая ударение на последнем слове. – Замолчать!

Дьякон, никогда не видавший доктора таким величественным, надутым, багровым и страшным, зажал рот, выбежал в переднюю и покатился там со смеху. Словно в тумане, Лаевский видел, как фон Корен встал и, заложив руки в карманы панталон, остановился в такой позе, как будто ждал, что будет дальше; эта покойная поза показалась Лаевскому в высшей степени дерзкой и оскорбительной.

– Извольте взять ваши слова назад! – крикнул Самойленко.

Лаевский, уже не помнивший, какие он слова говорил, отвечал:

– Оставьте меня в покое! Я ничего не хочу! Я хочу только, чтобы вы и немецкие выходцы из жидов оставили меня в покое! Иначе я приму меры! Я драться буду!

– Теперь понятно, – сказал фон Корен, выходя из-за стола. – Г. Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доста-

вить ему это удовольствие. Г. Лаевский, я принимаю ваш вызов.

– Вызов? – проговорил тихо Лаевский, подходя к зоологу и глядя с ненавистью на его смуглый лоб и курчавые волосы. – Вызов? Извольте! Я ненавижу вас! Ненавижу!

– Очень рад. Завтра утром пораньше около Кербалая, со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь.

– Ненавижу! – говорил Лаевский тихо, тяжело дыша. – Давно ненавижу! Дуэль! Да!

– Убери его, Александр Давидыч, а то я уйду, – сказал фон Корен. – Он меня укусит.

Покойный тон фон Корена охладил доктора; он как-то вдруг пришел в себя, образумился, взял обеими руками Лаевского за талию и, отводя его от зоолога, забормотал ласковым, дрожащим от волнения голосом;

– Друзья мои... хорошие, добрые... Погорячились и будет... и будет... Друзья мои...

Услышав мягкий, дружеский голос, Лаевский почувствовал, что в его жизни только что произошло что-то небывалое, чудовищное, как будто его чуть было не раздавил поезд; он едва не заплакал, махнул рукой и вы-

бежал из комнаты.

«Испытать на себе чужую ненависть, выказать себя перед ненавидящим человеком в самом жалком, презренном, беспомощном виде, – боже мой, как это тяжело! – думал он, немного погодя сидя в павильоне и чувствуя точно ржавчину на теле от только что испытанной чужой ненависти. – Как это грубо, боже мой!»

Холодная вода с коньяком подбодрила его. Он с ясностью представил себе покойное, надменное лицо фон Корена, его вчерашний взгляд, рубаху, похожую на ковер, голос, белые руки, и тяжелая ненависть, страстная, голодная заворочалась в его груди и потребовала удовлетворения. В мыслях он повалил фон Корена на землю и стал топтать его ногами. Он вспоминал в мельчайших подробностях всё происшедшее и удивлялся, как это он мог заискивающе улыбаться ничтожному человеку и вообще дорожить мнением мелких, никому не известных людишек, живущих в ничтожнейшем городе, которого, кажется, нет даже на карте и о котором в Петербурге не знает ни один порядочный человек. Если бы

этот городишко вдруг провалился или сторел, то телеграмму об этом прочли бы в России с такою же скукой, как объявление о продаже подержанной мебели. Убить завтра фон Корена или оставить его в живых – это всё равно, одинаково бесполезно и неинтересно. Выстрелить в ногу или в руку, ранить, потом посмеяться над ним, и как насекомое с оторванной ножкой теряется в траве, так пусть он со своим глухим страданием затеряется после в толпе таких же ничтожных людей, как он сам.

Лаевский пошел к Шешковскому, рассказал ему обо всем и пригласил его в секунданты; потом оба они отправились к начальнику почтово-телеграфной конторы, пригласили и его в секунданты и остались у него обедать. За обедом много шутили и смеялись; Лаевский подтрунивал над тем, что он почти совсем не умеет стрелять, и называл себя королевским стрелком и Вильгельмом Теллем.

– Надо этого господина проучить... – говорил он.

После обеда сели играть в карты. Лаевский играл, пил вино и думал, что дуэль вообще

глупа и бестолкова, так как она не решает вопроса, а только осложняет его, но что без нее иногда нельзя обойтись. Например, в данном случае: ведь не подашь же на фон Корена мировому! И предстоящая дуэль еще тем хороша, что после нее ему уж нельзя будет оставаться в городе. Он слегка опьянел, развлекся картами и чувствовал себя хорошо.

Но когда зашло солнце и стало темно, им овладело беспокойство. Это был не страх перед смертью, потому что в нем, пока он обедал и играл в карты, сидела почему-то уверенность, что дуэль кончится ничем; это был страх перед чем-то неизвестным, что должно случиться завтра утром первый раз в его жизни, и страх перед наступающею ночью... Он знал, что ночь будет длинная, бессонная и что придется думать не об одном только фон Корене и его ненависти, но и о той горе лжи, которую ему предстояло пройти и обойти которую у него не было сил и уменья. Похоже было на то, как будто он заболел внезапно; он потерял вдруг всякий интерес к картам и людям, засуетился и стал просить, чтобы его отпустили домой. Ему хотелось поскорее лечь

в постель, не двигаться и приготовить свои мысли к ночи. Шешковский и почтовый чиновник проводили его и отправились к фон Корену, чтобы поговорить насчет дуэли.

Около своей квартиры Лаевский встретил Ачмианова. Молодой человек запыхался и был возбужден.

– А я вас ищу, Иван Андреич! – сказал он. – Прошу вас, пойдите скорее...

– Куда?

– Вас желает видеть один не знакомый вам господин, который имеет до вас очень важное дело. Он убедительно просит вас прийти на минутку. Ему нужно о чем-то поговорить с вами... Для него это всё равно, как жизнь и смерть...

Волнуясь, Ачмианов проговорил это с сильным армянским акцентом, так что у него вышло не «жизнь», а «жизень».

– Кто он такой? – спросил Лаевский.

– Он просил не говорить его имени.

– Скажите ему, что я занят. Завтра если угодно...

– Как можно! – испугался Ачмианов. – Он хочет сказать вам такое очень важное для

вас... очень важное! Если не пойдете, то случится несчастье.

– Странно... – пробормотал Лаевский, не понимая, почему Ачмианов так возбужден и какие это тайны могут быть в скучном, никому не нужном городишке. – Странно, – повторил он в раздумье. – Впрочем, пойдёмте. Всё равно.

Ачмианов быстро пошел вперед, а он за ним. Прошли по улице, потом переулком.

– Как это скучно, – сказал Лаевский.

– Сейчас, сейчас... Близо.

Около старого вала они прошли узким переулком между двумя огороженными пустырями, затем вошли в какой-то большой двор и направились к небольшому домику...

– Это дом Мюридова, что ли? – спросил Лаевский.

– Да.

– Но зачем мы идем задворками, не понимаю? Могли бы и улицей. Там ближе...

– Ничего, ничего...

Лаевскому показалось также странным, что Ачмианов повел его к черному ходу и замахал ему рукой, как бы приглашая его идти

потиху и молчать.

– Сюда, сюда... – сказал Ачмианов, осторожно отворяя дверь и входя в сени на цыпочках. – Тихе, тихе, прошу вас... Могут услышать.

Он прислушался, тяжело перевел дух и сказал шёпотом:

– Отворите вот эту дверь и войдите... Не бойтесь.

Лаевский, недоумевая, отворил дверь и вошел в комнату с низким потолком и занавешенными окнами. На столе стояла свеча.

– Кого нужно? – спросил кто-то в соседней комнате. – Ты, Мюридка?

Лаевский повернул в эту комнату и увидел Кирилина, а рядом с ним Надежду Федоровну.

Он не слышал, что ему сказали, попятился назад и не заметил, как очутился на улице. Ненависть к фон Корену и беспокойство – всё исчезло из души. Идя домой, он неловко размахивал правой рукой и внимательно смотрел себе под ноги, стараясь идти по гладкому. Дома, в кабинете, он, потирая руки и угловато поводя плечами и шеей, как будто ему было тесно в пиджаке и сорочке, прошелся из угла

В угол, потом зажег свечу и сел за стол...

## XVI

— Гуманитарные науки, о которых вы говорите, тогда только будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своем они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Встретятся ли они под микроскопом, или в монологах нового Гамлета, или в новой религии, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной корой раньше, чем это случится. Самое стойкое и живучее из всех гуманитарных знаний — это, конечно, учение Христа, но посмотрите, как даже оно различно понимается! Одни учат, чтобы мы любили всех ближних, и делают при этом исключение для солдат, преступников и безумных: первых они разрешают убивать на войне, вторых изолировать или казнить, а третьим запрещают вступление в брак. Другие толкователи учат любить всех ближних без исключения, не различая плюсов и минусов. По их учению, если к вам приходит бугорчатый, или убийца, или эпилептик и сватает вашу дочь — отдавайте; если кретины идут вой-

ной на физически и умственно здоровых – подставляйте головы. Эта проповедь любви ради любви, как искусства для искусства, если бы могла иметь силу, в конце концов привела бы человечество к полному вымиранию, и таким образом совершилось бы грандиознейшее из злодейств, какие когда-либо бывали на земле. Толкований очень много, а если их много, то серьезная мысль не удовлетворяется ни одним из них и к массе всех толкований спешит прибавить свое собственное. Поэтому никогда не ставьте вопроса, как вы говорите, на философскую, или так называемую христианскую почву; этим вы только отдаляетесь от решения вопроса.

Дьякон внимательно выслушал зоолога, подумал и спросил:

– Нравственный закон, который свойственен каждому из людей, философы выдумали или же его бог создал вместе с телом?

– Не знаю. Но этот закон до такой степени общ для всех народов и эпох, что, мне кажется, его следует признать органически связанным с человеком. Он не выдуман, а есть и будет. Я не скажу вам, что его увидят когда-ни-

будь под микроскопом, но органическая связь его уже доказывается очевидностью: серьезное страдание мозга и все так называемые душевные болезни выражаются прежде всего в извращении нравственного закона, насколько мне известно.

– Хорошо-с. Значит, как желудок хочет есть, так нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних. Так? Но естественная природа наша по себялюбию противится голосу совести и разума, и потому возникает много головоломных вопросов. К кому же мы должны обращаться за разрешением этих вопросов, если вы не велите ставить их на философскую почву?

– Обратитесь к тем немногим точным знаниям, какие у нас есть. Доверьтесь очевидности и логике фактов. Правда, это скудно, но зато не так зыбко и расплывчато, как философия. Нравственный закон, положим, требует, чтобы вы любили людей. Что ж? Любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе вредит людям и угрожает им опасностью в настоящем и будущем. Наши знания и очевидность говорят вам, что че-

ловечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных. Если так, то боритесь с ненормальными. Если вы не в силах возвысить их до нормы, то у вас хватит силы и умения обезвредить их, то есть уничтожить.

– Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого?

– Несомненно.

– Но ведь сильные распяли господу нашего Иисуса Христа! – сказал горячо дьякон.

– В том-то и дело, что распяли его не сильные, а слабые. Человеческая культура ослабла и стремится свести к нулю борьбу за существование и подбор; отсюда быстрое размножение слабых и преобладание их над сильными. Вообразите, что вам удалось внушить пчелам гуманные идеи в их неразработанной, рудиментарной форме. Что произойдет от этого? Трутни, которых нужно убивать, останутся в живых, будут съедать мёд, развращать и душить пчел – в результате преобладание слабых над сильными и вырождение последних. То же самое происходит теперь и с человечеством: слабые гнетут сильных. У ди-

карей, которых еще не коснулась культура, самый сильный, мудрый и самый нравственный идет впереди; он вождь и владыка. А мы, культурные, распяли Христа и продолжаем его распинать. Значит, у нас чего-то не хватает... И это «что-то» мы должны восстановить у себя, иначе конца не будет этим недоразумениям.

– Но какой у вас есть критерий для различения сильных и слабых?

– Знание и очевидность. Бугорчатых и золотушных узнают по их болезням, а безнравственных и сумасшедших по поступкам.

– Но ведь возможны ошибки!

– Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожает потоп.

– Это философия, – засмеялся дьякон.

– Нисколько. Вы до такой степени испорчены вашей семинарской философией, что во всем хотите видеть один только туман. Отвлеченные науки, которыми набита ваша молодая голова, потому и называются отвлеченными, что они отвлекают ваш ум от очевидности. Смотрите в глаза чёрту прямо, и если он чёрт, то и говорите, что это чёрт, а не лезь-

те к Канту или к Гегелю за объяснениями.

Зоолог помолчал и продолжал:

– Дважды два есть четыре, а камень есть камень. Завтра вот у нас дуэль. Мы с вами будем говорить, что это глупо и нелепо, что дуэль уже отжила свой век, что аристократическая дуэль ничем по существу не отличается от пьяной драки в кабаке, а всё-таки мы не остановимся, поедем и будем драться. Есть, значит, сила, которая сильнее наших рассуждений. Мы кричим, что война – это разбой, варварство, ужас, братоубийство, мы без обморока не можем видеть крови; но стоит только французам или немцам оскорбить нас, как мы тотчас же почувствуем подъем духа, самым искренним образом закричим ура и бросимся на врага, вы будете призывать на наше оружие благословение божие и наша доблесть будет вызывать всеобщий и притом искренний восторг. Опять-таки, значит, есть сила, которая если не выше, то сильнее нас и нашей философии. Мы не можем остановить ее так же, как вот этой тучи, которая подвигается из-за моря. Не лицемерьте же, не показывайте ей кукиша в кармане и не говорите:

«ах, глупо! ах, устарело! ах, несогласно с писанием!», а смотрите ей прямо в глаза, признавайте ее разумную законность, и когда она, например, хочет уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия. У Лескова есть совестливый Данила, который нашел за городом прокаженного и кормит, и греет его во имя любви и Христа.[64] Если бы этот Данила в самом деле любил людей, то он оттащил бы прокаженного подальше от города и бросил его в ров, а сам пошел бы служить здоровым. Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную.

– Экой вы какой! – засмеялся дьякон. – В Христа же вы не веруете, зачем же вы его так часто упоминаете?

– Нет, верую. Но только, конечно, по-своему, а не по-вашему. Ах, дьякон, дьякон! – засмеялся зоолог; он взял дьякона за талию и сказал весело: – Ну, что ж? Поедем завтра на дуэль?

– Сан не позволяет, а то бы поехал.

– А что значит – сан?

– Я посвященный. На мне благодать.

– Ах, дьякон, дьякон, – повторил фон Корен, смеясь. – Люблю я с вами разговаривать.

– Вы говорите – у вас вера, – сказал дьякон. – Какая это вера? А вот у меня есть дядька-поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет и все бабы и мужики навзрыд плачут. Он бы и тучу эту остановил и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да... Вера горами двигает.

Дьякон засмеялся и похлопал зоолога по плечу.

– Так-то... – продолжал он. – Вот вы всё учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых да сильных, книжки пишете и на дуэли вызываете – и всё остается на своем месте, а глядите, какой-нибудь слабенький старец святым духом пролепечет одно только слово или из Аравии прискачет на коне новый Магомет с шашкой, и полетит у вас всё вверх тарамашкой, и в Европе камня на камне не

останется.

– Ну, это, дьякон, на небе вилами писано!

– Вера без дел мертва есть, а дела без веры – еще хуже, одна только трата времени и больше ничего.

На набережной показался доктор. Он увидел дьякона и зоолога и подошел к ним.

– Кажется, всё готово, – сказал он, запыхавшись. – Секундантами будут Говоровский и Бойко. Заедут утром в пять часов. Наворотило-то как! – сказал он, посмотрев на небо. – Ничего не видать. Сейчас дождик будет.

– Ты, надеюсь, поедешь с нами? – спросил фон Корен.

– Нет, боже меня сохрани, я и так замучился. Вместо меня Устимович поедет. Я уже говорил с ним.

Далеко над морем блеснула молния, и слышались глухие раскаты грома.

– Как душно перед грозой! – сказал фон Корен. – Бьюсь об заклад, что ты уже был у Лаевского и плакал у него на груди.

– Зачем я к нему пойду? – ответил доктор, смутившись. – Вот еще!

До захода солнца он несколько раз про-

шелся по бульвару и по улице, в надежде встретиться с Лаевским. Ему было стыдно за свою вспышку и за внезапный порыв доброты, который последовал за этой вспышкой. Он хотел извиниться перед Лаевским в шуточном тоне, пожурить его, успокоить и сказать ему, что дуэль – остатки средневекового варварства, но что само провидение указало им на дуэль как на средство примирения: завтра оба они, прекраснейшие, величайшего ума люди, обменявшись выстрелами, оценят благородство друг друга и сделаются друзьями. Но Лаевский ни разу не встретился.

– Зачем я к нему пойду? – повторил Самойленко. – Не я его оскорбил, а он меня. Скажи на милость, за что он на меня набросился? Что я ему дурного сделал? Вхожу в гостиную и вдруг, здорово живешь: шпион! Вот те на! Ты скажи: с чего у вас началось? Что ты ему сказал?

– Я ему сказал, что его положение безвыходно. И я был прав. Только честные и мошенники могут найти выход из всякого положения, а тот, кто хочет в одно и то же время быть честным и мошенником, не имеет выхо-

да. Однако, господа, уж 11 часов, а завтра нам рано вставать.

Внезапно налетел ветер; он поднял на набережной пыль, закружил ее вихрем, заревел и заглушил шум моря.

– Шквал! – сказал дьякон. – Надо идти, а то глаза запорошило.

Когда пошли, Самойленко вздохнул и сказал, придерживая фуражку:

– Должно быть, я не буду нынче спать.

– А ты не волнуйся, – засмеялся зоолог. – Можешь быть покоен, дуэль ничем не кончится. Лаевский великодушно в воздух выстрелит, он иначе не может, а я, должно быть, и совсем стрелять не буду. Попадать под суд из-за Лаевского, терять время – не стоит игра свеч. Кстати, какая ответственность полагается за дуэль?

– Арест, а в случае смерти противника заключение в крепости до трех лет.

– В Петропавловской?

– Нет, в военной, кажется.

– Хотя следовало бы проучить этого молодца! Позади на море сверкнула молния и на мгновение осветила крыши домов и горы.

Около бульвара приятели разошлись. Когда доктор исчез в потемках и уже стихали его шаги, фон Корен крикнул ему:

– Как бы погода не помешала нам завтра!

– Чего доброго! А дал бы бог!

– Спокойной ночи!

– Что – ночь? Что ты говоришь?

За шумом ветра и моря и за раскатами грома трудно было расслышать.

– Ничего! – крикнул зоолог и поспешил домой.

## XVII

*... в уме, подавленном тоской,  
Теснится тяжких дум избыток;  
Воспоминание безмолвно предо мной  
Свой длинный развивает свиток.  
И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклинаю,  
И горько жалуясь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.  
Пушкин.*

Убьют ли его завтра утром или посмеются над ним, то есть оставят ему эту жизнь, он всё равно погиб. Убьет ли себя с отчаяния и

стыда эта опозоренная женщина или будет влачить свое жалкое существование, она всё равно погибла...

Так думал Лаевский, сидя за столом поздно вечером и всё еще продолжая потирать руки. Окно вдруг отворилось и хлопнуло, в комнату ворвался сильный ветер, и бумаги полетели со стола. Лаевский запер окно и нагнулся, чтобы собрать с полу бумаги. Он чувствовал в своем теле что-то новое, какую-то неловкость, которой раньше не было, и не узнавал своих движений; ходил он несмело, тыча в стороны локтями и подергивая плечами, а когда сел за стол, то опять стал потирать руки. Тело его потеряло гибкость.

Накануне смерти надо писать к близким людям. Лаевский помнил об этом. Он взял перо и написал дрожащим почерком:

«Матушка!»

Он хотел написать матери, чтобы она во имя милосердного бога, в которого она верует, дала бы приют и согрела лаской несчастную, обещенную им женщину, одинокую, нищую и слабую, чтобы она забыла и простила всё, всё, всё и жертвою хотя отчасти иску-

пила страшный грех сына; но он вспомнил, как его мать, полная, грузная старуха, в кружевном чепце, выходит утром из дома в сад, а за нею идет приживалка с болонкой, как мать кричит повелительным голосом на садовника и на прислугу и как гордо, надменно ее лицо, – он вспомнил об этом и зачеркнул написанное слово.

Во всех трех окнах ярко блеснула молния, и вслед за этим раздался оглушительный, раскатистый удар грома, сначала глухой, а потом грохочущий и с треском, и такой сильный, что зазвенели в окнах стекла. Лаевский встал, подошел к окну и припал лбом к стеклу. На дворе была сильная, красивая гроза. На горизонте молнии белыми лентами непрерывно бросались из туч в море и освещали на далекое пространство высокие черные волны. И справа, и слева, и, вероятно, также над домом сверкали молнии.

– Гроза! – прошептал Лаевский; он чувствовал желание молиться кому-нибудь или чему-нибудь, хотя бы молнии или тучам. – Милая гроза!

Он вспомнил, как в детстве во время грозы

он с непокрытой головой выбежал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь; они хохотали от восторга, но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: «Свят, свят, свят...» О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной чистой жизни? Грозы уж он не боится и природы не любит, бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал...

«Что в моем прошлом не порок?» – спрашивал он себя, стараясь уцепиться за какое-нибудь светлое воспоминание, как падающий в пропасть цепляется за кусты.

Гимназия? Университет? Но это обман. Он учился дурно и забыл то, чему его учили. Служение обществу? Это тоже обман, потому что на службе он ничего не делал, жалованье получал даром и служба его – это гнусное казно-

крадство, за которое не отдадут под суд.

Истина не нужна была ему, и он не искал ее, его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала; он, как чужой или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе, он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, не пошлой строчки, не сделал людям ни на один грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями и, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь...

Он ясно вспомнил то, что видел вечером в доме Мюридова, и ему было невыносимо жутко от омерзения и тоски. Кирилин и Ачмианов отвратительны, но ведь они продолжали то, что он начал; они его сообщники и ученики. У молодой, слабой женщины, которая доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину и завез ее сюда – в зной, в лихорадку и в скуку; изо дня в день

она, как зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь – и этим, только этим наполнялась ее жизнь, слабая, вялая, жалкая; потом он пресытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить, и он старался всё крепче опутать ее лганьем, как паутиной... Остальное доделали эти люди.

Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну; он то тушил свечу, то опять зажигал ее. Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения; несколько раз в отчаянии подбегал он к столу и писал: «Матушка!»

Кроме матери, у него не было никого родных и близких; но как могла помочь ему мать? И где она? Он хотел бежать к Надежде Федоровне, чтобы пасть к ее ногам, целовать ее руки и ноги, умолять о прощении, но она была его жертвой, и он боялся ее, точно она умерла.

– Погибла жизнь! – бормотал он, потирая руки. – Зачем же я еще жив, боже мой!..

Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась, и след ее смешался с ночной

тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность – трудом, скуку – радостью, он вернул бы чистоту тем, у кого взял ее, нашел бы бога и справедливость, но это так же невозможно, как закатившуюся звезду вернуть опять на небо. И оттого, что это невозможно, он приходил в отчаяние.

Когда прошла гроза, он сидел у открытого окна и покойно думал о том, что будет с ним. Фон Корен, вероятно, убьет его. Ясное, холодное мирозерцание этого человека допускает уничтожение хилых и негодных; если же оно изменит в решительную минуту, то помогут ему ненависть и чувство гадливости, какие возбуждает в нем Лаевский. Если же он промахнется, или для того, чтобы посмеяться над ненавистным противником, только ранит его, или выстрелит в воздух, то что тогда делать? Куда идти?

«Ехать в Петербург? – спрашивал себя Лаевский. – Но это значило бы снова начать старую жизнь, которую я проклинаяю. И кто

ищет спасения в перемене места, как перелетная птица, тот ничего не найдет, так как для него земля везде одинакова. Искать спасения в людях? В ком искать и как? Доброта и великодушные Самойленка так же мало спасительны, как смешливость дьякона или ненависть фон Корена. Спасения надо искать только в себе самом, а если не найдешь, то к чему терять время, надо убить себя, вот и всё...»

Послышался шум экипажа. Уже светало. Коляска проехала мимо, повернула и, скрипя колесами по мокрому песку, остановилась около дома. В коляске сидели двое.

– Погодите, я сейчас! – сказал им Лаевский в окно. – Я не сплю. Разве уже пора?

– Да. Четыре часа. Пока доедем...

Лаевский надел пальто и фуражку, взял в карман папирос и остановился в раздумье; ему казалось, что нужно было сделать еще что-то. На улице тихо разговаривали секунданты и фыркали лошади, и эти звуки в раннее сырое утро, когда все спят и чуть брезжит небо, наполнили душу Лаевского унынием, похожим на дурное предчувствие. Он постоял

немного в раздумье и пошел в спальню.

Надежда Федоровна лежала в своей постели, вытянувшись, укутанная с головою в плед; она не двигалась и напоминала, особенно головою, египетскую мумию. Глядя на нее молча, Лаевский мысленно попросил у нее прощения и подумал, что если небо не пусто и в самом деле там есть бог, то он сохранит ее; если же бога нет, то пусть она погибнет, жить ей незачем.

Она вдруг вскочила и села в постели. Подняв свое бледное лицо и глядя с ужасом на Лаевского, она спросила:

– Это ты? Гроза прошла?

– Прошла.

Она вспомнила, положила обе руки на голову и вздрогнула всем телом.

– Как мне тяжело! – проговорила она. – Если б ты знал, как мне тяжело! Я ждала, – продолжала она, жмурясь, – что ты убьешь меня или прогонишь из дому под дождь и грозу, а ты медлишь... медлишь...

Он порывисто и крепко обнял ее, осыпал поцелуями ее колени и руки, потом, когда она что-то бормотала ему и вздрагивала от воспо-

минаний, он пригладил ее волосы и, всматриваясь ей в лицо, понял, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкий, родной и незаменимый человек.

Когда он, выйдя из дому, сел в коляску, ему хотелось вернуться домой живым.

## XVIII

Дьякон встал, оделся, взял свою толстую суковатую палку и тихо вышел из дому. Было темно, и дьякон в первые минуты, когда пошел по улице, не видел даже своей белой палки; на небе не было ни одной звезды, и походило на то, что опять будет дождь. Пахло мокрым песком и морем.

«Пожалуй, не напали бы чеченцы», — думал дьякон, слушая, как его палка стучала о мостовую и как звонко и одиноко раздавался в ночной тишине этот стук.

Выйдя за город, он стал видеть и дорогу и свою палку; на черном небе кое-где показались мутные пятна и скоро выглянула одна звезда и робко заморгала своим одним глазом. Дьякон шел по высокому каменистому берегу и не видел моря; оно засыпало внизу, и

невидимые волны его лениво и тяжело ударились о берег и точно вздыхали: уф! И как медленно! Ударилась одна волна, дьякон успел сосчитать восемь шагов, тогда ударилась другая, через шесть шагов третья. Так же точно не было ничего видно, и в потемках слышался ленивый, сонный шум моря, слышалось бесконечно далекое, невообразимое время, когда бог носился над хаосом.

Дьякону стало жутко. Он подумал о том, как бы бог не наказал его за то, что он водит компанию с неверующими и даже идет смотреть на их дуэль. Дуэль будет пустяковая, бескровная, смешная, но, как бы то ни было, она – зрелище языческое и присутствовать на ней духовному лицу совсем неприлично. Он остановился и подумал: не вернуться ли? Но сильное, беспокойное любопытство взяло верх над сомнениями, и он пошел дальше.

«Они хотя неверующие, но добрые люди и спасутся», – успокаивал он себя. – Обязательно спасутся! – сказал он вслух, закуривая папиросу.

Какою мерою нужно измерять достоинства людей, чтобы судить о них справедливо?

Дьякон вспомнил своего врага, инспектора духовного училища, который и в бога веровал, и на дуэлях не дрался, и жил в целомудрии, но когда-то кормил дьякона хлебом с песком и однажды едва не оторвал ему уха. Если человеческая жизнь сложилась так немудро, что этого жестокого и нечестного инспектора, кравшего казенную муку, все уважали и молились в училище о здравии его и спасении, то справедливо ли сторониться таких людей, как фон Корен и Лаевский, только потому, что они неверующие? Дьякон стал решать этот вопрос, но ему вспомнилось, какая смешная фигура была сегодня у Самойленка, и это прервало течение его мыслей. Сколько завтра будет смеху! Дьякон воображал, как он засядет под куст и будет подсматривать, а когда завтра за обедом фон Корен начнет хвастать, то он, дьякон, со смехом станет рассказывать ему все подробности дуэли.

«Откуда вы всё знаете?» – спросит зоолог. – «То-то вот и есть. Дома сидел, а знаю».

Хорошо бы описать дуэль в смешном виде. Тесть будет читать и смеяться, тестя же кашей не корми, а только расскажи или напи-

ши ему что-нибудь смешное.

Открылась долина Желтой речки. От дождя речка стала шире и злее и уж она не ворчала, как прежде, а ревела. Начинался рассвет. Серое тусклое утро, и облака, бежавшие на запад, чтобы догнать грозовую тучу, и горы, опоясанные туманом, и мокрые деревья – всё показалось дьякону некрасивым и сердитым. Он умылся из ручья, прочел утренние молитвы, и захотелось ему чаю и горячих пышек со сметаной, которые каждое утро подают у тестя к столу. Вспомнилась ему дьяконица и «Невозвратное», которое она играет на фортепиано. Что она за женщина? Дьякона познакомили, сосватали и женили на ней в одну неделю; пожил он с нею меньше месяца и его командировали сюда, так что он и не разобрал до сих пор, что она за человек. А всё-таки без нее скучновато.

«Надо ей письмишко написать»... – думал он.

Флаг на духане размок от дождя и повис, и сам духан с мокрой крышей казался темнее и ниже, чем он был раньше. Около дверей стояла арба; Кербалай, каких-то два абхазца и мо-

лодая татарка в шароварах, должно быть жена или дочь Кербалая, выносили из духана мешки с чем-то и клали их в арбу на кукурузовую солому. Около арбы, опустив головы, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхазцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а Кербалай принялся поспешно запрягать ослов. «Контрабанда, пожалуй», – подумал дьякон.

Вот поваленное дерево с высохшими иглами, вот черное пятно от костра. Припомнился пикник со всеми его подробностями, огонь, пение абхазцев, сладкие мечты об архиерействе и крестном ходе... Черная речка от дождя стала чернее и шире. Дьякон осторожно прошел по жидкому мостику, до которого уже дохватывали грязные волны своими гривами, и взобрался по лесенке в сушильню.

«Славная голова! – думал он, растягиваясь на соломе и вспоминая о фон Корене. – Хорошая голова, дай бог здоровья. Только в нем жестокость есть...»

За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон,

если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до жизни, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете! Правда, Лаевский шалый, распущенный, странный, но ведь он не украдет, не плюнет громко на пол, не попрекнет жену: «лопаешь, а работать не хочешь», не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной — неужели этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно? К тому же, ведь он первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран. Вместо того, чтобы от скуки и по какому-то недоразумению искать друг в друге вырождения, вымирания, наследственности и прочего, что мало понятно, не лучше ли им спуститься пониже и направить

ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попреков, нечистоты, ругани, женского визга...

Послышался стук экипажа и прервал мысли дьякона. Он выглянул в дверь и увидел коляску, а в ней троих: Лаевского, Шешковского и начальника почтово-телеграфной конторы.

– Стоп! – сказал Шешковский.

Все трое вылезли из коляски и посмотрели друг на друга.

– Их еще нет, – сказал Шешковский, стряхивая с себя грязь. – Что ж? Пока суд да дело, пойдем поищем удобного места. Здесь повернуться негде.

Они пошли дальше вверх по реке и скоро скрылись из виду. Кучер-татарин сел в коляску, склонил голову на плечо и заснул. Подождав минут десять, дьякон вышел из сушильни и, снявши черную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу меж кустами и полосами кукурузы; с деревьев и с кустов сыпались на него крупные капли, трава и кукуруза были мокры.

– Срамота! – бормотал он, подбирая свои мокрые и грязные фалды. – Знал бы, не пошел.

Скоро он услышал голоса и увидел людей. Лаевский, засунув руки в рукава и согнувшись, быстро ходил взад и вперед по небольшой поляне; его секунданты стояли у самого берега и крутили папиросы.

«Странно... – подумал дьякон, не узнавая походки Лаевского. – Будто старик».

– Как это невежливо с их стороны! – сказал почтовый чиновник, глядя на часы. – Может быть, по-ученому, и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство.

Шешковский, толстый человек с черной бородой, прислушался и сказал:

– Едут!

## XIX

— Первый раз в жизни вижу! Как славно! — сказал фон Корен, показываясь на поляне и протягивая обе руки к востоку. — Посмотрите: зеленые лучи!

На востоке из-за гор вытянулись два зеленых луча, и это, в самом деле, было красиво. Восходило солнце.

— Здравствуйте! — продолжал зоолог, кивнув головой секундантам Лаевского. — Я не опоздал?

За ним шли его секунданты, два очень молодых офицера одинакового роста, Бойко и Говоровский, в белых кителях, и тощий, нелюдимый доктор Устимович, который в одной руке нес узел с чем-то, а другую заложил назад; по обыкновению, вдоль спины у него была вытянута трость. Положив узел на землю и ни с кем не здороваясь, он отправил и другую руку за спину и зашагал по поляне.

Лаевский чувствовал утомление и неловкость человека, который, быть может, скоро умрет и поэтому обращает на себя общее внимание. Ему хотелось, чтобы его поскорее уби-

ли или же отвезли домой. Восход солнца он видел теперь первый раз в жизни; это раннее утро, зеленые лучи, сырость и люди в мокрых сапогах казались ему лишними в его жизни, ненужными и стесняли его; всё это не имело никакой связи с пережитой ночью, с его мыслями и с чувством вины, и потому он охотно бы ушел, не дожидаясь дуэли.

Фон Корен был заметно возбужден и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать.

– Я полагаю, господа, что идти дальше нам незачем, – сказал Шешковский. – И здесь ладно.

– Да, конечно, – согласился фон Корен.

Наступило молчание. Устимович, шагая, вдруг круто повернул к Лаевскому и сказал вполголоса, дыша ему в лицо:

– Вам, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне по 15 рублей, а в случае смерти одного из противников оставшийся в живых платит все 30.

Лаевский был раньше знаком с этим человеком, но только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы и тощую, чахоточную шею: ростовщик, а не доктор! Дыхание его имело неприятный, говяжий запах.

«Каких только людей не бывает на свете», – подумал Лаевский и ответил:

– Хорошо.

Доктор кивнул головой и опять зашагал, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивал он их просто из ненависти. Все чувствовали, что пора уже начинать или кончать то, что уже начато, но не начинали и не кончали, а ходили, стояли и курили. Молодые офицеры, которые первый раз в жизни присутствовали на дуэли и теперь плохо верили в эту штатскую, по их мнению, ненужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шешковский подошел к ним и сказал тихо:

– Господа, мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить их.

Он покраснел и продолжал:

– Вчера у меня был Кирилин и жаловался, что Лаевский застал его вчера с Надеждой Федоровной и всякая штука.

– Да, нам тоже это известно, – сказал Бойко.

– Ну, вот видите ли... У Лаевского дрожат руки и всякая штука... Он и пистолета теперь не поднимет. Драться с ним так же нечеловечно, как с пьяным или с тифозным. Если примирение не состоится, то надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли... Такая чертовщина, что не глядел бы.

– Вы поговорите с фон Кореном.

– Я правил дуэли не знаю, чёрт их подери совсем, и знать не желаю; может быть, он подумает, что Лаевский струсил и меня подослал к нему. А, впрочем, как ему угодно, я поговорю.

Шешковский нерешительно, слегка прихрамывая, точно отсидел ногу, направился к фон Корену, и, пока он шел и побрякивал, вся его фигура дышала ленью.

– Вот что я должен вам сказать, сударь мой, – начал он, внимательно рассматривая цветы на рубашке зоолога. – Это конфиденци-

ально... Я правил дуэли не знаю, чёрт их победи совсем, и знать не желаю и рассуждаю не как секундант и всякая штука, а как человек и всё.

– Да. Ну?

– Когда секунданты предлагают мириться, то их обыкновенно не слушают, смотрят, как на формальность. Самолюбие и всё. Но я прошу вас покорнейше обратить внимание на Ивана Андреича. Он сегодня не в нормальном состоянии, так сказать, не в своем уме и жалок. У него произошло несчастье. Терпеть я не могу сплетен, – Шешковский покраснел и оглянулся, – но ввиду дуэли я нахожу нужным сообщить вам. Вчера вечером он в доме Мюридова застал свою мадам с... одним господином.

– Какая гадость! – пробормотал зоолог; он побледнел, поморщился и громко сплюнул: – Тьфу!

Нижняя губа у него задрожала; он отошел от Шешковского, не желая дальше слушать, и, как будто нечаянно попробовал чего-то горького, опять громко сплюнул и с ненавистью первый раз за всё утро взглянул на Лаев-

ского. Его возбуждение и неловкость прошли, он встряхнул головой и сказал громко:

– Господа, что же это мы ждем, спрашивается? Почему не начинаем?

Шешковский переглянулся с офицерами и пожал плечами.

– Господа! – сказал он громко, ни к кому не обращаясь. – Господа! Мы предлагаем вам помириться!

– Покончим скорее с формальностями, – сказал фон Корен. – О примирении уже говорили. Теперь еще какая следующая формальность? Поскорее бы, господа, а то время не ждет.

– Но мы всё-таки настаиваем на примирении, – сказал Шешковский виноватым голосом, как человек, который вынужден вмешиваться в чужие дела; он покраснел, приложил руку к сердцу и продолжал: – Господа, мы не видим причинной связи между оскорблением и дуэлью. У обиды, какую мы иногда по слабости человеческой наносим друг другу, и у дуэли нет ничего общего. Вы люди университетские и образованные и, конечно, сами видите в дуэли одну только устарелую, пу-

стую формальность и всякая штука. Мы так на нее и смотрим, иначе бы не поехали, так как не можем допустить, чтобы в нашем присутствии люди стреляли друг в друга и всё. – Шешковский вытер с лица пот и продолжал: – Покончите же, господа, ваше недоразумение, подайте друг другу руки и поедem до-мой пить мировую. Честное слово, господа!

Фон Корен молчал. Лаевский, заметив, что на него смотрят, сказал:

– Я ничего не имею против Николая Васильича. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним.

Фон Корен обиделся.

– Очевидно, господа, – сказал он, – вам угодно, чтобы г. Лаевский вернулся домой великодушным и рыцарем, но я не могу доставить вам и ему этого удовольствия. И не было надобности вставать рано и ехать из города за десять верст для того только, чтобы пить мировую, закусывать и объяснять мне, что дуэль устарелая формальность. Дуэль есть дуэль, и не следует делать ее глупее и фальшивее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться!

Наступило молчание. Офицер Бойко достал из ящика два пистолета: один подали фон Корену, другой Лаевскому, и затем произошло замешательство, которое ненадолго развеселило зоолога и секундантов. Оказалось, что из всех присутствовавших ни один не был на дуэли ни разу в жизни и никто не знал точно, как нужно становиться и что должны говорить и делать секунданты. Но потом Бойко вспомнил и, улыбаясь, стал объяснять.

– Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова? – спросил фон Корен смеясь. – У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там...

– К чему тут помнить? – сказал нетерпеливо Устимович, останавливаясь. – Отмерьте расстояние – вот и всё.

И он раза три шагнул, как бы показывая, как надо отмеривать. Бойко отсчитал шаги, а его товарищ обнажил шашку и поцарапал землю на крайних пунктах, чтобы обозначить барьер.

Противники, при всеобщем молчании, заняли свои места.

«Кроты», – вспомнил дьякон, сидевший в

кустах.

Что-то говорил Шешковский, что-то объяснял опять Бойко, но Лаевский не слышал или, вернее, слышал, но не понимал. Он, когда настало для этого время, взвел курок и поднял тяжелый, холодный пистолет дулом вверх. Он забыл расстегнуть пальто, и у него сильно сжимало в плече и под мышкой, и рука поднималась с такою неловкостью, как будто рукав был сшит из жести. Он вспомнил свою вчерашнюю ненависть к смуглому лбу и курчавым волосам и подумал, что даже вчера, в минуту сильной ненависти и гнева, он не смог бы выстрелить в человека. Боясь, чтобы пуля как-нибудь невзначай не попала в фон Корена, он поднимал пистолет всё выше и выше и чувствовал, что это слишком показное великодушие не деликатно и не великодушно, но иначе не умел и не мог. Глядя на бледное, насмешливо улыбавшееся лицо фон Корена, который, очевидно, с самого начала был уверен, что его противник выстрелит в воздух, Лаевский думал, что сейчас, слава богу, всё кончится и что вот только нужно надавить покрепче собачку...

Сильно отдало в плечо, раздался выстрел и в горах ответило эхо: пах-тах!

И фон Корен взвел курок и посмотрел в сторону Устимовича, который по-прежнему шагал, заложив руки назад и не обращая ни на что внимания.

– Доктор, – сказал зоолог, – будьте добры, не ходите, как маятник. У меня от вас мелькает в глазах.

Доктор остановился. Фон Корен стал прицеливаться в Лаевского.

«Кончено!» – подумал Лаевский.

Дуло пистолета, направленное прямо в лицо, выражение ненависти и презрения в позе и во всей фигуре фон Корена, и это убийство, которое сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей, и эта тишина, и неизвестная сила, заставляющая Лаевского стоять, а не бежать, – как всё это таинственно, и непонятно, и страшно! Время, пока фон Корен прицеливался, показалось Лаевскому длиннее ночи. Он умоляюще взглянул на секундантов; они не шевелились и были бледны.

«Скорее же стреляй!» – думал Лаевский и

чувствовал, что его бледное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать в фон Корене еще большую ненависть.

«Я его сейчас убью, – думал фон Корен, прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. – Да, конечно, убью...»

– Он убьет его! – послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко.

Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он, бледный, с мокрыми, прилипшими ко лбу и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой. Шешковский засмеялся от радости, заплакал и отошел в сторону...

Немного погодя фон Корен и дьякон сошлись около мостика. Дьякон был взволнован, тяжело дышал и избегал смотреть в глаза. Ему было стыдно и за свой страх, и за свою грязную, мокрую одежду.

– Мне показалось, что вы хотели его убить... – бормотал он. – Как это противно природе человеческой! До какой степени это противоестественно!

– Как вы сюда попали, однако? – спросил зоолог.

– Не спрашивайте! – махнул рукой дьякон. – Нечистый попутал: иди да иди... Вот и пошел, и чуть в кукурузе не помер от страха. Но теперь, слава богу, слава богу... Я весьма вами доволен, – бормотал дьякон. – И наш дедка-тарантул будет доволен... Смеху-то, смеху! А только я прошу вас убедительно, никому не говорите, что я был тут, а то мне, пожалуй, влетит в загривок от начальства. Скажут: дьякон секундантом был.

– Господа! – сказал фон Корен. – Дьякон просит вас никому не говорить, что вы виде-

ли его здесь. Могут выйти неприятности.

– Как это противно природе человеческой! – вздохнул дьякон. – Извините меня великодушно, но у вас такое было лицо, что я думал, что вы непременно его убьете.

– У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца, – сказал фон Корен, – но вы крикнули мне под руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна с непривычки и утомила меня, дьякон. Я ужасно ослабел. Поедемте...

– Нет, уж дозволейте мне пешком идти. Мне просохнуть надо, а то я измок и прозяб.

– Ну, как знаете, – сказал томным голосом ослабевший зоолог, садясь в коляску и закрывая глаза. – Как знаете...

Пока ходили около экипажей и усаживались, Кербалай стоял у дороги и, взявшись обеими руками за живот, низко кланялся и показывал зубы; он думал, что господа приехали наслаждаться природой и пить чай, и не понимал, почему это они садятся в экипажи. При общем безмолвии поезд тронулся, и около духана остался один только дьякон.

– Ходил духан, пил чай, – сказал он Керба-

лаю. – Мой хочет кушать.

Кербалай хорошо говорил по-русски, но дьякон думал, что татарин скорее поймет его, если он будет говорить с ним на ломаном русском языке.

– Яичницу жарил, сыр давал...

– Иди, иди, поп, – сказал Кербалай, кланяясь. – Всё дам... И сыр есть, и вино есть... Кушай, чего хочешь.

– Как по-татарски – бог? – спрашивал дьякон, входя в духан.

– Твой бог и мой бог всё равно, – сказал Кербалай, не поняв его. – Бог у всех один, а только люди разные. Которые русские, которые турки или которые английски – всяких людей много, а бог один.

– Хорошо-с. Если все народы поклоняются единому богу, то почему же вы, мусульмане, смотрите на христиан как на вековечных врагов своих?

– Зачем сердисься? – сказал Кербалай, хватаясь обеими руками за живот. – Ты поп, я мусульман, ты говоришь – кушать хочу, я даю... Только богатый разбирает, какой бог твой, какой мой, а для бедного всё равно. Кушай, по-

жалуйста.

Пока в духане происходил богословский разговор, Лаевский ехал домой и вспоминал, как жутко ему было ехать на рассвете, когда дорога, скалы и горы были мокры и темны и неизвестное будущее представлялось страшным, как пропасть, у которой не видно дна, а теперь дождевые капли, висевшие на траве и на камнях, сверкали от солнца, как алмазы, природа радостно улыбалась, и страшное будущее оставалось позади. Он посматривал на угрюмое, заплаканное лицо Шешковского и вперед на две коляски, в которых сидели фон Корен, его секунданты и доктор, и ему казалось, как будто они все возвращались из кладбища, где только что похоронили тяжелого, невыносимого человека, который мешал всем жить.

«Всё кончено», – думал он о своем прошлом, осторожно поглаживая пальцами шею.

У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длиною и толщиной с мизинец, и чувствовалась боль, как будто кто провел по шее утюгом. Это контузила пуля.

Затем, когда он приехал домой, для него потянулся длинный, странный, сладкий и туманный, как забытое, день. Он, как выпущенный из тюрьмы или больницы, всматривался в давно знакомые предметы и удивлялся, что столы, окна, стулья, свет и море возбуждают в нем живую, детскую радость, какой он давно-давно уже не испытывал. Бледная и сильно похудевшая Надежда Федоровна не понимала его кроткого голоса и странной походки; она торопилась рассказать ему всё, что с нею было... Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее и что если он всё узнает, то проклянет ее и убьет, а он слушал ее, гладил ей лицо и волосы, смотрел ей в глаза и говорил:

– У меня нет никого, кроме тебя...

Потом они долго сидели в палисаднике, прижавшись друг к другу, и молчали, или же, мечтая вслух о своей будущей счастливой жизни, говорили короткие, отрывистые фразы, и ему казалось, что он никогда раньше не говорил так длинно и красиво.

## XXI

Прошло три месяца с лишним.

Наступил день, назначенный фон Кореном для отъезда. С раннего утра шел крупный, холодный дождь, дул норд-остовый ветер и на море развело сильную волну. Говорили, что в такую погоду пароход едва ли зайдет на рейд. По расписанию он должен был прийти в десятом часу утра, но фон Корен, выходящий на набережную в полдень и после обеда, не увидел в бинокль ничего, кроме серых волн и дождя, застилавшего горизонт.

К концу дня дождь перестал и ветер начал заметно стихать. Фон Корен уже помирился с мыслью, что ему сегодня не уехать, и сел играть с Самойленком в шахматы; но когда стемнело, денщик доложил, что на море показались огни и что видели ракету.

Фон Корен заторопился. Он надел сумочку через плечо, поцеловался с Самойленком и с дьяконом, без всякой надобности обошел все комнаты, простился с денщиком и с кухаркой и вышел на улицу с таким чувством, как будто забыл что-то у доктора или у себя на квар-

тире. На улице шел он рядом с Самойленком, за ними дьякон с ящиком, а позади всех денщик с двумя чемоданами. Только Самойленко и денщик различали тусклые огоньки на море, остальные же смотрели в потемки и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега.

– Скорее, скорее, – торопился фон Корен. – Я боюсь, что он уйдет!

Проходя мимо трехконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корен не удержался и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом, спиною к окну и писал.

– Я удивляюсь, – тихо сказал зоолог. – Как он скрутил себя!

– Да, удивления достойно, – вздохнул Самойленко. – Так с утра до вечера сидит, всё сидит и работает. Долги хочет выплатить. А живет, брат, хуже нищего!

Прошло полминуты в молчании. Зоолог, доктор и дьякон стояли у окна и всё смотрели на Лаевского.

– Так и не уехал отсюда, бедняга, – сказал Самойленко. – А помнишь, как он хлопотал?

– Да, сильно он скрутил себя, – повторил фон Корен. – Его свадьба, эта целодневная работа из-за куска хлеба, какое-то новое выражение на его лице и даже его походка – всё это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, как назвать это, – зоолог взял Самойленко за рукав и продолжал с волнением в голосе: – Ты передай ему и его жене, что когда я уезжал, я удивлялся им, желал всего хорошего... и попроси его, чтобы он, если это можно, не поминал меня лихом. Он меня знает. Он знает, что если бы я мог тогда предвидеть эту перемену, то я мог бы стать его лучшим другом.

– Ты зайди к нему, простишь.

– Нет. Это неудобно.

– Отчего? Бог знает, может, больше уж никогда не увидишься с ним.

Зоолог подумал и сказал:

– Это правда.

Самойленко тихо постучал пальцем в окно. Лаевский вздрогнул и оглянулся.

– Ваня, Николай Васильич желает с тобой проститься, – сказал Самойленко. – Он сейчас уезжает.

Лаевский встал из-за стола и пошел в сени, чтобы отворить дверь. Самойленко, фон Корен и дьякон вошли в дом.

– Я на одну минутку, – начал зоолог, снимая в сенях калоши и уже жалея, что он уступил чувству и вошел сюда без приглашения. «Я как будто навязываюсь, – подумал он, – а это глупо». – Простите, что я беспокою вас, – сказал он, входя за Лаевским в его комнату, – но я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще.

– Очень рад... Покорнейше прошу, – сказал Лаевский и неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки.

«Напрасно я не оставил свидетелей на улице», – подумал фон Корен и сказал твердо: – Не поминайте меня лихом, Иван Андреич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, оно слишком грустно, и я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор... Правда, как вижу теперь к великой моей радости, я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ров-

ной дороге, и такова уж человеческая судьба: если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды.

– Да, никто не знает правды... – сказал Лаевский.

– Ну, прощайте... Дай бог вам всего хорошего.

Фон Корен подал Лаевскому руку; тот пожал ее и поклонился.

– Не поминайте же лихом, – сказал фон Корен. – Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней.

– Она дома.

Лаевский подошел к двери и сказал в другую комнату:

– Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься.

Вошла Надежда Федоровна; она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нее было виноватое и испуганное, и руки она держала, как гимназистка, которой делают выговор.

– Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна, –

сказал фон Корен, – и пришел проститься.

Она нерешительно протянула ему руку, а Лаевский поклонился.

«Как они, однако, оба жалки! – подумал фон Корен. – Не дешево достается им эта жизнь». – Я буду в Москве и в Петербурге, – спросил он, – не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда?

– Что же? – сказала Надежда Федоровна и встревоженно переглянулась с мужем. – Кажется, ничего...

– Да, ничего... – сказал Лаевский, потирая руки. – Кланяйтесь.

Фон Корен не знал, что еще можно и нужно сказать, а раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством.

– Какие люди! – говорил дьякон вполголоса, идя сзади. – Боже мой, какие люди! Воистину десница божия насадила виноград сей! Господи, господи! Один победил тысячи, а другой тьмы. Николай Васильич, – сказал он восторженно, – знайте, что сегодня вы побе-

дили величайшего из врагов человеческих – гордость!

– Полно, дьякон! Какие мы с ним победители? Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик, а мне... мне грустно.

Сзади слышались шаги. Это догонял Лавевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами, а несколько поодаль – четыре гребца.

– Однако, подувает... брр! – сказал Самойленко. – В море, должно быть, теперь штормяга – ой, ой! Не в пору ты едешь, Коля.

– Я не боюсь морской болезни.

– Не в том... Не опрокинули бы тебя эти дураки. Следовало бы на агентской шлюпке доехать. Где агентская шлюпка? – крикнул он гребцам.

– Ушла, ваше превосходительство.

– А таможенная?

– Тоже ушла.

– Отчего же не доложили? – рассердился Самойленко. – Остолопы!

– Всё равно, не волнуйся... – сказал фон Корен. – Ну, прощай. Храни вас бог.

Самойленко обнял фон Корена и перекрестил его три раза.

– Не забывай же, Коля... Пиши... Будущей весной ждать будем.

– Прощайте, дьякон, – сказал фон Корен, пожимая дьякону руку. – Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте.

– Да, господи, хоть на край света! – засмеялся дьякон. – Разве я против?

Фон Корен узнал в потемках Лаевского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя мол загораживал ее от большой зыби. Фон Корен спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля.

– Пиши! – крикнул ему Самойленко. – Здоровье береги!

«Никто не знает настоящей правды», – думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава.

Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор. Она исчезла в волнах, но тотчас же из глубокой ямы скользнула на высокий холм, так что можно было различить и лю-

дей, и даже весла. Лодка прошла сажени три, и ее отбросило назад сажени на две.

– Пиши! – крикнул Самойленко. – Понесла тебя нелегкая в такую погоду!

«Да, никто не знает настоящей правды...» – думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море.

«Лодку бросает назад, – думал он, – делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неумоимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет всё вперед и вперед, вот уж ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды...»

– Проща-а-ай! – крикнул Самойленко.

– Не видать и не слышать, – сказал дьякон. – Счастливой дороги!

Стал накрапывать дождь.

# Жена

## I

Я получил такое письмо:

«Милостивый государь, Павел Андреевич! Недалеко от вас, а именно в деревне Пестрове, происходят прискорбные факты, о которых считаю долгом сообщить. Все крестьяне этой деревни продали избы и всё свое имущество и переселились в Томскую губернию, но не доехали и возвратились назад. Здесь, понятно, у них ничего уже нет, всё теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи в одной избе, так что население каждой избы не менее 15 человек обоего пола, не считая малых детей, и в конце концов есть нечего, голод, поголовная эпидемия голодного или сыпного тифа; все буквально больны. Фельдшерица говорит: придешь в избу и что видишь? Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мёрзлый картофель. Фельдшерица и Со-

боль (наш земский врач) что могут сделать, когда им прежде лекарства надо хлеба, которого они не имеют? Управа земская отказывается тем, что они уже выписаны из этого земства и числятся в Томской губернии, да и денег нет. Сообщая об этом вам и зная вашу гуманность, прошу, не откажите в скорейшей помощи. Ваш доброжелатель».

Очевидно, писала сама фельдшерица или этот доктор, имеющий звериную фамилию. Земские врачи и фельдшерицы в продолжение многих лет изо дня в день убеждаются, что они *ничего* не могут сделать, и всё-таки получают жалованье с людей, которые питаются одним мёрзлым картофелем, и всё-таки почему-то считают себя вправе судить, гуманен я или нет.

Обеспокоенный анонимным письмом и тем, что каждое утро какие-то мужики приходили в людскую кухню и становились там на колени, и тем, что ночью из амбара вытащили двадцать кулей ржи, сломав предварительно стену, и общим тяжелым настроением, которое поддерживалось разговорами, газетами и дурною погодой, – обеспокоенный

всем этим, я работал вяло и неуспешно. Я писал «Историю железных дорог»; нужно было прочесть множество русских и иностранных книг, брошюр, журнальных статей, нужно было щёлкать на счетах, перелистывать логарифмы, думать и писать, потом опять читать, щёлкать и думать; но едва я брался за книгу или начинал думать, как мысли мои путались, глаза жмурились, я со вздохом вставал из-за стола и начинал ходить по большим комнатам своего пустынного деревенского дома. Когда надоедало ходить, я останавливался в кабинете у окна и, глядя через свой широкий двор, через пруд и голый молодой березняк, и через большое поле, покрытое недавно выпавшим, тающим снегом, я видел на горизонте на холме кучу бурых изб, от которых по белому полю спускалась вниз неправильной полосой черная грязная дорога. Это было Пестрово, то самое, о котором писал мне анонимный автор. Если бы не вороны, которые, предвещая дождь или снежную погоду, с криком носились над прудом и полем, и если бы не стук в плотницком сарае, то этот мирок, о котором теперь так много шу-

мят, казался бы похожим на Мертвое озеро — так всё здесь тихо, неподвижно, безжизненно, скучно!

Работать и сосредоточиться мешало мне беспокойство; я не знал, что это такое, и хотел думать, что это разочарование. В самом деле, оставил я службу по Министерству путей сообщения и приехал сюда в деревню, чтобы жить в покое и заниматься литературой по общественным вопросам. Это была моя давнишняя, заветная мечта. А теперь нужно было проститься и с покоем, и с литературой, оставить всё и заняться одними только мужиками. И это было неизбежно, потому что кроме меня, как я был убежден, в этом уезде положительно некому было помочь голодающим. Окружали меня люди необразованные, неразвитые, равнодушные, в громадном большинстве нечестные, или же честные, но взбалмошные и несерьезные, как, например, моя жена. Положиться на таких людей было нельзя, оставить мужиков на произвол судьбы было тоже нельзя, значит, оставалось покориться необходимости и самому заняться приведением мужиков в порядок.

Начал я с того, что решил пожертвовать в пользу голодающих пять тысяч рублей серебром. И это не уменьшило, а только усилило мое беспокойство. Когда я стоял у окна или ходил по комнатам, меня мучил вопрос, которого раньше не было: как распорядиться этими деньгами? Приказать купить хлеба, пойти по избам и раздавать – это не под силу одному человеку, не говоря уже о том, что второпях рискуешь дать сытому или кулаку вдвое больше, чем голодному. Администрации я не верил. Все эти земские начальники и податные инспектора были люди молодые, и к ним относился я недоверчиво, как ко всей современной молодежи, материалистической и не имеющей идеалов. Земская управа, волостные правления и все вообще уездные канцелярии тоже не внушали мне ни малейшего желания обратиться к их помощи. Я знал, что эти учреждения, присосавшиеся к земскому и казенному пирогу, каждый день держали свои рты наготове, чтобы присосаться к какому-нибудь еще третьему пирогу.

Мне приходило на мысль пригласить к себе соседей-помещиков и предложить им орга-

низовать у меня в доме что-нибудь вроде комитета или центра, куда бы стекались все пожертвования и откуда по всему уезду давались бы пособия и распоряжения; такая организация, допускавшая частные совещания и широкий свободный контроль, вполне отвечала моим взглядам; но я воображал закуски, обеды, ужины и тот шум, праздность, говорливость и дурной тон, какие неминуемо внесла бы в мой дом эта пестрая уездная компания, и спешил отказаться от своей мысли.

Что касается моих домашних, то ждать от них помощи или поддержки я мог меньше всего. От моей первой, отцовской, когда-то большой и шумной семьи уцелела одна только гувернантка m-lle Marie, или, как ее звали теперь, Марья Герасимовна, личность совершенно ничтожная. Эта маленькая, аккуратная старушка лет семидесяти, одетая в светло-серое платье и чепец с белыми лентами, похожая на фарфоровую куклу, всегда сидела в гостиной и читала книгу. Когда я проходил мимо нее, она, зная причину моего раздумья, всякий раз говорила:

– Что же вы хотите, Паша? Я и раньше го-

ворила, что это так будет. Вы по нашей при-  
слуге можете судить.

Моя вторая семья, то есть жена Наталья Гавриловна, жила в нижнем этаже, в котором занимала все комнаты. Обедала, спала и гостей своих принимала она у себя внизу, совсем не интересуясь тем, как обедаю, как сплю и кого принимаю я. Отношения наши были просты и не натянуты, но холодны, бес-  
содержательны и скучны, как у людей, кото-  
рые давно уже далеки друг другу, так что да-  
же их жизнь в смежных этажах не походила  
на близость. Любви страстной, беспокойной,  
то сладкой, то горькой, как полынь, какую  
прежде возбуждала во мне Наталья Гаврилов-  
на, уже не было; не было уже и прежних  
вспышек, громких разговоров, попреков, жа-  
лоб и тех взрывов ненависти, которые окан-  
чивались обыкновенно со стороны жены по-  
ездкой за границу или к родным, а с моей сто-  
роны – посылкой денег понемногу, но поча-  
ще, чтобы чаще жалить самолюбие жены.  
(Моя гордая, самолюбивая жена и ее родня  
живут на мой счет, и жена при всем своем  
желании не может отказаться от моих денег –

это доставляло мне удовольствие и было единственным утешением в моем горе.) Теперь, когда мы случайно встречались внизу в коридоре или на дворе, я кланялся, она приветливо улыбалась; говорили мы о погоде, о том, что, кажется, пора уже вставлять двойные рамы и что кто-то со звонками по плотине проехал, и в это время я читал на ее лице: «Я верна вам и не порочу вашего честного имени, которое вы так любите, вы умны и не беспокоите меня – мы квиты».

Я уверял себя, что любовь давно уже погасла во мне и что работа слишком глубоко захватила меня, чтобы я мог серьезно думать о своих отношениях к жене. Но, уввы! – я только думал так. Когда жена громко разговаривала внизу, я внимательно прислушивался к ее голосу, хотя нельзя было разобрать ни одного слова. Когда она играла внизу на рояли, я вставал и слушал. Когда ей подавали экипаж или верховую лошадь, я подходил к окну и ждал, когда она выйдет из дому, потом смотрел, как она садилась в коляску или на лошадь и как выезжала со двора. Я чувствовал, что у меня в душе происходит что-то нелад-

ное, и боялся, что выражение моего взгляда и лица может выдать меня. Я провожал жену глазами и потом ожидал ее возвращения, чтобы опять увидеть в окно ее лицо, плечи, шубку, шляпку; мне было скучно, грустно, бесконечно жаль чего-то, и хотелось в ее отсутствие пройтись по ее комнатам, и хотелось, чтобы вопрос, который я и жена не сумели решить, потому что не сошлись характерами, поскорее бы решил сам собою, естественным порядком, то есть поскорее бы эта красивая 27-летняя женщина состарилась и поскорее бы моя голова стала седой и лысой.

Однажды во время завтрака мой приказчик Владимир Прохорыч доложил мне, что пестровские мужики стали уже сдирать соломенные крыши, чтобы кормить скот, Марья Герасимовна смотрела на меня со страхом и недоумением.

– Что же я могу сделать? – сказал я ей. – Один в поле не воин, а я еще никогда не испытывал такого одиночества, как теперь. Я бы дорого дал, чтобы найти во всем уезде хоть одного человека, на которого я мог бы положиться.

– А вы пригласите Ивана Иваныча, – сказала Марья Герасимовна.

– В самом деле! – вспомнил я и обрадовался. – Это идея! *C'est raison*, [65] – запел я, идя к себе в кабинет, чтобы написать письмо Ивану Ивановичу. – *C'est raison, c'est raison...*

## II

**И**з всей массы знакомых, которые когда-то, лет 25–35 назад, пили в этом доме, ели, приезжали ряжеными, влюблялись, женились, надоедали разговорами о своих великолепных сворах и лошадях, остался в живых один только Иван Иваныч Брагин. Когда-то он был очень деятелен, болтлив, криклив и влюбчив и славился своим крайним направлением и каким-то особенным выражением лица, которое очаровывало не только женщин, но и мужчин; теперь же он совсем постарел, заплыл жиром и доживал свой век без направления и выражения. Приехал он на другой день по получении от меня письма, вечером, когда в столовой только что подали самовар и маленькая Марья Герасимовна резала лимон.

– Очень рад вас видеть, мой друг, – сказал я весело, встречая его. – А вы всё полнеете!

– Это я не полнею, а распух, – ответил он. – Меня пчелы покусали.

С фамильярностью человека, который сам смеется над своею толщиною, он взял меня обеими руками за талию и положил мне на грудь свою мягкую большую голову с волосами, зачесанными на лоб по-хохлацки, и залился тонким, старческим смехом.

– А вы всё молодеете! – выговорил он сквозь смех. – Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мне бы дали. – Он, сопя и задыхаясь, обнял меня и поцеловал в щеку. – Мне бы дали... – повторил он. – Да вам, родной мой, есть сорок?

– Ого, уже сорок шесть! – засмеялся я.

От Ивана Иваныча пахло свечным салом и кухонным дымом, и это шло к нему. Его большое, распухшее, неповоротливое тело было стянуто в длинный сюртук, похожий на кучерской кафтан, с крючками и с петлями вместо пуговиц и с высокою талией, и было бы странно, если бы от него пахло, например, одеколоном. В двойном, давно не бритом, си-

зом, напоминавшем репейник подбородке, в выпученных глазах, в одышке и во всей неуклюжей, неряшливой фигуре, голосе, смехе и в речах трудно было узнать того стройного, интересного краснбая, к которому когда-то уездные мужья ревновали своих жен.

– Вы мне очень нужны, мой друг, – сказал я, когда мы уже сидели в столовой и пили чай. – Хочется мне организовать какую-нибудь помощь для голодающих, и я не знаю, как за это приняться. Так вот, быть может, вы будете любезны, посоветуете что-нибудь.

– Да, да, да... – сказал Иван Иванович, вздыхая. – Так, так, так...

– Я бы вас не беспокоил, но, право, кроме вас, милейший, тут положительно не к кому обратиться. Вы знаете, какие тут люди.

– Так, так, так... Да...

Я подумал: предстояло совещание серьезное и деловое, в котором мог принимать участие всякий, независимо от места и личных отношений, а потому не пригласить ли Наталью Гавриловну?

– Tres faciunt collegium![66] – сказал я весело. – Что, если бы мы пригласили Наталью

Гавриловну? Как вы думаете? Феня, – обратился я к горничной, – попросите Наталью Гавриловну пожаловать к нам наверх, если можно, сию минуту. Скажите: очень важное дело.

Немного погодя, пришла Наталья Гавриловна. Я поднялся ей навстречу и сказал:

– Простите, Natalie, что мы беспокоим вас. Мы толкуем здесь об одном очень важном деле, и нам пришла счастливая мысль воспользоваться вашим добрым советом, в котором вы нам не откажете. Садитесь, прошу вас.

Иван Иваныч поцеловал у Натальи Гавриловны руку, а она его в голову, потом, когда все сели за стол, он, слезливо и блаженно глядя на нее, потянулся к ней и опять поцеловал руку. Одета она была в черное и старательно причесана, и пахло от нее свежими духами: очевидно, собралась в гости или ждала к себе кого-нибудь. Входя в столовую, она просто и дружески протянула мне руку и улыбалась мне так же приветливо, как и Ивану Иванычу, – это понравилось мне; но она, разговаривая, двигала пальцами, часто и резко откидывалась на спинку стула и говорила быстро, и

эта неровность в речах и движениях раздражала меня и напоминала мне ее родину – Одессу, где общество мужчин и женщин когда-то утомляло меня своим дурным тоном.

– Я хочу сделать что-нибудь для голодающих, – начал я и, помолчав немного, продолжал: – Деньги, разумеется, великое дело, но ограничиться одним только денежным пожертвованием и на этом успокоиться значило бы откупиться от главнейших забот. Помощь должна заключаться в деньгах, но главным образом в правильной и серьезной организации. Давайте же подумаем, господа, и сделаем что-нибудь.

Наталья Гавриловна вопросительно посмотрела на меня и пожала плечами, как бы желая сказать: «Что же я знаю?»

– Да, да, голод... – забормотал Иван Иванович. – Действительно... Да...

– Положение серьезное, – сказал я, – и помощь нужна скорейшая. Полагаю, пунктом первым тех правил, которые нам предстоит выработать, должна быть именно скорость. По-военному: глазомер, быстрота и натиск.

– Да, быстрота... – проговорил Иван Ива-

ныч сонно и вяло, как будто засыпая. – Только ничего не поделаешь. Земля не уродила, так что уж тут... никаким глазомером и натиском ее не проймешь... Стихия... Против бога и судьбы не пойдешь...

– Да, но ведь человеку дана голова, чтобы бороться со стихиями.

– А? Да... Это так, так... Да.

Иван Иваныч чихнул в платок, ожил и, как будто только что проснулся, оглядел меня и жену.

– У меня тоже ничего не уродило, – засмеялся он тонким голосом и хитро подмигнул, как будто это в самом деле было очень смешно. – Денег нет, хлеба нет, а работников полон двор, как у графа Шереметьева. Хочу по шеям разогнать, да жалко как будто.

Наталья Гавриловна засмеялась и стала расспрашивать Ивана Иваныча об его домашних делах. Ее присутствие доставляло мне удовольствие, какого я уже давно не испытывал, и я боялся смотреть на нее, чтобы мой взгляд как-нибудь не выдал моего скрытого чувства. Наши отношения были таковы, что это чувство могло бы показаться неожиданным.

ным и смешным. Жена говорила с Иваном Ивановичем и смеялась, нисколько не смущаясь тем, что она у меня и что я не смеюсь.

– Итак, господа, что же мы сделаем? – спросил я, выждав паузу. – Полагаю, мы прежде всего, по возможности скорее, объявим подписку. Мы, Natalie, напишем нашим столичным и одесским знакомым и привлечем их к пожертвованиям. Когда же у нас соберется малая толика, мы займемся покупкой хлеба и корма для скота, а вы, Иван Иванович, будете добры, займетесь распределением пособий. Во всем полагаясь на присущие вам такт и распорядительность, мы с своей стороны позволим себе только выразить желание, чтобы вы, прежде чем выдавать пособие, подробно знакомились на месте со всеми обстоятельствами дела, а также, что очень важно, имели бы наблюдение, чтобы хлеб был выдаваем только истинно нуждающимся, но отнюдь не пьяницам, не лентяям и не кулакам.

– Да, да, да... – забормотал Иван Иванович. – Так, так, так...

«Ну, с этой слюнявою развалиной каши не сваришь», – подумал я и почувствовал раздра-

жение.

– Надоели мне эти голодающие, ну их! И всё обижаются и всё обижаются, – продолжал Иван Иванович, обсасывая лимонную корку. – Голодные обижаются на сытых. И те, у кого есть хлеб, обижаются на голодных. Да... С голоду человек шалет, дуреет, становится дикий. Голод не картошка. Голодный и грубости говорит, и ворует, и, может, еще что похуже... Понимать надо.

Иван Иванович поперхнулся чаем, закашлялся и весь затрясся от скрипучего, удушливого смеха.

– Было дело под По... Полтавой![67] – выговорил он, отмахиваясь обеими руками от смеха и кашля, которые мешали ему говорить. – Было дело под Полтавой! Когда года через три после воли был тут в двух уездах голод, приезжает ко мне покойничек Федор Федорыч и зовет к себе. Поедем да поедем, – пристал, как с ножом к горлу. Отчего ж? Поедем, говорю. Ну, взяли и поехали. Дело было к вечеру, снежок шел. Подъезжаем уже ночью к его усадьбе и вдруг из лесу – бац! и в другой раз: бац! Ах ты, шут тебя... Выскочил я из саней, гля-

жу – в потемках на меня человек бежит и по колена в снегу грузнет; я его обхватил рукой за плечи, вот этак, и выбил из рук ружьишко, потом другой подвернулся, я его по затылку урезал, так что он крякнул и в снег носом чкнулся, – здоровый я тогда был, рука тяжелая; я с двумя управился, гляжу, а Федя уже на третьем верхом сидит. Задержали мы трех молодчиков, ну, скрутили им назад руки, чтоб какого зла нам и себе не сделали, и привели дураков в кухню. И зло на них берет, и глядеть стыдно: мужики-то знакомые и народ хороший, жалко. Совсем одурели с перепугу. Один плачет и прощения просит, другой зверем глядит и ругается, третий стал на коленки и богу молится. Я и говорю Феде: не обижайся, отпусти ты их, подлецов! Он накормил их, дал по пуду муки и отпустил: ступайте к шуту! Так вот как... Царство небесное, вечный покой! Понимал и не обижался, а были которые обижались, и сколько народу перепортили! Да... Из-за одного клочковского кабака одиннадцать человек в арестантские роты пошло. Да... И теперь, гляди, то же самое... В четверг у меня ночевал следователь Анисьин,

так вот он рассказывал про какого-то помещика... Да... Ночью у помещика разобрали стену в амбаре и вытащили двадцать кулей ржи. Когда утром помещик узнал, что у него такой криминал случился, то сейчас бух губернатору телеграмму, потом другую бух прокурору, третью исправнику, четвертую следователю... Известно, кляузников боятся... Начальство всполошилось, и началась катавасия. Две деревни обыскали.

– Позвольте, Иван Иваныч, – сказал я. – Двадцать кулей ржи украли у меня, и это я телеграфировал губернатору. Я и в Петербург телеграфировал. Но это вовсе не из любви к кляузничеству, как вы изволили выразиться, и не потому, что я обижался. На всякое дело я прежде всего смотрю с принципиальной стороны. Крадет ли сытый или голодный – для закона безразлично.

– Да, да... – забормотал Иван Иваныч, смутившись. – Конечно... Так, да...

Наталья Гавриловна покраснела.

– Есть люди... – сказала она и остановилась; она сделала над собой усилие, чтобы казаться равнодушной, но не выдержала и по-

смотрела мне в глаза с ненавистью, которая мне была так знакома. – Есть люди, – сказала она, – для которых голод и человеческое горе существуют только для того, чтобы можно было срывать на них свой дурной, ничтожный характер.

Я смутился и пожал плечами.

– Я хочу сказать вообще, – продолжала она, – есть люди совершенно равнодушные, лишенные всякого чувства сострадания, но которые не проходят мимо человеческого горя и вмешиваются из страха, что без них могут обойтись. Для их тщеславия нет ничего святого.

– Есть люди, – сказал я мягко, – которые обладают ангельским характером, но выражают свои великолепные мысли в такой форме, что бывает трудно отличить ангела от особы, торгующей в Одессе на базаре.

Сознаюсь, это было сказано неудачно.

Жена поглядела на меня так, как будто ей стоило больших усилий, чтобы молчать. Ее внезапная вспышка и затем неуместное красноречие по поводу моего желания помочь голодающим были по меньшей мере неумест-

ны; когда я приглашал ее наверх, я ожидал совсем иного отношения к себе и к своим намерениям. Не могу сказать определенно, чего я ожидал, но ожидание приятно волновало меня. Теперь же я видел, что продолжать говорить о голодающих было бы тяжело и, пожалуй, не умно.

– Да... – забормотал Иван Иваныч некстати. – У купца Бурова тысяч четыреста есть, а может, и больше. Я ему и говорю: «Отвали-ка, тезка, голодающим тысяч сто или двести. Все равно помирать будешь, на тот свет с собой не возьмешь». Обиделся. А помирать-то ведь надо. Смерть не картошка.

Опять наступило молчание.

– Итак, значит, остается одно: мириться с одиночеством, – вздохнул я. – Один в поле не воин. Ну, что ж! Попробую и один воевать. Авось война с голодом будет более успешна, чем война с равнодушием.

– Меня внизу ждут, – сказала Наталья Гавриловна. Она встала из-за стола и обратилась к Ивану Иванычу: – Так вы придете ко мне вниз на минуточку? Я не прощаюсь с вами.

И ушла.

Иван Иваныч пил уже седьмой стакан, задыхаясь, чмокая и обсасывая то усы, то лимонную корку. Он сонно и вяло бормотал о чем-то, а я не слушал и ждал, когда он уйдет. Наконец, с таким выражением, как будто он приехал ко мне только затем, чтобы напиться чаю, он поднялся и стал прощаться. Провожая его, я сказал:

– Итак, вы не дали мне никакого совета.

– А? Я человек сырой, отупел, – ответил он. – Какие мои советы? И вы напрасно беспокоитесь... Не знаю, право, отчего вы беспокоитесь? Не беспокойтесь, голубчик! Ей-богу ничего нет.... – зашептал он ласково и искренно, успокаивая меня, как ребенка. – Ей-богу ничего!..

– Как же ничего? Мужики сдирают с изб крыши и уже, говорят, где-то тиф.

– Ну, так что же? В будущем году уродит, будут новые крыши, а если помрем от тифа, то после нас другие люди жить будут. И всё равно помирать надо, не теперь, так после. Не беспокойтесь, красавец!

– Я не могу не беспокоиться, – сказал я раздраженно.

Мы стояли в слабо освещенной передней. Иван Иванович вдруг взял меня за локоть и, собираясь сказать что-то, по-видимому, очень важное, с полминуты молча смотрел на меня.

– Павел Андреич! – сказал он тихо, и на его жирном застывшем лице и в темных глазах вдруг вспыхнуло то особенное выражение, которым он когда-то славился, в самом деле очаровательное. – Павел Андреич, скажу я вам по-дружески: перемените ваш характер! Тяжело с вами! Голубчик, тяжело!

Он пристально посмотрел мне в лицо; прекрасное выражение потухло, взгляд потускнел, и он забормотал вяло и сопя:

– Да, да... Извините старика... Чепухенция... Да...

Тяжело спускаясь вниз по лестнице, растопырив руки для равновесия и показывая мне свою жирную громадную спину и красный затылок, он давал неприятное впечатление какого-то краба.

– Ехали бы вы куда-нибудь, ваше превосходительство, – бормотал он. – В Петербург или за границу... Зачем вам тут жить и золотое время терять? Человек вы молодой, здоро-

вый, богатый... Да... Эх, будь я помоложе, улепетнул бы, как заяц, и только бы в ушах зашвистело!

### III

Вспышка жены напомнила мне нашу супружескую жизнь. Прежде, обыкновенно, после всякой вспышки нас непреодолимо тянуло друг к другу, мы сходились и пускали в ход весь динамит, какой с течением времени скоплялся в наших душах. И теперь, после ухода Ивана Ивановича, меня сильно потянуло к жене. Мне хотелось сойти вниз и сказать ей, что ее поведение за чаем оскорбило меня, что она жестока, мелочна и со своим мещанским умом никогда не возвышалась до понимания того, что я говорю и что я делаю. Я долго ходил по комнатам, придумывая, что скажу ей, и угадывая то, что она мне ответит.

То беспокойство, которое томило меня в последнее время, в этот вечер, когда ушел Иван Иванович, я чувствовал в какой-то особенной раздражающей форме. Я не мог ни сидеть, ни стоять, а ходил и ходил, причем выбирал только освещенные комнаты и держал-

ся ближе той, в которой сидела Марья Герасимовна. Было чувство, очень похожее на то, какое я испытывал однажды на Немецком море во время бури, когда все боялись, что пароход, не имевший груза и балласта, опрокинется. И в этот вечер я понял, что мое беспокойство было не разочарование, как я думал раньше, а что-то другое, но что именно, я не понимал, и это меня еще больше раздражало.

«Пойду к ней, – решил я. – А предлог можно выдумать. Скажу, что мне понадобился Иван Иванович, вот и всё».

Я спустился вниз и по коврам, не торопясь, прошел переднюю и залу. Иван Иванович сидел в гостиной на диване, опять пил чай и бормотал. Жена стояла против него, держась за спинку кресла. На лице у нее было то тихое, сладкое и послушное выражение, с каким слушают юродивых и блаженненьких, когда в ничтожных словах и в бормотанье предполагают особое, скрытое значение. В выражении и позе жены, показалось мне, было что-то психопатическое или монашеское, и ее комнаты со старинною мебелью, со спящими птицами в клетках и с запахом герани, невы-

сокие, полутемные, очень теплые, напоминали мне покои игуменьи или какой-нибудь богомольной старухи-генеральши.

Я вошел в гостиную. Жена не выразила ни удивления, ни смущения и посмотрела на меня сурово и спокойно, как будто знала, что я приду.

– Виноват, – сказал я мягко, – Очень рад, Иван Иваныч, что вы еще не уехали. Забыл я у вас наверху спросить: не знаете ли, как имя и отчество председателя нашей земской управы?

– Андрей Станиславович. Да...

– Мерсі, – сказал я, достал из кармана книжку и записал.

Наступило молчание, в продолжение которого жена и Иван Иваныч, вероятно, ждали, когда я уйду; жена не верила, что мне нужен председатель земской управы – это я видел по ее глазам.

– Так я поеду, красавица, – забормотал Иван Иваныч, когда я прошелся по гостиной раз-другой и потом сел около камина.

– Нет, – быстро сказала Наталья Гавриловна, дотронувшись до его руки. – Еще четверть

часа... Прошу вас.

Очевидно, ей не хотелось оставаться со мной с глазу на глаз, без свидетелей.

«Что ж, и я подожду четверть часа», – подумал я.

– А, идет снег! – сказал я, вставая и глядя в окно. – Превосходный снег! Иван Иваныч, – продолжал я, прохаживаясь по гостиной, – я очень жалею, что я не охотник. Воображаю, какое удовольствие по такому снегу гоняться за зайцами и волками!

Жена, стоя на одном месте и не поворачивая головы, а только искоса поглядывая, следила за моими движениями; у нее было такое выражение, как будто я прятал в кармане острый нож или револьвер.

– Иван Иваныч, возьмите меня как-нибудь на охоту, – продолжал я мягко. – Я буду вам очень, очень благодарен.

В это время в гостиную вошел гость. Это был незнакомый мне господин, лет сорока, высокий, плотный, плешивый, с большою русою бородой и с маленькими глазами. По помятому мешковатому платью и по манерам я принял его за дьячка или учителя, но жена

отрекомендовала мне его доктором Соболев.

– Очень, очень рад познакомиться! – сказал доктор громко, тенором, крепко пожимая мне руку и наивно улыбаясь. – Очень рад!

Он сел за стол, взял стакан чаю и сказал громко:

– А нет ли у вас случаев рому или коньячку? Будьте милостивы, Оля, – обратился он к горничной, – поищите в шкапчике, а то я озяб.

Я опять сел у камина, глядел, слушал и изредка вставлял в общий разговор какое-нибудь слово. Жена приветливо улыбалась гостям и зорко следила за мною, как за зверем; она тяготилась моим присутствием, а это возбуждало во мне ревность, досаду и упрямое желание причинить ей боль. Жена, думал я, эти уютные комнаты, местечко около камина – мои, давно мои, но почему-то какой-нибудь выживший из ума Иван Иванович или Соболев имеют на них больше прав, чем я. Теперь я вижу жену не в окно, а вблизи себя, в обычной домашней обстановке, в той самой, которой недостает мне теперь в мои пожилые годы, и несмотря на ее ненависть ко мне,

я скучаю по ней, как когда-то в детстве скучал по матери и няне, и чувствую, что теперь, под старость, я люблю ее чище и выше, чем любил прежде, – и поэтому мне хочется подойти к ней, покрепче наступить ей каблуком на носок, причинить боль и при этом улыбнуться.

– Мосье Енот, – обратился я к доктору, – сколько у нас в уезде больниц?

– Собошь... – поправила жена.

– Две-с, – ответил Собошь.

– А сколько покойников приходится ежегодно на долю каждой больницы?

– Павел Андреич, мне нужно поговорить с вами, – сказала мне жена.

Она извинилась пред гостями и вышла в соседнюю комнату. Я встал и пошел за ней.

– Вы сию же минуту уйдете к себе наверх, – сказала она.

– Вы дурно воспитаны, – сказал я.

– Вы сию же минуту уйдете к себе наверх, – резко повторила она и с ненавистью посмотрела мне в лицо.

Она стояла так близко, что если бы я немножко нагнулся, то моя борода коснулась

бы ее лица.

– Но что такое? – сказал я. – В чем я так вдруг провинился?

Подбородок ее задрожал, она торопясь вытерла глаза, мельком взглянула на себя в зеркало и прошептала:

– Начинается опять старая история. Вы, конечно, не уйдете. Ну, как хотите. Я сама уйду, а вы оставайтесь.

Она с решительным лицом, а я, пожимая плечами и стараясь насмешливо улыбаться, вернулись в гостиную. Здесь уже были новые гости: какая-то пожилая дама и молодой человек в очках. Не здороваясь с новыми и не прощаясь со старыми, я пошел к себе.

После того, что произошло у меня за чаем и потом внизу, для меня стало ясно, что наше «семейное счастье», о котором мы стали уже забывать в эти последние два года, в силу каких-то ничтожных, бессмысленных причин возобновлялось опять, и что ни я, ни жена не могли уже остановиться, и что завтра или послезавтра вслед за взрывом ненависти, как я мог судить по опыту прошлых лет, должно будет произойти что-нибудь отвратительное,

что перевернет весь порядок нашей жизни. Значит, в эти два года, думал я, начиная ходить по своим комнатам, мы не стали умнее, холоднее и покойнее. Значит, опять пойдут слезы, крики, проклятия, чемоданы, граница, потом постоянный болезненный страх, что она там, за границей, с каким-нибудь франтом, италианцем или русским, надругается надо мной, опять отказ в паспорте, письма, круглое одиночество, скука по ней, а через пять лет старость, седые волосы... Я ходил и воображал то, чего не может быть, как она, красивая, пополневшая, обнимается с мужчиною, которого я не знаю... Уже уверенный, что это непременно произойдет, отчего, – спрашивал я себя в отчаянии, – отчего в одну из прошлых давнишних ссор я не дал ей развода или отчего она в ту пору не ушла от меня совсем, навсегда? Теперь бы не было этой тоски по ней, ненависти, тревоги, и я доживал бы свой век покойно, работая, ни о чем не думая...

Во двор въехала карета с двумя фонарями, потом широкие сани тройкой. У жены, очевидно, был вечер.

До полуночи внизу было тихо, и я ничего не слышал, но в полночь задвигали стульями, застучали посудой. Значит, ужин. Потом опять задвигали стульями, и мне из-под пола слышался шум; кричали, кажется, ура. Марья Герасимовна уже спала, и во всем верхнем этаже был только я один; в гостиной глядели на меня со стен портреты моих предков, людей ничтожных и жестоких, а в кабинете неприятно подмигивало отражение моей лампы в окне. И с завистливым, ревнивым чувством к тому, что происходило внизу, я прислушивался и думал: «Хозяин тут я; если захочу, то в одну минуту могу разогнать всю эту почтенную компанию». Но я знал, что это вздор, никого разогнать нельзя и слово «хозяин» ничего не значит. Можно сколько угодно считать себя хозяином, женатым, богатым, камер-юнкером, и в то же время не знать, что это значит.

После ужина кто-то внизу запел тенором.

«Ведь ничего же не случилось особенно-го! – убеждал я себя. – Что же я так волнуюсь? Завтра не пойду к ней вниз, вот и всё – и конец нашей ссоре».

В четверть второго я пошел спать.

– Внизу уже разъехались гости? – спросил я у Алексея, который раздевал меня.

– Точно так, разъехались.

– А зачем кричали ура?

– Алексей Дмитрич Махонов пожертвовали на голодающих тысячу пудов муки и тысячу рублей денег. И старая барыня, не знаю как их звать, обещали устроить у себя в имении столовую на полтораста человек. Слава богу-с... От Натальи Гавриловны вышло такое решение: всем господам собираться каждую пятницу.

– Собираться здесь внизу?

– Точно так. Перед ужином бумагу читали: с августа по сей день Наталья Гавриловна собрали тысяч восемь деньгами, кроме хлеба. Слава богу-с... Я так понимаю, ваше превосходительство, ежели барыня похлопочут за спасение души, то много соберут. Народ тут есть богатый.

Отпустив Алексея, я потушил огонь и укрылся с головой.

«В самом деле, что я так беспокоюсь? – думал я. – Какая сила тянет меня к голодающим,

как бабочку на огонь? Ведь я же их не знаю, не понимаю, никогда не видел и не люблю. Откуда же это беспокойство?»

Я вдруг перекрестился под одеялом.

«Но какова? – говорил я себе, думая о жене. – Тайно от меня в этом доме целый комитет. Почему тайно? Почему заговор? Что я им сделал?»

Иван Иваныч прав: мне нужно уехать!

На другой день проснулся я с твердым решением – поскорее уехать. Подробности вчерашнего дня – разговор за чаем, жена, Соболь, ужин, мои страхи – томили меня, и я рад был, что скоро избавлюсь от обстановки, которая напоминала мне обо всем этом. Когда я пил кофе, управляющий Владимир Прохорыч длинно докладывал мне о разных делах. Самое приятное он приберег к концу.

– Воры, что рожь у нас украли, нашлись, – доложил он, улыбаясь. – Вчера следователь арестовал в Пестрове трех мужиков.

– Убирайтесь вон! – крикнул я ему, страшно рассердившись, и ни с того ни с сего схватил корзину с бисквитами и бросил ее на пол.

## IV

После завтрака я потирал руки и думал: надо пойти к жене и объявить ей о своем отъезде. Для чего? Кому это нужно? Никому не нужно, отвечал я себе, но почему же и не объявить, тем более, что это не доставит ей ничего, кроме удовольствия? К тому же уехать после вчерашней ссоры, не сказавши ей ни одного слова, было бы не совсем тактично: она может подумать, что я испугался ее, и, пожалуй, мысль, что она выжила меня из моего дома, будет тяготить ее. Не мешает также объявить ей, что я жертвую пять тысяч, и дать ей несколько советов насчет организации и предостеречь, что ее неопытность в таком сложном, ответственном деле может повести к самым плачевным результатам. Одним словом, меня тянуло к жене и, когда я придумывал разные предлоги, чтобы пойти к ней, во мне уже сидела крепкая уверенность, что я это непременно сделаю.

Когда я пошел к ней, было светло и еще не зажигали ламп. Она сидела в своей рабочей комнате, проходной между гостиной и спаль-

ней, и, низко нагнувшись к столу, что-то быстро писала. Увидев меня, она вздрогнула, вышла из-за стола и остановилась в такой позе, как будто загораживала от меня свои бумаги.

– Виноват, я на одну минуту, – сказал я и, не знаю отчего, смутился. – Я узнал случайно, что вы, Natalie, организуете помощь голодающим.

– Да, организую. Но это мое дело, – ответила она.

– Да, это ваше дело, – сказал я мягко. – Я рад ему, потому что оно вполне отвечает моим намерениям. Я прошу позволения участвовать в нем.

– Простите, я не могу вам этого позволить, – ответила она и посмотрела в сторону.

– Почему же, Natalie? – спросил я тихо. – Почему же? Я тоже сыт и тоже хочу помочь голодающим.

– Я не знаю, при чем вы тут? – спросила она, презрительно усмехнувшись и пожав одним плечом. – Вас никто не просит.

– И вас никто не просит, однако же, вы в моем доме устроили целый комитет! – сказал

я.

– Меня просят, а вас, поверьте, никто и никогда не попросит. Идите, помогайте там, где вас не знают.

– Бога ради, не говорите со мною таким тоном.

Я старался быть кротким и всеми силами души умолял себя не терять хладнокровия. В первые минуты мне было хорошо около жены. На меня веяло чем-то мягким, домовитым, молодым, женственным, в высшей степени изящным, именно тем, чего так не хватало в моем этаже и вообще в моей жизни. На жене был капот из розовой фланели – это сильно молодило ее и придавало мягкость ее быстрым, иногда резким движениям. Ее хорошие темные волосы, один вид которых когда-то возбуждал во мне страсть, теперь оттого, что она долго сидела нагнувшись, выбились из прически и имели беспорядочный вид, но от этого казались мне еще пышнее и роскошнее. Впрочем, все это банально до пошлости. Передо мною стояла обыкновенная женщина, быть может, некрасивая и неизящная, но это была моя жена, с которой я

когда-то жил и с которою жил бы до сего дня, если бы не ее несчастный характер; это был единственный на всем земном шаре человек, которого я любил. Теперь перед отъездом, когда я знал, что не буду видеть ее даже в окно, она, даже суровая и холодная, отвечающая мне с гордою, презрительною усмешкой, казалась обольстительной, я гордился ею и сознавался себе, что уехать от нее мне страшно и невозможно.

– Павел Андреич, – сказала она после некоторого молчания, – два года мы не мешали друг другу и жили покойно. Зачем это вдруг вам так понадобилось возвращаться к прошлому? Вчера вы пришли, чтобы оскорбить меня и унижить, – продолжала она, возвышая голос, и лицо ее покраснело, и глаза вспыхнули ненавистью, – но воздержитесь, не делайте этого, Павел Андреич! Завтра я подам прошение, мне дадут паспорт, и я уйду, уйду, уйду! Уйду в монастырь, во вдовый дом, в богадельню...

– В сумасшедший дом! – крикнул я, не выдержав.

– Даже в сумасшедший дом! Лучше! луч-

ше! – продолжала она кричать, блестя глазами. – Сегодня, когда я была в Пестрове, я завидовала голодным и больным бабам, потому что они не живут с таким человеком, как вы. Они честны и свободны, а я, по вашей милости, тунеядица, погибаю в праздности, ем ваш хлеб, трачу ваши деньги и плачу вам своею свободой и какою-то верностью, которая никому не нужна. За то, что вы не даете мне паспорта, я должна стеречь ваше честное имя, которого у вас нет.

Надо было молчать. Стиснув зубы, я быстро вышел в гостиную, но тотчас же вернулся и сказал:

– Убедительно прошу, чтобы этих сборищ, заговоров и конспиративных квартир у меня в доме больше не было! В свой дом я пускаю только тех, с кем я знаком, а эта вся ваша сволочь, если ей угодно заниматься филантропией, пусть ищет себе другое место. Я не позволю, чтобы в моем доме по ночам кричали ура от радости, что могут эксплуатировать такую психопатку, как вы!

Жена, ломая руки и с протяжным стоном, как будто у нее болели зубы, бледная, быстро

прошлась из угла в угол. Я махнул рукой и вышел в гостиную. Меня душило бешенство, и в то же время я дрожал от страха, что не выдержу и сделаю или скажу что-нибудь такое, в чем буду раскаиваться всю мою жизнь. И я крепко сжимал себе руки, думая, что этим сдерживаю себя.

Выпив воды, немного успокоившись, я вернулся к жене. Она стояла в прежней позе, как бы загоразивая от меня стол с бумагами. По ее холодному, бледному лицу медленно текли слезы. Я помолчал и сказал ей с горечью, но уже без гнева:

– Как вы меня не понимаете! Как вы ко мне несправедливы! Клянусь честью, я шел к вам с чистыми побуждениями, с единственным желанием – сделать добро!

– Павел Андреич, – сказала она, сложив на груди руки, и ее лицо приняло страдальческое, умоляющее выражение, с каким испуганные, плачущие дети просят, чтобы их не наказывали. – Я отлично знаю, вы мне откажете, но я всё-таки прошу. Принудьте себя, сделайте хоть раз в жизни доброе дело. Я прошу вас, уезжайте отсюда! Это единственное,

что вы можете сделать для голодающих. Уезжайте, и я прощу вам всё, всё!

– Напрасно вы меня оскорбляете, Natalie, – вздохнул я, чувствуя вдруг особенный прилив смирения. – Я уже решил уехать, но я не уеду, прежде чем не сделаю чего-нибудь для голодающих. Это – мой долг.

– Ах! – сказала она тихо и нетерпеливо поморщилась. – Вы можете сделать отличную железную дорогу или мост, но для голодающих вы ничего не можете сделать. Поймите вы!

– Да? Вы вчера попрекнули меня в равнодушии и в том, что я лишен чувства сострадания. Как вы меня хорошо знаете! – усмехнулся я. – Вы веруете в бога, так вот вам бог свидетель, что я беспокоюсь день и ночь...

– Я вижу, что вы беспокоитесь, но голод и сострадание тут ни при чем. Вы беспокоитесь оттого, что голодающие обходятся без вас и что земство и вообще все помогающие не нуждаются в вашем руководительстве.

Я помолчал, чтобы подавить в себе раздражение, и сказал:

– Я пришел, чтобы поговорить с вами о де-

ле. Садитесь. Садитесь, прошу вас.

Она не садилась.

– Садитесь, прошу вас! – повторил я и указал ей на стул.

Она села. Я тоже сел, подумал и сказал:

– Прошу вас отнестись серьезно к тому, что я говорю. Слушайте... Вы, побуждаемая любовью к ближнему, взяли на себя организацию помощи голодающим. Против этого, конечно, я ничего не имею, вполне вам сочувствую и готов оказывать вам всякое содействие, каковы бы отношения наши ни были. Но при всем уважении моем к вашему уму и сердцу... и сердцу, – повторил я, – я не могу допустить, чтобы такое трудное, сложное и ответственное дело, как организация помощи, находилось в одних только ваших руках. Вы женщина, вы неопытны, незнакомы с жизнью, слишком доверчивы и экспансивны. Вы окружили себя помощниками, которых совершенно не знаете. Не преувеличу, если скажу, что при названных условиях ваша деятельность неминуемо повлечет за собою два печальных последствия. Во-первых, наш уезд останется совершенно без помощи, и во-вторых, за свои

ошибки и за ошибки ваших помощников вам придется расплачиваться не только собственными карманами, но и своей репутацией. Растраты и упущения, допустим, я покрою, но кто вам возвратит ваше честное имя? Когда вследствие плохого контроля и упущений разнесется слух, что вы, а стало быть, и я, нажили на этом деле двести тысяч, то разве ваши помощники придут к вам на помощь?

Она молчала.

– Не из самолюбия, как вы говорите, – продолжал я, – а просто из расчета, чтобы голодающие не остались без помощи, а вы без честного имени, я считаю своим нравственным долгом вмешаться в ваши дела.

– Говорите покороче, – сказала жена.

– Вы будете так добры, – продолжал я, – укажите мне, сколько у вас поступило до сегодня на приход и сколько вы уже потратили. Затем о каждом новом поступлении деньгами или натурой, о каждом новом расходе вы будете ежедневно извещать меня. Вы, Natalie, дадите мне также список ваших помощников. Быть может, они вполне порядочные люди, я не сомневаюсь в этом, но всё-таки необ-

ходимо навести справки.

Она молчала. Я встал и прошелся по комнате.

– Давайте же займемся, – сказал я и сел за ее стол.

– Вы это серьезно? – спросила она, глядя на меня с недоумением и испугом.

– Natalie, будьте рассудительны! – сказал я умоляюще, видя по ее лицу, что она хочет протестовать. – Прошу вас, доверьтесь вполне моему опыту и порядочности!

– Я всё-таки не понимаю, что вам нужно!

– Покажите мне, сколько вы уже собрали и сколько истратили.

– У меня нет тайн. Всякий может видеть. Смотрите.

На столе лежало штук пять ученических тетрадок, несколько листов исписанной почтовой бумаги, карта уезда и множество клочков бумаги всякого формата. Наступали сумерки. Я зажег свечу.

– Извините, я пока еще ничего не вижу, – сказал я, перелистывая тетради. – Где у вас ведомость о поступлении пожертвований деньгами?

– Это видно из подписных листов.

– Да-с, но ведь и ведомость же нужна! – сказал я, улыбаясь ее наивности. – Где у вас письма, при которых вы получали пожертвования деньгами и натурой? Pardon, маленькое практическое указание, Natalie: эти письма необходимо беречь. Вы каждое письмо нумеруйте и записывайте его в особую ведомость. Так же вы поступайте и со своими письмами. Впрочем, все это я буду делать сам.

– Делайте, делайте... – сказала она.

Я был очень доволен собой. Увлечшись живым, интересным делом, маленьким столом, наивными тетрадками и прелестью, какую обещала мне эта работа в обществе жены, я боялся, что жена вдруг помешает мне и всё расстроит какую-нибудь неожиданною выходкой, и потому я торопился и делал над собою усилия, чтобы не придавать никакого значения тому, что у нее трясутся губы и что она пугливо и растерянно, как пойманный зверек, смотрит по сторонам.

– Вот что, Natalie, – сказал я, не глядя на нее. – Позвольте мне взять все эти бумаги и тетрадки к себе наверх. Я там посмотрю, озна-

комлюсь и завтра скажу вам свое мнение. Нет ли у вас еще каких бумаг? – спросил я, складывая тетради и листки в пачки.

– Берите, всё берите! – сказала жена, помогая мне складывать бумаги в пачки, и крупные слезы текли у нее по лицу. – Берите всё! Это всё, что оставалось у меня в жизни... Отнимайте последнее.

– Ах, Natalie, Natalie! – вздохнул я укоризненно.

Она как-то беспорядочно, толкая меня в грудь локтем и касаясь моего лица волосами, выдвинула из стола ящик и стала оттуда выбрасывать мне на стол бумаги; при этом мелкие деньги сыпались мне на колени и на пол.

– Всё берите... – говорила она осипшим голосом.

Выбросив бумаги, она отошла от меня и, ухватившись обеими руками за голову, повалилась на кушетку. Я подобрал деньги, положил их обратно в ящик и запер, чтобы не вводить в грех прислугу; потом взял в охапку все бумаги и пошел к себе. Проходя мимо жены, я остановился и, глядя на ее спину и вздрагивающие плечи, сказал:

– Какой вы еще ребенок, Natalie! Ай-ай! Слушайте, Natalie: когда вы поймете, как серьезно и ответственно это дело, то вы первая же будете благодарить меня. Клянусь вам.

Придя к себе, я не спеша занялся бумагами. Тетрадки не прошнурованы, на страницах номеров нет. Записи сделаны различными почерками, очевидно, в тетрадках хозяйничает всякий, кто хочет. В списках пожертвований натурою не проставлена цена продуктов. Но ведь, позвольте, та рожь, которая теперь стоит 1 р. 15 к., через два месяца может подняться в цене до 2 р. 15 к. Как же можно так? Затем «выдано А. М. Соболю 32 р.». Когда выдано? Для чего выдано? Где оправдательный документ? Ничего нет и ничего не поймешь. В случае судебного разбирательства эти бумаги будут только затемнять дело.

– Как она наивна! – изумлялся я. – Какой она еще ребенок!

Мне было и досадно, и смешно.

**Ж**ена собрала уже восемь тысяч, прибавить к ним мои пять – итого будет тринадцать. Для начала это очень хорошо. Дело, которое меня так интересовало и беспокоило, находится, наконец, в моих руках; я делаю то, чего не хотели и не могли сделать другие, я исполняю свой долг, организую правильную и серьезную помощь голодающим.

Все, кажется, идет согласно с моими намерениями и желаниями, но почему же меня не оставляет мое беспокойство! Я в продолжение четырех часов рассматривал бумаги жены, уясняя их смысл и исправляя ошибки, но вместо успокоения я испытывал такое чувство, как будто кто-то чужой стоял сзади меня и водил по моей спине шершавою ладонью. Чего мне недоставало? Организация помощи попала в надежные руки, голодающие будут сыты – что же еще нужно?

Легкая четырехчасовая работа почему-то утомила меня, так что я не мог ни сидеть согнувшись, ни писать. Снизу изредка доносились глухие стоны – это рыдала жена. Мой

всегда смиренный, сонный и ханжеватый Алексей то и дело подходил к столу, чтобы поправить свечи, и посматривал на меня как-то странно.

– Нет, надо уехать! – решил я наконец, выбившись из сил. – Подальше от этих великолепных впечатлений. Завтра же уеду.

Я собрал бумаги и тетрадки и пошел к жене. Когда я, чувствуя сильное утомление и разбитость, прижал обеими руками к груди бумаги и тетради и, проходя через спальню, увидел свои чемоданы, то до меня из-под пола донесся плач...

– Вы камер-юнкер? – спросил меня кто-то на ухо. – Очень приятно. Но всё-таки вы гадина.

– Всё вздор, вздор, вздор... – бормотал я, спускаясь по лестнице. – Вздор... И то вздор, будто мною руководит самолюбие или тщеславие... Какие пустяки! Разве за голодающих дадут мне звезду, что ли, или сделают меня директором департамента? Вздор, вздор! И перед кем тут в деревне тщеславиться?

Я устал, ужасно устал, и что-то шептало мне на ухо: «Очень приятно. Но все же вы га-

дина». Почему-то я вспомнил строку из одного старинного стихотворения, которое когда-то знал в детстве: «Как приятно добрым быть!»

Жена лежала на кушетке в прежней позе – лицом вниз и обхватив голову обеими руками. Она плакала. Возле нее стояла горничная с испуганным, недоумевающим лицом. Я отослал горничную, сложил бумаги на стол, подумал и сказал:

– Вот ваша канцелярия, Natalie. Всё в порядке, всё прекрасно, и я очень доволен. Завтра я уезжаю.

Она продолжала плакать. Я вышел в гостиную и сел там в потемках. Всхлипывания жены, ее вздохи обвиняли меня в чем-то, и, чтобы оправдать себя, я припоминал всю нашу ссору, начиная с того, как мне пришла в голову несчастная мысль пригласить жену на совещание, и кончая тетрадками и этим плачем. Это был обычный припадок нашей супружеской ненависти, безобразный и бессмысленный, каких было много после нашей свадьбы, но при чем же тут голодающие? Как это могло случиться, что они попали нам под

горячую руку? Похоже на то, как будто мы, гонясь друг за другом, нечаянно вбежали в алтарь и подняли там драку.

– Natalie, – говорю я тихо из гостиной, – полно, полно!

Чтобы прекратить плач и положить конец этому мучительному состоянию, надо пойти к жене и утешить, приласкать или извиниться; но как это сделать, чтобы она мне поверила? Как я могу убедить дикого утенка, живущего в неволе и ненавидящего меня, что он мне симпатичен и что я сочувствую его страданию? Жены своей я никогда не знал и потому никогда не знал, о чем и как с нею говорить. Наружность ее я знал хорошо и ценил по достоинству, но ее душевный, нравственный мир, ум, миросозерцание, частые перемены в настроении, ее ненавидящие глаза, высокомерие, начитанность, которую она иногда поражала меня, или, например, монашеское выражение, как вчера, – всё это было мне неизвестно и непонятно. Когда в своих столкновениях с нею я пытался определить, что она за человек, то моя психология не шла дальше таких определений, как взбалмош-

ная, несерьезная, несчастный характер, бабья логика – и для меня, казалось, этого было совершенно достаточно. Но теперь, пока она плакала, у меня было страстное желание знать больше.

Плач прекратился. Я пошел к жене. Она сидела на кушетке, подперев голову обеими руками, и задумчиво, неподвижно глядела на огонь.

– Я уезжаю завтра утром, – сказал я.

Она молчала. Я прошелся по комнате, вздохнул и сказал:

– Natalie, когда вы просили меня уехать, то сказали: прощу вам всё, всё... Значит, вы считаете меня виноватым перед вами. Прошу вас, хладнокровно и в коротких выражениях формулируйте мою вину перед вами.

– Я утомлена. После как-нибудь... – сказала жена.

– Какая вина? – продолжал я. – Что я сделал? Скажете, вы молоды, красивы, хотите жить, а я почти вдвое старше вас и ненавижу вас, но разве это вина? Я женился на вас не насильно. Ну, что ж, если хотите жить на свободе, идите, я дам вам волю. Идите, мо-

жете любить, кого вам угодно... Я и развод дам.

– Этого мне не надо, – сказала она. – Вы знаете, я вас любила прежде и всегда считала себя старше вас. Пустяки все это... Вина ваша не в том, что вы старше, а я моложе, или что на свободе я могла бы полюбить другого, а в том, что вы тяжелый человек, эгоист, ненавистник.

– Не знаю, может быть, – проговорил я.

– Уходите, пожалуйста. Вы хотите есть меня до утра, но предупреждаю, я совсем ослабела и отвечать вам не могу. Вы дали мне слово уехать, я очень вам благодарна, и больше ничего мне не нужно.

Жена хотела, чтобы я ушел, но мне не легко было сделать это. Я ослабел и боялся своих больших, неудобных, опостылевших комнат. Бывало в детстве, когда у меня болело что-нибудь, я жался к матери или няне, и, когда я прятал лицо в складках теплого платья, мне казалось, что я прячусь от боли. Так и теперь почему-то мне казалось, что от своего беспокойства я могу спрятаться только в этой маленькой комнате, около жены. Я сел и рукою

заслонил глаза от света. Было тихо.

– Какая вина? – сказала жена после долгого молчания, глядя на меня красными, блестящими от слез глазами. – Вы прекрасно образованны и воспитаны, очень честны, справедливы, с правилами, но всё это выходит у вас так, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнет, что-то в высшей степени оскорбительное, унижительное. У вас честный образ мыслей, и потому вы ненавидите весь мир. Вы ненавидите верующих, так как вера есть выражение неразвития и невежества, и в то же время ненавидите и неверующих за то, что у них нет веры и идеалов; вы ненавидите стариков за отсталость и консерватизм, а молодых – за вольнодумство. Вам дороги интересы народа и России, и потому вы ненавидите народ, так как в каждом подозреваете вора и грабителя. Вы всех ненавидите. Вы справедливы и всегда стоите на почве законности, и потому вы постоянно судитесь с мужиками и соседями. У вас украли 20 кулей ржи, и из любви к порядку вы пожаловались на мужиков губернатору и всему начальству, а на здешнее начальство пожалова-

лись в Петербург. Почва законности! – сказала жена и засмеялась. – На основании закона и в интересах нравственности вы не даете мне паспорта. Есть такая нравственность и такой закон, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь в праздности, в тоске, в постоянном страхе и получала бы за это стол и квартиру от человека, которого она не любит. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете брак и семейные основы, а из всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сделали ни одного доброго дела, все вас ненавидят, со всеми вы в ссоре и за эти семь лет, пока женаты, вы и семи месяцев не прожили с женой. У вас жены не было, а у меня не было мужа. С таким человеком, как вы, жить невозможно, нет сил. В первые годы мне с вами было страшно, а теперь мне стыдно... Так и пропали лучшие годы. Пока воевала с вами, я испортила себе характер, стала резкой, грубой, пугливой, недоверчивой... Э, да что говорить! Разве вы захотите понять? Идите себе с богом.

Жена прилегла на кушетку и задумалась.

– А какая бы могла быть прекрасная, завидная жизнь! – тихо сказала она, глядя в раздумье на огонь. – Какая жизнь! Не вернешь теперь.

Кто живал зимою в деревне и знает эти длинные, скучные, тихие вечера, когда даже собаки не лают от скуки и, кажется, часы томятся оттого, что им надоело тикать, и кого в такие вечера тревожила пробудившаяся совесть и кто беспокойно метался с места на место, желая то заглушить, то разгадать свою совесть, тот поймет, какое развлечение и наслаждение доставлял мне женский голос, раздававшийся в маленькой уютной комнате и говоривший мне, что я дурной человек. Я не понимал, чего хочет моя совесть, и жена, как переводчик, по-женски, но ясно истолковывала мне смысл моей тревоги. Как часто раньше, в минуты сильного беспокойства, я догадывался, что весь секрет не в голодающих, а в том, что я не такой человек, как нужно.

Жена через силу поднялась и подошла ко мне.

– Павел Андреич, – сказала она, печально улыбаясь. – Простите, я не верю вам: вы не

уедете. Но я еще раз прошу. Называйте это, – она указала на свои бумаги, – самообманом, бабьей логикой, ошибкой, как хотите, но не мешайте мне. Это всё, что осталось у меня в жизни. – Она отвернулась и помолчала. – Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала с вами. Теперь я ухватилась за это и ожила, я счастлива... Мне кажется, в этом я нашла способ, как оправдать свою жизнь.

– Natalie, вы хорошая, идейная женщина, – сказал я, восторженно глядя на жену, – и всё, что вы делаете и говорите, прекрасно и умно.

Чтобы скрыть свое волнение, я прошелся по комнате.

– Natalie, – продолжал я через минуту, – перед отъездом прошу у вас, как особенной милости, помогите мне сделать что-нибудь для голодающих!

– Что же я могу? – сказала жена и пожала плечами. – Разве вот только подписной лист?

Она порылась в своих бумагах и нашла подписной лист.

– Пожертвуйте сколько-нибудь деньгами, – сказала она, и по ее тону заметно было, что

своему подписному листу она не придавала серьезного значения. – А участвовать в этом деле как-нибудь иначе вы не можете.

Я взял лист и подписал: *Неизвестный – 5000.*

В этом «неизвестный» было что-то нехорошее, фальшивое, самолюбивое, но я понял это только, когда заметил, что жена сильно покраснела и торопливо сунула лист в кучу бумаг. Нам обоим стало стыдно. Я почувствовал, что мне непременно, во что бы то ни стало, сейчас же нужно загладить эту неловкость, иначе мне будет стыдно потом и в вагоне и в Петербурге. Но как загладить? Что сказать?

– Я благословляю вашу деятельность, Natalie, – сказал я искренно, – и желаю вам всякого успеха. Но позвольте на прощанье дать вам один совет. Natalie, держите себя поосторожнее с Сободем и вообще с вашими помощниками и не доверяйтесь им. Я не скажу, чтобы они были не честны, но это не дворяне, это люди без идеи, без идеалов и веры, без цели в жизни, без определенных принципов, и весь смысл их жизни зиждется на рубле. Рубль, рубль и рубль! – вздохнул я. – Они лю-

бят легкие и даровые хлеба и в этом отношении, чем они образованнее, тем опаснее для дела.

Жена пошла к кушетке и прилегла.

– Идеи, идейно, – проговорила она вяло и нехотя, – идейность, идеалы, цель жизни, принципы... Эти слова вы говорили всегда, когда хотели кого-нибудь унижить, обидеть или сказать неприятность. Ведь вот вы какой! Если с вашими взглядами и с таким отношением к людям подпустить вас близко к делу, то это, значит, разрушить дело в первый же день. Пора бы это понять.

Она вздохнула и помолчала.

– Это грубость нравов, Павел Андреич, – сказала она. – Вы образованны и воспитаны, но в сущности какой вы еще... скиф! Это оттого, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни с кем не видаетесь и не читаете ничего, кроме ваших инженерных книг. А ведь есть хорошие люди, хорошие книги! Да... Но я утомилась и мне тяжело говорить. Спать надо.

– Так я еду, Natalie, – сказал я.

– Да, да... Merсі...

Я постоял немного и пошел к себе наверх. Час спустя – это было в половине второго – я со свечкою в руках опять сошел вниз, чтобы поговорить с женой. Я не знал, что скажу ей, но чувствовал, что мне нужно сказать ей что-то важное и необходимое. В рабочей комнате ее не было. Дверь, которая вела в спальню, была закрыта.

– Natalie, вы спите? – тихо спросил я.

Ответа не было. Я постоял около двери, вздохнул и пошел в гостиную. Здесь я сел на диван, потушил свечу и просидел в потемках до самого рассвета.

## VI

Выехал я на станцию в 10 часов утра. Мороза не было, но валил с неба крупный мокрый снег и дул неприятный сырой ветер.

Миновали пруд, потом березняк и стали взбираться на гору по дороге, которая видна из моих окон. Я оглянулся, чтобы в последний раз взглянуть на свой дом, но за снегом ничего не было видно. Немного погодя впереди, как в тумане, показались темные избы. Это Пестрово.

«Если я когда-нибудь сойду с ума, то виновато будет Пестрово, – подумал я. – Оно меня преследует».

Въехали на улицу. На избах все крыши целы, нет ни одной содранной, – значит, соврал мой приказчик. Мальчик возит в салазках девочку с ребенком, другой мальчик, лет трех, с окутанной по-бабьи головой и с громадными рукавицами, хочет поймать языком летающие снежинки и смеется. Вот навстречу едет воз с хворостом, около идет мужик, и никак не поймешь, сед ли он или же борода его бела от снега. Он узнал моего кучера, улыбается

ему и что-то говорит, а передо мной машинально снимает шапку. Собаки выбегают из дворов и с любопытством смотрят на моих лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто. Вернулись переселенцы, нет хлеба, в избах «кто хочет, кто на стену лезет», но всё это так просто, что даже не верится, чтобы это было на самом деле. Ни растерянных лиц, ни голосов вопиющих о помощи, ни плача, ни брани, а кругом тишина, порядок жизни, дети, салазки, собаки с задранными хвостами. Не беспокоятся ни дети, ни встречный мужик, но почему же я так беспокоюсь?

Глядя на улыбающегося мужика, на мальчика с громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понимал теперь, что нет такого бедствия, которое могло бы победить этих людей; мне казалось, что в воздухе уже пахнет победой, я гордился и готов был крикнуть им, что я тоже с ними; но лошади вынесли из деревни в поле, закружил снег, заревел ветер, и я остался один со своими мыслями. Из миллионной толпы людей, совершавших народное дело, сама жизнь выбрасывала меня, как ненужного, неумелого,

дурного человека. Я помеха, частица народно-го бедствия, меня победили, выбросили, и я спешу на станцию, чтобы уехать и спрятаться в Петербурге, в отеле на Большой Морской.

Через час приехали на станцию. Сторож с бляхой и кучер внесли мои чемоданы в дамскую комнату. Кучер Никанор с заткнутой за пояс полой, в валенках, весь мокрый от снега и довольный, что я уезжаю, улыбнулся мне дружелюбно и сказал:

– Счастливой дороги, ваше превосходительство. Дай бог час.

Кстати: меня все называют превосходительством, хотя я лишь коллежский советник, камер-юнкер. Сторож сказал, что поезд еще не выходил из соседней станции. Надо было ждать. Я вышел наружу и, с тяжелой от бессонной ночи головой и едва передвигая ноги от утомления, направился без всякой цели к водокачке. Кругом не было ни души.

– Зачем я еду? – спрашивал я себя. – Что меня ожидает там? Знакомые, от которых я уже уехал, одиночество, ресторанные обеды, шум, электрическое освещение, от которого у меня глаза болят... Куда и зачем я еду? Зачем я еду?

И как-то странно было уезжать, не поговоривши с женой. Мне казалось, что я оставил ее в неизвестности. Уезжая, следовало бы сказать ей, что она права, что я в самом деле дурной человек.

Когда я повернул от водокачки, в дверях показался начальник станции, на которого я два раза уже жаловался его начальству; приподняв воротник сюртука, пожимаясь от ветра и снега, он подошел ко мне и, приложив два пальца к козырьку, с растерянным, напряженно почтительным и ненавидящим лицом сказал мне, что поезд опоздает на 20 минут и что не желаю ли я пока обождать в теплом помещении.

– Благодарю вас, – ответил я, – но, вероятно, я не поеду. Велите сказать моему кучеру, чтобы он подождал. Я еще подумаю.

Я ходил взад и вперед по платформе и думал: уехать мне или нет? Когда пришел поезд, я решил, что не поеду. Дома меня ожидали недоумение и, пожалуй, насмешки жены, унылый верхний этаж и мое беспокойство, но это в мои годы все-таки легче и как-то роднее, чем ехать двое суток с чужими людьми в Пе-

тербург, где я каждую минуту сознавал бы, что жизнь моя никому и ни на что не нужна и приближается к концу. Нет, уж лучше домой, что бы там ни было... Я вышел из станции. Возвращаться домой, где все так радовались моему отъезду, при дневном свете было неловко. Остаток дня до вечера можно было провести у кого-нибудь из соседей. Но у кого? С одними я в натянутых отношениях, с другими незнаком вовсе. Я подумал и вспомнил про Ивана Иваныча.

– Поедем к Брагину! – сказал я кучеру, садясь в сани.

– Далече, – вздохнул Никанор. – Верст, пожалуй, 28 будет, а то и все 30.

– Пожалуйста, голубчик, – сказал я таким тоном, как будто Никанор имел право не послушаться. – Поедем, пожалуйста!

Никанор с сомнением покачал головой и медленно проговорил, что по-настоящему следовало бы запрячь в корень не Черкеса, а Мужика или Чижика, и нерешительно, как бы ожидая, что я отменю свое решение, забрал вожжи в рукавицы, привстал, подумал и потом уж взмахнул кнутом.

«Целый ряд непоследовательных поступков... – думал я, пряча лицо от снега. – Это я сошел с ума. Ну, пускай...»

В одном месте на очень высоком и крутом спуске Никанор осторожно спустил лошадей до половины горы, но с половины лошади вдруг сорвались и со страшною быстротой понесли вниз; он вздрогнул, поднял локти и закричал диким, неистовым голосом, какого я раньше никогда у него не слышал;

– Эй, прокатим генерала! Запалим, новых купит, голубчики! Ай, берегись, задавим!

Только теперь, когда у меня от необыкновенно быстрой езды захватило дыхание, я заметил, что он сильно пьян; должно быть, на станции выпил. На дне оврага затрещал лед, кусок крепкого унавоженного снега, сбитый с дороги, больно ударил меня по лицу. Разбежавшиеся лошади с разгону понесли на гору так же быстро, как с горы, и не успел я крикнуть Никанору, как моя тройка уже летела по ровному месту, в старом еловом лесу, и высокие ели со всех сторон протягивали ко мне свои белые мохнатые лапы.

«Я сошел с ума, кучер пьян... – думал я. –

Хорошо!»

Ивана Иваныча я застал дома. Он закашлялся от смеха, положил мне на грудь голову и сказал то, что всегда говорит при встрече со мной:

– А вы всё молодеете. Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мне бы дали.

– Я, Иван Иваныч, приехал вам визит отдать, – солгал я. – Не взыщите, человек я столичный, с предрассудками, считаюсь визитами.

– Рад, голубчик! Я из ума выжил, люблю честь... Да.

По его голосу и блаженно улыбавшемуся лицу я мог судить, что своим визитом я сильно польстил ему. В передней шубу с меня снимали две бабы, а повесил ее на крючок мужик в красной рубахе. И когда мы с Иваном Иванычем вошли в его маленький кабинет, две босые девочки сидели на полу и рассматривали «Иллюстрацию» в переплете; увидев нас, они вспрыгнули и побежали вон, и тотчас же вошла высокая тонкая старуха в очках, степенно поклонилась мне и, подобрав с ди-

вана подушку, а с полу «Иллюстрацию», вышла. Из соседних комнат непрерывно слышались шёпот и шлепанье босых ног.

– А я к себе доктора жду обедать, – сказал Иван Иванович. – Обещал с пункта заехать. Да. Он у меня каждую среду обедает, дай бог ему здоровья. – Он потянулся ко мне и поцеловал в шею. – Приехали, голубчик, значит, не сердитесь, – зашептал он, сопя. – Не сердитесь, матушка. Да. Может, и обидно, но не надо сердиться. Я об одном только прошу бога перед смертью: со всеми жить в мире и согласии, по правде. Да.

– Простите, Иван Иванович, я положу ноги на кресло, – сказал я, чувствуя, что от сильного утомления я не могу быть самим собой; я поглубже сел на диван и протянул ноги на кресло. После снега и ветра у меня горело лицо и, казалось, всё тело впитывало в себя теплоту и от этого становилось слабее. – У вас тут хорошо, – продолжал я, – тепло, мягко, уютно... И гусиные перья, – засмеялся я, поглядев на письменный стол, – песочница...

– А? Да, да... Письменный стол и вот этот шкафчик из красного дерева делал моему от-

цу столяр-самоучка Глеб Бутыга, крепостной генерала Жукова. Да... Большой художник по своей части.

Вяло, тоном засыпающего человека, он стал рассказывать мне про столяра Бутыгу. Я слушал. Потом Иван Иваныч вышел в соседнюю комнату, чтобы показать мне замечательный по красоте и дешевизне комод из палисандрового дерева. Он постучал пальцем по комоду, потом обратил мое внимание на изразцовую печь с рисунками, которых теперь нигде не встретишь. И по печи постучал пальцем. От комода, изразцовой печи, и от кресел, и картин, шитых шерстью и шелком по канве, в прочных и некрасивых рамах, веяло добродушием и сытостью. Как вспомнишь, что все эти предметы стояли на этих же местах и точно в таком же порядке, когда я еще был ребенком и приезжал сюда с матерью на именины, то просто не верится, чтобы они могли когда-нибудь не существовать.

Я думал: какая страшная разница между Бутыгой и мной! Бутыга, строивший прежде всего прочно и основательно и видевший в этом главное, придавал какое-то особенное

значение человеческому долголетию, не думал о смерти и, вероятно, плохо верил в ее возможность; я же, когда строил свои железные и каменные мосты, которые будут существовать тысячи лет, никак не мог удержаться от мыслей: «Это не долговечно... Это ни к чему». Если со временем какому-нибудь толковому историку искусств попадутся на глаза шкап Бутыги и мой мост, то он скажет: «Это два в своем роде замечательных человека: Бутыга любил людей и не допускал мысли, что они могут умирать и разрушаться, и потому, делая свою мебель, имел в виду бессмертного человека, инженер же Асорин не любил ни людей, ни жизни; даже в счастливые минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности, и потому, посмотрите, как у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти линии»...

– Я только эти комнаты топлю, – бормотал Иван Иваныч, показывая мне свои комнаты. – С тех пор, как умерла жена и сына на войне убили, я запер парадные. Да... вот...

Он отпер одну дверь, и я увидел большую комнату с четырьмя колоннами, старый фор-

тепьяно и кучу гороху на полу; пахнуло холодом и запахом сырья.

– А в другой комнате садовые скамейки... – бормотал Иван Иванович. – Некому уж мазурку танцевать... Запер.

Послышался шум. Это приехал доктор Соболь. Пока он с холоду потирал руки и приводил в порядок свою мокрую бороду, я успел заметить, что, во-первых, ему жилось очень скучно и потому приятно было видеть Ивана Ивановича и меня, и, во-вторых, это был простоватый и наивный человек. Он смотрел на меня так, как будто я был очень рад его видеть и очень интересуюсь им.

– Две ночи не спал! – говорил он, наивно глядя на меня и причесываясь. – Одну ночь с роженицей, а другую, всю напролет, клопы кусали, у мужика ночевал. Спать хочу, понимаете ли, как сатана.

С таким выражением, как будто это не может доставить мне ничего, кроме удовольствия, он взял меня под руку и повел в столовую. Его наивные глаза, помятый сюртук, дешевый галстук и запах йодоформа произвели на меня неприятное впечатление; я почув-

ствовал себя в дурном обществе. Когда сели за стол, он налил мне водки, и я, беспомощно улыбаясь, выпил; он положил мне на тарелку кусок ветчины – и я покорно съел.

– *Repetitio est mater studiorum*, [68] – сказал Соболев, торопясь выпить другую рюмку. – Верите ли, от радости, что хороших людей увидел, даже сон прошел. Я мужик, одичал в глуши, огрубел, но я всё-таки еще, господа, интеллигентный человек и искренно говорю вам: тяжело без людей!

Подали на холодное белого поросенка с хреном и со сметаной, потом жирные, очень горячие щи со свининой и гречневую кашу, от которой столбом валил пар. Доктор продолжал говорить, и скоро я убедился, что это был слабый, внешне беспорядочный и несчастный человек. От трех рюмок он опьянел, неестественно оживился, ел очень много, побрякивая и причмокивая, и меня уже величал по-италиански: экчеленца. Наивно глядя на меня, как будто уверенный, что я очень рад видеть его и слушать, он сообщил мне, что со своею женой он давно уже разошелся и отдает ей три четверти своего жалованья; что

живет она в городе с его детьми – мальчиком и девочкой, которых он обожает, что любит он другую, вдову-помещицу, интеллигентную женщину, но бывает у нее редко, так как бывает занят своим делом с утра до ночи и совсем не имеет свободного времени.

– Целый день то в больнице, то в разъездах, – рассказывал он, – и, клянусь вам, экчеленца, не только что к любимой женщине съездить, но даже книжку прочесть некогда. Десять лет ничего не читал! Десять лет, экчеленца! Что же касается материальной стороны, то вот извольте спросить у Ивана Ивановича: табаку купить иной раз не на что.

– Зато у вас нравственное удовлетворение, – сказал я.

– Чего-с? – спросил он и прищурил один глаз. – Нет, давайте уж лучше выпьем.

Я слушал доктора и по своей всегдашней привычке подводил к нему свои обычные мерки – материалист, идеалист, рубль, стадные инстинкты и т. п., но ни одна мерка не подходила даже приблизительно; и странное дело, пока я только слушал и глядел на него, то он, как человек, был для меня совершенно

ясен, но как только я начинал подводить к нему свои мерки, то при всей своей откровенности и простоте он становился необыкновенно сложной, запутанной и непонятной натурой. Может ли этот человек, спрашивал я себя, растратить чужие деньги, злоупотребить доверием, иметь склонность к даровым хлебам? И теперь этот, когда-то серьезный, значительный вопрос казался мне наивным, мелочным и грубым.

Подали пирог, потом, помню, с длинными промежутками, в продолжение которых мы пили наливку, подавали соус из голубей, что-то из потрохов, жареного поросенка, утку, куропаток, цветную капусту, вареники, творог с молоком, кисель и, под конец, блинчики с вареньем. Сначала, особенно щи и кашу, я ел с большим аппетитом, но потом жевал и глотал машинально, беспомощно улыбаясь и не ощущая никакого вкуса. От горячих щей и от жары, какая была в комнате, у меня сильно горело лицо. Иван Иванович и Соболев тоже были красны.

– За здоровье вашей супруги, – сказал Соболев. – Она меня любит. Скажите ей, что кла-

нялся ей лейб-медик.

– Счастливая, ей-богу! – вздохнул Иван Иваныч. – Не хлопотала, не беспокоилась, не суетилась, а вышло так, что она теперь первая персона во всем уезде. Почти всё дело у нее в руках и около нее все: и доктор, и земские начальники, и барыни. У настоящих людей это как-то само собой выходит. Да... Ябло не надо беспокоиться, чтобы на ней яблоки росли – сами вырастут.

– Не беспокоятся равнодушные, – сказал я.

– А? Да, да... – забормотал Иван Иваныч, не расслышав. – Это верно... Надо быть равнодушным. Так, так... Именно... Будь только справедлив перед богом и людьми, а там – хоть трава не расти.

– Экчеленца, – сказал торжественно Сობоль, – посмотрите вы на окружающую природу: высунь из воротника нос или ухо – откусит; останься в поле на один час – снегом засыплет. А деревня такая же, какая еще при Рюрике была, нисколько не изменилась, те же печенеги и половцы. Только и знаем, что горим, голодаем и на все лады с природой воюем. О чем бишь я? Да! Если, понимаете ли,

хорошенько вдуматься, взглядеться да разобраться эту, с позволения сказать, кашу, то ведь это не жизнь, а пожар в театре! Тут кто падает или кричит от страха и мечется, тот первый враг порядка. Надо стоять прямо и глядеть в оба – и ни чичирк! Тут уж некогда нюни распускать и мелочами заниматься. Коли имеешь дело со стихией, то и выставляй против нее стихию, – будь тверд и неподатлив как камень. Не так ли, дедушка? – повернулся он к Ивану Иванычу и засмеялся, – Я сам баба, тряпка, кисляй кисляич и потому терпеть не могу кислоты. Не люблю мелких чувств! Один хандрит, другой трусит, третий войдет сейчас сюда и скажет: «Ишь ты, уперли десять блюд и заговорили о голодающих!» Мелко и глупо! Четвертый попрекнет вас, экчеленца, что вы богаты. Извините меня, экчеленца, – продолжал он громко, приложив руку к сердцу, – но то, что вы задали нашему следователю работу, что он ваших воров день и ночь ищет, извините, это тоже мелко с вашей стороны. Я выпивши, потому и говорю это сейчас, но понимаете ли, мелко!

– Кто его просит беспокоиться, не пони-

маю? – сказал я, вставая; мне вдруг стало невыносимо стыдно и обидно, и я заходил около стола. – Кто его просит беспокоиться? Я вовсе не просил... Чёрт его подери совсем!

– Трех арестовал и выпустил. Оказались не те, и теперь новых ищет, – засмеялся Соболь. – Грехи!

– И я вовсе не просил его беспокоиться, – сказал я, готовый заплакать от волнения. – К чему, к чему всё это? Ну, да, положим, я был не прав, поступал я дурно, положим, но зачем они стараются, чтобы я был еще больше не прав?

– Ну, ну, ну, ну! – сказал Соболь, успокаивая меня. – Ну! Я выпивши, потому и сказал. Язык мой – враг мой. Ну-с, – вздохнул он, – поели, наливки попили, а теперь на боковую.

Он встал из-за стола, поцеловал Ивана Иваныча в голову и, пошатываясь от сытости, вышел из столовой. Я и Иван Иваныч молча покурили.

– Я, родной мой, не сплю после обеда, – сказал Иван Иваныч, – а вы пожалуйста в диванную, отдохните.

Я согласился. В полутемной, жарко натоп-

ленной комнате, которая называлась диванною, стояли у стен длинные широкие диваны, крепкие и тяжелые, работы столяра Бутыги; на них лежали постели высокие, мягкие, белые, постланные, вероятно, старушкою в очках. На одной постели, лицом к спинке дивана, без сюртука и без сапог, спал уже Соболев; другая ожидала меня. Я снял сюртук, разулся и, подчиняясь усталости, духу Бутыги, который витал в тихой диванной, и легкому, ласковому храпу Соболя, покорно лег.

И тотчас же мне стали сниться жена, ее комната, начальник станции с ненавидящим лицом, кучи снега, пожар в театре... Приснились мужики, вытащившие у меня из амбара двадцать кулей ржи...

– Все-таки это хорошо, что следователь отпустил их, – говорю я.

Я просыпаюсь от своего голоса, минуту с недоумением смотрю на широкую спину Соболя, на его жилетную пряжку и толстые пятки, потом опять ложусь и засыпаю.

Когда я проснулся в другой раз, было уже темно. Соболев спал. На душе у меня было покойно и хотелось поскорее домой. Я оделся и

вышел из диванной. Иван Иваныч сидел у себя в кабинете в большом кресле совершенно неподвижно и глядел в одну точку, и видно было, что в таком состоянии оцепенения он находился все время, пока я спал.

– Хорошо! – сказал я, зевая. – У меня такое чувство, как будто я проснулся после розговенья на Пасху. Я к вам теперь часто буду ездить. Скажите, у вас обедала жена когда-нибудь?

– Бы... ба... бы... бывает, – забормотал Иван Иваныч, делая усилие, чтобы пошевелиться. – В прошлую субботу обедала. Да... Она меня любит.

После некоторого молчания я сказал:

– Помните, Иван Иваныч, вы говорили, что у меня дурной характер и что со мной тяжело? Но что надо сделать, чтобы характер был другой?

– Не знаю, голубчик... Я человек сырой, обрюзг, советовать уже не могу... Да... А сказал я вам тогда потому, что люблю вас, и жену вашу люблю, и отца любил... Да. Я скоро помру и какая мне надобность таиться от вас или врать? Так и говорю: люблю вас крепко,

но не уважаю. Да, не уважаю.

Он повернулся ко мне и проговорил шёпотом, задыхаясь:

– Невозможно вас уважать, голубчик. С виду вы как будто и настоящий человек. Наружность у вас и осанка как у французского президента Карно[69] – в «Иллюстрации» намедни видел... да... Говорите вы высоко, и умны вы, и в чинах, рукой до вас не достанешь, но, голубчик, у вас душа не настоящая... Силы в ней нет... Да.

– Скиф, одним словом, – засмеялся я. – Но что жена? Расскажите мне что-нибудь про мою жену. Вы ее больше знаете.

Мне хотелось говорить про жену, но вошел Соболь и помешал.

– Поспал, умылся, – сказал он, наивно глядя на меня, – попью чайку с ромом и домой.

## VII

Был уже восьмой час вечера. Из передней докрыльца, кроме Ивана Иваныча, провожали нас с причитываниями и пожеланиями всяких благ бабы, старуха в очках, девочки и мужик, а около лошадей в потемках стояли и бродили какие-то люди с фонарями, учили наших кучеров, как и где лучше проехать, и желали нам доброго пути. Лошади, сани и люди были белы.

– Откуда у него столько народу? – спросил я, когда моя тройка и докторская пара шагом выезжали со двора.

– Это всё его крепостные, – сказал Соболь. – До него еще не дошло положение. Кое-кто из старой прислуги свой век доживает, ну, сиротки разные, которым деваться некуда; есть и такие, что насильно живут, не выгонишь. Чудной старик!

Опять быстрая езда, необыкновенный голос пьяного Никанора, ветер и неотвязчивый снег, лезущий в глаза, в рот, во все складки шубы...

«Эка меня носит!» – думаю я, а мои коло-

кольчики заливаются вместе с докторскими, ветер свистит, кучера гикают, и под этот неистовый шум я вспоминаю все подробности этого странного, дикого, единственного в моей жизни дня, и мне кажется, что я в самом деле с ума сошел или же стал другим человеком. Как будто тот, кем я был до сегодняшнего дня, мне уже чужд.

Доктор ехал позади и всё время громко разговаривал со своим кучером. Изредка он догонял меня, ехал рядом и всё с тою же наивною уверенностью, что для меня это очень приятно, предлагал папирос, просил спичек. А то, поравнявшись со мной, он вдруг вытянулся в саны во весь рост, замахал рукавами своей шубы, которые были у него чуть ли не вдвое длиннее рук, и закричал:

– Луи, Васька! Обгони-ка тысячных! Эй, котята!

И докторские котята при громком злорадном смехе Соболя и его Васьки понеслись вперед. Мой Никанор обиделся и придержал тройку, но когда не стало уже слышно докторских звонков, поднял локти, гикнул, и моя тройка, как бешеная, понеслась вдогонку. Мы

въехали в какую-то деревню. Вот мелькнули огоньки, силуэты изб, кто-то крикнул: «Ишь, черти!» Проскакали, кажется, версты две, а улица все еще тянется и конца ей не видно. Когда поравнялись с доктором и поехали тише, он попросил спичек и сказал:

– Вот прокормите-ка эту улицу! А ведь здесь пять таких улиц, сударь. Стой! Стой! – закричал он. – К трактиру поворачивай! Надо согреться и лошадям отдохнуть.

Остановились около трактира.

– У меня в епархии не одна такая деревенька, – говорил доктор, отворяя тяжелую дверь с визжащим блоком и пропуская меня вперед. – Среди бела дня взглянешь на такую улицу – конца не видать, а тут еще переулки, и только затылок почешешь. Трудно что-нибудь сделать.

Мы вошли в «чистую» комнату, где сильно пахло скатертями, и при нашем входе вскочил с лавки заспанный мужик в жилетке и рубаше навыпуск. Соболь попросил пива, а я чаю.

– Трудно что-нибудь сделать, – говорил Соболь. – Ваша супруга верит, я преклоняюсь пе-

ред ней и уважаю, но сам глубоко не верю. Пока наши отношения к народу будут носить характер обычной благотворительности, как в детских приютах или инвалидных домах, до тех пор мы будем только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношения наши должны быть деловые, основанные на расчете, знании и справедливости. Мой Вася всю свою жизнь был у меня работником; у него не уродило, он голоден и болен. Если я даю ему теперь по 15 коп. в день, то этим я хочу вернуть его в прежнее положение работника, то есть охраняю прежде всего свои интересы, а между тем эти 15 коп. я почему-то называю помощью, пособием, добрым делом. Теперь будем говорить так. По самому скромному расчету, считая по 7 коп. на душу и по 5 душ в семье, чтобы прокормить 1 000 семейств, нужно 350 руб. в день. Этой цифрой определяются наши деловые обязательные отношения к 1 000 семейств. А между тем мы даем не 350 в день, а только 10 и говорим, что это пособие, помощь, что за это ваша супруга и все мы исключительно прекрасные люди, и да здравствует гуманность. Так-то, душа моя!

Ах, если бы мы поменьше толковали о гуманности, а побольше бы считали, рассуждали да совестливо относились к своим обязательствам! Сколько среди нас таких гуманных, чувствительных людей, которые искренно бегают по дворам с подписными листами, но не платят своим портным и кухаркам. Логики в нашей жизни нет, вот что! Логики!

Мы помолчали. Я мысленно сделал расчет и сказал:

– Я буду кормить тысячу семейств в продолжение двухсот дней. Вы приезжайте завтра поговорить.

Я был доволен, что это вышло у меня просто, и был рад, что Соболев ответил мне еще проще:

– Ладно.

Мы заплатили, что нужно, и вышли из трактира.

– Люблю так путаться, – сказал Соболев, садясь в сани. – Эчеленца, одолжите спичку: я свои в трактире забыл.

Через четверть часа его пара отстала, и сквозь шум метели уже не слышно было его звонков. Приехав домой, я прошелся по своим

комнатам, стараясь обдумать и возможно яснее определить себе свое положение; у меня не было готово для жены ни одной фразы, ни одного слова. Голова не работала.

Не придумав ничего, я отправился вниз к жене. Она стояла у себя в комнате всё в том же розовом капоте и в той же позе, как бы загораживая от меня свои бумаги. Лицо ее выражало недоумение и насмешку. Видно было, что она, узнав о моем приезде, приготовилась не плакать, не просить и не защищать себя, как вчера, а смеяться надо мною, отвечать мне презрением и поступать решительно. Лицо ее говорило: если так, то прощайте.

– Natalie, я не уехал, – сказал я, – но это не обман. Я с ума сошел, постарел, болен, стал другим человеком – как хотите думайте... От прежнего самого себя я отшатнулся с ужасом, с ужасом, презираю и стыжусь его, а тот новый человек, который во мне со вчерашнего дня, не пускает меня уехать. Не гоните меня, Natalie!

Она пристально посмотрела мне в лицо, поверила, и в ее глазах блеснуло беспокойство. Очарованный ее присутствием, согр-

тый теплом ее комнаты, я бормотал как в бреду, протягивая к ней руки:

– Я говорю вам: кроме вас, у меня никого нет близких. Я ни на одну минуту не переставал скучать по вас, и только упрямое самолюбие мешало мне сознаваться в этом. Того прошлого, когда мы жили как муж и жена, не вернешь, и не нужно, но вы сделайте меня вашим слугой, возьмите всё мое состояние и раздайте его, кому хотите. Я покоен, Natalie, я доволен... Я покоен.

Жена, пристально и с любопытством смотревшая мне в лицо, вдруг тихо вскрикнула, заплакала и выбежала в соседнюю комнату. Я пошел к себе наверх.

Через час я уже сидел за столом и писал «Историю железных дорог», и голодающие не мешали мне делать это. Теперь я уже не чувствую беспокойства. Ни те беспорядки, которые я видел, когда на днях с женою и с Соболем обходил избы в Пестрове, ни зловещие слухи, ни ошибки окружающих людей, ни моя близкая старость – ничто не беспокоит меня. Как летающие ядра и пули на войне не мешают солдатам говорить о своих делах,

есть и починять обувь, так и голодающие не мешают мне покойно спать и заниматься своими личными делами. У меня в доме, во дворе и далеко кругом кипит работа, которую доктор Соболев называет «благотворительной оргией»; жена часто входит ко мне и беспокойно обводит глазами мои комнаты, как бы ища, что еще можно отдать голодающим, чтобы «найти оправдание своей жизни», и я вижу, что, благодаря ей, скоро от нашего состояния не останется ничего, и мы будем бедны, но это не волнует меня, и я весело улыбаюсь ей. Что будет дальше, не знаю.

# В Москве

**Я** московский Гамлет. Да. Я в Москве хожу по домам, по театрам, ресторанам и редакциям и всюду говорю одно и то же:

– Боже, какая скука! Какая гнетущая скука!

И мне сочувственно отвечают:

– Да, действительно, ужасно скучно.

Это днем и вечером. А ночью, когда я, вернувшись домой, ложусь спать и в потемках спрашиваю себя, отчего же это в самом деле мне так мучительно скучно, в груди моей беспокойно поворачивается какая-то тяжесть, – и я припоминаю, как неделю тому назад в одном доме, когда я стал спрашивать, что мне делать от скуки, какой-то незнакомый господин, очевидно не москвич, вдруг повернулся ко мне и сказал раздраженно:

– Ах, возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе! Больше вам ничего не остается делать!

Да. И всякий раз ночью сдается мне, что я начинаю понимать, отчего мне так скучно. Отчего же? Отчего? Мне кажется, вот отчего...

Начать с того, что я ровно ничего не знаю. Когда-то я учился чему-то, но, черт его знает, забыл ли я всё или знания мои никуда не годятся, но выходит так, что каждую минуту я открываю Америку. Например, когда говорят мне, что Москве нужна канализация или что клюква растет не на дереве, то я с изумлением спрашиваю:

– Неужели?

С самого рождения я живу в Москве, но ей-богу не знаю, откуда пошла Москва, зачем она, к чему, почему, что ей нужно. В думе, на заседаниях, я вместе с другими толкую о городском хозяйстве, но я не знаю, сколько верст в Москве, сколько в ней народу, сколько родится и умирает, сколько мы получаем и тратим, на сколько и с кем торгуем... Какой город богаче: Москва или Лондон? Если Лондон богаче, то почему? А шут его знает! И когда в думе поднимают какой-нибудь вопрос, я вздрагиваю и первый начинаю кричать: «Передать в комиссию! В комиссию!»

Я с купцами бормочу о том, что пора бы Москве завести торговые сношения с Китаем и с Персией, но мы не знаем, где эти Китай и

Персия и нужно ли им еще что-нибудь, кроме гнилого и подмоченного сырца. Я от утра до вечера жру в трактире Тестова и сам не знаю, для чего жру. Играю роль в какой-нибудь пьесе и не знаю содержания этой пьесы. Иду слушать «Пиковую даму» и, только когда уже подняли занавес, вспоминаю, что я, кажется, не читал пушкинской повести или забыл ее. Я пишу пьесу и ставлю ее, и только когда она проваливается с треском, я узнаю, что точно такая же пьеса была уже раньше написана Вл. Александровым,[70] а до него Федотовым, а до Федотова – Шпажинским. Я не умею ни говорить, ни спорить, ни поддерживать разговора. Когда в обществе говорят со мной о чем-нибудь таком, чего я не знаю, я начинаю просто мошенничать. Я придаю своему лицу несколько грустное, насмешливое выражение, беру собеседника за пуговицу и говорю: «Это, мой друг, старо» или – «Вы противоречите себе, мой милый... На досуге мы как-нибудь порешим этот интересный вопрос и споемся, а теперь скажите мне бога ради: вы были на „Имогене“?» В этом отношении я кое-чему научился у московских критиков. Когда

при мне говорят, например, о театре и современной драме, я ничего не понимаю, но когда ко мне обращаются с вопросом, я не затрудняюсь ответом. «Так-то так, господа... Положим, всё это так... Но идея же где? Где идеалы?» или же, вздохнув, восклицаю: «О, бессмертный Мольер, где ты?!» и, печально махнув рукой, выхожу в другую комнату. Есть еще какой-то Лопе де Вега, кажется датский драматург. Так вот я и им иногда ошарашиваю публику. «Скажу вам по секрету, – шепчу я соседу, – эту фразу Кальдерон позаимствовал у Лопе де Вега...»[71] И мне верят... Ступай-ка, проверь!

Оттого, что я ничего не знаю, я совсем некультурен. Правда, я одеваюсь по моде, стригусь у Теодора, и обстановка у меня шикарная, но все-таки я азиат и моветон. У меня письменный стол рублей в четыреста, с инкрустациями, бархатная мебель, картины, ковры, бюсты, тигровая шкура, но, гляди, отдушина в печке заткнута женской кофтой или нет плевальницы, и я вместе со своими гостями плюю на ковер. На лестнице у меня воняет жареным гусем, у лакея сонная рожа,

в кухне грязь и смрад, а под кроватью и за шкафами пыль, паутина, старые сапоги, покрытые зеленой плесенью, и бумаги, от которых пахнет кошкой. Всегда у меня какой-нибудь скандал: или печи дымят, или удобства холодные, или форточка не затворяется, и, чтобы с улицы в кабинет не летел снег, я спешу заткнуть форточку подушкой. А то бывает, что я живу в меблированных комнатах. Лежишь себе в номере на диване и думаешь на тему о скуке, а в соседнем номере, направо, какая-то немка жарит на керосинке котлеты, а налево – девки стучат бутылками пива по столу. Из своего номера изучаю я «жизнь», смотрю на всё с точки зрения меблированных комнат и пишу уже только о немке, о девках, о грязных салфетках, играю одних только пьяниц и оскотинившихся идеалистов и самым важным вопросом почитаю вопрос о ночлежных домах и умственном пролетариате. И ничего-то я не чувствую и не замечаю. Я очень легко мирюсь и с низкими потолками, и с тараканами, и с сыростью, и с пьяными приятелями, которые ложатся на мою постель прямо с грязными сапогами. Ни

мостовые, покрытые желто-бурым киселем, ни сорные углы, ни вонючие ворота, ни безграмотные вывески, ни оборванные нищие – ничто не оскорбляет во мне эстетики. На узких извозчичьих санках я весь сжался, как кикимора, ветер пронизывает меня насквозь, извозчик хлещет меня кнутом через голову, паршивая лошаденка плетется еле-еле, но я не замечаю этого. Мне всё нипочем! Говорят мне, что московские архитектора, вместо домов, понастроили каких-то ящичков из-под мыла и испортили Москву. Но я не нахожу, что эти ящички плохи. Мне говорят, что наши музеи обставлены нищенски, ненаучны и бесполезны. Но я в музеях не бываю. Жалуются, что в Москве была одна только порядочная картинная галерея, да и ту закрыл Третьяков. Закрыл, ну, и пусть себе...

Но обратимся ко второй причине моей скуки: мне кажется, что я очень умен и необыкновенно важен. Вхожу ли я куда, говорю ли, молчу ли, читаю ли на литературном вечере, жру ли у Тестова – всё это я делаю с превеликим апломбом. Не бывает спора, в который бы я не вмешался. Правда, я говорить не

умею, но зато я умею иронически улыбаться, пожать плечами, воскликнуть. Я, ничего не знающий и некультурный азиат, в сущности, всем доволен, но я делаю вид, что я ничем не доволен, и это мне так тонко удастся, что временами я даже сам себе верю. Когда на сцене дают что-нибудь смешное, мне очень хочется смеяться, но я тороплюсь придать себе серьезный, сосредоточенный вид; не дай бог, засмеюсь, что скажут мои соседи? Сзади меня кто-то смеется, я сурово оглядываюсь: несчастный поручик, такой же Гамлет, как я, конфузится и, как бы извиняясь за свой нечаянный смех, говорит:

– Как пошло! Какой балаган!

А в антракте я громко говорю в буфете:

– Чёрт знает, что за пьеса! Это возмутительно!

– Да, балаганщина, – отвечает мне кто-то, – но, знаете ли, не без идеи...

– Полноте! Этот мотив давно уже разработан Лопе де Вегой, и, конечно, сравнения быть не может! Но какая скука! Какая гнетущая скука!

На «Имогене» оттого, что я удерживаю зе-

воту, мои челюсти хотят вывихнуться; глаза лезут на лоб от скуки, во рту сохнет... Но на лице у меня блаженная улыбка.

– Чем-то отрадным повеяло, – говорю я вполголоса. – Давно, давно уже я не испытывал такого высокого наслаждения!

Иногда у меня бывает желание пошалить, сыграть в водевиле; и я охотно бы сыграл, и знаю, что это по нынешним унылым временам было бы очень кстати, но... что скажут в редакции «Артиста»?

Нет, боже меня сохрани!

На картинных выставках я обыкновенно щурюсь, значительно покачиваю головой и говорю громко:

– Кажется, всё есть: и воздуху много, и экспрессия, и колорит... Но главное-то где? Где идея? В чем тут идея?

От журналов я требую честного направления и, главным образом, чтобы статьи были подписаны профессорами или людьми, побывавшими в Сибири. Кто не профессор и кто не был в Сибири, тот не может быть истинным талантом. Я требую, чтобы М. Н. Ермолова играла одних только идеальных девиц, не стар-

ше 21 года. Я требую, чтобы классические пьесы в Малом театре ставили непременно профессора... Непременно! Я требую, чтобы даже самые маленькие актеры, прежде чем браться за роль, знакомились с литературой о Шекспире, так что когда актер говорит, например: «Спокойной ночи, Бернандо!», то все должны чувствовать, что он прочел восемь томов.

Я очень, очень часто печатаюсь. Не дальше как вчера я ходил в редакцию толстого журнала, чтобы справиться, пойдет ли мой роман (56 печатных листов).

– Право, не знаю, как быть, – сказал редактор, конфузясь. – Уж очень, знаете ли, длинно и... скучно.

– Да, – говорю я, – но зато честно!

– Да, вы правы, – соглашается редактор, еще больше конфузясь. – Конечно, я напечатаю...

Девицы и дамы, с которыми я знаком, также необыкновенно умны и важны. Все они одинаковы; одинаково одеваются, одинаково говорят, одинаково ходят, и только та разница, что у одной губы сердечком, а у дру-

гой, когда она улыбается, рот широк, как у налима.

– Вы читали последнюю статью Протопопова? – спрашивают меня губы сердечком. – Это откровение!

– И вы, конечно, согласитесь, – говорит налимий рот, – что Иван Иванович Иванов своею страстностью и силой убеждения напоминает Белинского. Он моя отрада.

Каюсь, была у меня *она*... Отлично помню наше объяснение в любви. Она сидит на диване. Губы сердечком. Одета скверно, «без претензий», причесана глупо-преглупо; беру ее за талию – корсет хрустит; целую в щеку – щека соленая. Она сконфужена, ошеломлена и озадачена; помилуйте, как сочетать честное направление с такою пошлостью, как любовь? Что сказал бы Протопопов, если бы он видел? О, нет, никогда! Оставьте меня! Я предлагаю вам свою дружбу! Но я говорю, что мне мало одной дружбы... Тогда она кокетливо грозит мне пальцем и говорит:

– Хорошо, я буду любить вас, но с условием, что вы высоко будете держать знамя.

И когда я держу ее в своих объятиях, она

шепчет:

– Будем бороться вместе...

Потом, живя с нею, я узнаю, что и у нее тоже отдушина в печке заткнута кофтой, и что и у нее под кроватью бумаги пахнут кошкой, и что и она также мошенничает в спорах, и на картинных выставках, как попугай, лепечет о воздухе и экспрессии. И ей тоже подавай идею! Она втихомолку пьет водку и, ложась спать, мажет лицо сметаной, чтобы казаться моложе. В кухне у нее тараканы, грязные мочалки, вонь, и кухарка, когда печет пирог, прежде чем посадить его в печь, вынимает из своей головы гребенку и проводит ею борозды на верхней корке; она же, делая пирожные, слюнит изюминки, чтобы они крепче сидели в тесте. И я бегу! Бегу! Мой роман летит к чёрту, а *она*, важная, умная, презиращая, всюду ходит и пищит про меня:

– Он изменил своим убеждениям!

Третья причина скуки – это моя неистовая, чрезмерная зависть. Когда мне говорят, что такой-то написал очень интересную статью, что пьеса такого-то имела успех, что X выиграл 200 тысяч и что речь N произвела силь-

ное впечатление, то глаза мои начинают коситься, я становлюсь совершенно косым и говорю:

– Я очень рад за него, но, знаете, ведь он в 74 году судился за кражу!

Душа моя обращается в кусок свинца, я ненавижу того, кто имел успех, всем своим существом и продолжаю:

– Он истязует свою жену и имеет трех любовниц и всегда кормит рецензентов ужинами. Вообще скотина порядочная... Повесть эта недурна, но, наверное, он где-нибудь ее украл. Бездарность вопиющая... Да и, говоря откровенно, я и в этой-то повести не нахожу ничего особенного...

Но зато, положим, если чья-нибудь пьеса провалилась, то я ужасно счастлив и спешу стать на сторону автора.

– Нет, господа, нет! – кричу я. – В пьесе есть *что-то*. Во всяком случае она литературна.

Знайте, что всё злое, подлое, гнусное, что говорят о мало-мальски известных людях, распустил по Москве я. Пусть городской голова знает, что если ему удастся устроить, например, хорошие мостовые, то я возненавижу

его и распущу слух, что он грабит проезжих на большой дороге!.. Если мне скажут, что у какой-нибудь газеты уже 50 тысяч подписчиков, то я везде стану говорить, что редактор поступил на содержание. Чужой успех – для меня срам, унижение, заноза в сердце... Какой уж тут может быть разговор об общественном, гражданском или политическом чувстве? Если когда и было во мне это чувство, то давно уже сожрала его зависть.

И так, ничего не знающий, некультурный, очень умный и необыкновенно важный, ко-сой от зависти, с громадной печонкой, желтый, серый, плешивый, брожу я по Москве из дому в дом, задаю тон жизни и всюду вношу что-то желтое, серое, плешивое...

– Ах, какая скука! – говорю я с отчаянием в голосе. – Какая гнетущая скука!

Заразителен я, как инфлуэнца. Жалуюсь я на скуку, важничаю и от зависти клевету на своих ближних и друзей, а глядишь – какой-нибудь подросток-студент уже прислушался, важно проводит рукою по волосам и, бросая от себя книгу, говорит:

– Слова, слова, слова... Боже, какая скука!

Глаза его косятся, он тоже становится косым, как я, и говорит:

– Наши профессора читают теперь лекции в пользу голодающих. Но я боюсь, что половину денег они положат себе в карман.[72]

Я брожу, как тень, ничего не делаю, печонка моя растет и растет... А время между тем идет и идет, я старею, слабею; гляди, не сегодня-завтра заболею инфлуэнцей и умру, и потащат меня на Ваганьково; будут вспоминать обо мне приятели дня три, а потом забудут, и имя мое перестанет быть даже звуком... Жизнь не повторяется, и уж коли ты не жил в те дни, которые были тебе даны однажды, то пиши пропало... Да, пропало, пропало!

А между тем ведь я мог бы учиться и знать всё; если бы я совлек с себя азията, то мог бы изучить и полюбить европейскую культуру, торговлю, ремесла, сельское хозяйство, литературу, музыку, живопись, архитектуру, гигиену; я мог бы строить в Москве отличные мостовые, торговать с Китаем и Персией, уменьшить процент смертности, бороться с невежеством, развратом и со всякою мерзостью, которая так мешает нам жить; я бы мог быть

скромным, приветливым, веселым, радушным; я бы мог искренно радоваться всякому чужому успеху, так как всякий, даже маленький успех есть уже шаг к счастью и к правде.

Да, я мог бы! Мог бы! Но я гнилая тряпка, дрянь, кислятина, я московский Гамлет. Тащите меня на Ваганьково!

Я ворочаюсь под своим одеялом с боку на бок, не сплю и всё думаю, отчего мне так мучительно скучно, и до самого рассвета в ушах моих звучат слова:

– Возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе! Больше вам ничего не остается делать.

# Неопубликованное, неоконченное

## Красавицы

(Из запис<sup>ок</sup> врача)

Как-то утром в один из ненастных осенних дней явился ко мне мальчик из конфектной фабрики купцов Z – вых и от имени фабричной конторки пригласил меня к больному.

– Кто больной? – спр<sup>осил</sup> я.

– Бухгалтер Мих<sup>аил</sup> Платоныч, – отв<sup>етил</sup> мальчик.

Я отправился. У ворот фабрики встретил меня дворник и повел к бухг<sup>алтеру</sup>. Сначала мы шли по мощеному двору мимо фабричных корпусов, от которых сильно пахло жженым сахаром, потом по грязной немощеной части двора по грязным, всхлипывавшим под ногами доскам, мимо больших бочек, крытых рогожами... Больной жил в маленькой одноэтаж<sup>ной</sup> пристройке, лепившейся к длинному, мрачному амбару, на котором

чем-то черным, похожим на деготь, было крупно написано: «На дворе и в складе курить строго запрещ<sup>ено</sup>». Крылечко у пристройки было грязное, дверь визгливая, с блоком, обитая рваной клеенкой, передняя темная, тесная, а сам больной, бухг<sup>алтер</sup> Мих<sup>аил</sup> Пл<sup>атонович</sup>, показался мне необыкновенно кислым и таким же мрачным, как весь фабричный двор. Он был в ситцевом халате и в туфлях-шлепанцах, около которых висели тесемки от кальсон; когда я вошел к нему, он, согнувшись калачиком, лежал на коротком диване лицом к спинке и не двигался, точно спал; заслышав мои шаги, он вздрогнул, вскочил с дивана и очень строго посмотрел на меня, потом, вероятно догадавшись, что я д<sup>окто</sup>р, поморщил свое лицо в улыбку и ск<sup>азал</sup>, указывая мне на стул:

– Очень рад познак<sup>омиться</sup>. Птицын...  
Прошу...

Выражение его лица, в особенности глаз, было такое, как будто он потерял очки и теперь плохо видел. Глаза его глядели исподлобья и несколько ошалело, рыжие волосы торчали на голове, как щетина, подбородок, по-

росший рыжими, колючими волосками, выдавался вперед, стиснутые губы тянулись тоже вперед, лоб морщился в складки – и всё это, казалось, оттого, что он плохо видел и старался разглядеть... В сущности же такое выражение значило, что мой приход его обеспокоил и был ему неприятен.

Расспрашивая его о болезни, я узнал, что ему был 31 год (на вид он казался старше), что работает он ежедневн<ево> от утра до вечера, обедает в дешевой кухмист<ерской> и заболел оттого, что выпил за обедом полбут<ылки> красного вина, которое потом, когда он его уже выпил, оказалось, по его мнению, простою «краской для яиц». Сложен он был недурно, но питание его было до того скудно, что не врач, поглядев на его дряблую кожу и выдающиеся ребра, мог бы заподозрить в нем какой-нибудь недуг, более тяжкий, чем катар кишок. Целодневная работа, кухмистерские обеды, плохой табак и постоянные кот<леты>, неизбежные у интел<лигента>, живущего на 40 руб. в месяц, истощили и состарили его лет на 10.

На мои вопросы он отвечал коротко и

только то, что нужно, выражался литературно и, описывая свою болезнь, употребил слова «предрасположение» и «произв<одные> причины», из чего я должен был заключить, что имею дело с человеком интел<лигентным>. Мои советы выслушал он молча и кивал в знак согласия головой. Когда я преподал ему правила диеты и образа жизни, возможные при 40 руб. жалов<анья>, кухм<истерских> обедах и сырой кв<артире>, он подумал и ск<азал>:

– Да, это, конечно, хорошо. Но главное нужно дышать чистым воздухом и жениться.

– И жениться хорошо, – согл<асился> я. – Могущий вместить да вместит.

Наш разговор конч<ился> тем, что он дал мне целковый и извинился, что не может заплатить больше. Надевая в передней калоши, я видел, как он вернулся к дивану, запахнул полы халата, лег лицом к спинке и свернулся калачиком.

## I. У Зелениных

**М**аша Зеленина читала письмо, только что полученное с почты, а Любовь Михайловна, старушка в черном, заваривала чай.

Был 8-й час вечера. За темными окнами не умолкал сухой, воющий шум, какой издают мерзлые деревья; на дворе была гололедица и с неба сыпалась крупа. Ночной сторож Флор, соскучившись в людской, уже шагал по саду и громко ласкал собак. И шаги Флора, и легкий треск крупы, и самоварный пар, который на потолке мешался со своею тенью, и неподвижность свечных огней – всё говорило, что вечер уже начался, что будет он длинный, тихий, немножко скучный, немножко грустный, и ничем он не будет ни лучше, ни хуже вчерашнего; его переживут, завтра же о нем забудут, и в памяти людей смешается он с другими вечерами, как дым с дымом...

– О чем пишет мама? – спр<осила> Л<юбовь> М<ихайловна>.

– Ничего особенного... – отв<етила> М<аша> и прочла вслух: «Господь тебя благословит, милая, драгоценная дочурка, мое зо-

лото. Вчера я и Вася приехали в Ялту и остановились пока в гостинице, так что настоящего адреса у нас еще нет. Должно быть, будем жить в Алушке или в Семиисе. Погода холодная, море смотрит неприветливо, и был дождь. Напрасно мы поспешили в Кр<ым>. Говорят, что тут в марте всегда такая погода, надо было подождать до апреля, а то боюсь за Васю. Тяжело на душе и ни на что не хочется смотреть, так бы всё сидела и плакала. Христос с тобой, моё дитя, береги себя. Когда я пришлю адрес, тотчас же напиши мне и даже пришли телеграмму, а то я тоскую и спится нехорошо. Снился твой отец, как будто подходит ко мне и подает большой флаг, а на флаге голубой крест. Это к терпению. Сегодня мы приглашали д<окто>ра. Он сказал, что моск<овские> д<окто>ра поздно захватили болезнь, но что пока ничего еще нет опасного. У Васи следы плеврита и поражена верхушка левого легкого, но что при хорошем образе жизни и аккуратном лечении это может пройти. Велел оставить университет, с чем я вполне согласна. Температура вчера была 38,2. Спал хорошо и не потел, но кашлял.

Я всю дорогу мучилась, что ты сердисься, крошечка. Тебе не хотелось, чтоб я ехала с Васей, но ведь иначе нельзя. Вася хоть и студент, но он еще дитя, не может без присмотра. Своей болезни он не понимает и не бережется. Целый день поет, выходит без шапки и курит. И вино пил. Горе мне с ним. Просит, чтоб я взяла напрокат рояль, я обещала. Ты не сердись, это не дорого. Сегодня утром в коридоре я встретила с Наденькой Поль, дочерью полковника Поля, к<ото>рый в бригаде твоего отца был батарейным командиром. Она меня узнала и обрадовалась до слез. Ее отец умер, упокой господи его душу, ты не помнишь, была маленькая. Целую тебя крепко, крепко, благословляю и скучаю без тебя, моего ангела. Поцелуй Ваню и Л<юбовь> М<ихайловну>. Живите мирно и не ссорьтесь. Прощай, дружочек, моя дочечка, я сейчас заплакала, скучно без тебя, любящая тебя мать Наталья Зеленина. Извини, что так неразборчиво.

Р. S. Не забудьте послать 20 марта в Москву 200 рублей».

### III. Письмо

«Многоуважаемая Мария Сергеевна! По-сылаю Вам книгу, о которой писал в среду. Прочтите. Обращаю Ваше внимание на страницы 17–42, 92, 93 и 112, особенно на те места, которые я подчеркнул карандашом. Какая сила! Форма, по-видимому, неуклюжа, но зато какая широкая свобода, какой страшный, необъятный художник чувствуете в этой неуклюжести! В одной фразе три раза „который“ и два раза „видимо“, фраза сделана дурно, не кистью, а точно мочалкой, но какой фонтан бьет из-под этих „которых“, какая прячется под ними гибкая, стройная, глубокая мысль, какая кричащая правда! Вы читаете и видите между строк, как в поднебесье парит орел и как мало он в это время заботится о красоте своих перьев. Мысль и красота, подобно урагану и волнам, не должны знать привычных, определенных форм. Их форма – свобода, не стесняемая никакими соображениями о „которых“ и „видимо“. Когда я пишу к Вам, меня всякий раз стесняют и раздражают мои малейшие погрешности в слогe, а это

значит, что я не художник, что во мне слово преобладает над образами и настроением.

Пожалуйста, прочтите книгу. Я читал ее вчера весь день, у меня захватывало дух, и я чувствовал, как новые элементы жизни, каких я раньше не знал, входили в существо моего сердца. С каждой новой страницей я становился богаче, сильнее, выше! Я изумлялся, плакал от восторга, гордился, и в это время глубоко, мистически веровал в божественное происхождение истинного таланта, и мне казалось, что каждая из этих могучих, стихийных страниц создана не даром, что своим происхождением и существованием она должна вызвать в природе что-нибудь, соответствующее своей силе, что-нибудь вроде подземного гула, перемены климата, бури на море... Не верю, тысячу раз не верю, чтоб природа, в которой всё целесообразно, относилась безучастно к тому, что составляет самую прекрасную и самую разумную, сильную, непобедимую часть ее, именно ту часть, которая создается помимо ее воли гением человека. Я чувствую, что, кажется, пишу чепуху, смейтесь, но не мешайте мне бредить, мечтать, го-

ворить сказки. Вы не можете представить, как радостно и весело писать даже пустой бред, когда знаешь, что на эти строчки будут глядеть Ваши добрые глаза.

Вчера я так увлекся книгой, что даже не обрадовался приезду Травникова, которого я люблю. Он приехал ко мне с головной болью и не в духе. После больших операций у него всегда болит голова – отравляется парами карболовой кислоты. Он стал расспрашивать меня о моей ноге, а я в ответ прочел ему те 20 строк, которые я подчеркнул на 92 странице, и у нас завязался литературный спор. Травников сказал:

– Время, которое я потратил на чтение философии, поэзии и беллетристики, я считаю потерянным. У них много претензий, но они не объяснили и не осветили мне ни одного явления, и за это я их не люблю. Всё в них субъективно, а потому наполовину они – ложь, а наполовину – ни то, ни се, середка между ложью и правдой. Мнение, что без них нельзя обойтись, предрассудок; они, как театр и цирк, служат только для развлечения, и я читаю их теперь только для развлечения.

Отдаю я предпочтение тем авторам, у которых меньше претензий, а в этом отношении самые удобные книги – французские романы.

– А кто нас учит мыслить, позвольте вас спросить? – сказал я.

– Тот, кто говорит правду, а поэзия и романы не говорят правды.

И так далее, всё в таком роде. Извольте тут спорить! Упрямый, предубежденный человек. Заговорили о красоте.

– Красота приятна, – сказал он, – и служит только для удовольствия, потому-то без нее трудно обходиться. Кто же ищет в ней не удовольствия, а правды или знания, того она подкупает, обманывает и сбивает с толку, как мираж. Когда я имел неосторожность учиться у красоты мыслить, то она делала из меня пьяного и слепого. Так, читая „Фауста“, я не замечал, что Маргарита – убийца своего ребенка; в байроновском „Каине“ для меня были бесконечно симпатичны и сам Каин и чёрт... Да мало ли?

Он сдавил свою больную голову руками, прислонился ею к столу и проговорил вяло:

– Красота, талант, высокое, прекрасное, ху-

дожественное – всё это очень мило, но условно, не поддается логическому определению, и из всего этого не извлечешь ни одного непреложного закона. Как сказал кто-то до потопа, что соловей любовник розы, что дуб могуч, а повилика нежна, ну, мы и верим... А почему верим?

Я стал по обыкновению горячиться и говорить не то, что нужно.

– Не понимаю, что вы сердитесь? – сказал он, поднимая голову. – Что оскорбительного в том, что искусства служат только для развлечения? Милый мой, я хотел бы быть даже плохим писателем, чтобы только уметь развлекать своими книжками больных и заключенных. Разве мала заслуга писателя в том, что вы сегодня целый день веселы? Впрочем, душа моя, у меня невыносимо голова болит. Может быть, вы и правы. Ничего не знаю.

Поэзия и беллетристика не объяснили ни одного явления! Да разве молния, когда блещит, объясняет что-нибудь? Не она должна объяснять нам, а мы должны объяснять ее. Хороши бы мы были, если бы вместо того, чтобы объяснять электричество, стали отри-

цать его только на том основании, что оно нам многого не объясняет. А ведь поэзия и все так называемые изящные искусства – это те же грозные, чудесные явления природы, которые мы должны научиться объяснять, не дожидаясь, когда они сами станут объяснять нам что-нибудь. Как жаль и обидно, что даже умные, хорошие люди на каждое явление смотрят с специальной, предвзятой, слишком личной точки зрения. Травникова, например, мучает специальный вопрос о боге и целях жизни; искусства не решают этого вопроса, не объясняют, что будет за гробом, и Травников считает их за это предрассудком, низводит их на степень простого развлечения, без которого нетрудно обойтись, и раз даже в присутствии Вашей матушки сказал как бы в шутку, что они составляют один из видов „наследственного греха“. В этом отношении не напоминает ли он Вам одну нашу общую знакомую, которая отрицает медицину и науки вообще только потому, что доктора плохо пляшут мазурку? Вино сладко, вкусно и веселит сердце, но этого недостаточно: наверное, найдется такой портной, который станет от-

рицать его на том основании, что оно не выводит пятен и не может служить вместо скипидара.

Но довольно философствовать. Моя нога находится в прежнем положении. Травников настаивает на операции, но я не соглашаюсь. Природа сама стремится к исцелению, и я сильно рассчитываю на это ее свойство. Авось дело обойдется и без операции. Скука ужасная, и если бы не книги, то я бы, кажется, по целым дням плакал от скуки. Жить в восьми верстах от Вас и не иметь права поехать к Вам – ведь это инквизиция!

Вчера у Зелениных была Ваша матушка и заезжала к нам. Распекала меня вместе с отцом за то, что я ушел из духовной академии. Все в один голос уверяют меня, что я поступил не умно. Может быть, это и так. Я и сам не знаю, зачем я ушел из академии, но не знаю также, зачем бы я и продолжал оставаться там. Меня томит жажда жизни и я бегу оттуда, где ее нет или где она скроена не на мой вкус. Жизнь моя – это вы все, которых я так безгранично люблю. Я не могу, чтобы не видеть Вашего прекрасного, кроткого, сияю-

щего добротой лица и чтобы хотя раз в месяц не слышать Вашего голоса; я не могу, чтоб не видеть Вашей великодушной матери и всей Вашей жизнерадостной, милосердной, богом благословенной семьи, которая так же близка моей душе, как мои братья и отец. Мне нужно каждый день видеть около себя моего старого отца-страдальца и слышать каждую ночь, как он не спит и думает вслух о моем брате-ка-торжнике. Мне нужно, чтобы раз в два или три месяца приходил к нам из монастыря мой сумасшедший брат-монах только затем, чтобы, сверкая глазами, проклясть в моем присутствии цивилизацию и уйти назад. Жизнь моя не полна, если я хотя раз в неделю не вижу Травникова, которого я люблю тем сильнее, чем глубже засасывается он в тину, куда влечет его жадная, неумолимая, мучительная мысль. Он во что бы то ни стало хочет веры. Он хочет и ищет бога, ищет день и ночь и находит одну только пропасть, в которую чем дальше смотришь, тем кажется она глубже и темнее. А какое высокое наслаждение для меня гулять по деревне и заходить в избы к людям и говорить с ними. Какое раз-

нообразии лиц, голосов, умов, вкусов, верований! А какая прелесть наш старый дьякон Павел Денисович, который вот уже два года умирает ежедневно и никак не может умереть, и сам же смеется над своею живучестью: „Умираю, умираю и никак не помру!“ Хороша жизнь, Мария Сергеевна! Правда, она тяжела, скоротечна, но зато как богата, умна, разнообразна, интересна, как изумительна! Травников отравляет себя тоской по бессмертию и вечному блаженству; но я не так жажду, и для меня совершенно достаточно этой короткой, маленькой, но прекрасной жизни.

Как только начну ходить, тотчас же припрусь за дело. Займусь хозяйством и живот свой положу за искусство. Буду писать. Но что писать? Повесть у меня не вытанцовывается. Дурно справляюсь с техникой, слишком заливаю. В голове у меня тесно от образов и картин – этим добром я богат, но почему-то герои мои не выливаются в характеры и все похожи друг на друга, как капли воды. Они у меня мало двигаются и много рассуждают, а нужно наоборот. Я принялся теперь за критику. Буду сам изучать и, как умею, объяснять

людям то, что я так люблю и в чем вижу единственное верное средство против предрассудков, невежества и рабства.

Вчера отец спотыкнулся на улице и упал. Объясняет это утомлением: Страстная неделя, почти весь день служит. Слава богу, обошлось благополучно.

Мой сердечный привет всем Вашим. Поклон всем, всем! Я слышу, что за окном уже настоящая весна, но не вижу ее. Хорошо бы теперь к Вам! Мне бы только один разочек пройтись с Вами на гору, и больше бы я ничего не хотел. Цветут вишни? Впрочем, рано. Прощайте, будьте счастливы, здоровы, веселы и не забывайте сердечно любящего и искренно преданного Вам калеку Игнатия Баштанова».

Кончив это письмо, Игнаша вложил его в конверт и написал такой адрес: «Ее Высокоблагородию Марии Сергеевне Волчаниновой». В это время в его комнату вошел о. Алексей с подносом, на котором стоял стакан чаю. Игнаша сконфузился и сунул письмо под подушку.

# Примечания

## Условные сокращения

### Архивохранилища

**ГБЛ** – Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей (Москва).

**ИРЛИ** – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Рукописный отдел (Ленинград).

**ЦГАЛИ** – Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

**ЦГИАЛ** – Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

### Печатные источники

В ссылках на настоящее издание указываются серия (Сочинения или Письма), том (римскими цифрами) и страницы (арабскими).

*Вокруг Чехова* – М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. Изд. 4-е. М., «Московский рабочий», 1964.

*Записки ГБЛ* – Записки Отдела рукописей

Государственной б-ки СССР им. В. И. Ленина.

*Летопись* – Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М., Гослитиздат, 1955.

*ЛН* – Литературное наследство, т. 68. Чехов. М., Изд-во АН СССР, 1960.

*Михайловский* – Н. К. Михайловский. Литературно-критические статьи. М., 1957.

*Письма Ал. Чехова* – Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. Подготовка текста писем к печати, вступит. статья и коммент. И. С. Ежова. М., Соцэкгиз, 1939 (Всесоюзн. б-ка им. В. И. Ленина).

*Слово, сб. 2* – Слово. Сборник второй. Под ред. М. П. Чеховой. М., Кн-во писателей в Москве, 1914.

*Чехов* – Антон Чехов. Рассказы. Издание А. Ф. Маркса. СПб., 1899 <Сочинения, том I>; Рассказы. СПб., 1901 <Сочинения, том III>; Рассказы. СПб., 1901 <Сочинения, т. IV>; Рассказы. СПб., 1901 <Сочинения, том V>; Рассказы. СПб., 1901 <Сочинения, том VI>.

*Чехов в воспоминаниях* – А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1960.

*Чехов и его среда* – Чехов и его среда. Сб. под ред. Н. Ф. Бельчикова. Л., Academia, 1930.

## 1

**В** седьмой том входят рассказы и повести 1888–1891 годов.

За исключением рассказов «Огни» (1888), «В Москве» (1891) и шутки «Вынужденное заявление» (1889) все художественные произведения этого времени были потом включены Чеховым в собрание сочинений, изданное А. Ф. Марксом.

С 1888 г. в литературной судьбе Чехова многое переменилось. В 1887 г. он поместил в «Осколках» и «Будильнике» более полутора десятков рассказов, а в 1888 г. – ни одного.

Работа в юмористических журналах окончилась.

В конце 1887 г. А. Н. Плещеев привлек Чехова к сотрудничеству в «Северном вестнике». Дебютом Чехова – это был одновременно его дебют в «толстом» журнале вообще – явилась «Степь» (март 1888 г.). В том же году «Северный вестник» напечатал «Огни» и «Именины», в следующем – пьесу «Иванов» и по-

весть «Скучная история». Редакция журнала очень дорожила сотрудничеством Чехова. «Он один, – писала 29 июля 1890 г. издательница журнала А. М. Евреинова редактору В. Б. Глинскому, – способен дать 1000 подписчиков; я это не преувеличиваю, а твердо верю и знаю» (ИРЛИ, ф. 563, ед. хр. 1, л. 125). «Пригласите его заведовать беллетристикой, – предлагала она в письме от 28 июня 1890 г. – Со временем <...> я бы посоветовала Вам просить его утверждения соредактором, тогда и подпись его на книге может сразу утроить подписку»[73] (там же, лл. 130–131). Но с новой редакцией, в руки которой журнал перешел в апреле 1890 г. (Л. Я. Гуревич, А. Л. Волынский), отношения не сложились (Л. Гуревич. История «Северного вестника». – «Русская литература XX века» под ред. С. Венгерова, т. I. М., 1914). В это время был опубликован только рассказ «Жена», на котором закончилось участие Чехова в этом журнале.

Начав сотрудничать в «Северном вестнике», Чехов писал брату Александру Павловичу 15 февраля 1888 г.: «Едва ли уж я вернусь в газеты! Прощай, прошлое! Буду изредка попи-

сывать Суворину, а остальных, вероятно, похерю». Действительно, вплоть до конца 1893 г. Чехов перестает постоянно печататься в газетах. В эти годы прекратилась его работа в «Петербургской газете» (в 1888 г. было помещено лишь два рассказа – «Спать хочется» и «Сапожник и нечистая сила», а в последующие три года – ни одного). Сотрудничество же в «Новом времени» продолжалось. В этой газете в 1888–1891 годах было напечатано более десяти произведений. Однако работа в суворинской газете все больше тяготила Чехова. 1891 год – последний год постоянного сотрудничества его и в «Новом времени».

Печатая рассказы в малой прессе, газетах, Чехов попадал в поле зрения критики редко. «Вы написали столько прелестных, истинно художественных вещей, – замечал Плещеев в письме к нему от 21 января 1888 г., – и пользуетесь меньшей известностью, чем писатели, недостойные развязать ремня у Ваших ног. И всё это благодаря каким-нибудь паршивым газеткам, которые сегодня прочтут и завтра употребят на обертку, да и читает-то какая публика» (ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 236). «Погоди-

те, – предрекал он вскоре после появления в „Северном вестнике“ „Степи“, – напишете еще две-три вещи, и <...> теперь Вашей вещи ни одной не пройдут молчанием» (там же, стр. 245). Действительно, начав выступать в «серьезном» журнале, Чехов оказался в сфере внимания всех литературных обозревателей. Для самого Чехова не было пропасти между «Святою ночью», «Перекасти-полем», «Поцелуем» – и «Именинами», «Огнями». Для критики она была огромна. В ее глазах решающую роль играл сам факт публикации в журнале. Так, совершенно недвусмысленно говорил об этом А. М. Скабичевский: «До последнего времени он губил свой талант легковесной стряпней, которую он помещал в различных газетах, не отличаясь большой разборчивостью относительно чистоплотности органов, в которых он печатался. Ныне же он принялся за работу гораздо серьезнее и начал помещать большие вещи в одном из толстых журналов» («Новости и биржевая газета», 1888, № 206, 22 июля). Теперь Чехов упоминается во всех журнальных обзорах и газетных подвалах, посвященных «текущей литературе».

В 1888 г. статей и рецензий о нем появилось больше, чем за все предшествующие восемь лет (включая отзывы о театральных постановках).

Но, поставленный формально в ряд с другими известными авторами «толстых» журналов, Чехов так и не вошел в него по существу. Он был непохож; это ставилось в вину. «Г. Чехов <...> пренебрег литературной школой и литературными образцами авторитетов; пренебрег художественными вкусами читающей публики (быть может, и дурными, но всё же господствующими)», – упрекал его критик «Гражданина» Р-ий (1892, № 34, 3 февраля). Как сформулировал общее мнение А. Введенский, главная причина того, что Чехов «выбивался из ряда», была в «его неуменье или нежеланье писать так, как требуется художественною теорией» («Русские ведомости», 1888, № 333, 3 декабря). Это было главное.

Впрочем, не вся критика с неприязнью принимала нежелание следовать устоявшимся литературным вкусам. В эти годы появилось немало отзывов, положительно оцени-

вающих произведения Чехова и отдельные стороны его изобразительной манеры. Необычность прозы вошедшего в большую литературу писателя оценивалась по-разному. Но замечена она была сразу.

Это произошло уже после выхода сборников «Пестрые рассказы» (1886) и «В сумерках» (1887). Многие необычные черты этой прозы критики относили за счет жанра – короткого рассказа. И ожидалось, что, перейдя, наконец, к «серьезному жанру» – повести или роману, – Чехов откажется от прежней манеры. Этого не произошло. «О ранних крохотных рассказиках, вышедших объемистым томом, нечего и говорить, – сетовал В. Л. Кигн, – но и впоследствии г. Чехов не отделался от случайности и отрывочности» («Книжки Недели», 1891, № 5, стр. 200–201). «Несколько коротеньких рассказов его, – писал Р-ий, – по колоритности и новизне сюжета можно было и тогда назвать превосходными; от них действительно веяло силой молодого и смелого таланта <...> Это были <...> какие-то яркие клочки роскошной и пестрой материи, выхваченные очень смело и умно, но всегда без начала и

конца, без фона и ретушевки; это были страницы из повести, но не повести, силуэты типов, но не типы, яркие вспышки природы, но не природа! Тем не менее они читались с интересом, и, казалось, ничего не будет стоить автору со временем, и даже очень скоро, сплотить их воедино, создать что-нибудь цельное и стройное – настоящий роман, настоящие типы и настоящую природу <...> Прочитав последние „серьезные“ произведения г-на Чехова и перечитав некоторые из прежних, „несерьезных“, я пришел к выводу, удивившему меня самого: мне показалось, что именно та смелость, которая выдвинула его первые, незначительные рассказы, в последних, претендующих на значительность, много ему повредила; что, вместо толчка к развитию таланта, она задержала это развитие и со временем, даже скоро, может и совсем погубить его».

В марте 1891 г. к Чехову от имени издательства «Посредник» обратился И. И. Горбунов-Посадов. Его письмо положило начало взаимоотношениям с этим издательством, длившимся вплоть до заключения договора в 1899 г. с А. Ф. Марксом. Издательство «Посредник» было организовано в 1884 г. В. Г. Чертковым при ближайшем участии Л. Н. Толстого и задумывалось как издательство для народа. В несколько лет были выпущены по самой дешевой цене сотни тысяч экземпляров небольших книжек Толстого, В. М. Гаршина, Н. С. Лескова, Н. Н. Златовратского, П. В. Засодимского, В. Г. Короленко. Однако редакторы «Посредника», приспособляя текст своих изданий к пониманию читателя из народа, позволяли себе делать в произведениях сокращения, вносить изменения и т. п. Именно это привело позже к конфликту Чехова с «Посредником» (см. примечания к «Жене» в наст. томе и «Палате № 6» в т. VIII), хотя в целом он относился сочувственно к задачам и целям этого издательства. Из произведений настоя-

щего тома «Посредником» были изданы «Именины», «Бабы», «Жена».

В 1888–1891 годах продолжали выходить новые издания прежних сборников Чехова. В значительно переработанном виде вышли «Пестрые рассказы» (1891); появились четыре издания «В сумерках» (2-е – 1888, 3-е – 1889, 4-е – 1890, 5-е – 1891). В 1888 г. вышел новый сборник – «Рассказы», включивший произведения 1886–1888 годов: «Счастье», «Тиф», «Ванька», «Свирель», «Перекасти-поле», «Задача», «Степь», «Тина», «Тайный советник», «Письмо», «Поцелуй». До 1891 г. книга выдержала пять изданий. В «Дешевой библиотеке» А. С. Суворина дважды (в 1889 и 1890) издавался сборник рассказов Чехова «Детвора» («Детвора», «Ванька», «Событие», «Кухарка женится», «Беглец», «Дома»). В 1890 г., также в издании Суворина, появился еще один новый сборник – «Хмурые люди» (с посвящением П. И. Чайковскому). Сюда вошли десять рассказов 1887–1889 годов («Почта», «Неприятность», «Володя», «Княгиня», «Беда», «Спать хочется», «Холодная кровь», «Скучная история», «Припадок», «Шампанское»). В том же

году сборник был повторен, в 1891 г. – вышел третьим изданием. В конце 1891 г. отдельно была издана «Дуэль». Из произведений настоящего тома в сборники входили: «Степь» – в сборник «Рассказы»; «Неприятность», «Княгиня», «Спать хочется», «Скучная история», «Припадок» – в сборник «Хмурые люди»; «Бобы» и «Гусев» – в сборник «Палата № 6» (СПб., 1893).

Работа над сборниками – отбор, расположение, редактирование написанных ранее вещей – существенная часть творческого труда Чехова этих лет. Так, сборник, названный впоследствии «Хмурые люди», был задуман Чеховым в начале декабря 1888 г. (см. письмо к П. И. Чайковскому от 12 октября 1889 г.), вышел же он в марте 1890 г. На протяжении всего 1889 г. Чехов неоднократно упоминал в своих письмах о работе над ним (Ал. П. Чехову, Суворину, Плещееву, П. И. Чайковскому). «Я тщательно przygotowляю материал для третьей книжки рассказов <...> Переделываю рассказы, кое-что пишу снова», – сообщал он Суворину 13 октября 1889 г.

В октябре 1888 г. Чехову за сборник «В су-

мерках» была присуждена половинная Пушкинская премия. Как говорилось в отзыве акад. А. Ф. Бычкова, рассказы Чехова «представляют <...> выдающееся явление в нашей современной беллетристической литературе» («Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук», т. 46, отдельный оттиск, СПб., 1888, стр. 53).

В эти годы с успехом шли водевили «Медведь» и «Предложение». В январе 1889 г. в Александрийском театре был поставлен «Иванов». В отличие от коршевской постановки 1887 г. пьеса имела большой успех. «Можно смело сказать, – писала современная газета, – что ни одна пьеса из современного репертуара не произвела такой сенсации, не возбудила столько толков и пересудов в печати и в публике, как это первое драматическое произведение одного из самых талантливейших беллетристов нашего времени А. Чехова» («Киевское слово», 1889, № 676, 18 мая). В октябре 1889 г. «Иванов» был возобновлен в театре Корша. В декабре в театре Абрамовой был поставлен «Леший».

Постановки пьес, сборники, отдельные издания повестей и рассказов вызывали многочисленные отклики.

Слава Чехова росла.

В самый разгар своих беллетристических и театральных успехов Чехов уехал на Сахалин. Путешествие длилось более полугода. Оно дало материал для очерков «Из Сибири», печатавшихся в 1890 г. в газете «Новое время», и для книги «Остров Сахалин», законченной в 1894 г. В художественной прозе с сахалинским путешествием фабульно связаны лишь «Гусев» (1890), «В ссылке» (1892) и «Убийство» (1895). Но поездка на Сахалин, несомненно, оказала существенное влияние на всё творческое развитие Чехова. Об этом говорят в первую очередь собственные его признания. «Как Вы были не правы, когда советовали мне не ехать на Сахалин! – писал Чехов Суворину вскоре после возвращения. – У меня <...> чёртова пропасть планов, и всякие штуки, а какой кислятиной был бы я теперь, если бы сидел дома. До поездки „Крей-

цорова соната“ была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел – чёрт меня знает» (17 декабря 1890 г.). По воспоминаниям начальницы ялтинской женской гимназии В. К. Харкеевич, кто-то однажды спросил у Чехова, почему Сахалин так мало отразился в его творчестве. «Чехов ответил на это какой-то шуткой, потом встал и долго задумчиво шагал взад и вперед по столовой. Совсем неожиданно, не обращаясь ни к кому, сказал: „А ведь кажется – всё просахалинено“» («Ученые записки Новгородского гос. пед. ин-та», т. XX, 1967, стр. 111). О влиянии поездки на последующие вещи Чехова говорили и некоторые современники.

Но от поездки современная критика ждала более ощутительных перемен в творчестве Чехова – и прежде всего в его манере. Эти ожидания явно или скрыто звучали во многих статьях и рецензиях. «После непродолжительного перерыва в своей литературной деятельности, – писал литературный обозреватель „Гражданина“, – Чехов сразу выступил с тремя произведениями: повестью <...> „Ду-

эль“, рассказом „Жена“ <...> и очерком „Попрыгунья“ <...>. Ввиду упомянутого перерыва, предшествовавшего появлению в свет этих произведений, можно думать, что это – наиболее зрелые произведения молодого писателя, наиболее обдуманнные и отделанные в среде других, которые обыкновенно, как всем известно, писались наскоро, что называется, на ходу, по тому или другому случайному поводу <...> Таким образом, новые произведения г. Чехова заслуживают совсем особенного внимания. Тут решается некоторым образом „быть или не быть?“. Оправдал ли г. Чехов надежды, возлагавшиеся на него, и можно ли, по крайней мере, еще надеяться, что он их оправдает впоследствии?..» (М. Южный <М. Г. Зельманов>. Новые произведения г. Чехова. – «Гражданин», 1892, № 21, 21 января). М. Южный пришел к выводу малоутешительному: «Дарование этого писателя, правда, не изменилось и не уменьшилось, но оно осталось таким же внешним, каким оно было и в первое время его появления на литературном поприще» (там же). Об этом же писали и другие. Упрекая Чехова, Ю. Николаев замечал: «В

два года много воды утекло, за два года мало ли какие превращения могли произойти с г. Чеховым. Но оказалось, что вода не утекла и превращений не произошло. Г. Чехов остался тем же г. Чеховым, со всеми особенностями» (Ю. Николаев. Черты нравов. – «Московские ведомости», 1892, № 18, 18 января). «Манера письма у г. Чехова ничуть лучше не сделалась», – писал он позже («Гражданин», 1892, № 325, 24 ноября).

Какие же необычные черты, выделяющие его из ряда современников, видела критика у Чехова?

Еще в самом начале 1888 г. «Неделя» писала: «Г. Чехов ничего не доискивается от природы и жизни, ничего ему не нужно разрешить, ничто в особенности не захватывает его внимания. Он просто вышел гулять в жизнь. Во время прогулки он встречает иногда интересные лица, характерные сценки, хорошенькие пейзажи. Тогда он останавливается на минуту, достает карандаш и легкими штрихами набрасывает свой рисунок. Кончен рисунок, и он идет дальше <...> Теперь ему встречается уже другой предмет, он так же

легко набрасывает его, так же легко его забывает и ждет новых впечатлений прогулки» (Д. <Р. Дистерло>. О безвластии молодых писателей. – «Неделя», 1888, № 1, 3 января, стлб. 33). Эту мысль тот же автор и в том же еженедельнике спустя три месяца – уже после выхода «Степи» – выразил более конкретно. Для Чехова, говорилось в новой статье Р. Дистерло, «в мире нет ничего недостойного искусства <...> Ничто в жизни не имеет для него, как для художника, особенного преимущества, и всякое ее явление может вдохновить его на творчество. Между предметами его рассказов нет ничего общего, кроме того, что все они – факты одного и того же мира, возможности одной и той же человеческой жизни. С одинаковым спокойствием и старательностью изображает он и мечты несчастного, тщедушного и болезненного бродяги <...> и любовь богатой светской женщины к чудаку князю <...> и сцену дерзкого обмана церковного сторожа...» («Новое литературное поколение». – «Неделя», 1888, № 15, 10 апреля, стлб. 484).

Речь шла, таким образом, о некоей равной

распределенности авторского внимания на предметы и явления самые разномасштабные, об отсутствии прямого авторского указания на иерархию тем, картин, предметов. Наиболее отчетливо – и с обычной полемической заостренностью – эту мысль выразил Н. К. Михайловский в известной статье «Об отцах и детях и о г. Чехове» (1890): «Чехову всё едино – что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца <...> Его воображение рисует ему быков, отправляемых по железной дороге, потом тринадцатилетнюю девочку, убивающую грудного ребенка, потом почту <...> потом купца <...> потом самоубийцу-гимназиста и т. д. <...> Что попадет на глаза, то он и изобразит с одинаково „холодной кровью“ <...> Вон быков везут, вон почта едет, колокольчики с бубенчиками пересмеиваются, вон человека задушили, вон шампанское пьют» (Михайловский, стр. 598–607).

С этим критика связывала «ненужность» многих деталей, мотивов, вводимых Чеховым. Они, по мнению многих критиков, ничего не дают для целого, только тормозят повествование. «Тургенев говорит, – отмечал

анонимный автор в „Еженедельном обозрении“, – что каждая картина природы должна являться не случайною в повести, а составлять органически нераздельное с целым». У Чехова, по мнению обозревателя, много «таких картин, которые могут быть урезаны без всякого ущерба для рассказа» (1888, 27 марта, т. VIII, № 218, стлб. 2840). А. И. Введенский так формулировал правила, которым Чехов не следует: «К картине, изображающей известное событие, нельзя припутывать детали из совершенно другой, посторонней картины. В этом только и состоит то, что называется художественною целостностью, – когда в художественном произведении нет ничего лишнего, как нет и недоговоренного, и всякая частность занимает столько места, сколько нужно» («Русские ведомости», 1888, № 333, 3 декабря).

Таким образом, была замечена одна из важнейших особенностей художественного метода Чехова. Чехов изображает окружающий мир не только в его типических, отобранных чертах, но и в его «случайных», как бы необязательных для целого, «ненужных»

деталях. Михайловский в таком способе изображения не видел «ни обобщающей идеи, ни чутко настороженного в какую-нибудь определенную сторону интереса» (*Михайловский*, стр. 606). Упреки в отсутствии объединяющего начала, единой мысли, ради которой созданы все эти разнообразные картины, стали общим местом статей о Чехове 1888–1891 годов. Это связывалось с общественной позицией Чехова. «Во всех более крупных вещах г. Чехова нет единства, а есть только прекрасные отдельные картинки: узкая точка зрения не может охватить и связать всех явлений жизни и дать их синтез; поэтому ее результатом всегда будет разрозненность отдельных мест, недостаточность их сведения в один идеальный фокус» (*Созерцатель* <Л. Е. Оболенский>. Обо всем. – «Русское богатство», 1889, кн. III, стр. 211). Скабичевский характерной чертой произведений Чехова считал именно «отсутствие какого бы то ни было объединяющего идейного начала» («История новейшей русской литературы. 1848–1890». СПб., 1891, стр. 415). Р. Дистерло причислял Чехова к тем представителям «новой беллетристики», про-

изведения которых «кажутся отрывками жизни, кусками, насильно выхваченными из нее, не сведенными ни к каким основам мирозерцания, не связанными ни с какими вопросами человеческой мысли» («Неделя», 1888, № 13, 27 марта, стлб. 420). Евг. Гаршин писал, что «во всем, что до сих пор напечатано Чеховым, никаких специальных убеждений не отразилось» («Биржевые ведомости», 1888, № 70, 11 марта). В отсутствие «объединяющей мысли» обвинял Чехова литературный обозреватель «Московских ведомостей» (Ю. Николаев. Очерки современной беллетристики. Г. Чехов. – «Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря). «При всей прелести отдельных картин чего-то недостает для полноты впечатления. Недостает как раз внутреннего жизненного нерва, объединяющей души», – писал несколько лет спустя К. Головин («Русский роман и русское общество». СПб., 1897, стр. 458). Этот упрек предъявлялся всем повестям Чехова – «Степи», «Скучной истории», «Дуэли», «Жене». В качестве другого существенного художественного изъяна в творчестве Чехова критика отмечала отсутствие фабулы в его

крупных вещах, четкой, цельной композиции, бессвязность. «В его беллетристических произведениях главным недостатком является отсутствие фабулы, действия. Очерки, картины, отдельный характер – вот пока его сфера» («День», 1889, № 247, 2 февраля). «„Степь“, „Огни“ <...> отличаются <...> калейдоскопичностью <...> это не цельные произведения, а ряд бессвязных очерков» (А. Скабичевский. Указ. соч., стр. 416). Безусловная, невиданная новизна композиции ощущалась современной критикой очень остро, но осуждалась – как недостаток.

Сам Чехов именно в эти годы неоднократно теоретически обосновывал свое эстетическое кредо – объективность изображения. «Мне кажется, – писал Чехов, – что не беллетристы должны решать такие вопросы, как бог, пессимизм и т. п. Дело беллетриста изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о боге или пессимизме. Художник должен быть не судьей своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем» (Суворину, 30 мая 1888 г.). «Вы смешиваете два понятия: *решение вопроса и правильная постановка вопроса*. Только второе обязательно для художника. <...> Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус» (ему же, 27 октября 1888 г.).

Общеизвестны высказывания Чехова о необходимости устранять «личный элемент», «субъективность» и т. п. «Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление», – эта формула (из письма к Л. Авиловой от 29 апреля

1892 г.) кладется в основу его эстетической программы. Свое конкретное понимание этого принципа, его воплощения Чехов изложил в письме к Суворину от 1 апреля 1890 г.: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть... Чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я должен говорить в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам». Объективность, таким образом, понималась прежде всего как изображение «в тоне» и «в духе» героев. Начиная с 1888 г. главной и почти исключительной повествовательной формой чеховских произведений становится рассказ именно с таким способом изображения – весь внешний мир дан «в духе» героя, предстает перед читателем преломленным сквозь приз-

му сознания этого героя. В 1891 г. Чехов применил этот принцип к большой форме – в повести «Дуэль». Каждая глава повести дана с точки зрения и «в тоне» какого-нибудь героя.

Эта особенность его рассказов также была замечена критикою. «Природа одарила его, – писал Кигн, – чрезвычайно редким, присутствующим только большим художникам даром, так сказать, перевоплощаться в своих действующих лиц <...> Чехов, как выдающийся актер, не играет ту или другую роль, а каким-то чудом, чудом истинного творчества, и телом и душой преображается в изображаемое лицо» («Беседы о литературе». – «Книжки Недели», 1891, № 1, стр. 178–179).

Суворин в статье, посвященной «Иванову» («Новое время», 1889, № 4649, 6 февраля), назвал Чехова «самым объективным и независимым» «из всех молодых талантов». Правда, он считал, что «объективность у него доходит иногда до бесстрастности». При всем том статья Суворина – первая в печати попытка связать творчество Чехова с его личностью и биографией. Эту статью Чехов, по собственным его словам, ценил «на вес не золота, не

алмазов, а своей души» (письмо Суворину, 8 февраля 1889 г.). «Несмотря на молодость, – говорилось о Чехове в статье, – <...> он обладает уже большим запасом наблюдений и угадывает многое такое в русской душе, что таланту менее сильному не угадать и в сорок лет <...> Г. Чехов работает на писательском поприще уже десятый год. Будучи по профессии своей врачом, он имеет возможность видеть людей в их домашней, откровенной обстановке; медицинское образование помогает ему в психологическом анализе <...> Запас опыта и наблюдений накоплялся у него постоянно и непрерывно, и едва ли из современных писателей есть еще другой, у которого всего этого было бы так много. При независимости мысли, объективности, далекий в своем творчестве от пессимизма, хотя сам испытывший нужду, он, как мне кажется, тот писатель, который скажет в художественных образах больше правды, чем все его сверстники и соперники по таланту».

До 90-х годов общее определение критиками места Чехова среди писателей-современников еще колебалось. Часть критики стави-

ла его в ряд с «молодыми» – П. П. Гнедичем, И. И. Ясинским, Д. П. Муравлиным, А. Н. Масловым (Бежецким), К. С. Баранцевичем. Устойчивы сопоставления с В. Г. Короленко, которому отдавалось предпочтение за «определенность общественного мировоззрения». Но уже тогда многие современники отводили Чехову среди его литературных сверстников особое место. В то самое время, когда Чехов еще только начал писать «Степь», «Неделя» в новогоднем литературном обозрении назвала его «самым талантливым представителем беллетристики последнего времени» (1888, № 1, 3 января, стлб. 33), а «Новое время» в подобном же обзоре – «самым выдающимся молодым беллетристом» (1888, № 4253, 1 января).

Весной 1889 г. по этому поводу даже возникла своеобразная полемика между Чеховым и двумя литераторами. Писатель Н. П. Вагнер (псевдоним – Кот-Мурлыка) во время беседы в Русском литературном обществе сказал, что считает Чехова величайшим русским писателем, «слоном между всеми нами». В. А. Тихонов в тот же день, 6 марта, в письме передал это мнение Чехову (*Записки*

ГБЛ, вып. 8, М., 1941, стр. 64). Чехов ответил так: «Я, вопреки Вагнеру, верую в то, что каждый из нас в отдельности не будет ни „слоном среди нас“ и ни каким-либо другим зверем и что мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а „восемьдесятые годы“ или „конец XIX столетия“. Некоторым образом, артель» (7 марта 1889 г.). Тихонов решительно возражал: «Не только в качестве равноспособного члена, но даже и вожаком или старостой этой артели зачислить Вас нельзя, потому что на основании артельных начал староста избирается непременно из среды этой же самой артели. Так вот и в каторжных артелях <...> староста избирается из каторжников же, и свободного вольного человека никто на подобный пост назначить не имеет права, даже и сам-то себя он назначить не может. А между нами Вы единственно вольный и свободный человек, и душой, и умом, и телом вольный казак. А мы же все „в рутине скованы, не вырвемся из ига!“» (8 марта 1890 г. – *Записки ГБЛ*, вып. 8, М., 1941,

стр. 67). 24 июля 1890 г. Тихонов записал в дневнике: «Какая могучая, чисто стихийная сила – Антон Чехов <...> Вот он теперь уехал на Сахалин и шлет с дороги свои корреспонденции, прочтешь – и легче станет: не оскудели мы, есть у нас талант, сделавший честь всякой бы эпохе. Да и в сороковых годах он не затерялся бы. Публика его знает, но чтит еще мало, далеко не по заслугам. Что же делать, придет время – поймут!» (ЛН, т. 68, стр. 496).

Литератор К. С. Тычинкин в своем отзыве о Чехове предварил известное высказывание М. Горького: «Такая правда и глубина! Мне кажется, что в Чехове современный реализм сказал свое последнее слово» (Тычинкин – Суворину, 5 марта 1890 г. – Уч. зап. ЛГУ, № 339, сер. филол. наук. вып. 72, 1968, стр. 128).

К 1891–1892 годам Чехова решительно выделяют из «артели» восьмидесятников. Это хорошо заметно по статьям в календарях, заметкам «к портрету» в иллюстрированных журналах – обычно очень точным барометрам «общелитературного» мнения: «А. П. Чехов <...> один из даровитейших представителей современной нашей беллетристики, если

даже не безусловно даровитейший» («А. П. Чехов. К портрету». – «Театральный мирок», 1892, № 8, февраль, стр. 2). «Чехов занимает бесспорно первое место среди своих сверстников» (Д. <В. Л. Кигн>. Антон Павлович Чехов. – «Север», 1892, № 15, 12 апреля, стлб. 791). (В другой своей заметке, сопровождавшей перепечатку чеховской «Попрыгуньи» в газете «Оренбургский край», Кигн развивал это мнение: «Г. Чехов – восходящая звезда русской беллетристики и самый выдающийся из современных молодых писателей. Едва ли не один он возвышается до настоящего творчества, до понимания своего времени и до создания типов нашей эпохи...» – «Оренбургский край», 1893, № 27, 28 февраля; авторство устанавливается на основании письма Кигна Чехову от 20 октября 1892 г. – ГБЛ). В 1888–1890 гг. Чехов еще ставится в ряд с другими писателями его поколения; в 1891–1892 гг. о нем всё чаще говорят уже как о самом талантливом.

\* \* \*

Тексты VII тома подготовили: М. А. Соколова (рассказы 1888 г.), М. П. Громов («Степь»),

*А. Л. Гришунин* («Княгиня», «Скучная история»), *Е. А. Краснощекова* («Воры», «Гусев»), *А. П. Чудаков* («Вынужденное заявление», «Бабы», «В Москве»), *Т. И. Орнатская* («Дуэль», «Жена»), *Д. Н. Медриш* («У Зелениных», «Письмо»).

Комментарии написали: *А. П. Чудаков* (вступительная статья, «Вынужденное заявление», «Бабы», «Дуэль», «Жена», «В Москве»), *М. А. Соколова* (рассказы 1888 г.), *М. П. Громов* («Степь»), *А. Л. Гришунин* («Княгиня»), *Б. И. Лазерсон* («Скучная история»), *Е. А. Краснощекова* («Воры»), *Е. А. Краснощекова и В. Б. Катаев* («Гусев»), *Д. Н. Медриш* (неопубликованное и неоконченное).

## Спать хочется

**В**первые – «Петербургская газета», 1888, № 24, 25 января, стр. 3, отдел «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Хмурые люди», СПб., 1890, и перепечатывалось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Рассказ был написан Чеховым 22 или 23 января 1888 г. В это время основной его работой уже была повесть «Степь». «Писать большое очень скучно и гораздо труднее, чем писать мелочь», – сообщал Чехов А. Н. Плещееву 19 января 1888 г. Плещеев настоятельно советовал не писать ничего для газет. «Разве Вы не можете давать и Ваши маленькие вещицы в журнал? – писал он Чехову 21 января. – По три, даже по два рассказа в книжке можно печатать, как делал Тургенев с своими „Записками охотника“. Деньги всегда можно будет Вам выслать вперед» (ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 236). 23 января Чехов ответил: «Как жаль, что оно <письмо> не пришло тремя часами раньше! Представьте, оно застало меня за ца-

рапаньем плохонького рассказца для „Пет<ер-бургской> газеты“. Ввиду предстоящего первого числа с его платежами я смалодушествовал и сел за срочную работу. Но это не беда. На рассказ потребовалось не больше полудня, теперь же я могу продолжать свою „Степь“». А 29 января Чехов уже просил брата Александра Павловича получить за рассказ гонорар (по 12 копеек за строку).

Включая рассказ в сборник «Хмурые люди», Чехов сократил в двух местах повторявшиеся описания мучительного состояния Варьки и изменил финал, добавив заключительную фразу. Во втором издании сборника были устранены опечатки первого, однако в следующих изданиях «Хмурых людей» эти же опечатки появились снова. Для последующих изданий сборника Чехов не исправлял рассказ, и лишь новые наборы текста (в 6 и 7 изданиях) внесли некоторые разночтения (см. Варианты). Текст издания А. Ф. Маркса отличается лишь несколькими мелкими поправками.

А. Измайлов связывал рассказ с впечатлениями Чехова-гимназиста от жизни подруч-

ных мальчиков – Андрюшки и Гаврюшки – в лавке его отца (А. Измайлов. Чехов. М., 1916, стр. 57). Ал. Чехов, говоря о том, что все дети в рассказах брата (в том числе и Варька) «существа страждущие или же угнетенные и подневольные» (Чехов в воспоминаниях, стр. 30–31), объяснял эту особенность тем, что сам автор не знал радостей детства.

Рассказ не сразу был оценен по достоинству даже близкими Чехову людьми. Так, из письма А. С. Лазарева (Грузинского) к Н. М. Ежову от 13 февраля 1888 г. (ЦГАЛИ, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 19) видно, что последний находил рассказ «неправдоподобным». Лазарев (Грузинский) не разделял эту точку зрения Ежова и, начав в 1888 г. по совету и рекомендации Чехова сотрудничество в «Петербургской газете», считал для себя образцом мастерства рассказ «Спать хочется». 10 апреля 1888 г., жалуясь Ежову, что в своем первом рассказе для этой газеты «взял не тот тон», он добавлял: «Нужно писать сжато, реально и просто – à la „Спать хочется“» (там же).

Не сумел понять рассказ и редактор издательства «Посредник» И. И. Горбунов-Посадов,

считавший его сюжет «искусственным». А. И. Эртель в письме к нему от 29 марта 1891 г. защищал рассказ Чехова: «С вашим мнением о рассказике Чехова согласиться не могу. Почему вы думаете, что убийство ребенка ополоумевшей нянькою вещь искусственная? Это бывает и не редко, а в рассказе, насколько помнится, „преступление“ вытекает очень логически из предшествовавшего душевного состояния девочки. Кстати. В сегодняшнем № „Рус<ских> вед<омостей>“ я как раз прочитал такой же факт: нянька-подросток обкормила ребенка фосфорными спичками. Можно бы сказать, что в этом ничего нет поучительного... Но так ли? Лишнее напоминание о том, что детей нельзя обременять непосильным трудом, что душа детская – нечто сложное и требующее к себе бережи и внимания – напоминание об этом есть уже поучение» (*Записки ГБЛ*, вып. 8, М., 1941, стр. 95).

В известном отзыве Н. К. Михайловского о сборнике «Хмурые люди» («Русские ведомости», 1890, № 104, 18 апреля) рассказ «Спать хочется» приводился в качестве иллюстра-

ции того положения, что «Чехову все едино – что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца» (*Михайловский*, стр. 598).

После выхода второго и третьего изданий «Хмурых людей» рассказ привлек к себе внимание издательства «Посредник», которое сообщило Чехову о желании издать небольшой сборник лучших его рассказов под названием «Действительность», куда должно было войти и «Спать хочется» (см. письма Горбунова-Посадова к Чехову. – *ГБЛ*). Чехов не дал согласия на его издание, так как рассказ, писал он Горбунову-Посадову 20 мая 1893 г., «помещен уже в двух книгах».

31 января 1894 г. председатель Издательской комиссии при Комитете грамотности императорского Вольного Экономического общества обратился к Чехову за разрешением издать «Спать хочется» и «Ваньку». «Комиссия предполагает издать оба эти рассказа в одной книжке в 16 000 экземплярах» (*ГБЛ*). Ответ Чехова неизвестен, рассказ издан не был.

В 1897 г. Горбуновым-Посадовым был составлен сборник «Отцы и дети», куда должны

были войти рассказы Чехова «Дома» и «Спать хочется». Сохранился экземпляр этого невышедшего сборника с пометами цензора Ф. Ц. Федорова (ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 147).

Известно, что рассказ «Спать хочется» был очень высоко оценен Л. Н. Толстым. А. Б. Гольденвейзер записал в своем дневнике 5 июля 1900 г.: «Лев Николаевич недавно перечитал почти все небольшие рассказы Чехова. Нынче он сказал о Чехове: „У него мастерство высшего порядка. Я перечитывал его рассказы, и с огромным наслаждением. Некоторые, например, „Детвора“, „Спать хочется“, „В суде“ – истинные перлы“» (А. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 68). Как сообщал Чехову 25 мая 1903 г. И. Л. Толстой, рассказ «Спать хочется» был отнесен Толстым к числу лучших рассказов «первого сорта» (см. т. III Сочинений, стр. 537).

В. А. Гольцев в книге, посвященной изображению детей в творчество Чехова и Короленко, поставил Чехова как знатока «детской души» в один ряд с Толстым и Достоевским. «Он хорошо помнит свои детские годы, глубоко

понимает и любит детей. Они, как живые, стоят в его талантливых рассказах <...> Больно становится на душе, когда читаешь у Чехова про несчастную девочку Варьку...» (В. А. Гольцев. Дети и природа в рассказах А. П. Чехова и В. Г. Короленко. М., 1904, стр. 6–7).

При жизни Чехова рассказ переводился на болгарский, румынский, финский, немецкий, чешский и сербскохорватский языки.

## Степь

**В**первые – «Северный вестник», 1888, № 3 (ценз. разр. 25 февраля), стр. 75–167. Подпись: Антон Чехов.

Включено в сборник «Рассказы», СПб., 1888; перепечатывалось во всех последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

По словам Б. Лазаревского, Чехов был недоволен многочисленными опечатками в издании Маркса. В частности тем, что о. Христофор, кончив молитву, говорит: «Finì» (вместо «Finis»): «Наборщик и корректор приняли латинское s за восклицательный знак, и вышло, что православный священник ни с того, ни с

сего после „аллилуя“ произнес французское слово, да еще многозначительно, с восклицательным знаком» (Б. *Лазаревский*. Сильный человек. К годовщине смерти А. П. Чехова. – «Новый журнал для всех», 1909, № 9, июль, стр. 78). На самом деле «Finі» напечатано не только у Маркса, но и в «Северном вестнике», и в сборнике «Рассказы» (все 13 изданий). По-латински «finі» означает «кончил» («finis» – «конец») и, стало быть, вполне возможно в данном контексте.

## 1

Первое упоминание о начале работы над «Степью» находится в письме к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) от 1 января 1888 г.: «Передайте добрейшему А. Н. Плещееву, что я начал <...> для „Северного вестника“ <...> степной рассказ». О завершении работы Чехов сообщил Плещееву 3 февраля 1888 г.: «„Степь“ кончена и посылается». Повесть была написана на отдельных страничках в четвертую долю листа, сшитых тетрадью. В письме к Плещееву Чехов заметил: «„Степь“ писана на отдельных четвертухах. Когда получите посылку, обрежьте ниточки». Эта рукопись не сохрани-

лась. В тот же день, 3 февраля. Чехов писал М. В. Киселевой: «Я утомлен до мозга костей. Вчера окончил, а сегодня послал повесть, которую Вы увидите в мартовской книжке „Северного вестника“».

Таким образом, работа над «Степью» продолжалась немногим более месяца: с начала января (или конца декабря 1887 г.) по 2 февраля 1888 г.

Непосредственный повод для начала работы над «Степью» появился, очевидно, в декабре 1887 г., когда П. Г. Короленко передал Чехову просьбу Н. К. Михайловского – написать для «Северного вестника» большую повесть. В письме к Короленко от 9 января 1888 г. Чехов замечал, что «Степь» была начата с его дружеского совета. Сам Короленко впоследствии вспоминал: «Когда в Петербурге я рассказал в кружке „Северного вестника“ о своем посещении Чехова и о впечатлении, которое он на меня произвел, – это вызвало много разговоров <...> „Северный вестник“ Михайловского хотел бы видеть Чехова в своей среде, и мне пришлось выслушать упрек, что во время своего посещения я <...> не позаботился о при-

глашении Чехова как сотрудника. В следующее свое посещение я уже заговорил с Чеховым об этом „деле“, но еще раньше меня говорил с ним о том же А. Н. Плещеев <...> Мы условились встретиться в Петербурге в редакции „Осколков“ <...> Через некоторое время первый журнальный рассказ А. П. Чехова был написан. Назывался он „Степь“» (Чехов в воспоминаниях, стр. 138–141).

Встреча, о которой вспоминал Короленко, произошла, вероятно, 1 декабря 1887 г. На другой день Чехов виделся с Михайловским. В письме к родным от 3 декабря он рассказывал об этом: «Вчера <...> с 10½ часов утра до трех я сидел у Михайловского <...> в компании Глеба Успенского и Короленко: ели, пили и дружески болтали».

Мысль о крупной вещи, предназначенной для «толстого» журнала, возникла у Чехова раньше, по-видимому, еще весной 1886 г., когда он получил Письмо Д. В. Григоровича. В этом письме, датированном 25 марта 1886 г., Григорович писал: «Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных истинно художественных произведений.

Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий <...> Бросьте срочную работу <...> Голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного <...> Один такой труд будет во сто раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам; Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики» (т. I Писем, стр. 428).

Григорович обращал особенное внимание на пейзажные описания Чехова. В рассказах 1885–1887 годов Чехов серьезно работал над психологическим пейзажем. Некоторые яркие детали из этих рассказов были развернуты в «Степи». Так, один из основных «музыкальных» мотивов повести (тихая песня) был намечен уже в «Егере» (1885); ветряк, сопровождающий Егорушку на протяжении всей первой главы, появился в рассказе «Перекасти-поле» (1887).

Еще в марте 1886 г. в письме к Григоровичу Чехов заметил: «Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и кар-

тин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал».

В 1887 г. несколько упрочилось материальное положение Чехова, он получил возможность отдавать литературе больше чем «часа 2–3 в день и кусочек ночи, т. е. время, годное только для мелкой работы» (письмо Григоровичу 28 марта 1886 г.). Теперь уже не только Григорович, но и Плещеев, и А. С. Суворин, и В. В. Билибин настойчиво советовали Чехову «писать крупное». Весною 1887 г. Чехов предпринял длительную поездку по Приазовью, побывав в Таганроге, Новочеркасске, Рагозинной балке, Луганске, Святых горах.

10 февраля 1887 г. он писал Суворину: «Чтобы не высохнуть, в конце марта уеду на юг, в Донскую область, в Воронежскую губернию и проч., где встречу весну и возобновлю в памяти то, что уже начало тускнеть. Тогда, думаю, работа пойдет живее». В письме к родным от 7 апреля 1887 г. говорилось: «Пахнет степью и слышно, как поют птицы. Вижу старых приятелей – коршунов, летающих над степью... Курганчики, водокачки, стройки – всё знакомо и памятно <...> Хохлы, волы, кор-

шуны, белые хаты, южные речки, ветви Донецкой дороги с одной телеграфной проволокой, дочки помещиков и арендаторов, рыжие собаки, зелень – всё это мелькает, как сон...» А через месяц, в письме 5 мая 1887 г., заметил: «Напоэтился я по самое горло: на 5 лет хватит».

В основу «Степи» легли впечатления, связанные с Таганрогом и Приазовьем, оживленные в 1887 году поэтические воспоминания детства и юности Чехова. Об этом он писал двоюродному брату, Г. М. Чехову, 9 февраля 1888 г.: «Главное действующее лицо у меня называется Егорушкой, а действие происходит на юге, недалеко от Таганрога», и более подробно – Плещееву в тот же день: «В 1877 году я в дороге однажды заболел перитонитом (воспалением брюшины) и провел страдальческую ночь на постоялом дворе Мойсея Мойсеича. Жидок всю ночь напролет ставил мне горчичники и компрессы.

Видели ли Вы когда-нибудь большую дорогу? Вот куда бы нам махнуть! Кресты до сих пор целы, но не та уже ширина; по соседству провели чугунку, и по дороге теперь почти

некому ездить: мало-помалу порастает травой, а пройдет лет 10, она совсем исчезнет или из гиганта обратится в обыкновенную проезжую дорогу».

Об автобиографическом характере «Степи» писал также М. П. Чехов (*Вокруг Чехова*, стр. 65–66). Короленко вспоминал, что М. П. Чехов говорил ему об этом «вскоре после того, как рассказ появился в „Северном вестнике“» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 141).

Однако, связывая свою повесть с реальной местностью («на юге, недалеко от Таганрога»), удостоверяя точность пейзажных деталей и бытовых подробностей, Чехов, разумеется, не считал «Степь» бытописательным или, тем более, этнографическим сочинением. Если сопоставить повесть с географической картой Приазовья, обнаружатся многочисленные и, несомненно, сознательные расхождения. Так, например, в конце VII главы говорится: «Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив...» Большая река, которую Егорушка увидел впервые в жизни, – это, несомненно, Дон, а го-

род на горе – Ростов; но чтобы увидеть Ростов так, как сказано в повести, нужно приближаться к нему со стороны Батайска, переезжая Дон по наплавному мосту с левого на правый берег. Обоз же двигался с противоположной стороны, и если бы Чехов руководствовался реальной географией, Егорушка, подъезжая к городу, не увидел бы ни громадной горы, ни реки, ни железнодорожной ветки с локомотивом: перед ним на той же степной равнине появились бы предместья Ростова, обоз пересек бы речушку Каменку и затем выехал на мощный булыжником проспект, который во времена Чехова так и назывался – Таганрогский. География «Степи» – это обобщенная, вымышленная география; она подчинена художественному замыслу повести.

## 2

**В**о время работы над «Степью» Чехов написал более двадцати писем, в той или иной степени раскрывающих творческую историю повести.

Он, несомненно, отчетливо понимал, насколько необычным был его новый замысел. «Странная она какая-то», – писал он о «Степи»

Леонтьеву (Щеглову) 22 января 1888 г.

Воплощение этого замысла было связано с огромными трудностями. Чехову пришлось преодолевать привычную манеру письма. 9 января 1888 г. он писал Короленко: «Для почина взялся описать степь, степных людей и то, что я пережил в степи. Тема хорошая, пишется весело, но, к несчастью, от непривычки писать длинно, от страха написать лишнее я впадаю в крайность: каждая страница выходит компактной, как маленький рассказ, картины громоздятся, теснятся и, заслоняя друг друга, губят общее впечатление. В результате получается не картина, в которой все частности, как звезды на небе, слились в одно общее, а конспект, сухой перечень впечатлений».

О «конспективности», чрезмерной насыщенности повествования Чехов писал также Григоровичу 12 января 1888 г., Я. П. Полонскому 18 января 1888 г., Плещееву 23 января 1888 г., Лазареву (Грузинскому) 4 февраля 1888 г.

Главная трудность для Чехова заключалась, по-видимому, не в объеме повествова-

ния, но в «бессюжетности». «Сюжет „Степи“ незначителен», – заметил он в письме к Плещееву от 3 февраля 1888 г. Отдельные главы повести связывались между собой лишь единым поэтическим настроением, общим тоном, внутренней мелодией. «Каждая отдельная глава составляет особый рассказ, и все главы связаны, как пять фигур в кадрили, близким родством. Я стараюсь, чтобы у них был общий запах и общий тон», – писал Чехов Григоровичу 12 января 1888 г. Поэтому в письмах о «Степи» так много говорится о «тоне», о музыкальном звучании «степной темы», о запахе сена, о «стихах в прозе»: «Сюжет поэтический, и если я не сорвусь с того тона, каким начал, то кое-что выйдет у меня „из ряда вон выдающее“» (Плещееву, 19 января 1888 г.); «...все-таки в общем она не удовлетворяет меня, хотя местами и попадаются в ней „стихи в прозе“» (Плещееву, 23 января 1888 г.); «Пока писал, я чувствовал, что пахло около меня летом и степью» (Плещееву, 3 февраля 1888 г.).

В пору работы над «Степью» Чехов перечитывал Пушкина, Лермонтова. 18 января

1888 г., когда характер и стилиевой строй «Степи» определились вполне, Чехов заметил в письме к Полонскому: «Лермонтовская „Тамань“ и пушкинская „Капитанская дочка“, не говоря уж о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой». Отослав рукопись повести в журнал, Чехов 5 февраля 1888 г. писал Григоровичу о влиянии «степных» пейзажей Гоголя (подразумевая, по-видимому, II главу «Тараса Бульбы»): «Я знаю, Гоголь на том свете на меня рассердится. В нашей литературе он степной царь. Я залез в его владения с добрыми намерениями, но наерундил немало. Три четверти повести не удались мне».

Несмотря на столь резкую оценку своей работы, он ни минуты не сомневался в серьезном значении «Степи». «Быть может, – писал он Григоровичу 12 января 1888 г., – она раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще нетронутыми и как еще не тесно русскому художнику». В этом письме дана и общая оценка той поэтической темы русской классической прозы, которая была про-

должена в «Степи»: «Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни Вас, ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя».

### 3

Посылая законченную рукопись повести Плещееву, Чехов в письме от 3 февраля 1888 г. просил: «Похлопочите, чтобы моя „Степь“ вся целиком вошла в один номер, ибо дробить ее невозможно, в чем Вы сами убедитесь по прочтении». Здесь же он затронул вопрос о гонораре: «Если издательница спросит о цифре гонорара, то скажите ей, что я полагаюсь на ее волю, в глубине же души, грешный человек, мечтаю о двухстах за лист».

По-видимому, деликатный намек Чехова Плещеев воспринял как ультиматум. 5 февраля 1888 г. он писал, что столь высокий гонорар отяготит бюджет журнала: двести рублей за лист «Северный вестник» платил лишь Г. И. Успенскому, обычно же самый высокий гонорар составлял 150 руб. – так оплачивались рассказы Короленко. Плещеев полагал, что редакция журнала может не согласиться

с требованием Чехова, и просил известить его телеграммой, должен ли он в этом случае немедленно вернуть рукопись «Степи». Если редакция примет условие Чехова, то, заметил Плещеев, относиться к нему в «Северном вестнике» будут все же «не столь дружелюбно» (ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 308). Ответная телеграмма Чехова не сохранилась. Но уже 8 февраля 1888 г., прочитав «Степь», Плещеев писал: «Редакция вся к Вам относится наилучшим образом и просит Вас без церемоний заявлять Ваше желание насчет гонорара... Если эта цена <200 руб. за лист> кажется Вам недостаточной, просите прямо, что Вы желаете. Я уверен, что Вы в самом скором времени будете получать по 300 р. и что в будущем этим не ограничится». Тогда же Плещеев сообщил, что «Степь» отдана в набор, «пойдет вся целиком» (т. е. в одном номере) и «завтра высылается аванс в 300 руб.» (ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 238–239).

Чехов ответил 9 февраля 1888 г.: «О требованиях или непременных условиях с моей стороны не было и речи, а об ультиматуме и подавно. Если я заикнулся в скобках о 200

руб., то потому, что совсем незнаком с толсто-журнальными ценами и что цифру 200 не считал слишком большой. Я мерил по новременской мерке, т. е., оценивая „Степь“, старался получить не больше и не меньше того, что платит мне Суворин (15 коп. строка), но и в мыслях у меня не было сочинять ультиматумы. Я всегда беру только то, что мне дают. Даст мне „Северный вестник“ 500 за лист – я возьму, даст 50 – я тоже возьму».

До 15 февраля повесть была уже набрана. Михайловский, читавший «Степь» в корректуре, сообщил Чехову в письме от 15 февраля 1888 г. свое мнение о ней (см. ниже) и в конце заметил: «Я дополнил Вашу подпись, – не Ан., а *Антон* Чехов. Есть, говорят, другой Чехов, да и вообще это фамилия не редкая, а Вы – редкий. Прецедент – *Глеб Успенский*» (ЦГАЛИ; Слово, сб. 2, стр. 217).

Закончив работу над «Степью», Чехов думал о ее продолжении. «Если она будет иметь хоть маленький успех, то я положу ее в основание большущей повести и буду продолжать, – писал он Плещееву 3 февраля 1888 г. – Вы увидите в ней не одну фигуру, заслужива-

ощую внимания и более широкого изображения». Продолжение «Степи» связывалось с сюжетом, который был предложен Григоровичем в письме Чехову от 30 декабря 1887 г.: «Будь я помоложе и сильное дарованием, я бы непременно описал семью и в ней 17-летнего юношу, который забирается на чердак и там застреливается. Вся его обстановка, все доводы, которые могли довести его до самоубийства, на мои глаза, гораздо важнее и глубже причин, заставлявших Вертера наложить на себя руки. Такой сюжет включает в себе вопрос дня; возьмите его, не упускайте случая коснуться наболевшей общественной раны; успех громадный ждет Вас с первого же дня появления такой книги» (ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 209). В письме к Григоровичу от 5 февраля 1888 г. Чехов заметил об этом сюжете: «Я сделал слабую попытку воспользоваться им. В своей „Степи“ через все восемь глав я провожу девятилетнего мальчика, который, попав в будущем в Питер или в Москву, кончит непременно плохим. Если „Степь“ будет иметь хоть маленький успех, то я буду продолжать ее. Я нарочно писал ее так, чтобы

она давала впечатление незаконченного труда. Она, как Вы увидите, похожа на первую часть большой повести». Далее Чехов высказал свое понимание «степной» темы: «Вся энергия художника должна быть обращена на две силы: человек и природа. С одной стороны, физическая слабость, нервность, ранняя половая зрелость, страстная жажда жизни и правды, мечты о широкой, как степь, деятельности, беспокойный анализ, бедность знаний рядом с широким полетом мысли; с другой – необъятная равнина, суровый климат, серый, суровый народ со своей тяжелой, холодной историей, татарщина, чиновничество, бедность, невежество, сырость столиц, славянская апатия и проч. ... Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается, бьет на манер тысячепудового камня. В Западной Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно... Простора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться...»

Плещеев, прочитавший «Степь» в рукописи, действительно нашел в ней «не одну фигу-

ру, заслуживающую более широкого изображения». 8 февраля 1888 г. он просил Чехова: «Продолжайте Христа ради – историю Егорушки. Я глубоко убежден, что вещь эту ожидает огромный успех» (ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 239).

Чехов ответил 9 февраля 1888 г.: «Что касается Егорушки, то продолжать его я буду, но не теперь. Глупенький о. Христофор уже помер. Гр. Драницкая (Браницкая) живет прескверно. Варламов продолжает кружиться. Вы пишете, что Вам понравился Дымов, как материал... Такие натуры, как озорник Дымов, создаются жизнью не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого житья, а прямехонько для революции... Революции в России никогда не будет, и Дымов кончит тем, что сопьется или попадет в острог. Это лишний человек».

В дальнейшем к планам продолжения «Степи» Чехов уже не возвращался. История Егорушки была завершена. «Удалась она или нет, не знаю, но во всяком случае она мой шедевр, лучше сделать не умею», – писал Чехов Лазареву (Грузинскому) 4 февраля 1888 г.

В марте – апреле 1888 г., готовя сборник «Рассказы», Чехов включил в него «Степь». В сборник повесть вошла почти без изменений. Чехов внес лишь несколько стилистических поправок. Кроме того, он изменил заглавные буквы в названии города и губернии («Из N., уездного города Z-ой губернии» – вместо первоначального: «Из M., уездного города C-ой губернии»). По-видимому, Чехов опасался, что город, описанный в «Степи», мог быть отождествлен с реальным русским городом. Такую ошибку совершил критик Н. Ладожский (В. К. Петерсен); подразумевая под «городом С.» Самару или Саратов, он прямо полагал, что в повести Чехова изображена волжская степь и «губернский город на Волге» (Н. Ладожский. Критические наброски. – «С.-Петербургские ведомости», 1888, № 70, 11 марта).

Небольшие поправки были сделаны во втором, четвертом, седьмом и десятом изданиях сборника.

Готовя «Степь» для собрания сочинений, Чехов несколько сократил повесть; было снято в общей сложности около 90 строк (более двух страниц) журнального текста: опущены

описания снов и раздумий Егорушки в главах I, II, III, IV; вычеркнут целый абзац в главе V (сцена в лавке); сокращения отдельных слов и фраз проведены по всему тексту «Степи». Стилистическая редакция коснулась, прежде всего, иноязычных слов. Устранено, например: «интонация», «репутация», «сантиментальное»; вместо «силуэты тюков» – стало «темные тюки»; вместо «Финал беседы Варламова» – «Беседа Варламова». Ввел Чехов ряд просторечных слов («осклизлом иле» вместо «скользком иле»). Редактировался язык персонажей «Степи». В целом же правка повести при переизданиях была небольшой.

#### 4

«Степь» вызвала множество критических отзывов – о ней сразу же заговорили наиболее популярные газеты и журналы. Уже в этих первых откликах наметились глубокие расхождения во взглядах и оценках.

Первый отзыв принадлежал Плещееву. 8 февраля 1888 г. он писал Чехову о «Степи»: «Прочитал я ее с жадностью. Не мог оторваться, начавши читать. Короленко тоже... Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ниче-

го другого сказать Вам не могу и никаких замечаний не могу сделать – кроме того, что я в безумном восторге. Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую, большую будущность. Что за бесподобные описания природы, что за рельефные, симпатичные фигуры... Этот отец Христофор, Егорушка, все эти возчики: Пантелей, парень, влюбленный в жену, певчий... да и все решительно <...> Поэты, художники с поэтическим чутьем должны просто с ума сойти. И сколько разбросано тончайших психологических штрихов. – Одним словом, я давно ничего не читал с таким огромным наслаждением». Плещеев высказал, однако, и некоторые сомнения. «Степь» показалась ему не вполне законченной, он предвидел, что «внутреннее содержание» повести поймут лишь немногие: «Некоторые фигуры требуют действительно более широкого развития <...> всё хочется, чтоб они еще раз встретились в повести». Советуя продолжать историю Егорушки, Плещеев писал: «Пускай в ней нет того внешнего содержания – в смысле фабулы, – которое так дорого толпе, но внутреннего содержания зато неис-

черпаемый родник» (ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 238–239).

Эти суждения Плещеева особенно знаменательны: в дальнейшем русская журнальная критика единодушно отмечала именно бесфабульность, «бессодержательность» «Степи», но в тоне далеко не мягком и не столь доброжелательном, как это сделал Плещеев.

15 февраля 1888 г. Михайловский, прочитавший «Степь» в корректуре, написал отзыв, в котором содержалась обобщенная оценка всего раннего творчества Чехова: «Хотите обижайтесь, хотите сердитесь за это непрошенное письмо – мне всё равно, потому что слишком я далек от мысли сделать Вам обиду. Читая „Степь“, я всё время думал, какой грех Вы совершили, разрываясь на клочки, и какой это будет уж совсем страшный, незамолимый грех, если Вы и теперь будете себя рвать. Читая, я точно видел силача, который идет по дороге, сам не зная куда и зачем, так, кости разминает, и, не сознавая своей огромной силы, просто не думая об ней, то росточек сорвет, то дерево с корнем вырвет, всё с одинаковою легкостью, и даже разницы между

этими действиями не чувствует. Много Вам от бога дано, Антон Павлович, много и спросится. Сила – это само собой. Но сила бывает мрачная (Достоевский) и ясная (Толстой до своего повреждения). Ваша сила ясная и в этой ясности ручательство, что злу она не послужит, не может послужить, за что бы Вы ни взялись, что бы ни задумали». Не найдя в повести стройного замысла и общественно важной темы, Михайловский объяснял это порочной «школой» тех изданий, в которых сотрудничал Чехов. Михайловский просил Чехова не возвращаться ни на минуту на старьй путь: «погибнете там. Не то, чтобы Вы непременно писали большие вещи, пишете что хотите, пишете мелкие рассказы, но Вы не должны, не смеете быть дилетантом в литературе, Вы в нее должны душу положить» (ЦГАЛИ; Слово, сб. 2, стр. 216–217).

Ответное письмо Чехова остается неизвестным, но из писем Плещеева видно, что в нем Чехов дал Михайловскому отпор, «отставив свою независимость» (ЛН, т. 68, стр. 311).

6 марта 1888 г. Чехов получил большое письмо П. Н. Островского (он читал «Степь» в

оттиске, подаренном автором), содержащее подробный отзыв о «Степи». Это письмо Чехов оценил чрезвычайно высоко. Оно, писал Чехов Плещееву 6 марта 1888 г., «в высшей степени симпатично, доброжелательно и умно <...> Я прочел письмо Петра Николаевича три раза и жалею теперь, что он прячется от публики. Среди журнальных работников он был бы очень нелишним. Важно не то, что у него есть определенные взгляды, убеждения, мировоззрение – всё это в данную минуту есть у каждого человека, – но важно, что он обладает *методом*; для аналитика, будь он ученый или критик, метод составляет половину таланта».

Свой разбор «Степи» П. Н. Островский начал с подробного анализа «промахов и погрешностей». Кроме стилистических погрешностей и «легко поправляемых пустячков», автор письма отмстил отсутствие плана – «нет центра, к которому бы, располагаясь вокруг, тяготели второстепенные лица и мелкие подробности...» По мнению автора письма, Чехову не удалось выдержать общий тон и связать в повествовании столь разнород-

ный материал, как степные пейзажи и описания душевного мира персонажей, взгляд автора и впечатления Егорушки: «Жизнь степи и душевная история ребенка взаимно не покрываются, и то ребенок, то степь перетягивают к себе внимание читателя». Заканчивая разбор «промахов» Чехова, Островский отметил: «В общем Ваш рассказ произвел на меня впечатление большого полотна, зарисованного маленькими картинками; Вы мало обратили внимания на постройку...»

Основная – положительная – часть письма была посвящена сильным сторонам повести, особенностям чеховского таланта и тем путям, которые, по мнению Островского, открывались перед Чеховым в литературе: «Затем остается только кланяться и благодарить! Картины природы, душевные состояния ребенка, огромное количество нарисованных фигур... короче, – всё полно жизни, правды и поэзии!» Островский отметил предметность и красочность чеховской прозы; писал о психологической глубине, свойственной повествованию Чехова, подразумевая, по-видимому, ту черту, которая впоследствии была названа

«чеховским подтекстом». К несомненным достоинствам Чехова Островский отнес нравственное здоровье и чистоту его таланта: «В этом коренное Ваше различие с современными молодыми беллетристами: между ними есть люди с талантом, но или психопатическое нытье, или тупой, озлобленный радикализм мешает им смотреть просто на божий мир».

Заканчивая свое письмо, Островский советовал Чехову перейти от зарисовок к картине, «от отдельных аккордов – к мелодии»: «Хочется думать, что сила таланта не истратится по мелочам <...> и что мы дождемся, наконец, хорошего русского романа; романа, т. е. не жанровых картинок, не одних рассказов, порожденных временным субъективным настроением автора, а объективного изображения современного общества, с его чувствованием и пониманием жизни, с его верованиями, идеалами, или по крайней мере с его поисками за верованием, с его тоской по отсутствующему идеалу» (*ГБЛ*; опубл. в статье: С. Д. Балухатый. Вокруг «Степи». – «А. П. Чехов и наш край». Ростов-на-Дону, 1935, стр. 130–133).

О том, что Чехов должен обратиться к роману, говорилось еще в одном письме-отклике первых читателей «Степи». Чехов получил его 9 марта 1888 г. (помечено его рукой: «88, III, 9»; см. илл. на стр. 93). Здесь говорилось: «Я прочла всё два раза. Только ведь это что-то вроде начала или просто отрывочек из чего-то большого и, должно быть, тоже прекрасного. Теперь вот, думаю я, настало то время, когда Вы должны бы были задумать большой труд, который бы составил Вам имя <...> Часто, когда я читаю Гоголя и Толстого, у меня рождается страстное желание расцеловать у них руки <...> скажу Вам искреннюю правду, что это же желание родилось во мне, когда я читала Вашу „Степь“. Ничего такого, как „Степь“, Вы еще не писали <...> Только что-то особенное поражает меня в ней: в каждой строчке сквозит какая-то тихая, сдержанная грусть и страстное искание чего-то <...> Как будто Вы несчастливы» (ГБЛ). Судя по характерным приметам почерка, автором этого письма, подписанного буквой «М», была, вероятно, Л. С. Мизинова.

Первая повесть Чехова широко обсужда-

лась в литературной среде. «Сколько я похвал слышу Вашей „Степи“!» – писал Плещеев 10 марта 1888 г. (ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 312). В эти же дни К. С. Баранцевич сообщал Чехову: «„Степь“ Вашу прочел, – очень нравится; кое с кем из литературной братии ломаю из-за нее копья» (ГБЛ, письмо от 8 марта 1888 г.).

Сразу же после выхода в свет мартовского номера «Северного вестника» Ал. П. Чехов в большом письме от 4 марта 1888 г. рассказывал брату о том впечатлении, которое «Степь» произвела в Петербурге: «Первым прочел Суворин и забыл выпить чашку чаю. При мне Анна Ивановна меняла ее три раза. Увлёкся старичина <...> Петерсен ходит на голове от восторга <...> Нравится ему особенно то философское мнение, что человек живет прошедшим <...> В радостном исступлении он чуть не съел меня и изругал всех сотрудников за то, что они осмеливаются марать бумагу и печать своим бездарным строчничаньем в то время, когда существуют мощные могикане <...> Буренин тоже радуется и свою радость вылил в фельетоне, которого я еще не читал, ибо пишу ранее, нежели мне принесли газету. Но

сообщить тебе он велел следующее: Написано чудесно. Такие описания степи, как твое, он читал только у Гоголя и Толстого. Гроза, собиравшаяся, но не разразившаяся, – верх совершенства. Лица – кроме жидов – как живые. Но ты не умеешь еще писать повестей: из каждого печатного листа можно сделать отдельный рассказ, но твоя „Степь“ есть начало или, вернее, пролог большой вещи, которую ты пишешь. Все Короленки и Гаршины перед тобою бледнеют (так и напишите ему: бледнеют). Ты самый выдающийся и единственный из современных молодых писателей. „Пусть только *большое* напишет...“. Итак, Антоша, пиши *большое*» (ГБЛ; *Письма Ал. Чехова*, стр. 197–198).

С марта по июль 1888 г. в русской периодической печати появился целый ряд критических отзывов, заметок и статей, посвященных «Степи». О ней писали: В. Буренин в своих «Критических очерках» («Новое время», 1888, № 4316, 4 марта); Н. Ладожский – в обзоре «Критические наброски» («Санкт-Петербургские ведомости», 1888, № 70, 11 марта); Е. Гаршин в статье «Литературные беседы» («Бир-

жевые ведомости», 1888, № 70, 11 марта); Веневич (В. К. Стукалич) в «Очерках современной литературы» («Русский курьер», 1888, № 75, 17 марта); С. Фрид в заметке «На литературной ниве» («Новости дня», 1888, № 1687, 19 марта); анонимный критик (вероятно, Е. Гаршин) «Еженедельного обозрения» (1888, № 218, 27 марта); Аристархов <А. И. Введенский> в «Журнальных отголосках» («Русские ведомости», 1888, № 89, 31 марта); Р. А. Дистерло в обзоре «Новое литературное поколение» («Неделя», 1888, № 13 и 15); К. Арсеньев в статье «Современные русские беллетристы» («Вестник Европы», 1888, № 7).

С точки зрения журнальной критики, «Степь» представляла собой дебют, первый шаг Чехова в большой литературе. Поэтому столь серьезно обсуждался вопрос о том, достаточно ли талантлив он – газетный фельетонист и рассказчик. Единодушного мнения на этот счет не было; критики применяли различные критерии, соответствующие их общественной позиции и эстетической программе.

Н. Ладожский писал о «молодом, но уже

достаточно прославленном» имени Антона Чехова, который «дал действительно хорошую вещь». Ладожский назвал Чехова «талантливым рассказчиком небольших сценок», отметил «редкое мастерство» в описаниях природы.

Аристархов, «при всем признании за автором из ряда вон выходящего таланта», отметил много недостатков в построении «Степи», «вычурностей» в стиле и языке повествования. Это обусловило его вывод: «Первое крупное произведение чрезвычайно талантливо, без сомнения, писателя – есть вместе с тем произведение писателя начинающего, не сумевшего соразмерить сил своего таланта с задачей, предстоявшею ему, не сладившего и с формой для выражения своей идеи, при несомненной красоте многих отдельных частей». Упрек в растянутости сделал Чехову С. Б. Фрид; Арсеньев увидел в Чехове талант по преимуществу описательный: «Он умеет найти эпитет, заставляющий нас смотреть его глазами, видеть именно то, что он хочет показать нам!..» (стр. 259).

Весьма своеобразный взгляд высказал

Е. Гаршин, не узревший в «Степи» ни малейших признаков беллетристического таланта: «Конечно, желая показать себя человеком, чутким к красотам художественного слова, к мастерству изображения действительности такую, какова она есть, можно усердно восхищаться произведением Чехова. Но, говоря откровенно, нельзя сказать про его „Степь“, что она „чем далее, тем становится прекраснее“: она скучна и требует от читателя чрезмерного напряжения, чтобы стало охоты воспринимать все прелести художественного изложения автора этого произведения».

В сущности Е. Гаршин (как, впрочем, и другие критики) выразил в своем отзыве взгляды тогдашнего читателя, привыкшего к роману с развернутой характеристикой персонажей, с отчетливой авторской тенденцией, воплощенной в «героях», с более или менее острым сюжетом. Подобный взгляд в 80–90-е годы был едва ли не общепринятым. В статье 1890 г. Н. К. Михайловский в присутствии ему авторитетном тоне заявил: «А в „Степи“, первой большой вещи г. Чехова, самая талантливость <...> является уже источником неприят-

ного утомления: идешь по этой степи, и кажется, конца ей нет...» (Михайловский, стр. 600). Характерно мнение, высказанное А. И. Эртелем в письме к Чехову от 25 марта 1893 г.: «...я долго не знал, а потому и не ценил Вас как писателя. Первое прочитал – „Степь“, но несоразмерное нагромождение описаний, – правда, в отдельности очень тонких, – меня утомило и не заинтересовало Вами» (ГБЛ). И Григоровичу показалось, что в «Степи» – «драма велика для картины, величина холста непропорциональна сюжету» (письмо от 8 октября 1888 г. – ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 212).

По единодушному мнению журнальной критики, Чехову – признанному мастеру короткого рассказа – большая повествовательная форма не удалась. Эта тема в отзывах о «Степи» обсуждалась весьма обстоятельно, поскольку и Арсеньев, и Ладожский, и Буренин еще в 1886 г., в пору «Пестрых рассказов», настойчиво рекомендовали Чехову «писать большое». «Критики (в том числе и я), – писал Ладожский, – довольно дружно советовали этому талантливому рассказчику небольших

сценок попробовать свои силы над большим рассказом или сложную повестью. „Степь“ и предназначалась служить такою пробою. Но тут произошло явное недоразумение между критиками и автором. Первые, следя за успехами этого молодого беллетриста по его рассказам <...> сомневались в способности молодого автора создать и выдержать какую-либо сложную фабулу, т. е. из тех иногда артистически сделанных и виртуозно раскрашенных кирпичиков, какие он делать мастер, построить хороший дом, по целесообразному плану и с архитектурно выдержанным в каком-либо определенном стиле фасадом. И что же? Рассказ „Степь“, занимая около 6 печатных листов <...> заставляет предполагать, что общие сомнения в способности г. Чехова создавать сложные и стройные композиции, по-видимому, основательны и верны».

Аналогичный взгляд высказал в своих «Критических очерках» Буренин: «В новой, крупной по объему повести Чехов обнаружил, как обнаруживал это постоянно и прежде и в своих маленьких рассказах, бездну живого и яркого таланта в рисовке кар-

тин природы, бытовых фигур и сцен, но в то же самое время обнаружил свою, если можно так выразиться, непривычку к большой и целостной художнической комбинации: его повесть все-таки остается собранием маленьких очерков, соединенных между собою чисто внешним образом и представляет не более как только отрывок, как будто пролог большого романа».

Никто из журнальных критиков не заглянул в ту «бездну внутреннего содержания», о которой Чехову писал Плещеев, ни один из них не поставил вопроса о новаторстве Чехова. Сложилась ситуация, не раз повторявшаяся в истории литературы: глубоко новаторская по своему характеру вещь, поставленная в рамки традиционных представлений и тривиального вкуса, воспринималась как вещь неудавшаяся.

Теоретический и эстетический уровень журнальной критики и в данном случае вполне совпадал с заурядным читательским вкусом. Насколько полным было это совпадение, можно судить, например, по сохранившемуся в архиве Чехова письму О. Г. Гален-

ковской, сотрудницы журнала «Родник» (датировано 1 января 1889 г.): «Первое время после чтения „Степи“ просто не хотелось о ней думать – хотелось сохранить подольше свежее чувство, которое „Степь“ навеяла на душу... Но, увы! Оно не сохранилось долго, да и не могло сохраниться – как хорошо ни опишите природу, все-таки это будет только описание <...>, для большинства же читателей „Степь“ будет просто скучна <...> Между тем среди всей этой ажурной работы то здесь, то там мелькают фигуры, которые, несмотря на то, что они очерчены всего несколькими штрихами, – так мимоходом и между прочим, – приковывают к себе внимание, например, идеалист Соломон <...> И так жадно хочется знать всю историю Соломона во всех подробностях... Но, увы! автор „Степи“ не любит долго оставаться на одном и том же месте, – бричка готова, надо ехать дальше <...> Я очень боюсь за Вас, Антон Павлович, – боюсь, что Ваш способ писать быстро и как бы мимоходом обратился у Вас в привычку. Боюсь, что Вы спешите печататься» (ГБЛ).

В представлении прижизненной Чехову

критики «Степь» так и осталась повестью скорее этнографической, нежели беллетристической, калейдоскопом картинок, «вставленных в слишком просторную раму».

Сложнейшим для журналистов 80-х годов оказался вопрос об идейном замысле «Степи». Этот вопрос поставил в своем отзыве уже Гаршин. Отметив, что в каждом из небольших рассказов Чехова «есть всегда неглубокая, но разумная, живая идея», он писал, что в повести «степные сцены и картины не объединены никакой идеей, которая, конечно, не всегда ясна с первой же страницы, но вы чувствуете, в каком из действующих лиц она наиболее пластически выражается. Такого лица в беллетристическом эскизе „Степь“, несомненно, нет, и все персонажи повествования связаны между собою чисто внешним образом».

Критик газеты «Русский курьер» Веневич (В. К. Стукалич) также не обнаружил в повести Чехова сколько-нибудь ясной идеи, но повинен в этом, по его мнению, был не столько автор, сколько его «степной» материал: «Г. Чехов ведет читателя в степную глушь, где лю-

ди живут непосредственною, стихийною жизнью, чуждою каких-нибудь высших интересов, какой-либо животворящей идеи. Делается даже как-то обидно за этих бесхитростных обитателей степи – так напоминают они подчас своею непосредственностью и наивностью животных, то мирных и добрых, то злых и хищных, но одинаково не поднимающихся над уровнем своего обыденного быта и своих личных интересов и отношений». В этой связи возникла идея о пантеизме Чехова. Этот термин применил еще в 1888 г. Дистерло. Он не обнаружил в «Степи» сколько-нибудь ясной идеи или тенденции, но истолковал это как знамение времени в духе гайдебуровской «Недели». Поколение 80-х годов, писал он, «родилось скептиком. Идеалы, которыми жили его отцы и деды, оказались бессильными над ними». Для нового поколения «осталась только действительность <...>, в которой ему суждено жить <...> Оно приняло эту судьбу спокойно и безропотно <...> Оно прониклось сознанием, что все в жизни вытекает из одного и того же источника – природы, всё является собой одну и ту же тайну бытия, все одинаково-

во прекрасно для свободного художественного созерцания мира. В нашем молодом поколении уже теперь можно заметить существенные признаки пантеистического поклонения природе». По поводу статьи Дистерло Чехов в письме к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) от 18 апреля 1888 г. иронически заметил: «Итак, мы пантеисты! С чем вас и поздравляю».

Михайловский, резко критикуя в статье «Письма о разных разностях» позицию «Недели» и защищая «идеалы отцов и дедов», принял, однако, и термин «пантеизм» в связи со «Степью», и ту оценку, которую Дистерло дал творчеству Чехова в целом. Михайловский писал: «Г. Чехов пока единственный действительно талантливый беллетрист из того литературного поколения, которое может сказать о себе, что для него „существует только действительность, в которой ему суждено жить“, и что „идеалы отцов и дедов над ними бессильны“. И я не знаю зрелища печальнее, чем этот даром пропадающий талант» (Михайловский, стр. 598–599).

Столь же категорично высказался Ладожский: «„Степь“ – вещь скорее этнографиче-

ская, нежели беллетристическая, и носит чисто описательный характер». Отметив, что на повести «лежит печать истинно эпического спокойствия <...> всё вообще покрыто мягким, ровным светом какого-то широкого, именно светлого мирозерцания», Ладожский пришел к неразрешимому для себя противоречию: в «Степи», писал он, «даже меньше содержания, чем в иных рассказах того же автора; но независимо от этого вышла вещь хорошая».

Своеобразие чеховской повести побудило критику 80-х годов задуматься о том, к какому лагерю современной литературы примыкал Чехов, кому из старых русских писателей был близок, какие традиции продолжал. В связи со «Степью» в газетах и журналах 80–90-х годов развернулась бурная полемика о характере современной литературы, об отношении к классическому наследию, об особенностях чеховского мировоззрения и творчества. В спорах о «Степи» скрещивались самые разнородные течения и взгляды, сводились старые журнальные счеты; в то время как одни зачисляли Чехова под свои знамена, другие,

напротив, отвергали его как писателя без всякого направления, «индифферентного к общественным вопросам». Старая русская критика представила сложную и противоречивую картину борьбы оценок, мнений, вкусов, идей, подтверждая предвидение Чехова: «Давно уж в толстых журналах не было таких повестей; выступаю я оригинально, но за оригинальность мне достанется так же, как за „Иванова“. Разговоров будет много» (письмо к М. В. Киселевой, 3 февраля 1888 г.).

Полемику открыл Буренин. Связывая «Степь» с традициями Гоголя, Тургенева, Льва Толстого, он писал: «...только у самых наших крупных художников, у Гоголя, Толстого, встретятся такие чудесные картины <...> но г. Чехов далек от искусственного, бездушного подражания: его художнический талант везде сверкает самостоятельным одушевлением, везде берет живые краски. <...> он воспринял только дух названных великих мастеров, заключающийся в правдивом и точном воспроизведении жизни, природы и человека».

Эти суждения Буренина, не лишённые тонкости и, если понимать их буквально, совер-

шенно справедливые, заключали в себе, однако, откровенно тенденциозный, полемический смысл. Говоря о «духе великих мастеров», о правдивости и художественности «Степи», Буренин тут же противопоставлял Чехова Г. Успенскому и Короленко, которые, по его мнению, в сравнении с Чеховым, «бледны и искусственны».

Напротив, Е. Гаршин и Веневич, явно противореча отзыву Буренина, отрицали именно художественные достоинства «Степи». В «Журнальном обзоре» Е. Гаршина говорилось: «После широкого рекламирования этого очерка на страницах „Нового времени“, где молодого автора приравнивали к столпам русской литературы – Толстому, Тургеневу и др., – невольно является необходимость в проверке дарования и подведения ему не призрачного итога, а того, какого оно заслуживает. Заметим прежде всего, что большая дерзость со стороны молодого автора братья за описание степи, которая уже раз воспроизведена необыкновенно художественно и притом большим мастером. Предполагается следовательно, что второе описание должно

быть лучше первого и чем-нибудь разниться от него. Второму условию произведение г. Чехова удовлетворяет; у Гоголя схвачен всего один момент, в который и нарисована величественная картина степи с подробной, детальной ее разработкой; у г. Чехова же – степь фигурирует в разные моменты своей жизни: ночью, днем, в ясную погоду и в грозу; но при этом физиономия степи схвачена в общем, контурно, и детальной разработки ее совсем нет <...> Слог и стиль в „Степи“ далеко не отделанные <...> грубые промахи в стилистике... По немногим отмеченным недочетам читатель видит, насколько несостоятельно произведение г. Чехова, а следовательно приравливание его к столпам нашей литературы – чистая насмешка над молодым автором».

Связывая повесть со «Степными очерками» А. И. Левитова, Веневич заметил: «Слабую сторону этюда составляют длинные и утомительные описания степной природы, совершенно чуждые той колоритности и блеска, которые отличают степные картины Гоголя, и того душу захватывающего лиризма, которым так богаты известные „Степные

очерки“ Левитова, так сильно проникнутые поэтическим настроением автора, что самый слог их становится музыкальным». Позднее о Чехове и Левитове писал В. А. Гольцев. Приведя обширные цитаты из «Степных очерков» и «Степи» и сопоставив их, он заключил: «Картина степного зноя у Чехова сжатее, образнее, красивее; но я хочу обратить ваше внимание на другую особенность Чехова в изображении природы. Описание Левитова субъективно, он сам и люди вообще играют преобладающую роль; Чехов является пантеистом, в его степи человек – одно из множества явлений, равноправных с другими. Мне кажется, что такое миропонимание разлито и в других произведениях этого даровитого писателя» (В. Гольцев. А. П. Чехов. Опыт литературной характеристики. – «Русская мысль», 1894, кн. 5, стр. 46–47).

Другой критик 90-х годов, К. Медведский, в статье с характерным заглавием «Жертва безвременья...», разбирая повести и рассказы Чехова, противопоставил ему И. Салова (плодовитого и мало интересного писателя). О Чехове же говорилось: «Душа человека остается

для этого писателя совершенно недоступной. Он берет только внешние особенности. <...> В произведениях г. Чехова нет того, что называется тенденцией, но зато есть нечто аналогичное, основанное, как и тенденция, на стремлении к „осязательной пользе“. Г-н Чехов является всегда большим реалистом, поклонником будничных тем и будничных настроений. Он старается изображать жизнь как можно проще. Это похвально, но, к сожалению, не всегда целесообразно» («Русский вестник», 1896, № 8, стр. 291–292).

В ином плане о художественном своеобразии молодых писателей («детей») писал в своей книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (СПб., 1893) Д. С. Мережковский. В этом программном документе русского декадентства была сделана опасная попытка отсечь Чехова от реалистического течения русской литературы. Чехов, по его утверждению, одним из первых порвал связь с традициями русского реалистического («позитивного») романа, возобновил «благородный лаконизм, пленительную простоту и краткость, которые делают

прозу сжатою, как стихи» (стр. 82), вернулся к маленькой эпической поэме в прозе (ее образец – «Степь»). Причисляя к течению «Современного Идеализма» не только В. М. Гаршина, но и И. И. Ясинского и даже Боборыкина, автор книги отводил Чехову особенно важную роль: «Чехов – один из верных последователей великого учителя Тургенева на пути к новому грядущему идеализму, он так же, как Тургенев, – *импрессионист*» (стр. 84).

С помощью этого слова Мережковский произвольно противопоставил Чехова критическому реализму и объявил его достоинством то, что журнальной критике 80-х годов представлялось художественной неудачей: мозаика «артистически сделанных и виртуозно раскрашенных кирпичиков», «случайная спайка отдельных картин» – всё это если не объяснялось, то, во всяком случае, хорошо укладывалось в нечетких рамках нового термина, приобретало вид сознательного артистического приема.

Чехов внимательно читал и собирал критические отзывы о «Степи» (см. письмо к Леонтьеву (Щеглову) от 4 апреля 1888 г.). Свое

мнение о журнальной критике он высказал в нескольких письмах, в частности, 31 марта 1888 г. Плещееву: «Читал сегодня Аристархова в „Русских ведомостях“. Какое лакейство перед именами и какое отечески-снисходительное бормотанье, когда дело касается начинающих! Все эти критики – и подхалимы, и трусы: они боятся и хвалить, и бранить, а кружатся в какой-то жалкой, серой середине. А главное, не верят себе <...> Моя „Степь“ утомила его, но разве он сознается в этом, если другие кричат: „талант! талант!“? Впрочем, ну их к лешему!»

Критика в целом не удовлетворила Чехова. «Я давно уже печатаюсь, напечатал пять пудов рассказов, – писал он Плещееву 9 апреля 1888 г., – но до сих пор еще не знаю, в чем моя сила и в чем слабость».

И позднее, с появлением новых повестей и рассказов Чехова, критика высказывала разноречивые взгляды, далекие от истинного понимания «Степи». В недатированном письме, относящемся к 1891 или 1892 г., поэт и беллетрист Ф. А. Червинский заметил: «Когда я вспомню, что такая чертовски умная вещь,

как „Скучная история“, не вызвала ничего кроме 2–3-х никому не нужных замечаний, а „Степь“ – бледных похвал описательной стороне, как будто в „Степи“ мало людей, – мне делается смешно, что я обижаюсь за себя» (ГБЛ).

В общих работах, появившихся уже после выхода марксовского издания Чехова, в 1900-х годах, критика по-прежнему отрицала художественную силу и высокую содержательность «Степи». Г. Качерец, например, писал о равнодушии Чехова к своим персонажам: «Обо всех, обо всем он говорит одним и тем же неторопливым одноцветным тоном, никогда не волнуясь и никогда не спеша» (Г. Качерец. Чехов. Опыт. М., 1902, стр. 19). Евг. Ляцкий в большом этюде «А. П. Чехов и его рассказы» главными художественными недостатками Чехова объявил «крайнюю сухость, почти протоколизм изложения и полное отсутствие жизненной типичности в изображениях фигур». Он писал о преобладании в «Степи» «описательного элемента над драматическим и субъективно-лирическим». К художественным промахам повести Ляцкий отнес недо-

статочную разработку психологии Егорушки: Чехов «посвятит два-три штриха Егорушке и затем сольет его со степью, с загорелыми холмами, с знойным небом, с полетом коршуна <...> Течение мыслей Егорушки, детский мирок последнего так и не раскрывается перед читателем – так, как он мог бы раскрыться под пером Тургенева или г. Короленки» («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 140–142.)

Среди современников Чехова подлинными ценителями его первой большой повести оказались выдающиеся писатели тех лет.

Плещеев в письме к Чехову от 10 марта 1888 г. рассказывал о впечатлении, какое произвела «Степь» на В. М. Гаршина: «Гартияин от нее без ума. Два раза подряд прочел. В одном доме заставили меня вслух прочесть эпизод, где рассказывает историю своей женитьбы мужик, влюбленный в жену. Находятся, впрочем, господа, которые не одобряют... Про одного такого рассказывал Гаршин и глубоко возмущался... потому что это было явно из зависти» (ЛН, т. 68, стр. 312).

Отзыв Гаршина о «Степи» записал В. А. Фаясек: «„Я пришел сообщить тебе замечатель-

ную новость <...> В России появился новый первоклассный писатель“. Он познакомился с рассказами г-на Чехова с тех пор, как они стали появляться в „Новом времени“ и высоко оценил его талант. „Степь“ он прочитал накануне, и она произвела на него чрезвычайное впечатление. На него, любителя и поклонника русского юга, пахнуло широким дыханием летней степной природы <...> Чехов как будто воскресил его. „У меня точно нарыв прорвался, – говорил он, – и я чувствую себя хорошо, как давно не чувствовал“» (В. Фаусек. Памяти Всеволода Михайловича Гаршина. – В сб.: Памяти В. М. Гаршина. СПб., 1889, стр. 119–120).

Об отношении Гаршина к «Степи» и чеховским рассказам вспоминал И. Е. Репин: «Он читал нам вслух только что появившуюся тогда, я сказал бы, „сюиту“ Чехова „Степь“ <...> Гаршин <...> отстаивал красоты Чехова, говорил, что таких перлов языка, жизни, непосредственности еще не было в русской литературе» (И. Е. Репин. Далекое близкое. М., 1964, стр. 362).

В передаче Плещеева сохранился отзыв М. Е. Салтыкова-Щедрина о «Степи». 6 апреля

1888 г. Плещеев писал своему сыну А. А. Плещееву: «Я сегодня был у Салтыкова. Он редко кого хвалит из новых писателей. Но о „Степи“ Чехова сказал, что „это прекрасно“ и видит в нем *действительный талант*» (ЦГАЛИ, ф. 378, оп. 1, ед. хр. 46; опубл.: ЛН, т. 68, стр. 295). Это мнение Салтыкова-Щедрина 8 апреля 1888 г. А. А. Плещеев сообщил Чехову (ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, ед. хр. 312).

В ряду критических отзывов об идейном замысле и художественном своеобразии «Степи» особенно серьезными, спокойными и глубокими были суждения Короленко. Несмотря на целый ряд творческих расхождений, Чехов и Короленко стояли друг к другу гораздо ближе, чем это представлялось тогдашней критике. В статье, посвященной памяти Чехова (1904), Короленко писал: «...его тогдашняя „свобода от партий“, казалось мне, имеет свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившийся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого „пересмотра“, чтобы пуститься в путь даль-

нейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличии большого таланта и большой искренности, казалась мне тогда некоторым преимуществом» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 137–138). Хорошим комментарием к этому суждению является письмо Короленко Михайловскому от 31 декабря 1887–1 января 1888 г.: «Мы теперь уже изверились в героев, которые (как мифический Атлас – небо) двигали на своих плечах „артели“ (в 60-х) и „общину“ в 70-х годах. Тогда мы все искали „героя“, и господа Омудевские и Засодимские нам этих героев давали. К сожалению, герои оказывались все „аплике“, не настоящие, головные. Теперь поэтому мы прежде всего ищем уже не героя, а настоящего человека, не подвига, а душевного движения, хотя бы и непохвального, но зато непосредственного (в этом и есть сила, например, Чехова)» (В. Г. Короленко. *Собр. соч.* в десяти томах, т. 10. М., 1956, стр. 81–82).

О художественном своеобразии «Степи» Короленко писал: «Некоторые критики отмечали, что „Степь“ – это как бы несколько ма-

леньких картинок, вставленных в одну большую раму. Несомненно, однако, что эта большая рама заполнена одним и очень выдержанным настроением. Читатель как будто сам ощущает веяние свободного и могучего степного ветра, насыщенного ароматом цветов, сам следит за сверканием в воздухе степном бабочки и за мечтательно-тяжелым полетом одинокой и хищной птицы, а все фигуры, нарисованные на этом фоне, тоже проникнуты оригинальным степным колоритом» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 141). Короленко прочитал «*Степь*» одним из первых, в рукописи, и его мнение было известно Чехову уже в 1888 году (например, из письма Плещеева от 8 февраля). По свидетельству Ф. Д. Батюшкова, «Короленко придавал ей („*Степи*“) символическое значение для целой полосы русской жизни того времени – унылой в своей безбрежности именно как степь» (Ф. Д. Батюшков. *Антон Павлович Чехов*. – В кн.: *История русской литературы XIX в.* под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского, т. V. М., 1910, стр. 197).

Известно суждение о «*Степи*» Л. Н. Толсто-

го, относящаяся к 1903 году. Х. Н. Абрикосов писал из Ясной Поляны своему отцу Н. А. Абрикосову 27 января 1903 г., что Толстой «назвал четыре вещи Чехова, которые он хвалит: „Детвора“, „Тоска“, „Степь“ и „Душечка“» («Летописи Государственного литературного музея», кн. 12, М., 1948, стр. 441).

При жизни Чехова повесть была переведена на шведский язык.

## ОГНИ

**В**первые – «Северный вестник», 1888, № 6 (ценз. разр. 25 мая), стр. 1–36. Подпись: Антон Чехов.

Печатается по журнальному тексту.

Начало работы над повестью относится к февралю 1888 г. 22 февраля Чехов писал Я. П. Полонскому: «После „Степи“ я почти ничего не делал. Начал было мрачный рассказ во вкусе Альбова, написал около полулиста (не особенно плохо) и бросил до марта». В конце марта Чехов снова возвратился к «Огням». «Пишу повестушку для „Северного вестника“, – сообщал он А. Н. Плещееву, – и чувствую, что она хромает». Несмотря на то,

что Плещеев торопил Чехова, «Огни» писались медленно. 9 апреля Чехов писал Плещееву о повести: «...давно уже пора кончить ее, но – увы! – чувствую, что я ее кончу едва к маю. К прискорбию моему, она у меня не вытанцовывается, т. е. не удовлетворяет меня, и я порешил выслать Вам ее не ранее, пока не поборю ее. Сегодня я прочел всё написанное и уже переписанное начисто, подумал и решил начать опять снова <...> Повестушка скучная, как зыбь морская; я сокращал ее, шлифовал, фокусничал, и так она, подлая, надоела мне, что я дал себе слово кончить ее непременно к маю, иначе я ее заброшу ко всем чертям». Чехов неоднократно упоминал в письмах друзьям о том, что он недоволен повестью и продолжает над ней работать. «Вчера дал прочесть одной девице рассказ, который готовлю для „Сев<ерного> вестн<ика>“, – писал он Короленко 9 апреля 1888 г. – Она прочла и сказала: „Ах, как скучно!“ В самом деле, выходит очень скучно. Пускаюсь на всякие фокусы, сокращаю, шлифую, а все-таки скучно. Срам на всю губернию!»

Из письма Чехова к А. С. Суворину от 30

мая 1888 г. видно, что финал повести в процессе работы претерпел большие изменения; первоначально, в черновом виде, он был иным: «Финал инженера с Кисочкой представлялся мне неважной деталью, запружающей повесть, а потому я выбросил его, поневоле заменив его „Николаем и Машей“». В ответ на предостережение Плещеева не увлекаться излишней отделкой (*Слово*, сб. 2, стр. 245) Чехов писал ему 17 апреля, что дело вовсе не в отделке: «Я переделывал весь корпус повести, оставив в целости только один фундамент. Мне не нравилась вся повесть, а не в деталях <...> Вообще повесть выйдет не из аховых, критики только носом покрутят. Это я не скромничаю. Достоинства повести: краткость и кое-что новенькое...» Однако и в переработанном виде повесть не удовлетворяла Чехова. 18 апреля он сообщил И. Л. Леонтьеву (Щеглову): «Я оканчиваю скучнейшую повестушку. Вздумал пофилософствовать, а вышел канифоль с уксусом. Перечитываю написанное и чувствую слюнотечение от тошноты: противно! Ну, да ничего... Наплювё!»

Повесть была окончена 23 апреля 1888 г.

В тот же день Чехов сообщил об этом Н. А. Лейкину, а 25 апреля Плещееву. 28 апреля редактор «Северного вестника» А. М. Евреинова сообщила Чехову, что накануне получила повесть и «немедленно отправила в набор» (ГБЛ).

Окончив повесть и отослав ее в журнал, Чехов продолжал считать ее неудачной. 3 мая он писал Леонтьеву (Щеглову): «Послал в „Северный вестник“ рассказ. Мне немножко стыдно за него. Скучища и так много философ <...>, что приторно...»

Современники отмечали, что в «Огнях» Чехов изобразил Таганрог. «„Огни“ – это таганрогская жизнь не только по месту действия, но и по характеру изображаемых лиц. <...> Описана дачная местность у моря – Елисаветинский парк (Карантин) <...> главная Петровская улица и „Европейская гостиница“. Действующие лица „Огней“ – таганрогские обыватели, и сама жизнь их – жизнь таганрожцев 80-х годов» (А. Б. Тараховский. А. П. Чехов и Таганрог. – «Солнце России», 1914, июнь, № 228/25). Об этом же писала в 1910 г. газета «Приазовская речь» (№ 42, 17 января). Отмеча-

лось также, что в рассказе инженера Ананьева о посещении города N отразились впечатления от поездки Чехова в Таганрог весной 1887 г. (см. А. Васильев. Краевые мотивы в творчестве А. П. Чехова. – В сб.: А. П. Чехов и наш край. Ростов-на-Дону, 1935, стр. 196–197; Л. П. Громов. Рассказ Чехова «Огни» и его место в творческой биографии писателя. – В сб.: А. П. Чехов. Статьи, исследования, публикации. Ростов-на-Дону, 1954, стр. 100–130; В. Д. Седегов. К вопросу о таганрогских прототипах в произведениях Чехова. – В кн.: Сборник статей и материалов. Литературный музей А. П. Чехова. Вып. 5. Ростовское кн. изд-во, 1969, стр. 67–69).

Повесть вызвала противоречивые отклики друзей и знакомых писателя. Плещеев в письме от 10 мая 1888 г. назвал повесть «прекрасной вещью». «Скуки я не ощутил ни малейшей, читая „Огни“. Щеглов тоже» (ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 321). В письме Ал. П. Чехова к М. П. Чеховой от 8 июля 1888 г. брат передает слова Д. В. Григоровича: «„Огни“ чрезвычайно нравятся всем. Все смыслящие жалеют, что такая прекрасная вещь прошла в летней

книжке журнала. Будь это зимою – наделала бы вещица шуму» (М. П. Чехова. Из далекого прошлого. М., 1960, стр. 53). «Читал Ваши „Огни“ – очень они мне понравились...» – писал Чехову М. Вернер 8 августа 1888 г. (ГБЛ). Понравились «Огни» и критику П. Н. Островскому (брату драматурга), о чем сообщил Чехову Плещеев в письме от 23 июня 1888 г.: «В „Огнях“ он находит материал для большой повести и жалеет, что Вы недостаточно разработали прекрасную идею, положенную в основании их» (ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 248).

Однако Чехов получал и отрицательные отзывы о повести. Так, Лейкин 26 июля 1888 г. писал: «...в „Огнях“ как будто и не Вы» (ГБЛ). Недоумение и неудовлетворенность вызвала финальная фраза повести. Леонтьев (Щеглов) писал Чехову 29 мая 1888 г.: «Вашей последней повестью „Огни“ я не совсем удовлетворен. Что я ее проглотил одним глотком – об этом не может быть разговору, потому что всё, что Вы пишете, так аппетитно-реально, что глотается легко и приятно, но финал: „Ничего не разберешь на этом свете!“ – обрывочен, дело писателя именно разобратся, в осо-

бенности в душе героя, а то его психика не выяснена» (ГБЛ). 9 июня Чехов ответил Леонтьеву (Щеглову): «Относительно конца моих „Огней“ я позволю себе не согласиться с Вами. Не дело психолога понимать то, чего он не понимает. Паче сего, не дело психолога делать вид, что он понимает то, чего не понимает никто. Мы не будем шарлатанить и станем заявлять прямо, что на этом свете ничего не разберешь. Всё знают и всё понимают только дураки да шарлатаны». Суворин, которому Плещеев выслал «Огни» 10 мая, в недошедшем до нас письме, видимо, также писал о том, что вопрос о философии пессимизма недостаточно ясно решен в повести. Чехов возражал ему в письме от 30 мая: «Вы пишете, что ни разговор о пессимизме, ни повесть Кисочки нимало не подвигают и не решают вопроса о пессимизме. Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как бог, пессимизм и т. п.». Говоря далее о требовании Леонтьева «разобраться» в том, что видит художник, Чехов снова повторяет: «Но я с ним не согласен. Пишущим людям, особенно художникам, пора уже сознаться, что на

этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознался Сократ и как сознавался Вольтер <... > Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед».

Однако финальная фраза и в позднейших рецензиях критиков давала повод делать выводы о скептицизме самого Чехова. Так, М. А. Протопопов несколько лет спустя расценил «Огни» как произведение, в котором Чехов воспел как раз то, что хотел опровергнуть, а именно – скептицизм, «метафизический нигилизм». Приведя последнюю фразу «Огней», Протопопов писал, что «такое резюме всех разговоров героев повести о пагубности пессимизма свидетельствует, конечно, о сомнениях, а не об убеждении. Если *ничего не разберешь*, так что и говорить о пессимизме» (М. Протопопов. Жертва безвременья. Повести г. Антона Чехова. – «Русская мысль», 1892, кн. 6, стр. 117).

«Огни» – вторая повесть Чехова, появившаяся в «толстом» журнале, – сразу же вызвала

многочисленные отклики в печати. Критики осудили повесть за ее «тенденциозность» и нерешенность поставленной проблемы. Так, в газете «Новости дня» (1888, № 1773, 14 июня) в обзоре критика Z «На журнальной ниве» Чехов был отнесен «к категории талантливых и добросовестных писателей», дебюты которого, однако, в «Северном вестнике» явно неудачны («произведение „Степь“ оказалось бесцветным, а в новой вещи краски и тени положены слишком густо»). «Это рассказ, – писал автор обзора, – разбавленный с избытком тенденциозной философией. К сожалению, философия притянута не туда, куда следует, не на своем она месте <...> Но почему именно благодаря злополучным „мыслям“ герой сделал пакость, на которую способен человек необразованный и без всяких „мыслей“ – это, конечно, остается вопросом открытым». Аристархов (А. И. Введенский) писал, что Чехов, желая показать, как философия «пессимизма» «не ведет к добру, рассказал <...> довольно грязную и пошлую историю <...> История инженера ровно никакого действительного отношения к пессимизму не имеет <

...> Ананьев в обрисовке автора мало характерен, его дама – еще менее, сама история – верх бесцеремонной непринужденности. „Атаки“ героя со всею обстановкой, нисколько не поучительные, возбуждают в читателе неприятное чувство, но не чувство отвращения к пороку» («Русские ведомости», 1888, № 179, 1 июля). Резко отрицательно о повести отозвался Н. Ладожский (В. К. Петерсен). Сообщая, что Чехов «вооружился против пессимизма в рассказе „Огни“», он писал: «...лучше бы не вооружался, потому что об этих, вовремя не потушенных „огнях“, можно выразиться его же собственными замечательными словами: „Да, ничего не поймешь в этом... рассказе!“ В нем претензия – с коломенскую версту, выполнение – с булавочную головку, да и вообще лучше бы автору вовсе не говорить о том, чего не понимает» («Критические наброски. Среди журналов», – «Русская газета», 1888, № 193, 15 июля).

«Новое время» откликнулось на повесть Чехова большой статьей В. Буренина. Видя заслугу Чехова в том, что он «пытался выразить глубокую идею», критик также считал, что

рассказанный писателем «анекдотический случай» «ничего не подтверждает и ничего не доказывает». Причину неудачи Чехова, «талантливого» создателя маленьких рассказов, Буренин видел в том, что Чехов решил написать «большую» повесть. Критик считал, что «настоящее ядро» рассказа представляют первые три-четыре странички, написанные талантливо и выразительно, и если бы на этом Чехов кончил, «тогда бы вышел прекрасный маленький рассказ в собственном чеховском жанре, рассказ цельный, серьезный и содержательный, несмотря на свою краткость». Но Чехов приделал к нему «хвост» в виде рассказа инженера, и мысль произведения от этого «проиграла, так как получила ложное обобщение, искусственное пояснение, отдающее придуманной моралью. Жизненный мотив рассказа превратился в некоторого рода повествовательную задачку, довольно растянуто и фальшиво обработанную в банальном тенденциозно-беллетристическом жанре» («Критические очерки». — «Новое время», 1888, № 4487, 26 августа).

С не менее резкой статьей выступила и га-

зета «Неделя». Критик Р. Д. (Р. А. Дистерло), одобрительно отозвавшись о первой части «Огней», выполненной «вполне художественно», приводил вторую их часть как пример «извращения творчества под влиянием тенденции». «Здесь у него – искусственность и преднамеренность. Его заинтересовала мысль об отношении пессимизма к нравственности, к поведению человека, и вот, не дожидаясь, пока в душе его мысль эта созреет до степени действительно художественной идеи, он стал искусственно, умом складывать фабулу, из которой бы явствовало, что пессимизм приводит человека к нравственному индифферентизму. Вследствие этого у него вышло не художественное произведение, а лишь притча, разъясняющая его мысль: притча о раскаявшемся пессимисте. Как и во всякой притче, здесь нет художественного образа, нет того, что в искусстве называется типом, а есть только название предмета...» («Две лжи художественного творчества». – «Неделя», 1888, № 37, 11 сентября, стлб. 1178).

Таким образом, почти все московские и петербургские газеты, откликнувшиеся в своих

обзорах на появление «Огней», оценили повесть Чехова как произведение с важной, интересной мыслью, не раскрытой, однако, полно и художественно. И лишь в немногих обзорах отмечалось, что «очерк производит выгодное впечатление своей тщательной отделкой, причем особенно разработана психологическая сторона. Кроме того, подмечено автором несколько верных жизни штрихов, сделаны удачные сопоставления» (А-ъ. Журнальное обозрение. – «День», 1888, № 96, 14 июля).

Оценка «Огней» как не удавшегося Чехову произведения перешла в последующие годы со страниц периодической печати в работы, посвященные обзору литературы тех лет. Теперь уже критика не усматривала в повести даже цельности идейного содержания. Так, А. М. Скабичевский в «Истории новейшей русской литературы» (СПб., 1891), повторяя свои прежние оценки, писал об «отсутствии какого бы то ни было объединяющего идейного начала» в произведениях Чехова. Он считал, что крупные вещи писателя – «Степь» и «Огни» – отличаются «...калейдоскопичностью и отсутствием идейного содержания; это

не цельные произведения, а ряд бессвязных очерков, нанизанных на живую нитку фабулы рассказа» (стр. 416). К. Ф. Головин в работе «Русский роман и русское общество» (СПб., 1897) относил «Огни» к числу тех произведений Чехова, где «отдельные штрихи схвачены верно, иногда даже поразительно метко, и все-таки они не подходят друг к другу, не сливаются в аккорд, а зачастую производят впечатление диссонанса» (стр. 456–457). Короленко, любивший и высоко ценивший Чехова, считал, что в «Огнях» особенно сильно сказалось «грустно-скептическое» настроение писателя тех лет (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 144).

«Огни» – единственное из крупных прозаических произведений Чехова конца 80-х – начала 90-х годов, не включенное им в собрание сочинений.

## Неприятность

**В**первые – «Новое время», 1888, № 4404, 3 июня, стр. 2, и № 4408, 7 июня, стр. 2–3. Заглавие: Житейская мелочь. Подпись: Ан. Чехов.

Вошло в измененном виде и под заглавием «Неприятность» в сборник «Хмурые люди», СПб., 1890; перспечатывалось во всех последующих изданиях сборника.

С небольшими исправлениями включено в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. V, стр. 13–35.

Начало работы над рассказом относится к февралю 1888 г.

22 февраля Чехов писал Я. П. Полонскому: «...начал маленький рассказ для „Нового времени“». 3 мая он сообщал И. Л. Леонтьеву (Щеглову), что на следующий день закончит рассказ, а 4 мая писал брату Александру Павловичу: «Написал „субботник“, но не переписал начисто; вышлю его из Сум». Рассказ был послан в «Новое время» лишь 23 мая (письмо И. П. Чехову, 23 мая 1888 г.).

Готовя рассказ для сборника «Хмурые лю-

ди», Чехов значительно сократил его. В газетном тексте давались более подробные описания внешности Овчинникова и фельдшера, объяснялась конкретная причина, почему нельзя было избавиться от фельдшера («потому что он протеже председателя управы»). Чехов снял упоминания о давней ненависти доктора и фельдшера друг к другу, устранил бранные слова и резкости по отношению к фельдшеру в речи доктора. Убрал Чехов и большой отрывок, описывающий мечты доктора о поездке к Черному морю (см. варианты). Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов внес несколько небольших исправлений.

Прочитав в газете рассказ, Н. А. Лейкин писал Чехову 12 июня 1888 г. (ГБЛ) о своем первом впечатлении: «Мне понравилось очень верно подмеченное у Вас шествие утят...» Позже, сравнивая «Неприятность» с «Огнями», он снова подчеркивал юмористические черты рассказа, говоря, что он «на пять этажей выше „Огней“. Там Вы настоящий Антон Чехов со свойственным Вам юмором...» (письмо от 26 июля 1888 г. – ГБЛ).

Один из первых отзывов о рассказе принадлежит А. И. Эртелю. 26 января 1891 г. он писал В. Г. Короленко: «Помнится мне, что прошлой весной я Вам резко отозвался об А. Чехове. Нынешним летом я имел случай познакомиться с книжкою его последних рассказов, и что Вам скажу, большой это талант. Мало того, в нем есть и серьезное содержание, хотя оно не всегда уловляется казенною меркою „направления“. Так во многих рассказах последнего томика с такою силою указана трагическая власть „мелочей“, – в „Почтальоне“, в докторе, давшем пощечину фельдшеру, – что, право, стоит всякого „направления“» (ГБЛ, ф. 135, II.36.72).

Через несколько лет рассказ был оценен критикой как высокохудожественное произведение, в котором отразилось общественное настроение своего времени. Однако те критики, которые считали Чехова писателем «сумеречного настроения», видели именно в этом рассказе пример тяжелого, болезненно-нервного беспокойства, столь характерного для чеховского героя (Пл. Краснов. Осенние беллетристы. Ан. П. Чехов. – «Труд», 1895, № 1,

стр. 206). М. Столяров в работе «Новейшие русские новеллисты» (Киев, 1901) писал: «В рассказе „Неприятность“ перед нами рисуется обстановка, которая способна поработить человека и удерживать его, несмотря на временные вспышки, на протесты косности окружающего» (стр. 49).

В специальной работе «Медицинские деятели в произведениях А. П. Чехова» («Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к „Ниве“», 1903, № 10 и № 11) Г. П. Задёра делал вывод, что «взятый А. П. Чеховым случай далеко не исключительный» (№ 10, стлб. 313).

На заседании Ученого комитета Министерства народного просвещения 11 января 1902 г. пятый том рассказов Чехова в издании А. Ф. Маркса не был допущен в народные библиотеки и читальни. В докладе члена Комитета Е. П. Ковалевского указывалось, что в рассказе «Неприятность», «несмотря на жизненность» сюжета, представляется «неясной» душевная борьба доктора, «желающего найти самый справедливый выход из положения, но потом поддающегося влиянию окружаю-

щих и заминающего скандал» (ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 172, ед. хр. 1902).

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык.

## Красавицы

**В**первые – «Новое время», 1888, № 4513, 21 сентября, стр. 2. Подпись: Ан. Чехов.

Вошло в переработанном виде в сборник «Между прочим», М., 1894 (ценз. разр. 24 декабря 1893 г.).

С небольшими поправками включено в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 103–112.

Рассказ был написан в течение нескольких дней в сентябре 1888 г. 11 сентября Чехов сообщил брату Александру Павловичу, что начал «писать для „Нового времени“», а уже 15 сентября писал А. Н. Плещееву: «Был один неважный сюжетец, да и тот я уже пустил в дело и в образе небольшого очерка послал в „Новое время“, где я по уши залез в долги».

Для публикации в сборнике Чехов исправил и сократил рассказ: снял некоторые по-

дробности в характеристике армянина, вычеркнул большой отрывок о том, как он «делал выговор» дочери, убрал повторявшиеся описания нестерпимой скуки, царящей в селе Бахчи-Салах. Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов снял некоторые эпитеты, усилил, введя курсивы, смысловое звучание отдельных мест.

Из письма к Антону Павловичу Г. М. Чехова от 11 октября 1888 г. видно, что в рассказе отразились впечатления Чехова-гимназиста (в 1877 г. Чехов был проездом в армянском селе Большие Салы). «Спасибо за рассказ „Красавицы“, – писал Г. М. Чехов, – который напомнил мне моего и твоего дедушку, Карпа-кучера, который тоже приезжал к нам с дедушкой. <....> В образе армянина, к которому ты ездил с дедушкой, я сразу представил себе Назара Минаича Назарова, с настойчивым и безрассудительным характером, представил себе, как он, бывало, хаживал по вечерам к отцу в лавку, выпрашивал табаку на цигарку и погружался в беседу своих рассказов или иначе увлекался, чем и задерживал отца идти домой пить чай. Вспомнил его же-

стокость над мальчиками, которые пробежали, стуча ногами, по ряду...» (ГБЛ).

Рассказ получил высокую оценку современников. Так, А. С. Лазарев (Грузинский) писал о нем 8 октября 1888 г. Н. М. Ежову: «Прелестная вещь по языку и по симпатичному описанию. Психологическая черта – грусть при виде красавиц – подмечена замечательно верно» (ЦГАЛИ, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 19).

В обзорной статье о творчестве Чехова В. Альбов рассказ «Красавицы» вместе с повестью «Степь» относил к тем произведениям, где «слышится глубокая, затаенная тоска по идеалу, которому нет места на земле, тоска по скрытой в жизни красоте, мимо которой равнодушно проходят люди и которая гибнет, никому не нужная и никем не воспетая» («Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова...» – «Мир божий», 1903, № 1, стр. 89).

Черновой отрывок под тем же названием «Красавицы» см. в разделе «Неопубликованное. Неоконченное» (наст. том, стр. 508).

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий язык.

## Именины

Впервые – «Северный вестник», 1888, № 11, стр. 49–89 (ценз. разр. 27 октября). Подпись: Антон Чехов.

В сильно переработанном виде вышло отдельным изданием: «Посредник», М., 1893 (без изменений: изд. 2-е, М., 1894; изд. 3-е, М., 1899).

С небольшими исправлениями включено в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IV, стр. 299–337.

Рассказ был написан по заказу редакции «Северного вестника». 10 августа 1888 г. А. Н. Плещеев писал Чехову: «Редакция обращается к Вам с убедительнейшей просьбой – прислать что-нибудь к *октябрьской* книжке. Страшно нужно. Хоть волком вой с беллетристикой!» (ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 323). 13 августа Чехов обещал Плещееву дать «повестушку» в октябре или ноябре, а 19 августа Плещеев снова напоминал об этом обещании (там же, стр. 324), на что Чехов отвечал 27 августа, что рассказ «*непременно* будет. Размер – 1–2 листа». Плещеев выражал нетерпение и в каж-

дом письме просил прислать рассказ поскорее; 13 сентября он писал: «...Место для вас оставлено» (там же, стр. 330). Но Чехов начал писать лишь 10 сентября. 15 сентября он вынужден был извиниться в письме к Плещееву: «Теперь вижу, что, когда я обещал Вам рассказ для *октябрьской* книжки, в моей голове перепуталась вся арифметика. Едучи в Москву, я решил в сентябре писать для „Сев<ерного> вестника“, кончить к 1–2 октября и послать не позже 5-го октября... Вот это-то канальское „октября“ и перепуталось в моей башке с „октябрьской“ книжкой. Начав писать в начале сентября, я никоим образом не мог бы поспеть к той книжке, которая печатается в сентябре! Прошу убедительно Вас и Анну Михайловну (Евреינוву) простить меня за рассеянность. В ноябрьской книжке рассказ мой будет – это вне всякого сомнения (если не забракуете его). Я пишу его помаленьку, и выходит он у меня сердитый, потому что я сам сердит ужасно...»

Наконец 30 сентября он сообщил Плещееву: «Уф! Сейчас кончил рассказ для „Сев(ерного) вестника“, дорогой Алексей Николаевич!

От непривычки и после летнего отдыха так утомился, что Вы и представить себе не можете. Сажусь переписывать начисто. 5-го октября Вы получите. Рассказ вышел немножко длинный (2 листа), немножко скучный, но жизненный и, представьте, с „направлением“ ...». В письме к А. С. Суворину от 2 октября Чехов жаловался: «Повестушку свою я кончил. Написана она вяло и небрежно, а поправлять нет времени». 5 октября он сообщил Н. А. Леи-кину об окончании повести, «над которою во-зился весь сентябрь». 9 октября в письме к Е. М. Линтваревой Чехов писал о рассказе: «Начало и конец читаются с интересом, но се-редина – жеваная мочалка».

Видя, что рассказ получился длинным, Че-хов, однако, убедительно просил редакцию журнала не производить в нем никаких со-кращений и беспокоился о возможных цен-зурных изъятиях. 4 октября он объяснял Пле-щеву: «Я просил не вычеркивать в моем рас-сказе ни одной строки. Эта моя просьба име-ет в основании не упрямство и не каприз, а страх, чтобы через помарки мой рассказ не получил той окраски, какой я всегда боялся».

10 или 11 октября Чехов снова пояснял Плещееву: «Цензуру я боюсь. Она вычеркнет то место, где я описываю председательство Петра Дмитрича. Ведь нынешние председатели в судах все такие!» Но опасения Чехова на этот раз были напрасны. 22 октября Плещеев сообщил ему: «Цензура из вашей повести ничего ровно не выбросила» (ЛН, т. 68, стр. 336).

Одновременно с просьбой ничего не изменять в рассказе Чехов настаивал на присылке ему корректур (10 октября, Плещееву). Однако и в корректуре произвести исправления Чехову не удалось из-за недостатка времени. Эта спешка чрезвычайно его угнетала. В ответ на упрек Суворина в некоторой недоработанности образа героя в «Именинах» Чехов писал ему 27 октября 1888 г.: «Я понимаю, что я режу своих героев и порчу, что хороший материал пропадает у меня зря... Говоря по совести, я охотно просидел бы над „Именинами“ полгода <...> Я охотно, с удовольствием, с чувством и с расстановкой описал бы *всего* моего героя, описал бы его душу во время родов жены, суд над ним, его пакостное чувство после оправдательного приговора, описал бы, как

акушерка и доктора ночью пьют чай, описал бы дождь...». И далее Чехов рассказывал о той обстановке, в какой писались «Именины»: «... Но что мне делать? Начинаю я рассказ 10 сен<тября> с мыслью, что я обязан кончить его к 5 октября – крайний срок; если просрочу, то обману и останусь без денег. Начало пишу покойно, не стесняя себя, но в середине я уж начинаю робеть и бояться, чтобы рассказ мой не вышел длинен: я должен помнить, что у „Сев<ерного> вестника“ мало денег и что я один из дорогих сотрудников. Потому-то начало выходит у меня всегда многообещающее, точно я роман начал; середина скомканная, робкая, а конец, как в маленьком рассказе, фейерверочный...»

Рассказ в «Северном вестнике» вышел с большим количеством опечаток. Огорченный Чехов писал Плещееву 3 ноября 1888 г.: «А опечаток в моих „Именинах“ видимо-невидимо».

К серьезной переделке и исправлению рассказа Чехов приступил в 1892 г., готовя его для выпуска отдельной книжкой в издательстве «Посредник», (О взаимоотношениях Че-

хова с «Посредником» см. в примечаниях к рассказам «Бабы» и «Жена» в наст. томе и к повести «Палата № 6» в т. VIII Сочинений). Кроме сокращений, которые сам Чехов считал необходимым произвести еще в 1888 г. (сразу же по окончании рассказа), он внес изменения в рассказ в соответствии с критическими замечаниями Плещеева, со многими из которых вынужден был согласиться. Отсылая 4 октября 1888 г. рассказ в «Северный вестник», Чехов просил Плещеева: «Прочитавши мой рассказ, напишите мне. Он Вам не понравится, но Вас и Анны Михайловны я не боюсь. Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и – только, и жалею, что бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским. Фарисейство, тупоумие и произвол дарят не в одних только купеческих домах и кутузках; я

вижу их в науке, в литературе, среди молодежи...». 10 или 11 октября Чехов снова спрашивал Плещеева о том, что его больше всего беспокоило: «Неужели и в последнем рассказе не видно „направления“? <...> Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление? Нет? Ну так, значит, я не умею кусаться или я блоха...»

Прочитав повесть, Плещеев ответил 6 октября подробным письмом (*ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 256–258*). «Всё здесь реально, – писал он Чехову, – правдиво, жизненно... Местами повеяло на меня луфанским воздухом... Фигуры Петра Дмитриевича и жены его – удались Вам и нарисованы во весь рост. Второстепенные лица – тоже выхвачены из жизни <...> Что касается до „направления“, о котором вы мне писали в одном из Ваших писем, то – я не вижу в Вашем рассказе никакого направления. В принципиальном отношении тут нет ничего ни против либерализма, ни против консерватизма; и я решительно не понимаю, почему – если б выкинуть из повести одну или две фразы, – она бы приобрела тенденциозный характер? Ни либеральной, ни консерватив-

ной она бы не сделалась». Считая, что Чехов показал в своем герое не консерватора, а «просто пустого человека», «лгуна и мелкую натуришку», Плещеев спрашивал: «Антон Павлович – нет ли у Вас тоже некоторой боязни – чтоб Вас не сочли за либерала? Вам прежде всего ненавистна фальшь – как в либералах, так и в консерваторах. Это прекрасно...»

В подробном ответном письме Плещееву от 9 октября Чехов, благодаря его за откровенное мнение о рассказе, писал: «Мне кажется, что меня можно скорее обвинить в обжорстве, в пьянстве, в легкомыслии, в холодности, в чем угодно, но только не в желании казаться или не казаться... Я никогда не прятался <...> Правда, подозрительно в моем рассказе стремление к уравниванию плюсов и минусов. Но ведь я уравниваю не консерватизм и либерализм, которые не представляют для меня главной сути, а ложь героев с их правдой...». Готовя рассказ для отдельного издания, Чехов всё же снял прямые суждения о консерватизме и либерализме, заменив их более общими определениями. Ис-

ключил Чехов и большой отрывок в конце первой главы.

Отстаивая свое понимание «направления» в рассказе, Чехов в то же время согласился с другими замечаниями Плещеева и, переделывая рассказ для отдельного издания «Посредника», большинство из них учел. Так, Плещеев упрекал Чехова в том, что он смеется над украинофилом и советовал его из рассказа выбросить. «Мне сдается, что Вы, изображая этого украинофила, имели перед собой Павла Линтварева» (ГБЛ). Чехов отвечал, что он не имел в виду Линтварева. «Я же имел в виду тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки». Однако Чехов всё же исключил из рассказа этого бородатого нахмуренного гостя, одетого в «рубаху с шитьем, какое носил гетман Полуботок».

Плещеев считал, что Чехов высмеял «чело-

века 60-х годов, застывшего в идеях этой эпохи» – и спрашивал: «...за что собственно? Вы сами прибавляете, что он искренен и что дурного он ничего не говорит...»[74] «Что же касается человека 60-х годов, – отвечал Чехов, – то в изображении его я старался быть осторожен и краток, хотя он заслуживает целого очерка. Я щадил его. Это полинявшая, недеятельная бездарность, узурпирующая 60-е годы; в V классе гимназии она поймала 5–6 чужих мыслей, застыла на них и будет упрямо бормотать их до самой смерти <...> он глуп, глух, бессердечен. Вы бы послушали, как он во имя 60-х годов, которых не понимает, брюзжит на настоящее, которого не видит <...> Шестидесятые годы – это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его – значит опошлять его. Нет, не вычеркну я ни украинофила, ни этого гуся, который мне надоел!» И тем не менее Чехов удалил из рассказа всю пространную характеристику дядюшки Николая Николаича. Смягчил Чехов и описание «земского деятеля». Снял также конец третьей главы, где снова описывались «земские деятели», но уже глазами местных

дам – их молодых жен.

Переделывая рассказ, Чехов помнил и об упреке в подражании художественной манере Толстого. Плещеев писал в том же письме: «...разговор Ольги Михайловны с бабами о родах, и та подробность, что затылок мужа – вдруг бросился ей в глаза, отзывается подражанием „Анне Карениной“, где Долли также разговаривает в подобном положении с бабами; и где Анна вдруг замечает уродливые уши у мужа». «Вы правы, что разговор с беременной бабой смахивает на нечто толстовское, – отвечал Чехов. – Я припоминаю. Но разговор этот не имеет значения; я вставил его клином только для того, чтобы у меня выкидыш не вышел ex abrupto (вдруг). Я врач и посему, чтобы не осрамиться, должен мотивировать в рассказах медицинские случаи. И насчет затылка Вы правы. Я это чувствовал, когда писал, но отказаться от затылка, который я наблюдал, не хватило мужества: жалко было». Готовя рассказ для отдельного издания, Чехов выбросил рассуждения о затылке и значительно сократил размышления Ольги Михайловны о муже, ее обиды, досаду и

страх.

Очевидно, по совету Плещеева Чехов снял и заключительную сцену прощания Петра Дмитриевича с доктором. Плещеев писал о ней: «Мне показалось также не совсем правдивым в конце повести, что Петр Дмитриевич, только что плакавший перед женой о ребенке, – едва успел выйти в другую комнату – как начал уже ломаться и комедианствовать. Несомненно, что человек этот никогда не перестанет лгать; что он на другой же день – может быть – напустит на себя свой обычный фальшивый тон... Но чтоб он *минуту спустя* после искреннего порыва и слез принялся за лганье, – воля Ваша, это мне кажется шаржированным, неверным». В ответ Чехов разъяснял Плещееву: «Правы Вы также, что не может лгать человек, который только что плакал. Но правы только отчасти. Ложь – тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая».

Сократил Чехов и некоторые повторы, излишне подробные описания (разговоры гостей, их разъезд, развлечения, приготовление чая); убрал старика Захара. Возможно, это было сделано под влиянием замечания Плещее-

ва: «...середина повести – признаюсь Вам – скучновата. Очень долго действие топчется на одном месте; повторяются иногда даже одни и те же выражения, так что читатель вместе с хозяевами начинает желать, чтоб гости разъехались поскорей».

При переизданиях рассказа в «Посреднике» Чехов следил за перепечаткой текста и читал корректуру (см. письмо И. И. Горбунову-Посадову от 24 сентября 1898 г.). Однако существенных исправлений текста Чехов не производил, и разночтения 1-го и 3-го изданий невелики. Все эти разночтения, в ряде случаев, по-видимому, неавторского происхождения, из 3-го издания «Посредника» без изменения перешли в издание А. Ф. Маркса.

Для издания Маркса Чехов произвел ряд дополнительных сокращений: убрал оставшиеся упоминания о либерализме, снял подробности в описании родов, разговоров о болезни. Были внесены также многочисленные мелкие поправки.

Первым читательским откликом был отзыв Лейкина. «Есть места очень хорошие, – писал он Чехову 7 ноября 1888 г. – Отучил

только Вас этот „Северный вестник“ писать весело!» (ГБЛ). Чехов сообщал друзьям о том, что рассказ прежде всего понравился женщинам. «Своими „Именинами“ я угодил дамам. Куда ни приду, везде славословят. Право, недурно быть врачом и понимать то, о чем пишешь. Дамы говорят, что роды описаны верно» (Суворину, 15 ноября. Ср. письмо Плещееву от 13 ноября). Врач Е. М. Линтварева общала писателю: «В Сумах Ваши „Именины“ произвели большую сенсацию, которая выражалась иногда очень комично» (ГБЛ).

В первых же печатных критических отзывах отмечалась глубина психологического анализа и художественность рассказа. Так, постоянный обозреватель газеты «Новости дня» (В. В. Кузьмин) писал: «Рассказ написан мастерски: ярко, тепло, художественно, просто и правдиво <...> Превосходно отмечен момент психологического кризиса у больной женщины...» (Читатель. Заметки читателя. – «Новости дня», 1888, № 1944, 2 декабря). Критик «Русских ведомостей» указывал, что «психологический анализ, весьма яркий и глубокий, составляет всю суть, всё значение произ-

ведения. Г. Чехов по временам и по местам в этом психологическом анализе неподражаем, необыкновенен...» (Ар. <А. И. Введенский>. Журнальные отголоски. – «Русские ведомости», 1888, № 333, 3 декабря). На глубину психологического анализа указывали также Н. Веневич <В. К. Стукалич> («Очерки современной литературы». – «Русский курьер», 1888, № 319, 18 ноября) и критик А-ъ («Журнальное обозрение». – «День», 1889, № 219, 5 января).

Тонкое изображение психологии отмечала в рассказе и более поздняя критика. Так, П. П. Перцов в статье «Изъяны творчества. Повести и рассказы А. Чехова» («Русское богатство», 1893, № 1) писал, что изображение душевного состояния беременной женщины, измученной хлопотливым днем именин, раскрывает нам, каков Чехов «как психолог, как наблюдатель потаенной внутренней жизни человека, помыслов и душевных движений, зарождающихся в интимной глубине его „я“...» (стр. 48). Однако тонкий психологический анализ, юмор, яркий рисунок и свежие живые картины природы не искупают, по мне-

нию Перцова, основного недостатка в целом «неудачного» рассказа «Именины» – его отрывочность, неясность, непродуманность содержания и непонимание автором общественной стороны жизни.

Как и при оценке других произведений Чехова этого периода, журнальные обозреватели единодушно говорили о растянутости сюжета рассказа. Признавая «глубокий талант в авторе», А. И. Введенский писал, однако, о «бесконечной веренице» подробностей, вредящих «художественной целостности» («Русские ведомости», 1888, № 333, 3 декабря). Н. Ладожский (В. К. Петерсен) считал, что рассказ «длинноват и скучноват» («Критические наброски». – «Санкт-Петербургские ведомости», 1888, № 326, 25 ноября); Читатель (В. В. Кузьмин) полагал, что «талантливый рассказ Чехова ничего бы не потерял, если бы автор чуточку посократил его» («Новости дня», 1888, № 1944, 2 декабря). Подобные мнения о рассказе высказывались и позднее. В книге К. Ф. Головина «Русский роман и русское общество» рассказ «Именины» служил примером неумения Чехова дать целостную

картину жизни (см. примечания к рассказу «Огни»). Головин утверждал, что произведениям Чехова свойственно «отсутствие гармонии между фактами жизни и ощущениями людей...». «Кричащий диссонанс» (появление на свет нового человека и пошлые разговоры) «придуман автором без всякой внутренней связи между характерами действующих лиц и событиями дня именин. И нужна была г. Чехову как раз такая случайность, чтобы семейный праздник и появление на свет ребенка непременно совпали в один и тот же день и вдобавок, чтобы все приглашенные оказались нелепейшими и глупейшими людьми» (стр. 457). «Мелкие подробности жизни» подобраны тонко, «а в целом, – делал вывод Головин, – ни жизненной драмы, ни картины быта, ни даже характера не выходит» (там же).

Делались попытки сближения художественной манеры Чехова и Толстого. Р. Дистерло в «Неделе» писал, что рассказ создан «совершенно в духе и в стиле графа Толстого». «Здесь жизнь русского интеллигента, помещика и земского деятеля, рассматривается не с точки зрения красоты, а исключительно

с точки зрения правды. В изображении автора жизнь эта представляется целиком наполненной ненужною ложью перед собой и людьми. По тону рассказ чрезвычайно напоминает „Смерть Ивана Ильича“. Оба рассказа одинаково вызывают отвращение к изображаемой жизни». Разницу критик видел в «некоторой придуманной искусственности действия у Чехова» в сравнении с «природой и естественностью Толстого» (Р. Д. Современная русская литература. – «Неделя», 1889, № 1, 1 января, стлб. 34).

Еще до появления рассказа в собрании сочинений он начал переводиться на иностранные языки. Сохранилось письмо к Чехову от 25 ноября 1897 г. переводчика Вольфгейма Германа из Берлина: «Читаю прелестный рассказ Ваш „Именины“ и хотел бы перевести его на немецкий язык. Осмеливаюсь затем обратиться к Вам с просьбой дать мне позволение» (ГБЛ). Разрешение Чехова на перевод было получено, что видно из письма Германа от 18 декабря того же года.

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий, сербскохорватский и шведский

## Припадок

**В**первые – сборник «Памяти В. М. Гаршина», СПб., 1889 (ценз. разр. 29 ноября 1888 г.), стр. 295–319. Подпись: Антон Чехов.

С исправлениями вошло в сборник «Хмурые люди», СПб., 1890, и включалось во все последующие его издания.

Перепечатано (по тексту 4-го издания «Хмурых людей») в сборнике «Проблески», М., изд. «Посредник», 1895.

Вошло с поправками в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. V, стр. 176–203.

24 марта 1888 г. трагически погиб В. М. Гаршин. Чтобы почтить память писателя, а также с целью создания фонда для сооружения памятника, возникла мысль об издании сборника «Памяти Гаршина». Работу над таким сборником начали одновременно сотрудники газеты «Новости» с К. С. Баранцевичем во главе и редакция журнала «Северный вестник» в лице А. Н. Плещеева. 29 марта Баран-

цевич просил Чехова прислать что-нибудь для сборника: «Что ни дадите – напечатанное или нет – пойдет всё» (ГБЛ). Чехов ответил ему на следующий же день: «Мысль Ваша заслуживает и сочувствия, и уважения уж по одному тому, что подобные мысли, помимо их прямой цели, служат еще связующим цементом для немногочисленной, но живущей вразброс и в одиночку пишущей братии. Чем больше сплоченности, взаимной поддержки, тем скорее мы научимся уважать и ценить друг друга <...> Я непременно пришлю что-нибудь для сборника...».

В этот же день, 30 марта, отправил Чехову аналогичную просьбу и Плещеев: «Пожалуйста, дайте хоть маленький рассказец. Все статьи будут бесплатные». При этом Плещеев предупреждал: «Такой же сборник затеяли сотрудники „Новостей“ с Баранцевичем и Лихачевым во главе. Питаем надежду, что Вы не отдадите им предпочтения перед нами» (ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 314). 31 марта Чехов ответил Плещееву: «Вчера я послал Баранцевичу согласие участвовать в его сборнике „Памяти Гаршина“. Ваше приглашение пришло позд-

но. Как мне быть?» Плещеев в письме к Чехову от 2 апреля подробно описывал совещание по поводу Гаршинского сборника: «Привлекли мы туда и Баранцевича с К°, заявившей о своем издании, думая слиться с ними и из двух сборников составить один. Но мы так расходимся в плане и вообще во взглядах на этот сборник, что порешили: пускай издает каждый из двух кружков свой особый сборник. Они торопятся, чтобы как-нибудь, тяп да ляп, поскорей сварганить и пустить в продажу <...> Мы намерены составить свою книжку посолиднев» (ЛН, т. 68, стр. 318). Что касается участия Чехова, то Плещеев советовал ему в сборник Баранцевича, который «новых произведений у авторов не просит», дать что-либо уже напечатанное, а в его сборник «дать маленький ненапечатанный рассказец, который Вы успеете еще приготовить к 1 августа (крайний срок)». «Очень жаль, что „Север<ный> вестник“ и Баранцевич не пришли к соглашению. Два сборника, освященных одной и той же целью и выходящих один тремя месяцами раньше другого, составляют чувствительное неудобство друг для друга», – от-

вечал Чехов Плещееву 4 апреля. Последний продолжал упорно просить «непременно» дать рассказ в его сборник, и Чехов уклонился от посылки какой-либо вещи в сборник Баранцевича (сборник «Красный цветок», СПб., 1889, вышел без участия Чехова).

Просьбу о рассказе Плещеев повторил 13 сентября: «Мне поручено слезно умолять Вас, чтоб Вы дали что-нибудь, хоть очень коротенькое, хоть на 1/2 листика, если не можете более <...> Пожалуйста, не откажите. Сделайте это для меня, голубчик» (*ГБЛ; ЛН*, т. 68, стр. 329–330). 15 сентября Чехов ответил: «Не дать рассказа – не хочется», потому что таких людей, как Гаршин, «я люблю всей душой», но «у меня решительно нет тем, сколько-нибудь годных для сборника. <...> Впрочем, есть у меня еще одна тема: молодой человек гаршинской закваски, недюжинный, честный и глубоко чуткий, попадает первый раз в жизни в дом терпимости. Так как о серьезном нужно говорить серьезно, то в рассказе этом все вещи будут названы настоящими их именами. Быть может, мне удастся написать его так, что он произведет, как бы я хотел, гнету-

щее впечатление; быть может, он выйдет хорош и сойдется для сборника, но поручитесь ли Вы, милый, что цензура или сама редакция не выхватят из него то, что в нем я считаю за важное? <...> Если поручитесь, что *ни одно* слово не будет вычеркнуто, то я напишу рассказ в два вечера». В ответ Плещеев заверил Чехова, что «сборник будет бесцензурный» и «ничего не будет изменено» в рассказе. 9 октября 1888 г. Чехов сообщил, наконец, Плещееву, что завтра садится за рассказ. «Когда он выльется в нечто форменное, то я уведомлю Вас и обеспечу обещанием. Готов он будет, вероятно, не раньше будущего воскресенья». Однако Чехов работал над «Припадком» не неделю, а месяц. 2 ноября Плещеев в отчаянии писал: «Вы нас губите <...> Ради всего святого, поторопитесь» (ЛН, т. 68, стр. 336). «Рассказ <...> уже начат (1/4 сделана...)», – ответил Чехов 3 ноября и просил дать ему «одну неделю сроку». «Описываю Соболев пер<еулок> с домами терпимости, но осторожно, не ковыряя грязи и не употребляя сильных выражений». Через неделю, 10 ноября, Чехов сообщил Плещееву о том, что «рас-

сказ близится совсем к концу». «Завтра или послезавтра кончу, перепишу, а в понедельник в 3 часа дня Вы его уже получите. Я пишу и всё время стараюсь быть скромным, скромным до скуки. Предмет, как мне кажется, настолько щекотлив, что малейший пустяк может показаться слонем. Думаю, что рассказ не будет резко выделяться из общего тона сборника. Он у меня грустный, скучный и серьезный». 11 ноября Чехов писал А. С. Суворину: «Сегодня я кончил рассказ для „Гаршинского сборника“ – словно гора с плеч <...> Накатал чуть ли не 2000 строк. Говорю много о проституции, но ничего не решаю. Отчего у Вас в газете ничего не пишут о проституции? Ведь она страшнейшее зло. Наш Соболев переулочек – это рабовладельческий рынок». И, наконец, 13 ноября рассказ был отделан, переписан и послан. Но он получился шире, серьезнее и вышел за рамки задуманного ранее «маленького рассказа», который был заказан для сборника. «Получили? Прочли? – писал Чехов Плещееву. – Небось, сердитесь? Рассказ совсем не подходящий для альманашно-семейного чтения, неграциозный и отдает

сыростью водосточных труб. Но совесть моя по крайней мере покойна: во-первых, обещание сдержал, во-вторых, воздал покойному Гаршину ту дань, какую хотел и умел. Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки. Что касается девок, то по этой части я во времена оны был большим специалистом».

Получив «Припадок», Плещеев писал Чехову 16 ноября: «Мне рассказ этот понравился, напротив, понравилась его серьезность, сдержанность, понравился и самый мотив. Но всё же мы очень боимся, чтоб цензура не вырезала его из сборника. Она не любит, чтоб касались „этого предмета“. Насчет целомудрия строга» (*ГБЛ; ЛН*, т. 68, стр. 338). 23 ноября Чехов писал Е. М. Линтваревой: «Рассказ велик и но очень глуп. Прочтется он с пользой и произведет некоторую сенсацию. Я в нем трактую об одном весьма щекотливом старом вопросе и, конечно, не решаю этого вопроса».

В образе Васильева Чехов отразил многие черты Гаршина: его чувство ответственности за человека и его страдания, боль от сознания

бессилия изменить порядок вещей. Чехов писал Суворину 11 ноября 1888 г.: «В этом рассказе я сказал свое, никому не нужное мнение о таких редких людях, как Гаршин».

В 1891 г., уже после того как «Припадок» вышел в сборнике «Хмурые люди», И. И. Горбунов-Посадов просил у Чехова разрешения издать рассказ в сборнике «За падших». Цель сборника – широкое распространение произведений, близких «по идеям и чувствам» массовому читателю. Чехов ответил, что «будет очень рад», если рассказ будет издан; но сборник, не пропущенный цензурой, не вышел. В 1893 г. Горбунов-Посадов просил у писателя разрешения поместить рассказ в новый предполагаемый сборник – «Действительность». Чехов решительно возразил: «„Припадок“ помещен в сборнике Гаршина и в моем сборнике „Рассказы“. Читатель немало будет удивлен, если увидит его еще и в сб. „Действительность“». «Выйдет так, что читатель за каждый мой рассказ будет платить два-три и даже четыре раза, а это уж совсем неловко» (письмо от 20 мая 1893 г.). Однако два года спустя Горбунов-Посадов все же опубликовал «Припа-

док» в сборнике «Проблески».

Готовя рассказ для публикации в сборнике «Хмурые люди», Чехов внес в него отдельные мелкие поправки. При переиздании сборника в тексте рассказа появлялись отдельные разночтения, по-видимому, связанные с новым типографским набором (менялись формы глаголов, варьировалась пунктуация, исчезли некоторые курсивы). В сборнике «Проблески» рассказ был перепечатан без изменений (это указано и в примечании) из сборника «Хмурые люди» 1894 г. – т. е. с 4-го или 5-го его издания.

Для издания же А. Ф. Маркса Чехов исправил рассказ, сделав в тексте значительные сокращения – убрал из VI главы объяснение, почему спасение женщин нужно видеть не в науках и искусствах, а в «апостольстве»; в споре Васильева с медиком снял рассуждения последнего в защиту публичных домов и гневные возражения Васильева. В то же время Чехов внес в рассказ добавления, например, в характеристику женщин («Это были не погибающие, а уже погибшие»), произвел ряд замен иноязычных слов – русскими.

Рассказ, несмотря на опасения Чехова, был оценен современниками как один из лучших. Если Плещееву он понравился за «серьезность и сдержанность», то Горбунова-Посадова привлекало «глубоко нравственное впечатление», которое производил рассказ. «... Рад случаю пожать от души руку автору „Припадка“, – писал он Чехову 9 марта 1891 г., – и пожелать ему подарить русскую литературу не одним еще столь же значительным произведением» (ГБЛ).

8 декабря 1888 г. Чехов сообщал А. П. Ленскому: «В понедельник я читаю в Литературном обществе свой новый рассказ. Прения будут интересные. Придется ставить свою шею под удары таких неотразимых диалектиков, как адвокаты Андреевский и кн. Урусов. Впрочем, с нами бог!». 12 декабря 1888 г. «Припадок» был прочитан в Петербурге в Русском литературном обществе актером В. Н. Давыдовым и вызвал оживленные ирония. 13 декабря кн. Д. П. Голицын (псевд. Муравлин) описывал Чехову впечатление от прослушанного: «Рассказ *написан* превосходно. Так же, как большинству Ваших слушателей (вернее,

слушателей Давыдова), мне первая часть нравится больше второй, потому что изложена с замечательной простотой и, вместе с тем, с большим искусством». Однако Голицын всё же возражает именно против этой части, считая, что впечатление от рассказа было бы «несравненно приятней», если бы Чехов не водил своих героев по публичным домам. «Рассказ Ваш понравился и понравится всем, – заключает он, – потому что у Вас большой талант. Написан он, повторяю, удивительно хорошо, но в первой части, на мой взгляд, Вы явились художником нехудожественного» (ГБЛ; «Из архива А. П. Чехова. Публикации». М., 1960, стр. 178–179).

Против упреков подобного рода решительно выступил Д. В. Григорович, который послал 27 декабря 1888 г. Чехову письмо с подробным анализом «повести». «Мнение мое, – писал он, – диаметрально противоположно мнению лиц, возмущающихся цинизмом мотива, и тех также, которые находят, что припадок главного лица ничем не мотивирован в начале рассказа. Первое обвинение – сущий вздор, хуже того: сквозь него просвечивает

лицемерие, которое начинает теперь быть в моде. „Невский проспект“ Гоголя, где быт дома разврата обрисован гораздо подробнее, никого не возмущал даже в то время, когда такие сюжеты считались немыслимы в литературе не только у нас, но и во Франции. 2-е обвинение объясняется небрежностью читателя <...> или же просто недостатком верного литературного чутья. С первых страниц видно, что Васильев в высшей степени нервная, болезненно-впечатлительная натура <...>. Припадок, напротив, готовится постепенно с замечательным искусством; чувствуешь, что Васильев неизбежно кончит чем-нибудь трагическим, и, горячо всё время ему сочувствуя, радуешься, что дело обошлось, разрешилось только припадком...». Далее, Григорович говорит, что главное лицо в повести совсем не Васильев, а суть дела в «высоком человеческом чувстве, которое от начала до конца повести всё в ней освещает и всё оправдывает; меня по крайней мере чувство это преследовало всё время и хватало за душу». Григорович останавливается на отдельных художественных особенностях «Припадка»: «Ве-

чер с сумрачным небом, только что выпавшим и падающим мокрым снегом, – выбран необыкновенно счастливо; он служит как бы аккордом меланхолическому настроению, разлитому в повести, и поддерживает его от начала до конца. Впечатления природы переданы у Вас с большим еще мастерством, чем в других Ваших рассказах; несколько строк всего, – но всё так глубоко прочувствовано, так мастерски передано, – что точно сам переживаешь впечатленье. Страница 296, строки от 6-й до 11-й – просто прелесть! Я бесился, что никто не оценил строчку 6-ю на 308-й странице, и были, говорили мне, еще поэты при чтении в литературном обществе» (ГБЛ). (Строка, так понравившаяся Григоровичу: «И как не стыдно снегу падать в этот переулок!», была при подготовке издания Маркса заменена на: «И как может снег падать в этот переулок!»). 23 декабря 1888 г. Чехов писал Суворину: «Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой „Припадок“ всюю, а описание первого снега заметил один только Григорович».

После выхода сборника «Памяти Гаршина»

Плещеев, огорченный тем, что сборник Баранцевича «Красный цветок» получил хвалебный отзыв, а его сборник обойден молчанием, писал Чехову 31 декабря 1888 г.: «Посылая Суворину экземпляр, за который он заплатил двадцать пять рублей, я писал ему, что за двадцать пять рублей мы ему благодарны, но хорошо бы дать о сборнике отзыв; тем более, что о „Красном цветке“ был дан. Но до сих пор все-таки нет ничего. Суворина я не считал способным на это, а думал даже, что сам он скажет сочувственное слово. Он бы сделал это умно и талантливо, если б только захотел написать» (ЛН, т. 68, стр. 341). 3 января 1889 г. Чехов запрашивал Суворина: «Отчего у Вас ни слова не сказали о „Памяти Гаршина“? Это несправедливо». (Вскоре «Новое время» в лице В. Буренина дало отрицательную оценку сборнику в целом; см.: «Критические очерки». – «Новое время», 1889, № 4632, 20 января.)

22 декабря 1888 г. «Новости и биржевая газета» в литературной хронике отметила выход обоих сборников, посвященных Гаршину. Хотя в них нечего искать шедевров, писал

А. Скабичевский, «зато вы встретите здесь такие ценные вещи, как „Ворон челобитчик“ – сказку Н. Щедрина, как „Припадок“ Ант. Чехова, как „На Волге“ В. Короленко, – вещи, которые вы прочтете с наслаждением» (№ 353). В рецензиях «Новостей дня» (1888, № 1970, 29 декабря, 1889, № 1976, 5 января) «Припадок» особо выделялся из беллетристического отдела сборника.

По выходе третьего издания сб. «Хмурые люди» журнал «Труд» в разделе «Новые книги» поместил краткий обзор сборника, особо отметив в нем «Припадок» Чехова. Остановившись на образе главного героя, обозреватель М. Белинский (И. И. Ясинский) писал, что «Васильев типичен для большей части русской молодежи» (1892, № 2, стр. 479).

В. А. Гольцев, в публичной лекции, прочитанной в пользу Московского комитета грамотности, выделял в рассказе, как и Григорович, в первую очередь его глубокую гуманность. «Всегда и везде симпатии Чехова на стороне униженных и оскорбленных, на стороне искренности и правды, против условного лицемерия и фарисейского благочестия»

(В. Гольцев. А. П. Чехов. Опыт литературной характеристики. – «Русская мысль», 1894, № 5, стр. 44). Однако критики ставили Чехову в вину то, что «обнажая зло», он «видел бессилие мечты». Так, В. Альбов в работе «Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова...» («Мир божий», 1903, № 1) относил «Припадок» к числу тех рассказов Чехова, где «мечта, порыв <...> неизменно гибнут, часто едва родившись на свет», и при этом «не разберешь, где кроется причина их гибели, во внешних или во внутренних условиях» (стр. 98–99).

И. Л. Леонтьев (Щеглов), считая рассказ «надуманным и сухим», писал Чехову 25 марта 1890 г., что «Лев Толстой очень верно подметил фальшивую ноту в „Припадке“: „герой должен был употребить, а уж после мучиться!“» (ГБЛ).

Несмотря на выход «Припадка» отдельным изданием и публикацию его в сборниках, Чехов в течение многих лет получал всё новые просьбы дать разрешение на издание рассказа. Например, издатель М. Ф. Тихомиров спрашивал 27 января 1900 г. позволения издать

«Припадок» в серии «Общедоступных книжек». Получал Чехов и просьбы дать разрешение на перевод произведения.

На заседании Ученого комитета Министерства народного просвещения 11 января 1902 г. пятый том рассказов Чехова в издании А. Ф. Маркса не был допущен в народные библиотеки и читальни. В докладе члена Комитета Е. П. Ковалевского «Припадок» был выделен, как один из трех рассказов, вызывающих наибольшие возражения. «„Припадок“ представляет из себя проповедь против проституции, но в нем же признается бессилие отдельных людей бороться с этим злом». Однако Ковалевский указывал, что «...в описании посещения притонов не встречается <...> ни грубых выражений, ни соблазнительных картин, так что неудобным может показаться только самый сюжет, а не его освещение или форма рассказа» (ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 172, ед. хр. 1902).

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий, сербскохорватский и шведский языки.

## Сапожник и Нечистая сила

**В**первые – «Петербургская газета», 1888, № 355, 25 декабря, стр. 2. Подпись: Ан. Чехов.

В переработанном виде вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 323–331.

Рассказ написан по заказу редакции «Петербургской газеты». 17 декабря 1888 г. Чехов писал А. С. Суворину: «Получил я от Худекова телеграмму. Просит прислать ему к Рождеству рассказ в 200 строк и предлагает за сие сто рублей. Постараюсь нацарапать какую-нибудь кислятинку», а через два дня сообщил ему же: «Сегодня я буду писать Худекову на такую жалкую тему, что совестно. Не писал бы, да сто рублей не хочется потерять». К рассказу Чехов приступил 20 декабря. «Сажусь писать рассказ для „Петербургской газеты“, – писал он в этот день И. Л. Леонтьеву (Щеглову), а уже 22 декабря сообщил Н. А. Лейкину, что «послал Худекову рассказ».

Рассказом Чехов был недоволен. «Мне

стыдно за него», – писал он Суворину 23 декабря. Когда же Суворин выразил сожаление, что «Сапожник и нечистая сила» появился в «Петербургской газете», а не в «Новом времени», Чехов объяснил ему: «Дать Вам рассказ, который кажется мне гадостью, я не могу ни за какие блага в мире, иначе бы я сандалил в Вашей газете каждую неделю и имел бы деньги <...> Надо ведь хоть одну газету щадить, да и свою нововременскую репутацию беречь. А „Петерб<ургская> газета“ всё съест».

Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов основательно переделал его: не оставил нетронутым почти ни одного абзаца; внес сцену в аду; снял два эпизода, в которых описывалось, как сапожник, став богатым, жульничал и мошенничал. Существенно изменил Чехов сцену, в которой сапожник подписывал нечистому «договор» о продаже своей души. Из лексической правки следует отметить уменьшение просторечной экспрессии в речи сапожника.

Друзья и знакомые Чехова отнеслись к рассказу по-разному. Лейкин писал ему 30–31 декабря 1888 г.: «Рассказ хоть и не в чехов-

ском духе, а в толстовском, но премиленький» (ГБЛ). Плещеев же считал, что «сказку» «нельзя одобрить» (письмо от 3 января 1889 г.; ЛН, т. 68, стр. 343). «Русская мысль» в своей рецензии на первый том «Рассказов» Чехова отметила в его творчестве, кроме легкого юмора, и «прекрасно выраженный трагизм человеческого существования». «Посмотрите, какой печальной нотой звучит конец рассказа „Сапожник и нечистая сила“» (1900, кн. 3, стр. 84).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский и сербскохорватский языки.

## Пари

**В**первые – «Новое время», 1889, № 4613, 1 января, стр. 1–2. Заглавие: Сказка. Подпись: Ан. Чехов.

В переработанном виде и с новым заглавием: «Пари» вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IV, стр. 290–298.

Окончив 22 декабря 1888 г. рассказ «Сапожник и нечистая сила», Чехов в этот же день начал писать новый рассказ-сказку для А. С. Суворина, который был обижен тем, что Чехов поместил предыдущий рассказ не в его газете (см. примечания к рассказу «Сапожник и нечистая сила»). Рассказ был обещан Суворину еще 19 декабря: «К Новому году дам сказку», – писал ему Чехов, а 23 декабря сообщил, что «вчера вечером» начал ее писать. 28 декабря он извещал Суворина: «Сказка для новогоднего № уже почти готова. 30-го Вы ее получите, если же что помешает мне сегодня кончить ее, то Вы получите ее 31-го. Это непременно. Сказка интересная. Строк 400–500». Кончается это письмо сообщением:

«Сказку я кончил и посылаю».

Готовя рассказ для издания Маркса, Чехов изменил заглавие и внес исправления в первые две главы – произвел небольшие сокращения, заменил имена писателей, чьи книги читал студент в заточении (Шекспир, Байрон, Гомер, Вольтер, Гёте), словом «классики»; убрал фразу: «Последнею книгой, которую он прочел, был „Дон-Кихот“ Сервантеса, а предпоследней „В чем моя вера“ гр. Толстого...»

Самое существенное исправление заключалось в том, что Чехов целиком снял третью главу, изменив тем самым основную идею рассказа. Если во второй главе, на которой обрывается сказка, студент, просидев в заточении 15 лет, отказывается от двух миллионов, то в третьей главе, имевшейся в ранней редакции, он неожиданно появлялся в доме банкира и просил выигранные им деньги. Такой финал рассказа вызвал недоумение некоторых читателей (в чем же видит Чехов смысл жизни?). Так, А. Н. Плещеев писал ему 3 января 1889 г., что Д. В. Григорович, высоко оценивший другие рассказы Чехова этих лет (см. примечания к рассказу «Огни»), «...недо-

волен <...> сказкой, напечатанной в „Новом времени“. От других тоже слышал отзыв, что она непонятна... как будто это прославление денег... что они всё в жизни» (ЛН, т. 68, стр. 343).

7 июня 1903 г. врач А. Н. Попова обратилась к Чехову с просьбой разрешить ее спор с доктором (В. В. Чеховым): он утверждал, что читал рассказ «Пари» с иным, совершенно противоположным концом, чем тот, который известен по изданию Маркса (ГБЛ; Г. Прохоров . История одного рассказа. Неопубликованное письмо А. П. Чехова. – «Литературная газета», 1934, № 88, 14 июля). 17 июня Чехов ответил, что доктор совершенно прав. «В „Новом времени“ в восьмидесятых годах у меня был напечатан рассказ с таким концом, как он рассказывал Вам. Впоследствии, когда я читал корректуру, мне этот конец очень не понравился (теперь уже я не помню подробностей), показался не в меру холодным и суровым, я бросил рассказ; а потом выбросил конец, прибавил вместо этого конца строчки две-три, и получилось то, что Вы находите по идее диаметрально противоположным. Конечно, как я

теперь сознаю, этот рассказ мне вовсе не следовало печатать в книге, и почему я напечатал, как это вышло – теперь я не помню, так как это было уже давно». Чехов неточен здесь в том, что он добавил для нового конца рассказа 2–3 строчки: он просто убрал третью главу, оставив конец второй без изменения.

В. Альбов в статье «Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова...» («Мир божий», 1903, № 1) писал о «безнадежно тоскливом настроении» Чехова конца 80-х годов. «Герой рассказа „Пари“ презирает всё человечество со всеми его великими и малыми делами, великими и малыми мыслями и это на том единственном основании, что в конце концов всё исчезнет и сам земной шар обратится в ледяную глыбу» (стр. 88). Рассказ Чехова вызвал и положительные отзывы современников. А. Б. Гольденвейзер записал 16 сентября 1901 г. в своем дневнике, что Л. Н. Толстому рассказ «Пари» понравился «оригинальностью замысла и мастерством письма» («Вблизи Толстого». М., 1959, стр. 98).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, польский и серб-

скохорватский языки.

## Княгиня

**В**первые – «Новое время», 1889, № 4696, 26 марта, стр. 3. Подпись: Антон Чехов.

Вошло в сборник «Хмурые люди», СПб., 1890, и включалось во все последующие его издания.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. V, стр. 52–66.

Работу над «Княгиней» Чехов начал в ноябре 1888 г. А. С. Суворину он сообщил 15 ноября: «Пишу для „Нов<ого> вр<емени>“ рассказ. Описываю одну поганую бабу». 18 ноября он пояснил, что «рассказ застрял» и что он хочет писать рассказы в новом для себя «протестующем тоне», – «надо поучиться, но от непривычки скучно, и я виляю». Вероятно, Суворин месяц спустя напомнил Чехову о рассказе, потому что 19 декабря 1888 г. писатель сообщил: «„Княгиню“ напишу непременно <...> Если успею сделать „Княгиню“ к 24 дек<абря>, то телеграфирую». 23 декабря он обещал прислать рассказ в январе, а 26 декабря – «после 1-го».

О своей работе над рассказом Чехов писал далее в 20-х числах января 1889 г. В письме к А. Н. Плещееву от 23 или 24 января он называет «Княгиню» «канальским рассказом», которого он «еще не кончил». Разговор об этом рассказе, вероятно, был у Чехова с Плещеевым накануне, при их личной встрече (см. *ЛН*, т. 68, стр. 343–344). 2 марта 1889 г., в письме к Ал. П. Чехову он также сообщал: «Пишу рассказы. Скоро один пришлю в „Новое время“». 5 марта 1889 г. Чехов отослал «Княгиню» Суворину и при этом писал: «Чёрт с ней, она мне надоела, всё время валялась на столе и напрашивалась на то, чтоб я ее кончил. Ну и кончил, но не совсем складно. Если Вы не рассчитываете напечатать ее в скором времени, то пришлите корректуру. Я пошлифую». 11 марта 1889 г. он сообщал: «Корректуру „Княгини“ сейчас получил и завтра пошлю ее прямо в типографию».

5 ноября 1889 г. Чехов послал пересмотренный текст «Княгини» Суворину для сборника «Хмурые люди». Текст был исправлен и сокращен: устранены неоднократные извинения доктора перед княгиней за то, что он «не ора-

тор» и «не умеет выражаться», а также некоторые резкие моменты в обличительных высказываниях доктора. Малозначительные поправки вносились в 3-е (1891), 6-е (1896) и 7-е (1897) издания сборника. Однако нововведения 7-го издания оказались не учтенными в издании Маркса, для которого был использован текст 6-го издания сборника «Хмурые люди». Небольшие изменения внесены также при включении рассказа в издание Маркса.

В критике рассказ получил высокую оценку.

Плещеев сожалел, что «Княгиня» не была отдана «Северному вестнику» (письмо Чехову от 22 мая 1889 г. – *Слово*, сб. 2, стр. 265). Журнал «Книжный вестник» (1890, № 4, стлб. 159–160) в анонимном отзыве на первое издание сборника «Хмурые люди» относил «Княгиню» к наиболее значительным произведениям сборника, характеризуя ее как «коротенький очерк светской жизни и характеристики светской женщины». Ф. Е. Пактовский писал в связи с рассказом «Княгиня» о «деморализующем влиянии» среды на людей, в том числе и интеллигентных, типа доктора

Михаила Ивановича (Ф. Е. Пактовский. Современное общество в произведениях А. П. Чехова. – «Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина...» Казань, 1901, стр. 13–15). В. Альбов усматривал в героине рассказа то «животное» начало, которое, по его словам, «раньше всего и сильнее всего поразило» Чехова: княгиня – «порхающая „птичка“, в которой даже суровые, жаркие слова доктора не могли пробудить ничего человеческого...» (В. Альбов. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова... – «Мир божий», 1903, № 1, стр. 90–91).

Е. А. Ляцкий, считая присущими Чехову «сплошные рассуждения», «слишком уж отвлеченные», высказываемые не людьми, а «мыслящими аппаратами», демонстрировал этот тезис на рассказе «Княгиня»: «Публицистический замысел настолько овладел автором, что он не заметил крайней неестественности сцены разговора доктора с княгиней, перед которой расточать перлы красноречия было немногим больше, чем метать бисер по известному евангельскому изречению. Фигура доктора осталась совершенно в тени, и рас-

сказ много потерял в своей художественности, но это не помешало морали остаться моралью, весьма полезной для тех, кто в наши дни забывает притчу о „Богатом и Лазаре“» (*Евг. Ляцкий. А. П. Чехов и его рассказы... – «Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 141–142).*

Переводчица А. К. Грефе в апреле 1895 г. испрашивала у Чехова разрешения опубликовать ее перевод «Княгини» на немецкий язык в петербургской газете «Герольд» (см. *ГБЛ*, ф. 331, к. 41, ед. хр. 28). Из письма Грефе от 23 июня того же года явствует, что Чехов дал ей на это разрешение, но оно, будучи посланным по почте в редакцию, затерялось, в связи с чем переводчица просила Чехова выслать разрешение вторично. Письма Чехова к Грефе неизвестны.

При жизни Чехова рассказ был переведен на французский язык.

## Вынужденное заявление

Впервые – «Новое время», 1888, № 4721, 22 апреля, стр. 2, в рубрике «Маленький фельетон». Без подписи.

Печатается по тексту газеты.

Степень участия Чехова в примечании «От редакции» не установлена.

Прозаическая часть шутки посвящена деятельности Общества русских драматических писателей и оперных композиторов, членом которого Чехов состоял с 16 ноября 1887 г. На Общество Чехов смотрел прежде всего «как на коммерческое учреждение», упорядочивающее оплату труда «действующих» литераторов: «Это такая хорошая цель, при которой все остальные не стоят яйца выеденного» (А. С. Суворину, 7 ноября 1888 г.). Чехов в письмах неоднократно высказывал критические замечания по поводу Общества.

10 апреля 1889 г. на заседании Общества Чехов был избран членом его Комитета (см. «Новости дня», 1889, № 2071, 12 апреля; «Новое время», 1889, № 4712, 13 апреля). Это заседание, длившееся с 7 часов вечера до 3 часов

10 минут ночи, Чехов описал в письме Суворину от 11 апреля 1889 г., а с письмом от 17 апреля уже послал ему «Вынужденное заявление»: «Я избран в комитет Общества драматических писателей, – сообщал Чехов. – Новых порядков не ждите. До тех пор не ждите этих порядков, пока в Обществе будут больше всех говорить и протестовать те, кто меньше всего заинтересован в делах Общества. Посылаю Вам маленькую глупость, направленную против бунтарей, которые, если дать им волю, ухлопают Общество. Коли годится, напечатайте ее вместо субботника или как хотите, а коли не годится, я пошлю ее в „Пет<ербургскую> газ<ету>.“»

5 сентября 1889 г. пародию целиком перепечатала газета «Вестник» (№ 1422); в сопроводительной заметке отмечалась едкость пародии, осмеивающей «пошлость и безграмотность» расплодившихся «драмоделов». Как вспоминал Н. М. Ежов, шутка Чехова «в те давние годы произвела страшное волнение и досаду среди маленьких драматургов» («А. С. Суворин». – «Исторический вестник», 1915, т. 139, № 2, стр. 454).

## Скучная история

**В**первые – «Северный вестник», 1889, № 11, ноябрь, стр. 73–130 (ценз. разр. 27 октября). Подпись: Антон Чехов. Помета: «Село Лука, Сумск. уезда. 1889».

Вошло в сборник «Хмурые люди», СПб., 1890, и включалось во все последующие его издания.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. V, стр. 104–175.

*Стр. 283, строка 16:* Много ли у нас знаменитых ученых? – *вместо:* Много ли у вас знаменитых ученых? (по «Северному вестнику» и сб. «Хмурые люди», изд. 1–5, 7–10).

*Стр. 291, строка 41:* потом еду – *вместо:* потому еду (по «Северному вестнику»).

Включая повесть в сборник «Хмурые люди», Чехов сделал небольшие сокращения в основном в характеристике главного героя. Добавление сделано одно: в речи Михаила Федоровича введено сравнение (об архимандрите на велосипеде), бывшее еще в рукописи и не попавшее в текст журнала по цензурным

причинам (см. ниже об опасениях в связи с этим А. Н. Плещеева). Несколько словесных и синтаксических поправок сделано в третьем (1891) и шестом (1896) изданиях сборника. В частности, лишь в шестом издании устранена явная опечатка («метрологией» – «метеорологией»), однако появились новые опечатки, отчасти перешедшие и в текст издания А. Ф. Маркса. Следующее, седьмое издание (1897) набиралось не с шестого, а с более раннего (3-го, 4-го или 5-го), вследствие чего некоторые поправки 1896 г. оказались неучтенными в 7–10 изданиях (идентичных по тексту). Известно, что для седьмого издания производился новый набор, и Чехов читал корректуру. В 7–10 изданиях видны некоторые авторские мелкие изменения текста, но также и очевидные дефекты типографского характера; в некоторых фразах слог приглажен и выровнен (заменены предлоги, исправлены согласования). Чехов был недоволен тем, как неаккуратно присылались ему корректуры седьмого издания.

Возможно, по этой причине при подготовке издания Маркса за основу было взято ше-

стое, а не последние издания «Хмурых людей». Включая «Скучную историю» в издание Маркса, Чехов внес лишь несколько поправок.

Прототипом героя «Скучной истории» в какой-то степени дослужил профессор Московского университета Александр Иванович Бабухин (1835–1891), лекции которого Чехов слушал в бытность свою студентом медицинского факультета. Связь старого профессора из «Скучной истории» с Бабухиным не отрицал и сам автор (по свидетельству студентов, посетивших в 1897 г. Чехова в Мелихове): «Это – лицо собирательное, хотя многое взято с Бабухина» (А. У. А. П. Чехова в Мелихове. Из письма студента. – «Русские ведомости», 1909, № 150, 2 июля). Совпадали некоторые внешние черты: Бабухину в 1889 г., как и Николаю Степановичу, было 62 года, он также встречался в 60-е годы с Пироговым; как и профессор из «Скучной истории», он, несмотря на недостатки своего голоса, обладал теми же блестящими лекторскими способностями – умел, по словам современника, «рисовать живыми образами самые отвлеченные вещи <...

> и всё это осветить таким живым, задорным юмором, рассказать с таким неподражаемым талантом» («Московский календарь на 1887 г. А. С. Пругавина». М., 1887, стр. 198).

О том, что уже у современников возникла мысль о существовании прототипа героя «Скучной истории», свидетельствует В. Кузьмин (см.: *Читатель* <В. В. Кузьмин>. Литературные очерки. «Скучная история» А. Чехова. – «Новости дня», 1889, № 2301, 28 ноября). Но тот же Кузьмин возражал против прямого уподобления героя Чехова какому-либо определенному лицу.

24 или 25 ноября 1888 г. Чехов писал А. С. Суворину о начатом рассказе. Его сюжет лег впоследствии в основу «Дуэли» (см. примечания к этой повести в наст. томе). Но некоторые элементы этого замысла («мельком говорю о театре <...>, о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни») были использованы в «Скучной истории». 28 ноября 1888 г. Чехов писал Суворину об этом же замысле: «Сюжет рассказа таков: я лечу одну молодую даму, знакоблюсь с ее мужем, порядочным человеком, не имею-

цим убеждений и мировоззрения; благодаря своему положению как горожанина, любовника, мужа, мыслящего человека, он волей-неволей наталкивается на вопросы, которые волей-неволей, во что бы то ни стало должен решать. А как решать их, не имея мировоззрения? Как? Знакомство наше венчается тем, что он дает мне рукопись – свой „автобиографический очерк“, состоящий из множества коротких глав. Я выбираю те главы, которые мне кажутся наиболее интересными, и преподношу их благосклонному читателю. Рассказ мой начинается прямо с VII главы и кончается тем, что давно уже известно, а именно, что осмысленная жизнь без определенного мировоззрения – не жизнь, а тягота, ужас». Герой здесь еще «здоров, молод, влюбчив», умеет «и выпить, и природой насладиться, и философствовать», «не книжный и не разочарованный, а очень обыкновенный малый».

10 марта 1889 г. Чехов сообщал А. М. Евреиновой: «У меня есть сюжет для небольшого рассказа. Постараюсь сделать сей рассказ к майской или июньской книжке». Повесть бы-

ла закончена, однако, лишь осенью.

Чехов работал над «Скучной историей» в Ялте, куда он «в подлейшем настроении» после смерти брата Николая приехал в середине июля 1889 г. (письмо Суворину, 13 октября 1889 г.). По свидетельству И. Я. Гурлянда, рассказ назывался тогда «Мое имя и я» и лишь впоследствии получил заглавие «Скучная история» (Арс. Г. Из воспоминаний об А. П. Чехове. – «Театр и искусство», 1904, № 28, стр. 521). «Рассказ почти готов, – сообщал Чехов Плещееву 3 августа. – Несмотря на жару и на ялтинские искушения, я пишу. Написал уж на 200 целковых, т. е. целый печатный лист. Рассказ по случаю жары и скверного, меланхолического настроения выходит у меня скучноватый. Но мотив новый. Очень возможно, что прочтут с интересом». Чехов к началу сентября в основном закончил рассказ, но посылать его в журнал всё еще не решался. «Я хочу кое-что пошлифовать и полакировать, – писал он Плещееву 3 сентября, – а главное, подумать над ним. Ничего подобного отродясь я не писал, мотивы совершенно для меня новые, и я боюсь, как бы не подкузьмила меня моя

неопытность. Вернее, боюсь написать глупость». Вернувшись в Москву, он занялся «обработкой своей вещи, исковеркал ее вдоль и поперек и выбросил кусок середины и весь конец, решив заменить их новыми» (письмо к А. М. Евреиновой, 7 сентября 1889 г.). Оправдываясь в задержке рукописи, Чехов объяснял ее тем, что вещь кажется ему «недоделанной и не нравится», что она «сама по себе, по своей натуре, скучновата»; вновь жаловался он на трудности работы из-за новизны сюжета. Плещееву Чехов также писал о своей работе над повестью: «Вообразите себе г. Чехова, пишущего, потеющего, исправляющего и видящего, что от тех революционных переворотов и ужасов, какие терпит под его пером повесть, она не становится лучше» (14 сентября 1889 г.). Позднее, уже отослав «Скучную историю» в «Северный вестник», Чехов вновь сообщал о напряженной работе над повестью: «Возился с нею дни и ночи, пролил много пота, чуть не поглупел от напряжения» (Суворину, 13 октября 1889 г.). Повесть была завершена к 24 сентября (письма к А. М. Евреиновой и Плещееву от этого числа).

До самого конца своей работы над «Скучной историей» Чехов не переставал сомневаться в успехе повести и беспокоился о том впечатлении, которое она произведет на читателей и критику. Об этом свидетельствует К. А. Каратыгина в «Воспоминаниях об А. П. Чехове» (ЛН, т. 68, стр. 581). «Сюжет рассказа новый, – писал Чехов Евреиновой 7 сентября 1889 г. – <...> Вероятно, он не понравится, но что шуму наделает и что „Русская мысль“ его обругает, я в этом убежден» (см. также его письма к В. А. Тихонову от 13 сентября 1889 г., Плещееву от 14 сентября 1889 г.). «Это не повесть, а диссертация. Придется она по вкусу только любителям скучного, тяжелого чтения, и я дурно делаю, что не посылаю ее в „Артиллерийский журнал“» (Леонтьеву (Щеглову), 18 сентября 1889 г.). П. М. Свободину Чехов писал, что ему новая повесть не понравится из-за своей «отягощенности» «размышлениями» (см. ответное письмо Свободину от 19 августа 1889 г. – *Записки ГБЛ*, вып. 16, М., 1954, стр. 197).

24 сентября 1889 г., посылая «Скучную историю» в «Северный вестник», в письме к

Евреиновой Чехов дал повести окончательное заглавие: «Посылаю Вам рассказ – „Скучная история (Из записок старого человека)“». История в самом деле скучная, и рассказана она неискусно». В тот же день он просил Плещеева написать свои замечания и, как бы предваряя упрек в растянутости повести из-за «длинных рассуждений» героя, пояснял, что их «к сожалению, нельзя выбросить», так как они «фатальны и необходимы, как тяжелый лафет для пушки. Они характеризуют и героя, и его настроение, и его вилянье перед самим собой».

Плещеев, прочтя «Скучную историю» еще в рукописи, откликнулся на нее первый и высоко оценил повесть: «У Вас еще не было ничего *столь сильного и глубокого*, как эта вещь. Удивительно хорошо выдержан тон старика-ученого, и даже те рассуждения, где слышатся нотки субъективные, Ваши собственные – не вредят этому. И лицо это, как живое, стоит перед читателем. Прекрасно вышла и Катя <...> Все второстепенные лица – тоже очень живы <...> Есть множество замечаний верных, местами глубоких даже. Не го-

ворю уже об абсолютной новизне мотива» (письмо 27 сентября 1889 г. – ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 270–271). Он опасался, что «большинству повесть несомненно покажется скучной» «по причине отсутствия шаблонной фабулы и обилия рассуждений». Он сделал и некоторые критические замечания смыслового и стилистического характера: например, возражал против заглавия повести, которое, по его мнению, может подать «повод к дешевому остроумию рецензентов», находил странным «совершенное равнодушие» профессора к роману Кати. Плещеев предсказывал, что выражение «архимандрит на велосипеде» цензура «похерит, как это ни горестно». И действительно, это словосочетание отсутствовало в журнальном тексте то ли по вине цензора, то ли было предусмотрительно изъято самим Чеховым в корректуре.

Чехов, хотя и обещал «непременно воспользоваться» критическими замечаниями Плещеева, в действительности исправил в корректуре лишь две незначительные погрешности, о чем позже писал Плещееву, возвращая правленную корректуру (6 октября

1889 г.). Против более существенных замечаний Плещеева Чехов возражал: отказался изменить заглавие повести, защищал необходимость упоминания в ее финале письма Михаила Федоровича к Кате и рассказа об ее прошлом; объяснил не понятное Плещеевым равнодушие профессора к роману Кати: «Мои герой – и это одна из его главных черт – слишком беспечно относится к внутренней жизни окружающих и в то время, когда около него плачут, ошибаются, лгут, он преспокойно трактует о театре, литературе; будь он иного склада, Лиза и Катя, пожалуй бы, не погибли» (30 сентября 1889 г.).

Еще в рукописи прочел «Скучную историю» и Суворин. Подробно изложив, видимо, в письме к Чехову свое мнение, Суворин нашел повесть субъективной и публицистичной, считал, что в высказываниях и сентенциях профессора отражены мнения самого Чехова. Чехов решительно возражал. «Если я преподношу Вам профессорские мысли, – писал он 17 октября 1889 г., – то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей. Покорно Вас благодарю. Во всей повести есть только одна

мысль, которую я разделяю и которая сидит в голове профессорского зятя, мошенника Гнеккера, это – „спятил старик!“ Всё же остальное придумано и сделано... Где Вы нашли публицистику? Неужели Вы так цените вообще какие бы то ни было мнения, что только в них видите центр тяжести, а не в манере высказывания их, не в их происхождении и проч.?». И в другом письме к Суворину: «Мнения, которые высказываются действующими лицами, нельзя делать status'ом произведения, ибо не в мнениях вся суть, а в их природе» (23 октября 1889 г.). Еще более резкую отповедь Чехова вызвало переданное ему Плещеевым утверждение Сувориных, что «Катя любит самого старика, ведущего записки»: «Уж коли отвыкли от веры в дружбу, в уважение, в безграничную любовь, какая существует у людей вне половой сферы, то хоть бы мне не приписывали дурных вкусов», – писал он Плещееву 21 октября 1889 г.

До появления повести в печати Чехову писали о ней и другие корреспонденты. Так, П. Свободин, отвозивший Плещееву правленную Чеховым корректуру «Скучной истории»,

писал 7 октября 1889 г.: «На пути из Москвы прочитал всю „Скучную историю“ и по прочтении сказал себе, что Вас Л. Толстой недаром назвал „вдумчивым“. Очень-очень хорошо» (*Записки ГБЛ*, вып. 16, стр. 205). Е. М. Линтварева сообщала 14 октября «К нам доходят восторженные отзывы о Вашей „Скучной истории“ <...> от слышавших ее у Плещеева...»

11-я книжка «Северного вестника» вышла в начале ноября «Со всех сторон слышу восторженные похвалы вашей повести, – писал Чехову 5 ноября 1889 г. Плещеев, – от людей разных мнений, кружков и лагерей. Некоторые говорят даже, что это лучше всего вами до сих пор написанного. Другие, что повесть оставляет глубокое впечатление; третьи, что это совсем ново; и наконец, что это выдающаяся вещь в „Сев<ерном> вест<нике>“ за весь год. К числу хвалителей принадлежит и Боборыкин <...> Я, признаюсь Вам, никак не ждал, чтобы „публике“ Ваша последняя вещь понравилась <...> Я думал, что ее будут находить скучной. И вообразите – ничуть! Недостатки в ней, конечно, находят; но из этого ничего не

следует, какая же вещь без недостатков. Но все возлагают на талант Ваш большие надежды <...> В этой повести Вашей видят не только шаг вперед – но еще и поворот к серьезности и глубине содержания» (*Слово*, сб. 2, стр. 275–276. См. также письмо от 10 ноября. – *ЛН*, т. 68, стр. 354). «Только что окончил „Скучную историю“, – писал Чехову его знакомый, владелец Бабкина А. С. Киселев 11 ноября 1889 г. – Не могу утерпеть, чтобы не высказать Вам, дорогой Антон Павлович, моего восхищения. С этим рассказом Вы сделали гигантский шаг, и я от всего сердца аплодирую Вам. Я убежден, что Ваша „Скучная история“ поднимет на ноги всю критику, хотел бы надеяться, что хулителей не найдется» (*ГБЛ*). Н. А. Лейкин писал 17 ноября: «Читал Вашего профессора в „Сев<ерном> вестнике“. Прелестно. Это лучшая Ваша вещь» (*ГБЛ*). О большом впечатлении, какое произвела на нее «Скучная история», сообщала актриса К. А. Каратыгина (*ЛН*, т. 68, стр. 585).

«Не совсем удовлетворила» повесть Леонтьева (Щеглова). Он нашел, что «на всем произведении лежит печать утомления и наду-

манности» и что наряду с тем, что «есть в рассказе тонкого и острого», для него характерна «общая тусклость тона», он «страдает и переутомлением и отсутствием ловкости в композиции». Леонтьев (Щеглов), правда, отметил, что «очень метко схвачен» образ Кати, но и в нем он увидел незаконченность, «силуэтность» (письма 9 и 18 ноября 1889 г. – *Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 76). 25 марта 1890 г. Леонтьев (Щеглов) повторил свою оценку «Скучной истории» как «надуманной и сухой» и противопоставил «Скучную историю» таким «перлам» чеховского творчества, как «Агафья», «Ведьма», «Дома», «Свирель», «Поцелуй» и «почти вся „Степь“» (*ГБЛ*).

В последующие годы Чехов продолжал получать от знакомых и незнакомых ему читателей письма с отзывами о «Скучной истории». Так, Тихонов особо выделял «Скучную историю», которая явилась, по его мнению, свидетельством философской зрелости Чехова (письмо Чехову от 8 марта 1890 г. – *Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 67). Писатель Ф. А. Червинский назвал «Скучную историю» «чертовски умной вещью», которая в связи с беспомощ-

ным состоянием современной критики «не вызвала ничего, кроме 2-х – 3-х никому не нужных замечаний» (письмо Чехову 1891 г. – ГБЛ).

Восторженные оценки повести находятся и в более поздних отзывах. По свидетельству К. Ф. Головина <Орловского>, «Скучная история» Чехова была «той из его повестей, которая среди публики имела наибольший успех» (К. Ф. Головин. Русский роман и русское общество. СПб., 1897, стр. 458). А. Б. Гольденвейзер рассказывал, что, когда он 16 сентября 1901 г. читал Л. Толстому «Скучную историю», «Лев Николаевич все время восхищался умом Чехова» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 98).

Как и другие большие вещи Чехова, «Скучная история» вызвала самые разноречивые суждения литературной критики. По-разному оценивались проблематика, идейное содержание, смысл отдельных образов, но многие критики не поняли широты и многозначности художественных обобщений повести.

Уже в ранних откликах рецензенты стремились определить главную мысль «Скучной

истории». Так, Д. Струнин («Русское богатство», 1890, № 4) писал, что, изобразив человека «инерции», «одностороннего развития» в ущерб его духовной личности, человека, в котором умственная жизнь преобладала над нравственной (стр. 112), Чехов пришел к откровению: «всякое уклонение <...> от требований разума и совести, всякая специализация, в том числе и ученая, умаляет человека, поработывает его случайностями, лишает понимания запросов жизни и, наконец, приводит к грустному сознанию, что жизнь им прожита не так» (стр. 124).

С самого начала критика, присоединяясь к словам чеховского героя, говорила о проблеме «общей идеи» как центральной в повести. По мнению Л. Оболенского (*Созерцатель*. Новый поворот в идеях нашей беллетристики. – «Русское богатство», 1890, № 1), в «Скучной истории» содержатся призывы «критически разобраться в <...> пессимизме» и сознание, что жить «без веры, без руководящей идеи нельзя» (стр. 98). Признавая большое значение для современной русской жизни этой мысли Чехова, критик, однако, толковал ее в узко эти-

ческом, чуть ли не в религиозном плане, когда писал: Чеховым «показано ярко, наглядно, психологически неоспоримо, что одна наука и специализация в ней невозможны для истинно разумной жизни, без господства высшей объединяющей идеи, т. е. религии» (стр. 112). О проблеме «общей идеи» в повести говорили В. Альбов («Мир божий», 1903, № 1, стр. 96–97), Волжский (А. С. Глинка) в своих «Очерках о Чехове» (СПб., 1903, стр. 53).

Суждения о главной мысли повести в критике тесно связывались с проблемой соотнесенности автора и его главного героя, с тем, насколько идентичны их мировоззрения. Чаще всего критики отождествляли Чехова с Николаем Степановичем. Взгляд на современную беллетристику в записках старого профессора, заметил Р. Дистерло, это «мысли самого автора, писателя, принимающего близко к сердцу интересы современной литературы, а не старого медика-профессора <...> Для последнего эта тонкая и меткая оценка <...> не только не характерна, но едва ли и возможна. Здесь автор <...>, не находя для самого себя места в „записках“ профессора, приписал

свои мысли ему» («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1478). Считая суждения Николая Степановича о современной литературе, критиках и публицистах «чрезвычайно верными», В. Л. Кигн также утверждал, что устами профессора, «разумеется, говорит молодой автор» («Книжки Недели», 1891, № 5, стр. 198, 203).

Отнеся суждения героя повести к ее автору, некоторые рецензенты нашли их легкомысленными и мелкими, нехарактерными для старого, известного ученого. «Суждения его <...> обличают не глубокий ум, не широкое сердце, а набитую на писании „еженедельной беллетристики“ „руку“», – писал Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря).

По аналогичному мнению М. Протопопова, в «Скучной истории» «всё говорит <...> не опытный и проницательный мыслитель», а сам автор – «довольно легкомысленный, хотя и талантливый» («Русская мысль», 1892, № 6, стр. 104).

На счет Чехова большинство критиков относило и отсутствие во всех помыслах и де-

лах, чувствах и понятиях старого профессора «общей идеи». В этом отношении «Скучная история» стала неким символом «безыдейности» самого Чехова и его творчества, отсутствия в нем объединяющей мысли. П. Перцов заметил, приводя соответствующее признание старого профессора: «На беду себе написал г. Чехов эти слова. Со времени появления „Скучной истории“ не было, кажется, статьи, посвященной ему, в которой эти слова не цитировались бы в применении к их автору. И действительно, трудно придумать более точную характеристику общего впечатления, производимого всей совокупностью произведений г. Чехова, и точнее определить их общий недостаток» («Русское богатство», 1893, № 1, стр. 42). Перцов упрекал Чехова и в общественном безразличии, непонимании общественной значимости изображаемых фактов (стр. 44).

Н. К. Михайловский, резче других говоривший о «безыдейности» Чехова, выделил «Скучную историю» как начало определенного изменения в творческой позиции писателя, заявив в статье 1890 г., что «Скучная исто-

рия» – «лучшее и значительнейшее из всего, что до сих пор написал г. Чехов». Жизненную трагедию старого профессора – отсутствие «того, что называется общей идеей» – критик отнес к самому Чехову, «во всех случайных зарисовках которого даже самый искусный аналитик не найдет общей идеи». «Скучная история», писал Михайловский, это прежде всего порождение тоски чеховского таланта «по тому, что называется общей идеей или богом живого человека»; «оттого-то так хорош и жизненен этот рассказ, что в него вложена авторская боль». И если Чехов не приемлет идейного наследства 60-х годов и «не может выработать свою собственную общую идею <...>, то пусть он будет хоть поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания ее необходимости» (Михайловский, стр. 601–607).

Аналогичное суждение принадлежало М. Протопопову («Русская мысль», 1892, № 6): в словах профессора об общей идее Чехов характеризовал «самого себя, свое творчество, свой талант <...> поколение, и ту полосу жизни, типичным представителем которых он явился в нашей литературе» (стр. 107). По

мнению критика, «Чехов, сам того не замечая <...>, тоскует об идеале». У Чехова нет «объединяющего начала», несмотря на «значительный литературный талант» (стр. 111); «в чем состоит мирозерцание его – этого никто не скажет, потому что у г. Чехова его во все нет» (стр. 112).

Головин (Орловский) не только не усмотрел в ней «идеи», но и не увидел между героями, средой и действительностью никакой связи, всю повесть счел «слепленной» «случайно из материалов, не подходящих один к другому» (К. Ф. Головин. Русский роман и русское общество. СПб., 1897, стр. 457–460). То же утверждали Гр. Новополин («В сумерках литературы и жизни». Харьков, 1902, стр. 139–140), В. Альбов («Мир божий», 1903, № 1, стр. 102–103) и Евг. Ляцкий («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 148).

Но это мнение не было абсолютно господствующим. Его оспаривал Андреевич (Е. А. Соловьев). Возражая Михайловскому, он полагал, что «тоска и искание» «общей идеи» отражены не только в «Скучной истории», но и во всем творчестве писателя (Андреевич. Книга о

Максиме Горьком и А. П. Чехове. СПб., 1900, стр. 212). Против определения творчества Чехова как «безыдейного» выступил А. Богданович («Мир божий», 1902, № 10, стр. 12). А. С. Глинка, утверждая, что Чехов не находит путей к осуществлению своего идеала в жизни, вместе с тем писал, имея в виду «Скучную историю»: «Если бы у Чехова не было этого чрезвычайно высокого идеала <...>, он не мог бы видеть всей пошлости, тусклости, всей мизерности» действительности (Волжский. Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 32–33).

На самого Чехова распространяла критика и пессимистическую настроенность героев повести, особенно старого профессора. О том, что «дух печали», «задумчиво-меланхолическое настроение», «хандра» и «апатия» преобладают в повести, писали Дистерло («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1481), Дедлов («Книжки Недели», 1891, № 1, стр. 180), М. Протопопов («Русская мысль», 1892, № 6, стр. 109, 114, 121). Сближая пессимизм героя и автора, Буренин («Новое время», 1889, № 4922, 10 ноября) и Ю. Николаев (Говоруха-Отрок) («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря)

даже не сочли его «высоким» мировоззрением, «исходящим из трагического философского взгляда на жизнь». Николаев определил настроение чеховских произведений – и «Скучной истории» – как «ходячий», «обиходный» пессимизм, который не задается мировыми, «гамлетовскими» вопросами. Суждение о пессимизме самого Чехова – автора «Скучной истории» – встречается и в позднейших статьях о нем.

Критика рассматривала повесть и с точки зрения отражения в ней проблем современной жизни; дебатировался вопрос о характерности для русской действительности 80-х годов главного героя и других персонажей повести, обсуждалось психологическое мастерство в их обрисовке. Многие критики высоко оценили «Скучную историю» как достоверную картину жизни русского общества 80-х годов. В основе повести, писал Читатель (В. В. Кузьмин), «вы чувствуете целую, взятую из жизни, глубокую по своему психическому значению историю». Старик профессор – «целая энциклопедия, сжатая, но полная энциклопедия длинной человеческой жизни <...>. И

до чего верен себе остается этот типичный старик во все продолжение рассказа, вплоть до последней его строчки! Опять-таки живой, цельный человек». Не менее удачными, типичными и жизненными критик находил и остальные лица повести (*Читатель. Литературные очерки. «Скучная история» А. Чехова. – «Новости дня», 1889, № 2301, 28 ноября*). По мнению Дистерло, жизненная правда сказалась в повести не только в общем духе времени, но и «в массе живых, чрезвычайно метко схваченных сцен, в легких очерках являющихся на минуту лиц, каковы сторож Николай, прозектор <...>, Гнеккер, Катя» («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1478). Я. Абрамов («Книжки Недели», 1898, № 6) писал о чуткости Чехова «ко всем областям» современной русской жизни, сообщившей его произведениям «необыкновенное богатство» содержания, «типов», «общественных положений». Это, на взгляд критика, обнаруживает несостоятельность обвинений писателя в односторонности и отсутствии мировоззрения (стр. 147–148). По утверждению Ф. Е. Пактовского, в «Скучной истории» отражен «новый

тип», «едва ли <...> не присущий более всего нашему времени, тип человека, у которого вместо борьбы, дела – является злословие»; это – «жертвы своего бессилия» (Ф. Е. Пактовский. Современное общество в произведениях А. П. Чехова. – «Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при Имп. Казанском ун-те». III. Казань, 1901, стр. 15).

Одновременно высказывалась и другая точка зрения на типичность главного героя и всей изображаемой в повести жизни. Н. Ф. Сумцов («Харьковские ведомости», 1893, № 102, 22 апреля) в «Скучной истории» находил на каждом шагу «недостаточное и случайное знакомство автора с университетом, профессорским бытом». В результате «его скучный профессор – деревянная или точнее тряпичная кукла с наклеенным на лбу ярлыком ума, ничем в сущности не доказанного». Недостовверным нашел Сумцов и прозектора; «улыбку вызывает» и рассказ об университетском швейцаре Николае: «остается только непонятным, почему сам Николай Степанович не уступит ему своей кафедры». Г. Каче-

рец также считал, что герои «Скучной истории» жизненно недостоверны, характеры и ситуации – «неоправданны, фальшивы» (Г. Качерец. Чехов. Опыт. М., 1902, стр. 50, 56).

Наиболее резко мысль о нетипичности образа главного героя высказал Михайловский. Он считал «не характерным», чтобы у Пирогова, Кавелина, Некрасова «мог быть современник и друг, который <...> всю жизнь прожил без того, „что называется общей идеей или богом живого человека“ <...> Для людей, воспитавшихся в той умственной и нравственной атмосфере, какую г. Чехов усваивает Николаю Степановичу, нет даже ничего характернее этой погони за общими идеалами <...> Очевидно, перед г. Чеховым рисовался какой-то психологический тип, который он чисто случайно и в этом смысле художественно незаконно обременил 62-мя годами и дружбой с Пироговым, Кавелиным, Некрасовым» (Михайловский, стр. 603–604). Аналогичное мнение высказал Е. Ляцкий: профессор не похож на шестидесятников – «отсутствие общей идеи было для них всего менее характерным». На деле он «ничем не отличается от

всей серенькой галереи „чеховских“ портретов» («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 127–128).

Лишь немногие критические отзывы о «Скучной истории» касались ее поэтики: жанра, формы повествования, стиля, языка. Необычность манеры, жанровое своеобразие озадачивали, вызывали противоречивые суждения.

«„Скучная история“ г. Чехова – не есть ни повесть, ни рассказ, ни что другое беллетристическое, а просто дневник чувств и мыслей „старого человека“, „знаменитого профессора“», – писал А. И. Введенский («Русские ведомости», 1889, № 355, 4 декабря). Жанр «записок», взятый самим Чеховым в «Скучной истории», по мнению Дистерло, не случаен – «это наш современный, русский род литературы – свободный, искренний, чуждающийся всего условного». Дистерло связывал этот жанр с самим характером повествования нового произведения Чехова, которое, «как и другие большие его вещи», «не имеет фабулы и определенного контура», «определенных рамок и наименования» («Неделя», 1889, № 46,

12 ноября, стлб. 1477–1478). «Записками» обозначил жанр «Скучной истории» и Николаев («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря); Буренин («Новое время», 1889, № 4922, 10 ноября) квалифицировал повесть как «патологическое исследование в беллетристической форме», правда, написанное «очень искусно».

Различно воспринималась специфическая, «интеллектуальная» форма повествования «Скучной истории», ее необычная насыщенность мыслью, мнениями, рассуждениями. Кигн («Книжки Недели», 1891, № 5) полагал, что «элемент ума, никоим образом не доходящий до резонерства, необыкновенно оживляет и как-то бодрит читателя» (стр. 203). Но Перцов увидел в размышлениях профессора «афоризмы публициста, а не вдохновения художника» («Русское богатство», 1893, № 1, стр. 50). Публицистичность, «отвлечения в сторону» усмотрел в «Скучной истории» и Ляцкий («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 141).

О чеховской стилистической манере в повести критика высказала диаметрально про-

тивноположные мнения. Так, Дистерло, Кузьмин, Кигн отмечали в повести предельную простоту стиля, лаконизм. Напротив, Сумцов утверждал, что Чехов постоянно прибегал к «литературной» речи и к «красивой» фразе и потому «снабдил некстати красноречием и своего литературного манекена» («Харьковские ведомости», 1893, № 102, 22 апреля).

«Скучная история» не раз объявлялась зависимой от повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». 9 ноября 1889 г. об этом писал Чехову Леонтьев (Щеглов) (*Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 76). Введенский считал, что своей повестью Чехов «впал в неудачную подражательность» Толстому («Русские ведомости», 1889, № 335, 4 декабря). Такого же мнения придерживался и Николаев («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря): «„Скучная история“ – утрированное подражание внешним приемам Л. Толстого». Д. Струнин сходство двух произведений объяснял не подражанием, а правдивым изображением обоими писателями распространенного в русском обществе типа «человека инерции» («Русское богатство», 1890, № 4, стр. 110). Кигн тоже считал

Чехова «сродни Толстому» «по своей способности изображать чужую душу неожиданно – ново и убедительно-правдиво» («Книжки Недели», 1891, № 1, стр. 178–179).

При жизни Чехова «Скучная история» была переведена на немецкий, польский, сербскохорватский, финский и чешский языки.

## Воры

**В**первые – «Новое время», 1890, № 5061, 1 апреля, стр. 2–3. Заглавие: Черти. Подпись: Антон Чехов.

С новым заглавием вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IV, стр. 270–289.

Рассказ в творчестве Чехова имеет свою предысторию. Конокрад по имени Мерик встречается в других, созданных ранее пьесах и рассказах. Это – первая пьеса Чехова («Неизданная пьеса» или «Безотцовщина»), написанная в 1879–1881 гг., и запрещенный в 1885 г. драматический этюд «На большой дороге» (см. т. XI Сочинений). См.: Н. Пиксанов. Романтический герой в творчестве Чехова

(образ конокрада Мерика). – В кн.: Чеховский сборник. М., 1929, стр. 172–191).

Рассказ писался Чеховым в дни напряженной подготовки к поездке на Сахалин. Он был закончен 15 марта 1890 г. и сразу же отослан в «Новое время». А. С. Суворин предполагал напечатать (и напечатал) рассказ в пасхальном номере своей газеты. В письме от 15 марта Чехов писал Суворину: «Побуждаемый корыстью, а частью вдохновением, написал я рассказ, который и посылаю одновременно с сим письмом. Только, голубчик, пришлите мне корректуру, ибо рассказ написан сапожной щеткой и нуждается в ретуши». Прочитав рассказ, Суворин в письме (не сохранилось) высказал Чехову свое мнение о нем. Чехов ответил Суворину в письме от 1 апреля: «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть. Я пишу: вы имеете дело с конокрадами, так знайте же, что это не нищие, а сытые люди, что это люди культа и что конокрадство есть не просто

кража, а страсть».

Рассказ в издании Маркса подвергся серьезнейшей переработке. В итоге значительно меняются идейные акценты. В новой редакции значительно приглушен мотив романтической поэтизации Любки, Мерики, Калашникова как людей вольных, страстных, красивых. Так, автор совсем исключил из первоначального текста сцену виртуозной игры Мерики на балалайке, пения Калашникова, сокращено описание зажигательной пляски Любки и Мерики, изъят восторженный рассказ Калашникова о «рыцарских беседах» удалых конокрадов в недавнем прошлом. Параллельно с этим внесена в текст характеристика Калашникова как человека бесчестного, самодовольного. Показательна правка последних строк рассказа. В первом варианте рассказ завершался такой фразой: «И стало ему казаться, что на небе не зарево, а алая кровь Любви, и позавидовал он Мерику». В новом варианте в этой фразе романтический образ исчезает. Но на этом рассказ не заканчивается – в его самом последнем абзаце внимание переключается на фельдшера Ергуно-

ва. Такое переключение – свидетельство еще одного смещения акцентов в новом варианте рассказа. К фельдшеру после ночной встречи с конокрадами приходит отчетливое сознание бессмысленности своей «нормальной жизни». Эта глубоко чеховская тема по-настоящему развернута лишь во втором варианте.

В рассказе, по свидетельству современников Чехова, легко уловить приметы местности, расположенной под Таганрогом (см. П. Сурожский. Местный колорит в произведениях А. П. Чехова. – «Приазовский край», 1914, № 171–172, 2 июля).

«Твои „Черти“ чертовски хороши», – писал Ал. П. Чехов брату 4 апреля 1890 г. (*Письма Ал. Чехова*, стр. 235).

## Гусев

Впервые – «Новое время», 1890, № 5326, 25 декабря, стр. 1–2. Подпись: Антон Чехов. Дата: «Коломбо, 12 ноября».

Включено в сборник «Палата № 6», СПб., изд. А. С. Суворина, 1893, и перепечатывалось в последующих изданиях сборника.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

«Гусев» – первый рассказ, появившийся в печати после возвращения Чехова из поездки на Сахалин. «Буренин поручил мне написать тебе, что он ждет от тебя рассказа в рождественский № „Нов<ого> вр<емени>“ „из далеких чуждых стран“, – писал 13 декабря 1890 г. Ал. П. Чехов брату (*Письма Ал. Чехова*, стр. 237).

17 декабря Чехов сообщил Суворину: «Милый мой, сейчас я телеграфировал, что рассказ будет. У меня есть подходящий рассказ, но он длинен и узок, как сколопендра, его нужно маленько почистить и переписать. Пришлю непременно, ибо я теперь человек, который не ленивый и трудящийся». 23 декабря рассказ был отослан в «Новое время».

«Посылаю Вам рассказ, – писал Чехов Суворину. – <...> Так как рассказ зачат был на острове Цейлоне, то, буде пожелаете, можете для шика написать внизу. Коломбо, 12 ноября».

В рассказе отразились некоторые впечатления Чехова в дни путешествия: «По пути в Сингапур бросили в море двух покойников. Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, кувыркаясь, в воду, и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море» (письмо Суворину от 9 декабря 1890 г.). М. П. Чехов вспоминал рассказ брата о его купании в Индийском океане. «С кормы парохода был спущен конец. Антон Павлович бросился с носа на всем ходу судна и должен был ухватиться за этот конец. Когда он был уже в воде, то собственными глазами увидел рыб-лоцманов и приближающуюся к ним акулу („Гусев“» (*Вокруг Чехова*, стр. 232).

Однако главным толчком к написанию рассказа послужили впечатления и мысли, вынесенные Чеховым из поездки по Сахалину. О сахалинском происхождении идей и об-

разов, воплощенных в «Гусеве», можно судить, сопоставляя рассказ с «Островом Сахалином», появившимся на три года позднее. Так, образ Гусева в важнейших чертах совпадает с обликом невымышленного героя VI главы «Острова Сахалина» – каторжного Егора, с которым Чехов познакомился на острове. Судьба русского крестьянина, оторванного от родины и занесенного по чужой воле на Сахалин, близко заинтересовала писателя. По просьбе Чехова сахалинский чиновник Д. О. Булгаревич записал и 22 октября 1890 года выслал ему рассказ Егора о своей жизни; получил его Чехов как раз ко времени работы над «Гусевым» (*Летопись*, стр. 280–281). Чехов ввел в речи героя своего рассказа некоторые подробности, услышанные им от Егора и записанные затем Булгаревичем (так, Егор говорит о переезде по морю в трюме парохода – «думали, что это рыба качает под низом, ворочает пароход» и др.). Много совпадающих моментов в судьбе и, главное, в психологии Гусева и Егора – трагическая исковерканность их жизней; умение принаравливаться к любым обстоятельствам; добродушное и

безропотное смирение (см.: В. Б. Катаев. Автор в «Острове Сахалине» и в рассказе «Гусев». – В сб.: В творческой лаборатории Чехова. М., 1974, стр. 247–252).

Авторское отношение к другому герою рассказа, «протестанту» Павлу Иванычу, во многом перекликается с отношением Чехова к реально существовавшему сахалинскому «протестанту» – «доктору, похожему на Ибсена», Б. А. Перлину, описанному в главе II «Острова Сахалина». Г. Бердников указывает на сходство Павла Иваныча и персонажа «Степи» Соломона (Г. Бердников. А. П. Чехов. Идеи и творческие искания. 2-е изд., Л., 1970, стр. 271). Можно также предположить, что положение, в какое Чехов ставит Павла Иваныча и Гусева, «протестанта» и «смиренника», является в известной мере откликом на сопоставление подобных же типов в рассказе В. М. Гаршина «Сигнал» (1887, «Северный вестник») – Василия Спиридова и Семена Иванова.

Бор. Лазаревский вспоминал: «Когда вышло полное собрание сочинений, я прочел рассказ „Гусев“ и поразился, как на нескольких страницах автор сумел развернуть такую

потрясающую драму, затронув попутно глубочайшие, почти мировые вопросы». Восстанавливая свой разговор с Чеховым о «Гусеве», проходивший осенью 1903 года, Лазаревский писал: «Чехов щурился на далеко искрившееся море и, должно быть, всё еще под влиянием воспоминаний о „Гусеве“, задумчиво произнес: „А тяжело умирать в море“» («Русская мысль», 1906, № 11, стр. 92–93).

Включая рассказ в сборник «Палата № 6», Чехов снял дату «Коломбо, 12 ноября», изменил разбивку по главам (первую и третью поделил – каждую на две главы, так что вместо трех стало пять глав). При редактировании были сокращены несколько фраз, пунктуационные изменения свелись в большинстве к замене многоточия точкой. В такой редакции рассказ переиздавался в составе сборника семь раз. Готовя рассказ для издания Маркса, Чехов почти не правил текст.

Сразу после публикации рассказ привлек к себе внимание. «Ваш рассказ в рождественском номере „Нового времени“ здесь произвел на всех глубокое впечатление. Удивительная у вас вышла фигура этого „протестан-

та“», – писал из Петербурга А. Н. Плещеев 12 января 1891 г. (ЛН, т. 68, стр. 362). «За рассказ в „Нов<ом> врем<ени>“ благодарю: читал с удовольствием» (письмо В. В. Билибина от 3 января 1891 г. – ГБЛ) «От твоего „Гусева“ весь Питер в восторге. От такого рассказа я действительно готов, как ты пишешь, взять штаны в рот и подавиться, но только не от зависти, а от скорби, что у меня есть такой брат» (Письма Ал. Чехова, стр. 238). 30 декабря 1890 г. Чехову писал Ив. Щеглов (Леонтьев): «Какая прелесть! Или – вернее, какая правда! В нем нет ни тени силуэтности в обрисовке лиц, которой страдали иные из прежних очерков Ваших – и Гусев с Павлом Ивановичем – художественные типы 84-й пробы. Такие захватывающие по своей жизненности рассказы сбивают с позиций все мои художнические теории. Для большого художнического труда нужны условные рамки, и не потому ли так мрачен Ваш очерк, именно, что он написан прямо с натуры, не дожидаясь, когда создастся подходящая рамка? И потому – стоит ли ждать с материалами для... „романа“, когда романов теперь, по нашему времени, и читать некогда и

т. д. и т. д. Словом, многое наваял на меня Ваш „превосходный Гусев“» (ГБЛ). «Какая прелесть вещица Чехова в рождественском номере „Нового времени“», – писал П. И. Чайковский брату М. И. Чайковскому 1 января 1891 г. (Е. З. Балабанович. Чехов и Чайковский. М., 1962, стр. 30). В 1901 г. И. А. Бунин «дико хвалил» Чехову рассказ, «считая, что „Гусев“ перво-классно хорош, он <Чехов> был взволнован, молчал» (И. А. Бунин. Из незаконченной книги о Чехове. – ЛН, т. 68, стр. 651).

В. Л. Альбов отнес «Гусева» к тем рассказам, в «которых внимание Чехова направлено на внешние условия как на причину гибели мечты и мечтателей». Гибнущие персонажи «Гусева» сопоставлялись с героями появившейся позднее «Палаты № 6» (В. Альбов. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова... – «Мир божий», 1903, № 1, стр. 94). В. Гольцев в «Литературных очерках» (М., 1895, стр. 35) сопоставлял конец «Гусева» с заключительным четверостишием стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

При жизни Чехова рассказ был переведен

на болгарский, венгерский, немецкий, норвежский, польский и французский языки.

## Бабы

**В**первые – «Новое время», 1891, № 5502, 25 июня, стр. 2–3. Подпись: Антон Чехов.

Включено в сборник «Палата № 6» (СПб., А. С. Суворин, изд. 1–7, 1893–1899).

Отдельно издано «Посредником» (М., изд. 1–2, 1894–1895, тип. И. Д. Сытина; изд. 3, М., тип. Вильде, 1897).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VI, стр. 213–225.

Рассказ написан в разгар работы над книгой «Остров Сахалин» и повестью «Дуэль». Первое упоминание у Чехова о том, что он работает не только над этими большими вещами, содержится в письме А. С. Суворину от 10 мая 1891 г.: «В понедельник, вторник и среду я пишу сахалинскую книгу, в остальные дни, кроме воскресений, роман, а в воскресенья маленькие рассказы». Но в мае сделано было, очевидно, немного. 27 мая Чехов писал Суворину, настойчиво просившему что-нибудь в

газету: «Сел бы писать мелочи и пробовал уже, но мысль, что к осени я *должен* отделаться от Сах<алина>, парализует всякую способность». В обоих письмах речь идет, несомненно, о рассказе «Бабы». Он не был написан ранее (в письме от 16 июня он назван «летним»); кроме того, других небольших вещей за весь этот год, включая очерк «В Москве», написанный в ноябре – декабре, опубликовано не было.

Основная работа над рассказом велась в июне в имении Е. Д. Былим-Колосовского Богимово. Если Чехов выдерживал свое расписание и работал над рассказом по воскресеньям, то до времени отправки рассказа у него было три таких воскресенья – 31 мая, 7 июня и 14 июня. Во всяком случае, 15 июня рассказ был закончен. 16 июня он был уже отослан Суворину. «Посылаю Вам от щедрот своих летний, т. е. жиденский, рассказ, – писал Чехов в сопроводительном письме. – Оторвали меня от сахалинской работы не муза мести и печали и не жажда звуков сладких, а жажда поскорее содрать с кого-нибудь хоть пять целковых, ибо я сижу буквально без гроша. <...>

Скучно писать из мужицкой жизни. Надо будет за генералов приняться». В этом же письме Чехов заметил: «Заглавие у рассказа неподходящее. Не придумаете ли Вы какого-нибудь другого?»

Почти сразу же после опубликования в «Новом времени» рассказом заинтересовалось издательство «Посредник», уже обращавшаяся к Чехову в марте 1891 г. по поводу «Ваньки». И. И. Горбунов-Посадов, следивший за периодической печатью и посылавший на просмотр руководителю издательства В. Г. Черткову все, заслуживающее, с его точки зрения, внимания, писал 1 июля 1891 г. А. М. Хирьякову: «Читал ли в „Новом времени“ рассказ Чехова из народной жизни (половые драмы). Но подходит ли с таким же предисловием, как „Перед камельком“?» (ЦГАЛИ, ф. 536, оп. 1, ед. хр. 18). 4 июля 1891 г. Горбунов-Посадов послал Черткову газету с текстом рассказа: «Посылаю рассказ Чехова „Бабы“, который, может быть, можно издать с выпуском одной части, если он разрешит. В рассказе этом хорошо выражено постное лицемерие Тартюфа-обольстителя». Чертков, ознакомив-

шись с рассказом и письмами, отдал распоряжение Горбунову-Посадову «У Чехова непременно попроси разрешения на его рассказ „Бабы“. Ни сокращений, ни изменений не надо. Но, действительно, необходимо будет приложить маленькое преди- или послесловие. Поторопись, чтоб бар. Иксуль не перебила, и воспользуйся этим случаем, чтоб попросить Чехова предупредить нас раньше, чем соглашаться, когда у него будут просить его рассказ с филантропической целью» (9 июля 1891 г. – ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 1480). Горбунов-Посадов обратился к Чехову с письмом, что издательству «очень хотелось бы напечатать <...> рассказ Ваш „Бабы“, где так прекрасно изобличается тип народного Тартюфа, развратника, лицемера и набожника» (ГБЛ). Чехов ответил 18 июля из Богимова согласием.

Рассказ был включен в список «Готовящихся издания „Посредника“» (под № 153), составленный в сентябре 1891 г. (ф. 122, оп. 2, ед. хр. 51). Но дальнейшее прохождение рассказа, как и других вещей Чехова в «Посреднике», шло крайне медленно. В списках готовящихся к печати рукописей, регулярно составляемых

Горбуновым-Посадовым для Черткова в 1891–1892 гг., «Бабы» ни разу не значились.

Через год, в письме от 18 июня 1892 г. Чехов писал Черткову: «Если не раздумали издавать мой рассказ „Бабы“, то не откажите прислать корректуру». Больше Чехов об этом не напоминал, но когда в январе 1893 г. (к тому времени рассказ еще не вышел в свет) Хирьяков обратился к нему по другому поводу (см. примечания к «Палате № 6», т. VIII Сочинений), Чехов в личной беседе с ним прямо выразил свое неудовольствие. «Я виделся с Чеховым, – писал Хирьяков Черткову в начале января, – и он очень долго высказывал мне свое неудовольствие на „Посредник“ за медленность в печатании его, Чехова, вещей, как-то: „Припадок“, „Бабы“, „Жена“, „Именины“» (*ЦГАЛИ*, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 2740). Недовольство задержкой Чехов высказал и в письме самому Черткову, излагая свой разговор с Хирьяковым (20 января 1893 г.).

Чертков, которому содержание разговора с Чеховым стало известно еще раньше, из письма Хирьякова от 5 или 6 января, объяснял в письме от 15 января задержки тем, что

«прошлою весною открылась в нашей местности цинготная эпидемия, а летом – холера, неизбежно поглотившие всё время и внимание». Кроме того, он оправдывался еще тем, что «Посредник» обратился к Чехову «тогда, когда <...> план новой серии изданий для интеллигентных читателей только что созрел, но дело это не было еще организовано». (Это оправдание могло относиться только к «Именинам» и «Жене» и никак не к «Бабам» – этот рассказ с самого начала предназначался для «народных изданий» и разрешение на его печатание было получено за год до возникновения у издателей самой мысли о новой серии.) Чертков просил принять в соображение, что Чехов в данном случае имел дело «не с организованным и установившимся издательским предприятием, <...> а с новым, молодым <...>, еще не вставшим на ноги и не пущенным в ход. В настоящее время все затруднения и помехи устранены <...>, так что новые издания должны выходить без замедления» (ГБЛ). Но, несмотря на устранение всех помех, до выхода рассказа в свет было еще далеко.

В конце января в разговоре Чехова с Горбу-

новым-Посадовым в числе других издательских вопросов обсуждался вопрос о купюрах в «Бабах». Мысль о сокращении текста возникла у издателей «Посредника» уже при первом знакомстве с рассказом, еще до получения разрешения на его издание (письмо Горбунова-Посадова от 4 июля 1891 г. – ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 879), но с автором этот вопрос обсуждался впервые. Чехов «согласился на купюры, – писал Горбунов-Посадов Черткову. – Я отдал теперь рассказ для рисунка и постараюсь поскорее двинуть (ему корректуру)» (29 января – ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880).

Однако корректуру он «двинул» Чехову не вдруг (см. переписку Черткова и Горбунова-Посадова – ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 1480; оп. 2, ед. хр. 51; ф. 552, оп. 1, ед. хр. 879). Лишь 12 июня она была выслана Чехову (письмо Горбунова-Посадова Чехову от этого числа; ГБЛ).

Сотрудники «Посредника», обратив внимание на рассказ «Бабы» сразу по выходе, не приняли, однако, его безоговорочно. То он представлялся слишком «объективным» (Хирьяков – Горбунову-Посадову, 9 августа 1891 г.,

ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 1435), то не устраивал финал, слог и т. п. В подобных обстоятельствах редакторы «Посредника» считали возможным вмешиваться в тексты издаваемых ими писателей. За время прохождения «Баб» предлагались различные варианты изменения или сопровождения текста: 1) выпустить одну часть (Горбунов-Посадов – Черткову, 4 июля 1891 г., 29 января 1893 г.); 2) сопроводить рассказ предисловием (Горбунов-Посадов – Хирьякову, 1 июля 1891 г.; Хирьяков – Горбунову-Посадову, 9 августа 1891 г.); 3) дать послесловие (Чертков – Горбунову-Посадову, 9 июля 1891 г.); 4) «упростить слог», «исправить» малопонятные выражения (Горбунов-Посадов – Черткову, 20 апреля 1893 г.; Чертков – Горбунову-Посадову, 8 мая 1893 г.); 5) напечатать в паре с вещью другого автора: «В виде более светлого заключения к „Бабам“ Чехова <...> думаю поместить маленькое сказание „Али справедливый“ о покаянной жене и искуплении ею греха через ребенка» (Горбунов-Посадов – Черткову, 25 февраля 1893 г.). Но впоследствии все эти проекты – очевидно, после инцидента с «Женой» (см. примечания

к этому рассказу в наст. томе) – были оставлены; из них был осуществлен только самый первый – сокращение текста. Была выпущена ночная сцена (рассказ Варвары). Эта сцена по содержанию не подходила, очевидно, по мнению руководителей «Посредника», для «народной серии». В остальном текст не правился.

В свет книжка вышла лишь в конце 1893 г.: «Вчера я послал Вам вышедшую Вашу книжку „Бабы“ для народа (12 000), – писал Горбунов-Посадов Чехову 17 октября. – Теперь, после затишья, вызванного разными типографскими неурядицами, начинаем устраивать всё, правильно двигать дело печатанья. Я послал на Лопасню 5 экз. „Баб“ <...>, а на Серпухов 50 экз. „Баб“» (ГБЛ). Тираж был отпечатан в ноябре 1893 г. На титуле был поставлен 1894 г.

Второе издание «Баб» было стереотипным. Для третьего издания был сделан другой набор, но текст, за исключением одного изменения, остался прежним.

Почти одновременно с изданием рассказа в «Посреднике» Чехов готовил сборник «Пала-

та № 6», куда вошли и «Бабы». Над корректурой сборника Чехов работал во время своего приезда в Петербург в декабре 1892 – январе 1893 г. (см. письма Н. М. Ежову от 25 декабря 1892 г. и Черткову от 20 января 1893 г.). Включая рассказ в сборник, Чехов подверг его очень небольшой правке. В нескольких случаях изменены границы фраз, изменен и порядок слов; стилю рассказчика был придан оттенок большей разговорности. Издания 2-е – 4-е сборника были стереотипными; в 5-м – 7-м был другой набор и произведена небольшая правка. Еще меньшей правка была при включении рассказа в издание А. Ф. Маркса; направленность изменений в обоих последних изданиях была прежней.

В одном из первых же дошедших до нас отзывов о рассказе – в переписке сотрудников «Посредника» – подчеркивалась объективность общей манеры рассказа. Отсутствие прямой авторской оценки вызывало у них опасения: «Перечел их еще раз, – писал Хирьяков Горбунову-Посадову 9 августа 1891 г., – и мне кажется, что даже с обстоятельным предисловием мерзость мерзости будет недо-

статочно убедительна» (ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 1435).

Авторская объективность – но уже с положительной оценкой – отмечалась и в первом печатном отзыве, статье В. Гольцева «А. П. Чехов» в «Русской мысли» (1894, кн. 5; сначала была прочитана в качестве публичной лекции 23 марта 1894 г.): «Симпатий своих Чехов не подчеркивает, от себя не говорит ни слова, и осуждают безнравственного святошу только бабы, выведенные в рассказе; но ошибиться в том, куда именно направлено сочувствие автора и на что он негодует, по-моему, невозможно. Объективная форма рассказа в данном случае, пожалуй, усиливает впечатление» (стр. 44).

П. Н. Краснов, сопоставляя Чехова с Мопассаном и отдавая предпочтение Чехову, на примере рассказа «Бабы» делал вывод: «Нигде и никогда у г. Чехова женская честь не рассматривается слегка, как какой-то пустяк, повсюду является она важным жизненным вопросом, и преступление против нее является несчастьем и влечет за собой глубокие последствия» («Осенние беллетристы». – «Труд»,

1895, № 1, стр. 205). Другого мнения об этой стороне рассказа был представивший в 1897 г. в цензуру отзыв о «Бабах» член Ученого комитета Министерства народного просвещения Д. Аверкиев. Несмотря на то что отзыв был дан об издании «Посредника», где была выпущена целая сцена, Аверкиев полагал, что «нравственные его основы шатки, а потому вряд ли желательно допущение его в народные читальни» (А. П. Чехов. Собр. соч., т. 6. М., 1962, стр. 524).

Рассказ «Бабы» был среди отмеченных Толстым лучших чеховских рассказов (см. т. III Сочинений, стр. 537).

В поздней критике «Бабы» ставились в один ряд с такими вещами Чехова, как «В овраге», «Мужики» (*Евг. Ляцкий. А. П. Чехов и его рассказы... – «Вестник Европы», 1904, № 1; И. И. Замотин. Предрабрасветные тени. К характеристике общественных мотивов в произведениях А. П. Чехова. – «Чтения в Об-ве любителей рус. словесности...», отд. отт., Казань, 1904*). «Такие рассказы, как „Бабы“ или „Мужики“, – писал Ляцкий, – обличают в Чехове уже настоящего мастера и, несмотря на

несколько однотонное освещение, производят впечатление истинно художественных произведений. В этих рассказах всё естественно, живо, всё бывает и может быть, образы запоминаются сразу» (стр. 153). Разбирая ночную сцену, критик замечал: «Здесь дана только завязка новой драмы, но она и не нуждается в развитии: одна из вероятных развязок ее уже рассказана в повести мещанина» (стр. 155).

При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, немецкий и сербскохорватский языки.

## Дуэль

**В**первые – «Новое время», 1891, №№ 5621, 5622, 5624, 5628, 5629, 5635, 5642, 5643, 5649, 5656, 5657 от 22, 23, 25, 29, 30 октября, 5, 12, 13, 19, 26, 27 ноября. Подпись: Антон Чехов. Дата: Село Богимово, 1891.

В 1892 г. выпущено отдельным изданием: Антон Чехов. Дуэль. Повесть. СПб., изд. А. Суворина; в 1892–1899 гг. переиздавалось еще восемь раз.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VI, стр. 5–130.

### 1

**П**ервое упоминание о замысле, очень напоминающем сюжет «Дуэли», находится еще в письме Чехова 1888 года. Через несколько месяцев после поездки по Кавказу, в ноябре 1888 г. Чехов писал А. С. Суворину: «Ах, какой я начал рассказ! <...> Пишу на тему о любви. Форму избрал фельетонно-беллетристическую. Порядочный человек увез от порядочного человека жену и пишет об этом свое мнение; живет с ней – мнение; расходится –

опять мнение. Мельком говорю о театре, о предрассудочности „несходства убеждений“, о Военно-Грузинской дороге, о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни, о Печорине, об Онегине, о Казбеке». Возможно, разработка этого замысла продвинулась достаточно далеко (предположения об этом см. в т. III Писем, стр. 355–356). Но затем он был оставлен, и Чехов не возвращался к нему более двух лет.

В творческой практике Чехова разрывы между замыслом и воплощением бывали и больше («Архиерей»). Хронологически близкий к «Дуэли» «Рассказ неизвестного человека» тоже был начат в 1887–1888 гг. Возможно, что замыслы и других поздних повестей восходят к этому времени; Суворину 27 октября 1888 г. Чехов писал: «У меня в голове томятся сюжеты для пяти повестей и двух романов». Но, конечно, речь может идти только о каком-то первоначальном замысле. Сохраниться до 1890 года в прежнем виде он не мог. За это время были написаны «Скучная история», «Княгиня», «Обыватели», «Леший», «Воры», «Гусев». Шла работа над романом. Наконец,

была поездка на Сахалин.

Работа над повестью была начата в исходе 1890 г., сразу же по возвращении с Сахалина. 8 декабря 1890 г. Чехов приехал в Москву. В середине декабря он отделал и переписал рассказ «Гусев» (окончен 23 декабря). Отослав рассказ, Чехов продолжает усиленно работать – его письма этих дней полны жалоб на посетителей, отрывающих его от стола. Это и была работа над «Дуэлью». В январе 1891 г. Чехов сообщал Суворину: «Приеду я в Петербург, вероятно, 8 января. Буду у Вас писать, а если не буду, то уеду. Так как в феврале у меня не будет ни гроша, то мне нужно торопиться кончить повесть, которую я начал. В повести есть кое-что такое, о чем мне надлежит поговорить с Вами и попросить совета».

В Петербурге, где Чехов пробыл с 8 по 29 января 1891 г., он продолжал работать над повестью, но с «превеликим трудом». Сахалин стал общественным событием, посетители, «обеда, письма, разговоры», рассказы о поездке занимали почти всё время – об этом Чехов писал из Петербурга всем своим корреспондентам, 30 января Чехов вернулся в Москву

и сразу же взялся за продолжение «Дуэли». «Уже пишу» – уведомлял он Суворина 31 января. Усиленно и с большим подъемом Чехов работал над повестью весь февраль.

На этой первой стадии работа шла хорошо, и Чехов всё время был уверен, что напишет повесть скоро. В начале января он надеялся закончить ее к февралю (письмо Суворину от 5 января) и еще в начале февраля продолжал быть уверенным, что работа будет завершена в ближайшее обозримое время. «Когда приедете в Москву, – писал он Суворину 31 января, – повесть будет уже кончена, и я вместе с Вами вернусь в Петербург» (Суворин собирался в Москву в середине февраля). «Я пишу, пишу! – сообщал он ему же через несколько дней. – Признаться, я боялся, что сахалинская поездка отучила меня писать, теперь же вижу, что ничего. Написал я много».

Чехов еще думал, что повесть будет «небольшой» (письмо П. Н. Исакову от 20 января). Но постепенно замысел повести расширялся и углублялся – очевидно, вводились новые персонажи. В письмах после 7 февраля появились первые нотки сомнений в том,

что и дальше всё пойдет столь же гладко (И. П. Чехову, после 7 февраля). Сроки отодвигались. «До конца еще далеко, а действующих лиц чертова пропасть. У меня жадность на лица. К Вашему приезду будет готова половина, а может быть, и больше» (Суворину, 8 февраля).

Трудности возрастали; повесть приобретала новые, необычные для Чехова жанровые черты. «Пишу пространно, à la Ясинский» (Суворину, 5 февраля). «Она в самом деле выходит великою, т. е. большою и длиною, так что даже мне надоело писать ее. Пишу громоздко и неуклюже, а главное – без плана» (ему же, 6 февраля). «Всё гладко, ровно, длинот почти нет, но знаете, что очень скверно? В моей повести нет движения, и это меня пугает. Я боюсь, что ее трудно будет дочитать до середины, не говоря уж о конце» (ему же, 22 февраля).

Тем не менее «повесть <...> подвигается вперед» (письма Суворину от 23 февраля; ему же от 5 марта); работа идет очень интенсивная. «Если бы Вы знали, – писал Чехов Е. М. Шавровой 6 марта, – какую длинную по-

весть пишу я, как кружится у меня по этому поводу голова, то извинили бы меня за то, что я до сих пор не даю Вам никакого ответа». Это – последнее упоминание о «Дуэли» в мартовских московских письмах.

5 марта 1891 г. окончательно была решена заграничная поездка. 11 марта Чехов выехал в Петербург; 19 марта он был уже за границей. Во время путешествия Чехов обдумывал повесть, делал заметки в записной книжке (было даже заблаговременно приобретено приспособление для писания в вагоне). 20 марта в письме из Вены он просил родных купить лубочное изображение св. Варлаама – «святой Варлаам изображен едущим на санных» – эпизод, бывший в первоначальном варианте «Дуэли».

17 апреля Чехов сообщал родственникам из Ниццы: «Я пишу помаленьку, хотя писать в дороге очень трудно». Систематическая работа над повестью возобновилась только по приезде, в мае, на даче в Алексине, а затем в Богимове. Но весь май, июнь и первую половину июля Чехов был занят работой над книгой «Остров Сахалин», и хотя по расписанию,

изложенному в письме к Суворину от 10 мая, повести («роману») уделялось столько же дней в неделю, сколько книге, судя по всем остальным письмам, основной работой Чехова в это время был именно «Остров Сахалин». Над беллетристической работа шла «в промежутках» (Суворину, 27 мая; М. В. Киселевой, 20 июля).

Распорядок работы в это лето, вспоминал М. П. Чехов, был такой: «Каждое утро Антон Павлович поднимался чуть свет, часа в четыре утра <...> Напившись кофе, Антон Павлович усаживался за работу <...> Писал он свою повесть „Дуэль“ и приводил в порядок сахалинские материалы. <...> Занимался он, не отрываясь ни на минуту, до одиннадцати часов утра <...> Часа в три дня Антон Павлович снова принимался за работу и не отрывался от нее до самого вечера» (*Вокруг Чехова*, стр. 236–237). В одном из писем Суворину он вспоминал, что этим летом работал «от утра до вечера и во сне» (16 октября 1891 г.; см. также письмо Н. А. Лейкину от 12 октября 1891 г.).

С 20-х чисел июля в письмах Чехова, кроме

«Сахалина», снова начинают упоминаться «другие работы» (М. В. Киселевой, 20 июля; Ал. П. Чехову, около 24–25 июля). А еще 12 июня Чехов просит И. И. Левитана прислать ему текст «Воспоминания» Пушкина (письмо Левитана от июля 1891 г., ГБЛ; «И. И. Левитан. Письма. Документы. Воспоминания». М., 1956, стр. 37–38), использованный в одной из финальных глав. Повесть подвинулась. 24 июля Чехов обещал Суворину, что вскоре пришлет рассказ, «который готов больше чем наполовину». 29 июля Чехов обещал рассказ кончить и прислать «на днях».

Но, очевидно, в плане заключительной части произошли какие-то изменения. Об этом свидетельствуют письма Чехова, в которых он прямо или косвенно упоминает о размере повести. В письме Суворину от 24 июля он сообщает, что «рассказ <...> будет содержать в себе 4–5 фельетонов». Нововременские фельетоны-подвалы составляли в среднем около 500 строк. Даже если Чехов считал, что ему будет предоставлен разворот (т. е. около 700 строк, как это было с начальной частью «Дуэли», напечатанной 22 октября), то и в этом

случае объем рассказа, по представлению автора, должен был составить не более 3500 строк. Такая же цифра называется и в письме от 19 июля: Чехов собирается получить за рассказ около 600 рублей; из расчета по 17 коп. за строку (после «пяточковой прибавки» в июле) получается около 3500 строк. Обе эти цифры очень далеки от окончательной: в газетном варианте повесть заняла около 5700 строк.

Неясности были даже в конце писания; завершающая стадия работы шла медленно и с трудом. «Рассказ свой кончу завтра или послезавтра, но не сегодня, – писал Чехов Суворину 6 августа, – ибо к концу он утомил меня чертовски. Благодаря спешной работе я потратил на него 1 ф. нервов. Композиция его немножко сложна, я путался и часто рвал то, что писал, целыми днями был недоволен своей работой – оттого до сих пор и не кончил. Какой ужас! Мне нужно переписывать его! А не переписывать нельзя, ибо черт знает что напутано».

Окончена «Дуэль» была, однако, только к 18 августа. «Наконец кончил свой длинный утомительный рассказ, – уведомляет Чехов

Суворина в письме в этот день. – <...> В рассказе больше 4 печатных листов. Это ужасно. Я утомился, и конец тащил я точно обоз в осеннюю грязную ночь: шагом, с остановками – оттого и опоздал».

Последний вариант не во всем удовлетворил автора. В обоих письмах – и сопроводительном, и посланном вслед, в тот же день, 18 августа, он просит отложить «печатание до осени, когда можно будет прочесть корректуру». Из письма Суворину от 16 ноября выясняется, что говоря о переделках в корректуре, Чехов прежде всего имел в виду финал повести: «Значит, „Дуэль“ будет печататься три недели. Так как конец будет печататься, когда я буду в Питере, то, быть может, я что-нибудь переделаю в нем».

Печатание было отложено до октября.

## 2

«Дуэль» – одно из самых «литературных» произведений Чехова. Ее персонажи сопоставляют себя с литературными героями, цитируют, вспоминают Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Лескова, Байрона, Шиллера. Сам автор эпиграфом к одной из

глав берет строки Пушкина. Использование в повести традиционных для русской литературы тем и коллизий (Кавказ, дуэль) неоднократно отмечалось исследователями (М. Л. Семанова. Чехов о Пушкине. – В сб.: Проблемы реализма русской литературы XIX века. М. – Л., 1961; В. Я. Линков. Повесть А. П. Чехова «Дуэль» и русский социально-психологический роман первой половины XIX века. – В сб.: Проблемы теории и истории литературы. Изд. МГУ, 1971).

Наряду с литературными именами в «Дуэли» упоминаются Кант, Гегель, Спенсер, Шопенгауэр, Христос. Не раз указывалось на отголоски в повести толстовских идей (А. Дерман. Творческий лортрет Чехова. М., 1929, стр. 206). В «Дуэли» воплотились размышления Чехова конца 80-х годов над философскими, общественными и естественнонаучными вопросами, нашедшими отражение в его переписке и публицистике 1888–1891 гг.

Одна из таких проблем – необходимость «ясно осознанной цели», олицетворенная живыми людьми, – нашла развернутое воплощение в некрологе «Н. М. Пржевальский» (1888).

На связь этой статьи с образом фон Корена указал А. Горнфельд (в статье «Чеховские финалы» – «Красная новь», 1939, № 8–9, стр. 295–296; см. также: В. Б. Катаев. Повесть Чехова «Дуэль». К проблеме образа автора. – «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1967, т. XXVI, вып. 6, стр. 527). Действительно, в нарисованной Лаевским гипотетической картине поведения фон Корена в будущей экспедиции (гл. IX) явственно угадываются некоторые реальные детали экспедиции Пржевальского в Среднюю Азию в 1871–1873 гг., «единственной в своем роде по мужеству участников» и тяжести перенесенных лишений (М. А. Энгельгардт. Н. Пржевальский, его жизнь и путешествия. СПб., 1891, стр. 34), а в «сильной, деспотической» натуре руководителя, похороненного в пустыне, где крест будет «виден караванам за тридцать – сорок миль», – черты Пржевальского и детали его биографии. Как сообщал вскоре после смерти путешественника его постоянный спутник В. Роборовский, могила Пржевальского на пустынном берегу Иссык-Куля «будет видна отовсюду» («Памяти Н. М. Пржеваль-

ского». Изд. имп. Русского географического общества. СПб., 1890, стр. 59).

Вопрос о дуэлях широко дебатировался в русской печати 1880-х – начала 1890-х годов. Это привело к изданию приказа 1894 г. по военному ведомству о дуэлях, которые с этого времени стали входить в компетенцию суда общества офицеров и в военной среде потеряли «характер обыкновенного преступления» («Суд чести в офицерской среде». – «Русская жизнь», 1894, № 146, 3 июня). Противники дуэли выдвигали аргументы, очень сходные с теми, к которым прибегают герои в XV и XVI главах повести. «Пистолет или шпага, употребляемые на дуэли, – говорил А. М. Иванов-Платонов, – в существе дела не выше кулака или палки, употребляемых в обыкновенной драке» («Истинное понятие о чести и фальшивое понятие о ней». – В кн.: А. М. Иванов-Платонов. За двадцать лет священства. Слова и речи. М., 1884). В. Г. Короленко в статье «Русская дуэль в последние годы» (1897) приводит такую цитату из «Нового времени»: «Быть может, дуэль и является сама по себе уродливым способом восстановления чести,

но способ этот признается в современном обществе» (В. Г. Короленко. Полное собр. соч. Т. IV, СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1914, стр. 262). (См. также: «Мысли выдающихся писателей и общественных деятелей о дуэли». – «Север», 1892, № 3, 19 января; Л. А. Киреев. Письма о поединках. СПб., 1899; Драгомиров. Дуэли. Киев, 1900; М. М-ъ (М. Махов). Дуэль, ее происхождение и современный характер. СПб., 1902; Н. И. Фалеев. Дуэли. – «Исторический вестник», 1904, № 2. Эта статья, возможно, была последней, читанной Чеховым перед отъездом в Москву, а затем в Баденвейлер. – См. Чехов и его среда, стр. 347.)

Уже современники говорили о связи «Дуэли» с впечатлениями Чехова от «каторжного острова» – Сахалина. «Когда я читал „Сахалин“, – писал Чехову 17 января 1904 г. В. Л. Кигн, – мне думалось, что тамошние краски сильно пристали к Вашей палитре. Почему-то мне кажется, что и великолепная „Дуэль“ вывезена отчасти оттуда» (ГБЛ).

К сахалинскому путешествию восходят многие реалии повести: имя духанщика Кербалая (ср. «Остров Сахалин», гл. XVI), сведения

о миссионерах; какие-то черты дьякона Победова навеяны о. Ираклием – сахалинским знакомым Чехова (С. В. *Калачева*. К творческой истории «Дуэли» А. П. Чехова. – «Вестник МГУ», 1964, № 3, стр. 44–45); несомненна связь с географией чеховского путешествия маршрута экспедиции фон Корена («от Владивостока до Берингова пролива») и др. Но вопрос, конечно, проблемой реалий не исчерпывается. «„Дуэль“, – писал А. Роскин, – была скорее воспоминанием Чехова о жизни российских чиновников на Сахалине или же в других столь же глухих и угрюмых дальневосточных и сибирских местах <...>, чем воспоминанием о солнечной и ласковой Абхазии» (А. *Роскин*. А. П. Чехов. Статьи и очерки. М., 1959, стр. 211). Эта мысль находит поддержку и в новейших исследованиях: «Понятие „Кавказ“ не обладает у Чехова собственным этническим, нравственным, бытовым содержанием» (И. *Гурвич*. Проза Чехова. М., 1970, стр. 34). Роскин же связал с «Дуэлью» упоминания о ностальгии в книге «Остров Сахалин». Нужно добавить только, что глава о беглых на Сахалине, где говорится об этом, писалась одно-

временно с «Дуэлью» (см. письмо к Суворину от 30 августа 1891 г.). Слова каторжных о том, что «в России всё прекрасно» и что «жить где-нибудь в Тульской или Курской губернии, видеть каждый день избы, дышать русским воздухом само по себе есть уже высшее счастье» (гл. XXII), близки к мечтам Лаевского о воздухе России, о Курске и Москве (гл. II). Следует, впрочем, отметить, что в одном из писем Чехова упоминается тоскующий по России письмоводитель, живущий, как и герой «Дуэли», в Абхазии (Суворину, 14 февраля 1889 г.).

В рассуждениях героев «Дуэли» о праве естествоиспытателей решать философские вопросы, о союзе естественных и гуманитарных наук, соотношении веры и знания и таких теорий, как непротивление злу, с данными положительных наук отразились собственные мысли Чехова, уже обсуждавшиеся им в произведениях середины 80-х годов («Хорошие люди») и высказывавшиеся им в письмах, близких по времени к работе над повестью (например, к Суворину от 7 мая и от 15 мая 1889 г.). Подготовка к сахалинскому путешествию и писание книги о нем, чтение мно-

жества специальных научных трудов, несомненно, оживили и обострили естественно-научные интересы Чехова. Поэтому для него оказалась очень плодотворной встреча в Богимове во время писания «Дуэли» с зоологом В. А. Вагнером. Чехов внимательно приглядывался к Вагнеру – в нескольких письмах он рассказывал о философских спорах с зоологом, о том, что наблюдает за его работой. В соавторстве они написали в это же лето фельетон «Фокусники» (см. т. XVI Сочинений). Но особенно увлекали Чехова беседы о дарвинизме.

С сочинениями Дарвина Чехов был знаком со студенческих лет. В последующие годы он внимательно читал Дарвина (книга «Прирученные животные и возделанные растения» была в его библиотеке – см. *Чехов и его среда*, стр. 367; Дарвин упоминается в его письмах и произведениях). Следил Чехов и за полемикой вокруг дарвинизма, обострившейся в русской печати в середине 80-х годов с появлением книги Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» (СПб., 1885) – см. его письмо к Ал. П. Чехову от 7 или 8 сентября 1887 г. по поводу антидарви-

нистских статей Эльпе (Л. К. Попова) в «Новом времени». Отголоски споров этих лет ощущаются в повести (в возражениях героев фон Корену).

С Вагнером, вспоминал М. П. Чехов, «начинались дебаты <...> на темы о модном тогда вырождении, о праве сильного, о подборе и т. д., легшие потом в основу философии фон Корена в „Дуэли“» (*Вокруг Чехова*, стр. 237; ср.: М. П. Чехова. Из далекого прошлого. М., 1960, стр. 102–104). Действительно, в речах фон Корена отразилось многое из взглядов Вагнера.

Вагнер чрезвычайно высоко ставил Г. Спенсера, отводя ему «одно из первых мест среди философов-материалистов» (*Вл. А. Вагнер. Биопсихология и смежные науки*. Пг., 1923, стр. 4; ср. оценку Спенсера в монологе фон Корена в гл. IV). Отзвуки идей Спенсера видны, например, в рассуждении фон Корена о том, что культура «ослабила борьбу и подбор». Ср. у Спенсера: «Стремление поддержать массу бездельников и тем самым мешать естественному процессу выпалывания (т. е. отбору) приносит огромный и бесспорный вред». Эти слова цитирует Вагнер в своей

книге «Биологические теории и вопросы жизни» (СПб., 1910, стр. 42). В этой книге Вагнера находим и другие совпадения с высказываниями фон Корена о роли в человеческом обществе биологических законов борьбы за существование.[75] В ней же излагаются полемические доводы противников дарвинизма, считавших, что «решение социальных проблем должно составлять дело одних только гуманистов» и что «вмешательство людей „с односторонним естественноисторическим образованием“ ничего, кроме вреда, принести не может, ибо „законы, писанные для животных, не для людей писаны“» (стр. VI; ср. текстуально близкие мысли Лаевского в конце седьмой главы).

По воспоминаниям В. А. Васильева, все, знавшие В. А. Вагнера, «хорошо помнят любимое положение профессора о том, что гуманитарные науки и философия должны быть основаны целиком на естественных науках <...> Так рассуждал и фон Корен[76] <...> Чехов произвел точно даже отдельные формулировки ученого» (В. А. Васильев. Из истории создания литературных образов А. П. Чехова. Образ

фон Корена – героя повести Чехова «Дуэль». – «Известия Северо-Кавказского пед. ин-та им. Гадиева». Т. XIII. Орджоникидзе, 1937, стр. 185). От Вагнера исходили и некоторые чисто биологические сведения и реалии повести. В IX гл. Лаевский упоминает о биологических станциях в Неаполе или Villefranche. На этих станциях работал Вагнер (см. об этом в его «Отчете о заграничной командировке летом 1889», СПб., б/г, стр. 1. Там же – о бедности фауны Черного моря, стр. 9).

Сохранились сведения о «прототипичности» некоторых более мелких деталей повести. По свидетельству П. Свободина, резкие словечки в речи Лаевского взяты Чеховым у Суворина (П. Свободин – Чехову, 6 ноября 1891 г. – *Записки ГБЛ*, вып. 16, М., 1954, стр. 225). Отголосок каких-то разговоров с Сувориным – упоминание о франко-русских симпатиях во внутреннем монологе Лаевского в начале второй главы. Фраза Лаевского «Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего», по свидетельству М. П. Чехова, заимствована из лексикона М. Н. Островского, министра государственных имуществ, брата драматурга (

*Вокруг Чехова*, стр. 220. Ср. письмо Чехова М. П. Чеховой от 14 июля 1888 г.). В повести нашли отражение впечатления от поездок Чехова в Крым и на Кавказ в 1888 г., а также в Крым в июле-августе 1889 г. – одним из немногих месяцев в жизни Чехова, когда он «отдыхал, ничего не писал», купался в море, участвовал в пикниках, поездках в горы (Е. М. Шаврова-Юст. Об Антоне Павловиче Чехове. – «Литературный музей А. П. Чехова. Сб. статей и материалов». Вып. 3, Ростов-на-Дону, 1963, стр. 274). «На Афоне, – писал Чехов 25 июля 1888 г., – познакомился с архиереем Геннадием, епископом сухумским, ездящим по епархии верхом на лошади». Как заметил Б. К. Зайцев, «в „Дуэли“ мелькнет его привлекательный облик» (Б. Зайцев. Чехов. Литературная биография. Нью-Йорк, 1954, стр. 84).

Ранние варианты повести до нас не дошли – их автор «уничтожал и рвал». Об их содержании и замыслах первой стадии работы имеются лишь некоторые отрывочные сведения. Из окончательного текста исчезли: 1) упоминание о театре; 2) история св. Варлаама, едущего летом на санях, как пример го-

рячей веры (см. письмо Чехова от 20 марта 1891 г. и комментарий к нему); она была заменена эпизодом с дядькой дьякона, попом (гл. XIII варианта «Нового времени» или гл. XVI изд. А. Ф. Маркса); 3) упоминание разговоров Гёте с Эккерманом (см. письмо Суворину от 6 февраля 1891 г.); книга «Разговоры Гёте с его секретарем Эккерманом» вышла в изд. Суворина в январе 1891 г.; Чехов, очевидно, тогда же прочел ее; 4) возможно – уже в корректуре – некоторые «зоологические разговоры»: отослав рукопись Суворину, Чехов колебался, оставить их или выбросить из повести: «не станет ли она оттого живее?» (Суворину, 30 августа 1891 г.). Лаевский в рукописи носил фамилию Ладзиевский, потом Лагиевский (Суворину, 30 августа). С большой долей вероятности можно утверждать, что в части, написанной до отъезда за границу, отсутствовал фон Корен – во всяком случае, в известных по печатному тексту его чертах. Подобного персонажа нет в конспекте замысла, изложенном в 1888 году; беседы с Вагнером велись летом 1891 г. Когда писалось начало (зимой), Чехов с зоологом знаком не был.

Печатание большого рассказа в газете, где он неминуемо должен был появляться лишь небольшими порциями, с самого начала не устраивало Чехова. 18 августа он писал об этом Суворину; эту же мысль он повторил, уже отослав рассказ: «Напрасно Вы постеснились вернуть мне его обратно. Я бы послал его в „Сев<ерный> вестник“. Кстати, оттуда я уже получил два письма. Печатать в газете длинное, да еще черт знает что, весьма неприятно» (28 августа). «Не читайте ее в газете. Я пришлю книжку», – писал он П. И. Чайковскому 18 октября. Объяснение, почему Чехов все же согласился на этот неудобный для него способ публикации, находим в письме к брату от 24 октября: «Я <...> был должен „Нов<ому> времени“, и если бы не последнее обстоятельство, то повесть моя печаталась бы в толстом журнале, где она вошла бы целиком, где я больше бы получил».

Начало «Дуэли» появилось в «Новом времени» во вторник 22 октября 1891 г. с примечанием от редакции: «Повесть Чехова займет ряд фельетонов. Мы постараемся печатать ее

непременно в назначенные дни, именно во вторник и среду каждой недели». Первые две недели расписание соблюдалось (был даже дан один лишний фельетон – в пятницу, 25 октября). Но предоставление Чехову двух фельетонов в неделю вызвало недовольство сотрудников «Нового времени», которые, по словам самого Суворина, вообще не любили, когда он «пропустит в газету что-нибудь талантливое не из редакции, – например, чеховскую „Дуэль“» (из дневника С. И. Смирновой-Сазоновой, 2 марта 1892 г. – *ИРЛИ*, ф. 285, ед. хр. 20). «Никогда на твою главу не падало столько ругани, сколько теперь – после того, как твоя „Дуэль“ заняла фельетоны вторников и сред, – писал Ал. П. Чехов. – Маслов, Петерсен и все, кто только рассчитывал на помещение своих фельетонов, ругают тебя как узурпатора и даже высчитывают, сколько каждый из них потеряет, пока будет печататься твоя повесть. <...> Я бы посоветовал тебе „попросить доброго господина Суворина“ <...>, чтобы он уладил как-нибудь и освободил в пользу лающих и ворчащих хотя бы одну среду» (23 октября 1891 г.; *Письма Ал. Чехова*,

стр. 249). Чехов не был заинтересован в еще большем растягивании печатанья. Тем не менее он просил передать Суворину, «чтобы он отдал среды – разве они мне нужны?» (24 октября). На следующий день он писал о том Суворину сам. Решение Суворина было компромиссным – из пяти последующих сред «Дуэль» не печаталась в двух. Сроки удлинялись. К концу четвертой недели Чехов начал торопить Суворина – сначала намекая («„Дуэли“ осталось уже немного. Остаток может поместиться в два фельетона»), а затем, когда уже прошло назначенное время, говоря прямо: «„Дуэль“, пожалуйста, кончайте в эту неделю». Печатание окончилось только 27 ноября. Вместо трех недель, как было решено вначале, «Дуэль» печаталась больше пяти.

Одновременно с печатанием повести в газете готовилось отдельное издание, в текст которого Чехов вносил изменения в корректуре. Договоренность с Сувориным об отдельном издании существовала до начала печатания в газете: еще 16 октября Чехов просит присылать «корректуру „Дуэли“ для книжки». Были определены сроки – начало декабря

(письмо П. И. Чайковскому от 18 октября). По каким-то причинам Чехов очень хотел издать книгу в срок или, по крайней мере, до Рождества – напоминания о времени, опасения, что «Дуэль» не успеет, находим во многих письмах к Суворину за октябрь – декабрь 1891 г. 30 октября была исправлена и отдана корректура первого листа (письмо Суворину от этого числа), в середине ноября (возможно, во время визита Суворина в Москву) – средние листы; с 11 по 13 декабря Чехов работал над концом, 13 декабря конец был отослан (письма Суворину 11 и 13 декабря).

В свет повесть вышла 17 декабря («Библиографические новости». – «Новое время», 1891, № 5677, 17 декабря); 18-м декабря датированы дарственные надписи на двух экземплярах книги (*ЛН*, т. 68, стр. 276, 278). Перед Рождеством она уже, очевидно, поступила в продажу – в письме А. И. Смагину от 4 января 1892 г. Чехов писал, что его книги «перед праздником шли очень хорошо». В конце 1892 г. вышло уже второе издание.

В корректуре отдельного издания к характеристике Лаевского добавлено, что он «часто

употреблял в разговоре непристойные выражения». Существенно для выяснения авторского отношения к герою изменение эпиграфа в главе XVII – цитата из пушкинского стихотворения в издании 1892 г. была продолжена, приведены дальнейшие строки: «Я трепещу и проклиная, И горько жалуясь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю». Включена сцена в главе V («Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. И ей казалось...» и т. д.), предвосхищающая настроение героини в главе VI («она казалась себе <...> легкой и воздушной, как бабочка»). В самом начале повести расширен эпизод, характеризующий медицинские познания Самойленко, и приводится образец его рецептуры: «Холодные души, мушка... Ну, внутрь что-нибудь».

В последующих изданиях (со 2 по 9) изменения в текст почти не вносились.

Новые исправления были сделаны в 1901 г. при включении «Дуэли» в издание Маркса. Несколько перемен в тексте усложнили психологический облик Надежды Федоровны. Была снята сцена на пикнике («ей стало еще веселей» и т. д.) и уже в главе V введены мо-

тивы рефлексии (добавлено: «И что-то в самой глубине души смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина...»). Для облика фон Корена существенно изменение, внесенное в финале, – сняты его слова об уважении к Лаевскому.

Наибольшие изменения претерпела фигура Кирилина. Из офицера он превратился в пристава. В прежних вариантах в его отношении к Надежде Федоровне был элемент любовной игры, хотя и пошлой; он даже «робеет и конфузится». В новом варианте Кирилин «как порядочный человек», а не «шалопай», требует «серьезного внимания». Мотив «я должен проучить вас» становится основным в его поведении. В издании Маркса было изменено деление глав.

#### 4

Первым критиком «Дуэли» – еще в рукописи – был ее издатель. Повесть Суворину понравилась; об этом он писал Чехову в не дошедшем до нас письме около 29 августа (см. письмо Чехова от 30 августа). О более поздних (1896 г.) его восторженных отзывах вспоминает А. Амфитеатров, рассказывая о споре, в ко-

тором Суворин защищал «Дуэль». «Мы <...> буквально переругались из-за „Дуэли“. Я находил ее ниже чеховского таланта, а Суворин вопил, что Чехов ниже своего таланта написать не может» («Русское слово», 1914, № 151, 2 июля).

Именно ответами на замечания и вопросы Суворина были и собственные высказывания Чехова о повести – и общие, касающиеся основных ее проблем, и частные – о поэтике имен, о деталях быта героев. Отвечая на предложение Суворина изменить заглавие повести, Чехов писал: «Для моей повести рекомендуемое Вами название „Ложь“ не годится. Оно уместно только там, где идет речь о сознательной лжи. Бессознательная ложь есть не ложь, а ошибка. То, что мы имеем деньги и едим мясо, Толстой называет ложью – это слишком» (8 сентября). Согласившись изменить фамилию главного героя, Чехов возражал против предложения дать другое имя фон Корену. «Фон Корен пусть остается фон Кореном. Изобилие Вагнеров, Брандты, Фаусеки и проч. отрицают русское имя в зоологии, хотя все они русские. Впрочем, есть Ковалев-

ский. Кстати сказать, русская жизнь теперь так перепуталась, что всякие фамилии годятся» (30 августа).

В письмах к Чехову и переписке первых читателей отзывы о «Дуэли» появились еще до окончания печатания. Как и самому автору, читателям не нравилось, что повесть печатается в газете. «Несмотря на все, что может извинять Вас, – писал Чехову П. Свободин после третьего фельетона, – все-таки скажу, что печатать в газете такие вещи, как „Дуэль“ – через неделю по столовой ложке – это варварство!» (26 октября 1891 г.). Это же повторял он в письмах от 6 и 28 ноября (*Записки ГБЛ*, вып. 16, стр. 225, 227). Об этом же писал Н. М. Ежову и В. В. Билибин: «Главный ее недостаток тот, что она печатается в газете. Впечатление разбивается» (17 ноября 1891 г. – *ЦГАЛИ*, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7).

Отзывы, данные до окончания печатания, противоречивы. «До сих пор вещь прелестна. – писал Чехову Свободин, прочитав половину повести, – все фигуры влезают со столбцов „Нов<ого> вр(емени)“ и начинают ходить по комнатам, которые превращаются то в сто-

ловую Самойленки, то в берег Батума, то в купальню» (6 ноября). И. Л. Леонтьев (Щеглов), считая, что повесть «не совсем еще обработана, выпадает часть из тона», тем не менее полагал, что «„Дуэль“ талантливее, художественнее всех этих Потапенок и К°» («Дневник», 25–26 ноября 1891 г.; *ЛН*, т. 68, стр. 482).

Совсем другое мнение – по выходе в свет той же части, после которой написано письмо Свободина, – передавал в письме к Ежову от 10 ноября 1891 г. Билибин: «Петербургской публике повесть Чехова не нравится. Упрекают, между прочим, в сочиненности». Но уже в следующем письме Билибин писал о многозначности мнений: «Одни очень хвалят повесть, другие говорят, что не узнают прежнего Чех<ова>. Мне лично повесть вообще очень нравится» (17 ноября 1891 г. – *ЦГАЛИ*, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7).

После окончания печатания отзывы в письмах пошли потоком. Писали знакомые и незнакомые, друзья и родственники, писали автору и друг другу. «Из Петербурга, из Вильны и из разных российских городов я получаю письма насчет „Дуэли“, – сообщает Чехов

Сувороину через неделю после выхода последнего фельетона повести. – Пишут какие-то незнакомцы. Письма в высшей степени задушевные и доброжелательные».

Первые печатные отклики появились еще в ноябре. Как и другие большие вещи – «Степь». «Скучная история» – повесть собрала много отзывов. То, что «Дуэль» вслед за этими произведениями привлекала особое внимание критики, отмечал позднее С. Венгеров («Вестник и библиотека для самообразования», 1903, № 32, 7 августа); об этом же писал в своей книге «Жизнь Антона Чехова и его произведения» (Одесса, 1902) Н. Георгиевич. Отзывы появлялись и в последующие годы – в связи с отдельным изданием 1892 г., в обзорных статьях и книгах, посвященных творчеству Чехова.

Как большинство чеховских вещей конца 80-х – начала 90-х гг., повесть – и в целом и в частности – вызвала самые разные, иногда взаимоисключающие суждения.

Диапазон колебаний оценок был широк.

В ряде статей, писем повесть получила высокую оценку, рассматривалась как новый

этап в развитии таланта Чехова. «Ваша „Дуэль“, – писал 26 декабря 1891 г. Леонтьев (Щеглов), – очень явный и очень знаменательный шаг вперед...» (*Записки ГБЛ*, вып. 8, М., 1941, стр. 78). «Одной из удачных вещей Чехова» и одной «из наиболее глубоко задуманных его вещей после „Скучной истории“» считал повесть А. Волынский («Литературные заметки». – «Северный вестник», 1892, № 1, стр. 177). П. Перцов, называя «Дуэль» самой лучшей повестью Чехова (заметим, что это сказано после выхода в свет «Жены», «Попрыгуньи», «Палаты № 6»), писал: «В этой повести психологический анализ г. Чехова достигает прямо толстовской высоты и силы» («Изъяны творчества. Повести и рассказы А. Чехова». – «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 60). Критик «Новостей дня» безоговорочно заявил: «Его последнее произведение – лучшее из всего, что им до сих пор написано» (В. Н. «Дуэль» Чехова. – «Новости дня», 1892, № 3106, 16 февраля). Почти дословно повторил эту формулировку в письме к Чехову Вл. И. Немирович-Данченко (февраль 1892 г. – «Ежегодник МХТ», 1944, т. I. М., 1946, стр. 97).

Другая ветвь критики оценила повесть противоположно. А. Амфитеатров – тогда начинающий критик – в рецензии на первое отдельное издание «Дуэли» назвал повесть «самым слабым и неудачным» из произведений Чехова («Каспий», 1892, № 15, 19 января). Отрицательно отозвалась о повести критика «Гражданина» – М. Южный (М. Г. Зельманов) в статье «Новые произведения Чехова» (1892, № 21, 21 января) и Р-ий в статье «Смелый талант» (1892, № 34, 3 февраля). «Я не хочу умалять таланта г. Чехова, – писал автор второй статьи, – но, право же, его последние творения пахнут литературным дон-кихотством. <...> Правда столь же далека от „Дуэли“ г. Чехова, как далеко задуманное им от действительного». Произведением «невысокого качества» считал повесть К. Головин («Русский роман и русское общество». СПб., 1897, стр. 462).

Но и безоговорочное приятие, и полное отрицание были редки. В положительных отзывах отмечались многочисленные недостатки; в отрицательных – существенные достоинства.

В некоторых вопросах самые разные кри-

тики сошлись, проявив большое единодушие. Так было с оценкой финала, это же получилось и с вопросом жанра «Дуэли».

После выхода «Пестрых рассказов», «В сумерках» и «Рассказов» (1-е изд. – 1888 г.) за Чеховым установилась репутация мастера короткого рассказа. Но, начиная с первой же большой вещи, повести «Степь», столь же прочно – как обратная сторона той же медали – утвердилось мнение: мастеру малого жанра большая форма не дается. «Дуэль» в глазах многих критиков только подтвердила это мнение.

«Неспособность Чехова сочинять „большие вещи“, – заканчивая разбор „Дуэли“ писал К. Медведский, – сказалась в ней так же ясно, как и в „Степи“» («Русский вестник», 1896, кн. 7, стр. 245). «Он давно уже, – замечал М. Южный, – прилагает все усилия к тому, чтобы создать что-нибудь „крупное“, и до сих пор, к сожалению, всё безуспешно» («Гражданин», 1892, № 21, 21 января). «У Чехова есть своя сфера, где он почти вне конкурса и подражания: это – жанровая миниатюра, – писал Амфитеатров. – Г. Чехов превосходный анали-

затор мелочей жизни – каждой в отдельности, но он становится в тупик перед целым <...> Г. Чехов гораздо лучше сделает, если заключится в сфере своей прежней специальности – беллетриста-миниатюриста» («Каспий», 1892, № 15, 19 января). Критика много писала об удаче описаний природы, блестящих диалогах, мастерском изображении психологии, «живости выводимых лиц», «множестве поэтических деталей, остроумных блёсток» и т. п. Но при всем том во многих рецензиях отмечалось, что все это не складывается в единое большое целое. Так, обозреватель «Русских ведомостей» писал, что несмотря на «необыкновенно живо и правдиво» нарисованные сцены и отдельные черты характера, «интересные частности» («частности и мелочи всегда удавались автору»), – «целое осталось неясненным, лишенным психологической и художественной цельности и правды» (Ив. Иванов. Заметки читателя. – «Русские ведомости», 1892, № 348, 17 декабря). Завершая разбором «Дуэли» свой анализ творчества Чехова в книге «Русский роман и русское общество» (СПб., 1897), К. Головин писал: «Может

быть, он когда-нибудь еще и напишет настоящее крупное произведение – не по объему только. Но пока он этого не сделал» (стр. 462).

Новый жанр, рожденный в «больших» вещах Чехова конца 80-х – начала 90-х годов, не был признан критикой.

Не были приняты и сложившиеся в это время в чеховской прозе и драматургии новые принципы изображения героя и среды, авторского отношения к самооценкам персонажей и их оценкам друг друга. К произведениям Чехова применяли традиционные мерки. Так было с «Огнями», «Скучной историей», когда высказывания героев (например, о том, что «ничего не разберешь на этом свете» или об отсутствии «общей идеи») были расценены как основные мысли произведений, как точка зрения автора, полностью солидаризирующегося с героем.

В оценке главных героев «Дуэли» ситуация повторилась.

Центральное место в критике занял Лаевский. В первой же главе повести этот герой характеризует себя как «лишнего человека», неудачника. По словам фон Корена, Лаевский

постоянно упоминает Онегина и Печорина как своих «отцов по плоти и духу». Эта самооценка в ряде критических отзывов была подхвачена и получила дальнейшее развитие. Полностью присоединился к ней Амфитеатров, усмотревший даже особое подчеркивание ее автором: «Лаевский, по собственным его словам и по заметно настойчивому подчеркиванию автора, прямой потомок старых гамлетиков, заеденных рефлексией низшего разбора: лишнего человека, Нежданова и других героев того же полета» («Каспий», 1892, № 15, 19 января). «Надо правду сказать, Лаевский всем своим поведением на страницах повести вполне оправдывает такое мнение о нем фон Корена», – писал А. Скабичевский («Литературная хроника». – «Новости и биржевая газета», 1892, № 44, 13 февраля). Соглашался с этой точкой зрения и М. Меньшиков: «Начиная с Тентенникова, продолжая Ильей Ильичом и целым рядом „лишних людей“, рефлексиков и гамлетиков, литература дает портреты обездушенной, обезволенной интеллигенции <...> Молодые беллетристы продолжают рисовать те же типы» (М. О. Мень-

шиков. Критические очерки. СПб., 1899, стр. 162. Впервые – «Книжки Недели», 1893, № 1). В «Дуэли», как и в других своих вещах этого времени, Чехов, полагал Менъшиков, выводит «новейших Обломовых». А. Липовский также зачислял Лаевского в галерею чеховских «лишних людей» – «как бы в пополнение и развитие знакомых нам типов Чацкого, Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина, Райского» («Литературный вестник», 1901, № 5, стр. 25). М. Л. Гольдштейн, тоже причисляя Лаевского к этой генерации, пытался определить новые черты «нового лишнего человека»: «Лаевский – это Рудин наших дней. Что же с ним сделали годы? Он упал, страшно упал, позорно, малодушно, бесчестно <...> Это последний потомок Чайльд-Гарольда. Это полное банкротство целого типа <...> Предшественники говорили хорошее, но не делали ничего. Он уже делает дурное. Печальный прогресс!» (М. Л. Гольдштейн. Впечатления и заметки. Киев, 1896, стр. 286–288; статья 1891 г.).

К. Головин также счел, что «намерение подарить нас новым изданием лишнего челове-

ка так и сквозит в целой повести». Но, в отличие от Гольдштейна, Головин в этом видел недостаток повести – такие люди вообще не заслуживают внимания писателя, «потому что от них и ожидать нечего» («Русский роман и русское общество», стр. 461–462).

Частью критики Лаевский был воспринят иначе – не в связи с линией «лишних людей», а как самостоятельная фигура – тип «восьмидесятника» (Всеволод *Чешихин*. Современное общество в произведениях Боборыкина и Чехова. Одесса, 1899), тип, «взятый из окружающей действительности», «вырванный из жизни» (А. *Волынский*; «Северный вестник», 1892, № 1, стр. 178–180). «Лаевский, в сущности, типический представитель нашего времени, страдающий неврастенией» (Билибин – Ежову, 17 ноября 1891 г. – ЦГАЛИ, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7). По определению Скабичевского, «Лаевский – это тип нервно-развинченного до истерики в обществе, нравственно распущенного и чувственного ленивца и бабника, какие часто встречаются в нашем современном обществе». (Правда, Скабичевский не совсем освободился от магии автохарактеристики героя –

вслед за самим героем он вполне всерьез называет его «печальным наследием крепостного права». – «Новости и биржевая газета», 1892, № 44, 13 февраля). «Типичнейшим» из «страждущих и ноющих интеллигентов Чехова» назван Лаевский в статье Евг. Ляцкого «А. П. Чехов и его рассказы» («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 138).

Но и здесь суждения были противоречивы. Амфитеатров вообще отказывал герою «Дуэли» в какой-либо общественной характеристике и даже утверждал – впрочем, без всякой аргументации, – что попытка придать им «значение социальных типов» «производит комическое впечатление» («Каспий», 1892, № 15, 19 января).

С развернутой критикой «общественной стороны типа» Лаевского выступил на страницах «Русского богатства» П. Перцов. Сравнивая чеховского героя с героями Грибоедова и Тургенева, он писал: «Тип Лаевского остается без надлежащего освещения всех его сторон. В самом деле, какое разъяснение общественного смысла этого типа могут дать фигуры Самойленки, дьякона, Кирилина, Марьи

Константиновны и т. д.? Да и чем связаны между собой все эти фигуры? Любую из них можно выбросить и заменить другой <...> Не так писали вдумчивые, умевшие охватить предмет со всех сторон художники-публицисты» («Изъяны творчества». – «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 62). Примерно с этих же позиций подходил к другим персонажам повести Амфитеатров, недоумевавший, зачем в повесть введена фигура дьякона.

Критики, таким образом, основывали свои рассуждения на том типе взаимоотношений героя и среды, который был традиционен для дочеховской прозы. Главный герой противостоит обществу, общество же выдвигает своих «премьеров», которые противостоят герою в личном плане. Он вступает с ними в личный конфликт. Общественные взаимоотношения чеховского героя – иные. Его антипод – фон Корен – не принадлежит к той среде, в которой живет Лаевский; с остальными Лаевский в конфликт не вступает. Кроме того, эти остальные персонажи действительно мало дают для освещения «всех сторон» типа Лаевского. Они для этого не предназначены.

Столкновение, борьба отдельных лиц как пружина сюжета рано ушли из прозы Чехова; такой борьбы, как показал в своих работах о драматургии Чехова А. П. Скафтымов, нет и в его пьесах. Это не было понято. Ища традиционного столкновения интересов, М. Южный недоумевал: «Посмотрите отношения этих лиц между собою. Лаевский пьет пиво и играет в винт, сожительница его поминутно „падает“ с каждым встречным и поперечным, а зоолог шипит и злобствует на весь мир». «Ясно, что никакой драмы между такими лицами быть не может». Дуэль, по мнению Южного, состоялась «без всякой видимой причины». Перцов в качестве положительного примера приводил «Иванова», где отношение главного героя «к окружающему обществу для нас ясно. Картина этого общества, нарисованная во втором акте пьесы, так же как и отдельные его представители, вроде Лебедева и Шабельского, разъясняют нам это соотношение» (стр. 62).

Была отмечена, на этот раз положительно, – А. Волынским – и другая необычность в конфликте повести. «По общепринятой мето-

де, содержание и идея беллетристических произведений вращаются преимущественно вокруг любви. Любовь – это тот свет, в который вступают действующие лица романов и повестей, чтобы обнаружить свои внутренние особенности и склонности <...> В этом смысле „Дуэль“ – произведение, выходящее из обычного шаблона. Между Лаевским и фон Кореном происходит дуэль по причинам, не имеющим ничего общего с соперничеством на почве любви» («Северный вестник», 1892, № 1, стр. 180).

Рассматривая Лаевского как продукт «безвременья», «идейный пустоцвет», критика ставила его в тесную связь с другими героями Чехова этого времени. Перцов проводил аналогию между ним и героем «Скучной истории»; Скабичевский сопоставлял Лаевского с героем «Жены» («Новости и биржевая газета», 1892, № 50, 20 февраля); Меньшиков ставил его в ряд с героями «Скучной истории», «Жены», «Соседей», «Страха», «Палаты № 6» («Книжки Недели», 1893, № 1). Позднейшая критика нашла связь Лаевского с центральными персонажами последующих произведе-

ний Чехова – «Палаты № 6», «Рассказа неизвестного человека» (М. Южный. Новый рассказ г. Чехова. – «Гражданин», 1895, № 60, 2 марта; И. П. Мерцалов. Главные представители современной русской беллетристики. – «Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф», 1898, № 8–9; И. И. Замотин. Предрассветные тени. К характеристике общественных мотивов в произведениях А. П. Чехова. – «Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при имп. Казанском университете», отд. оттиск, 1904); Тригориным и Астровым из «Чайки» и «Дяди Вани» (Ал. Потапов. А. П. Чехов и публицистическая критика. – «Образование», 1900, № 1), с Лихаревым («На пути») и Дымовым из «Попрыгуньи» (А. Липовский. Представители современной русской повести и оценка их литературной критикой. – «Литературный вестник», 1901, кн. V, стр. 25).

Чаще всего Лаевский сопоставлялся с Ивановым, героем одноименной чеховской пьесы. Между этими героями современная критика усматривала несомненное, бесспорное родство (М. Гольдштейн, П. Перцов). Наиболее

категорично эта точка зрения была выражена М. Протопоповым, считавшим, что тип главного героя в «Дуэли», как и герои некоторых других вещей Чехова этого времени, представляет собою «только более или менее удачные вариации на ту тему, которая первоначально выражена в драме „Иванов“» («Жертва безвременья...» – «Русская мысль», 1892, кн. 6, стр. 114).

Единодушной оказалась критика (вплоть до наших дней) в оценке финала повести. Отношение к неожиданным изменениям, произошедшим в нем с главными героями, объединило всех. О финале «Дуэли» возникла целая литература.

Очень категорично высказался о «Дуэли» в письме к Чехову от 2 января 1892 г. Плещеев: «Мне совершенно *не ясен* конец ее; и я был бы вам очень благодарен, если б Вы объяснили мне, чем мотивируется эта внезапная перемена в отношениях всех действующих лиц <...> По-моему, рассказ окончен слишком произвольно» (ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 283–284; об этом же Плещеев 30 декабря 1891 г. писал П. И. Вейнбергу. – ИРЛИ, ф. 62, оп. 3, № 376,

л. 60). П. А. Воеводский, рукопись рецензии которого хранил в своем архиве Чехов, вообще считал неоправданность финала единственным недостатком повести: «Поступки действующих лиц должны обуславливаться как внешней обстановкой, так и ходом их духовной жизни и вытекать из них как конечный вывод из ряда данных». Что Лаевский и Надежда Федоровна «пришли к порицанию всей предшествующей их возрождению пошлой и пустой жизни, представляется вполне понятным, но этого недостаточно. Такой вывод без положительных нравственных начал, направивших их жизнь по другому пути, мог привести или к самоубийству или к дальнейшему падению. Под влиянием каких нравственных начал он осознал, что она самый близкий ему человек после того, как убедился в ее измене, и под влиянием каких начал совершилось в них нравственное перерождение, – и неясно в рассказе. За исключением этого, на мой взгляд, недостатка, рассказ, я полагаю, можно считать образцовым произведением» (ГБЛ).

Перерождение Лаевского как единствен-

ный недостаток повести отметили И. И. Ясинский, Волынский, Липовский, многие другие сочли этот финал главным ее недостатком. Об этом писали Иванов («Русские ведомости», 1892, № 348, 17 декабря), Скабичевский («Новости и биржевая газета», 1892, № 50, 20 февраля), М. Южный («Гражданин», 1892, № 21, 21 января), Р-ий («Гражданин», 1892, № 34, 3 февраля), Перцов («Русское богатство», 1893, № 1), анонимный рецензент «Книжного вестника» (1892, № 1).

Исходя из понимания Лаевского как «типического представителя» 80-х годов, критика отказывала этому характеру в возможности коренных изменений, называя их «волшебными метаморфозами» (Скабичевский). Невозможность нравственного перерождения кроется, по мнению критики, в самой основе того типа, к которому принадлежит Лаевский. «Для того, чтобы возродиться, – писал обозреватель „Гражданина“, – как Раскольников, например, у Достоевского, нужно, чтобы была натура сильная, глубокая, трагическая <...> Не смешно ли говорить о „возрождении“ Лаевского, который весь одна сплошная пош-

лость!» (М. Южный). Об этом же писал и Медведский: «Почти до последних страниц повести Лаевский представляется нам человеком ничтожным, без всяких определенных устоев <...> – эгоистом, безвольным, бесхарактерным и даже пошлым. <...> Чехов заставляет <...> его совершать деяния, свидетельствующие о полном перерождении. Вместе с тем он лишает своего героя того нравственного материала, который единственно обуславливает возможность перерождения» («Русский вестник», 1896, № 7, стр. 242–244).

Неубедительными представлялись критике изменения и в характерах других «эволюционирующих» персонажей – Надежды Федоровны и фон Корена. Скабичевский решительно отрицал какую-либо возможность эволюции героини: «Я не верю, чтобы такие люди, как Лаевский и Надежда Федоровна, могли бы внезапно, словно по щучьему велению возродиться и сделаться целомудренными, чистоплотными, бережливыми, трудолюбивыми и пр. и пр.» Возникли противоречивые суждения об изображении некоторых сторон ее облика. Билибин, сомневаясь, можно ли

вообще изображать в литературе «неудержимую похотливость», считал, что здесь «врач продолжает сквозить в Чехове-беллетристе» (письмо Ежову от 17 ноября 1891 г.). Волынский, напротив, полагал, что «автор подчеркивает физиологический элемент в нравственной распущенности Надежды Федоровны тонко, умно и искусно» (стр. 181).

Не удовлетворило критику и поведение в финале фон Корена. Последние его монологи и «участие в общем умилении» Скабичевский назвал фальшивыми и «даже пошлыми», у Иванова финал вызвал иронические замечания об «исцелении от смертоубийственных инстинктов» и т. д. Фон Корен рассматривался именно как личность законченная, цельная в своей узости и неспособная к терпимости и широте во взглядах. Это, по мнению критики, сближало его с доктором Львовым из «Иванова». Связь с «Ивановым», таким образом, усматривалась не только в фигуре главного героя «Дуэли». Мало того, как аналогичная рассматривалась вся картина взаимоотношений пар Иванов – Львов, Лаевский – фон Корен: тип доктора Львова, писал Посто-

ронный в статье «Герои отвлеченной морали», «по-видимому очень интересуется автора пьесы, так как <...> он снова обратился к его изображению и нарисовал в лице зоолога фон Корена настоящий pendant к личности Львова» («Волжский вестник», 1892, № 15, 16 января). Любопытно, что Перцов, тоже считавший, что фон Корен «во многом напоминает лицо доктора Львова из „Иванова“», также именуется зоолога «героем отвлеченной морали». Родство фон Корена с Львовым выводилось не без оснований. В известной авторской характеристике Львова называются, например, такие его черты: «Это тип честного, прямого, горячего, но узкого и прямолинейного человека <...> Всё, что похоже на широту взгляда и непосредственность чувства, чуждо Львову» (Чехов – Суворину, 30 декабря 1888 г.). В целом фон Корен был оценен как одно из живых явлений 80-х годов. «Узкий педантизм без обобщающих понятий, с трусливым, недоверчивым отношением к отвлеченному идеалу, с какою-то обскурантною нетерпимостью к неограниченному философскому исканию» – это одна из «струй современности

в широком смысле слова» (А. Волынский. – «Северный вестник», 1892, № 1, стр. 178).

Только в одном отзыве («Гражданин», 1892, № 34, 3 февраля) Лаевский был понят как «отрицательный элемент повести», а фон Корен как «положительный». В целом же, нужно отметить, современная критика, не в пример позднейшей, не рассматривала одного из этих героев как целиком положительного, а другого как отрицательного; ни один из антиподов не был расценен как преимущественный носитель авторских симпатий или антипатий.

Прочие персонажи «Дуэли» не остановили на себе особого внимания критики. Вскользь отмечалось, что Чехов любит изображать «простых людей», непосредственных простецов с их «ясной, простой душевной жизнью» – таких, как дьякон Победов и доктор Самойленко (Скабичевский, Николаев). Почти дословно от статьи к статье повторялись формулировки о «мастерском», «живом», «прекрасном» изображении второстепенных персонажей повести (А. Воеводский, Ив. Иванов, А. Скабичевский, К. Головин,

А. Волынский).

При жизни Чехова повесть была переведена на венгерский, датский, немецкий, сербскохорватский, французский и чешский языки.

## Жена

**В**первые – «Северный вестник», 1892, № 1, Январь (ценз. разр. 21 декабря 1891 г.), стр. 125–166. Подпись: Антон Чехов.

Перепечатано изд-вом «Посредник» в серии «Для интеллигентных читателей» – М., 1893 (2-е и 3-е изд. М., 1894, 1899).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. V, стр. 232–284.

Осенью 1891 г. центральные и поволжские губернии России были охвачены голодом. На помощь голодающим была направлена вся общественная деятельность Чехова этого времени – он принял участие в организации сборника «Помощь голодающим», помогал в сборе пожертвований, покупке скота, позже ездил в голодающие губернии.

С событиями голодного года был связан и

рассказ «Жена». Именно так определял его тему автор через несколько дней после завершения рассказа: «Я написал рассказ на злобу дня – о голодающих» (А. С. Суворину, 27 ноября 1891 г.).

В «Жене» не были использованы старые сюжеты, замыслы, записи. Из всех материалов первой записной книжки, которая велась с марта 1891 г., была включена лишь единственная деталь (о скатертях в трактирах) и одно «редкое» словечко («чкнулся»). В основу рассказа легли самые недавние впечатления. Это видно, например, при сопоставлении рассуждений героя о комитетах, о недоверии к администрации с письмом Е. П. Егорову от 11 декабря 1891 г., где Чехов говорил о сентябрьских событиях: «Публика не верит администрации и потому воздерживается от пожертвований. Ходит тысяча фантастических сказок и басен о растратах, наглых воровствах и т. п. <...> А между тем публике благотворить хочется, и совесть ее потревожена. В сентябре моск<овская> интеллигенция и плутократия собирались в кружки, думали, говорили, копошились, приглашали для совета сведущих

людей; все толковали о том, как бы обойти администрацию и заняться организацией помощи самостоятельно. <...> Я с полным сочувствием относился к частной инициативе, ибо каждый волен делать добро так, как ему хочется; но все рассуждения об администрации, Красном Кресте и проч. казались мне несвоевременными». Возможна связь рассказа с «Маленьким письмом» Суворина («Новое время», 1891, № 5618, 19 октября), где, в частности, говорилось: «Обличение лености и пьянства оставим на урожайные годы». «Мысли все до одной верны, – писал Чехов автору 20 октября 1891 г. – Говорить теперь о лености, пьянстве <...> странно и нетактично» (ср. слова героя во II главе: «чтобы хлеб был выдаваем <...> не пьяницам, не лентяям...»).

Рассказ едва ли был начат в сентябре. В середине месяца Чехов усиленно работал над книгой о Сахалине (письмо В. А. Тихонову от 14 сентября 1891 г.); в конце сентября он сообщал о работе над «Рассказом неизвестного человека» (М. Н. Альбову, 30 сентября). 16 октября Чехов извещал Суворина, что «написал половину» рассказа и что уже больше недели

бьется над другим рассказом. Первая часть «Жены», таким образом, была написана в первую неделю октября.

Рассказ предназначался первоначально для сборника в помощь голодающим – в первый раз (в письме от 16 октября) он упоминается именно как «рассказ для Сборника». Мысль поместить там рассказ возникла, очевидно, после письма Суворина от 7 октября – Суворин предложил написать рассказ для сборника с предварительной публикацией в «Новом времени».

К 20-му октября прояснились приблизительный объем и общая композиция произведения. «Рассказ большой, листа в два, – писал Чехов Суворину в этот день, – из породы скучных и трудных в исполнении, без начала и без конца». В письме к Альбову от 22 октября Чехов жаловался, что «писанье <...> туго подвигается», но определил примерный срок завершения рассказа – начало ноября. Сообщение Альбову о ходе работы было вызвано переменой в планах печатанья: Чехов решил отдать рассказ не в сборник, а в «Северный вестник», с которым был давно связан обеща-

нием. Рассказ был предложен взамен не подходящего, как выяснилось, по цензурным условиям «Рассказа неизвестного человека» (переписку сотрудников «Северного вестника» по этому поводу между собой и с Чеховым см. в томе IV Писем).

Весь конец октября Чехов усиленно работал. 30 октября он сообщал Суворину: «Повесть для „Сев<ерного> вестн<ика>“ готова». Но после этого сообщения Чехов не отсылал повесть еще три недели. Готов был, очевидно, лишь черновой вариант. На окончательную отделку и переписку у Чехова всегда уходило много времени; в данном случае еще помешала инфлуэнца, которой он проболел весь ноябрь. 17 ноября А. С. Лазарев (Грузинский) писал Н. А. Лейкину: «Бываю у Чехова; он кончает рассказ в „Северный вестник“» («Русская литература», 1967, № 2, стр. 163). Лазарев (Грузинский) видел, несомненно, беловую рукопись – ту самую, которую Чехов 20 ноября 1891 г. с сопроводительным письмом послал Альбову. Как явствует из письма, Чехов переименовал заглавие «Жена», данное им еще не готовому рассказу ранее (о том, что рассказ по-

лучил название «Жена», Чехов сообщал в недошедшем до нас письме Альбову, очевидно, в начале ноября). Рассказ стал называться «В деревне». «Этак лучше, общее, хотя и скучнее», – писал Чехов. Редакция «Северного вестника» просила (телеграфно) оставить прежнее заглавие. «Оно было пикантнее, – объяснял Альбов в письме от 26 ноября, – а это по нынешним временам не лишнее» (ГБЛ). Этому же мнению придержививалась и Л. Я. Гуревич (письмо от 2 декабря. – ГБЛ). Чехов (телеграммой же) ответил согласием; однако остался при прежнем мнении: «Но заглавие „В деревне“ лучше» (письмо к Гуревич от 2 декабря 1891 г.).

Чехов был не очень доволен рассказом в том виде, в каком он был послан в «Северный вестник»: «Вероятно, у меня в рассказе очень много всяких промахов, так как моя инфлуэнца всё еще держит меня в тисках, и голова моя совсем отказывается работать. Вялость и полное равнодушие. Промahi придется поправить в корректуре» (Альбову, 20 ноября).

11 декабря Гуревич сообщила Чехову, что цензуру повесть прошла без препятствий –

«не выкинуто ни одно слово. А уж я боялась: цензура наша не особенно любит выдвигание вопроса о голоде» (ГБЛ). Книжка «Северного вестника» с рассказом «Жена» вышла в свет в начале января.

По тексту «Северного вестника» повесть была перепечатана в «Орловском вестнике» (1892, № 64, 66–71, 73, 74 от 8, 10–15, 17, 18 марта (с примечанием: «Печатается с согласия автора»). (Письмо издательницы газеты Н. Семеновской и переписку Чехова с Гуревич по этому поводу см. в V т. Писем).

Длительную историю имело печатание повести в издании «Посредник».

30 мая 1892 г. В. Г. Чертков обратился к Чехову со следующим письмом: «Антон Павлович, мы приступаем к новой серии изданий „для интеллигентных читателей“, имея в виду преимущественно так называемую „мелкую интеллигенцию“ <...> Мы не можем выплачивать гонорар вперед, но будем в состоянии это делать лишь по мере поступления к нам первой чистой выручки. <...> Не знаю, насколько Вы питаете к нам доверие в этом отношении, но на всякий случай мы берем на

себя смелость обратиться к Вам с просьбой разрешить нам на тех же условиях напечатать Ваш рассказ „Жена“, появившийся в „Северном вестнике“ в нынешнем году» (ГБЛ). Чехова, находившегося в это время в стесненном положении в связи с выплатой долга за Мелихово, эти условия устраивали очень мало (см. письмо Суворину от 25 июня 1892 г.). Тем не менее ответил он согласием: «Печатайте и издавайте на тех условиях, которые находите справедливыми, то есть наиболее подходящими в данное время». Относительно самого просимого рассказа Чехов писал: «Трудно иметь мнение о собственных произведениях, но мне кажется, что рассказ мой „Жена“ не подходит для Вас. Если Вы думаете иначе, то сделайте одолжение, берите его и печатайте. Я поищу у себя в столе и, быть может, найду какой-нибудь другой рассказ и пришлю Вам; мне хочется, чтобы мое участие в Вашем предприятии обошлось без „Жены“» (Черткову, 18 июня 1892 г.). Чехов выполнил свое обещание. Через пять дней, 23 июня, он послал Черткову «Именины» – рассказ, который должен был заменить «Жену».

Получив «Именины», Чертков не отказался от мысли издать «Жену». 6 июля 1892 г. он писал Чехову: «Ради бога, Антон Павлович, не лишайте нас возможности издавать Ваш рассказ „Жена“. Он во всех читателях производит не только самое хорошее, но *и сильное* впечатление; и мне более всего хотелось бы для своих изданий воспользоваться именно этим рассказом Вашим. Впрочем, в Вашем письме есть оговорка: „Если Вы думаете иначе, то сделайте одолжение, берите его и печатайте“. Вот этим Вашим позволением мне и хотелось бы воспользоваться. В пределах письма мне трудно изложить Вам те причины, по которым я так высоко ценю эту вещь: пришлось бы написать целый ее критический разбор. Но прошу Вас верить, что оценка моя не случайная или произвольная, а основывается на тех требованиях, которые мы, с своей, конечно, точки зрения, считаем наиболее правильным и желательным предъявлять к произведениям искусства. Рассказ Ваш „Именины“ я получил и, не будучи раньше с ним знаком, прочел с большим интересом. Содержание его для нас самое, разумеется, сочувственное,

и написан он, как всё, что мне пришлось читать из Ваших произведений, живо и правдиво. Мне очень хотелось бы издать и эту вещь. И мне кажется, что по некоторой общности их содержания оба эти рассказа вместе взятые составили бы прекрасную отдельную книжечку, которую можно было бы назвать по заглавию первого из них: „Жена“ и „Именины“, два рассказа А. П. Чехова. Впрочем, если Вы имеете что-либо против этого, то мы можем напечатать их врозь. Но это было бы жаль, п<отому> ч<то> они взаимно друг друга пополняют и с разных сторон освещают (и очень верно) одну из важнейших сторон жизнь – супружескую. Итак, вместе ли они будут изданы или отдельно, прошу Вас во всяком случае разрешить нам издание обоих этих рассказов, чем Вы окажете большую поддержку нашему делу» (ГБЛ).

Чехов не возражал. Но, с самых первых своих сборников придавая большое значение их композиции, он не считал возможным объединить эти рассказы. Он писал Черткову 1 августа 1892 г.: «Возьмите и „Именины“, если находите их подходящими, но не издавайте

их вместе с „Женой“. Два этих рассказа в одной книжке не улыбаются мне, а почему – я не могу сказать Вам определенно». Чертков согласился; 6 августа он ответил: «Хотя Вы и не говорили, почему Вам не улыбаются оба рассказа в одной книжке, но мне кажется, что я Вас понимаю, и Вы с Вашей точки зрения автора, как мне кажется, совершенно правы в этом случае. Итак, мы напечатаем каждый рассказ отдельно».

Но дальнейшие события развивались не столь спокойно. И не по вине автора.

Чехов, рассчитывая внести изменения в текст рассказа в корректуре, как он это обычно делал, не посылал в «Посредник» исправленный текст. Рассказ был набран по журнальному варианту, корректуру Чехову не выслали; новое издание явило собой повторение журнального. Так Чехов не переиздавал своих вещей даже когда он был начинающим писателем. Кроме того, Чехов считал, что «Жена» нуждается в переделке и что «в том виде, в каком она есть», перепечатывать ее невозможно (Черткову, 20 января 1893 г.).

Изданием по журнальному тексту он был

крайне недоволен. Это он и высказал в беседе с петербургским агентом «Посредника» А. М. Хирьяковым 5 или 6 января 1893 г. Свидание было устроено по настоянию Черткова с целью получить у Чехова разрешение на издание «Палаты № 6» (см. примеч. к этой повести в т. VIII Сочинений). Но беседа сразу пошла по другому руслу: Чехов в основном высказывал свое недовольство «Посредником» – в частности тем, что ему не была прислана корректура «Жены».

В еще более резкой форме он выразил недовольствие, когда увидел отпечатанный экземпляр «Жены», врученный ему Хирьяковым 15 января. Главная тема беседы – «Палата № 6» – была оставлена в стороне. Центр тяжести в разговоре – и в дальнейших событиях – перешел на только что вышедшее издание «Жены». Содержание беседы Хирьяков изложил в письме к Черткову от 15 января: «Из моего прошлого письма ты знаешь о недовольствии Чехова, теперь же, когда я передал ему „Именины“ и „Жену“, это недовольствие возросло, и он сказал, что ничего никогда больше не даст для „Посредника“. Особенно

досадовал он, что не прислали ему корректуру „Жены“, так как этот рассказ он хотел очень сильно переделать. Наконец он заявил, что хочет купить издание „Жены“, чтобы его уничтожить. Тогда я сказал ему, что ты и сам, может быть, непустишь этот рассказ, если таково желание Чехова. Он немного смягчился и сказал, что можно бы хоть пополам расходы по уничтожению издания, но потом опять сказал, что все равно, пусть идет как есть, но что уж больше ничего не даст. Тогда я спросил <...>, переложит ли он гнев на милость, если ты уничтожишь издание. „Это было бы чересчур жестоко“, – сказал он. Потом опять пофыркал на чересчур большой формат издания и сказал, что это все равно, что выпускать писателя без брюк, не присылая ему корректуры. Закончилась беседа опять-таки заявлением, что пусть издания выходят, но что уж больше он ничего не даст. Теперь перед тобой задача: лишиться Чехова или уничтожить одно издание, а другое временно приостановить и тогда опять обратиться к Чехову с просьбой прокорректировать „Жену“ и разрешить выпустить „Именины“» (ЦГАЛИ,

ф. 552. оп. 1, ед. хр. 2740).

Чертков написал Чехову письмо, обещая выполнить любые требования: «А. М. Хирьяков сообщил мне о том, что Вы предпочли бы, чтобы отпечатанное издание „Жены“ было уничтожено, и вместо него выпущено другое. Спешу Вам сообщить, что я считаю своей обязанностью привести в исполнение это Ваше желание. <...> Об убытках не должно быть и речи, они в свое время покроются. Выйдет только то, что предполагаемая издательская доля прибыли от этой книжки начнет поступать в кассу „Посредника“ несколько позже. <...> Итак, очень прошу Вас, Антон Павлович, не огорчать меня возражениями на это мое желание и сговориться с А. М. Хирьяковым относительно того, поправите ли Вы повесть по имеющемуся у Вас нашему оттиску или отложите всякие поправки до получения корректуры окончательного издания. <...> Не могу себе представить, чтобы то доброе Ваше расположение к нашему делу, которое нас до сих пор так радовало и ободряло <...> вполне прекратилось бы теперь» (ГБЛ).

В тот же день, 20 января, Чертков телегра-

фировал Хирьякову, предлагая еще раз переговорить с Чеховым. Получив телеграмму, Хирьяков немедленно устроил очередное (третье) свидание. Уже 21 января он писал Черткову: «Сейчас был по твоей телеграмме у Чехова, он, конечно, говорит, что не надо уничтожать издание „Жены“, что исправление можно сделать при следующем издании, но не знаю, насколько искренне он это говорит. Что касается до своих писем, то он все-таки уверяет, что писал тебе, что в этом виде „Жена“ не может быть издаваема. Но об этом он тебе уже написал, должно быть» (ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 1435).

Чехов действительно уже написал все Черткову 20 января: «Если г. Х<ирьяков> писал Вам, что я обиделся, то он немножко преувеличил, в чем, впрочем, я не вижу большой беды <...> Говорил я ему также, что если авторы еще живы, то нельзя издавать их сочинений без их корректуры. Я посылал Вам свои рассказы в неисправленном виде <...> в расчете, что Вы непременно пришлете мне корректуру <...> Что же касается „Жены“, то я писал Вам, что в том виде, в каком она есть, печат-

тать ее нельзя и что необходимо переделать ее».

Е. Д. Хирьякова в своих воспоминаниях передает слова Чехова, который «остался очень недоволен изданием „Посредника“... „Убили ведь, убили!“ – говорил он» (ЦГАЛИ, ф. 536, оп. 1, ед. хр. 39. Хирьякова ошибочно относит эти слова к «Палате № 6». Ко времени встречи Чехова с Хирьяковым эта повесть еще не была издана «Посредником», слова Чехова могли относиться только к «Жене»).

Получив письмо Чехова и отчет Хирьякова о последнем разговоре с Чеховым, Чертков дальнейшие переговоры возложил на И. И. Горбунова-Посадова. 20 января Горбунов-Посадов через Хирьякова получил копию письма Черткова от 15 января; из него и от Хирьякова он узнал подробности дела. Несмотря на болезнь, он через несколько дней (между 21 и 25 января) нанес визит Чехову. Горбунов-Посадов был более удачлив. Новыми переговорами вопрос с «Женой» удалось, наконец, уладить. Об этом Горбунов-Посадов сразу же телеграфировал Черткову, а 28 января об успехе Черткову сообщал Хирьяков

(ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 2740). На другой день о результатах свидания Черткову подробно писал сам участник переговоров. «Все быстро уладилось, и, очевидно, между нами завязались хорошие отношения <...> Насчет „Жены“ он сказал, что писал тебе, что он согласен на издание, но что ее нельзя печатать в том виде, как она в журнале, – то есть этим он хотел сказать, что до окончания печати ему надо будет просмотреть „Жену“. Но все же он говорил уже совсем мягко и при разговоре об уничтожении издания сказал, что не нужно этого делать и что поправить можно будет во втором издании. И эти слова его не были вынужденным согласием, а совершенно по собственной инициативе. Но только вообще он просит присылать ему корректуру и советует это делать со всеми авторами, – заставлять их даже просматривать корректуру, т. к. тогда лишь вещи могут появляться в безукоризненном виде» (Горбунов-Посадов – Черткову, 29 января. – ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 880).

В письме к Чехову от 4 февраля 1893 г. Чертков подводил итоги; усиленно подчерки-

валось «собственное желание» автора: «От души благодарю Вас за Ваше письмо от 20 января и за все то, что сообщил мне И. И. Горбунов после свидания с Вами. Так как Вы сами от себя выразили желание, чтобы „Жену“ не уничтожили, то мы и поступим согласно Вашему желанию, и первое издание пройдет так. Корректуру же второго издания мы непременно доставим Вам» (ГБЛ). Конфликт был ликвидирован окончательно; вопрос об уничтожении издания или переработке был оставлен – настолько, что и 2-е и 3-е издания «Жены» в «Посреднике» полностью повторили первое.

Вскоре после выхода первого издания Чертков предполагал издать сборник рассказов Чехова, куда должна была войти и «Жена». Но Чехов написал Горбунову-Посадову, что он «решительно против нового сборника», так как почти все рассказы, которые хотел включить туда Чертков, выходили отдельно. Издание не состоялось.

Исправления в текст рассказа Чехов внес только в 1901 году при подготовке издания А. Ф. Маркса. Были исключены все места, где главный герой говорит или думает о своем

«равнодушии», «хладнокровии»: высказывание в главе VII о «полнейшем равнодушии», заключительные фразы об «одном полку с равнодушными» в финале, эпизод с кулаком Абрамом в рассказе Брагина. В журнальном варианте герой был язвительнее, его высказывания – значительно нетерпимее; местами они носили сильную консервативную окраску. У Натальи Гавриловны в манерах и характере было тоже гораздо больше резких черт, напоминающих рассказчику «ее родину – Одессу». В связи с этим «война» между ними отличалась большим эмоциональным накалом. В окончательном варианте многие фразы, эпизоды – иногда с выпадами почти грубыми – были устранены. Была притушена внешняя сторона «войны», и, таким образом, отчетливее выступили «внутренние противоречия» во взаимоотношениях героев. В издании Маркса было снято сравнение ситуации возможной измены героини с сюжетом «Крейцеровой сонаты».

Из дошедших до нас отзывов о «Жене» положительные принадлежат только читателям. Так, 12 февраля 1892 г. А. И. Смагин писал

М. П. Чеховой: «Сегодня прочел в „Сев<ерном> вестнике“ „Жену“. Удивительная это вещь! Читая ее, я видел выражение глаз Натальи Гавриловны, слышал тон ее разговоров. По моему впечатлению, есть два подобных произведения – „Крейцера соната“ и „Жена“» (ГБЛ). В письме к Горбунову-Посадову Чертков писал, что он получает «с разных сторон <...> отзывы о том, что из всех рассказов нашей первой серии многим „Жена“ нравится больше всего» (11 апреля 1893 г. – ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 1480). Сами редакторы «Посредника» тоже высоко оценивали повесть. Правда, их восторженные отзывы в письмах к самому Чехову отчасти были вызваны и внелитературными соображениями, а во внутренней переписке были несколько другими (ср., например, отзыв Черткова в письме к Горбунову-Посадову от 11 апреля 1893 г., где он пишет, что «„Жена“ и „Именины“ недостаточно по идее содержательны»). Но само за себя говорит уже их упорное желание во что бы то ни стало напечатать повесть.

Отношение критики было иным. Отмечалась злободневность темы, отдельные част-

ные удачи (в некоторых поздних статьях), общая «симпатичность» замысла. В целом же критика и либерального и консервативного лагерей оценила повесть отрицательно. Ю. Николаевым «Жена» была названа в группе «вычурных, придуманных, безжизненных» вещей Чехова, написанных после «Степи» («Московские ведомости», 1892, № 335, 3 декабря); в числе «невыдержанных и неудачных» она фигурировала в статье В. Голосова («Новое слово», 1894, № 1); столь же резко отзывались о ней еще раньше, в момент выхода, обозреватели «Русском мысли», «Гражданина», «Новостей и биржевой газеты». Только критик «Русских ведомостей», отметив, что «сама по себе прекрасная цель на первый раз не удалась автору», обнадеживал: «Но это только начало: оно, несмотря на неудачу, неразлучную со всяким началом, заслуживает всяких приветствий» (И. Иванов. Заметки читателя. — «Русские ведомости», 1892, № 19, 20 января).

Наиболее последовательно неприемлющую позицию занял М. Протопопов («Письма о литературе. Письмо третье». — «Русская

мысль», 1892, кн. 2). В отличие от некоторых других критиков, отрицавших повесть голо-словно, он свою точку зрения подробно аргу-ментировал. Неудачным же он признавал и общий идейный замысел, и обрисовку от-дельных персонажей. Главное, в чем критик обвинял Чехова, – что автор не привязал «свой бедный челн к корме большого кораб-ля», не отдался «какой-нибудь определенной идее»; в повести отчетливо проявилась «бес-принципность, возводимая в принцип». По-дробно выписав формулировки из рассужде-ний героя, Протопопов заключал: «„Да это мы: я и мои сверстники! – воскликнет любой из так называемых шестидесятников или се-мидесятников. – Это наши понятия, это даже наши выражения, наши обычные термины!“ Это живая и остроумная сатира, но... на кого? По ходу и по существу дела, конечно, на Пан-шиных и на Курнатовских, а по намерениям автора – на людей, требующих „направления“ и толкующих об идеалах. Это такое смешение понятий и явлений, которое слишком грубо и элементарно, чтобы мы могли допустить его произвольность, его непреднамеренность

со стороны автора» (стр. 208–210).

Главный упрек, который был предъявлен автору, это проповедь некоей «философии равнодушия» (Р-ий. Смелый талант. – «Гражданин», 1892, № 34, 3 февраля; А. Скабичевский Литературная хроника. – «Новости и биржевая газета», 1892, № 50, 20 февраля). Подробнее других эти обвинения были развиты опять же М. Протопоповым. Приводя слова Брагина («Надо быть равнодушным <...> Будь только справедлив перед богом и людьми»), критик иронически замечает: «Благородство этих рассуждений может равняться только их своевременности. Своевременность очевидна: в то время, как тяжелое на подъем русское общество только что начинает ясно сознавать свою обязанность прийти на помощь обездоленному народу, ничего не может быть тактичнее, как пуститься уверять его, что *надо быть равнодушным*» (стр. 213).

Произошла нередкая в чеховской критике подмена. Обвинение строилось на двух выдержках из повести – рассказе Ивана Ивановича Брагина о «беспокойном» и «неравнодушном» кулаке Абрамке, завершаемом сло-

вами «надо быть равнодушным», и финальном высказывании героя-рассказчика об «одном полку с равнодушными». В чеховском тексте под словом «равнодушие» понимается спокойствие, ощущение внутренней правоты «перед богом и людьми», «чистая совесть» – в противоположность беспокойству и суете виноватого, смятению в душе того, в ком «совесть не чиста». Критика же исходила из внеконтекстного употребления этого слова, понимая его как равнодушие к делу помощи голодающим. Тем не менее при подготовке издания А. Ф. Маркса Чехов снял оба эти места (см. варианты), приведшие к такому толкованию повести.

Большие возражения вызвал способ изображения внутренней жизни персонажей. «Психология повести идет путем мало ясным, по-видимому, для самого автора», – писал Иванов («Заметки читателя». – «Русские ведомости», 1892, № 19, 20 января). Непривычно было отсутствие предыстории героев, подробных объяснений. Критик Р-ий недоумевал: «О прошлом супругов, о причинах, выработавших в них эти крайние черты и ненависть

друг к другу – ни слова. Муж и жена ненавидят друг друга с первых слов повести, и ненависть эта, какая-то болезненная и давящая на нервы читателя, вследствие ее необъяснимости, служит канвой для всей повести». Сопоставляя «Жену» с «Крейцеровой сонатой», критик писал, что, в противоположность Толстому, Чехов «решил не доказывать, а просто утверждать» («Гражданин», 1892, № 34, 3 февраля).

С этим тесно связан оживленно обсуждавшийся вопрос о «возрождении» главного героя. Асорин единодушно был определен критикой как «эгоист», «человеконенавистник», «черствая натура», «фанатик форм» и т. п. (Иванов, Протопопов, М. Южный, Скабичевский; см. также: Ю. Николаев. Черты нравов. – «Московские ведомости», 1892, № 18, 18 января; В. Альбов. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова... – «Мир божий», 1903, № 1; Евг. Ляцкий. А. П. Чехов и его рассказы... – «Вестник Европы», 1904, № 1). Отмечалась «возвышенность» и благородство самой идеи «возрождения» (Иванов, Р-ий). Но возможность его для героя повести, как и по

отношению к герою «Дуэли», отрицалась.

Решительно отвергалась способность героя к духовной эволюции критикой «Гражданина». Как и в «Дуэли», писал М. Южный, процесс «возрождения от нас скрыт» («Новые произведения Чехова». – «Гражданин», 1892, № 21, 21 января). Приблизительно такого же взгляда придерживался и Р-ий, также сопоставлявший с этой точки зрения «Жену» с «Дуэлью». Эти произведения сравнивал и Скабичевский. Считая «фальшивым» конец «Дуэли», «нечто подобное» он видел и в «Жене»: «Воля Ваша, это было бы чудо из чудес. Такие люди не меняются даже в цветущей молодости, а тем более под 50 лет». То же утверждал и Протопопов («Русская мысль», 1892, кн. 2, стр. 214).

Не менее сурово отнеслась критика к героине повести. «Если есть в рассказе лицо, которое нуждается в возрождении, то это скорее всех – эта самая жена, рисующаяся автору в столь пленительном свете», – считал М. Южный. Ю. Николаев на примере изображения Натальи Гавриловны противопоставлял Чехова «настоящим реалистам», в частности

Толстому.

Еще отчетливее противопоставила критика собственное толкование авторскому в оценке прочих персонажей «Жены». Брагину, напоминаящему, по мнению сразу нескольких критиков, гоголевского Петра Петровича Петуха (Р-ий, Ю. Николаев, М. Южный), доктору Соболю и другим лицам «без направления» было отказано в каких-либо положительных чертах. Отрицательно было оценено и все уездное общество, занимающееся вместе с Натальей Гавриловной сбором средств для голодающих. По мнению Ю. Николаева, «интеллигенция», изображаемая Чеховым, ничем не отличается от общества, описанного Гоголем в «Мертвых душах». Это мнение разделяли и Протопопов, и М. Южный.

В позднейшей критике рассказ упоминается редко.

При жизни Чехова рассказ «Жена» был переведен на болгарский, немецкий, сербско-хорватский и шведский языки.

## В Москве

Впервые – «Новое время», 1891, № 5667, 7 декабря, стр. 2. Подпись: Кисляев.

Печатается по тексту газеты.

Авторство устанавливается по письмам Чехова А. С. Суворину. «Вы ничего не будете иметь против, – спрашивал он 30 ноября 1891 г., – если к будущей субботе я напишу московский фельетон? Хочется потряхнуть стариной!» 4 декабря «московский фельетон», т. е. предназначенный для раздела «Нового времени», где периодически печатались «Письма из Москвы», фельетоны «Из московских писем» и т. п., – был уже готов. В сопроводительной записке Чехов писал: «Хотел изобразить кратко московского интеллигента. Сел вчера писать, но мешали посетители, так что писал сегодня и спешил. Не знаю, что вышло. Должно быть, неважно. Если бросите, в претензии не буду. Но никому не говорите, что я автор».

Но, очевидно, в кругу литераторов авторство Чехова было узнано. «Все уверены, что это – ты», – писал 10 декабря 1891 г. Ал. П. Че-

хов (*Письма Ал. Чехова*, стр. 252). Вл. И. Немирович-Данченко, особо выделяя «В Москве» из всех фельетонов газеты последнего времени, в письме к Чехову утверждал: «Это был совершенно замечательный фельетон, и по-моему, его никто не мог написать, кроме Вас» (конец декабря 1891 г. – «Ежегодник МХТ», 1944, т. I. М., 1946, стр. 96). 20 декабря И. Л. Леонтьев (Щеглов) писал Чехову: «Ваша „Дуэль“ очень явный и очень знаменательный шаг вперед в развитии Вашего творчества, московский фельетон Кисляева – сама прелесть, даже несмотря на некоторую небрежность» (*Записки ГБЛ*, вып. 8, М., 1941, стр. 78). Известен отзыв адвоката и литератора С. А. Андреевского: «Сущность москвича понята прекрасно и широко захвачена. Однако форма, выбранная Кисляковым <Кисляевым>, слишком прихотлива и не настолько забавна, чтобы увлечь простую публику. Прибаутка в начале и конце фельетона: „повеситься на телефонном шнурке“ едва ли кому понравилась, хотя для Москвы она очень характерна, п<отому> ч<то> там поминутно говорят в телефон. Словом, Кислякову <Кисляеву> нужно будет или

снять маску или опозлиться до того, чтобы его читали» (письмо к Суворину от 16 декабря 1891 г. – *Летопись*, стр. 304).

В обобщенной фигуре «московского Гамлета» прослеживаются черты сходства с персонажами чеховских произведений 80-х годов – такими, как либеральный журналист – герой рассказа «Хорошие люди» (см. газетный вариант; ср. концовки обоих рассказов) или «человек шестидесятых годов» из журнальной редакции «Именин». В письме к А. Н. Плещееву от 9 октября 1888 г. Чехов так определял свое отношение к типу людей этого склада: «Он надоел мне еще в гимназии, надоедает и теперь». В письмах этого времени Чехов многократно писал о «сволочном духе», живущем «в мелком, измощенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба» (Плещееву, 14 мая 1889 г.), отрицающем «всё, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать» (Суворину, 27 декабря 1889 г.), об «узкости, больших претензиях, чрезмерном самолюбии и полном отсутствии литературной и общественной совести» современного русского либерала, его сплетни-

честве и завистничестве, его склонности к высоким словам (Леонтьеву (Щеглову) 3 мая 1888 г.), о делении на «наших» и «ваших» (К. С. Баранцевичу, 14 апреля 1888 г.), об отсутствии знаний, вместо которых – «нахальство и самомнение паче меры» (Суворину, 9 декабря 1890 г.), о «духоте» общей атмосферы, создаваемой такими людьми. В сатирическом изображении требований к журналам, в перечислении имен критиков (М. Протопопов, И. Иванов) выразились взгляды Чехова на либеральную и «направленческую» публицистику «восьмидесятников». В описании «девиц и дам», знакомых «московского Гамлета», возможно, использованы впечатления от круга В. В. Билибина и его жены, ищущих «каких-то типов необычайно ученых женщин, ни о чем больше не разговаривающих, как о Белинском, Добролюбове...» (Н. А. Лейкин – Чехову, 24 января 1887 г.; ГБЛ).

В очерке нашли отражение общественно-эстетические и этические идеи Чехова, высказывавшиеся им в письмах конца 80-х годов. Особенное сходство обнаруживается с известным письмом брату Николаю Павловичу

(март 1886 г.), где Чехов развернуто изложил свою этическую программу. Наиболее неожиданными для сочинений такого рода в ней были гигиенические требования; для Чехова же они были чрезвычайно характерны и составляли неотъемлемую и существенную часть его этического идеала. «Грязь, вонь, плач, лганье» – эти вещи в отрицательной характеристике образа жизни для Чехова равноважны (из письма Чеховым от 3 декабря 1887 г.). В известном чеховском высказывании о свободе художника (в письме к А. Н. Плещееву от 4 октября 1888 г.) о «человеческом теле» и «здоровье» говорится прежде всего: «Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи...» Существеннейшее место детали общегигиенического свойства занимают в чеховской оценке современной интеллигенции: «Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция <...>, которая не патриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает пятидесятикопечный бордель <...> Вялая душа, вялые мыш-

цы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях <...> Где вырождение и апатия, там половое извращение, холодный разврат, выкидыши, ранняя старость, брюзжащая молодость, там падение искусств, равнодушие к науке, там *несправедливость* во всей своей форме» (письмо Суворину от 27 декабря 1889 г.; ср. в «Записных книжках» Чехова: «Интеллигенция никуда не годна, потому что много пьет чаю, много говорит, в комнате накурено, пустые бутылки...» – I зап. кн., стр. 136. 8).

Слова героев о «воздухе и экспрессии» – любимая чеховская формула при ироническом изображении суждений об искусстве (ср. «Талант», «Произведение искусства»).

# Неопубликованное. Неоконченное

## Красавицы

**В**первые – *Слово*, сб. 2, стр. 53–55, в качестве неоконченного отрывка, который был «найден в бумагах» Чехова.

Печатается по тексту автографа (ЦГАЛИ, ф. 549, 1.188).

Представляет собой черновой отрывок, без конца, с авторской правкой чернилами и красным карандашом. Обе правки производились во время написания, что видно из содержания правки, а также из того, что под красным карандашом размазались чернила, то есть вычерк производился по только что написанному. В правом углу автографа помета Чехова: «Михаил Матвеевич».

В письмах Чехова не сохранилось никаких упоминаний о работе над этим произведением. Почерк отрывка похож скорее на почерк Чехова конца 80-х годов, чем 90-х годов. Возможно, он был черновым наброском к еще одной, неосуществленной, главке рассказа под тем же названием «Красавицы», 1888 года (см. наст. том), повествование в котором также ве-

лось от первого лица.

### **I. У Зелениных. III. Письмо**

«I. У Зелениных» – впервые: «Русская мысль», 1905, кн. I, стр. 151–152, вместе с двумя другими произведениями («Калека» и «Волк») под общим заглавием «Из набросков А. П. Чехова».

Печатается по автографу (ГБЛ).

«III. Письмо» – впервые: «Трудовой путь», 1907, № 7, стр. 1.

Печатается по автографу (ИРЛИ).

Отрывок «У Зелениных» и законченный, но не опубликованный при жизни Чехова рассказ «Письмо» могут быть отнесены к концу 80-х – началу 90-х гг. и связаны, вероятно, с замыслом неосуществленного романа.

Рукописи датируются по бумаге и по почерку. Они написаны на такой же, ныне сильно пожелтевшей бумаге, как вставки в IV действие пьесы «Иванов», сделанные в конце 1888 – начале 1889 г., и водевиль «Свадьба», на титульном листе которого штамп Главного управления по делам печати: «31 октября 1889 года». При этом в «Свадьбе» и «Письме» листы в мелкую сетку 35,7 на 22,1 см разреза-

ны пополам. Совпадение почерка в «Свадьбе» и «Письме» практически полное. Как можно судить по сохранившимся рукописям Чехова, этот крупный, круглый почерк существенно отличается и от более продолговатого, ясного начертания букв в рассказах начала 80-х годов, и от менее четкого, с деформированными элементами букв, неустойчивым наклоном и местами значительным нажимом почерка второй половины 90-х годов.[77]

Отрывок «У Зелениных» появился в журнале «Русская мысль» с редакционным примечанием: «В разобранных покуда семьею А. П. Чехова бумагах оказалось несколько набросков и три маленьких рассказа, давно написанные. Часть этих рукописей мы и печатаем» («Русская мысль», 1905, кн. I, стр. 151).

На первом листе автографа «Письма» пометы рукою В. С. Миролубова: «Чехов», «Корпус», «Из бумаг и набросков Антона Павловича Чехова». На каждом листе штемпелем указана дата «26 июня 1907». Но еще в январской книжке издававшегося Миролубовым «Журнала для всех» за 1906 г. было напечатано уведомление: «В наступающем году предполага-

ется к напечатанию <...> *Письмо*. Недоконченный рассказ Антона Чехова». Вплоть до административного закрытия журнала на сентябрьском номере 1906 г. рассказ так и не появился. Судя по переписке Миролубова с М. П. Чеховой, рукопись поступила к нему не ранее декабря 1906 г. (см.: Д. Н. Медриш. История одной чеховской рукописи. – В сб.: Вопросы русской литературы, вып. 2 (26), Львов, 1975, стр. 81–86). Журнал «Трудовой путь», где она была опубликована, – фактический преемник «Журнала для всех» и продолжившего его журнала «Народная весть». Существенно, что в уведомлении о предстоящей публикации («Трудовой путь», 1907, № 6) рассказ уже не называется «недоконченным». Видимо, ближе познакомившись с текстом, Миролубов отказался от мнения, что рассказ не завершен. Сохранившаяся, явно беловая, рукопись это подтверждает: свободная строка в конце последней, восьмой страницы свидетельствует о том, что текст рассказа сохранился полностью.

Со ссылкой на «Трудовой путь» рассказ был перепечатан в XXII томе издания

А. Ф. Маркса (СПб., 1911), с примечанием: «Из посмертных бумаг и набросков» (стр. 73–78).

«У Зелениных», «Письмо» и опубликованный в 1892 г. рассказ «Радость» («После театра») – части одного замысла, по всей видимости – неосуществленного романа, который уже в ходе работы получил заглавие «Рассказы из жизни моих друзей». О том, что здесь «мы имеем возможно дело с каким-то обширным замыслом Чехова», писал В. Я. Лакшин, не связывая, впрочем, отрывки с чем-либо конкретным и традиционно датируя их концом 90-х годов (см. В. Я. Лакшин. Толстой и Чехов. М., 1963, стр. 85).

На принадлежность рассказов к общему замыслу указывает ряд признаков. Во всех трех рассказах упоминается семейство Зелениных. В автографе перед заглавием «У Зелениных» стоит цифра «I», а перед словом «Письмо» в заглавии другого рассказа – цифра «III» (зачеркнутая не Чеховым, а кем-то другим, видимо В. С. Миролубовым при публикации). В рукописях Чехова нет больше примеров подобной нумерации. Исключение составляет рукопись рассказа «Волк», однако

здесь цифра II стоит не перед заглавием, а над ним, текст же представляет собою новую редакцию рассказа, опубликованного под названием «Водобоязнь» еще в 1886 году, задолго до начала работы над романом.

Обращает на себя внимание жанровое сходство: во всех трех рассказах основные события излагаются в форме письма, которое герой в момент повествования получает или же собирается отправить.

О том, что «Письмо» – часть большого замысла, свидетельствует и само его заглавие. Под названием «Письмо» Чехов поместил в 1888 г. в сборнике «Рассказы» другое произведение (в первой публикации – «Мирыне»); 10 сентября 1888 г. в «Новом времени» напечатан рассказ его брата Александра – с таким же заглавием. Сомнительно, чтобы после всего этого Чехов вновь мог назвать так самостоятельное произведение. В качестве же названия главы романа такое заглавие было вполне возможным.

Первые сведения о романе находятся в письме Чехова к брату Ал. П. Чехову от 10 или 12 октября 1887 г.: «Спроси Суворина или Бу-

ренина: возьмутся ли они напечатать вещь в 1500 строк? <...> У меня есть роман в 1500 строк, не скучный, но в толстый журнал не годится, ибо в нем фигурируют председатель и члены военно-окружного суда, т. е. люди нелиберальные. Спроси и поскорей отвечай. После твоего ответа я быстро перепишу начисто и пошлю». И хотя Ал. П. Чехов тотчас ответил, что А. С. Суворин, конечно, готов напечатать роман в «Новом времени», Чехов не послал ни этих «1500 строк» (т. е. примерно 2,5 листа), ни других строк романа ни в 1887 г., ни позднее.

Работа продолжалась урывками. «Прерванный роман буду продолжать летом», – писал Чехов Д. В. Григоровичу 12 января 1888 г., а 9 октября того же года сообщал ему: «Хочется писать роман, есть чудесный сюжет, временами охватывает страстное желание сесть и приняться за него, но не хватает, по видимому, сил. Начал и боюсь продолжать. Я решил, что буду писать его не спеша, только в хорошие часы, исправляя и шлифуя: потрачу на него несколько лет <...> Те мысли, женщины, мужчины, картины природы, которые

скопились у меня для романа, останутся целы и невредимы. Я не растрянжирю их на мелочи и обещаю Вам это». Уже осенью 1888 г. наступил, по-видимому, момент, когда Чехов решил было расстаться со своим замыслом. «Напрасно бросаете большие вещи. Отчего и не написать между делом большой вещи?» – упрекал его В. В. Билибин в письме от 19 сентября 1888 г. (ГБЛ).

Весной 1889 г. в работе над романом произошел новый сдвиг. 10 марта 1889 г. Чехов уведомил А. М. Евреинову о том, что «окончил и переписал начисто рассказ, но для своего романа». Несколько подробнее о том же сообщил он на следующий день Суворину: «Пишу, пишу, и конца не видать моему писанью. Начал его, т. е. роман, сначала, сильно исправив и сократив то, что уже было написано. Очертил уже ясно девять физиономий. Какая интрига! Назвал я его так: „Рассказы из жизни моих друзей“ и пишу его в форме отдельных, законченных рассказов, тесно связанных между собою общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие. Не думайте, что роман будет состо-

ять из ключев. Нет, он будет настоящий роман, целое тело, где каждое лицо будет органически необходимо». После этой перестройки работа снова приостановилась. Извещая А. Н. Плещеева о своем намерении посвятить ему будущее произведение, Чехов 9 апреля 1889 г. писал, что роман, хотя и «значительно подвинулся вперед», теперь «сел на мель в ожидании прилива».

В мае того же года жизнь у Линтваревых на реке Псел, новые впечатления и новые искания оживили работу над романом: «Пишу и роман, который мне больше симпатичен и ближе к сердцу, чем „Леший“». В письмах к Плещееву и Суворину от 14 мая Чехов обещал: «В ноябре привезу в Питер продавать свой роман». И, наконец, 22 мая 1889 г. – в письме к Н. А. Лейкину: «Пишу маленькие рассказы, которые соединю воедино нумерацией, дам им общее заглавие и напечатаю в „Вестнике Европы“».

В журнале «Вестник Европы» никаких публикации Чехова не появилось.

Между тем 24 августа 1889 г. в письме к В. Г. Короленко Плещеев, сожалея о том, что

Чехов не продолжает романа, сообщал, что первые три главы он читал, и они ему «очень понравились» (ЛН, т. 68, стр. 300–301). Сам Чехов 30 сентября того же года писал Плещееву: «„Лешего“ кончу к 20 октября <...> а затем отдохну неделю и сажусь за продолжение своего романа». В письмах Чехова это последнее упоминание о романе. Есть основания полагать, что работа продолжалась до весны 1890 г., до поездки на Сахалин.

В письмах 1888 и 1889 годов Чехов изложил основное содержание романа. «Роман этот захватывает целый уезд (дворянский и земский), домашнюю жизнь нескольких семейств <...> взяты люди обыкновенные, интеллигентные, женщины, любовь, брак, дети»; «Роман захватывает у меня несколько семейств и весь уезд с лесами, реками, паромами, железной дорогой. В центре уезда две главные фигуры, мужская и женская, около которых группируются другие шашки» (письма Григоровичу от 12 января и 9 октября 1888 г.). 9 апреля следующего года Чехов делился своими планами с Плещеевым: «В основу сего романа кладу я жизнь хороших лю-

дей, их лица, дела, слова, мысли и надежды; цель моя – убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы». В мартовских письмах 1889 г. к Евреиновой и Суворину находятся сведения о задуманных персонажах романа: «Половина действующих лиц говорит: „Я не верую в бога“, есть один отец, сын которого пошел в каторжные работы без срока за вооруженное сопротивление, есть исправник, стыдящийся своего полицейского мундира, есть председатель, которого ненавидят, и т. д. Материал для красного карандаша богатый» (Евреиновой, 10 марта 1889 г.); «Григорович, которому Вы передали содержание первой главы, испугался, что у меня взят студент, который умрет и, таким образом, не пройдет сквозь весь роман, т. е. будет лишним. Но у меня этот студент – гвоздь из большого сапога. Он деталь» (Суворину, 11 марта 1889 г.).

Некоторые сцены и ситуации в рассказах «У Зелениных» и «Письмо» перекликаются с этими высказываниями Чехова о задуманном романе. Так, в рассказе «У Зелениных» мать,

Наталья Зеленина, печалится о сыне: «У Васи <...> поражена верхушка левого легкого. <...> <Доктор> велел оставить университет». Далее в рассказе назван полковник Польш, о котором Зеленина напоминает дочери: «В бригаде твоего отца был батарейным командиром». Как вспоминал А. С. Лазарев (Грузинский), по пути в Бабкино (летом 1887 г.) Чехов изложил ему содержание первой главы будущего романа. Мемуарист запомнил начало: к платформе подают товарный вагон, «в вагоне гроб с телом единственного сына вдовы-генеральши» («Русская правда», 1904, 11 июля). В рукописи рассказа ясно читается зачеркнутая фраза: «Напомни Л<юбови> М<ихайловне>, что 22 марта день рождения покойного». Ясно, что Маша, к которой адресовано письмо, и Вася, больной, обреченный студент, – дети «вдовы-генеральши» Натальи Зелениной.[78]

Об одном из персонажей «Письма», Травникове, сказано: «Он хотел и ищет бога ... и находит одну только пропасть...» Это соотносится с цензурными опасениями Чехова по поводу атеизма героев, высказанными в письме к Евреиновой. Игнатий Баштанов рас-

сказывает о своем отце-страдальце, о брате-каторжнике и брате-монахе. Вероятно, это упомянутый в том же письме к Евреиновой «отец, сын которого пошел в каторжные работы без срока за вооруженное сопротивление».

Начало письма Игнатия Баштанова, как заметил еще И. С. Ежов, перекликается с высказыванием Чехова о Л. Н. Толстом, известным в изложении С. Н. Щукина: «Вы обращали внимание на язык Толстого? Громадные периоды, предложения нагромождены одно на другое. Не думайте, что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается после труда. Эти периоды производят впечатление силы» (С. Н. Щукин. Из воспоминаний об А. П. Чехове. – «Русская мысль», 1911, кн. X, стр. 45). Очевидно, что Игнатий Баштанов посылает Марии Сергеевне Волчаниновой[79] только что прочтенную им новую книгу Толстого. Названия нет, скорее всего оттого, что речь идет о сочинении, не пропущенном в печать и ходившем по рукам (в рассказе «После театра» опера названа). Вместе с тем ясно, что это художественное произведение, так как по его поводу между героями рассказа заходит

спор о красоте, о силе искусства, о его воздействии на людей. Это могло быть и эстетическое сочинение или художественное произведение, касающееся проблем искусства.

Из всех книг Толстого ближе всего подходит к описанной в рассказе «Крейцера соната». В России она увидела свет лишь в июне 1891 г. (XIII часть «Сочинений гр. Л. Н. Толстого»), в 1890 г. была выпущена за границей, но уже начиная с октября 1889 г. широко распространилась в литографированных изданиях. По одному из таких литографированных изданий познакомился с новой повестью Толстого и Чехов. 17 января 1890 г. он отправил М. И. Чайковскому записку следующего содержания: «Дорогой Модест Ильич, посылаю Вам „Крейц<ер>ову> сонату“. Прочитав, благоволите послать ее Н. М. Соковнину...»

Сохранились многочисленные свидетельства современников о том, как взволновала в 1889 г. читающую публику новая повесть Толстого. См. высказывания Ю. О. Якубовского (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 27. М. – Л., 1933, стр. 588, комментарии Н. К. Гудзия),

А. А. Толстой (там же). Но и в феврале 1890 г. «Неделя» сообщала: «В Петербурге идут нескончаемые толки о „Крейцеровой сонате“» («Неделя», 1890, № 6, стлб. 198–199). Эту атмосферу возбуждения от нового создания Толстого и передает «Письмо».

Чехов встретил «Крейцерову сонату» почти столь же восторженно, как и его юный герой, хотя и более критически: «В массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удержишься, чтобы не крикнуть: „Это правда!“ или „Это нелепо!“» (письмо к Плещееву от 15 февраля 1890 г.).

Поездка на Сахалин изменила отношение Чехова к толстовской повести: «До поездки „Крейцера соната“ была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой» (письмо к Суворину от 17 декабря 1890 г.). Появившееся «Послесловие к „Крей-

церовой сонате“» Чехов осудил в очень резких выражениях (письмо к Суворину от 8 сентября 1891 г.). На основании этих высказываний «Письмо» следует датировать временем не позднее первых месяцев 1890 г., до поездки на Сахалин. Возможно, Чехов не отдал в печать переписанный набело рассказ (в отличие от рассказа «После театра»), потому что резко изменилось его отношение к «Крейцеровой сонате» (появился «Письмо» в начале 90-х годов, современники не без основания посчитали бы, что речь идет о Толстом и его «Крейцеровой сонате»).

В разных лито- и гектографированных изданиях «Крейцеровой сонаты» – самое различное распределение текста по страницам. Говорить об однозначном ответе на вопрос, какие именно слова повести находились на указанных в письме Игнатия страницах, не приходится, тем более, что, возможно, указания эти условны или вымышленны.[80]

Суждения Баштанова об искусстве, его спор с Травниковым – близки тому, о чем высказывался и спорил сам Чехов в конце 80-х годов. Так, И. Я. Гурлянд писал Чехову 6 октяб-

ря 1889 г., вспоминая разговоры об искусстве: «Не то, чтобы тогдашние разговоры убедили меня и заставили меня отрешиться, как Вы выражаетесь, от „рутины“. Нет. Так скоро этого не могло быть; пожалуй, и не будет. Я уверен, что искусство, кроме красоты, имеет и другие цели, что искусство скорее есть только средство, само по себе целью быть не может и т. д.» («Из архива А. П. Чехова. Публикации». М., Гос. библиотека им. В. И. Ленина, отдел рукописей, 1960, стр. 184). Брат Чехова, Михаил Павлович, писал 1 января 1889 г. Г. М. Чехову: «Театр должен идти рука об руку со школой <...> мне казались странными слова Антона. Но прошел год, другой, – и я сам убедился в том, что говорил мне Антон» (ЛН, т. 68, стр. 857).

Высказывания Травникова о театре, о французских романах перекликаются со словами старого профессора Николая Степановича из «Скучной истории», опубликованной в 1889 г. (гл. II).

С другой стороны, некоторые высказывания Башталова, его сравнение свободного искусства со стихией близки самому Чехову и

родственны, например, сравнению из рассказа «Красавицы» (1888): «Передо мной стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию». Ср. в «Письме»: «Поэзия и беллетристика не объяснили ни одного явления! Да разве молния, когда блеснит, объясняет что-нибудь?»

# 1

Добрый мальчик, как тебя зовут? (*лат.*).

[^^^]

Христофор (*лат.*).

[^^^]

Кончил! (*лат.*).

[^^^]

# 4

*клуня* – на юге России так называется рига, т. е. постройка для сушки и хранения зерна.

[^^^]

# 5

*лобанчик* – золотой червонец.

[^^^]

## 6

*шибеница* – на юге России название виселицы, дыбы.

[^^^]

добрый мальчик? (лат.).

[^^^]

*Петр Могила* (1596–1647), киевский митрополит, много заботившийся о просвещении, в частности – о Киево-Братской (Могилянской) школе.

[^^^]

...духов с того света вызывать, как Саул... –  
Подразумевается библейская легенда о царе  
Сауле: дух отца Самуила предсказал Саулу ко-  
нец его царствования (Библия, I-я книга  
царств, гл. 28).

[^^^]

*Василий Великий* (ок. 330–379), христианский церковный деятель.

[^^^]

*Нестор* (годы рожд. и смерти неизвестны), древнерусский историк и публицист, по-видимому, монах Киево-Печерского монастыря с 70-х гг. XI века, автор «Чтения о житии... Бориса и Глеба» и «Жития... Феодосия». Многие ученые считают, что Нестор был одним из составителей «Повести временных лет».

[^^^]

*...вроде лагеря амалекитян или филистимлян ~ подражаться с Саулом или Давидом. – Первый и второй цари Израильско-Иудейского царства – Саул и Давид (XI в. до н. э.) вели войны с амалекитянами, арабским племенем, жившим в Палестине, и филистимлянами, владевшими в то время Палестиной.*

[^^^]

...начинал, как *Отелло*, «опускаться в долину преклонных лет»... – «Начал я в долину лет преклонных опускаться» – слова *Отелло* из одноименной трагедии Шекспира (пер. П. Вейнберга), акт III, сц. 3.

[^^^]

...соломоновская «суета сует»... – библейское выражение «Суета сует и всяческая суета» (Екклесиаст, гл. 1, ст. 2).

[^^^]

*«На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн».* – Первые две строки вступления к «Медному всаднику» Пушкина.

[^^^]

*Дела давно минувших дней, преданья старины  
глубокой.* – Строки из «Первой песни» поэмы  
Пушкина «Руслан и Людмила».

[^^^]

*...арифметический задачник Малинина и Буренина ~ «правилах товарищества». – «Правила товарищества» – один из параграфов раздела «Тройные правила» в «Собрании арифметических задач для гимназий» А. Малинина и К. Буренина, М., 1866, стр. 126.*

[^^^]

*«Грядет час, в онь же вси сущие во гробех  
услышат глас Сына Божия».* – Евангелие от  
Иоанна, гл. 5, ст. 28.

[^^^]

«Врач» – ежемесячный медицинский журнал, выходивший в Петербурге с 1880 по 1901 г. (с 1902 по 1918 г. – «Русский врач»).

[^^^]

*Блажени миротворцы* – «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 9).

[^^^]

*...держимордовские взгляды...* – Держиморда – полицейский, персонаж комедии Гоголя «Ревизор».

[^^^]

*...всяких там Боклей...* – Генри Томас Бокль (1821–1862), английский историк и социолог.

[^^^]

*...этих Шопенгауэров...* – Артур Шопенгауэр  
(1788–1860), немецкий философ.

[^^^]

...собиралась родить, по ее вычислениям, к Илье-пророку. – День Ильи-пророка приходился на 20 июля по ст. стилю.

[^^^]

Тысячу приветствий (*франц.*).

[^^^]

*...общество не прощает людям прошлого, но у бога святая Мария Египетская считается не ниже других святых...* – Мария Египетская, по преданию, была в молодости блудницей, но, раскаявшись и совершив паломничество в Иерусалим, прожила 47 лет в покаянии в пустыне.

[^^^]

*...Невольно к этим грустным берегам...* –  
Ария князя из оперы А. С. Даргомыжского «Русалка».

[^^^]

...он читал «Листок»... – «Московский листок», ежедневная политико-литературная газета, издававшаяся с 1881 по 1918 г.

[^^^]

*...похожий лицом на маршала Базена...* – Базен Франсуа Ашиль (1811–1888), французский маршал, командовавший армией во время франко-прусской войны и обвиненный в 1872 г. в государственной измене.

[^^^]

*...одетая Аидой...* – Аида, персонаж одноименной оперы Верди (либр. А. Гисланцони). Первое представление оперы в России состоялось в 1875 г. в Петербурге в исполнении итальянской труппы и в 1877 г. на русском языке в Мариинском театре.

[^^^]

«*Коль славен наш господь в Сионе...*» – Церковный гимн.; муз. Д. С. Бортнянского (1751–1825), слова М. М. Хераскова.

[^^^]

*Что вам Гекуба, и что вы Гекубе?* – Перефразировка слов из трагедии Шекспира «Гамлет» (д. II, сц. 2).

[^^^]

*Пирогов* Николай Иванович (1810–1881), русский хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии; профессор Петербургской медико-хирургической академии.

[^^^]

*Кавелин* Константин Дмитриевич (1818–1885), юрист, историк и социолог; публицист и общественный деятель либерального направления 60-х годов.

[^^^]

*Шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса.* – Из повести Тургенева «Дневник лишнего человека» (И. С. Тургенев. Полное собр. соч. и писем. Сочинения, т. V. М. – Л., 1963, стр. 209).

[^^^]

«*О чем пела ласточка*» – роман немецкого писателя Ф. Шпильгагена (1829–1911).

[^^^]

«...полюбил ~ как *Отелло Дездемону*, за „со-  
страданье“ к *моей науке*». – Перефразирова-  
ны строки из трагедии Шекспира «Отелло»:  
«Она меня за муки полюбила, а я ее – за со-  
страданье к ним» (акт I, сц. 3).

[^^^]

История болезни (*лат.*).

[^^^]

*Грубер* Венцеслав Леопольдович (1814–1890), профессор анатомии Петербургской медико-хирургической академии.

[^^^]

*Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843–1882), русский генерал, получивший широкую известность после русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

[^^^]

*...профессор Перов* – Перов Василий Григорьевич (1833–1882), художник, с 1871 г. был профессором в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

[^^^]

*Патти Аделина* (1843–1919), итальянская певица; несколько раз гастролировала в России.

[^^^]

ваше превосходительство (*франц.*).

[^^^]

*...постоянно шуточный тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. – Могильщики из «Гамлета» Шекспира (акт V, сц. 1).*

[^^^]

мать-кормилица, здесь: университет (*лат.*).

[^^^]

*«Печально я гляжу на наше поколение»* – первая строка стихотворения Лермонтова «Дума».

[^^^]

*Марк Аврелий* (121–180 н. э.), римский император, философ-стоик;

*Эпиктет* (Эпиктет) (ок. 50–138 н. э.), греческий философ-стоик;

*Паскаль Блез* (1623–1662), французский математик и философ.

[^^^]

Хорошо (*лат.*).

[^^^]

последний довод! (лат.).

[^^^]

«*гряди, плешивый!*» – Этими словами израильские дети дразнили лысого пророка Елисея (4-я Книга царств, гл. 2, ст. 23). Ср. Н. С. *Лесков*. *Соборяне*, ч. 1, гл. 6.

[^^^]

...Гаудеамус игитур ювенестус! – Искаженное начало студенческой песни: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus...»

[^^^]

*Пти Жан-Жак.* – Вероятно, здесь имелся в виду Жан-Мартер Пети (1772–1856), французский генерал и политический деятель, или Жак-Луи Пети (1674–1750), французский хирург. Жан-Жак Пти (или Пети) среди исторических лиц не известен.

[^^^]

*Крылов* Никита Иванович (1807–1879), профессор римского права Московского университета.

[^^^]

...«*Орлам случается и ниже кур спускаться...*  
» – цитата из басни И. А. Крылова «Орел и куры».

[^^^]

женщина (*франц.*).

[^^^]

*...Украинская ночь Пушкина...* – Речь идет о начале второй песни из поэмы Пушкина «Полтава»: «Тиха украинская ночь...»

[^^^]

*Егор Алексеевич.* – В другом месте повести Кирилин именуется Ильей Михайловичем (стр. 419).

[^^^]

До свиданья! (*франц.*).

[^^^]

*«Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»* – из 1 главы романа Пушкина «Евгений Онегин».

[^^^]

Военной силой (*лат.*).

[^^^]

*Стенли* Генри Мортон (1841–1904), английский путешественник, впервые проникший во многие труднодоступные районы Африки.

[^^^]

*...аще кто соблазнит единого из малых сих. –*  
Евангелие от Матфея, гл. 18, ст. 6, а также от  
Марка – гл. 9, ст. 42 и от Луки – гл. 17, ст. 2.

[^^^]

«*Не уезжай, голубчик мой*». – Популярная и 1870–80-е гг. песня (слова народные; см. нотные изд.: А. И. *Евгениев*. СПб., Стелловский, ц. р. 1856; И. В. *Васильев*. М., Гутхейль, ц. р. 1869). Ср. сценку «из купецкого быта» с этой строкой в качестве заглавия в «Альманахе „Будильника“ на 1882 г.» (М., 1882), в котором был напечатан рассказ Чехова «Жены артистов».

[^^^]

*У Лескова есть ~ прокаженного...* – Речь идет о герое рассказа Н. С. Лескова «Легенда о совестьном Даниле».

[^^^]

Это разумно (*франц.*).

[^^^]

Трое составляют совет! (*лат.*).

[^^^]

«*Было дело под Полтавой*» – Начальный стих из популярной песни на слова И. Е. Молчанова (1809–1881), ставший крылатым выражением.

[^^^]

Повторение – мать учения (*лат.*).

[^^^]

*Карно Сади* (1837–1894), президент французской республики во время, когда происходит действие рассказа; портреты Карно печатались в русских иллюстрированных журналах.

[^^^]

*Вл. А. Александров* (1856–?), *А. Ф. Федотов* (1841–1895), *И. В. Шпажинский* (1844–1917) – драматурги 1880-90-х гг.

[^^^]

*Лопе де Вега, кажется датский драматург ~ Кальдерон позаимствовал... – Лопе де Вега (1562–1635) и Кальдерон (1600–1681), испанские драматурги.*

[^^^]

*Наши профессора ~ себе в карман.* – В письме к Е. П. Егорову от 11 декабря 1891 г. Чехов писал: «Ходит тысяча фантастических басен о растратах, наглых воровствах и т. п.»

[^^^]

Так считала, очевидно, не одна Евреинова. В конце 1891 г. Чехову предлагалось редакторство журнала «Живописное обозрение». Как писал брату Ал. П. Чехов, издателю было нужно «только имя» Чехова (*Письма Ал. Чехова*, стр. 250–251).

[^^^]

За «язвительную характеристику людей 60-х годов» упрекал Чехова и М. А. Протопопов в статье «Жертва безвременья...» («Русская мысль», 1892, кн. 6). Процитировав пространную характеристику дядюшки Николая Николаича, Протопопов писал, что «это не характеристика – это ряд ничтожнейших придирок и дешевеньких насмешечек над внешностью» (стр. 106).

[^^^]

Ср.: «Конкуренция в капиталистических обществах представляет собою принципиальное явление, совершенно тождественное тому, что в биологии известно под термином борьбы за существование» (В. А. Вагнер. Чем должен быть университет. – «Русская мысль», 1906, кн. IX, стр. 128).

[^^^]

См. начало XVI главы.

[^^^]

На обороте седьмого листа «Письма» обрывок фразы, не относящейся к тексту рассказа: «погружается он в кромеш<ную тьму>». Если бы удалось эту запись приурочить к какому-то известному нам произведению, появился бы еще один аргумент для датировки.

[^^^]

В рассказе «После театра» состав семьи Зелениных иной и героиня не Маша, а Надя; по всей вероятности, Чехов исправил текст, отдавая рассказ в печать.

[^^^]

Фамилия Волчаниновы была использована в рассказе «Дом с мезонином», опубликованном в 1896 г. Возможно, она подсказана фамилией владельца типографии, указанной на обложках изданий Л. Толстого второй половины 80-х годов.

[^^^]

Вполне вероятно, что здесь не только отразилось впечатление Чехова от «Крейцеровой сонаты», но и дана общая характеристика стиля Толстого. Такое предположение согласуется с высказыванием Чехова, которое приводит в своих воспоминаниях Б. А. Щетинин: «Толстой столько же философ в художественном творчестве, сколько художник в философии. Это удивительно цельная натура. В доказательство своей мысли Чехов привел две цитаты из произведений Толстого, одну – из „Войны и мира“, другую – из „Крейцеровой сонаты“» (Б. А. Щетинин. В литературном муравейнике (Встречи и знакомства). – «Исторический вестник», 1911, т. 123, № 3, стр. 881–882). Можно даже предположить, какие это были цитаты, если учесть пометки, сделанные рукою Чехова на экземпляре «Войны и мира», хранящемся в ялтинской библиотеке писателя (Сочинения. Изд. 6-е. М., 1886, ч. V, т. 1). На стр. 62–98 одиннадцать раз подчеркнуто слово «видимо» и один раз «по-видимому» (сообщено А. В. Ханило).

[^^^]